



Нагибин

ЮРИЙ

Нагибин

ЮРИЙ

НАГ

УЧИТЕЛЬ
СЛОВЕСНОСТИ

Юрий
Нагибин

**УЧИТЕЛЬ
СЛОВЕСНОСТИ**

Издательский Дом «Подкова»
Москва
1998

ББК 84.37
Н 16

העמותה לקליטת עליה בחיפה
רח'י ל. פרץ 20 חיפה 33041
ספריה
מס' 3468

1566/1

Нагибин Ю.М.

Н 15 Учитель словесности. — М.: Издательский
Дом «Подкова», 1998. — 672 с.

ISBN 5-89517-011-0

Тексты публикуются в авторской редакции

© А. Нагибина, 1998

© Е. Селиванова. Оформление. 1998

ISBN 5-89517-011-0

ОГНЕННЫЙ ПРОТОПОП

— Собирайся, распоп! — сказал стрелецкий десятник с наискось разрубленным лицом: по краям широкого сборчатого шрамаросло дикое мясо.

— Аз есмь протопоп, а не распоп, — огрызнулся Аввакум, подымаясь со своего ветошного ложа.

Лицо десятника налилось темной кровью, а шрам и дикое мясо остались в своем цвете, ибо лишены были кровяного орошения, — мертвая бледная борозда усугубляла жестокость звероватых черт, но воин смолчал на дерзость узника.

— И ты, Епифашка, шевелись! — обратился он к соузнику протопопа.

— Поимей уважение к иноческому сану! — одернул его протопоп.

В изуродованной глазнице десятника косо сидел темный сухой глаз. Сейчас этот глаз почти выкатился на щеку.

— Он такой же расстрига, как и ты, — медленно проговорил стрелец.

Послышались странные звуки, будто вдалеке зашлепали вальки по мокрой тканине, и аж под сердце полоснуло протопопа забытым ладом вольной жизни. Полоснуло и осталось болью — это Епифаний замотал огрызком дважды урезанного языка, зачавкал вислыми губами, сияясь что-то произнестъ.

Первый раз усекли язык Епифанию, и равно и попу Лазарю, и дьякону Федору, томящимся в соседнем срубе, еще в Москве, во дни церковного собора, но тогда языки отросли у них. Епифаний же из воздуха поймал пучок языков, выбрал наилепший и в рот себе вложил. Мига единого

не оставались в безмолвии миленькие! Эти новые языки им урезали под корень, уже в Пустозерске. Гладко у них во рту стало, протопоп сам пальцами шарил, да милостив Господь, снова отросли языки, маленько тупей прежнего, а для речи годные.

И вот отнялся язык у Епифания. В наиважнейший, роковой час лишился, бедненький, дара звучащего слова. Господь ли его забыл или Епифанию не по плечу пришлось ноша и отвернулся он от Господа Бога в душе своей?.. Сему последнему отказывалось верить сердце. Надо так полагать, еще одна мука ниспослана страдальцу Епифанию, дабы испытать стойкость его веры. Но царь небесный с Епифанием сам разберется, а перед людьми за онемевшего инока заступником он, Аввакум.

— Сей старец тебе не то что в отцы, в деда годится, воин! — сказал Аввакум. — Обращайся с ним по достоинству его лет, мудрости и благочестия.

— Заткнись! — коротко приказал воин.

— Меня и государь великий Алексей Михайлович, царствие ему небесное, молчать не научил, тем паче не замкнет мне уст ничтожный тюремщик.

Он угодил в самое больное место стражу. Стрелецким десятник любил поле и сечу и ненавидел свою нынешнюю службу. Он был уже не молод, но крепок, как дуб, и мог бы за милую душу поигрывать саблей и бердышом на беспокойных границах русской земли. Ужасной своей ране был он обязан тому, что перевели его из-под Белгорода в царев стреманный полк. Велика, конечно, честь, да царя с души своротило, когда увидел он изуродованную харю десятника. И загнали стрельца на край света для скучной и унижительной ратнику тюремной службы.

— Больно ты бьешь, Аввакум, — сказал он сумрачно, но без злобы, ибо уважал всякое мужество. — И по заслугам получаешь

Протопоп не ответил. Он задумался о том, почему его обошли карой, совершенной над его сподвижниками. Ведь

им не только языки урезали, но и десницы отсекали. У Лазаря всю кисть, у Федора поперек ладони, у Епифания персты. Правда, и здесь Господь не поспешил на чудо: Епифанию персты удлинил, а отрезанные члены Лазаря и Федора сохранил в нетленности. Федор — дурак, сам виноват, что съезжилась и загнила его отрезанная рука, которую он прятал в узилище, ибо стал блевать на Святую Троицу. У Федора окаянного не Троица есть Бог, а единица слиянная, как будто могут быть три в одном! Вот до какой мерзости договорился его духовный сын. Пришлось Аввакуму не только в послании чадам церковным его заклеить, но и тюремщикам донести, дабы отняли у Федора зловредную писанину и огню предали. Выходит, и враг может на что доброе стодиться. Но с того времени испортилась, изнемогла Федорова отсеченная длань, и он сам со стыда велел ее в землю бросить.

Иное дело с Аввакумом. И язык многоглаголивый не покидал звучной пещеры его рта, при нем же остались и длинные сильные персты, равно цепкие, ухватистые и к гусиному перу, и к рыбацкой сети, и к веслу, и к мелкому телу крестимого младенца, и к тугой, доброй груди протопопы Марковны, сладкой подруги всей его жизни.

Бесхитростный и ясновидящий старец Епифаний уверял, что покойный государь Алексей Михайлович, расположенный к устному и письменному слову, виршевым соглашениям и комедийному строению — пуще души спасения любил позорища, миленький! — не хотел лишать себя Аввакумов словес. Огненноустый, как его называли, протопоп был равно силен и в звучащем, и в начертанном пером слове. Крепкие памятью людишки записывали для царя речения Аввакума, а краснописцы переписывали те послания, кои не для царских очей предназначены были. Впрочем, и сам царь-батюшка не был обойден посланиями и челобитными неленивого Аввакума.

Всю кисть оттяпали у Лазаря, дабы не брался за перо твердый верой, но тусклый нетворящим разумом поп; усекли

руку у писучего, но не богатого дарованием дьякона Федора, а надо бы по плечо отхватить, во еже не срамил Святую Троицу. А не чуждому нежных словес плетению Епифанию лишь подкоротили персты, дабы не мог лба перекрестить по старому канону. Но не позволил тронуть царь-словолюбец словотворца-протопопа.

Думая обо всем этом, постиг Аввакум и светлую мысль старца Епифания, понудившего его написать свое житие — сказ о бурях житейских, о виденном и претерпленном, а не поучение, не проповедь, не наставительное, утешительное, челобитное или обличительное послание.

Поначалу смущало протопопа — а кому нужно такое вот, вроде бы не устремленное к цели, писание? Да и не святой он, не пророк, не схимник, чтобы его житие людям надобно было. Но поверил бесхитростному и ясновидящему сердцу инока, покорно и бесстрашно прошагавшего с клюкой и котомкой от Соловецкой обители до Москвы на суд скорый, жестокий и неправедный. Епифаний направлял его руку. Своим затупленным, дважды резанным языком требовал он от Аввакума полной обстоятельности: где да и когда на свет появился, от каких родителей, как встретился с кузнецовой дочкой, четырнадцатилетней Настасьей, и сочетался с ней совокуплением брачным, обретя на всю жизнь друга ко спасению. И о жестоком соблазне плотском — никому прежде не признавался в том протопоп, даже Марковне, от которой не имел тайн, — а искусила его невольно юная блудница на исповеди, столь воодушевленно живописавшая свой грех, что он, недостойный врачеватель, сам разгорелся блудным огнем. По счастью, осенило его, — огонь пожирающий огнем же и изгнать. На пламени церковной свечи жег он правую длань, покуда не наполнилась исповедальня обвонью горелого мяса и не утихло нутряное разжжение. На весь свет, понуждаемый Епифанием, развонил Аввакум об этом сраме. Да нешто позорит человека, даже иерея, преодоленный соблазн?

И о первых мучительствах — а сколько их ему выпало! — рассказал Аввакум в подробностях. О буйных жителях села Лопатищи, чуть не до смерти убивших его в отместку за скоморохов, которых он изгнал, изломав их ухари и бубны и отняв медведей; о Василии Петровиче Шереметеве, повелевшем сбросить его в Волгу за то, что отказал он в благословении его сыну Матвею, срамному бритобрадцу; и о печальном начале своего протоиерейского служения в Юрьевце-Повольском, где прихожане, подзуженные начальниками-блудодеями, люто избивали его батожем и рычагами.

Начнешь вспоминать и не кончишь!.. Только перевел он дух в Москве, куда бежал из Юрьевца-Повольского под крыло друга, протопопа Неронова, как вошел в силу Никон, призванный царем на патриарший престол. Властолюбивый, хитрющий, мозговитый толстогуб принялся насаждать в церкви греко-римскую блудню. Сие угодно царю Алексею было для его политики противу турецкого султана. Прямым наследником и заступником византийского упадка выходил теперь царь Великия, Малыя и Белья России. Да неудобно ему было, что Никон сам над царской властью подняться возжелал. Но это уже много после оказалось, а в те ранние поры новый патриарх, во всем от царя доверенный, повел православную церковь под греко-римское ярмо, безжалостно расправляясь с супротивниками: кого в тюрьму, кого в ссылку, кого на тот свет.

Тут и лучшие зашатались!.. Сам Неронов, настрадавшись по дальним монастырям, осунувшись плотью до лепестковой тонины, утратив надежду на торжество правды, принял три перста да с тем и отошел. Ему, миленькому, хоть тонкий лучик надежды, как в щели от лампадного огня, потребен был, дабы соблюсти душу. А ты выстои без надежды, без тонкого лучика света, в непроглядной темени земляной могилы, где и хлеб едят, и ветхия испражняют; выстои, когда жены твоя и чада тоже брошены в мерзлую тундряную землю; да и не просто выстои, а укрепляй через

тысячи верст преданных истинной вере и сокрушай вероотступников; выстои в грязи, смраде и духоте, когда достаточно тебе сложить трехперстную дулю — и сам царь тебя в объятия примет и с целованием к груди прижмет. Конечно, не нынешний скудный духом молодой Федор, а могучий отец его Алексей, прозванный Т и ш а й ш и м, хотя крови больше самого Грозного пролил. Любил он в тайности чувств своих Аввакума, хотел мира с ним, в чем и царице открылся. Ближнего боярина и самого верного человека Артамона Матвеева сколько раз к нему посылает и сам возле его темницы в Николо-Угрешском монастыре со вздохами и стенаниями бродил в надежде размягчить душу протопопа. И Аввакум жалел его, сердцем жалел заблудшего государя, да ведь не бывает двух прав, правда одна, и коль сведома она тебе, то и держись ее до смертного часа. Но не ему Неронова судить. Может, потому и не снес искуса, бедненький, что не сподобил его Господь дара письменного слововыражения. Не было выхода его душе.

Аввакум узнал, какая великая милость дарована ему Господом Богом: глаголом души опалаять, когда направил иерисиарху всея Руси свое первое послание, сочиненное купно с Даниилом, костромским протопопом. Оценил царь с патриархом по достоинству сие творение: Даниила в Астрахани терновым венцом венчали и в земляной тюрьме уморили, а Аввакума Борис Нелединский со стрельцами прямо от всенощной, которую он на сушиле у Неронова служил, взяли и в Андроньевом монастыре на щепь посадили. И вот тогда впервой заступился за него царь: не дал расстричь, обошлось дело сибирской ссылкой.

Обошлось!..

Уехал он туда священником, пусть и потерпевшим от скорого на расправу Никона — да таких уже немало было в русской церкви, — а вернулся мучеником за веру и народным ироем. Возвели его в этот высокий и страшный сан страсти, претерпленные от воеводы Пашкова, покорителя Даурии, лютейшего из лютых самоуправцев, собст-

венное непокорство, мятежный дух — казаков на бунт подбивал — и огнеустые послания царю, никонианам, наставления чадам духовным.

Как ни лют, ни беспощаден был собиратель земель сибирских, ратный муж Пашков. не мог бы он так зверовать над священнослужителем в протоиерейском сане, если б не тайное повеление от самого Никона. Он и бил нещадно Аввакума, и в яму бросал, и топил в сибирских холодных реках и в глубоких озерах, и морозил в снегах, и голодом морил — что волк или медведь оставит, тем питалось Аввакумово семейство, сосновую кашу за лакомство почитали, — под конец и вовсе огнем и железом пытаться хотел, мстя за сына, пропавшего в Монголии со своей дружиной. Пашков-сын у волхвов об удаче похода просил, а не у святой православной церкви, за что и был проклят протопопом. Уже похороненный и оплаканный близкими, сын вернулся в тот самый миг, когда огонь уже опалил бороду протопопу. И поник сивой головой гордый воевода, надломился его могучий дух. Он давно уже об одном только мечтал — услышать хоть слово смирения от протопопа, — но не дождался. И какая-то робость поселилась в косматом сердце завоевателя, привыкшего ломать и гнуть всех без разбору. Бросив Аввакума с семейством без продовольствия и снаряжения посреди враждебных инородцев, воевода ушел в Москву, как бежал. И спрашивал себя протопоп: кто же кого больше мучил, Пашков его или он Пашкова? Похоже, что осилил вооруженного до зубов воина иерей в затасканной рясе.

Два года добирался Аввакум до Москвы. Он шел, громко проповедуя слово Божье, обличая никонианскую ересь: как труба иерихонская, раздавался его голос по сибирским городам и весям. Великая сила наливала его обхудавшее, сухое тело, и, одолевая трудные версты, славя до хрипоты Святую Троицу, он по ночам на привалах, под кедрачами или на теплых полатях, в лодке, выволоченной на берег, или в шалаше из елового лапника крепко обнимал, любил и брехатил сладкую, горячую свою протопопицу.

И, как положено мужу и жене, все пополам делили: и великие муки, и малые радости, и раз выпало каждому из них рухнуть ослабевшей душой и быть спасену силой другого. Они шли по замерзшему Иргень-озеру, то и дело оскальзываясь и убиваясь о лед и едва поспевая за двумя полудохлыми клячонками, тащившими сани с рухляком и детенками, когда на упавшую протопопицу мужик-сопутник повалился и намертво ко льду прижал. Оба кричат, плачут и не могут встать от истощения. И тогда многотерпеливая протопопица, отвалив из последних сил омороченного мужика, возопила с гневом и отчаянием: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И ответил протопоп единственными, быть может, словами, способными поднять ее на ноги: «Марковна, до самыя до смерти!» И она, вздохнув, молвила: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И побрели, и до Москвы добрались. Отдохнувший в долгом пути от издевательств и побоев, отведший душу неустанной проповедью, согретый жадным вниманием, даже восторгом тьмы людей простого звания, узнавших в нем заступника перед Богом от царского и патриаршего гнева, и при всем том принятый царем с великим почетом, растекаясь Аввакум, как дерьмо в оттепель. Покоя ему захотелось, умиротворения. Ах, как вспомнишь об этой слабости, так сами вскипают со дна души слова отвращения: «Кал и гной есмь, окаянной — прямое говно! Отовсюду воняю — душой и телом!» И тогда, приметив его сумление, сведомилась протопопица, что, мол, притемнился, отец? И он, свинья злосмрадная, да что там свинья, та от естества воняет, а он от греховной хитрости своей, все на семью, на детушек скинул — вяжут-де ему руки, уста замыкают — и, хоть зима еретическая на дворе, не может он уста для обличения распечатать. И протопопица, святая душенька, ведь сама только чуть отогрелась душой и телом, салопчик-другой завела, шубейку теплую справила, детишек отмыла да подкормила — впервой вкус медового пряничка узнали, миленькие! — так ему рекла: «Аз тя с детьми благословляю:

держай проповедовать слово Божие, а о нас не тужи; дожде же Бог позволит, живем вместе, а егда разлучит, тогда о нас в молитвах своих не забывай. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!»

И он склонился перед женой своей, и восстал из грязи, и пошел обличать с прежней силой никонианскую ересь, а вскоре и царю-батюшке зело крепкую грамоту отправил.

Тут и пошло. Его и просили, и совестили — совести в помине не имеющие! — и казнями всякими стращали: участь Павла Коломенского, за правду удушенного, у всех перед глазами стояла, но больше на уговор брали, на обещание великих милостей, должностей высоких, но протопоп Аввакум уже был тем неумолимым правдолюбом, каким остался и по сей день. Не хотел он никаких сделок с властями, даром что семейство его возросло и забот, и силы-защиты, и средств для пропитания куда больше требовало, но, коль жена на подвиг его благословила, не спихнуть Аввакума с пути правды ни царю, ни боярам, ни церковным начетчикам хитроумным.

Не хотелось царю отдавать на правож своего писателя. Раз встретились они лицом к лицу, поглядели друг на друга и молча, печально разошлись. Подивился он глубине взгляда широко расставленных царевых глаз и прочел в них свой приговор. Вскоре пришло повеление сослать его с семьей в Мезень. Что ж, так и на этой земле положено: царю царствовать многие лета, а проповеднику мучиться многие лета. А как отойдут они в вечные дома, так уж Господь поиному распорядится.

Далека Мезень, а и там люди живут. Промышлял он рыбкой, от соседей гостинчик перепадал, и по-прежнему наставлял людей доброй вере, обличал и язвил супротивников.

Далека Мезень, затеряна за лесами дремучими, за болотами непролазными, посреди мхов, снегов да дерев-кривулин, путь к ней — где водой, где волоком, где чуть не вскок по кочкам — ах как долот! Но крылаты человечьи слова.

Уму непостижимо, с какой быстротой достигали и речи, и писания протопопа не только до Москвы-столицы, но и отдаленных окраин государства Русского: Сибири, Даурии, где лютый воевода хотел его извести.

Иные дурачки шепотно, в оглядку пророком его называть стали. Пустые и богопротивные то речи. Но, видать, жгло его слово людские души, как в древности глаголы библейских пророков. А в такие огнепальные времена, полные искусного витийства, разносящегося не только с амвонов, но и с царского печатного двора, не так-то просто быть услышанным, да еще из тундряной дали!

И опять затребовали его в Москву. А там все то же: отрекись да отрекись! Уговаривали, умоляли, на спор пытались взять, грозили. И дабы скорее открылся ему свет истины, в Пафнутьевом монастыре на чеши держали. А потом на Угрешу, к Николе свезли, кружным путем — болотами да грязью, чтоб не сведали чернососшные да не отбили своего печальника. И там ему бороду под корень отхватили. И сказал он в боли и унижении: «Выпросил у Бога светлую Россию сатана, да и очервленил кровию мученической. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать!»

Семнадцать недель продержали его у Николы в студенной палатке, и не замерз он только потому, что являлся ему его ангел-хранитель и тепло в сердце вдувал. И случалось, царь подходил к темнице, вздыхал жалобно да и прочь отходил. Казалось бы, что общего между задумчивым, в науках сведущим, к чтению приверженным, богомольным царем Алексеем и звероватым язычником, воеводой Пашковым? А ведь и тому, и другому равно нужно было, чтобы взмолился Аввакум: «Помилуйте!». И Пашков разом отложил бы кнут и батожье, и царь отворил бы темницу, только запроси он пощады. По душе это им нужно или от чего другого? Просто и не ответишь... Пашков не своему делу служил — государеву. Не больно Тишайшего заботило, что казаки Пашкова от голода кобыльи кишки невымытые с ка-

лом пожирали, что мертвым зверям и птичьим мясам причастны стали, что кнутобойничал над ними Пашков без всякого удержу. Нет, Тишайшему земли за Байкалом надобны были, а как добывает их Пашков, ему и горюшка мало. И Пашков знал это и гнул напропалую. И еще Тишайшему надо было, чтобы на всем пространстве Великия, Малыя и Белыя России мертвая стояла бы тишина и покой, чтобы не разгибал спины пахарь, не озирали очами творящееся вокруг и не ждал помощи от неба. Где ожидание, там надежда, где надежда, там и стремление. А стремление бунтом чревато. И разве не берется за колья, косы и вилы то там, то здесь замордованный крестьянский и посадский люд? Разве не потрясли крепкий трон государев монахи Соловецкой обители, уподобившиеся воинству небесному?

Нет, не нрав свой потешить хотели великий царь и пес его лютый Пашков, когда ждали — Большой со вздохами и стенаниями, Малый с кровавой бешеной слезой — его, Аввакума, мольбы о пощаде. Был он им что рыба кость в горле — стала поперек, колет и глотать мешает. Не давал он им Русь проглотить. И веры в себя лишал. У них и войско, и оружие: пушки, ядра, осадные машины, мушкетеры и пистолы, мечи, сабли, бердыши, а у него только слово. А что такое слово — звук, дуновение, а вот поди ж ты!.. Он раз упрекнул Артамона Матвеева: «К чему зверуете? С теми, что меч поднимают, мечом и деритесь, а тех, кто лишь слово имеет, словом же и побивайте. А коли сами в слово не верите, нет у вас правды. Нешто Христос огнем и мечом истине путь пролагал? Нет, у с т а м и. Слабым уст шевелением богочеловек, свет наш, уловлял людские души и вел ко спасению».

А все же уважлив к слову был царь Алексей Михайлович. Куда менее Аввакума перед ним виновных отдавал церковникам на суд, расправу, кнутный бой, голов отсечение и сожжение в срубках, а писателя не уступил. Не плоть Аввакума, а дух сломить он хотел. Иначе не будет прямо

его сидение на высоком золотом троне, не покойны в деснице скипетр, а в шуйце держава, не прочна на главе высокая, расшитая алмазами и жемчугом шапка Мономаха и душна, как удавка, золотая цепь нагрудного креста. Вот какой затеялся спор между сыном спившегося деревенского попа и самодержавцем государства Российского, вторым царем из рода Романовых.

И, отстояв, отохав под стенами Аввакумовой темницы, царь совсем было решился отдать его в руки палачей, да царица отмолила его от смерти. Снова свезли его на худой телеге к Пафнутию и забыли о нем на время. Сильна была при царе царица, да не настолько, чтоб в государевы заботы соваться. Нарочно придумано сие было, чтобы знал протопоп — достиг он предела царева терпения.

Выдерживали его в Пафнутьевом монастыре без малого год, и вовсе неспроста. Ожидала его баталия великая на церковном соборе с вселенскими патриархами и многомудрыми богословами. Ожидалось, что светочи греко-православной церкви, зело в науках преуспевшие и даром витийного слова украшенные, сокрушат и повергнут в прах мужицкого попа. Славно готовили его к этому спору! Келарь Никодим завалил окошки и дверь, а топили келью по-черному, дыму идти некуда, к тому же смрад ужаснейший от сцанья и срания. Думал Аввакум, конец ему пришел. Да Господь милостив. Даже ангела-хранителя не стал посылать, обошлось обычным добрым человеком. Дворянин Иван Камынин был щедрым вкладчиком в обитель, его побаивались. Так он сам все разломал и дал узнику отдух. Когда же в отверстие окошко смрад из кельи наружу рванул, то шибануло спертой струей пролетавшего мимо воробышка, и он мертвым на землю пал, а куст пунцового чертополоха разом обвял. Протопопа же ответной чистой струей без чувств на пол повергло.

И вот поставили его в Кремле перед вселенскими патриархами: Макарием Антиохийским, Паисием Александрийским, Иосафом Вторым Московским, а при них еще сановитых голов сорок. После Артамон Матвеев, редкого

ума и странной грусти человек, будто провидел сквозь весь почет, пышность и удачу горестную судьбу свою, сказывал, как двоилось сердце царя Алексея в дни яростных сражений Аввакума с князьями церкви и светилами богословия. Ждал, сердешный, ох как ждал, что сломают они хребет Аввакумовой вере, а вечером в терему говорил царице, поглаживая густую темную округлую бороду длинными и сильными перстами: а наш-то мужичок нижегородский носом в лужу вселенских воткнул! Две души было в царе. Да нет, так не бывает. Одна душа — с лица государственная, как ад, страшная, с рубашки — домашняя, мягкая да теплая. Будь он не царем, а простым человеком, ему б цены не знали. Но он самодержавие, ему бы только усиливаться, вдаль и вширь ползти — на кой спрашивается, ляд? — и сок кровавый из людишек тягловых жать для силы власти своей и тех, кто возле трона. А зачем сила и власть и государства просторы безмерные, если нет добра и правды, если сир, наг, измучен, истощен народ? Нешто Россия — земля, Россия — человеки, неужто царю непонятно? Он же башковитый. А коли понятно, да все равно на свой угол гнет, значит, преступник перед Богом и людьми.

О чем бы речь ни заходила, об азах ли, как креститься — дулей или пятью перстами, как аллилуйю возглашать или о поучениях святых апостолов, срамил и на позор выставял протопоп всю их римскую блудню одной лишь верой, одной надеждой на свет Христа. И выходило: вера сильнее науки! Вроде бы и аза не умел протопопковать мятежный протопоп и даже имя собственное забыл, но выходил на ристалище, воспламенялось в нем сердце, и косил он от плеча несаяный плевел среди пшеницы. И все начетчики — с копытец долой! И со злобы, что сковырнул он их идолов, кинулись скопом бить его церковники. Но он их апостолом Павлом окоротил: «Убивше человека, как литоргисать станете?» Вот вам и по науке — враз откатились.

Спорили, бранились, руками размахивали, так что пот вструй за пазуху тек, а у протопопа на челе и дланях теле-

сная роса кровью окрашивалась, и трепетали вселенские, но ничуть не укротились злобой. Чаяли они через свою победу всю Русь под себя подобрать. Царь же супротив думал — через них еще шире силой своей распространиться. А тут распоп с выдранной бороденкой, нещадно битый, пытаный, осрамленный, поперек всех этих великих расчетов втиснулся.

В редком почете он тогда жил. Его со сподвижниками: старцем Епифанием и попом Лазарем, стрельцы в отхожее место с бердышами провожали. Такой чести самому царю не оказывали. Может, опасались, что вознесутся они со своих куч? Царь с царицей чуть не каждый вечер ближних людей за благословением к нему посылали. Артамон Матвеев, твердая душа, именем царя заклинал: «Соединись с вселенскими хоть какой малостью!» Ишь хитрые какие — царь с советниками! В малу дырку и море утечет! И он отвечал царю через Артамона Матвеева: «Аще умерети мне Бог изволит, с отступниками не соединюсь. Ты мой царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли, да и тебя проглотить сюда приволоклись! Я не сведу рук с высоты небесной, дондеже Бог тебя отдаст мне!»

И царь сказал: где бы ты ни был, не забывай нас в своих молитвах. И понял Аввакум, что царь прощается с ним. Так оно и оказалось. Вкупе с Епифанием, Лазарем и дьяконом Федором сослали его в Пустозерск, место болотистое, пустое, тундряное. Его с Москвы в целости отпустили, а им языки урезали. Кинули их сперва в избы, после в срубы деревянные, в землю вкопанные, в каждом срубе скважина-оконце, в него и пищу подают, и лайно извергают, на полу вода не просыхает. Окрут срубов тех ограда крепкая, за оградой стража зоркая. Почет или осторожность? Коли почет, так не заслужили, коли осторожность — так зряшная, бежать отсюда невмочно, да и некуда. А слову стены и стража — не препятство. И Аввакумовы, и Федоровы послания свободно слуха русского достигали. А если и осеклось напоследок у Федора-дур-

ня, то по его, Аввакумову, доносу. А с царем расстриженный протопоп твердым словом попросался: «Видишь ли, самодержавие! Ты владеешь на свободе одною русской землей, и мне сын божий покорил за темничное сидение и небо, и землю. Ты возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не сподоблюсь савана и гроба, но наги мои кости псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы: так добро и любезно мне на земле лежати и святом одиянну и небом прикрытым быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — Бог мне дал, а его ж выше того рекох».

И с правым, и с виноватым разделяется беспощадное время. Нету уже царя Алексея. По словам близких царскому семейству людей, чуть не до последнего дня читывал он вслух царице Аввакумово житие. А в иных местах отводил глаза от строк и наизусть, будто свое или из Священного писания, негромким, но звучным и глубоким голосом произносил. Особенно любил он описание роскошеств земли сибирской: «Лук у них растет и чеснок, — больше романовского луковицы и сладок зело. Там же растут и конопли благорасленные, а во дворах — травы красныя и цветы и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей, — по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерляди, и омули, и сеги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окяне — море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо на нем; осетры и таймени жирны гораздо, нельзя жарить на сковородке, жир все будет. А все то у Христа того наделано для человеков, чтоб, упокоясь, хвалу Богу воздавали. А человек... скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съест хочет, яко змия; ржет, зря на чужую красоту, яко жеребья; лукавит, яко бес; насыщаяся довольно; без правила спит; Бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не веь, камо отходит: или во свет, или во тьму, — день судный коегождо явит...»

А пуще того любил государь историйку про курицу-пеструшку, подаренную протопопу еще цыпушкой за то, что отмолил он и уврачевал от слепоты куров боярыни Евдокии Кирилловны, сердобольной невестки лютого воеводы Пашкова. Аввакум в сем деле на Бога надеялся, да и сам не оплошал. Куров он и святой водицей прыскал, и ладаном обкуривал, аж руку с кадиллом заломило, после сколотил из лесин новое корытце для пищи — и перестали слепнуть несущки, а тороватая боярыня отблагодарила целителя цыпушкой. «А та птичка одушевлена, божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или рыбки прилучится, и рыбку клевала, а нам против того по два яичка в день давала». Страшен для древлего благочестия был тишайший царь, и для крестьянства, и для посадского люда страшен, хуже царя Ивана, хоть тот грозен, а этот тих. Но не по нраву он жестоковал — по уставу власти своей. Читая же о доброй курочке, слезами прозрачными плакал.

И, думая сейчас обо всем этом, протопоп вспоминал казавшиеся ему прежде темными и даже глуповатыми рассуждения Епифания, что этой вот курочкой, да утицами, да сверчками, вниманием ко всякой твари, всякой малости, населяющей божий мир, отличен он, Аввакум, от всех причастных гусиному перу грамотеев России. По совести, Аввакуму чуть ли не укORIZНОЙ почудились тогда сии слова, а сейчас, у последнего предела, открылась ему глубокая истина частной похвалы инока.

Данилова велеречие, коему и он, Аввакум, порой поддавался, не впадая, впрочем, в непроворот, тьму и заумь древних акафистов, воспаряется в такие выси, что неразличимы оттуда мелкие подробности простой жизни. Потому ни цветка, ни пичужки, ни веточки не сыщешь у митрополита Даниила и других отечественных слово-слагателей. А что за жизнь без цветка, пичужки, веточки? Вот ведь и узники пустозерские в смрадном своем заключении радовались, как малые дети, и клочку сине-

го неба в оконце, и дикой утице, или гусю, или иной какой птице, мелькнувшей в отдали, и месяцу двурогому, и звездочке, и мошке или травинке, взметенной выпрь ветром. А земля из узилища не проглядывалась — больно глубоки были оконницы.

Тринадцать долгих лет! Сколько народу за сей срок отошло. Нету двух месяцев, двух ластовиц сладкоглаголивых, сестер Феодосьи Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных в боровской тюрьме, нету Федора-юродивого, принявшего мученическую смерть, нету Неронова, бедного отступника — да не судим он будет, — нету тьмы приверженцев старой веры — редко кто ушел своей смертью, — и вот уже старость подступила, и куда истратилось время? Ведомо куда — на противоборство.

Во все концы Руси летели его грамотки: и в Соловецкую обитель, дабы поддержать ратный дух у скромных иноков, опоясавшихся мечом и потрясших гордую державу царя Алексея, и в скиты, монастыри, в царские остроги, в патриаршие подземелья, к князьям и воеводам, боярам и дворянам, к черносозным крестьянам и посадским людишкам, к игуменам и чернецам, к духовным дочерям милым, ко всем ищущим живота вечного, и к семье многострадальной, и к царевне Ирине Михайловне, любимой царевой сестре, и к скромнейшей Маремьяне Федоровне, жене священника домово́й церкви княгини Анны Милославской. Одних надлежало поддержать, иных наставить на путь истинный, иных укрепить в гонимой вере, а кого и отругать без всякого снисхожденья. Как доставалось от него Феодосье Морозовой, любимейшей духовной дочери, когда занеслась боярской спесью перед Федором-юродивым, но и утешить ее в гибели любимого сына он один сумел. А сколько сил и гнева забрала борьба с Федором-соузником, блюющим на Святую Троицу. И с царями всевластными не прекращался у него крутой разговор. Нет, протопоп, не вышло у тебя разговора с Федором Алексеевичем.

А почему-то надеялся он, что молодой Федор склонит слух к приверженцам истинной веры, от молодых всегда чего-то доброго ждешь. Но, зная, сколь слаб духом и незрел умом этот отпрыск царя Алексея от первого брака и сколь властолюбивы, самоуправны родичи его по матери, Милославские, указал он ему и воеводу твердого да умного, чтобы помог перепластать всех никониан. Был ли рад и утешен князь Юрий Алексеевич Долгорукий, что узрел в нем пустозерский узник верного помощника для расправы с церковной блудней, сие осталось неведомо, царь протопопу не откликнулся, не в пример покойному отцу.

А ведь не в захожего молодца, в родного отца уродился Федор. Любо ему словес плетение, сам инова псалмы сочиняет. Ни к брашну, ни к вину, ни к девкам, ни к соколиной охоте не влечет молодого царя. Но и к Аввакумовой правде не преклонил он слуха, чуждо, отвратно прямое мужицкое слово выученику блудного байника Симеона Полоцкого.

Так и не достучавшись до государева сердца, зело расвирепел протопоп. На берестяных хартиях изобразил он царския персоны и высокие духовныя предводители с хульными надписаниями и направил в царствующий град Москву приверженцам старой веры. В день светлого богоявления, когда царь Федор с духовенством и свитой шествовал на Иордань, с колокольни Ивана Великого взметнулись голубями в морозное небо подметные свитки. Зело уязвленный лютого яда прелестью сих рисунков, вспомнил наконец-то царь Федор об Аввакуме.

Нет, не благовестом прозвучал пустозерским узникам хриплый, износившийся голос стрелецкого десятника, приказавшего им собираться и выходить.

А какие тут сборы-то? Сидели они в такой грязи и прелой духоте, что и одежда им была без надобности. Один крест на гайтане, от пота черном и почти истлевшем, — вот и весь их наряд. «Срамотники», — ругался десятник и велел кинуть какое-то тряпье. Аввакум так и не понял — ряса не ряса, халат не халат, вроде бы мешок с дырками

для головы и рук. А и такая одежда хороша, небось не в палаты царские и не в крестовую к патриарху зовут.

Ну, старец Епифаний, терпеливый сосрадник мой, тронулись в дорогу! Невелик, недолог путь, и пройти его надо без сраму.

Срам не в нагом грязном теле, как мнится стрелецкому десятнику — нешто узники виноваты, что их так худо соблюдали? — а в слабодушии. Никто не ждет, что выйдут они в шелковых мантиях или парчовых ризах, благоухая амброй, но вся Русь сведает о том, силу или слабость, красоту или гнусь духовную явили страстоносцы, и по ним о всех приверженцах старой веры судить будет.

И шестидесятидвухлетний Аввакум, полтора десятка лет просидевший в смрадном гноище, напрягся каждой мышцей, раздвинулся в каждом суставе, разъялся в позвонках и, весь заюнев, гоголем шагнул мимо посторонившегося стрельца к ветхому порожку.

Он вышел в малый простор тюремного двора, его шатнуло, чуть не опрокинув на мерзлую землю. Будто чем-то мягким, но увесистым шибануло под вздох и в голову. Он едва удержался на худых своих большестопых ногах, расхоженных тысячеверстыми сибирскими дорогами, — так вдарило после спертой и смрадной темницы свежим предвесенним духом. Эта ядреная, морозная, пронзительная струя ворвалась в черный спекшийся рот протопопа и омыла все его застоявшееся нутро. И когда прошло головокружение, утомонились круги и стрелы в очах, стал протопоп чистым, свежим, прохладным — не с лица, конечно, с исподу, — как часть пробуждающегося, мглистого, еще во власти ночи и зимы, но уже ощутившего вей апрельских ветров северного мира. «Вот, тринадцать лет невылазно населяли утопленные в земле срубы, и хоть бы что — молодцы молодцами!» — распространяя на друзей прилив доброй силушки, радостно подумал Аввакум.

Он оглянулся на «молодцов», и опять его шатнуло, затрясло, и мрак хлынул в зрачки. Господи, что же с ними

поделалось? А, Господи?.. Не верил себе протопоп. Может, извечный враг человеческий порошком каким в глаза сыпанул и скривил, изуродовал ему зрение? Да разве это люди выползли на свет божий? Сухие, темные стрючки, пустая оболочка без следа теплой жизни. Как дряхл, как безнадежно ветх инок Епифаний! Пепельная мертвая кожа, восщек и рта, голые немигающие глаза — неужто он еще и ослеп? С твердого, как кость, пятнистого черепа свисают длинные тонкие нити серых волос, лезут в глаза, в ноздри, в запавший рот, а Епифаний не замечает, не пытается ни отмахнуть, ни хоть отдуть докучный волос. А замечает ли он хоть что-нибудь округ себя? Или только истомным биением сердца еще принадлежит жизни?..

— Богоугодный старец!.. Отче Епифаний!.. Миленький!..

Ничто не тронулось в бескровном лице и слабой искоркой не пробило зрачков. А ведь казалось, что до последнего дня общались они со старцем. Аввакум делился с ним всем самым сокровенным, совета испрашивал, научения и вроде ответ получал. Одобрял и укреплял его старец. Неужто все это только в воображении Аввакума сотворилось? Выходит, он жил за двоих: за себя и за старца. Ведь старец, бедненький, и словечка вымолвить не может. С чего взял Аввакум, будто вернулась Епифанию речь? С чего наградил его новой рукой, когда из дыры в мешке свешивается плетью беспалая культяпка?

А ведь сколько раз писал и вещал протопоп о явленном Господом чуде — отрастании усеченных языков у всей троицы и обрезанных перстов Епифания! Да нет же, было чудо, было, разум сроду не отказывал протопопу, даже в самые горькие минуты. Значит, Господу для чего-то надобно отнять у страдальцев дареное, вернуть им первоначальный образ жертв. Может, для того, чтобы на том свете спросили они у собаки Никона: а где наша откромсанная плоть? Бог все с толком и значением делает, и, коли сама вера не сподобливает тебя к открытию истины, лучше не пытаться решать высокие загадки Творца слабым своим умишком.

Но что же ухайдакало так Федора? Осанистый, крупный, чреватый дьякон стал ровно уголек — махонький, черный, лишь с маковки пеплом обдутый. Неужто это я тебя сокрушил, науськав стрельцов забрать ересь твою окаянную и в огонь кинуть?..

Тяжко заломило душу Аввакуму. Как ни был он крепок в правоте своей, а знал, что не токмо с Федором, но и многими, многими единоверцами расходится в рассуждении Святой Троицы. И Епифаний-старец, опора его и посох, сердитую хулу за Федора гнул. И за донос, и за самое толкование божественного предмета. Ох, нет, протопоп, жалеть жалея страдальцев миленьких, но сбить себя с прямого пути не давай. И ради Святой Троицы не щади ни ближних своих, ни себя самого.

А Лазарь — поп, будто впрямь евангельский Лазарь, только не воскресенный Господом нашим Иисусом Христом, — изжелта-зеленый, трупный и вроде не в понятии. Федор-то уголек еще теплится, поблескивает живым взглядом из-под черно-седых бровей, а у попа взгляд погас, отрешился он еще дальше от земной юдоли, нежели инок Епифаний. Что ж, так-то и легче им — до небес полшага осталось.

И все-таки они еще принадлежат жизни, раз дышат, раз в груди стучит, а живые среди живых должны свой чин соблюдать. А ему — предстоять страдальцам. Ну что ж, сполняй последнюю службу, протопоп!

А ничего не хочется, только бы дышать этим апрельским воздухом, только бы чувствовать в гортани, в груди морозную его свежесть, только быть под этим мглистым небом, процеживающим сквозь хмарную пелену свет восходящего на бесконечный блистающий полярный день солнца. Земное зыграло в протопопе.

— Эх, щец бы хоть спроворили или гостинчик какой! — неожиданно для самого себя сказал он добрым голосом стрелецкому десятнику.

— Ишь чего захотел! — дернул тот шрамом. — В страстную-то пятницу!

— Так хушь без убоинки, с пустой капусткой.

— Разлакомился!.. Тебе, распоп, о божественном думать положено, а не о чреве.

— Что ты понимаешь, воин! — Аввакум усмехнулся тщете всех своих земных желаний, даже таких скромных, как горшочек горячих щец. — Иисус сладчайший тоже не воздухом питался и не акридами, он молочко из титечки сосал, а после хлебац ел, и мед, и мясо, и рыбку, и вино пивал за спасение наше. Не читал ты, воин, посланий Аввакума, темен ты и хладен, яко погреб.

— Эх, протопоп, дай мне меч, да поле, да ворога не трусливого, увидел бы, сколь я хладен!

— Значит, и тебе не сладко, стрелец? — усмехнулся Аввакум. — Сочувствую тебе, человек. А все ж с нами ты не поменяешься?

— Не поменяюсь, протопоп.

— Лучше измозгнуть заживо, стрелец, чем гореть огнем? — громко засмеялся Аввакум.

— Тебе о том судить, — холодно сказал десятник. — Ты и гнил, ты и...

— Нет, — живо перебил Аввакум. — Не гнил я, даже в смрадной яме сидючи, как ты на вольном воздухе, землей, морем и снегами пахнущем. Я всегда с человеком играл, а слово мое за тыщи верст залетало.

— А гостинчика захотел? — медленно проговорил десятник.

— Ты не глуп, стрелец! — опять засмеялся словно бы чем удивленный Аввакум. После испытанной им нестерпимой жалости к своим союзникам душой его овладела легкость, даже веселость, потому что и смертную жалость эту сложил к небесному престолу, не усумнился в милости Господней, не дрогнула в нем вера. — Оттого и захотел гостинчика, что люблю я людей и все от них приемлю.

— Зачем же злоязычествуешь столь усердно?

— Все от той же любви, стрелец. Спасти людей мне хочется.

— А сам-то вот не спасся!

— С чего ты взял? — прищурился Аввакум, и голос его пожестчал. — Я-то как раз спасся. — И отвернулся от стрельца. — Выше голову, братья! — воззвал он к живым теням, призрачно реющим в то наплывающем, то сплывающем тумане. — Небось не покинет нас Господь Бог. А мужу смерть — покой есть! — Он обернулся к десятнику. — Отведи своих людей, воин, и сам отыдь маленько, дай нам свершить последнее молебствие.

Десятник что-то хмуро бормотнул стрельцам, и они отсунулись к тыну. Сам он остался на месте, и не потому, что ждал худого от узников, но уж больно важным стало для него свершающееся на глазах. Под толстой черепной крышкой тяжело вызрело: я должен все видеть и слышать, люди спросят меня, коли чего запомнят. Именно люди, а не начальство — пустозерский воевода или царский посланец Лешуков. Но если б стали допытываться, какие такие люди, он затруднился бы ответом. Ну, люди-человеки — и местные, и захожие, и те, каких еще доведется увидеть, здесь ли, там ли, и те, каких, может, еще и на свете нету. Десятник не постигал, откуда у него эти мысли и что они значат, и тосковал в утробном сердце своем.

— Отыдь, воин! — загремел Аввакум. — Не то брязнутя по зубам, как Николай-угодник Ария-собаку.

Десятник мрачно глянул на крикуна и отступил на шаг. Не драться же с ним?.. Как он сказал: смерть мужу — покой есть? И самый бесстрашный воин не скажет лучше, чем этот похожий на воронье пугало старик.

— ...кости сожженных держат в честном месте, кажение и целование им приносят от страждавших за Христа — избавителя наших душ!.. Праведна и честна наша смерть в нынешнее огнепальное время!..

Вон как утешает!.. Да только кости ваши кинут собакам, грызущим от голода постромки нарт, и не будет вам ни кажения, ни целования!.. А вот и молиться почали. И, будь я неладен, шевелятся губы у живых мертвецов, шепчут слова

молитвы вслед за бесноватым распопом. А этот рыкает — аж до Мезени слышно. Он и не усиливается громким быть, так уж устроен — пастью, глоткой, грудью, чтобы греметь на весь свет. Такой голосина любую битву покроет. И хотя тощей тощего распоп, а нетрудно увидеть его в доспехе бранном, с мечом в ухватистой руке. Небось Пересвет и Ослябя были в том же пошибе. Неужто он впрямь не страшится того, что его ждет? Быть не может. Раз щец захотел, о гостинчике вспомнил, значит, все человечье при нем: и страх, и тоска, и ужас. Так отчего не выдаст он себя хоть самой малостью? Нет такой силы в человеке и быть не должно. Значит, тут другое. Он приемлет... Огнепальное время... В глухой ночи лишь пожары да костры далече видны...

Облобызались. Поп Лазарь чуть не упал, когда Аввакум выпустил его из объятий. Десятник сделал знак стрельцам. Те кинулись к осужденным и с обычной в таких случаях усердной грубостью — сейчас вовсе не нужной — принялись ломать им руки за спину.

— Прочь, собаки окаянные! — громыхнул Аввакум. — Сами дойдем...

Не положено осужденным самим идти — соблазн в таком смирении или такой гордости. Волочить их положено, локти выворачивать, ноги подрубить, вшащей толкать, осыпая отборной бранью, и знал десятник, что царские шиши, наблюдающие тайком из-за тына, каждое слово ловят, каждое движение примечают, но, вздохнув крутой грудью, велел стрельцам отпустить попишек.

И повлеклись бедолаги своей мочью к летнику. Шли, будто по воздуху плыли, шажков-то и не заметишь, но, колыхаясь былинками по ветру, как-то скрадывали расстояние между собой и темным срубом. И странный шорох, шепоток с тоненьким призвоном коснулся заросших грубым волосом ушей десятника. Так гуси, улетаая, вызвенивают, вспомнилось ему вдруг.

Это пели осужденные, без слов, недоступных их мертвым ртам, тянули, брусилы что-то невыносимо скорбное,

какое-то задушенное стенание, и непонятно, с чего так ликовали черные громадные глазищи яростного вожа их. Опять небось чудо ему грезилось — мол, райскими голосами возносят обреченные немцы хвалу Господу Богу, а хор ангелов вторит им с горней выси. Глупец, жалкий глупец!..

Слабосильная команда пересыпалась к сруб, и замыкающий хилкое шествие Аввакум, раздвинув руки, загнал их в сруб, как хозяйка по вечеру домашнюю птицу в курятник. И до того это было похоже, что десятник слышно гоготнул. И с этим сумрачным смешком представилось ему, что Аввакум тоже перешагнет сейчас порог сруба и он, десятник, больше никогда не увидит и не услышит этого непонятного, одержимого и притягательного человека. И, не думая ни о стрельцах, ни о государевых шишах, повинувшись чему-то важному в себе, важному, как меч, как сеча, десятник пал на колени.

— Благослови, отче!..

И если б Аввакум отказал ему в просимом, он задушил бы, разорвал его собственными руками.

Но спокойно, истово, будто иначе и быть не могло, протопп благословил звероватого стрелецкого десятника.

И, враз избавленный от внезапно наступившего его смятения и страха, сроду не испытанного ни перед битвой, ни в смертной схватке, ни в луже крови, натекшей из многих ран, повеселевший сверх всякой меры, десятник сказал, выкатив желтое яблоко увечного глаза:

— Ну, пойдем жариться, старик!

— Пойду я, а ты останешься, — почти сострадательно отозвался Аввакум. — Не про твою честь такая кончина. Ты не соришь — истлеешь.

— Я еще поиграю сабелькой, старик! — в том же странном возбуждении, избавлявшем от сострадания к обреченным, хохотнул десятник.

— И не мечтай! — отрезал Аввакум. — Отсюда тебе нету хода. Кто в палачах и в тюремщиках побывал, тому в чистом поле не гулять.

— Тяжело бьешь, старик... — будто рухнув с высоты, прохрипел десятник.

— Не я. Господь Бог. — И Аввакум, пригнувшись под притолокой, ступил в сруб.

За ним сыпанули стрельцы, дабы привязать осужденных к столбам. Десятник слышал, как они там топчутся по смолью и бересте. Когда они вышли, вслед им шибануло дымной вонью. Дверь завалили, но была узкая прорубка в стене, сквозь которую десятник мог следить за работой огня.

Сухо, весело, спора горели Лазарь, Епифаний и Федор. Хоть и сруб был костерок — какое топливо на севере? — да помогли мешки-рубахи, пропитанные огнепальной смолой. Не оставалось в скурых телах ни жира для вытопа, ни влаги, кою выпарить надобно, ни мяса на костях, а сухая пергаментная кожа, обтягивающая скелет, была огню что соломенная кровля. Обуглились, родимые, раньше, чем размычаться успели,

Иное дело Аввакум. Был он моложе соузников и несравнимо с ними крепок составом. Те почти не принимали пищи, так, поклевывали, а протопоп — хоть и худо — питал свою плоть. Он и Епифаниеву миску опустошал, и гостинчиком, случалось, пользовался. Слали ему от семьи, и от соловецких братьев, и от иных явных и тайных последователей старой веры когда пирожка, когда сальца, когда копчений, солений разных. Худой и тощий — чтобы обрести такой костяк, горы брашна надобны! — протопоп все же оставался мясным и кровяным, с ним огню нелегко было совладать. Да и рубище на нем не пропитано ускорительным составом. Так приказали...

Протопоп горел с ног, на низком, вялом пламени. Он стонал, ревел, закидывал косматую пегую голову с желто обгорелыми от искр кончиками длинных волос. И стрелецкий десятник, как некогда воевода Пашков, царь Алексей и патриархи вселенские — о чем, разумеется, ведать не мог, — томительно ждал, чтоб страдалец запросил пощады.

Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновными в тяжких против нее, власти, преступлениях? Может, потому, что власти нужна не преданность, не союзничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще — рабье. Тогда власть сознает себя силой. Для десятника покаянный вопль Аввакума означал бы возвращение бранного поля, сабли и бердыша. И когда терявший себя от боли протопоп заходился волчьим воем, десятнику мерещились седой ковыль, серые гладкие валуны на южном пределе Руси и золотисто вскипающая даль под копытами вражеской конницы. И он приподымался на крепком седле, вбирал в грудь пьянящего, мятой и полынью пахнущего воздуха, принимал в правую руку тяжесть сабли и посылал коня вперед. Из косо завалившегося глаза на шрам, заросший диким мясом, выкатывалась маленькая холодная слеза и солила уголок запекшегося рта. Но тут в лицо ударяло черным смрадным дымом, и был этот дым будто выдох Аввакумова рта.

— Ну же, сдавайся, поп! — не то про себя, не то вслух требовал десятник.

Но Аввакум не сдавался. Али боль его отпустила, али сам поборол муку, али пришло откуда-то остужение, но с дикой силой рванулось из дыма:

— Ужо будете в моих руках, выдавлю сок-то!.. Поник стрелецкий десятник, и перестало ему пахнуть мятой и полынью. И понял он, что отныне лишь этой сладковатой вонью будут смрадить его дни, остатние пустые дни жизни, в которой он все растерял, неведомо где и как: жену, семью, дом, коня, поле и самого себя, да и этого вот корчащегося на костре старика, который один мог дать ему что-то взамен утеряннго. Но кругом были шиши государевы, шиши патриарховы и самые кровожадные — шиши добровольные — навадники, были стрельцы, а среди них тот, кто только и ждал случая, чтобы занять место своего начальни-

ка. Как бы низко ты ни стоял, всегда найдется нижестоящий, алчущий заместить тебя, а рубленный в боях воин — он знал это теперь прозревшим и навек съжившимся сердцем — не обладал мужеством. Он не мог раскидать костер и спасти мученика.

Протопоп Аввакум и думать забыл об этом воине, ничтожном знаке недоброй житейской суеты. Земные образы, пронизавшие его муку и грозную осиянность, когда боль становилась нестерпимой и он будто переносился в иные пределы, эти исполненные света, чистоты и сладостной прохлады образы принадлежали тем, кого он любил после Бога сильнее всего: Настасье Марковне, детушкам, боярыне Морозовой и сестре ее Урусовой, Федору-юродивому, Неронову, дочери духовной Маремьяне, старцу Епифанию. Он силился им что-то сказать, хоть повторить некогда говоренное, он не помнил, кто жив из них, кто помер, да это и ничего не значило...

— Ластовица, помощница ко спасению!.. — взывал из черного дыма протопоп. — О вы, скрижали света, жезл Ааронов прозябший... две херувимы одушевленные. Не обижайте Федора... блаженны нищие духом!.. Дочь духовная, не уйдешь от меня ни на небо, ни в бездну!.. Грядет Господь грешников мучити, праведников спасати!..

Много еще выкрикивал задыхающийся протопоп, вроде бы бессвязно, но все имело прочную связь в нем самом. И все-таки, многожды думая об уготованном ему конце, рисуя в сильном своем воображении ждущие его муки, Аввакум не ждал, что ему будет так больно. А говорили, что смерть на костре не страшнее любой другой казни, даже легче. Человек вроде бы еще жив, и корчится, и даже глас подает, а уж сердце стало угольком и не живет, не болит. Да кто это мог знать?.. Когда же наконец обуглится его сердце? Нет сил терпеть... Господи, неужто ты оставил меня?.. Нет!.. Нет!.. Я все вынесу, только будь со мной!.. Господи, боля твоя!..

Он хотел сказать «воля», но оговорился «боля». Господь принял смиренную его оговорку и послал ему остужение.

Опахнуло протопопа, рассеяло дым на мгновение, и в тонком золотом лучике, пронизавшем тьму грядущего, узрел он тех, кто через века подхватит его слово и его подвиг. И сразу радостно затосковал о них Аввакум. С теми, кого он любил при жизни, он встретится скоро, с иными — лишь только кончится эта телесная мука и Господь примет его освободившуюся душу в свежесть рук своих, с другими — малость позже, когда придет их недалекий черед, но те, что подымут, оберегут и понесут дальше его слово, еще томятся во тьме предбытия, они родятся на свет божий еще ох как не скоро! И пройдут века-века, прежде чем он встретится с ними в раю.

Шиши царевы, шиши патриарховы, доносчики всех мастей, стрельцы, праведники, тайно пробравшиеся к Аввакумову костру, пустозерские жители и ставший сплошным ухом стрелецкий десятник, невесть кем обязанный сохранить всю память об исходе Аввакума, тщетно напрягали слух, трудили мозг, но так и не постигли последних слов, донесшихся из пламени. Мудрейшие царевы советники, думные дьяки, богословы и начетчики, толкователи снов, пророчеств, видений, даже чернокнижники, бывшие запанибрата с преисподней, не смогли перетолмачить последних зовов, заклятий Аввакума, прежде чем крохотная искра, пронизавшая его от пят до груди, обратила в уголек его вещее сердце.

С этого пустозерского пламени возжегся костер великой русской прозы.

НАДГРОБЬЕ КРИСТОФЕРА МАРЛО

— Если чума в Лондоне продлится хотя бы еще месяц, Дептфорд, несомненно, обретет высокий чин города, — говорил Кристофер Марло, актер и поэт, молодому аристократу по имени Кеннингхем. — Кабаки растут, как грибы, что ни день открываются новые гостиницы и постоялые дворы. Вчера зажегся красный фонарь первого публичного дома.

— Он скоро погаснет, — меланхолически произнес высокий, стройный, весь в черном, Кеннингхем. — Местным девкам не выдержать конкуренции нахлынувших сюда лондонских шлюх.

— Лондонских дам, хотите вы сказать.

— Это одно и то же, — небрежно уронил Кеннингхем. — Профессиональные шлюхи верны Лондону. Они там нарасхват. Чума неизмеримо повысила цену наслаждения. А дамы, нашедшие приют в Дептфорде, вознаграждают себя за утрату столицы языческой свободой.

— Да... — согласился Марло и притуманился, замолчал.

Они стояли посреди главной улицы селения, пыльного большака, заросшего по обочинам лопухами, подорожником, чертополохом, еще не распустившим свои пунцовые, душно пахнущие соцветия. Сельский вид улицы не соответствовал ее населенности, нарядности толпы, изысканным туалетам дам, обметавшим пыль Дептфорда атласными и бархатными юбками. Пересохшая в майское бездожде глинистая почва порошилась красноватым прахом, ярко окрашивая женские подола, головки мужских замшевых сапог, копыта лошадей,

колеса карет и телег. Гарцевали всадники, искусно горяча статных, тонконогих коней. За стеклами карет мелькали перья, меха, драгоценности, по гербам на дверцах можно было узнать самые громкие имена Англии. Каретам уступали дорогу, опасно сворачивая впритык к домам телеги, груженные мясными тушами, битой птицей, мешками с мукой, вонькой рыбой в бочках. Не в силах прокормить нахлынувшие толпы, Дептфорд скупал продовольствие в окрестностях.

— А что погнало сюда вас — Кристофера Марло, чувствующего себя в царстве смерти едва ли не уютнее, чем среди живых? — Кеннингхем улыбался редко, и узкая, неразвернутая улыбка неожиданно шла к его удлиненному, бледному до проголуби, как у всех рыжих, лицу проблиском далеко запрятанного мальчишества.

— Боже мой, Кеннингхем, театр бежал из Лондона, едва первая чумная крыса завертелась волчком. Вы же знаете, бедные, бездомные, отрешенные служители Мельпомены осторожны и пугливы, как олени. А что я без театра? К тому же я скоро заканчиваю новую пьесу и хочу ее тут поставить.

— Надеюсь присутствовать на премьере, — церемонно произнес Кеннингхем.

Марло знал, что слова эти продиктованы вовсе не пустой лобезностью. Едва ли был в Лондоне человек, так ценивший и понимавший драматическую поэзию, как Кеннингхем, никогда не прикасавшийся к перу. В последнем Марло был уверен, иначе Кеннингхем хоть бы раз проговорился ревнивой завистью. Но все его оценки отличала чистота искренности и бескорыстия, при живой, даже страстной заинтересованности, хотя спокойная, чуть меланхолическая, печально-важная повадка молодого аристократа, казалось бы, исключала всякое представление о сильном чувстве.

Но Кристофер Марло видел его куда пронизательнее, нежели другие люди из окружения Кеннингхема, принадлежащие к породе друзей-собутельников. Холод, достоин-

ство, важность не по годам — Кеннингхему не было и тридцати — защищали душу нежную и ранимую.

— А вы, Кеннингхем, неизменный председатель пиров в зараженном Лондоне, почему вдруг покинули ее величество чуму? Сюда доходили слухи, что вы поклялись хранить ей верность до конца, как некогда Вальсингам.

Бледные щеки Кеннингхема чуть порозовели.

— Что стоят клятвы в наше время? Мери вдруг захотелось жить. Вы помните Мери, Кристофер?

— Конечно! — воскликнул тот, и перед ним живо встал милый образ молоденькой девушки, почти девочки, которую Кеннингхем перед самой чумой привез из своего корнуоллского поместья.

Она была простолюдинкой, но, видно, голубая кровь Кеннингхемов подмешалась к алой струе, гулявшей по жилам ее предков. На округлом деревенском личике с матовой, не поддающейся загару кожей плакали без слез иссиня-черные, огромные, удлинненные глаза с поволокой. А рот, большой, нежный и вместе решительный, рисунком и цветом палевых губ смягченно повторял смелый рот Кеннингхема. Им хорошо и удобно целоваться, вскользь подумал Марло и почему-то вспомнил, что наложницу-певунью Вальсингама тоже звали Мери.

— Мери обнаружила, что любит меня, и захотела будущего. Но кто знает, не носим ли мы уже смерть в себе.

— До сих пор никто из беженцев не заболел.

— И это странно. Сомнительно, чтобы бежали только незаразившиеся.

— А если они потому и бежали, что здоровы? А те, в ком уже гнездится болезнь, лишены спасительного побуждения?

— Значит, Мери здорова, — задумчиво сказал Кеннингхем, — она рвалась прочь из Лондона. Она, такая покорная, тихая и... обреченная. Мне казалось, что ее уже поминала смерть и — природе вопреки — она решила вырвать для себя немного жизни и любви. Признаюсь, Кристофер, когда я целую Мери, то всегда вспоминаю слова Вальсинга-

ма из «Гимна чуме» о свежем дыхании девы, быть может, полном чумы.

— Неужели вы так боитесь смерти? Вы, черный председатель чумных пиров?

— Вы полагаете, я говорю о смерти из страха? Смерть — самый красивый символ Творца и самый непонятный. И мне с отрочества хотелось постигнуть его тайный смысл. Мне кажется, поняв это, я пойму все... На чумных пирах — ваше выражение — меня порой будто осеняло что-то. Еще бы немного, чуть-чуть и... Но вот этого чуть-чуть всегда недоставало. Я наблюдал окружающих, самого себя, если только возможно наблюдение над собой. И в сущности, не увидел ничего нового: разные степени страха, заглушаемого вином, бравадой, хвастовством. Впрочем, случались и взрывы истинного отчаяния. Это было глубже. Но даже чующие смерть в себе, верные кандидаты в покойники, ни словом не проговорились. В Лондоне злоязычили, что наши пиры разнузданны, оргиастичны, что все кончается чуть ли не свальным грехом. Возможно, тут сказалась память о шестьдесят пятом годе. Вальсингам допускал многое. Он хотел забыться. Потеря жены, потом матери что-то нарушила в нем. Но вы же знаете меня, — разве я позволю?.. Да еще в присутствии Мери. Конечно, были и поцелуи, и объятия, иные пары уединялись, но так происходит всегда, когда люди много пьют. И не в этом состоял смысл. Гости собирались и ждали, чье место окажется незанятым. Тогда подымали тост за выбывшего или выбывшую, отдавали должное погасшему человеку. Потом начинался пристойный, истовый пир. Кто-то пел, кто-то читал стихи, а кто-то беззвучно плакал. Порой смех сменялся стоном, шутка — криком боли. Но распускаться никому не позволялось. И тень вечности склонялась над нашим столом. Тон задавали — важность, достоинство, сосредоточенность.

И скука, добавил про себя Марло. По мне, куда лучше оргии Вальсингама. Недаром так бесились церковники!..

Марло не любил разговоров о смерти, ибо считал, что настоящая, действенная жизнь лита сутью до края, как задревная чаша вином. Потусторонний мир хорош для литературы. Марло не верил в него, хотя никогда в том не признавался. Загробная жизнь — поэтическая предпосылка, обретавшая под пером Марло пряный, густой аромат настоящей мускульной жизни. Он не соблазнялся раем, не боялся ада. Он верил в Океан. Там были бури и постигаемая беспредельность. Там, в глубине зеленых вод, обитали загадочные существа, неизвестные формы жизни и, быть может, потонувшие миры. Там были острова и земли, населенные страшными и прекрасными людьми с черной, как сажа, и красной, как вино, кожей. Там скрывались неисчерпаемые сокровища — золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Там возбуждался человеческий дух, подымался до подвига, безоглядного риска, разбоя, убийства. Но это — пена, сметаемая ветром с тяжелых океанских волн. А сам Океан, неукротимый, беспредельный, — чист и безгрешен. Омыть душу Океаном, что может быть прекраснее на свете!

— Я не участвовал в сражениях, — гнул свое Кеннингхем, — не испытывал морской бури, убийца не заносил надо мной кинжала, и самое сильное, что я испытал, — это чума. Лишь она дала мне подняться над обыденностью.

— О, Кеннингхем, — все еще во власти захватившего его образа произнес Марло, — чуму разносят крысы. А есть Океан!.. Кеннингхем с любопытством посмотрел на собеседника.

— Скажите, Кристофер, что для вас самое важное, самое главное в жизни?

Марло почему-то ждал этого вопроса. Он хотел повторить: Океан, но понял, что тут будет подмена изначальной сути чем-то производным. Ответить же надо было всерьез, без кокетливого сдвига.

— Поэзия, — сказал он со смутным ощущением неточности.

— Нет, — сказал Кеннингхем, — так мог бы ответить я, если б для меня не было самым главным — любимая женщина. А для вас — творчество.

Марло наклонил голову. Он не произнес этого слова только потому, что оно звучало высокопарно и стыдно в применении к себе, он безотчетно пощадил Кеннингхема. Возможно, любимая женщина и была для него главным счастьем, но главной мукой — творчество, вернее, отсутствие творческой силы. Приверженность Кеннингхема к поэзии не была любительской — платонически безопасной страстью ценителя, знатока, литературного гурмана. Нет, она горько отдавала осознанностью собственного бессилия. Бедный Кеннингхем!.. Но как странно, что бывает творческий позыв без способности к действию. Это все равно что родиться для полета с грудью-килем и воздухом в костях, но без крыльев. Жестокая и бессмысленная игра природы!

— А что самое главное в творчестве? — допытывался Кеннингхем с наивным любопытством мальчика, старающегося выяснить, кто сильнее — кит или слон.

Всякого другого Марло, не задумываясь, послал бы куда подальше, — он ненавидел «литературные» разговоры, — но не славного Кеннингхема. И он ответил серьезно:

— Верить в то, что ты пишешь. Тогда все получится, как бы невероятно, дико, даже глупо это ни выглядело в замысле. — Кеннингхем молчал, он ждал пояснений.

— Простите, что сошлюсь на собственный пример, но ведь себя лучше знаешь. Вам знакома немецкая лубочная сказка о докторе Фаусте?

— Конечно. Еще с детства.

— И ваше впечатление?..

— В детстве — чарующее. Позже — грубое, убогое... Да, а Марло взял эту глупую выдумку и возвел в ранг высшей поэзии. Теперь я понимаю, вы верите во все это, в возвращенную юность, в Елену... — И он тихо прочел:

Так вот оно, то самое лицо,
Что бросило на путь исканий сонмы
Морских судов могучих и сожгло
Вознесшиеся башни Илиона.
Елена, поцелуй меня. О, дай
Бессмертье мне единым поцелуем!
О, ты прекрасней, чем вечерний воздух,
Одетый в красоту миллионов звезд...
Лишь ты одна возлюбленной мне будешь.

О, ты прекрасней, чем вечерний воздух!.. — повторил он, с силой вобрав в легкие аромат летнего подвечера, принявшего в себя дыхание трав с лугов, молодой листвы, раскрывшихся цветов и осилившего вонь харчевен, колесной мази и навоза. — Смотрите, Марло, ваш Фауст, в отличие от своего прообраза, выбирает не Бога и вечное спасение, а Елену и вечность мига наслаждения. Значит, все-таки главное — любимая женщина?

— Мне трудно сказать вам «да», дорогой Кеннингхем, я еще не встретил своей Мери. Вернее, каждая женщина, когда я с ней, кажется мне Мери — единственной и вечной, простите, что злоупотребляю именем вашей прекрасной возлюбленной. Я без колебаний готов на смерть ради той, с которой нахожусь, но смерть не наступает, а жизнь незамедлительно уводит меня прочь. И не было случая, чтобы я пожалел об этом.

— Так, верно, и должно быть. Любовь — творчество неодаренных натур. Лишь здесь они могут подняться до Бога.

Можно сказать, что и чума была творчеством для Кеннингхема. Эти важные пиры, на которые допускались лишь избранные — аристократы духа, а не крови... Удивительно, что одно часто совпадало с другим. Казалось бы, людям, самим рождением поставленным над окружающими, избалованным, счастливым, труднее расставаться с жизнью, нежели пасынкам мира, а между тем последние зачастую проявляли куда больше жалкой растерянности перед лицом гибели. Наверное, расстаться с жизнью, не вкусив ее

сладости, труднее, чем изведав насыщение. Впрочем, едва ли это рассуждение справедливо. Что он знает о простых людях Лондона, тех, кто и в дни чумы продолжают тянуть привычную лямку, не одурманенные тяжелым вином, любовью, музыкой, извращенным тщеславием? Быть может, высшее мужество — в лачужках, а не в пышных декорациях, дающих приют красивой обреченности. Кстати, милый Кеннингхем и тут не проявил творческого духа. Он заимствовал и маску, и самую идею пира у таинственного Вальсингама. Конечно, он придавал всему отпечаток собственной личности, но все равно, если это и творчество, то эпигонское...

Разговаривая, они медленно двигались по улице в сторону базарной площади. Чуть не из каждой двери тянуло кислым запахом пива — добропорядочные домики превратились в распивочные, а их владельцы с чадами и домочадцами — легкой наживы ради — перебрались в сараи, овины, погребов. Но все равно не хватало места под крышей всем желающим залить внутренний жар, и, подобно знаменитой лондонской Пивной улице, с краю базарной площади раскинулась поднебесная пивная. Гигантские бочки стояли прямо на земле, в окружении лотков с копченой, вяленой, соленой, жареной рыбой, подсолонными ячменными хлебцами, оливками и моченым горохом. И жаждущие заливали в свою бездонную утробу золотистую благодать из четырехпинтовых оловянных кружек.

— Прекрасная тема — чума-созидатель, — со смехом сказал Марло. — Никакие победы отечественного оружия, успехи ремесел, открытия новых земель, завоевания и торговые союзы не обогащали так Дептфорда, как чума. Сколько новых зданий построено и строится, сколько увеселительных мест возникло, сколько денег и товаров притекло, сколько золота прибавилось в сундуках, как утончился вкус, облагородились нравы. Сейчас в Дептфорде — лучший английский театр, красивейшие женщины, изысканнейшие кавалеры. Дептфордцы узнали, что с обидчиком можно

расправляться не только с помощью дубинки, но и благородной сталью, что куда надежнее. И не обязательно обращаться к мировому судье в случае тяжбы, можно подослать наемных убийц. Они услышали модные песни, узнали новые игры и новые способы плутовства. Они впервые увидели Аристократа, Ученого, Поэта, Актера, Франта, Мота, Шулера, Авантюриста, Шлюху. Не знаю, завезут ли сюда чуму, но сифилис — непременно. Наверное, им трудно будет возвращаться к прежней сельской идиллии, отведав столь хмельного напитка. Я склонен думать, что селение уже погублено без чумы. Добрые дептфордцы развращены шальными деньгами, продажной любовью, азартными играми, пошлостью бивачных настроений.

— Позвольте! — засмеялся Кеннингхем. — Вы собирались произнести похвальное слово чуме. Чуме — созидателю. А свернули на скучное морализирование. Вы все-таки не любите чуму, Кристофер!

— Нет, — признался Марло, — хотя мне по нутру возбуждение, которое она с собой несет. Но смерть от чумы не имеет ничего величественного, даже просто привлекательного. Она мучительна, неопрытна, вонюча. Как источник гибели прекрасен Океан, он поглощает тебя без остатка, и ты не гниешь заживо, отравляя воздух. Ты скрываешься в пучине и, кто знает, быть может, очутишься в сказочном подводном городе.

— Почему вы не подались в корсары, Марло? Они обычно тем и кончают.

— Возможно, я еще сделаю это. Порой я чувствую такое напряжение жизни, что ни сцена, ни стихи, ни любовь не приносят утешения. И тогда я мечтаю об Океане.

Кеннингхем пристально посмотрел на Марло, на его сильное, поджарое тело, худое лицо с тонкими, раздувающимися ноздрями и трепетными ресницами, страстное, тревожное и незащищенное лицо человека, подчиненного какой-то тайной власти, и гибельное предчувствие сжало ему душу.

— Послушайте, Кристофер, мы живем в дурном, грубом, разнузданном мире. Высшая доблесть — не вступать в обмен ударами...

— Почему вы мне это говорите? — недовольно прервал Марло. Ему претили наставления даже близких людей.

— Не знаю. Мне хочется, чтоб до бессмертия вы как можно дольше топтали нашу несовершенную землю.

— А я и не собираюсь умирать.

— Не умирайте, Марло, прошу вас. Хотя бы ради меня.

— Скажите, Кеннингхем, — Марло улыбался, но в голосе его против воли пробились тревожные нотки, — вы так долго пробывали в царстве чумы, что, наверное, видите скрытое от других. Может, на моей шкуре уже проступили знаки болезни?

— Господь с вами! Просто я люблю вас и мне неспокойно.

— Напрасно! Знаете, что я сейчас сделаю? Пойду к своей любовнице и проведу с ней тихий, семейный вечер, достойный дептфордского обывателя.

— Боюсь, что у вас несколько ложное представление о досуге здешних обывателей. Но Бог вам в помощь. Постойте!.. — сказал он, заметив движение Марло. — Я слышал, в «Глобусе» пошла ваша новая пьеса «Тит Андроник», почему вы ничего не говорили о ней?

Всей судорогой мышц Марло тянулся к жизни, а Кеннингхем еще не утишил литературного зуда. Марло перешибил себя ради друга.

— По той простой причине, что у меня нет такой пьесы. И это уже не первый случай, когда мне приписывают чужое. Наверное, я мало пишу.

— А кто же автор?

— Некто Шекспир из Стратфорда на Эвоне.

— Ничего особенного?..

— Старые драмоделы перекрестили его в «Потрясателя сцены». Если начинающий автор с ходу вызывает зависть маститых коллег, он далеко пойдет. Я читал в списке

его поэму. Клянусь, Кеннингхем, о нас вспомнят только потому, что мы были современниками этого парня.

— Меня увольте. Я — современник Марло.

— Спасибо, Кеннингхем. Мой почтительный привет Мери. Приведите ее в театр на моего «Эдуарда».

Не плачь о Мортимере, этот мир
Презрел он и, как путник, прочь уходит,
Чтобы открыть неведомые страны!..

И он устремился прочь упругой, неслышной, кошачьей поступью, ловко скользя в толпе, запрудившей площадь, и вскоре скрылся из вида...

...Марло нашел свою возлюбленную в задних комнатах третьего по счету трактира, куда он заглядывал в поисках темных глаз, белой груди и звонкого смеха. Они условились встретиться в другом месте, но Катарина почему-то предпочла их последнее убежище.

Она сидела у камина, в кресле с прямой, высокой спинкой, вполоборота к жаркому огню. Крупная и плотная, Катарина постоянно мерзла, уверяя, что виной тому впитавшийся в кожу лондонский туман. Меж колен ее пристроился молодой человек, давно примелькавшийся Марло, хотя имени его он не помнил. Он постоянно натыкался на этого молодца в театре, кабаках, знакомых домах, — тот был, видимо, из хорошей семьи и всюду вхож. Ловя на себе частую его собачий взгляд, Марло относил молодого человека к скучной и докучной когорте поклонников. И сейчас, застав его в позе весьма недвусмысленной — он обнимал пышный стан Катаринины и ласкал ее полуобнаженную грудь, Марло в первые мгновенья как-то не придавал ему значения, сморгнул прочь, словно соринку. Он видел лишь Катарину, большую, праздничную, безмерно желанную, ее золотистые волосы и агатовые глаза, свежий рот и высокую белую грудь, которую она так охотно открывала ему навстречу. Он не осознал поначалу, что сейчас эта грудь открыта вовсе не в его честь, что Катарина нагло, бесстыдно прелюбодействует у того же огня, что еще утром согревал их

нагие тела, распростерты в блаженной усталости на залысой шкуре белого медведя. Он видел только свое желание, ставшее нестерпимым вблизи утоления, — столь полного он не знал ни с одной женщиной, — и с присущим ему самозабвением уже погружался в сладкий омут счастья, как вдруг непредвиденная помеха хлестнула его по глазам репьевой метелкой.

Ничтожная помеха, если б дело касалось другой женщины. Ничего не стоило прогнать этого щенка хорошим пинком в зад. Но он любил Катарину, сам не признаваясь себе в этом чувстве, любил, даже сделав окончательный вывод, что она законченная шлюха. Может быть, из-за этого он любил ее еще сильнее и обостренней. Она выдавала себя за знатную даму, попавшую в затруднительные обстоятельства. Как-то смутно тут участвовала чума, запутанное дело о наследстве, — Катарина носила вдовий траур, — козни врагов и судейская волокита. Она брала деньги с таким видом, словно намереваясь в ближайшем будущем не только вернуть все сторицей, но и озолотить своего любовника. Впрочем, что значили для нее его театральные гроши, когда она умело ошипывала таких вот богатеньких юных джентльменов, как этот Арчер, — вдруг вспыхнуло в памяти имя.

Марло привык иметь дело со шлюхами, их было у него почти столько же, сколько дам из общества, и он легко закрывал глаза на то, что давало им хлеб насущный, наряды и теплый кров. Он знал то выражение покорности и усталой скуки, с каким они отдавали себя клиенту. И гордился тем, что пробуждал в них бескорыстную женскую радость. Зачастую они вовсе не брали с него денег. Но эта дрянь умела совмещать корысть с наслаждением. Ее увлажненные губы были полуоткрыты, голова то и дело откидывалась назад, будто она подставляла лицо солнцу, а Марло слишком хорошо знал, что это значит.

— Мадам, младенец, которого вы угощаете грудью, несколько великоват, — произнес он звенящим голо-

сом. — Я думаю избавить вас от него. Защищайся, мерзавец! — гаркнул он и, выхватив из-за пояса кинжал, кинулся на соперника.

Фрэнсис Арчер неловко вскочил. Он был года на два три младше Марло, но выше ростом и много тяжелее. Рослый, плечистый детина, вскормленный деревенским молоком и маслом, сын разбогатевшего крестьянина-овцевода, выбившегося в джентри, не аристократ, не воин, не артист, не спортсмен, он оказался в неподходящей и крайне затруднительной для себя роли. На его благообразном, красновато-загорелом лице сменялись удивление, растерянность, испуг, жалкая надежда, что все происходящее окажется шуткой, горестная обида. Ослепленный гневом и ревностью, Марло все же успел заметить эту странную игру чувств, как и железное самообладание Катарины. В той не было ни растерянности, ни тени страха. Какая-то брезгливая досада растянула и утончила ей губы. А не поспевшие за злобным чувством агатовые глаза победно сияли.

Так вот оно, то самое лицо,
Что бросило на путь исканий сонмы
Морских судов могучих и сожгло
Вознесшиеся башни Илиона.
Елена!..

Тонкая, острая сталь готова была коснуться груди Фрэнсиса Арчера, пронзить ему сердце, навеки лишив возможности обнимать женщин, пить вино, покупать красивую одежду, ходить в театр, восхищаться талантом Кристофера Марло и хвалиться перед друзьями знакомством с великим человеком.

Что ни говори, Марло проглядел своего величайшего поклонника. Арчер был тяжело помешан на Кристофере. Некогда его манила сцена и он мечтал стать актером, лишь угроза отца лишиться наследства — весьма солидного — удержала его от решительного шага. Он увлекался поэзией и даже издал за свой счет небольшой сборник буколических стихотворений, не растопивших ледяных сердец современников.

Но его тяжеловесный дух не перестал томиться желанием славы. Где, когда и с чего пронзила столь неподходящая мечта сына богатого овцевода, остается тайной. Он не желал славы военачальника, морехода, проповедника или ученого, славы государственного деятеля, покровителя искусств или коллекционера, он хотел лишь славы Кристофера Марло, слагающего звонкие стихи и бросающего их с освещенной свечами сцены в потрясенный зал и за стенами театра остающегося таким же неистовым и прекрасным. Ему хватило трезвости довольно скоро понять, что на такую славу нечего рассчитывать. Он узнал, что Марло учился в Кембридже, следовательно, ему пришлось порвать со своей средой, чтобы стать актером. А он, Арчер, не смог расстаться ни с деньгами, ни с ласкающим душу званием эсквайра. И он смиренно решил: с него довольно и отблеска славы Кристофера Марло.

Фрэнсис Арчер не пропускал ни одного спектакля с участием Марло, он раздобыл списки всех его неизданных стихов, поэм, пьес и выучил их наизусть, стал бывать во всех домах и кабаках, где появлялся поэт-актер, ухаживал за теми же женщинами, спал с теми же шлюхами, сорил деньгами, одевался, как Марло, и так же заламывал шляпу, но никак не мог привлечь внимание к своей личности. С поразительной слепотой окружающие не хотели догадаться, на кого похож Фрэнсис Арчер. Возможно, вся беда заключалась в том, что ему не удалось стать достаточно близко к Марло. Он был слишком ничтожен, безличен, чтобы поэт заметил его. Не исключено, что порой Марло казалось, будто его тусклое отражение мелькнуло в зеркале, его тень скользнула в сумерках, его смех прозвучал в табачном дыму кабака. Но он не задерживался на этих странных впечатлениях, а другие люди, менее чувствительные и наблюдательные, вовсе не подозревали о потугах Арчера. Даже его имени никто не мог толком запомнить. В часы бессонья он с ужасом думал, что Фрэнсис Арчер, эсквайр, безнадежно канет в небытие, едва завершит свой безрадостный земной путь.

Не надо только думать, что Арчер любил Кристофера Марло и что к его тщеславным мукам примешивалась сердечная боль неузнанности. Нет. Кеннингхем, тот действительно любил Марло и всем существом отзывался его поэзии. Арчер же пьянел от шума вокруг прославленного имени, все остальное играло второстепенную роль. Он был жалок в своей прикованности к образу Марло, но не трогателен.

Почему он оказался здесь, у груди Катарини? Арчер последовал за Марло, когда тот понял, что не может остаться без театра в чумном и веселом городе, и стал нести свою службу подражания и сопутствия, как прежде. Он вовсе не был роковым человеком, этот Фрэнсис Арчер, эсквайр. И никогда не рассчитывал сыграть роль в судьбе Марло. Ему бы хоть немного отраженного света... Едва увидев ту, которую называли «последней любовью Марло», он почувал, что может небывало приблизиться к своему кумиру. Не очарованный, не отуманенный яркой красотой и небрежной повадкой Катарини, Арчер сразу разгадал в ней обычную потаскушку, ловко наживающуюся на кутерьме чумы. И Марло не поддался бы обману, если б не воспаленное время, возвеличивающее мнимости и унижающее истинные ценности. Людям почему-то нравилось водить самих себя за нос. Как женщина Катарина вовсе не привлекала его, Арчеру нравились маленькие сухощавые блондинки, но она была дамой сердца Кристофера Марло! Арчер быстро сумел найти к ней путь и договориться о свидании. Смысл всей затеи был в лестных слухах: «Слышали, Фрэнсис Арчер отбил любовницу у Марло». — «Какой Арчер? Театрал, немного поэт, славный мальи?» — «Он самый. Марло рвет и мечет. Но что поделаешь, красавица сделала выбор». Все это было упоительно. Смущало лишь одно — «рвет и мечет». Арчер слишком хорошо знал необузданный нрав поэта, чтобы воображать, будто тот хладнокровно примет случившееся. Но Арчер надеялся, что оскорбленная гордость поможет прозрению Марло, и тот не станет ломать копий из-за продажной твари. Хуже было бы

столкнуться нос к носу у Катарини. Тогда, без сомнения, Марло задаст ему знатную взбучку, а он не сумеет постоять за себя. «Вы слышали, Марло надавал пинков Арчеру». — «За что?» — «Застал его у своей любовницы». Ей-Богу, и это звучит не так уж плохо. Особенно если представить себе завистливую интонацию, с какой передается сплетня. А пресловутые пинки — всего лишь условное обозначение мужского столкновения. Считается, что обиженный муж или любовник всегда расправляется со счастливым соперником пинками, — таков устоявшийся фольклор, которому всерьез никто не придает значения.

Арчер не ждал одного — что в дело вмешается острая сталь. Он считал Марло слишком умным, великодушным, да и циничным для этого. Потому и мелькнула на его лице надежда, что все разрешится бранью, тумачом, шуткой и пониманием низкопробности происходящего. Ему невдомек было, что краплеными картами играли он и Катарина, но отнюдь не Марло.

Не знал он и того, что в подобных играх поэты всегда проигрываются в пух и прах. А ставка — их собственная жизнь, причем от противника они не принимают равной ставки. И вовсе не потому, что поэты безруки и неловки от природы в мире активного действия. Очень часто великолепная физическая оснащенность: сила, грация, точность жестов — отличают сновидца. Поэт безоружен перед противником по другой причине. Так было, так есть, так будет всегда. Сколько раз выходил поэт на ристалище с твердой рукой, безошибочным глазом, во всеоружии правоты, в сборе всего своего существа, а на носилках все равно уносили его. Поэту мешает нанести смертельный удар то, что лежит вне его физической сути и заведомо делает из него жертву.

Могуч, стремителен и упруг был не кошачий — тигринный прыжок разгневанного поэта, крепка, как кленовый свиль, мускулистая рука, привычная к мечу и кинжалу, молнией взблеснуло лезвие, но все это было лишь порывом, всплеском воды, головокружительным цирком.

А противостоял ему дюжинный человек, персть земная, обыватель, безмерно привязанный к своей шкуре. И когда сверкнул кинжал, в нем мгновенно прекратилась всякая игра, вытесненная угрюмой серьезностью самозащиты. Деревенский увалень, чье тело не цивилизовала спортивность, присущая лондонской молодежи, оказался сноровистее сухопарого, натренированного Марло. Тот — при всей искренности оскорбленного чувства — все-таки давал высокое представление на тему: любовь — ревность — месть, этот без дураков спасал себя, единственного — родное вместилище для пудингов, окороков, вина и пива. Арчер не пожелал той единственной славы, какой заслуживал, — пасть от руки Марло. (Ему это вовсе и не грозило, на самый худой конец — легкая рана, царапина, несколько капель крови.) Нужно было лишь побороть инстинкт самосохранения, и он стал бы человеком. Да куда там! Самозащита мгновенно превзошла грозностью нападение. С удивительной для его грузного тела ловкостью Арчер шархнулся в сторону и что есть силы ударил кулаком по локтевому сгибу руки Кристофера, сжимавшей кинжал. Рука мгновенно согнулась, и кончик лезвия угодил прямо в глаз поэта. Он рассек прозрачное тело хрусталика, проник сквозь глазницу в мозг, в драгоценное вместилище снов и слов, и пронзил нежный образ Елены — последнее земное желание и бессмертную мечту поэта. И все. Океан нахлынул и поглотил Марло.

Что было дальше? Грубая суета происшествия. Топот ног, женский визг, свалка. Какие-то доброхоты навалились на Арчера, ломали и скручивали ему руки. Совершенно напрасно, — потрясенный содеянным, он не думал ни бежать, ни сопротивляться. Потом его куда-то волокли, награждая затрещинами и пинками. А затем вступили в действие законы доброй старой Англии. Арчера отпустили под залог, в назначенный день судили и оправдали. Свидетели, а их оказалось неожиданно много, дружно показали, что подвергшийся нападению, безоружный Арчер лишь защищал свою жизнь. Да, это правда, если не заглядывать за

поверхность события. В конце концов Марло был всего лишь актеришкой и стихоплетом, а Фрэнсис Арчер — богачом и эсквайром.

Когда недолгое судопроизводство кончилось, Марло уже похоронили, и вдовствующая Катарина не прочь была продолжить столь бурно начавшееся знакомство с Арчером. Но тот даже не вспомнил о ней. Зачем она ему без Марло? Катарина была не в его вкусе. Он поспешил на могилу Марло. Им владело странное чувство к покойному, будто тот обманул его, оставил в дураках. Марло позволил глупо и бездарно, по ничтожному поводу убить себя и лишил Арчера той крупницы славы, на которую он был вправе рассчитывать. На само убийство Арчер не возлагал никаких надежд — поговорят, поговорят да и забудут. Он не без труда отыскал могилу за чертой Дептфорда. Ненавидевшие Марло церковники не разрешили похоронить умершего без покаяния актеришку на поселковом кладбище. Свежий бутор глинистой земли, обложенный зеленым дерном, был придавлен чугунной плитой. И с обмершим сердцем Арчер прочел надпись:

*Кристофер Марло
убит
Фрэнсисом Арчером
1-го июня 1593 года*

Бедный Кеннингхем хотел навечно пригвоздить убийцу к позорному столбу, но даровал ему бессмертие. Фрэнсис Арчер мгновенно понял это, и горячие слезы счастья покатались по его загорелому лицу. Отныне они неразрывно вместе — Марло и он. Так, об руку, пройдут они через годы и столетия, и всякий, кто придет поклониться праху Марло, поклонится и ему, Арчеру.

С глубоким умилением смотрел Арчер на скромный холмик и плиту — залог памяти вечной — на общей их с Марло могиле. Мог ли мечтать он о чем-либо подобном!..

Никто не срывает банк дважды. Фрэнсис за всю последующую жизнь не проявил себя больше никаким поступком. Да он и не стремился к этому. Дело было сделано, и он спокойно ушел в тень. Его не встречали ни в театре, где воцарился Эвонский лебедь, ни в кабаках, ни в излюбленных местах гуляний золотой лондонской молодежи. Он и вообще не появлялся в Лондоне. Купив дом в Дептфорде, он посвятил себя уходу за могилой Марло, которую мысленно называл «наша могила». Он посадил вокруг нее кусты жимолости и боярышника, поставил красивую чугунную ограду и удобную чугунную скамью, на которой проводил в сладком раздумье многие часы. Он приносил сюда свежие розы, зимой выращивая их в горшках, время от времени подсеивал траву, подсаживал цветы. До последнего дня своей долгой жизни не изменил он этой заботе. Он даже не потрудился оставить распоряжение о собственных похоронах. Ему было совершенно безразлично, где зароят его брэнное тело, коль еще при жизни обрел вечное успокоение под боком у Марло.

До сих пор в густой заросли — перепутанице многих дикорастущих, перевитых вьюнком и дроком, можно увидеть старую замшелую плиту — органическая жизнь внедрилась в чугун, обратив его поверхностный слой в почву и покрыв зелеными плюшевыми нашлепками, — и разобрать полустершуюся надпись:

*Кристофер Марло
убит
Фрэнсисом Арчером
1-го июня 1593 года*

Добросовестности ради следует сказать, что в нашем правдивом рассказе есть одна неясность. Председателя чумных пиров, друга Кристофера Марло, предавшего земле его тело, по одной версии звали Кеннингхемом, по другой — Корнуоллом, по третьей — Дорестом. В памяти потомков этому человеку, не совершившему убийства, повезло значительно меньше, чем Фрэнсису Арчеру, эсквайру.

БЕГЛЕЦ

Священник астраханской соборной Троицкой церкви Кирилла ТрEDIAKовский женил старшего сына, певчего Василия, против его воли. Шел молодцу уже двадцать первый год, от избытка зрелых сил кожа на лице лоснилась, из носа ни с того ни с сего кровяца хлестала, а сочетаться совокуплением брачным с достойной девицей нипочем, дурень, не хотел. В духовенстве рано женятся, ведь, коли не вступил в брак до положения в иерейский сан, быть тебе до конца дней бобылем. Разумеется, отец Кирилла видел своего старшего священником, которому по обычаю отойдет его небедный приход. Отец Кирилла полагал, что ждать того недолго, не потому вовсе, что ощущал тленное веяние близкой кончины, просто устал смертельно и плотью и духом, мечтал о постриге и тихом изживании остатних дней в блаженном покое монастырской обители. Отнюдь не скуден был его приход, а большая многодетная семья о. Кириллы если и не бедствовала, то сроду достатка не ведала. Другой бы поп благоденствовал на его месте — среди прихожан, помимо рыбаков и работной мелюзги, были люди весьма зажиточные: лавочники, владельцы стругов и неводов, средней руки купцы, подьячие, губернские канцеляристы. В попе у всех нужда: то венчание, то крестины, то освящение корабля, лавки или нового дома, то панихида — о. Кирилла не мог на Боге наживать, оттого и заслужил презрительную кличку: «дешевый поп». Хотелось верить, что, унаследовав отцу, молчаливый, затаенный, непонятный нравом первенец Василий будет не столь тороват и выдавит сок из прижимистой паствы. Тогда и вспомнят они «дешевого попа», шепетильного о. Кириллу, которому сей-

час, дабы прокормиться с семейством, приходилось огород держать, а также яблоневый и виноградный сад.

Огород начинался сразу за домом и полого сползал к реке Кутуму, и, хотя мужчины семьи ТрEDIAKовских вламывали там, не щадя живота своего, зареченскую землю пришлось отдать за долг в сорок восемь рублей Осипу Плохому, государева рыбного приказа ловцу. Бог шельму метит, не зря носил ловец осетров и стерляди поносную фамилию — ободрал как липку бедных людей за не больно важный и вполне терпимый при его недостатках долг. Тому уже три года, а семейство о. Кирилы так и не оправилось, тем паче что оставшийся им огород кормил плохо. Засухи донимали. Из года в год, каждое лето пересыхала, трескалась и порошилась земля, и, как ни бились о. Кирилла с сыновьями, не могли ее досыта напоить..

Но все же жили, не помирали, ели хлеб, а по праздникам — пироги с рыбой. И если свадьбу старшего сына сыграли на удивление скромно, то не от бедности, — вполне по силам было самолюбивому о. Кирилле побогаче учинить праздник, да не лежала душа к щедрости, когда чуть не силком загнал сына под венец. Не хотел жениться обалдуй, учиться хотел! Мало ему, что десять лет протирал штаны в школе католических монахов-капуцинов, а попал туда, уже грамоте зная, он в Киево-Могилянскую академию наладился и даже, тихоня скрытный, паспорт в губернаторской канцелярии получил. И словечка никому не сказал. Случайно канцелярист Волковойнов, что документ выправлял, на крестинах у судовладельца Фроликова о. Кирилле проговорился. Не то что проговорился, а поздравил с башковитым сыном, столь сильное к наукам тяготение имеющим, — думал, канцелярская душа, что с родительского соизволения тот в Киев отбывает. А разве можно, не спросясь родителей, паспорт выдавать? Сын зело еще юн, не может своим разумом жить. Знать, капучины, продувные бестии, имели и при вице-губернаторе Кикине сильную руку. Сам-то Василий был до того прост и неловок, что никогда б такого не учинил..

Кирилла Третьяковский вовсе не был врагом образования, в юные годы он и сам почитывал отцов церкви, прикасался к Даниилову велеречию, даже красноглазого Квинтилиана открывал, благо владел начатками латыни, но тяжкие семейные заботы рано оторвали его от книг и заставили жить ради хлеба насущного. Не видел он иной судьбы и для своего первенца. Ученость хороша, когда человек знатен и богат, как князь Дмитрий Кантемир, проезжавший с царем Петром через Астрахань в Персиду да и занедуживший здесь, а простому человеку она без пользы, даже во вред, ибо отвлекает от серьезной внешней жизни, набивает голову лишними, отягощающими мыслями, а то и вовсе губит. Слишком много узнавший бедняк беспрерывно или с круга спивается, или в ересь впадает, или в крамолу, или из ума выходит. Попадались не раз о Кирилле такие людишки, что, обожравшись непереваримой пищей книжной мудрости, превращались в блаженненьких или чумовых. Бывали, конечно, счастливцы, хотя бы знаменитый Никон, что из забытой Богом Мордовии взлетел на патриарший престол. Так ведь у Никона, помимо великой учености, был еще особый талант к власти, к подавлению слабых человеков и уловлению сильных, чего в собственном сыне о Кирилле никак не просматривал. Но и Никон, до чего уж кряжист и могучен, а и тот плохо кончил. Перемудрил, сердешный, хотел от великого ума и познаний выше головы скакнуть и в заточение угодил. Конечно, при царе Петре простой человек мог на высшую точку взойти не книжной ученостью — для того голландцы и немцы водятся, — а ратной доблестью, или особым дарованием в гражданских делах по части заводов и мануфактур, торговли и ремесел, или счастливым умением влезать без мыла в любую щель, втираться в доверие к власти имущим, что дает человеку самый быстрый и верный успех. Ни к чему перечисленному его бесхитростный и неуклюжий сын расположения не выказывал, был он начетчик, грамотей, книжный червь, и ничего больше. Не светила ему и блистатель-

ная судьба попа-пиита — хитролиса Феофана Прокоповича, ставшего столь близко к особе государя императора. Куда там! Стало быть, надлежит ему идти проторенным путем поповского сына и дурость ученую из головы выкинуть.

Прослышав о паспорте, о Кирилла твердой, привычной к лопате и мотыге рукой вразумил сына. Тот по обыкновению и не пытался оправдаться, молча снес наказание, отсморкал кровь, лишь в тускло-голубых глазах прибавилось сонной мути. Никогда не мог понять умевший читать в человеческих глазах о Кирилла — на исповедах обучился вылавливать истину в темени ускользящих зрачков, — о чем думает его первенец. Гонишь его на огород — книгу в сторону и послушно трусит к грядам; гонишь на виноградник или по иной надобности — та же безропотная покорность, но мнилось о Кирилле, что внутренним согласием сроду не отвечал ему сын. Не было в нем ни любви к родителям, ни жалости к братьям и сестрам; даже тихой, запуганной, безответной матери не уделил он хоть крохи душевного участия. В великую досаду о Кирилле был вечный заячий страх его жены, переходивший в болезненный ужас, стоило ей чем-то «не угодить» мужу. А ведь суровый, резкий, скорый на расправу о Кирилла не только сроду ее пальцем не тронул (сынов бивал, дочерям костяшками перстов в лоб тыкал, служкам рассыпал затрецины), но и голоса на нее не повысил. Как почуял в своей невесте, светленькой, беленькой, голубоглазой, до слез умильной, эту необъяснимую душевную робость, так и объял ее, как мехом пушистым, своей добротой. Но знала тихая его жена, что есть в нем и другая душа: крутая, нетерпячая, ожесточенная худой жизнью, и, будто не веря надежности окутавшего ее тепла, вечно тряслась, не согреваясь. Видать, унаследовал Василий что-то от материнского кроткого, невольного и необоримого упрямства. Безмолвно подчинялся он отцовой воле, но правоты его не признавал. Отец Кирилла догадывался, что жена в тайниках души держит сто-

рону сына; будь ее воля, она оставила бы Василия при его пустых и неустанных занятиях. Но тут ее воли не было, и о. Кирилла беспощадно гнал сына то на церковные хоры, то в огород, то в сад, то на пасеку. И всю судьбу Василия решил он единолично, даже сам ему невесту подыскал — дочь сторожа Астраханской губернской канцелярии Фадея Кузьмина — Феодосию.

При невидном своем положении был Фадей Кузьмин человеком довольно зажиточным. Видать, умел он то, чего вовсе не умел о. Кирилла, недаром же говорит народная мудрость, что не место красит человека, а человек — место. Кажись, чего стоит канцелярский сторож перед священником городской соборной церкви? Ан стоит! Фадей отвалил за дочерью такое приданое, что Третьяковским и не снилось. Он хотел и на свадьбу денег дать, но о. Кирилла наотрез отказался: «Свадьбу в нашем доме играем, по нашим средствам. А тебе ведомо, что не за княжича дочь отдаешь».

И странно, все вроде бы по воле о. Кириллы вышло: сын остался дома — при церкви и огороде, учению предел положен, уже и свадьбу назначили, а там само покатится, как по гладкому льду, но тревога и смута терзают душу. Не видел он мысленным взором сына священником и места своего преемником, никак не вырисовывалась приятственная эта картина. Порой ему казалось, что сын и вовсе в Бога не верует, а если и верует, то на какой-то свой, особый лад. Даже когда он пел в церковном хоре, мутно-голубой взгляд не оживлялся теплой верой, душа его отсутствовала в храме. Это причиняло немалые страдания о. Кирилле, но еще сильнее угнетало его в сыне другое: тихоня, послушный, безответный увалень с круглым невыразительным лицом, помеченным двумя бородавками, и плотным — где только нагулял жирок-то! — телом не был просто затененным упрямым, а человеком о д е р ж и м ы м. Вот что страшило о. Кирилла и заставляло сомневаться в прочности всех своих побед. Потому и свадебное торжество обставил он

не по-русски скудно. Да будет ли толк из этого брака, верно ли, что охомутал он Василия, навсегда привязал к клочку нещедрой астраханской земли, где жить и жить Тредиakovским до скончания века, передавая от отца к сыну приход соборной церкви?

Но ведь редко владеет человеком какое-то одно безраздельное чувство, обычно рядом теплится другое, порой прямо противоположное. И в о. Кирилле, вопреки убежденности, коренящейся в большом и горьком душевном опыте, знании людей и смирении перед своей несчастливой звездой, таилась надежда, что все еще образуется и найдется управа на одержимого демоном бесцельного познания попovichа.

Такой управой, хотелось верить, станет молодая жена Василия. Отец Кирилла знал Феодосию еще девчонкой — жили по соседству, — голенастой, конопатой, сопливой; мелькала она ему и подростком, когда о существовании женского пола вовсе судить невозможно: и в ангела, и в черта равно может вылиться зыбкий комок плоти. После Кузьмины переменили местожительство, Феодосия о. Кирилле более не встречалась, но краем уха он слышал от людей, не вникая в толки, что дочка канцелярского сторожа, войдя в девичий возраст, расцвела редкой тонкой красотой. Однажды на улице о. Кирилле низко поклонилась девушка в пуховом астраханском платке, который она придерживала узкой белой рукой у горла. Отягощенный вечными заботами, о. Кирилла рассеянно кивнул в ответ, но вдруг, повинувшись внутреннему толчку, обернулся и уставился ей вслед, что и для мирянина не больно пристойно, а для духовной особы вовсе дико.

Стройна до хрупкости, гибка станом, легка поступью, не торопливо семящей, а плавной, летучей, и о. Кирилла пожалел, что не углядел ее черт. Но что-то помнилось — жаром на скулах, будто пронесли мимо самого лица горящую восковую свечечку, — взгляд мимолетно-пристальный ее ярких медовых глаз. «Не дочка ли это сторожа Кузьми-

на?» — осенило вдруг о Кириллу, и странная печаль сдвинула сердце.

Она самая и оказалась. Отец Кирилла сразу признал ее, когда года через два явился в дом Кузьминых. Конечно, она изменилась: сохранив деликатность сложения, уже не казалась хрупкой, непрочной, была в ней какая-то тонкая и ловкая сила. «Такую не задует, как свечечку, — с удовольствием подумал о Кирилле. — Крепенькая!» Чувствовалось, что узкая белая рука ее с длинными перстами ухвати-ста к любому предмету, будет ли то игла, печной рогач или мужний ворот. А личико на образ просится, такая чистота и строгость нежных черт, вот только взгляд медовых, золотистых глаз совсем земной: веселый, горячий, ласковый.

И поугрюмел о Кириллу: с какой стати пойдет краса писаная Феодосия за его обалдуя, что ни наружностью, ни обхождением не взял, о богатстве же и говорить не приходится. Фадей Кузьмин заранее предупредил через разговорную женщину, занесенную к нему на предмет прощупывания почвы, что породниться с семейством о Кириллы почтет за честь, но дочь неволить не станет. Это объяснило о Кириллу, почему Феодосия, завидная невеста, подзадержалась в девках. Конечно, к ней сватались, иначе быть не могло, но, знать, не по сердцу были ей женихи. Девушки, известно, разборчивы и, коли родительская воля не понуждает, готовы весь век выбирать и кобениться. Но чем может привлечь Феодосию вечный школяр, заучившийся до одури бедный попович? Правда, был его Василий своего рода местной достопримечательностью — его отметил сам царь Петр, когда останавливался в Астрахани. Любящий собственноручно вникать в каждую малость, потребную, как ему мнилось, для русской пользы, Петр Алексеевич не только облазил все верфи, коптильни, солеварни, складские помещения, но и пожелал увидеть юных латынщиков. Из всех них царь удостоил вниманием одного лишь Василия. Заломив ему на лоб русый чуб, Петр долго вглядывался в мутно-голубые, серьезные, терпеливые глаза юноши и, толк-

нув его в лоб широкой дланью, произнес то ли в похвалу, то ли сожалеюще: «Вечный труженик!»

Никто не понял, что имел в виду царь-человекознавец, и о Кирилла тоже не понимал: добро или беду сулит сыну царево предсказание. Труженик — вроде бы хорошо, худо, коли бездельник, а «вечный» звучит приговором, значит, не будет ему отдохновения от трудов праведных, не вкусит он заслуженного покоя на склоне лет. Но это уже о другом, как-никак, а царева отметина легла на его сына. Правда, мало вероятно, чтобы двусмысленный знак царского внимания мог расположить к Василию незанятое сердце Феодосии. А впрочем, кто знает! Вон князь Кантемир, оставший от царского обоза по причине болезни, заинтересовался трудолюбивым юношей и велел привести к своему одру. Между свергнутым господарем молдавским и бурсаком состоялась долгая беседа, и, хотя князь никакого места Василию при своей особе не дал, тот сдружился с его домашним секретарем Иваном Ильинским, человеком в годах, большой учености и немалого веса. Может, и впрямь что-то было в нелепом Ваське?..

Похоже, что было, — к великому удивлению и радости о Кириллы, красавица Феодосия сразу ответила согласием на брак с его первенцем. «Я Васю еще мальчиком помню. Тихий, задумчивый. Сроду с ребяташками не дрался и не играл. Ни на кого не был похож и вроде таким остался». То была суцая правда.

Маленький, он от мамки ни на шаг, а как грамоте успел, так книжками от всего мира отгородился. Нехристианской злостью распалялся о Кирилла, видя, каким рохлей, тюфяком, бабой растет его первенец. В нем не было ничего мальчишеского. И постоять за себя он вовсе не умел. В школе католических монахов дети были как дети, зубрежка не мешала им возиться, драться, гонять голубей, купаться, рыбалить, а позже баловаться вином и табаком. Ни в чем таком сроду не принял участия Василий. Если его задевали, отходил в сторону, обиженно сопя, на тумак ежился,

а получив по сопатке, задирали лицо кверху и терпеливо ждал, пока уймется кровь. А ведь не заморыш: широк в груди и крестце, с большими руками, окрепшими в огородной работе. «Чего ты сдачи не дашь? — вопреки евангельскому поучению о правой и левой щеке, донимал сына о. Кирилла. — Ты же пареш». — «Я не такой пареш», — тихо звучало в ответ. «А какой?..»

Сын приоткрылся много позже, уже юношей. Однажды в присутствии о. Кириллы он заспорил с однокашником о смысле какого-то стиха Феофана Прокоповича. Предмет спора не интересовал о. Кирилла, но поразило упорство, с каким сын отстаивал свое мнение. Под его сокрушительным напором противник, добродушный лохмач, быстро растерял все позиции и мечтал лишь о почетном отступлении. Но, не щадя самолюбия друга, Василий топтал его ногами, требуя полной капитуляции. В нем не ощущалось ни торжества, ни злорадства, но то, что он отстаивал, было для него важнее и дороже всех дружб на свете. Без колебаний мог он пожертвовать единственно близким человеком ради нескольких рифмованных строчек, пропади они пропадом! Вот тогда-то нашлось у о. Кириллы еще одно слово для сына, кроме «одержимости», — «избранность». Люди живут по случаю и обстоятельствам, по обычаям и правилам, по указке старших или по выгоде и еще по чувству, а Василий, похоже, находится в ином подчинении, и житейские уставы не властны над его душой.

К чести душевной трезвости о. Кириллы, он недолго задержал сына на горней высоте, куда того вознесло тайное родительское честолюбие, тлеющее под душным навалом нужды и разочарований. Избежав соблазна даже мимолетной надежды, он сразу вернул сыну обычные прозвища: «обалдуй», «недотепа», «балбес», «книжный червь». Но вот на него пахнуло не привычным — густым, едко вонючим от рыбы, соли, кож астраханским воздухом, а благоуханным веем ангельских крыл. Освежающий этот ток родился в нечаемом и необъяснимом согласии Феодосии.

Знать, был некий свет за широкими плечами сына, если чудесная девушка готова связать с ним свою судьбу.

Все было проще, нежели мнилось о Кирилле. Наделенная ясным разумом и прямой душой, Феодосия знала, что пришла ее пора, ей надо замуж, если она хочет прожить добрую женскую жизнь. Нет ничего жалостней и ничтожней застарелых дев, а угроза одинокого векования уже нависла над ней. Ей нужны любовь и ласка, и самой нужно изливать на кого-то свою нежность. Быть только нежной тятенькиной дочкой она уже не может. Но сватавшиеся к ней молодые люди отвращали ее или ранней порчей, написанной на притворно постных рожах, или алчным юношеским возделением. Нечистота помыслов хорошо уживалась с косноязычием, томительной мозговой ленью, запахом табака и сивухи. Случались среди искателей ее руки и ражие, смекалистые молодцы с хорошо подвешенным языком, но пугала их ранняя самостоятельность и уверенность в себе. Феодосии хотелось подчиняться мужу, все делать для него, ноги мыть и воду пить, но лишь по собственному усмотрению. Лаской и добротой из нее можно веревки вить (так поступал и собственный батюшка), но против малейшего понуждения, нажима ее кроткая и сильная душа мгновенно восставала.

Она с детских лет расположилась к тихому, безответному поповичу. Встречался он ей и в более поздние годы, ничем не испортив впечатлений о себе. Нравилось и его пристрастие к книгам, хотя сама она, зная грамоте, читать не любила. Да и внешность Василия не была ей противна. Конечно, без бородавок лучше, но куда их денешь, коли Бог наслал, а так он кожей чист, скроен ладно и крепко, и покоем веет от крутого просторного лба. Она знала, что сможет легко привыкнуть к нему и даже полюбить чистого и задумчивого человека.

Прими сын хоть с каплей благодарности известие о своей женитьбе, и о Кирилла завернул бы такую свадьбу, какой еще не видывали в астраханском духовенстве. Ниче-

го бы не пожалел, дом с участком пустил бы в заклад, а семью — по миру. Но Василий всем своим паскудно-смирненным видом как бы говорил: воля ваша, батюшка, коль прикажете, женюсь хоть на чумичке, хоть на метле. Ишь, гусь! Старик отец высмотрел ему такое диво дивное, чудо чудное, а он рыло воротит. Ну, раз так, то нечего фейерверки жечь. Справим по-бедному. Конечно, всякого брашна наготовили вдосталь, не бывает иначе в русском православном доме, и напитков хватало: Яков, младший брат Василия, столько зелия в себя принял, плясь на новобрачную, что под стол скатился. Его уволокли, и свадьба продолжалась тихим, степенным манером. И все же навсегда запомнился о. Кирилле этот скромный праздник как божий подарок, как самое красивое, что было на его веку. И причиной тому — молодая. До того хороша, ангелоподобна была она в белых своих одеяниях, — жаль, что реюшую облачком над нежной главой фату сняли после венца, — пленительна каждым небыстрым движением, и так блестяли ее золотисто-медовые очи, так доверчиво и нежно приоткрывались в полуулыбке розовые уста, что молодое сердце старого попа плакало от неизъяснимого и печального восторга.

Он все время, еще с церкви, ревниво и недобро наблюдал Василия. И уловил мгновение, когда этот истукан дрогнул, прижмурил свои мутные глаза, будто их ослепило. Невеста коснулась его руки, надевая кольцо, и он в грозной близости увидел ее источающее свет лицо. Но тут же снова впал в сонную одурь, послушно и вяло делал все положенное, а за свадебным столом вел себя так, будто по обязанности замещал кого-то запозднившегося. И когда кричали «горько», он всякий раз оглядывался, ожидая, что явится тот, чье место он занимал за столом, и получит следующее по праву. Но никто не являлся, и Василий, подавив вздох, деревянно поворачивался к молодой. Она уже ждала, доверчиво и грациозно протягивала сложенные ковшиком ладони, брала в них его лицо и, вытянув губы трубочкой,

целовала в краешек рта. Отец Кирилла остро завидовал сыну и клял его на чем свет стоит за холодность.

А Василий не то чтобы оставался холоден к прелестной девушке, возникшей словно из воздуха и нареченной его женой, он просто не верил в свою причастность свершающемуся. Батюшка затеял очередное дело, кажущееся ему выгодным, сколько уже таких дел было: то землицы подсад и бахчу подкупит, чтоб вскорости за полцены спустить, то пай на невод приобретет, подгадав под сезон, когда осетры перестают ловиться, то стащит мукой скопленные гроши какому-нибудь оборотистому коммерсанту, прогоревшему в пух и прах, о чем ведомо всем астраханцам, кроме умного, истинно умного, но безнадежно попутанного горячим, заносчивым нравом о Кирилле. И это его предприятие: женить сына, намертво привязать к Троицкой церкви, огороду и саду, ко всей здешней темной и грустной жизни — тоже прогорит, как все другие прожекты. Ведь должен Василий учиться, должен все узнать и понять про слова. Зачем ему это нужно, Василий никогда не задумывался: зачем дышать, есть, воду пить. Просто без этого человек не мог бы жить. А ему еще одно условие невесть кем наказано: знать все про слова. Это не такая уж редкость: обязанные чему-то люди по всему свету водятся. Они не могут жить просто так: кому надо кистью по холсту или дереву водить, кому над природой вещью думать, кому травы на лекарства собирать, а есть такие, что всю жизнь философский камень ищут, или вечный двигатель ладят, или тщатся человеку крылья приделать, или сохранить для будущего ум своего времени. А лишив их этого, захиреют до полного изничтожения.

К тому же не мог Василий допустить, чтобы Феодосия ему принадлежала, что слова «муж и жена есть плоть единая» относятся к ним. Неужто пойдет он с ней в спальную комнату, раздеется, явив все непотребство своей наготы, ляжет в одну постель и совершит то стыдное и тайное, что нередко являлось ему в бессоннице томительными весен-

ними ночами? Об этом и подумать страшно. Не смеет он к ней прикоснуться. Господь не допустит. Верно, и батюшка предусмотрел в житейских своих расчетах, чтобы не вышло поругания чистой голубице. Потому и не пытался он быть нежным, даже просто внимательным к молодой, хоть и выполнял все по обряду требуемое и даже касался ответно сухими губами горячей глади щеки и живого влажного краешка губ. На протяжении всего застолья держал он душу на леднике.

Лишь раз оттаял Василий, когда приведенный секретарем Ильинским пожилой седовласый господин из свиты князя Кантемира, собирающий по окраинам русской державы обрядовые песни, народные сказания и легенды, попросил разрешения спеть свадебную песню, которую он записал у поморов. Надо думать, что и сюда этот господин забрел в надежде услышать новую песню, но тихо было на свадьбе певчего.

Известно, заметил гость, что все свадебные песни поются хором. Я же исполню эту величальную единственно для ознакомления с обычаями северных народов. И завел приятным, в меру высоким голосом:

Уж как кто у нас в пиру хорош,
Уж как кто у нас в пиру пригож.
Как хорош новобрачный князь.
Новобрачный князь Васильюшко,
Что Васильюшко Кириллович.
Его личико — белый снег,
Его щечки вроде алый цвет,
Его брови-то черна соболя.

Истинно, персона моего сына, злобился о Кирилла. Что личико, что щечки, что бровки — с него писано. Он понимал, что это общие, от века заложенные в величальную приметы образцового жениха, а не данного человека, но не мог унять раздражения. Тут к певцу пристали, чтобы спел величальную и новобрачной. Он не заставил долго себя упрашивать:

У сизого голубя
Золотая голова,
Что ль у сизой у голубки
Позолоченная,
Разным шелком, разным шелком
Перестроченная.
Кабы это же, братцы,
Жена была моя,
Я бы в лете, я бы в лете —
В золотой катал карете...

«О, да!.. Лишь золотая карета по чину ее красоте. Золотая и бриллиантовая!» — стонало в груди о. Кириллы.

— Отец Кирилла, — услышал он испуганно-укоризненный шепот жены, — очнись, родной! Не ты же, кормилец, женишься!

Впервые за их долгую жизнь жена осмелилась подать голос, да еще с укоризнью. Одернула, голуба душа, своего грозного повелителя. Хорош он, нечего сказать, если такое бесхитростное существо проникло в его тайные думы. Чем же он себя выдал?.. А может, вовсе не так уж бесхитростна кроткая его спутница и много чего угадывает из своей мышинной норки? А ну, благочинный, возьми себя в руки, а главное — прочь глаза от новобрачной. Спокой и прости мя, Господи! Ты же знаешь, не гнусное вожделение, а восторг и печаль владеют моей усохшей, но все еще живой душой. Господь все поймет, а людям, даже близким, разве чего объяснишь? И медленно, с усилием он увел взгляд от новобрачной.

А Василий впервые за все свадебное застолье оживился, даже алые розаны расцвели на белом снегу личика. Он о чем-то говорил, похоже, спорил с господином Ильинским и собирателем народных песен. Надо же, чего себе позволяет с важными учеными господами вчерашний школяр, а те не осаживают наглеца, с вниманием, даже интересом слушают. Не больно складно излагает свои мыслишки сын, запинаясь, мычит, подыскивает слова. Уж если полез в серьезную беседу с людь-

ми старше тебя и годами, и положением, то хоть знай, баранья голова, что ты сказать хочешь, и не мямли, не мычи, не вякай, а сыпь горохом. Но снисходительных собеседников Василия, видать, и косноязычие его не сердит, слушают, поигрывая бровями от внимания, важно кивают. Ну-ка, о чем они там гуторят?

— ...который раз подмечаю, — говорил Василий, — в подлome стихотворении куда больше распевности, нежели в виршах самого Феофана Прокоповича.

— Народное стихотворение и есть песенное. В ином роде и не существует, — улыбнулся господин Ильинский.

— А не есть ли всякое стихотворение — песнь? — с удивленным и поглупевшим видом изрек Василий. — Не то что есть, а быть должно?

— Неужто высокая поэзия в нравоучительном или одическом роде нуждается в пении? — чуть высокомерно заметил господин Ильинский.

— Конечно нет! — смешался Василий. — Я о другом... Вот чувствую, но выразить не умею...

«А не умеешь, так не суйся. Сиди и помалкивай!» — гневно прокатилось в о. Кирилле.

— Родимец, — услышал он тихий, как шелест травы, голос жены, — ты бы поласковой на Василия глядел. Волчьё у тебя в очах, нехорошо!

Отец Кирилла чуть не плюнул с досады. Что это накатило на нее — мужа одергивать? Откуда такая отвага? Может, в сыне женатом и невестке опору себе зрит, бедная? Да Бог с ней. А вот с ним самим что деется, что за бури сотрясают его нутро? Он приложил руку ко лбу, загордился широкой кистью.

— ...думается, тут дело в разности методы, — рассуждал Василий. — Силлабическая поэзия лишь равные количества слогов в строке требует, а в народной иное благозвучие заложено.

— Сия, с позволения сказать, поэзия нища рифмами, — строго сказал господин Ильинский.

— Ой ли? — вмешался собиратель песен. — И в народной поэзии рифмы наихитрейшие встречаются. Чаще рифмуются концы стихов, но бывают рифмы и в зачине, и в середине, когда делят стих на полстишья.

— Не о том речь! — дерзко встрял Василий. — Что, если благородному силлабическому стихотворению напевность народной поэзии сообщить?

— Вот и попробуй, — добродушно посоветовал гость. — Может, новую методу откроешь.

— Горько! — неожиданно для самого себя грохнул о Кирилла...

—
2
—

..Они долго лежали без сна по краям широкой и до смертного ужаса узкой брачной кровати, случайное движение — и враз скатишься в жар чужого страшного тела, в прохладных поначалу, а сейчас горячих влажных простынях головы тонули в раскаленных подушках. Из приоткрытого оконца тянуло солоноватой свежестью, но остуды не приносило.

Василию хотелось пить, он не привык даже к малым дозам зелия, и пересохший рот саднило; кадушка с квасом и плавающим поверху ковшиком была заботливо поставлена матерью к изголовью с его стороны, но он не решался рукой шевельнуть. Шершавым языком он облизывал губы и небо, это не приносило облегчения. А голова ясная, хмель улетучился сразу, как только встали из-за стола, и он вдруг понял, что все свершается всерьез и сейчас их отведут в спальню и оставят одних, глаз на глаз в темноте, просквоженной желтым огоньком лампадки и слабым светом звезд с черного, еще не родившего месяца апрельского неба.

— Ну, что же ты? — шепот разорвал тишину набатным боем.

Василий услышал частое, легкое дыхание Феодосии, услышал комариный гуд и скрежет жука-древоточца, какие-

то далекие голоса за окном, мерный скрип плохо закрепленной ставни, таинственный переговор половиц старого дома, где, казалось, ночь напролет кто-то бродит по всем покоям.

— Так и будем лежать? — с мягкой укоризной прошептала Феодосия. — Ведь я жена тебе, Вася. Нас Господь Бог соединил.

— Чего тебе? — слыло, сквозь пересохшие губы выдавил Василий.

— Вот те раз! — она засмеялась. — Еще спрашивает! Неужто ты такой глупый, не знаешь, зачем люди женятся?

— Я не умею, — пробормотал Василий.

— Милый ты мой! — сказала она певуче. — А разве Адам с Евой умели? Да ведь не зря же Господь Бог их из рая выгнал. Сумели, значит. Ляжь поближе.

Но Василий не пошевелился, зная наперед, что все это пустое, он не осмелится ее тронуть, а и тронет, так без толку, и от жалкой, подлой слабости своей заплакал. Сперва тихо, зажимая рот рукой, кусая пальцы, чтобы болью телесной прогнать другую боль, а потом громко. Он уткнулся лицом в подушку, спина его тряслась, и он не сразу почувствовал, что Феодосия сама прилегла к нему. Она обнимала его, успокаивала; с неожиданной в ней силой разжала его руки и подолом рубашки утерла ему слезы и даже нос, как мальчишке, высморкала, а потом сняла с себя эту мокрую рубаху и бросила на пол. Она положила его голову к себе на грудь, вдавилась в него, заполнив собой каждую впадину его скрюченного тела, и он ответно стал проникать в нее, дрожа крупной дрожью и вместе успокаиваясь. Вновь вспомнилось: жена и муж есть плоть единая. Теперь он понимал эти слова, ибо уже сам не различал, где он, где она, где его рука, где ее рука, где его нога, где ее нога. И она сумела скрыть, что ей больно, он только утром, увидев окровавленную простыню, понял, как сильно повредил у нее внутри, а она и виду не показала, стона не издала, зубами не скрипнула, только трудилась ему навст-

речу, помогая его грубым и неумелым усилиям. И еще он понял утром, что ей уже не больно, а сладко и счастливо, как и ему, она ищет соединения, и они воистину плоть едина.

В эту первую брачную ночь, в боли, крови, с зажатым в груди криком Феодосия во всю свою большую душу полюбила Василия, полюбила той огромной, святой, преданной, самоотверженной и безоглядной любовью, на какую только способна русская женщина.

Она получила, что хотела: чистого, не облюбленного другими, не знавшего чужих прикосновений, чужих губ, свежего и сильного в сохранности своей, целиком и неделимо принадлежащего ей человека. Под утро распелись птицы. Розовым светом облило оконце. Они были смертельно усталы и счастливы.

Их никто не будил до самого вечера. Отец Кирилла запретил тревожить молодых. Он ликовал, разом простив сыну все его дурацкое поведение во время сватовства, венчания и свадьбы, тупую утрюмость, неблагодарность родителю. Ведь тут не было душевного изъяна, никакой порчи, просто еще не проснулась в нем плоть, в оболочке взрослого человека пребывал младенец. Но одна ночь превратила младенца в мужа. Недаром о. Кирилла так верил в хрупкую Феодосию, sprыснула она его сына живой водой любви. Теперь небось наладится на серьезную жизнь, навыкнет отвечать за жену и будущих детишек. И при мысли о внуках, которые не заставят себя ждать, коль молодая так рьяно взялась за дело, о. Кирилла чувствовал, как плавится в груди застарелый твердый ком, давивший на сердце. «Скоро и тебя женю, — пообещал он младшему сыну Якову, — а тебя замуж выдам», — старшей дочери Марье. У него легкая рука на устройство брачных дел, он хорошо и надежно пристроит всех своих детей, и большой дружной семьей они подымутся из нужды. Ну а кто захочет своим домком жить, милости просим, неволить не станем, и в умалении семейства есть своя прибыль. На радостях о.

Кирилла, хоть стояла самая горячая пора и в огороде работы невпроворот, решил не трогать Василия, пусть насладится молодой женой до полного опустошения. Ну, а ему и Якову придется приналечь. Что и было сделано по одолении малого бунта Якова, пришедшего в ярость, что ему придется вламывать и за старшего брата, пока тот нежится в постели.

Только на четвертый день сподобились молодые посетить согласно обычаю отца молодой, но самолюбивый Фадей не выказал обиды, обрадованный счастливым видом дочери. Феодосия светилась радостью, у нее расцвел рот, расцвели глаза, округлились груди, окреп стан и все тело налилось, хотя питались они с мужем, подобно старцам-пустынникам, водой и акридами, не притрагиваясь к вкусным кушаньям, которые готовила попадья. Иной насыщали они голод, ибо поистине: не хлебом единым...

А вернувшись домой, снова уединились, но ненадолго, через день-другой свежий голос молодой зазвенел в горницах. Толково и понятно расспрашивала она женщин дома о хозяйственных делах, отыскивая себе в них место. А Василий свет Кириллович почти не показывался, не мог, видеть, расстаться с брачной комнатой. Слушал весенних птиц, мечтал да потягивался, пил холодный сухарный квас с изюмом и нетерпеливо поджидал возвращения жены. Так, во всяком случае, представлялось обитателям попова дома. Да так оно до поры и было. Феодосия проникла в него, расширилась, заполнила собой всю емкость его существа. Ни с кем и никогда не будет ему так счастливо, и чего еще желать бедному человеку? Прост и прям расстилающийся перед ним путь: он станет священником, по примеру отца будет славить Господа Бога, пестовать людские души, возделывать сад и огород, растить детей. Он обучит их всему, чему сам не успел обучиться, и в назначенный срок покинет этот мир, совершив положенное человеку. Все ли совершив?.. Да, если не ставить себе иных, посторонних целей. Но ведь он-то ставил. Он хотел знать, все знать о низа-

нии слов в стихотворные строки, ему мерцало что-то новое, русской поэзии неведомое. Неизвестное нынче, а завтра, глядишь, и станет ведомым. То ли станет, то ли нет, а уж коли и станет, так не его трудом, а усилием ума и души другого бескорыстного человека. Но ему не хотелось, чтоб этот другой человек сделал его работу, как не хотелось, чтобы другой человек обнимал Феодосию.

Но все это были лишь слова, которые он проборматывал, слоняясь по маленькой спальне под пение птиц и гуд майских жуков, пока Феодосия вникала в хозяйственную жизнь дома, и горечь их истаявала без следа при одной мысли, что жена скоро вернется и прильнет к его груди. А если уж слишком неважно становилось, он бросался на кровать, зарывался лицом в подушку и вдыхал тонкий запах ее волос с такой жадностью, что заходило сердце.

Однажды, уронив руку с кровати, он нащупал на полу, у стенки, маленькую затрепанную книжку. То ли сам занес ее сюда в далекие отроческие дни, когда искал уединения в большом, набитом людьми и заботами доме, то ли сестры запрятали по баловству. От старой книжки пахло пылью и тленом, ссохшиеся листы пожелтели. Овидий. «Превращения». Когда-то он не расставался с этой книжкой, видя в ней образец мудрости и словесной красоты. Но из книг вырастаешь, как из одежды. Зачем ему дремучее переложение на русский римских стихов, когда он, лучший латинист католической школы, мог наслаждаться музой Овидия в подлиннике, а равно Катуллом, Горацием, Теренцием... Монах Марк-Антоний, обнаружив в нем редкую память и прилежание, порядком натаскал его в греческом, которому в школе не обучали. Он владел не только древними языками, свободно читал по-итальянски и неплохо по-немецки и по-французски, без последнего вообще невозможно причаститься сегодняшней поэзии. Ныне ее средоточие во Франции, как некогда в Древнем Риме, а в средние века во Флоренции. И, уносясь горячей юношеской мыслью в горные выси, он мечтал пересадить благо-

уханные цветы французской поэзии на русскую почву. Он и вообще легко воспламенялся от чужого огня. Быстро схватывал чужую мысль и мог не просто передать ее словами родного языка, но и развить, расширить, украсить чем-то своим, что без толчка извне дремлет на дне души. Но сейчас все эти горделивые мысли истаяли дымом. Надо раз и навсегда выкинуть из головы тревожащие имена поэтов и философов, они ни к чему будут попишке-огороднику, примерному мужу и отцу многочисленных чад. Заутрени, обедни, вечерни, престольные праздники, крестины, свадьбы, отпевания, поминания да исповеди — вот предстоящая ему до исхода жизнь, а Священное писание — единственно необходимая книга. Не надо обманываться на этот счет, об ученых занятиях себе в услужение и думать забудь, не по плечу они недоучке, умственному недорослю, ему бы еще учиться, напиваться чужой мудростью. Вот какова плата за жаркие сладкие ночи!

Милая, нежная, ласковая Феодосия одним движением белого плеча повергла в прах Гомера и Овидия, Данте и Тассо, Ронсара и Фенелона. Но тленный запах старой книжки пробудил в нем смертную тоску по свергнутым кумирам, прежнюю саднящую жажду все узнать, а узнав, выговорить свое, пока еще смутное, но чаемое как будущее свершение. Надо бежать, сейчас же бежать, ибо с каждым днем это станет труднее. Кроткая власть Феодосии над ним крепнет с каждым днем, и настанет время, когда он не сможет бежать, и тогда ему конец. Он не создан для тихого счастья медленно и неприметно текущей жизни. Можно долго обманываться, но когда-нибудь он поймет, что променял душу на мягкую постель и остывающее с годами женское тело, и тогда он или руки на себя наложит, или сопьется с круга и станет самым несчастным и ужасным человеком на свете, и людям будет страшно на него глядеть. Он не отказывается от Феодосии, вернее, отказывается лишь на время, когда станет тем, кем стать должен, тогда он вернется за ней. Но странно, этому последнему

почему-то не верилось. Он знал, Феодосия будет его ждать, сохранит верность, знал, что не полюбит другую женщину, и столь же твердо знал, что уход его навсегда. Но все это в будущем, за дымкой лет, а сейчас перед ним одно: суметь уйти. Надавав сыну оплеух, о Кирилла не удосужился отобрать у него паспорт, документ — что вольная: беглеца нельзя схватить по родительскому требованию и силком вернуть домой. Он уйдет в Москву, поступит в Славяно-греко-латинскую академию, по старинке называемую Заиконоспасским училищем. Прежде он метил в Киево-Могилянскую академию, но господин Ильинский считал московское заведение, которое и сам кончил, более подходящим для русского юноши. В Киеве силен ляхский, католический дух, а Москва — оплот православия, сердце России. Да и разыскивать его начнут, конечно же, в Киеве, куда он раньше собирался, а не найдя, глядишь, и поостынут.

Вертя в руках полуистлевшую книжицу, Василий обнаружил, что по-деловому прикидывает возможности своего бегства, и понял: решение его бесповоротно. Он лег на кровать, прижался лицом к подушке, хранящей запах волос Феодосии, и тихо, из глубины нутра заплакал.

А потом встал, оделся, ополоснул лицо и ушел в город. Здесь его поступки отличались такой точностью, будто он всю жизнь провел в бегах. Он сразу направился на пристань, узнал, что в начале июня в Москву отправляется артиллерийская команда в семьдесят человек, до Саратова — водным путем, дальше по сухопутью. На лучшее и рассчитывать нечего — с военными людьми он был в безопасности от гулявших по волжским берегам разбойников. Он быстро сговорился с хмельным, добродушным артиллерийским капитаном, обожавшим просвещение, показал ему свой паспорт, пусть не думает, что с беглым связался, подмазал тоже хмельного, но грозного каптенармуса, дабы кормил его от солдатского котла, и уже не сомневался, что благополучно достигнет первопрестольной, не сгинув ни от голода, ни от ножа лихого человека...

...Ушел он из дома на рассвете. В мешок сунул лишь две рубашки, чулки, бритву и связку любимых книг. Праздничное платье, шубу и часы позолоченные — свадебный подарок — оставил Феодосии, невелико подспорье, да ведь в семье не пропадешь. Пропасть куда проще ему, но он за себя не боялся. Когда он писал ей прощальную записку, Феодосия почувствовала сквозь сон непривычную пустоту кровати, застонала, потянулась к мужнину месту, но смолилась, не завершив движения — весь день на огороде наравне с мужиками ломалась, и вновь задышала глубиной сна.

Замерший в испуге, Василий понял, что она не проснется, дописал записку, наклонился к жене и почувствовал, вместо прежнего тонкого аромата, запах пота и земли. Вот так бы выветрился и аромат их юного чувства, заместившись спертым духом обыденности. Спасительная мысль, а легче не стало. Он не ждал, что ему будет так больно. Словно спицу воткнули в грудь — дышать трудно. Как же сильно связал их медовый, истинно медовый месяц! С этой болью он выбрался в сад, твердя про себя: может, остаться, остаться, пока не поздно!.. Ему почудилось, что скрипнула оконная рама. Сейчас его окликнет, удивленно и доверчиво, родной голос не ждущей от него подлости Феодосии, и тут Василий совершил такой скачок, которому позавидовал бы горный козел. Какая там спица в груди — он перемахнул через ограду, промчался пустынными улицами, скатился под гору и лишь у пристани очухался, поняв, что ему померещилось. Артиллеристы уже грузились на струг, вяло и ненужно перематюкиваясь в тишине зарождающегося божьего дня.

Последние минуты расставания с городом не были горьки Василию. Он спокойно смотрел на струги и рыбацьи баркасы, грудящиеся у пристани, на пакгаузы и склады, на развешанные для просушки сети, поблескивающие рыбьей чешуей в ячеях, на жирных чаек, кружащихся над нечистой,

вонькой водой; не откликнулась душа его крестам и куполам городских церквей, слепяще вспыхнувшим под солнцем, взмывшим в бледное высокое небо голубиным стаям. Думать о Феодосии после умопомрачительного козлиного прыжка было как-то неловко. Порой наплывало грустное лицо матери, он смахивал видение, как слезинку. Не хотелось власти над собой тех, кого он оставлял. Он уже принадлежал Заиконоспасскому училищу. Гомеру, Данту, Фенелону...

—
3
—

Диковатый по жестокой отваге поступок Василия Тредиаковского, пустившегося в бега прямо из брачной постели, был далеко не редким явлением в тогдашней России. В пору петровских преобразований в бегах находились многие российские юноши. Бежали от двойного гнета непривычной дисциплины и непосильной учебы дворянские сынки из навигационных училищ, куда их загоняли силком, с кровью вырвав из теплого родительского гнезда; бежали чада церковнослужителей и подьячих из духовных школ и академий, не желая в деятельное, практическое время связывать жизнь с религией; бежали от морской и военной службы, от всякого рода научения недоросли разных сословий; бежали от барского произвола и соединялись в лихие шайки, памятуя о славных днях Стеньки Разина, казненного близ Лобного места в Москве, но воспетого в песнях, крестьянские сыновья. Но было наряду с этим и другое. Бежал, повторив судьбу Тредиаковского, своего будущего коллеги по академии и заклятого врага, с далекого Севера в то же Заиконоспасское училище упрямый помор, слава и гордость русской науки и всех искусств Михаила Ломоносов. Бежали из теплых семей на муку образования, полуголода, изнуряющих запретов и муштры будущие ученые, первооткрыватели новых земель, поэты, художники, военачальники, флотоводцы, великие сыны России, создатели ее мощи и славы.

Само собой разумеется, что брошенная жена и родные астраханского беглеца не могли воспринять постигшее их несчастье в широкой исторической перспективе. Феодосия, опаматовавшись от своего провального сна, нашла оставленную мужем записку, поняла, что Василия больше не будет при ней, пронзительно закричала и лишилась чувств. Ей долго терли виски уксусом, но лишь впущенная сквозь стиснутые зубы капля смолистого вещества, добытого све-кровью из кованого сундучка, вернула бедную женщину к разуму. Казалось, в беспамятстве в ней произошла какая-то работа, помогшая осознанию случившегося: очнувшись она другой — тихой, сосредоточенной, спокойной, будто просветленной. Она и сама не постигала, что с ней произошло. Утратив окружающее и самое себя, она вроде бы продолжала читать и перечитывать записку мужа, пока не запомнила ее наизусть и не проникла в ускользнувший поначалу смысл: «Не от тебя бегу, а от себя такого, каким стал под отцовой рукой. Пока не обрету всех нужных знаний, назад не вернусь. Прости, коли можешь. А искать меня не надо. Будет воля божья, свидимся в свой час. Али сам приду, али вызову тебя к себе. Твой муж Василий».

Твой муж... Он не бросил ее, не оставил, по-прежнему он ее муж перед Богом и людьми, только уехал учиться, как другие мужья уходят в море или на войну, на покорение дальних земель или по государеву повелению в чужие страны служить службу России. Василию Кирилловичу никто такого повеления не давал, кроме его собственной души, а это веле-ние не слабше государева. И раз ему это надо, — значит, так должно быть. И нечего убиваться и слезы лить, она должна ждать, держать для мужа его место свято, все устроить так, чтобы по возвращении странника его ждал обжитой дом, уют и достаток. Конечно, ей будет одиноко, особенно по ночам, она так привыкла к его теплу, ласкам, чуть прерывисто-му дыханию. Но она с этим справится, ведь сильная.

Феодосия так быстро обрела себя, даже повеселела, что домашние диву дались, а Марья, старшая из сестер сбежав-

шего, укор бросила: «У, бесчувственная». — «Дура ты, — вздохнув, сказала мать. — Она сберечь себя для мужа хочет». — И, перекрестив сноху, добавила: «Так и держи себя, дитятко». — «А вы, маманя, вроде бы ждали, что Васька удерет», — заметил Яков, отличавшийся странной остротой при всей своей недалекости. «Ждать не ждала, но допускала», — тихо отозвалась старушка. «То есть это как ты могла допускать?» — загремел о Кирилла. Оглушенный побегом сына, он впервые отверз уста. Жена почему-то испугалась, ответила чуть ли не свысока: «А вот так! Чужой у него глаз был, не тутошний». — «Что ты мелешь, глупая?» — «Ничего не мелю, милостивец, я ж его в себе носила, нутром всего чувствую». — «А молчала зачем?» — вызверился о Кирилла. — «Да нешто кто бы поверил? И так в дурах хожу, тут бы и вовсе засрамили. А ты жди, доченька, жди...»

И Феодосия принялась ждать. Ох, нелегкая работа — ждать! Феодосия сразу почуяла это своим прозорливым сердцем. Надо сказать, что прозорлива Феодосия была лишь к себе самой и к людям с чистой и светлой глубиной, там же, где начиналась человечья муть, копоть и мгла, она теряла зоркость. Но про себя самое она все доподлинно знала. Так, она знала, что должна нагрузиться заботами по маковку, чтобы не оставалось сил на тоску и одинокие думы и сон был бы без сновидений. Пусть к возвращению Василия Кирилловича его ждет собственный дом с чистыми, красиво убранными горницами, с полными закромами и набитыми кладовыми. Он увидит, какая она умелая и хозяйственная, не растерялась, не растеклась мутной жижей, как сугроб в марте, а соблюла себя для любимого и место его соблюла. Нельзя ей быть худой, бледной, с маленькими заплаканными глазами, он разбудил в ней цветенье женщины, и да продолжится оно лишь силой ее любящей памяти. Она будет следить за собой, умываться росной влагой, сохраняющей гладкость кожи, есть сытно и сдобно, хоть кусок не лезет в горло, нарядно одеваться по праздни-

кам, это тоже сохраняет молодость женщине. Те три-четыре года, что продлится его учение, должны пойти ей впрок, а не в убыток. Небось Василий Кириллович в Киеве, Москве али Петербурге — куда занесет сердешного? — насмотрится на писаных красавиц, и нельзя, чтобы собственная жена показалась ему чумичкой.

И Феодосия вновь заулыбалась людям, как в пору своего недолгого счастья, вновь стала со всеми приветлива и обходительна. И, пытаясь ободрить приунывших домашних, все твердила: «Да вернется он. Непременно вернется!» На что о. Кирилла только хмыкал и отводил черные злопечальные глаза. Яков пренебрежительно усмехался, сестры брезгливые рожи корчили, и только старая попадья чуть слышно шептала: «Верь, доченька, верь!»

Феодосию огорчало изменившееся отношение о. Кириллы. Прежде она чувствовала, что люба своему грозному свекру, и это радовало. Она любила, когда ее любили. Но сейчас между ними будто стена выросла. Она не знала за собой вины, уж если искать виновных, то скорее Третьяковские заслуживали упрека. Им бы заглянуть поглубже в душу своего Васи, прежде чем сватовство затевать. Недозрел он до семейной жизни, куда ему в мужья — школяру недоучившемуся, незачем было его и неволить. Ему бы изучить сперва все науки, утишить зуд познаний, тогда стоило бы и о женитьбе подумать. Но с ним никто не считался, у о. Кириллы были свои расчеты, весьма справедливые и дальновидные, да уж больно далече обратил он взгляд, а что под носом, того не углядел. Матушка углядела, да она голоса в семейных делах лишена. Нет, лучше уж не искать виновных, а сомкнуться душами в общей беде, перетерпеть лихо, и стыд, и молчаливые упреки соседей, и все иные тяготы, но не чувствовала она поддержки ни в ком из домашних, кроме бессловесной матушки, лишь отчуждение и недобротство.

Отец Кирилла куда как твердо определил для себя виновного в позоре, обрушившемся на семью. Этим винов-

ным была Феодосия, в чью силу прелести он слепо поверил и просчитался, как последний дурак. Отец Кирилла отлично понял сказанное женой, он просто комедию ломал, изображая из себя крутом обманутого человека. Он и сам все время нутром чувствовал ненадежность покорной манеры Василия, но не принял никаких мер. А увидев Феодосию, вовсе распустил губы, сразу уверившись: эта охомукает Василия, сделает из него мужа, отца, добытчика. И все, что последовало за свадьбой, укрепляло его веру. Он гордился своей прозорливостью, житейским опытом, знанием людей, и в какую же грязную лужу усадил его негодник сын! Отец Кирилла был слишком самолюбив, чтобы признаться в собственном поражении, виновник был сразу найден — Феодосия. Зачем ей медовые глаза, шелк волос, гибкость стана, обволакивающая ласковость голоса и движений, если не сумела присушить к себе Василия, намертво пришить к юбке очумевшего от постельного рая переростка? Значит, ее зримое совершенство — обман, есть в ней какая-то порча, скрытая червоточина, как в ином с виду лакомом, а внутри гнилом плоде. Отец Кирилла презирал Феодосию, как если б знал за ней тайный порок или дурную болезнь. Это брезгливое презрение избавляло его от ненависти. И когда она попросила уступить ей огородной землицы, чтобы поставить там дом и от той же земли кормиться, о Кирилла не отказал, но потребовал за участок наличными. Феодосия заговорила о рассрочке: будет расплачиваться каждую осень с урожая. «Этак я помру раньше, чем деньги увижу», — невесело усмехнулся о. Кирилла. Феодосия резонно возразила, что раньше вернется Василий Кириллович и произведет полный расчет с отцом или отдаст землю и будет по-старому хозяйствовать сообча. «Никакого Василия Кирилловича мы больше не знаем и знать не хотим. Вернется не вернется — нам дела нет. За землю я с тебя крайнюю цену взял по худобности твоей, мне гончар Прокопий на полста больше дает». Опечалилась Феодосия рассуждением своего свекра, но от земли не отказалась. Она

продала из своего приданого все, без чего могла обходиться: платье венчалное, барок земчужный, ленту, низану земчугом, монисту серебряную с двумя крестами, четыре аршина бархата, юбку луданную, ширинку иконовязную и после малого душевного борения — две старинных книги на латинском языке в переплетах из свиной кожи. Книги и то, что они несут в жизнь, испакостили ее судьбу, и Феодосия относилась к ним с суеверным трепетом. Василий Кириллович не успел сведать об этих книгах, лежащих на дне ее девичьего сундука, а господин Ильинский дал за них такую плату, будто они на китайском шелке напечатаны и в золото одеты. Да и не хотелось ей, чтобы в доме были книги, Бог с ними, до хорошего не доводят. И пока Василий Кириллович отсутствует, ей без них спокойнее.

Рассчитав с артельными плотниками, во что обойдутся строения, Феодосия обнаружила, что денег все равно не хватит, и обратилась к отцу. Нужно ей было — по оплате земли — еще сто один рубль с полтиною, а у батюшки деньги водились. Фадей без звука выложил нужную сумму, но потребовал от дочери долговую расписку по всей форме. «Батюшка, родной, зачем вам расписка? — удивилась Феодосия. — Нешто смогу я вам такие деньги отдать? А вернется Василий Кириллович, будем вам долг по возможности выплачивать. Неужто вы мне не верите?» — «Верю, доча. Тебе верю. Да вот к семейству твоему у меня ни в чем доверия нет. Коли муженек твой такую штуку удрал, чего же от них ждать? Кабы они люди были, нешто стали бы с тебя деньги за землю тягать? Ну, построисься, земля-то по закону все им принадлежит. Но он, вишь, с тобой, как с посторонней, рядиться вздумал. Ему бы за сына краснеть, ему бы перед тобой глаз не подымать, а он, аспид, оглоед!» — «Не надо, батюшка, — устало попросила Феодосия. — Зачем браниться, грех на душу брать? Поняла я вас. Нужно вам свой интерес соблюсти, коли я раньше вашего проеस्ताвлюсь». — «Замолчи! Что несуразное несешь? — прикрикнул Фадей, и уголки его запавших глаз

налились слезами. — Нешто могут дети раньше родителей уходить? Не приведи Господь родное чадо пережить. Другого я опасаюсь и тут, верно, хочу свой интерес... да нет, какой там интерес? — прервал он себя зазвеневшим голосом. — Вот это... это... — он постучал кулаком по левой стороне груди, — хочу оградить. Коли ты не выдержишь и за беглым своим кинешься, родня твоя враз все себе заберет. И участок, и строения. Неужто я по копейке, по грошику медному всю жизнь копил, чтобы сквалыге-попу досталось?»

На это Феодосии нечего было сказать. Лишь душа ее тихо вздохнула. Она едва начала жить, а сколько уже жестокого, низкого, дурного, темного на нее навалилось. Нет, люди вовсе не спешили раскрыться той прелестью, какую она прозревала в них в розовые дни своего девичества.

Заемное письмо было составлено по всей форме, канцелярист Волковойнов подсобил, земля приобретена, и Феодосия начала строиться. С завидной быстротой на ее участке стали изба с сенями, конюшня, погреб с напогребельной плетневой, чигирь с положенными постройками. Участок Феодосия обнесла высокой городьбой, обработала и посадила яблони урожайных сортов и сливовые деревья. Пораженный ее деловой хваткой, о Кирилла ощутил невольное уважение к брошенке и раз сказал добродушно: «От своих отгораживаться вроде бы лишнее?» — «И вовсе не лишнее, батюшка», — спокойно ответила Феодосия. За хлопотами она и оглянуться не успела, как минул год со дня бегства ее мужа...



...Столь же незаметно промелькнуло это время и для Василия Кирилловича. Он потерял ощущение быстротекущего еще на струге, когда, пристроившись на корме за канатами, вновь, после долгой разлуки, раскрыл томик Лукреция Кара. Мимо скользили волжские берега, сперва плоские, как тарелки, вылизанные речными волнами и об-

дутые ветром до полной голизны, потом зеленые, плавно всхолмленные; небо обливалось алостью утренних и вечерних зорь, кучерявилось белыми, как кипень, облаками, порой хмурилось тучами и опорожнялось грозowymi ливнями или мелкими, просквоженными солнцем грибными дождями, — тогда Василий Кириллович прикрывался рогожкой и продолжал читать, а уж если совсем заливало, спускался в смрадный трюм. Дождь утихал, небо перепоясывалось радугой, но, равнодушный к красе внешнего мира, Василий Кириллович все трудил глаза над книгой, пока не потухал последний луч заката и ночь опрокидывала в темную реку звезды и полный месяц. Тогда он ложился на теплые доски палубы, мешочек под голову, сворачивался калачиком и сразу засыпал. О Феодосии он старался не думать, что ему удавалось: днем перед глазами была книга, ночью его быстро смаривало. Но стоило не уберечься, и острая спица враз прокалывала грудь, в глазах закипали слезы.

Ни с солдатами, ни с младшими офицерами он не сошелся, хотя они относились к нему ласково, как к Богом обиженному. Капитану же было не до него. Он пил водку и ласкал непонятно как случившуюся на струте смуглую раскосую девицу, а на стоянках гулял с нею по берегу. Все это ничуть не занимало Василия Кирилловича, как и прочая человечья суета, перегорающая в себе самой и не становящаяся достоянием вечности, какую дарит и жизненному явлению, и мысли, и чувству печатный станок, а в старину — каллиграфический почерк прилежных переписчиков.

В Саратове команда оставила струг и двинулась к первопрестольной пехтурой, нестроевым шагом, с частыми бивуаками и кострами. Василий Кириллович приспособился читать на ходу и вовсе не тяготился переходами, уделяя степной, а после лесной России столь же мало внимания, как и величайшей русской реке. К концу пути, когда впереди вызолотились главы московских сорока сороков, Василий Кирил-

лович обнаружил, что спутница артиллерийского капитана разительно изменилась: из раскосой худой смуглянки превратилась в дебелую девицу с голубыми озерами на круглом сдобном лице и гладкими, цвета просяной соломы, волосами. Поразмыслив над этим чудом, он понял смущенным разумом, что ветренник-капитан обзавелся другой зазнобой, надо же, до чего просто это делается!

Москва ошеломила молодого провинциала многолюдством, шумом, движением, оглушительным колокольным буйством. Здесь глаз не теряй и ухо держи востро, чуть зазеваешься — и тебя потопчет бесшабашный всадник, или под карету угодишь, или двинет оглоблей возка ошалелый деревенщина, привезший в город соленые огурцы, квашеную капусту, моченые яблоки.

Смятенный вид старой столицы усугублялся тем, что здесь все время где-то горело. Да это неудивительно: город был почти сплошь деревянный, строения стояли скученно и как попало, на улицах что-то пекли, жарили, прохожие мужики палили трубки, рассыпая жар, — полное раздолье огню. Василий Кириллович панически боялся пожаров, хотя сроду большого пожара вблизи не наблюдал. Но в книгах ему не раз попадались картинные описания опустошительных и московских, и всяких иных пожаров, а печатное слово имело над ним неограниченную власть. И астраханский вольнодумец стал тихонько молиться, чтобы Москва не сгорела, пока он не завершит курса наук в Славяно-греко-латинской академии.

Путь туда Василий Кириллович отыскал без труда. Об академии, правда, прохожие люди не слыхивали, но Заиконоспасскую церковь знали все, ибо находилась она в самом бойком месте Китай-города, возле Красной площади.

Василий Кириллович добрался быстро, но у ворот вдруг оробел, разом лишившись уверенности, что его знаний достаточно для поступления в столь высокое учебное заведение. И чтобы успокоиться и вернуть веру в себя, решил маленько побродить по Китай-городу.

Ноги будто сами понесли его сквозь густую толпу на крепкий запах торговых рядов. Его толкали в спину и с боков, чуть не сбивали с ног — народ в Москве был нетерпеливый, быстрый и бесцеремонный. Вскоре он понял, что вернуться от толчков и тычков нельзя, спасение в одном — стать таким же неудобным для окружающих пешеходом. Он поддернул повыше мешочек, напряжился, растопырился, чуть наклонился вперед, дабы не опрокинуться от слишком резкого столкновения, и пошел колотиться о всех встречных и поперечных. Ругань, вопли, угрозы, удивленно-обиженные и уважительные взгляды, и дивное дело: ему стало куда легче продвигаться в толпе. И ведь не могли же подшибленные им люди передать другим: остерегайтесь этого астраханского — спуска не дает, а меж тем вокруг него образовалась некая почтительная пустота. Неужто толпа умеет сообщаться без помощи слов, как насекомые гудом, жужжанием, и этим насекомьим языком разносить сведения?

Довольный маленькой победой, Василий Кириллович бодро продолжал свой путь, и с каждым шагом, приближавшим его к торговым рядам, сладко смердящим жареным маслом, печеным тестом, рубцами и рыбой, все сильнее сосало под ложечкой. Он уже поел утром весьма плотно, про запас, из солдатского котла и обязан был продержаться на этой пище до следующего дня, деньжонок у него — кот наплакал. Во избежание соблазнов Василий Кириллович повернул от торговых рядов в какой-то проулок, где у распахнутых дверей маленькой церковки толпились страхолюдные нищие. Лишь на соборных фресках, изображавших преисподнюю, виделись Василию Кирилловичу такие смазливые, гадкие хари, как у этих церковных побирушек, калик, юродов. Испуганный, он далеко стороной обошел нищую братию и за невысокой оградой увидел бревенчатое здание в облаках пара. Он понял, что это баня, когда из парилки выскочила голая женщина, мясно-красная, будто с нее живьем содрали кожу, схватила ба-

дейку с водой и опорожнила на себя. Эти действия сопровождались улюлюканьем и веселыми выкриками облепивших изгородь молодых парней. Женщина разобрала мокрые волосы на два крыла, отбросила с лица, показала парням язык, непристойно растопырилась и, покачивая ягодицами, ушла в баню.

Василий Кириллович оторопел. Он знал, что в зимнюю пору ошалевшие любители парилки кидаются для остуды в снег, но ведь сейчас лето: кадушку с холодной водой можно и в мыльне держать — и женщинам нет нужды показывать свою стыдобу обложившим баню насмешникам. Значит, все делалось нарочно, непотребства ради, и вовсе не какими-нибудь пропащими девками, а почтенными горожанками, пришедшими чистоту навести. Много небывальщин ходило в Астрахани о старой и новой столицах, но такого Василий Кириллович и вообразить себе не мог. Стыдливость его была уязвлена. Сам красный, как из парилки, кинулся он прочь от бани, и тут кто-то сильно дернул его сзади за мешок.

Василий Кириллович обернулся. Рослый малый с перебитым носом, в шапке как воронье гнездо, тянул из горла мешка застрявшую руку.

— Ты чего? — вытаращился на него ТрEDIAKовский.

— А ты чего? — дерзко спросил малый. — Выпучил буркалы, деревенщина! Тут тебе не Свинячьи выселки.

— Какие еще Свинячьи выселки? Я из Астрахани. — Парень освободил руку.

— У вас в Астрахани все дураки? Или кажнЫй первый?

— Иди себе, — пробурчал Василий Кириллович, удивляясь нахальству малого, который пытался его обокрасть средь бела дня и еще издевается.

— А что там у тебя в мешке-то? — полюбопытствовал малый.

— Книги.

— Дорогие?

— Для меня дорогие, я по ним учусь...

— Так ты бурсак! — догадался мальй, в голосе звучало презрение. — А я-то думал! Рожа у тебя надутая, будто чего стоишь. Ладно, катись отседова, бурсак — холодные уши, не вводи людей понапрасну в грех.

Василий Кириллович уже смекнул, что с этим говорунном лучше не связываться, и был рад унести ноги. Прогулка по Москве не дала ожидаемого удовольствия. Наверное, позже, когда он устроится, обживется, заведет знакомства среди старожилов, город откроется ему с иной стороны. Москва на диво богата храмами, дворцами знати, купеческими палатами, есть и сады для гуляний, и всякие увеселения, и книжные лавки, но к Москве надо подход знать, а ему такого знания не дано. И он зашагал назад к Славяно-греко-латинской академии.

Учебное заведение, столь пышно названное, помещалось в старом флигеле Заиконоспасского монастыря, стоявшего за иконным рядом на Никольской улице, в Китай-городе. Стоило шагнуть за старые, осыпающиеся, поросшие травой и березками монастырские стены, как разом отсекался докучный московский шум, словно монастырь стоял не на самом бойком месте города, а в чистом поле или в лесу. Сонная тишина, запах тлена, близкий запах старых книг, наполнили душу Третьяковского блаженным покоем, он поверил этому месту, поверил, что ему тут будет хорошо. И не вовсе заблуждался.

Его без труда приняли в училище, сочтя хорошо подготовленным, зачислили в средний класс словесных наук. Была лишь одна загвоздка, впрочем, серьезная: его не взяли на казенное иждивение, он должен был сам себя содержать. Но и с этим устроилось. Ему подсобили найти уроки за харчи и малую плату, а также угол для проживания у чистой старушки. Чего еще надо? Он достал свои книги, очинил гусиные перья, купил на копейку сальных свечек. На первом же занятии в классе он услышал: «Великий слепец Гомер был самым зрячим среди людей» — и в умилении всхлипнул...

...Первый год ожидания дался Феодосии довольно легко. Не худо начался и следующий, когда приобреталось рухляшко, обставлялся дом, обретая жилой, уютный вид. Но исподволь зрела тоска. Правда, невиданно щедрый урожай яблок и особенно слив (у старого садовода о. Кириллы отродясь такого изобилия не бывало) обрадовал — не корыстью, а чувством своих сил. Но когда загудели осенние ветры, неся сперва пыль и песок, а потом сухую снежную крупу, тошнехонько стало в нарядном пустом доме. И золотки, которых она заманивала к себе индийским чаем, сливянкой и вареньем из китайских яблочек, не могли скрасить ее одиночества. С остальными ТрEDIAKовскими связи не было. Отец Кирилла так и не простил ей своего разочарования, а матушка, явив несвойственную строптивость в день пропажи сына, искупала свой жалкий бунт раболепием перед мужем. Что же касается Якова, то после неудачного ночного посещения, когда, выдавив оконную раму, он проник в ее спальню, но был с позором изгнан, даже тени его не мелькало поблизости. Подруга Феодосия растеряла, с отцом виделась редко, что-то отгородило их друг от друга, и образ сбежавшего мужа, украшенный и вознесенный ее тоской, все настойчивей являлся и в дневные часы: вдруг замрет тятка в руках, зависнет подъятый колун и взгляд проваливается в пустоту, и особенно страшно — ночью, тогда она втискивала подушку в груди, забирала меж ног одеяло и выла от тоски и тянущей муки в сухом, горячем теле.

Третий год стал и вовсе невыносимым. Тоска и грусть все чаще сменялись ожесточением против беглого мужа. Сколько же можно учиться? Иные вон дома по псалтырю обучались, едва читать-писать умеют, счет по пальцам ведут, а в большие люди вышли, громадными делами ворочают, и караваны их судов бороздят Волгу и Каспий; другие,

натасканные в захудалых семинариях, ныне протоиереями в собственных домах с чадами и домочадцами в великом довольстве обретаются. На кого же Василий Кириллович замыслил обучиться? На главного царева советника, на канцлера, может, на самого царя? — недобро взблескивала она глазами сквозь слезный наплыв. Это все дурь одна, нельзя так сразу на самого главного обучиться. Надо хоть кем-то стать, а после добирать знания, и не только из книжек, а от самой жизни, от людей, от своего действия среди них. А что если он ни на кого не учится, а просто так, для самого себя, чтобы больше всех знать? Тогда ему целой жизни не хватит. Слава Богу, что ни в какой академии не станут всю жизнь ученика держать. Любому научению срок положен, каков только этот срок и станет ли у нее сил выдержать?..

Она заметила с некоторых пор какую-то перемену вокруг себя: другой стал воздух. Будто кончился некий искус, и астраханские обыватели дружно вспомнили о соломенной вдове. Раньше к ней никто не заходил, кроме золовок, дурак Яков не в счет, а сейчас что ни день заскакивала то одна, то другая бойкая бабенка и начинала расписывать великие достоинства либо купца второй гильдии, ядерного супруга хворой жены, многие годы не встающей с постели, либо подьячего-вдовца с самыми серьезными намерениями: хушь под венец, коли можно старый брак похерить, хушь по сердечному согласию с письменными гарантиями. Другие астраханские кавалеры, не прибегая к помощи разговорных женщин, появлялись сами то в огороде, то в палисаде, один и вовсе ночным часом в спальное оконце стучался, да так терпеливо, что у Феодосии в голове помутилось.

В поведении сограждан был свой смысл и своя глубина. Безотчетно, не сговариваясь, они изменили отношение к замужней вдове. Раньше ее горю кланялись, ее верность стигнувшему мужу уважали, но прошли годы, беглец не подавал признаков жизни, и негласный суд почел Феодосию, молодую, сильную, самостоятельную женщину, сво-

бодной от всяких обязательств. Ее словно приглашали вернуться назад в жизнь.

Она и сама все чаще задумывалась над двусмысленностью своего положения. Муж гуляет невесть где, может, давно уже другую завел, а не завел, так минутного утешения на городских улицах предостаточно. А вернее всего, что давно уж покинул он белый свет, долго ли очокуриться в чужом месте бедному и незащищенному человеку? И нету никакого толка в ее жертве. Ради кого вести ей монашеский образ жизни, губить молодость, которой не вернуть?

В жаркой, потной работе в саду и на огороде, в бесконечном крутеже неженских дел она вся подсушилась, потемнела, будто продубилась, и стала не похожа на себя прежнюю ни лицом, ни статью, ни повадкой. Эта новая ее, сухая, темная и яркая, не русская, а какая-то цыганская, красота поражала сильнее прежней — светлой, лазоревой. Ее не солнцем обожгло — загар зимой сходит, — она позмеиному сменила кожу. Ровно и гладко залитое ореховой смуглотой цыганское ведьминское лицо дышало жаром, осязаемым на расстоянии. Но душа в ней осталась прежняя: верная, нежная, любящая, и повернуть ее на измену Феодосия не могла. Мягкая сердцевина Феодосьиной натуры была скрыта от окружающих: редко-редко отчужденная строгость уже не медовых, а почти черных глаз теплела в скрытой, не трогающей лиловатых губ улыбке.

Новая странная красота Феодосии кружила головы и стару и младу. А неприступность ее одобряли лишь немногие праведные люди старого пошиба, большинство обывателей злилось. Никому не нужная стойкость раздражала как вызов общечеловечьей слабости. Но людские пересуды, осуждающие взгляды, брошенные вдогон ядовитые словечки ничуть не задевали Феодосию. Она не обижалась на плохих людей, считая их пребывание в Божьем мире случайностью, и твердо верила, что в назначенный час вместо них придут прекрасные, добрые, нежные люди и останутся навсегда.

Но от домогающихся ее внимания, число которых грозно росло, надо было защититься. Феодосия завела огромного угольно-черного пса. Пес никогда не лаял, он рычал страшным, начинающимся в глубине его громадного тела рыком, который, нарастая, заполнял слюнным клеточком горло и с яростным подвывом вырывался из пасти. Нередко за этим следовал прыжок и дикий вопль насмерть перепуганного человека. Феодосия почему-то думала, что испугом все и кончается. Но однажды, выглянув наружу, она увидела, как пес пережевывал кусок свежей убоины, окровеневший ему морду, и яростно выковыривал лапой из пасти ошметки синей ткани. А вскоре до нее дошел слух, что старший прокуроров сын в схватке со свирепым туром лишился части бедра. Путем несложных сопоставлений Феодосия поняла, какое животное нанесло столь тяжкое увечье отважному молодцу.

Видать, это поняли и другие жители города, астраханцы — народ смекалистый, и черного стража отравили. Но это случилось уже перед самым отъездом Феодосии.

Она узнала, что Василий Кириллович жив, здоров и учится в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, и решила ехать к нему вопреки запрету, ведь и всякий запрет с годами утрачивает силу. К тому же ей сказали, что Василий Кириллович люто бедствует, и она отбросила последние сомнения. Эти вести привез бывший соученик Василия Кирилловича по училищу капуцинов, сопровождавший в Москву астраханского архиерея. Он столкнулся с Василием Кирилловичем на улице и не признал поначалу, до того тот обхудал и оборвался. А признав, повел отощавшего земляка в австерию, где Василий Кириллович умял пять порций рубцов. «И как в него вошло? — недоумевал однокашник. — Худ, как шкелет, живот к позвоночнику присох...»

У Феодосии сердце разорвалось на части, когда она представила себе голодного, тощего оборванца, уминающего вонючие трактирные рубцы. Сгоряча она решила

продать дом и все деньги пустить на откорм Василия Кирилловича, но вовремя одумалась. Может, измученный московским бедованием, Василий Кириллович захочет отогреться в домашнем тепле, близ родных людей? Она спустила остатки своего приданого, зашила деньги в нижнюю юбку и, сговорившись с купцами, шедшими в Москву с товарами, вскоре отбыла...



...Тредиаковский узнал о предстоящем приезде жены, сидя в австении с одним из своих учеников, шляхетским сыном Новичковым, которого с недавних пор готовил к поступлению в Навигационное училище, что помещалось в знаменитой ба́шне «мага и чародея» Брюсса, сиречь Сухаревой. Рослый, ражий детина, чье представление о водной стихии исчерпывалось Патриаршими, Чистыми и Останкинскими прудами да грязноватыми московскими речками, грезил морем, пенными волнами, парусами, мачтами, реями и пуше того — крепким ромом, который моряки поглощают в недоступных сухопутному смертному количествах. Обо всем этом он прочел по складам в единственной книге, имеющейся в отцовской библиотеке, за тисненными золотом корешками остальных хранились бутылки с отечественными и заморскими винами. Приученный с детства к горячительным напиткам, он рано открыл для себя отцово «книгохранилище». Но однажды, сняв с полки тяжелый том, обещавший знакомство с неведомым нектаром, он, к удивлению своему, вместо доброй бутылки обнаружил печатные страницы и множество гравюр с кораблями. Он и читать приспособился самоукой по этой книге и навсегда пленился морем. Но, лишенный способностей к арифметике — даже простого счета не знал, уже дважды проваливался в морском училище при всей снисходительности задобренных его родителем профессоров. Нанятый за харчи, старое платье и несколько медяков, Василий Ки-

рилович должен был вдолбить в живой, но ленивый, не способный к малейшему усилию ум юного шляхтича начатки точных наук.

Василий Кириллович, некогда обучавшийся у превосходного математика Тимофеева, был исполнен знаний, но не умел эти знания вложить в рассеянную память ученика. Он был лишен учительской жилки и без нужды усложнял любой вопрос. Будущий моряк не уважал своего учителя, но жалел за худобу и голодный блеск глаз и, случалось, водил Василия Кирилловича в австрию, где тот наслаждался рубцами под кружку пенистого пива, а щедрый хозяин — ромом, дарившим его ощущением морской качки, а иногда и морской болезни. Очумевший от голодухи и двух глотков хмельного пива, обычно молчаливый, Василий Кириллович становился говорлив и напропалую хвастался своими академическими успехами. Недавно ему разрешили присутствовать на диспутах, где старшие ученики блистали искусством диалектики, и он гордился этим до чрезвычайности. Новичкова удивляло и смешило, что его наставник придает столь большое значение пустейшим богословским спорам, в которых не рождается никакой истины, каждый утверждает свое, даже не помышляя в чем-либо убедить противника. Но Третьяковский упивался оказанной ему честью, и неглупый Новичков обнаружил, что скромный, не от мира сего латинист, таскавший кафтан с продранными локтями и настолько истлевшие в шагу панталоны, что оторопь брала, не разбиравшийся в титулах, чинах и рангах, обладает изрядным тщеславием.

Сам себя Василий Кириллович трактовал выше, признавая за собой немалую толику литературного честолюбия. Он писал стихи и пьесы, мечтал, чтобы его творения были ведомы россиянам, и твердо верил, что рано или поздно так оно и будет.

Вечно голодный, но умеющий не думать о еде, согревающийся только летом, лишенный каких-либо радостей, кроме духовных, Василий Кириллович был счастлив каж-

дый день, каждый час, каждую минуту своей подвижнической жизни, ибо занимался любимым делом. И вдруг в эту нищую, обобранную во всем, чем прекрасна молодость, в эту замечательную, наполненную, устремленную к великим целям жизнь вторглось страшное: едет Феодосия.

Об этом сообщил случившийся в австении дальний родственник вице-губернатора Кикина, ездивший в Астрахань в надежде на теплое местечко при дядюшке, но не приглянувшийся суровому старику. Едва увидев красный нос племяша, Кикин распорядился выписать ему подорожную на обратный путь. Племянник потопил неудачу в вине, которым его щедро потчевали молодые астраханские дворяне, узнал все ненужные ему местные новости и покинул обманувший его надежды город с двухпудовой кадушкой свежепосоленной зернистой икры. В Москве он продолжал завивать горе веревочкой, забрел в австерию возле Китайской стены, встретил дружка Новичкова, подсел к его столу, был представлен тощему латинисту, услышал фамилию «Тредиаковский» и тут же выложил из праздной и цепкой памяти новость о брошенной астраханской красавице, пустившейся на розыски мужа.

Тредиаковский поперхнулся рубцами и неверным голосом спросил, когда и с кем отправилась Феодосия в путь. Почувствовав, что новость не только не обрадовала мужа красавицы, напротив, повергла в смятение, племянник Кикина по обычаю человеческой подлости изобразил дело так, будто Феодосия вот-вот прибудет в Москву с купеческим обозом, если уже не поджидает мужа у ворот Заиконоспасского монастыря. Отравив в незнакомом человеке всю кровь и найдя в том некоторое утешение — как-никак астраханцу вмазал, — племянник Кикина отвалил из австении.

Новичков искренне не понимал отчаяния своего наставника. «Вам бы радоваться. Гляньте на себя, на кого вы похожи. Жена приведет вас в божеский вид. Она, видать, женщина решительная». — «В том-то и беда, — уныло сказал Тредиаковский. — Поручит она мое здание. А мне

еще столько узнать надо!» — «А для чего?» — «Ясно, не для чинов, — угрюмо прозвучало в ответ. — Надо, и basta!» — «Вот и у меня так, — задумчиво проговорил Новичков. — Все пристают: зачем тебе море, ты же его сроду не видал. А я почему знаю зачем? Надо. Иначе жизни нет». — «А поступить в мореходное — кишка тонка! — съязвил ТрEDIAКОВСКИЙ. — Здоровенный парень — четыре правила не осилишь». — «Я о море говорю, — без обиды отвел упрек Новичков. — А у вас красивая жена?» — спросил он странно. «Красивая!.. — и ТрEDIAКОВСКИЙ вдруг вспомнил ФЕОДОЛИЮ, всю как есть. — В том-то и беда... Красивая и добрая. Я от нее спящей сбежал, иначе не сумел бы. А другой раз мне подавно не уйти. Человек не чурка. Охолодал я, оголодал. Нет, не сладить мне с ней. Она вся на любовь наворострена, на любовь ко мне... не скаль зубы-то! (Новичков и не думал улыбаться, лицо его было серьезно и задумчиво.) Да не во мне дело, а в самой любви. Она любовь любит, а думает, что меня. Но пойдй объясни ей!..» ТрEDIAКОВСКИЙ и сам не знал, почему он так разоткровенничался с этим грубым и мечтательным недорослем. «Море, море!..» — пробормотал Новичков. «Заладил!..» — не понял и немного обиделся ТрEDIAКОВСКИЙ. «У каждого свое море, — тихо сказал Новичков. — И страшно его потерять, страшнее ничего нет». — «Правда твоя... А ты умнее, чем я думал, — удивился ТрEDIAКОВСКИЙ. — Ты вообще умный. Попомни мое слово — быть тебе адмиралом».

Василий Кириллович оказался провидцем. Новичков, так и не попав в Навигационное училище, удерет в Петербург, поступит на корабль простым матросом, скрыв свое дворянское происхождение, пройдет весь ад матросской службы с линьками и зуботычинами, издевательствами и тухлой водой, дослужится до офицерского чина, избородит моря и океаны и кончит жизнь контр-адмиралом.

«Похоже, я могу вам помочь, — сказал Новичков, морщась, как от кислого. — Подлость это, конечно, гнуснейшая подлость перед женщиной, но я ее не знаю. А узнаю,

так, может, на ваш след наведу или сам вас за шиворот к ней приволоку. Но я ее не знаю. А вас знаю. И слышу ваше море. На неделе сродственники наши Бурнашевы отправляют меньшого сына в Голландию корабельному мастерству обучаться». — «Неужто по смерти царя Петра дворяне еще слушаются его указов?» — удивился ТрEDIAKовский. — «Нет, — презрительно дернул плечом Новичков. — Рады-радехоньки к старому свинячеству вернуться. Правда, не все, хотя отнюдь не из послушания «державной тени», — вспомнил он поэтическое выражение ТрEDIAKовского. — У Бурнашевых старший сын тоже там обучался и в тузы вышел. Сейчас в Англии фрегаты строит. Богач. Они надеются, что и младшему fortuna улыбнется. Он сопляк, плакса, при маменькином подоле вырос, но гаденыш безвредный. С ним едет дядька. Я уговорю их, что одного дядьки неграмотного мало. Не потянет в науках Митяй Бурнашев. Вы язык-то голландский знаете?» — «Выучу — невелика хитрость. Он с немецким схож». — «Отменно! Будете тянуть корабельщика. Он тупец вроде меня, но без моря. — Новичков скупо улыбнулся. — Бурнашевы зело бережливы, но угол и стол получите». — «Если за этим дело стало... да я воздухом одним сыт буду...» — Лицо ТрEDIAKовского смялось от подступивших к горлу слез...

Через два дня ТрEDIAKовский катил в карете вместе с заплаканным отпрыском Бурнашевых и его сизоликим, благоухающим романеей дядькой. На московских улицах и даже по миновании заставы, когда вокруг развернулись подмосковные поля, березняки и ельники, Василий Кириллович ежился от страха, ему все мерещилась посланная Феодосией погоня. Вот-вот наскочут вооруженные всадники, схватят под уздцы бурнашевских лошадей, распахнут дверцы кареты и сунут ему в нос бумагу с кровавыми сургучными печатями — повеление от Священного синода или генерального прокурора вернуться к законной жене. Но никто их не остановил, кроме караульных, охраняющих

западный край русской державы. Путники предъявили свои паспорта и беспрепятственно двинулись в чужие пределы.

Весь долгий путь через Великия и Белья России, ляхскую землю и немецкие княжества юный Бурнашев проливал безутешные слезы. Поразительно, что жадная до всяких впечатлений юность могла оставаться столь безразличной к мелькающей за окнами кареты чужой пестрой жизни, к дворцам, замкам, крепостям, церквям, костелам, кирхам, мостам, садам, к красивым городам с нарядными людьми, наполняющими тишину мироздания звуками незнакомой — то певучей, то шипящей, то лающей речи. До чего уж непристалин к окружающему был самоуглубленный ТрEDIAKовский, но и тот забывал о своих заботах, откладывал прочь любимые книги и часами неотрывно смотрел в окошко. А Бурнашев знай себе хныкал, не в силах вырваться из домашнего закута с мамкиным баловством, ласковой девичьей, с пуховой периной после жирного обеда, с отцовым кнастером, тайно раскуриваемым в людской. Он оживлялся лишь во время трапез, когда дядька с заговорщицким видом открывал очередную квадратную бутылку. Удивляло, что безбородый юноша столь привержен к вину, которое быстро заплетало ему язык в косу, затуманивало глаза и погружало в долгий, беспокойный, с бормотом и горестными вскриками сон. Василий Кириллович, хоть и раздражался, благоразумно помалкивал. С него и собственных забот было достаточно.

—
7
—

...А мог он вовсе не тревожиться и не бежать из Москвы — Феодосия попала в руки атамана Кирьяка, промышленного разбоем на Нижней Волге.

Случилось это так. Из Астрахани купеческий караван отплыл погожим утром, под сулящий удачу и радость благовест колоколов. Шли ровно и ходко, держа в парусах тугой юго-западный ветер. Феодосия сроду не плавала по

реке, даже в лодке, она наслаждалась путешествием, открывающимися окрест видами бескрайних, плоских земель, песчаных, поросших колючим кустарником и нежными блеклыми цветами островов, всеми малыми подробностями речной жизни. Ей нравились ее хозяева: степенные, пожилые купцы, относившиеся к спутнице сочувственно, но без обидной жалости, приглашавшие к обеду со стерляжьей ухой, свежей икрой, рыбными пирогами и солониной. Нравилась корабельная команда: веселые, по-кошачьи ловкие, дочерна загорелые парни. Все было любо Феодосии до умиления, и верилось, что отыщет она мужа и навсегда воссоединится с ним.

Но уже в Саратове путников подстерегала беда. Здесь они должны были пересечь на подводьях и в сопровождении небольшого конвоя наезженным трактом двинуться в Москву, но им не дали сойти на берег. В Астрахани началась чума, известие о которой успело их опередить. Тщетно пытались купцы сговориться с пристанским начальством, сулили щедрую мзду, те и слышать ни о чем не хотели. Добиться встречи с городскими властями, авось окажутся посговорчивей, тоже не удалось, видать, отменно строги были распоряжения насчет приезжих из пораженного страшной заразой города, если не сработал самый верный ключ, отмыкающий на Руси все двери: взятка.

Делать было нечего: отвалили от Саратова и пошли дальше вверх по реке. В Вольске, от которого шла проезжая дорога к Московскому тракту, пристали. Никто не препятствовал высадке. До Саратова страшная новость стрелой домчалась, а до этого заштатного городишки еще не доползла. Единственно, что удивило местных людей, на кой ляд понадобилось купцам так удлинять и затруднять себе путь — из Саратова ближе, да и дорога лучше. Но самый почтенный из купцов, седобородый и черноглазый Емельян Исаев, похожий повадкой на боярина, а не на торгового гостя, важно пояснил, что на саратовском тракте «балуют», что звучало вполне правдоподобно по тем тревожным вре-

менам, наступившим после смерти царя Петра. Правда, случившийся при разговоре вольский перевозчик заметил, что балуют, и весьма шибко, как раз в их местах, на него накинудись с бранью и угрозами и прогнади прочь. Местным деловым людям появление богатых астраханских купцов было что Богов гостинец. Купцам требовались подводы, лошади и мужики для охраны, на оплату не скупились, ибо проволочка была им куда накладнее.

А что бы им послушать пьяненького перевозчика! Небось многим вспомнились его слова в глухом Труновском лесу, когда первые звезды проклонули по-дневному голубое легкое небо над кронами старых рослых деревьев и острый свист распорол тишину, грянул выстрел, пыхнув оранжевым пламенем, и дымная селитряная вонь заглушила горьковатый запах леса. Мгновенно, будто того и ждала, рассеялась, стинула охрана. Темноликие бородатые мужики выскочили из-за деревьев и стали валить наземь не помышлявших о сопротивлении возчиков и сбрасывать с возов товары.

Феодосия сидела в задней телеге и наблюдала происходящее, словно представление в ярмарочном балагане. Страшное представление. Она видела, как взвел курок пистолоти отважный Емельян Исаев, но выстрелить не успел, порубленный поперек головы саблей огромного лохматого детины в кумачовой рубахе; как порубил тот же детина павшего на колени дряхлого, с голым скопческим лицом купца Чурикова, как был застрелен из мушкета богобоязненный рыбак Муханов, первый в Астрахани жертвовател на святые храмы. А потом лохматый разбойник приметил ее, сдернул с воза, обдав острым, лисьим запахом. Совсем близко она увидела его взболтанные, тухлые глаза и потеряла сознание. Много позже, очнувшись в темной горенке, на деревянной лавке, приткнутой в угол, под слабо мерцающей лампадкой, узнала Феодосия от хозяйки избы, сухонькой быстроглазой старушки, что вызволил ее из лап лохматого разбойника атаман Кирьяк. «Счастье твое, девонька, что успел Кирьяк в лицо тебе глянуть, — говорила старуха певучим голосом сказитель-

ницы, — и пленился тобой. Нельзя к Семушке подступать, когда он распалимшись. Не то что старшого, родную мать прикончит. Ужасной лютости человек. Другие мужики убивают по крайней надобности, Кирьяк, хоть дюжее всех, только в схватке, а Семушка наслаждается, кровь спускает. Кирьяк, как тур, здоровый и, как ласка, верткий, а крепко ему от Семушки досталось, покамест его скрутил. Сейчас весь перевязанный в соседней избе лежит». — «А Семушка?» — зачем-то спросила Феодосия. «Успокоился, водку глушит на радостях, что богатую добычу взяли». — «И ему ничего не будет?» — «А что ему может быть? Он в своем праве. Мог тебя себе взять, мог срубить — вольному воля. Это Кирьяк, девушка, против обычая пошел». — «Я не девушка, а мужняя жена», — поправила Феодосия. «Была, — холодно сказала старуха. — Муженек твой в лесу остался». — «Да что ты, бабушка, там старцы полегли, а у меня муж молодой, в Москве живет». — «Вон что! — удивилась старуха. — Значит, ты не купецкая жена? Наши купцов не больно жалуют». — «Я сторожева дочь, а муж — семинарист, — сообщила о себе Феодосия. — Бабушка, а куда меня привезли?» — «В избу, нешто не видишь? А изба посереде деревеньки стоит. А деревенька — посереде России. Махонькая такая деревенька, пять домов. Мором весь народ извело, сюда ни баре, ни власти носа не кажут, вот наши и отдыхают от трудов своих». Феодосию удивило, что старуха говорит о разбойниках-душегубах как о самых обычных мужиках, можно подумать, что они с косовицы вернулись, а не с лютого дела. «Бабушка, скажи, милая, коли я не купеческая, а самого простого роду, отпустят меня отсюда?» — «Это, милая, не мне знать», — поджала губы старуха...



...Василий Кириллович поздно вечером шел по «веселому» кварталу, как любовно называли моряки, а вслед за ними, но презрительно, и городские обыватели припорто-

вую часть города. Здесь чуть не в каждом доме располагалась австрия, здесь обитали доступные — только не для пустого кошелька Василия Кирилловича — нестерпимой красоты девицы, сдавались комнаты и углы на ночь, на час, гремела допоздна музыка и гирляндами висели разноцветные фонарики, отражаясь в темной мусорной воде каналов, обсаженных толстоствольными кургузыми ивами. Василий Кириллович редко зааживал сюда, как по отсутствию вкуса к подобного рода увеселениям, так и по отсутствию денег, зато не вылезал его питомец, совсем отбившийся от рук. Василий Кириллович уже не пытался вытаскивать будущего кораблестроителя из питейных заведений и от девок, да это и не входило в его обязанности. А дядька, сам приверженный к вину сверх меры, считал, что барчук ведет себя, как и подобает русской дворянской юности. «Успеет еще головку перетрудить, пусть дитя тешится, покуда кровь играет и волос кольцами вьется. Наши шляхтичи от роду к тому приучены, а вон какую державу собрали. У нас в любой губернии десять Голландий поместится, хушь эти буи голландские примерного поведения и всю арифметику наскрозь знают». Против этого нечего было возразить, да и что ему до молодого жеребчика? Но была в характере Василия Кирилловича назойливая любовь к порядку, отдающая педантизмом, да и жаль ему было времени, без толка и смысла утекающего меж пальцев молодого человека. В Голландии можно было купить любую книгу — хоть французскую, хоть английскую, хоть немецкую, все, что сочинители не могли или опасались издать в собственной стране, беспрепятственно издавалось в Голландии, иногда под вымышленным именем. Нигде в Европе не было такой свободы, как в этой стране, свергшей испанское владычество и ненавидящей всякое насилие над человеческой личностью, угнетение мысли и духа.

И все же Василий Кириллович не испытывал полного удовлетворения от здешней жизни, и отнюдь не по причине юного Бурнашева. Здесь по-настоящему хорошо было

практикам: кораблестроителям, механикам, плотникам, мореходам, негоциантам, всякого рода предпринимателям и ученым точного знания. Духовным средоточием Европы оставался Париж. Оттуда шло все, чем вознесен человеческий дух: философские мысли, торжественные, строгие, игривые и пленительные поэтические образы, новые стройные литературные системы.

Василий Кириллович тихо брел вдоль канала, глядя, как ложатся на расцвеченную фонариками воду узкие листья ив и, подгоняемые ветром, лодочками плывут к морю; из дверей австерий ударяла музыка, слышался женский смех, хриплая ругань, хмельные песни, и грустно делалось от безнадежной чуждости этой жизни. Он и сам не знал, что его сюда привело, во всяком случае, не беспокойство за юного Бурнашева. Василий Кириллович плохо знал город, не доверял ему, а в поздние часы так и побаивался: слишком много грубой матросни, возбужденной разноязычной речи, пьяных бородатых рож, татуированной кожи, бесстыдных, назойливых нищих и страшноватых в своем бесцеремонном напоре слепцов, казалось, лишь они одни точно знают свою цель.

Но сейчас тут было непривычно пустынно: порок и веселие не любят осени и с первым дуновением холодного ветра прячутся под крыши, к огню очага, над которым подогревается ячменное пиво.

Рассеянный взгляд Василия Кирилловича обнаружил, что у него две тени. Одна, постоянная, сильно вытянутая, бежала справа, простираясь через каменную мостовую, заворачивалась на стены домов; слабая и нечеткая, она была рождена полной луной. Другая, более плотная, темная и короткая, скользила слева, она возникала за его спиной, равнялась с ним, выбегала вперед, и тут ее как слизывало, затем она вновь оказывалась сзади. Эту тень создавали фонари. Вдруг он увидел еще одну тень — тоже слева, в стороне канала, но эта тень не обгоняла его, а держалась чуть позади, узенькая, маленькая, будто и не его вовсе. Но вот

он ее потерял, верно, то была тень другого человека, который отстал или свернул к решетке канала, но деликатная тень возникла снова, и он с ужасом понял, что это тень женщины. Феодосия выследила его, да это и нетрудно, ведь он раззвонил по всей академии, что отправляется с Бурнашевым в Голландию. Почему-то он был уверен, дурак несчастный, что Феодосия не отважится ехать за ним в чужие края. Как будто существуют препятствия для ее цепкой любви. И вот она его настигла. Боже, какой прекрасной показалась ему здешняя жизнь, и он еще смел жаловаться! Теперь этой жизни конец, им тут не прокормиться вдвоем. Значит, назад, в Москву, или того хуже — в Астрахань... И, уже желая приблизить мгновение, странное, как смерть, Третьяковский резко обернулся, и взгляд его рухнул в пустоту. Маленькая тень, будто свернувшись в клубочек, лежала у его ног, то была его собственная — третья тень, от освещенных окон верхних этажей. Спасибо, господи, ты опять помиловал меня! И все же это следует считать предостережением, Феодосия может нагрянуть в любой день, спасение только в бегстве. И на другой день он бежал с краюхой хлеба и десятком книг в заплечном мешочке...

Если бы Василий Кириллович лучше представлял, какое ему предстоит путешествие, он, возможно, остался бы в Голландии, несмотря на весь риск быть настигнутым женой. Пускаясь в свой многодневный путь без гроша медного в кармане, он утешал себя мыслью, что мир не без добрых людей, авось просуществует Христа ради. Но, едва покинув пределы Голландии, он оказался в опустошенной бесконечными войнами стране. Нищета горестной Фландрии едва ли не превосходила разор незаможных российских деревень в пору неурожая, но русская нищета добра и милосердна, для путника даже в самой бедной крестьянской семье всегда найдется кусок хлеба, миска тюри, крапивных щей или мятой картошки с луком, ну, хоть кваском дадут нутро ополоснуть, от здешних людей этого не

дождешься: угрюмые, ожесточившиеся, они или молча отворачивались, или злобно гнали прочь. Не то что в дом, в сарай на ночь, не пускали. Возможно, они были снисходительнее к собственным нищим, но побирушка-иноземец приводил их в ярость. Они так натерпелись от испанских, французских солдат, немецких и швейцарских наемников, что каждый чужестранец представлялся им лютым врагом.

Василий Кириллович жрал траву, кислые ягоды, гниловатые лесные орехи, какие-то грибы, вытрушивал зерно из оставшихся на полях колосьев; он продал камзол, кафтан, потом шляпу, заменив ее пиратским платком, расстался с обручальным кольцом и нательным крестиком, сменил туфли с пряжками на деревянные сабо, но вырученные деньги лишь частично расходовал на еду, большей частью расплачивался за проезд на попутных телегах, бричках, фурах. Лучше перетерпеть голод, да скорее добраться. Он не заметил, как въехали во Францию. Внешне ничего не изменилось: тот же разор, погорелье, те же угрюмые лица и нищета. Ближе к Парижу картина изменилась: меньше стало военных, целее города и села, приветливей народ. Но Василий Кириллович, утративший доверие к братьям в человечестве, обходился своей немочью.

Однажды утром слуги русского посла князя Куракина обнаружили у порога посольского дома живые мощи: чудовищно исхудалый, черный от солнца и грязи, обросший бородой человек спал, положив голову на каменный порог. Когда его растолкали, он зашевелился, задергался, хотел встать, но не смог, из пересохшего рта вырывались жалобные звуки, в которых с трудом угадывалась русская речь. Его подняли, отнесли в дом, отмыли в чане, накормили, заставили выпить большую рюмку водки с солью и перцем. Сам князь Куракин пожелал его видеть. Оборванца под руки отвели к послу. Он упал кучей тряпья к ногам вельможи, назвал себя и попросил не гнать прочь. Князь Куракин был настолько знатен, богат и силен при дворе, что признавал себе равными лишь немногих избранных,

ведущих род от варяжских князей, к тому же сохранивших состояние. Остальные, без различия титулов, званий, чинов, занимаемого положения, зачислялись во «всякую сволочь», в чем сказывался своеобразный демократизм князя: разорившийся представитель древнего рода Оболенских, петровская «знать», богач-купчина, мастеровой или цирюльник были равны перед его презрением. Но среди «всякой сволочи» князь выделял людей одаренных, знающих и чудаковатых. Зашелец — проницательный дипломат понял сразу — совмещал в себе все эти качества: несмотря на молодость, то был zelo образованный, думающий человек с божьей искрой, к тому же чудаковатый. Судьба Третьяковского была решена. Ему не только оказали приют, дали одежду и установили содержание, князь снизошел до обсуждения с ним его ученых занятий, посоветовал, какие лекции стоит послушать в Сорбонне и у каких профессоров, кого из «мэтров» надо избегать — схоласты, педанты, ослиные уши, какие посмотреть спектакли в «Комеди Франсез» и у итальянцев, с какими достопримечательностями познакомиться. Князь разрешил Третьяковскому неограниченно пользоваться своей уникальной библиотекой, Василий Кириллович не выдержал, заплакал и хотел поцеловать князю руку, но тот не позволил...



...Остаток лета, всю осень и зиму Феодосия недужила. То металась в жару, не узнавая своей хозяйки, не помня, где она и что с ней, то, оплывая от слабости, сидела у окошка, глядевшего на скучную околицу с огромной лужей, задернувшейся после первых заморозков сахарным ледком, потом промерзшей до земли и тускло исчерна позеленевшей и наконец скрывшейся, как и все в просторе, под толстым снегом. Бабушка Акулина говорила, что такой снежной зимы сроду не бывало в здешних краях. Болезнь замечательно скрадывает время. Феодосия, переходившая от за-

бытья к призрачной полуяви, не замечала, как летят дни, недели, месяцы. Придя окончательно в память, она стала привыкать к своей новой слабости, училась ходить, держать ложку, глотать какую-то жидкую пищу, пить горькие травяные отвары и удерживать их в себе. Когда же повеяло весной, она стала крепнуть ото дня ко дню, даже Акулина удивлялась, до чего быстро наливалось силой совсем было отошедшее в иные пределы существо.

Теперь Феодосии казалось, что болезнь она сама себе надумала, чтобы не умереть от горя и разочарования. В душу запали слова Акулины: «Кирьяк в лицо тебе заглянул». Она хорошо понимала, что это значит: прельстившись ею, Кирьяк пошел против устава шайки, отнял добычу у товарища и поплатился за это кровью. Тем он как бы обрел права на нее. Кирьяк тоже долго отлеживался, гноилась, не заживала рана. С перевязанной рукой заходил к ним в избу, молча смотрел на нее. Его угрюмое, заросшее лицо с небольшими светло-серыми пытливыми глазами почему-то не пугало. Он что-то говорил Акулине вполголоса и уходил. Больше никто в избе не появлялся, видать, Кирьяк запретил. Только дюжая баба, не переступавшая порога горницы, приносила время от времени дрова, муку в мешках, свиное сало да свежую убоинку.

А разбойников Феодосия наблюдала в окошко. И странно ей было, что она, под стать бабке Акулине, уже не могла относиться к ним как к душегубам-кровохлебам, несмотря на все виденное в лесу. Она знала, кровь лакома одному Семушке, другие никакой себе радости в убийстве не находят. Это были обычные деревенские мужики, придавленные вечной заботой, непосильным трудом, страхом перед завтрашним днем. Разбойничья жизнь мало походила на ту, что изображалась в песнях. Там — отважные схватки, золото, жемчуг, драгоценные камни да соболя, прекрасные девы, влюбляющиеся без памяти в забубенных молодцов. А здесь — тащись что ни день, в дождь, ветер, пронизывающий холод, когда зуб на зуб не попадает и не

удержать ружья в окоченевших, с распухшими суставами руках, в засаду, заранее зная, что ничего там не высидишь, кроме боли в груди и пояснице. Удача с купеческим обозом была единственной за все лето. Осенью маленько поправили дела за счет бегущих от чумы богатых астраханцев, но большинство шло водным путем на Самару и выше. Кирьяк похвалялся, что весной он захватит суда и пойдет озоровать по Волге, как приснопамятный Степан Тимофеевич. Конечно, то было пустое бахвальство, сил у Кирьяка не хватало, потому и действовали в захоlustье, а не на добычливом московско-саратовском тракте, где преуспевали другие шайки. В начале зимы на свежей санной дороге захватили крестьянский обоз, везший оброк барину в Борисоглебск, да невелика разжива: битая птица, мороженая телячья туша, с десятков поросят, бочки с соленьями и моченьями, тощий кошелек денег.

В то смятенное время разбой на Руси достиг степеней чрезвычайных. Насылаемые изредка слабые правительственные отряды особого рвения не проявляли. Тем более что и разбойники не лезли на рожон, сразу скрывались в лесах, позволяя командиру карателей послать начальству победную реляцию: шайка рассеяна, порядок восстановлен. Отряд с барабанным боем тащился обратно, пыля пересохшей землей, а разбойники, покинув укрытия, опять подвигались к проезжим дорогам.

Хотя злата и соболей в отряде Кирьяка не видывали, но концы с концами сводили, и семейные разбойники — почти вся шайка была из местных — отсылали либо сами отвозили домой кое-какое вспомоществование. Разбой был чем-то вроде отхожего промысла: как в иных деревнях мужики, взамен хлебопашества, занимаются извозом, плотничают или катают валенки, прислуживают в трактирах или банях, торгуют на городских рынках сбитнем или пирогами с собачиной, так здешние крестьяне уходили со своих неродящих, сухих, обдутых горячим ветром полей на разбойный промысел. Было тут немало и людей обиженных.

У Кирьяка барин молодую жену снасильничал, она руки на себя наложила. Кирьяк того барина задушил, а сам в лес подался. У Богуна, правой руки атамана, с барыней счет вышел. По ее приказу его подвешивали голого на конюшне и секли вожжами, а барыня смотрела, кивая головой, будто отсчитывала удары, после начинала стонать и корчиться, только не от жалости, а от какой-то внутренней сласти. Богун в свой черед подвесил нагую барыню к той же стрехе и отодрал вожжами так, что кожа с нее, как со змеи, лоскутьями сползала. Другие мужики ударились в бегство от меньших обид, от разора, голода, были и погорельцы, и, конечно, сбившиеся с пути, Макары, не помнящие родства, вроде Семушки. Иные мужики на пахоту, сенокос уходили в свои деревни подсобить родителям или женам, но большая часть держалась прочно стаей.

Отболев, Феодосия почти вернула себе тот бодрый покой, какой ею владел некогда в Астрахани. Да, ей не удалось достигнуть мужа с первой попытки, человек предполагает, а Господь Бог располагает. Положен ей новый искуc, но она выдержит, сдюжит и отыщет своего ненаглядного. Она потеряла много времени, лишилась скромных гостинцев, которые везла мужу, денег, — видать, Акулина нащупала в юбке и выпорола оттуда, но стала немного ближе к цели. Теперь у нее одна задача: вырваться от разбойников. Кто знает, какие ей еще предстоят испытания, какие выпадут беды, страхи, искушения, тягости, она должна все одолеть, где терпением взять, где отвагой, где хитростью — птицей пролететь, зверем порскнуть, рыбой скользнуть, змеей проползти, а до Москвы добраться.

Значит, надо держать себя в руках, приглядываться, прислушиваться и побольше пытаться словоохотливую Акулину, чтобы вызнать все нужное для побега.

Вскоре Феодосия с досадой обнаружила, что речистая бабушка ровным счетом ни в чем не проговаривается. Она прямо-таки засыпала Феодосию всякими сведениями о разбойниках, об их характерах, повадках, жизненных об-

стоятельствах, об удачных и неудачных набегах на барские усадьбы, о стычках с солдатами, о разных лихих и лютых делах, но все это происходило в какой-то смутной дали и смутном времени, будто за краем земли при царе Горохе. Как ни подъезжала к старухе Феодосия, она так и не смогла из нее вытянуть, где находится их деревенька, какие сюда и отсюда дороги ведут, в какой стороне осталась Волга, есть ли поблизости городишко или крупный поселок. Старуха, не отводя незабудковых, чистых, как у младенца, глаз, начинала плести несусветную чушь, и Феодосия запирала в себе слух. Добрая бабушка Акулина была настоящая разбойничья ведьма: умная, хитрющая и неумолимая, ее жги — не проговорится.

Феодосии казалось, что бабушка Акулина исподтишка присматривает за каждым ее шагом. Она решила ее испытать. Разбойники были на деле, немногие обитавшие в деревне женщины возились в огородах, бабушка Акулина перебирала картошку в подполе, когда Феодосия, откинув щекоду, впервые вышла на улицу. Никого, только куры бродят. Феодосия миновала околицу и двинулась по большаку, обходя огромные, кишмя кишевшие головастиками весенние лужи. Ее отвыкшие от ходьбы ноги крепили с каждым шагом, чистый полевой воздух распахивал грудь. Феодосия оглянулась, никто за ней не следил. Даже настырная Акулина не всполошилась. Едва ли она доверяла пленнице, скорее рассчитывала на ее слабость. Феодосия не стала злоупотреблять терпением своей стражницы и вернулась домой.

— Как хорошо в поле-то! — сказала она Акулине.

— Одевайся потепше, — заботливо посоветовала та. — Неровен час опять свалишься, Кирьяк мне голову скусит.

Бабушка частенько подчеркивала и свою особую ответственность за Феодосию, и попечение атамана Кирьяка. Феодосия холодела, догадываясь о смысле этих намеков, но сейчас в ней проснулась злость. «И хорошо бы скусил!» — «Так-то ты меня благодаришь? — слезливо завела

старуха. — Я ли тебя не выхаживала, ночей не спала!..» — «Тоже мне благодетельница!.. И не лезь ты со своим Кирьяком». — «Это почему же? Он мужик правильный, справедливый...» — «Лыцарь с большой дороги», — перебила Феодосия. «Не шути так, деушка, Кирьяк добрый, добрый, а осерчает — беда». — «Вот то-то и оно! И хватит меня девушкой звать, сколько раз говорила. Я мужняя жена». Акулина отвернулась, проворчав что-то скверное, Феодосии послышалось: «Кирьяк тебя живо от брачных уз ослобонит».

Теперь она каждый день совершала все более дальние прогулки, приучая себя к долгой, быстрой ходьбе. И когда бабушка Акулина как-то отлучилась со двора, Феодосия сунула под кофту шматок сала, ржаную лепешку и припустила по знакомой дороге. Версты через две или чуть поболее дорога свернула в лес, что было на руку Феодосии, теперь ее не углядеть из деревни. Дорога не была ни наезженной, ни нахоженной, и все же сквозь гривку весенней травы отчетливо проступали тележные колеи, значит, дорога куда-то вела, ею пользовались. Феодосия вспомнила про разбойников: что если она столкнется с возвращающейся шайкой? Но как ни бесшумно передвигаются лесные люди, у них подводы, лошади, всякое снаряжение, она услышит их загодя и юркнет в чащу. Лес был тих и спокоен, и бдительные его стражи-сойки не жили под солнцем свое яркое оперение. Перепархивали с сухим стрекозным шорохом мелкие птички, дятел ожесточенно долбил березу, взбалтывая свой бедный мозг в маленькой красной голове, грустно и редко, будто не доверяя самой себе, куковала кукушка. Феодосия не отважилась спросить кукушку, сколько лет ей осталось жить, голос птицы был затухающе слаб, а ей надо было жить долго-долго, чтобы наверстать все потерянные для любви годы со своим единственным.

Чем дальше углублялась она в густеющий лес, тем становилось жарче и душнее. Но из-под старых деревьев, приютивших густую тень, надавало сыровой прохладой.

Кисленько пахли ландыши. Обок с дорогой желтели одуванчики и синели стройные живучки. Феодосии захотелось сплести венки, даже кончики пальцев защекотало, так не терпелось им коснуться тонких тел цветов. Она едва одолела искушение: надо засветло добраться до какой-нибудь деревни, ночевать в лесу страшно и холодно, опять лихманка скрутит. Дорога уверенно тянула через лес, порой огибая какую-то мокрую балку или овражек, курящийся белым черемуховым дымом, и вышла к неглубокому, довольно широкому ручью в низких, поросших лезвистой травой берегах. Феодосия поглядела за ручей на толстые бурые мхи, сквозь которые пробивались хвощи, и не увидела дороги. Поразмыслив и погадав, она пошла влево вдоль воды и вскоре обнаружила дорогу, петляющую по берегу и постепенно отклоняющуюся от ручья. Феодосия озадачилась — дорога вроде бы поворачивала вспять. Да нет, тут нарочно понапутано, чтобы сбить с толку чужака, по злему умыслу, а хоть бы и ненароком забредшего в заповедный край лесной вольницы.

Она пошла по четко обозначившимся колеям и уже в сумерках, натерпевшись страха, оказалась на краю поляны, прямо против деревни, странно тихой и безлюдной, вроде бы брошенной. А хоть бы и так! Она переночует в первом попавшемся доме, а утром пойдет дальше. Тут она увидела у крыльца крайней избы старушечью фигуру. Феодосия поспешила туда, и противная слабость в коленях чуть не повергла ее наземь.

— Набегалась? — ворчливо сказала бабушка Акулина. — Иди вечерять-то, второй раз самовар грею.

Теперь Феодосия поняла, почему ее не стерегут и позволяют ходить где заблагорассудится. И все-таки дорога, настоящая дорога, которая выводит из этой западни, где-то должна быть. Ведь не по воздуху уходила и возвращалась шайка, да и прежние насельники деревни как-то общались с миром. Может, надо было пойти по ручью в другую сторону или перейти его вброд и там, на толстом

мшанике, отыскать вмятины от тележных колес. Все дороги куда-то ведут, значит, и эта дорога, как бы ни запутывали ее ленту боящиеся преследования люди, имеет настоящее направление, надо только суметь распутать узлы. Сразу ничего не дается, но сегодня она стала чуть ближе к избавлению. А главное, ей нечего таиться, Акулина настолько уверена, что отсюда не уйти, что предоставляет ей полную свободу.

И на другой день Феодосия на глазах Акулины снова пустилась в путь. Все было по-вчерашнему: сойки, дятел, мелкие пичужки, кукушки, только одуванчики успели превратиться в пушистые шары. Достигнув ручья, она пошла в другом направлении, продираясь сквозь таволгу и цветущую крапиву. Шла она долго, острекалась, устала и хотела уже повернуть назад и тут увидела на другом берегу ручья, на песчаном заливе полнящиеся водой колесные следы. Разувшись, она перебралась на тот берег по обжигающе студеной воде, растерла замлевшие ноги, натянула сапожки, но сажень через пятьдесят пришлось опять разуваться — перед ней снова оказалась вода. Был ли это тот же ручей, петляющий заячьей цепочкой, или другой — понять нельзя. Дальше дорога пошла сухой, прямой, как стрела, просекой, по которой во всю длину простерся солнечный луч. В его перехвате тусклое оперение сновавших над просекой дроздов загоралось фазаньими красками, и как будто лопались серебристые шарики, это вспыхивала в луче светлая роговица летучих жучков. И Феодосию объял этот луч, она поплыла по его клубящемуся лесной пылью сиянию и приплыла прямо на зады деревни. У плетня поджидала бабушка Акулина.

— Набегалась? — добродушно спросила старушка. — А я тебе кулеш молочный сварила.

Не кричать, не плакать, не валиться наземь, внушала себе Феодосия. Я стала еще ближе к Василию, ближе на эту проклятую обманную дорогу, которой мне все равно было не миновать. И может, их тут много, таких дорог, но

одна все-таки окажется настоящей и выведет меня на волю. Завтра я опять пойду... Но завтра у нее не оказалось, ночью явился человек от Кирьяка и велел всем уходить в лес. Приближался карательный отряд.

Как ни ослабила смерть Петра государственный аппарат, пушенные им колеса все-таки вертелись, и власть себя охраняла. Бессильная во всем другом, она не вовсе разучилась преследовать и карать. Уходящие лесом разбойничьи женки, а равно и Феодосия с Акулиной, видели в разрывах чащи черный недвижимый дым, шапкой накрывший спаленную карателями деревеньку.

10

Началась лесная жизнь, в шалашах и землянках. Разбойники пробавлялись легким, неопасным делом: обирали астраханских мародеров. Чума продолжала свирепствовать, уничтожая целые семьи, и опустевшие дома подвергались разграблению как местными, так и пришлыми людьми, которые в надежде на поживу отважно проникали в зараженный город и уходили с немалой добычей. Им никто не препятствовал, власти давно покинули Астрахань.

«Небось и мой дом разграбили, — без всякого сожаления думала Феодосия. — Да что там осталось: ложки, поварешки, постели, кое-какая одежда». Странно, ей на ум не приходило, что чума могла лишить ее не только имущества, но и близких людей, родного батюшки. Нет, в ее сознании все они оставались целы и невредимы. Ей не хотелось обременять душу никакой лишней заботой, никакой тревогой и болью, отвлекающей от мыслей о муже, с которым она должна соединиться. В роковой недосыгаемости Василия Кирилловича ее любовь к нему не то чтобы усилилась, сильнее нельзя любить, но обрела черты восторженного поклонения. Даже бегство его вызывало восхищение. Он бежал не из корысти и выгоды, а себе во вред и тягость, единственно ради знания. Кто еще на это способен? Все

лишь о хлебе насущном думают, о богатстве и всякой земной сладости. Он необыкновенный, великий человек, недаром же остановил на нем взгляд царь Петр.

Она думала о занятиях Василия Кирилловича и жалела, что не вникла в них глубже. Почему он был пристрастен к рифмованным строчкам, которые складывались в песню, но песней не были? Он называл их стихами. А зачем говорить в рифму, да еще нараспев, коли ты не собираешься ни петь, ни причитать, ни славословить царя небесного или земного человека? Простой речью, какой в разговоре пользуются, можно, все проще и ясней выразить. Она не понимала этого и мучилась. Однажды, тоскуя свыше мочи о Василии Кирилловиче, утирая набегающие на глаза слезы и томя себя невыносимыми мыслями о худобе, скудости одинокой жизни мужа близ московской науки, Феодосия проговорила вслух такое, чего и внутри у нее не было, словно вычитала начертанное в воздухе:

Уж я встречу с тобой, милый, родненький.
Накормлю тебя сладко, сдобненько.
Напитаю твою плоть нищую
Самой вкусной и сытной пищею.

Ей стало чудно, радостно и чего-то стыдно, и она вычитала в дрожащей пустоте лесного воздуха другие, лишь ей зримые письма:

Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовью снова согреется,
Что забудется мука мученическая.
И ты счастьем обучишь еще меня.

Феодосия, несомненно, была поэтом, и поэтом лучше Тредиаковского, но она так и не узнала, что ее устами говорит вечность. Оказывается, рифмующимися строчками можно нежнее, задушевнее сказать о своем чувстве, нежели простой разговорной речью, и это облегчает душу лучше слез. Когда Акулина вошла в шалаш, она проговорила:

Тяжело холодать,
Тяжело голодать,

Но тяжельше того
Друга милого ждать,
Ждать не дожждаться.

— Свят, свят! — перекрестилась испуганная Акулина, решив, что Феодосия произнесла какую-то ворожбу.

Уловив испуг бабушки, не боявшейся ни людского, ни божьего суда, ни государевых застенков, Феодосия поняла, что Акулина верит лишь в силы преисподней, и принялась травить старуху. Стихи слагались играючи, они плескались возле сердца, и надо было только сморгнуть с глаз окружающую мельтешню и вычитать в небесной книге звонкие строки о чем хочешь: о любви, тоске, облаках, ветре, по-ползне, снующем по раките вниз головой, даже о противной Акулине. Как-то раз, уставившись ей в лицо неподвижным взглядом, Феодосия проговорила загробным голосом:

Наточу я ножик повострей
И добуду Акулининых кровей,
Требуху старой ведьме нарушу,
В ад кромешный засуну душу.

С громким всхлипом Акулина выбежала из шалаша и вернулась с Кирьяком.

— Зачем бабушку пужаешь? — спросил он хмуро.

— Вольно пугаться старой дуре! — свободно отозвалась Феодосия, она ненавидела старуху и не желала этого скрывать. — Я стихи говорю.

— Какие еще стихи?

— Ну, песни вроде... Только их не поют, а говорят.

— А ну скажи.

И Феодосия сказала, только не про Акулину, а про свое сердце.

— За что же ты его так любишь? — глухо спросил Кирьяк.

— А как же не любить? Он мой родненький, единственный. Другого не было и не будет.

— Это уж как Бог решит.

— Бог уже решил. Небось нас в церкви венчали.

— Как же Бог разрешил ему бежать? — зло усмехнулся Кирьяк.

— Батька его, священник, мечтал приход ему передать. А он не хотел в попы, учиться хотел.

— Что в попы не пошел — одобряю. А зачем женатому мужику учиться?

— Дурачок ты, Кирьяк, — почти ласково сказала Феодосия. — Учатся, чтобы все знать. Как мир божий устроен, какое в нем каждой твари назначение. А когда узнаешь, все умные книги прочтешь, доберешься до высшего смысла.

— И твой доберется? — недоверчиво и все с той же угрюмой насмешкой проговорил Кирьяк.

— Мой-то как раз доберется! — с торжеством сказала Феодосия. — Он упрямый.

— Черта лысого он доберется! — грохнул Кирьяк. — Вот кто есть самый распоследний дурандай, так это твой мужик. Высший смысл рядом был, а ему — звонки бубны за горами.

— Болтаешь пустое, — вздохнула Феодосия, уже понявшая, что разговор склоняется к тому, чего ей так хотелось избежать, и ведь казалось, дуре жалкой, пронесет грозу стороной, а не пронесло.

— В тебе этот смысл, Феодосия, только в тебе! — горячим, искренним голосом заговорил Кирьяк. — Кабы ты моей была, неужто мог бы я тебя кинуть? Да за все сокровища..

— Пошел ты со своими сокровищами! — нарочито грубо оборвала его Феодосия, надеясь погасить разгорающийся костер. — Только и знаете — о сокровищах. Василий Кириллович на нищую жизнь пошел, а не за сокровищами. Для него все ваши сокровища — тьфу! — Она плюнула и растерла ногой.

— А ты можешь быть злой, — удивился Кирьяк.

— Могу. Для себя не могу, для него могу. Убить могу, глаза выцарапать, искалечить, все могу, так и знай, Кирьяк. И себя убить могу, — добавила спокойно.

— А зачем умней умного быть? — помолчав, сказал Кирьяк. — Был у нас мужик в деревне, все божественные книжки читал. Умнел ото дня ко дню, куда не обернулся в круглого дурака.

— Чего с тобой говорить. Все равно не поймешь. Ты хоть читать-то умеешь?

— Умею... маленько, по псалтырю. И счет знаю.

— Вон ты какой ученый! — улыбнулась Феодосия.

— Скажи-ка... это еще раз. Про сердце. И Феодосия сказала:

Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовью снова согреется,
Что забудется мука мученическая,
И ты счастьем обучишь еще меня.

— Да... — вздохнул Кирьяк. — Кабы ты меня полюбила... — Он примолк, будто испугавшись своей мысли, потом тихо, задушевно договорил: — Я бы учиться пошел...

Феодосия не отозвалась, наивность Кирьяка ничуть не умилила ее. Женский инстинкт подсказывал ей, что Кирьяк, смелый на лесных дорогах и в обращении с сообщниками, не любящий, но и не боящийся крови, нерешителен с женщинами. Он обожал свою покойную опозоренную жену, был верен ее памяти, а хмельная близость с гулящими девками ничего для него не значила. К ней у него было настоящее чувство, потому и робел, но сегодня он переступил трудный для себя и опасный для нее рубеж. Теперь дело пойдет в открытую. Из леса бежать еще труднее, чем из деревни, там была хоть какая-то надежда отыскать дорогу; тайные разбойничьи тропы вовсе не проглядывали, а идти наугад — или заплутаешься в чаще, или зверь растерзает.

Она стала наблюдать за разбойниками, за их уходами и приходами, но ничего не могла высмотреть, густой плотный мшаник не хранил следов. Теперь она при каждой встрече просила Кирьяка отпустить ее с миром.

— Об этом и думать забудь, — мрачно отвечал Кирьяк.

— Зачем я тебе? Я же знаю, чего тебе нужно, да ведь не могу я тебя полюбить, не могу. И не будь я мужней женой, все равно бы не смогла. От тебя кровью пахнет, Кирьяк, а меня с нее мутит.

— Степан Тимофеевич поболе моего душ загубил, а его шемаханская царевна любила, — мечтательно говорил Кирьяк.

— Да какой из тебя Разин! Тоже сравнил.

— А вот брошу в Волгу — поймешь, какой, — так же мечтательно звучал хриплый голос.

— В Козье болото, — усмехнулась Феодосия. — Где тут Волга-то? — А сама надеялась, что он сторяча проговорится и откроет их местоположение.

— Я уйду на Волгу, — грезил наяву Кирьяк. — Посажу людей на струги, тебе под ноги ковер персидский кину. Ох и погуляем мы!..

— Тешь себя сказочками, Кирьяк, а меня уволь. Не люб ты мне. И чем дольше меня продержишь, тем ненавистнее станешь.

— Ну, это мы еще посмотрим, — бледнел Кирьяк смутным лицом.

— Ты же не захочешь, как тот барин...

— Молчи! — орал Кирьяк, и в мучительном этом крике Феодосия черпала уверенность в своей безопасности.

Феодосии только казалось, что она понимает людей. Она и в самом деле могла долго проследивать душевный путь человека, но угадка давалась ей лишь в случае возобладания добрых начал. Она и в дурных, нечистых играх, столь чуждых ее натуре, могла многое ухватить, проявляя порой редкую проницательность, какое-то непостижимое чутье к тому, что отсутствовало в ее опыте, но все это до известного предела; там, где человеческая злоба, порочность или просто разнузданность начинали гулять без помех, Феодосия становилась наивной, как малый ребенок. Ей казалось, что своей искренностью она обезоруживает Кирьяка. Если б он просто хотел ее взять, то мог давно совершить это

бесчеловечное дело. Она долго была все равно что без разума, любой мог надругаться над ее бессильным, не способным к сопротивлению телом, и она даже не знала об этом. Но Кирьяку, видать, иное нужно. А может, его останавливает память о своей обесчещенной жене? Нет, он хотел ответного чувства, хотел, чтобы все по согласию и, дико сказать, по закону у них было. Однажды, сильно хмельной, он бормотал о «лесном попе», который может разрешить ее от брачных уз и опутать с ним, Кирьяком. И она не боялась говорить ему о своем отвращении, допуская, что Кирьяк может в бешенстве ударить, даже ножом пырнуть, но хотя бы из гордости удержится от насилия. Скорее, устав от этой борьбы, унижений, неудовлетворенной страсти, прогонит ее прочь.

Кирьяк приходил разный: добрый, на что-то надеющийся, чаще злой, ожесточенный, бывал и задумчивым, пришибленным странной загадкой жизни, что брошенная мужем молодая, красивая, к тому же беззащитная женщина может так упорно противиться власти, способной раздавить ее, как козявку. Он ненавидел и уважал в ней эту странную силу. Его ничуть не задевали насмешки товарищей за спиной. Наверное, Кирьяк потому и был атаманом, что плевал на мнение окружающих. Их бабьи пересуды были так ничтожны перед его болью, что он не пытался заткнуть им грязные рты. Перетянутая струна рвется. Порвалась и атаманова струна.

Крепко напившись, Кирьяк пришел в шалаш к спящей Феодосии. Он откинул одеяло, задрал рубашку на женщине и рухнул на нее своим тяжелым телом. Он делал все молча, с грубой простотой, словно у них так всегда заведено было.

Феодосия проснулась от придавившей ее тяжести и духоты. В первое мгновение ничего не поняла, и тут будто расплавленный свинец влился ей меж бедер, и, чтобы не умереть, она прозрела в какой-то иной вселенной и узнала своего единственного. Он услышал ее тоску, ее зов через

тысячи верст, вернулся, разыскал в глухом лесу и сразу ода-рил своей любовью, по которой так изболелось ее тело. Неизъяснимое наслаждение охватило Феодосию, никогда еще не открывалась она так любимому!

— Милый, родной! — выжимала она со стоном сквозь стиснутые, скрежещущие зубы. — Счастье-то какое!..

Кирьяк, знавший, как сильна разъяренная, защищающая свою честь женщина, даже в пьяной решительности не забыл сунуть нож за голенище. Он ждал ярости, проклятий, слез, борьбы, но то, что произошло, было выше его понимания. И к нежданному, ошеломляющему счастью прикипела слеза. Опустошенный, без чувств, без желаний, без мыслей скатился он с женщины, издававшей тихие стоны, выполз из шалаша и забылся мертвым сном.

А утром, опамятававшись, умылся ключевой водой, расчесал волосы и бороду, надел синюю сатиновую рубашку, взял золотую цепочку, нитку жемчуга и явился в шалаш к уже проснувшейся, но не встававшей, бледной, большеглазой и странно далекой, дальше самых далеких звезд, возлюбленной.

— Бери! — сказал он, уронив цепочку и жемчуг ей на грудь. — Знаю, ты не того стоишь. Но дай срок. Как царица будешь у меня ходить, краса моя ненаглядная.

— Что с тобой, Кирьяк? — слабым, надтреснутым голо-сом спросила Феодосия и брезгливо отбросила драгоценности. — Зачем ты мне даришь?

— А кому же дарить? Одна ты у меня. Не отвергай. Нет такого золота, чтоб заплатить за твою любовь. У самого царя сокровищ не хватит. Прими как дань сердца.

— О чем ты, Кирьяк? — Она мучительно напрягла свой гладкий лоб, собирая его в складки. — Ты напился с утра?

— Нет, голуба моя. Каюсь, был я вчера выпимши. Для куража хватил. Веришь ли, к такой махонькой подступиться трусил. Знал бы, что ты сжалишься надо мной...

— Не сжалюсь, не мечтай...

— Да ты что? — низкий голос атамана грубо осип. — Заспала. что ли? Был же я с тобой. Она внимательно, будто что-то соображая, смотрела на него.

— Наговариваешь на себя, Кирьяк, — произнесла спокойно и вроде бы сожалеюще. — Кругом ты в грязи и крови, а в этом грехе неповинен. Это барин твою жену насильничал, а ты на себя чужое берешь. С водки умом повредился.

Кровь втиснулась в глаза Кирьяку с такой силой, что он прижал их пальцами, боясь, что лопнут.

— Жену не трожь, — сказал глухо. — К чему ее приплетать? Барин похоть свою тешил, а я за тебя все царства отдам.

— Какие царства? — брезгливо усмехнулась Феодосия. — Нет у тебя ничего, кроме цепки ворованной. Ты голь перекатная. Из тебя и разбойника настоящего не вышло. Ты воришка и робкий убивец. Нету у тебя талана. Ни в чем. Ну что ты меня держишь, скажи на милость? — Голос смягчился, звучал почти сострадательно. — Все равно мы тебя обманули. Нашел меня любимый, мы с ним всю ночь миловались, пока ты пьяный дрых. И будет у нас ребенок, весь в отца, крепенький, беленький, с бородавочками вот тут и вот тут. — Феодосия притронулась мизинцем к щеке и верхней губе.

— Что ты несешь? — с болью сказал Кирьяк. — Какой муж, какие бородавки? Мне ты открылась, мне!

Феодосия высокомерно рассмеялась.

— Видишь? — В руке у нее блеснул нож, зная, выпавший у него из-за голенища. — Только подступись, по зенкам полосну. А коли подмогу кликнешь, зарежусь.

«Она рехнулась! — ожгло Кирьяка. — Эх, несчастная!.. И пошто бабенку сгубил?.. А что было делать? Ей спасение — мне гибель. Так сошлось. Не человеческим, да и не божьим промыслом. Жалко ее до смерти, и себя жалко. Нешто мог я подумать? Ну, поревет, не без того, ну, рожу мне расцарапает, волосья оборвет, ну, схватится за гужи и

остынет помалу. Ведь не девка. Неужто из-за такого дела жизни решаться? А эта не такая. Эта, как моя... До чего же, однако, она своего уroda бородавчатого любит! — с какой-то восторженной завистью подумал Кирьяк. — А он, гнида поповская, на книжки ее променял. Не вышло тебе счастья, Кирьяк, только душеньку чистую погубил. Вот уж кто истинно несчастный, так это ты...»

Кирьяк крикнул Акулину и велел собирать Феодосию. Он хотел дать ей денег, она взяла ровно столько, сколько у нее пропало. Казалось, Феодосию подменили, она ослепла к окружающим, к атаману, замечала одну лишь Акулину, обращалась с ней высокомерно, будто та была ее служанкой. Наставленная атаманом, старуха не огрызалась, покорно приговаривая: «Да, матушка-барыня», «Слушаю, сударыня-барыня». Акулина сменила тон, когда они покинули становище. Теперь она покрикивала на Феодосию, понукала идти быстрее или ругалась, если та слишком убистряла шаг: «Чего несешься как оглашенная? Я небось не молодка. Успеешь к своему чучелу!» Феодосия не отзывалась, вроде и не слышала, и шла, как ей шлось. Когда же добрались до пристани, Акулина опять съежилась и заюлила. Феодосия оставалась такой же отрешенной и не откликнулась известию, добытому Акулиной, что чума в Астрахани, почитай, кончилась и оставившие город жители потянулись назад. Но, похоже, слова эти достигли ее, и она сделала какие-то выводы. Вечером, когда сбившая ноги в кровь Акулина вернулась на постоялый двор, где они остановились, и сообщила, что в Москву никто не едет ни водой, ни сушей и надо плыть до Саратова, Феодосия сказала тяжелым, низким голосом: «Какая Москва? Какой Саратов? Домой поеду». Это оказалось куда как просто: на другое утро Акулина пристроила ее на струг с астраханскими беженцами. На прощание Акулина вдруг расчувствовалась: «Прости, девонька, если что не так вышло!» — «Бог простит», — пробормотала Феодосия и, пошатываясь, двинулась по сходням на струг.

Феодосия не помнила, как добралась до Астрахани, как очутилась дома. Странная болезнь, начавшаяся в ней после ночи, когда явился Василий Кириллович, опрокинула ее без памяти на голые доски кровати. Она вспомнила себя лишь на другое утро. Ужасное жжение палило ее внутри; оно начиналось в животе, поднималось вверх, заполняя грудь, сердце будто плавилось, обожженная гортань судорожно сжималась, хотела вытолкнуть что-то мешающее, мерзкое, во рту лопался ком едучей горечи. И воды никто не подаст, думала Феодосия, но пить ей не хотелось. И вообще ничего не хотелось, даже чтобы жжение прошло.

Появилась золовка Марья с ребятенком. Феодосия ей не обрадовалась. Тихонько плача, Марья рассказала, что все родные померли от чумы один за другим, кроме о. Кирилы, который ушел в монастырь и принял постриг под именем Климента. Феодосия промолчала. Равнодушно выслушала она, что ее батюшка тоже спасся. Она спросила лишь: «От Василия ничего не было?» — «Откуда ж быть? — плаксиво молвила Марья. — Мы же тут как отрезанные. Может, сейчас чего будет». — «Нет, — сказала Феодосия, — не будет. — Помолчала, сжав сухие, потрескавшиеся губы. — Знаешь, Марья, уходи лучше, вдруг у меня чума». — «Чума саму себя пожрала, — сказала Марья, разучившаяся бояться. — Кончилась ее власть». — «Вот меня еще сожрет и кончится», — с провидческой уверенностью произнесла Феодосия. После Марья говорила: накликала. Чума, и впрямь иссякшая, набралась силы, чтобы унести бедную жизнь Феодосии.

Господь облегчил ей кончину. Когда тьма отступала, Феодосия опять наполнялась своей любовью и совсем не мучилась страхом смерти. Она и знала и не знала, что умирает. Одно в ней было твердо: не может она умереть, не свидевшись с любимым. Хоть в последний ее час, к последнему дыханию явится он из своей дали. А коли так, она не умрет, не может умереть, когда он рядом. Она возьмет его

за руку, и нету у смерти силы порвать такой сцеп. Она не знала, когда умерла. Да и умерла ли она, вся излившись в любовь и веру, что остались на земле питать всеобщее человеческое сердце.

11

Отец Кирилла, он же иеромонах Климент, прослышал о возвращении снохи и собрался идти к ней, но известие о смерти Феодосии, присланное в монастырь дочерью Марьей, удержало его на месте. Из всей его большой семьи продолжала жить лишь эта всегда далекая ему дочь да внучек, которого он не успел полюбить. Почему Бог не прибрал его вместе с теми, кто был ему дорог на земле? Он стар, изношен, ни на что не годен. Быть может, он должен искупить какое-то зло, какую-то несправедливость, свершенную им по неведению, ибо сознательно дурных поступков о. Кирилла за собой не помнил. Он не был праведником, но всегда старался жить по чести и правде, никого не обманул, не обобрал, не осиротил, не оговорил. Напрягался для семьи и людям служил по мере сил, не корыствуя и не лукавя. Но Бог лучше знает, виновен или невинен слабый земной человек, и в нужный час призывает к ответу.

В неожиданном возвращении Феодосии, которую он в мыслях давно не числил в живых, увидел о. Кирилла божий знак. Вот его грех перед Господом. Ему и его семейству доверилась юная чистая душа, и как же дурно, небрежно, жестоко они с нею обошлись, ему вменяется искупить семейную вину перед Феодосией. Он почувствовал желание жить, странную силу в старом, изжитом теле, затосковал по тяжелой, потной работе и заботах о другом человеке. Но Господь Бог прибрал Феодосию, лишив его благодати искупления и загадав новую мучительную загадку, которую о. Кирилла и не пытался разгадать. Ему не для чего стало жить. Он лег на жесткое свое ложе и поручил душу

Богу. Умирая, он думал о том, что с его уходом навсегда исчезнет на Руси и вскоре сотрется в памяти людей фамилия ТрEDIAKовский. Марья носит мужнее имя, о других же ТрEDIAKовских он сроду не слыхивал. Хорошая, звучная фамилия, ее носили служители церкви, городские и сельские священники, сопровождавшие человека от рождения до смерти, а были попы ТрEDIAKовские, что и ратное поле ведали, благословляя воинство на сечу с татарвой, степняками и ляхами. Отныне русские люди будут управляться во всех своих делах без ТрEDIAKовских. О блудном сыне старик не вспомнил, давно похоронив самую память о нем. И с этими горестными мыслями отошел...

12

Меж тем, далекий от кромешных российских скорбей, Василий Кириллович окрепшей, раздавшейся грудью дышал и не мог надышаться бодрящим парижским воздухом. Во всей долгой и тяжелой, наполненной непосильными трудами и неравной борьбой жизни этого первого русского интеллигента, безмерно щедрой на все дурное: недобротство и непризнание, насмешки и злобные издевательства, унижения и даже побои — в жизни, скупой лишь на удачу, тепло и отдохновение, в этой мученической жизни был один широкий голубой просвет: парижские дни под надежной рукой русского посла. И после внезапной смерти князя Куракина его покровительство продолжало осенять ТрEDIAKовского.

Василий Кириллович изменился внешне почти до неузнаваемости: исчез костлявый оборванец, появился вальяжный молодой щеголь с гладким, румяным лицом, которое не портили две запечатанные мушками бородавки, с живым и приметливым к окружающему взглядом. Да, теперь Василий Кириллович не был постоянно погружен в самого себя, он научился видеть мир и находить себе место в его крутоверти. Да и как можно было остаться слепым

и равнодушным к Парижу, Елисейским полям, сенским берегам, где цвели каштаны и продавались божественного гленного запаха старинные книги, к собору Парижской богородицы с печальными химерами, к Лувру и Пале-Роялю, благоухающим садам, где гуляли прелестные женщины с нарядными детьми, к старым, источающим волнующий холод камням Сорбонны, средоточию разума. Василий Кириллович, вечный пленник аскетической державы духа, познал радость материальных благ: изысканной еды на северском фарфоре, тонких вин в хрустальных бокалах, он был допущен к барскому столу, хотя и помещался на нижнем его конце.

Князь Куракин был одним из первых щеголей своего времени, Василий Кириллович донашивал его кафтаны, камзолы, жилеты, которые князь и надевал-то считанное число раз, а какая-нибудь капля бургонского или дырка от трубочного табака, тщательно заштопанная, в счет не шли, равно доставались ему княжеские панталоны, плащи, чулки, туфли с серебряными пряжками и шляпы, которым могли позавидовать франты с Елисейских полей. Словом, он был сыт, пит, разодет, ухожен, голубоглазая Мари стирала и гладила ему рубашки, ах, как она гладила!..

В карманах у Василия Кирилловича позванивала мелочь, но он не мотовал и тратился лишь на театральные билеты на галерку и книжки, что так упоительно дешевы у сенских книготорговцев. Сам сиятельный князь, а позже его преемник искали беседы с редкостно начитанным, памятьным — ходячая энциклопедия, — интересно и хоть коряво порой, да по-своему мыслящим студиозусом, обогнавшим иных профессоров Сорбонны, которую он все еще старательно посещал, дабы совершенствоваться во французском и древних языках.

Он упоенно работал. Перевел книгу Поля Тальмана «Путешествие на остров любви», более шести десятков лет чаровавшую взыскательных французских читателей, писал собственные стихи как на русском, так и на французском,

ставшем для него родным языком. Он упивался строгой системой Буало, восхищался блестящим стилем, обаятельным цинизмом и смелым безбожием Вольтера, окончательно расшатавшим его и без того слабую религиозность. Французское вольномыслие и нравственная свобода благотельно повлияли на дремучую душу астраханского виршешпелета. Он презирал церковнославянское велеречие, выпростал плечи из-под вериг тяжелой дидактики и всей душой поверил, что поэт волен петь иные, светлые начала бытия. Его смутные юношеские прозрения, что простой народ в своих песнях ближе к истинной поэзии, нежели признанные служители тяжеловесной отечественной музыки во главе с самим Феофаном Прокоповичем, стали той убежденностью, которая приводит к открытиям. Конечно, понадобились Россия и время, чтобы угадки, наития, озарения, кропотливый умственный поиск вылились в стройную систему, но начало было положено.

В эту счастливую, полезную и чуть-чуть пошловатую пору своей жизни Василий Кириллович окончательно забыл Феодосию, забыл ее любовь и свою боль о ней. Не просто забыл, а отринул, как и все прошлое. Он жил лишь настоящим, наивно полагая, что вся последующая жизнь будет освещена тем же солнцем, ему невдомек было, что это всего лишь краткая передышка перед бесконечной российской Голгофой. Счастливый своей обрезающей памятью и безмятежной верой в будущее, он растворялся в сиюминутности, озаренной победительным образом блистательной арцухини Бурбонской.

Да, Василий Кириллович переживал страстное увлечение. Первая красавица двора пленила его сердце. Он долго не догадывался об этом, но галантная французская поэзия открыла ему глаза. Когда рухнули убогие бурсацкие представления о возвышенных нравоучительных целях поэзии, служащей якобы к прославлению великих мира сего и к назиданию малых сих, когда открылось, что истинная поэзия — это разговор о любви и не поэт тот, кто не влюб-

лен, он с восторгом обнаружил, что не обделен этим первым наиважнейшим признаком поэта. Да, втайне даже от собственного сердца он без памяти влюблен в юную львицу парижского высшего общества, живую легенду, черноглазую арцухиню Бурбонскую. Да, между ними пролегла бездна, но любовь крылата, пусть его избранница знатна, богата, избалована вниманием первых галантов Франции и всей Европы, ничто не может помешать любви поэта. Дерзкий, неутомимый, он не уставал ласкать предмет своей страсти блеклым взором славянских глаз, покрывать ее ангельский лик тысячами воображаемых поцелуев.

У них были общие вкусы. Оба поклонялись Мельпомене, и каждый вечер в положенный час Василий Кириллович встречал портшез своей избранницы у ступеней лестницы «Комеди Франсез». Поскольку красавица не догадывалась о пожаре, который зажгла в душе чужестранца, да и вообще не подозревала о его существовании, Василий Кириллович мог не особенно скрываться и в толпе зевак, нищих и мазуриков, постоянно осаждавших возле театра знатных господ, пробираться к самым носилкам, вдыхать пьянящий аромат духов, внимать серебристому смеху и чуть хриловатому детскому голосу. Ему вспоминалась крылатая фраза мушкетера — поэта Сирано де Бержерака: для влюбленного всякая рана смертельна, ибо он состоит из сплошного сердца.

Но, к счастью, это оказалось поэтическим преувеличением, иначе Василий Кириллович окончил бы дни на мостовой перед знаменитым театром и не одарил бы русскую литературу силлабо-тоническим способом слагать стихи, многими учеными трудами, собственными творениями и переводами. Как часто мы недооцениваем людскую наблюдательность, как мало знаем о том интересе, какой вызывает у совсем посторонних людей наша скромная личность. Но когда, прокладывая дорогу портшезу арцухины, молодой смуглолицый носильщик нашел кулаком физиономию отнюдь не лезшего вперед Василия Кирилловича, бедный

поэт мог бы поклясться, что тот сделал это нарочно. Он высмотрел фигуру Василия Кирилловича в многоликой человечьей протери, ежевечерне осаждавшей носилки арзухини, и что-то смекнул про себя, уж не возревновал ли дерзкий раб свою госпожу к молодому иностранцу? А что если и вельможная дама его заметила?.. Но думать об этом не хотелось, мысль, куда бы ни повернула, сразу упиралась в тупик. Довольно того, чтобы манящий образ водил его рукой, сжимающей перо, когда он предает бумаге свои поэтические грезы.

У Василия Кирилловича был слабый нос, кровь продолжала сочиться, когда он занял свое место на галерке; отсюда, если перегнуться, можно увидеть далеко внизу обнаженный локоть и нежные холмы персей сидящей в ложе арзухини Бурбонской. Он дал себе слово — не покончить с безумствами, это было выше его сил, — обуздать себя настолько, чтоб не попадаться под быструю мускулистую руку злобного носильщика. Это слово Василий Кириллович сдержал. Теперь он топтался на почтительном расстоянии от портшеза и бдительно следил за всеми перемещениями своего врага. Больше он впросак не попадался и спокойно изнемогал от любви, сообщавшей все новые краски его поэтическим опытам в галантном галльском роде...

Третьяковский уступал в поэтическом даровании и просто в умении слагать стихи и Ломоносову и Сумарокову, но в нем одном из всех его современников звучала щемящая лирическая нота. И эта нота прорывалась сквозь всю нескладицу тяжеловесных виршей, чистая, грудная, задушевная, — то в стихах о Париже, то в песенке о кораблике, уходящем в плавание, то в стоне о далекой родине, то, вовсе неожиданно, в какой-либо заумно-безобразной рифмованной чуши. Этот нелепый поэт не был весь съеден дидактикой, хотя и удивительно быстро излечился на родине от французского легкомыслия и поэтической безответственности, в нем под всеми слоями назидательности, педантизма, ханжества, верноподданнической лести

сохранялся живой родничок. И оттуда мог бы забить Кастальский ключ. Он подносил к губам флейту, душа его искала выход в элегии, но заглушал сам себя барабанным одическим боем. Он не узнал своей музы и слепо прошел мимо. А ведь она была возле его сердца, сама поэзия, сама любовь. Ах, бросить бы ему арцухиню Бурбонскую, заодно и прачку Мари, так хорошо умевшую гладить, и весь галантный, литературный, театральный, ученый Париж, уже давший ему все, что мог дать, да и вернуться в Астрахань, припасть к измученной груди Феодосии, хоть последней слезой ее омыть, и русская поэзия получила бы первого лирика. Знать, не судьба была. А своего лирического поэта Россия получила в должный час...

В истории этой нет ни правых, ни виноватых. Каждый остался верен своей правде, своему назначению: Феодосия, обреченная любить и только любить, и Третьяковский, предназначенный дать отечественному стихосложению новую систему и проложить дорогу русскому классицизму. Он принес в жертву невесть кем поставленной перед ним цели и любовь Феодосии, и собственное самолюбие, достоинство, честь; его топтали вельможи и дворцовые холоуи, язвительный монарший смех выдавал головой на поругание злейшим врагам, но он, подобно Феодосии, не отступил. Велико было мужество этого слабого и незащищенного человека. На его раны сыпали соль, и ни одна рука не протянулась утереть черный пот вечного труженика. Поистине, литература — это храм на крови.

ОСТРОВ ЛЮБВИ

1

— Трость! — стараясь придать голосу внушительность, потребовал ТрEDIAKовский.

— Не ходи, родимый, не ходи, кормилец! — завела жена, скидывая пальцем мелкие слезки, то и дело выбегавшие с уголков бледно-голубых глаз.

С того памятного люто-студеного февральского дня, когда принесли его домой на шинельке, ободранного, хуже сидоровой козы, ее слезный мешок принимался источать влагу от любого беспокойства, от самой пустой малости. Она плакала почти непрерывно, сама того не замечая.

— Должон пойти!.. — сказал он строго. Но какая твердость не размякнет в столь влажном климате? Василий Кириллович был непреклонен и грозен лишь за письменным столом, сжимая в перстах гусиное перо, в прочей жизни из него разве что ленивый веревочек не вил. Вот и сейчас он сразу свел на нет силу своего убежденного решения.

— Ну как же я не пойду?.. Все пойдут, а я не пойду. Ну-ко заметят?..

— Да хоть бы!.. Тебе-то что?..

— Как же так?.. А коли нароку в том узрят? К бунтовщику сочувствие?..

— Василий Кирилльч, отец!.. — Она даже оборвала свой нескончаемый беззвучный плач. — Очунись! Ну кому же такая дурость может впасть? Сколько ты от него мук принял, чуть жизни не лишился!..

— Что мне муки? Тело зарастет, а вот иное уязвление...

— Гниет спинка-то... — и опять тонкий палец забегал возле разяплого переносья.

— Заживет! — бодро сказал ТрEDIAKовский. — Бурсацкая шкура крепкая. А пойти я должен! И не страху ради пред ушаковскими шишами, — вопреки горделивым словам голос его понизился до шепота, хотя чужих в доме не было, — а только себя самого ради.

Вовсе того не желая, жена разбередила его раны. Не те, что упорно не хотели заживляться на спине, а иные, незримые, в самом сердце.

— Василий Кириллыч, государь, неужто в тебе отомщительное засвербило?

— Не мщения, а справедливости я жаждал! — торжественно сказал ТрEDIAKовский. — И сбылось по-моему. Он меня лютой казнью казнил, смертью убить хотел, а я жив есмь, в силе ума своего и всех чувств, и богом отпущенных мне дарований. А он повержен и сокрушен и ныне всенародно и позорно от жизни отвержен будет.

— Эх же ты со своей бедой носишься! — сказала она осудительно.

Ей-то самой его обида куда сильнее болела, да не хотелось, чтобы он на казнь Волынского шел, боязно чего-то было, и она силилась отвести мужа от мстительных помыслов, но только сильнее разжигала костер.

Он вовсе не был горяч, задирчив или просто неосмотрителен, какой там! Разве что в молодости, когда полземли шагами измерил, ищущи долю себе по душе. А ей он достался уже поломанный, научившийся гнуть спину. Да и как не гнуться сыну астраханского попишки, допущенному ко двору, в академию? Кто он есть и кто округ? Князя, графя, бароны, да шляхта, да иноземцы заносчивые, коим и титулы звучные ни к чему, и без того сильны. Но было у Василия Кирилловича одно, сводившее на нет его скромность, смирение и всяческое самоуничижение. Коли он чего за столом своим надумал и бумаге доверил, того держался нерушимо и, защищая плод духа своего, забывал о собственном худородстве и мнил себя ровней с кем угодно. Мог и самому Шумахеру, первому лицу в академии, неудо-

вольствие причинить, мог и архиереев, и вельмож в ярость вогнать. Марья Филипповна догадывалась, что и сейчас столкнулась с чем-то, уходящим в недоступную ей глубину его покладистой в домашнем бытстве натуры. Прежде, когда меньше знала его, думала: мягок, да вздорен, брыклив. Нет, тут другое. Недавно подлеты прохожего на Мойке грабили. Он им все без звука отдал: платье дорогое, деньги, перстни с алмазами, а образка грошового, медного, позлащенного отдать не захотел. Стражники отбили его чуть живого, полунагого, окровавленного, а в кулаке образок зажат. У Василия Кирилловича таким образом словеса были, особливо те, что в виршевое согласие приведены. Это можно было бы счесть дуростью, порчей, безумством, да ведь от словес тех все семейство кормится. И нет другого занятия у Василия Кирилловича, не размахивает он кадиллом, как его родитель, не хрипнет от крика на военном плацу, не назидает юношество, не строит дворцов и храмов, не ведет торговашки, не знает с ремеслами. Ни железа, ни глины, ни камня не касались его мягкие, слабые, полные руки. Одно только гусиное перышко сжимать ловки. Строчит, строчит, сердешный, и с тех листков перепачканных исходят его семье и пропитание, и одежда, и тепло очага, и даже всякое баловство деткам. Может, и нужны его упрямство и заносчивость, когда дело тех словес касается, не Марье Филипповне, едва грамоте обученной, о том судить да рязать. И уж подавно не могла она сыскать разумного объяснения нынешнему заскоку.

Укор жены задел Третьяковского. Он напыжился крупным, мясистым лицом своим, набухли и полиловели толстые жилы на висках, но не от гнева или обиды — от бессилия растолковать ей, что те побои жестокие, то поношение великое нанесено не безродному попову сыну, мелкочинному секретаришке при академии, а первому пииту молодой русской поэзии. В нем музы и сам Фебус-Аполлин уязвлены и оплеваны были. Да ведь не объяснишь такое доброй и недалекой Марье Филипповне. Сколько раз пытался он растолковать ей

про Фебуса-Аполлина, а она светлого бога искусств языческому Яриле уподобляет и сердится, что православного священника отпрыск идолищу кадит. И выходит, что Марья Филипповна в ту же дуду дует, что и кидавшиеся на него церковники. ТрEDIAKовский сказал значительно:

— В суровые вины Вольтинскому вчинили, что зверовал надо мною в приемной герцога Курляндского.

— Господи! — охнула Марья Филипповна. — Неужто мало, что он государыню сковырнуть хотел?..

— Мало не мало, а вчинили... — пробормотал ТрEDIAKовский, и лицо его напилось кровью.

В другое время проникательная — при всей своей недалекости, — Марья Филипповна сразу вранье разгадала бы. Но сейчас отнесла пламень румянца за счет развороченной в душе мужа скверны. ТрEDIAKовскому же было стыдно. Как и все люди его времени, причастные дворцовой жизни, он не только умел хладнокровно врать, но лишь тем и занимался, переступая высокий порог, и почитал это не грехом вовсе, а «политикой». Но дома, перед женой врать не умел, не хотел, да и толку не было, раз она его сразу на чистую воду выводила. Кажись, впервой солгал удачно, но испытывал не радость, а стыд и огорчение: коли такую чистую и проникательную душу обманывать можно, значит, правда сама себя сроду не оборонит.

Наврали же он всего-то вот столечко! Вольтинскому и впрямь был в вину указан, в ряд с иными, тягчайшими преступлениями, скандал, учиненный в приемной всемогущего Бирона, но имя ТрEDIAKовского при сем не упоминалось. Не важно, кого он наземь поверг и ногами топтал с громкими криками и поношениями, важно лишь, что оказал тем самым неуважение фавориту Анны Иоанновны. А писалось это в одну строку с государственной изменой. Свой респект герцог Курляндский ставил вровень с потрясением монаршего трона.

— Держи палку-то!.. Василий Кириллыч, где ты, родной?.. Вернись!.. — услышал он будто издали.

В руку ему тыкалось что-то твердое. Он почувствовал гладкое теплое дерево, затем прохладно-шершавый металл — палисандровая трость с серебряным набалдашником, привезенная им из Франции. Василий Кириллович взял трость и с шутливой напыщенностью изрек на библейский лад:

— И даде в руку ему посох!..

Вслед за тем провалился в то февральское утро, когда не виданный в Петербурге мороз гнал дымы столбом в высокое синее небо, камешками падали замерзающие на лету воробьи в сухо искрящийся снег и расписанная диковинными пейзажами, призолоченная наледь окон не давала проглянуть улицу и двор. В ту пору важным переживанием была охвачена его душа...

2

В академию пришло письмо из Фрейберга от обучающегося там горному делу академии ученика Михайлы Ломоносова. Был о нем Василий Кириллович и допрежь того много наслышан, ибо жадничал ко всем слухам о сем молодом человеке, повторяющем его собственную судьбу. Когда-то астраханский попovich, не удовлетворенный обучением у католических священников, невесть почему оказавшихся в устье Волги — лишь разожгли, но не утолили жажду к словесным наукам святые отцы, — бросил отчий дом, старых родителей, молодую жену и бежал тайком в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, а проще — в Заиконоспасское училище. А через восемь лет после него с другого края русской земли, из-под Архангельска, славного морской торговлей, прибред в белокаменную помор, рыбацкий сын Ломоносов и в то же училище определился. И дальше сходно у них пошло. Томимый тягой к знанию, Третьяковский через два года покинул бурсу и подался сперва в землю Голландскую, а оттуда в Париж, куда прибред пешком со сбитыми в кровь ногами и животом, при-

липшим к хребту. И если б не князь Куракин, русский посол во Франции, пожалевший жадного к знаниям юношу и приютивший в своем богатом доме, был бы тут конец странствиям Василия Кирилловича. Ломоносов оказался терпеливее, да и времена изменились. По окончании Заиконоспасского училища он был определен в университет при Санкт-Петербургской академии наук и оттуда, явив недюжинные способности, отправлен в немецкий город Марбург для усовершенствования в науках. Здесь он обнаружил приверженность, опять-таки роднившую его с Тредиаковским, к стихотворчеству и размышлению над способами сложения российских стихов. Занятия сии он продолжил и во Фрейберге.

Люди, бывавшие за границей, много рассказывали о его сильной и гордой упряжке, удивительной в человеке столь низкого происхождения, — ни от кого не стерпит насмешки или слова грубого, — о многих его талантах и глубоких познаниях в самых разных науках. Все это приятно было Василию Кирилловичу, но жгучий и недобрый интерес к помору возник у него недавно, когда в адрес академии пришло послание от Ломоносова, содержащее «Оду на взятие Хотина» с присовокуплением к сему рассуждения о способе слагать стихи. И тут весьма неожиданно обнаружился дерзкий, даже грубый вызов ему, Тредиаковскому, первому стихотворцу российскому и отцу нового тонического стихосложения. Вызов был и в самом поэтическом произведении, созданном будто вопрекор прославленной оде Василия Кирилловича «О сдаче города Гданска», но куда искуснее. Сие неудивительно, свою торжественную оду Василий Кириллович сочинял по старому силлабическому канону, ибо не пришел еще к тому, что всего три года спустя открылось его окрепшему и широко раскинувшемуся разуму.

Тогда-то и осенило Василия Кирилловича, что башня русского силлабического стихосложения, чей фундамент — Симеон Полоцкий, верхушка — Феофан Прокопович, а

островершек — Третьяковский, обречена на слом. Силлабический способ полагает в стихе некоторое известное число слогов и согласие слогов последних, но это еще не есть стихи, а зарифмованная проза. Прямой же стих имеет меру стоп с падением, приятным слуху, от чего стих поется и тем от спотыкливой прозы разнится. Сию распевность выслушал он в народном русском стихосложении и потрясенной душой прозрел высшую истину.

Надо сказать, что у иных поэтов, включая самого Василия Кирилловича, в коротком стихе иногда появлялось тоническое начало — ритм, но не по расчету, а как бы невольно. Впрочем, короткие стишки Василий Кириллович серьезной поэзией не почитал, его заботил героический стих: тринадцатисложный «российский экзаметр» и одиннадцатисложный — «российский пентаметр», кои единственно годны для изображения предметов возвышенных.

Мир не без добрых людей. Нашлись злопыхатели, обвинившие Василия Кирилловича в том, что он просто пересадил на русскую почву французское стихосложение. Спокойно, без запальчивости, ибо знал свою правду, отвечив сим малоумным хулителям Третьяковский, указав на первоисточник своего открытия: «...поистине всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ее весьма не красный, от неискусства слагающих; но сладчайшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ее стоп, нежели иногда греческих и латинских, падение подало мне непогрешительное руководство к введению в новый мой экзаметр и пентаметр оных выше объявленных двухсложных тонических стоп. Подлинно, почти все знания, при стихе употребляемые, занял я у французской версификации; но самое дело у самой нашей природной, наидревнейшей оной простых людей поэзии... Я французской вер-

сификации должен мешком, а старинной российской поэзии всеми тысячью рублями...»

Видимо, хорошо проштудировал Ломоносов в свободные от горнорудного дела часы работу Василия Кирилловича, но в рассуждении, коим снабдил звонкую свою оду, и словом не обмолвился о создателе нового русского стихосложения. И все, что касалось тонического способа, от себя подал, будто собственное открытие. Но это от пренебрежения, а не из желания присвоить чужое. Его саркастические замечания, насмешки и уязвления откровенно метили в академии секретаря. Расходился же он с Василием Кирилловичем во многом. Прежде всего, Ломоносов распространял новый способ на все размеры, а не только на эксаметр и пентаметр, коим вообще отказывал в главенствующем значении. Но что особенно задело, даже ранило Василия Кирилловича, он решительно превозносил иамбический размер над хореем. Можно подумать, будто он вообще открыл иамб для русской поэзии, а между тем Василий Кириллович в своем «Способе» тоже о иамбе говорил, хотя примеры выбирал только с хореем.

Ломоносов швырнул ему перчатку из далекого Фрейберга и угодил метко — прямо в лицо не ждущему нападения противнику. Третьяковский ведать не ведал, чем навлек на себя гнев даровитого помора. Пути их не пересекались, они никогда не виделись и счетов между собой не имели. Но дерзкий вызов Василий Кириллович принял сразу и с той яростью, какую от века русские сочинители в свои споры и несогласия вкладывали. На русском Парнасе приличий сроду не ведали, как и тихого, вразумительного разговора. Здесь уста сразу кровавой пеной вскипают, здесь бьют наотмашь и только под дых. А благодушествовать Василию Кирилловичу не с чего было. Страшнее рассуждений смелых, спесивых и для него уязвительных была сама ода, написанная ненавистным, тайно влекущим и предающим ямбом. Поверх всех своих пристрастий, самолюбия и гордости Третьяковский не мог не чувствовать красоты,

силы и звучности этой оды. Перед собой можно признать-ся, что такого звонкого и распевного стиха не знала русская поэзия. И пусть хоть архангеловы трубы возвестят о твоей правде, сию сладкозвучность им не заглушить. Никому и дела не станет, что ты первый указал способ к стихосложению, коль не смог в живом слове своего превосходства доказать. И посему да останется под спудом ломоносовская ода, покамест он сам из Фрейберга не явится и собственноручно о судьбе ее озаботится. Академии секретарь в том ему не помощник, напротив, сделает все, дабы ода сия в типографию академическую не попала.

Но это еще не главная забота. Надо послать горных дел ученику сильный и хлесткий ответ, пусть на всю жизнь запомнит, кто первый, а кто второй. Но отповедь отповедью, а стоит крепко подумать — нет ли и чего разумного в ломоносовских уязвлениях. Трехсложный размер — дактило-хореический стих? ...Похоже, тут Ломоносов его поймал. Но за ямб мы еще поборемся. И неумно утверждать, будто стопа, называемая ямб, сама собой имеет благородство и потому ею высокая материя поется, а хорей нежен и сладок и лишь для элегического стихотворения годен. Никакая стопа сама по себе не имеет ни нежности, ни благородства, все зависит только от изображения, которое стихотворец в сочинении своем употребляет. И хореем способно восславлять и бранный труд, и побед упоение. Тут мы прижмем хвост ретивому помору.

Внезапная мысль обожгла Третьяковского. А что если переписать оду «О сдаче города Гданска», родившуюся в глубинах силлабического стихосложения, по тоническому способу, хореической стопой?

Кое трезвое мое пианство
Слово дает к славной причине?
Чистое Парнаса убранство,
Музы! Не вас ли увижу ныне?

А ежели так —

Кое странное пианство
К пению мой глас бодрит!
Вы парнасское убранство, Музы!
Ум не вас ли зрит?

Эким же бодрым, звонким, цокотливым становится стих! Ну, берегись, помор, еще поглядим, кто кого. Ты быстр, дерзок и заносчив, я вязок и упрям... Снова горы работы выросли перед Василием Кирилловичем, но чего-чего, а работы он не боялся. Недаром же царь Петр, при посещении астраханского Латинского училища, выделил среди представлявшихся ему учеников скромного обликом попovichа и сказал о нем: «Вечный труженик!»

Как в воду глядел великий государь! Вся жизнь Василия Кирилловича — непрерывный, сплошной, без усталости труд. В парижских стихах своих — писанных по-русски и по-французски — любил он изображать себя жуиром, мотыльком, порхающим с цветка на цветок, а цветы те — нежные или галантные утехы. На деле же и в блистательной Лютеции позволял он себе отвлечений немного больше, чем в душно-вонькой Астрахани под присмотром родителей и католических наставников. Здесь за ним присматривали Буало-Депрео, Корнель, Вольтер, Фенелон, над которыми он денно и нощно корпел, славная поэзия французская, коей он упивался, собственный усидчивый и плодовитый дар. Соблазнами галантной столицы были для трудолюбивого русского мужичка не прелести доступных Цирцей, а библиотеки и лотки уличных книгопродавцев на Сенской набережной, прокопченная галерея «Комеди Франсез», где давали Расина и Мольера.

...В то далекое утро, охваченный зудом нового труда, азартом и нетерпением битвы, Василий Кириллович засучивал рукава, разминал пальцы, чтобы вклеваться в гусиное перо и не выпускать его до глубокой полночи. И тут появился кадет...

Кадет как кадет, среднего роста, сухопарый, округлое надраенное морозом лицо в юношеских угрях, а голос уже

табашный, водочный — сильный, с хрипотцой и отхарком. И этим несвежим голосом кадет изрек, что Академии наук секретаря ТрEDIAKовского немедля требуют в Кабинет ее императорского величества. Если бы ядро чугунное, каленое, в окно, взвенеv, влетело, не был бы Василий Кириллович столь ошеломлен, испуган и огорошен. Ноги его подкошились, и он кулем рухнул в кресло. Вызов в Кабинет означал что-то грозное, ужасное, хуже немилости и опалы. Отсюда мог быть только один путь — в Тайную канцелярию к страшному Ушакову, а там дыба, крючья и казнь лютая. За что?.. За что?.. В чем он виноват? Живет в неустанных трудах, в угождении сильным, ни помыслом, ни жестом не посягая на их власть. Работоборствует лишь со словесами. Никому никакого ущербa не чинит. Да разве можно с ними что наперед знать? Разве угадаешь, что им померещится — до того подозрительны, до того к славе своей ревнивы, что ровно из ничего обиду себе добывают. Как в той арабской сказке, которую он по-французски в Париже читывал. Ел персики некий купец и косточки прочь отбрасывал. Вдруг перед ним джинн, зело громаден и зело разъярен. «Сей час я тебя жизни лишу!» — «За каку провинность, великий джинн?» — пал на колени купец. «А ты сына моего убил». — «Да тут, окромя моего осла, никого не было». — «Глупец, сын мой незрим для очес людских, он округ тебя витал, а ты его персиковой косточкой пришиб...»

—
3
—

Прогневал джинна в свое время и Василий Кириллович. И хоть оправданий у него поболее купцовых оказалось: не ел он вовсе персиков, стало быть, и косточек не кидал, а вышел из передраги со сломанной хребтиной, пусть его и пальцем не тронули. Был тогда Василий Кириллович прям, в себе уверен, в мыслях независим и смел. Привык он в заграничные свои дни под доброй рукой князя Куракина зело свободно себя чувствовать и, в Россию вернувшись, не

менее сильного покровителя обрел в лице главы православной церкви Феофана Прокоповича, сподвижника Петра, пииты изрядного, просвещенного ума человека. И когда архимандрит Платон Малиновский возлютовал на него за пересказ Таллемановой «Езды в остров любви» и развратителем русской молодежи обозвал, то Василий Кириллович из-за крепкого плеча Феофана масляный кукиш ему сунул. Не менее яростно накидывались российские тартюфы и на его любовные песни. Малиновский прямо угрожал «пролить еретическую кровь» того, кто «атеистический дух из Франции вывез». Да не пролил, а сам стараниями Феофана Прокоповича в Сибирь заслан был.

Зело угодивший придворным «Островом любви», Василий Кириллович был введен в узкий круг сестры императрицы великой княгини Екатерины, а уж ею поручен вниманию самой монархини. При торжественном въезде Анны Иоанновны в Петербург, куда она через два года после воцарения из любой ее сердцу Москвы перебралась, не кто иной, как Третьяковский, встречал государыню речью похвальной и приличествующими случаю стихами, за что сподобился великой милости — допущению к ручке императрицы. А уж место в Академии наук и должность секретаря сами собой с того целования возникли.

Громадное невозделанное поле простерлось перед Василием Кирилловичем, и он, поплевав на ладони, принялся то поле вспахивать. Немало было им сделано и для усовершенствования русского языка, его грамматики и синтаксиса, великое множество стихов, песен, торжественных од, хвалебных гимнов сочинено и несметь поэтических упражнений академических немцев на русский язык перетолмачено, уж и «Новый краткий способ к сложению российских стихов» свет увидел, когда нежданно-негаданно с ясного неба ударил гром. Вызвали Василия Кирилловича в Тайную канцелярию. А уж лучше к наизлобнейшему джину в лапы, чем в пыточный застенок Андрюшки Ушакова. И хоть не ведал он за собой никакой вины: ни большой, ни

малой, а чувствовал дурноту и очес помутнение, перешагивая порог страшного дома.

А пред лицом ушаковского помощника его и вовсе чуть не стошнило. Была у того какая-то кожная болезнь, поразившая уши и горбину хищно изогнутого носа. Переносье лоснилось каленой краснотой, а большие вялые уши лохматились неопрятными серыми шелушинами. И видать, чесалась эта лохматура, потому что без устали скреб он уши пальцами, тер ладонями, соря на столешницу кожными обдирками. И так ушел в свое занятие, что внимания не обратил на студенисто колыхающуюся от страха фигуру ТрEDIAKовского. Когда сора накопилось достаточно, помощник сгреб его в кучку, ссыпал в правую ладонь, как делают иные с хлебными крошками, и опорожнил горстку за плечо.

Все дело выеденного яйца не стоило. Его песнь на коронацию Анны, написанную еще в Гамбурге и начинающуюся словами: «Да здравствует днесь императрикс Анна», нашли в списках у нерехтинского дьячка Савелия и костромского попа Васильева. Кому-то померещилась хула на государыню в обращении «императрикс». Обоих любителей словесности доставили в Петербург, где им учинили допрос с пристрастием, но так и не доискались до поносного смысла непривычного титула. Дрожа и заикаясь, ТрEDIAKовский объяснил, что назвал императрицу на латинский лад не в умаление, а ради возвышения ее священного сана. «Нешто российскую императрицу возвышает чужеземное величанье?» — с неожиданной остротой спросил шелудяк, сдирая бахрому с ушей. «Сей титул носили победоносный Юлий и божественный Август», — пролепетал ТрEDIAKовский и вдруг лишился голоса. Откуда-то снизу, будто изпод самых ног, донесся задушенный стон, оскольз железа о железо, затем мягкий, глухой удар. «Там пыточная!» — стукнуло в голову, и Василия Кирилловича неудержимо потянуло пасть на колени и во всем покаяться. Он не сделал этого лишь потому, что не осенило его смятенный ум, в чем бы принести покаяние.

— Все соришь, гнида? — слышался сочный, с раскатом, мужской голос.

Шелудяк поспешно стряхнул со стола ушные очистки и вытянулся. Был он низенек, худ, но чреват, будто беременная баба.

Рослый, с потными волосами, налипшими на высокий смуглый лоб, в расстегнутом кафтане, Андрей Ушаков размашисто оседлал скамью. «Да он сам пытается!» — догадался, омертвев, ТрEDIAKовский. Но случается так на последнем пределе, за которым гибель, без смерти смерть, что очумевший от ужаса человек вдруг находит единственно нужные, спасительные слова. И ТрEDIAKовский, то и дело лишаясь дыхания, но вполне вразумительно объяснил правителю Тайной канцелярии, что стихи его, переданные князем Куракиным господину Бирону, удостоились лестной похвалы всемилостивейшей императрицы.

— Императрицы, вишь, а не императрикса, — поймал его Ушаков, но ссылка на Бирона сделала свое дело, голос прозвучал почти милостиво. — А пишешь ты бойчее, нежели говоришь. А потому ступай и отпиши все в подробности до сего случая касаемое. — И, пожалев бедного стихотворца, добавил: — А посла катись нах хаузе, как говорят в вашей Российской академии.

И, довольный своей шуткой, хохотнуть изволил. И ТрEDIAKовский издал какой-то мышинный писк, означавший почтительный смешок, кстати, вполне искренний, — уж он-то довольно натерпелся от иноземного засилия в академии. Срамотно сказать, но в Российской академии на всех корфов и шумахеров не было до сих пор ни одного русского профессора!

Этим счастливым писком и завершилось жуткое приключение Василия Кирилловича, но вышел он из Тайной канцелярии совсем иным человеком, чем вошел под ее мрачные своды. Исчез парижский петиметр из российских бурсаков, вольнодумец Феофанова круга, беспечный певец любви, самоуверенный ученый, научив-

ший россов слагать стихи, остался верноподданный, си-
речь раб.

Конечно, отдышавшись дома, он постарался собрать себя
нацельно и даже перед самим собой делал вид, будто ниче-
го не произошло. Вернее, так случилось некое малое недо-
разумение, подтвердившее его совершенную перед троном
чистоту. Раз уж ты переступил порог ведомства Андрея
Ушакова, то хорошо, коли тебя оттуда живым вынесут,
распрекрасно, коли сам на карачках выползешь, а чтобы
своими ногами выйти, очищенным от всех подозрений, как
сподобился Василий Кириллович, такого, почитай, и не
бывало. Там ведь не одно, так другое найдут, не найдут —
пришьют. Раз уж попал к ним в руки, добром не отпустят.
А его отпустили, и сие означает, что прошел он великую
проверку и являет собой наичистейшего, наинадежнейше-
го, наипрозрачайшего, наибелейшего подданного русско-
го престола.

Но почему-то эти спасительные мысли плохо помогали
самочувствию Василия Кирилловича. Наружно он пыжил-
ся, выкатывал грудь, но внутри съежился, согнулся. И вот
что странно: неужели окружающие наделены такой зорко-
стью, чтобы заглядывать под шкурку? Или они нюхом чувят,
что с тобой неладно, что стал ты робче, слабей, пугливей,
хоть и тщательно скрываешь происшедшую перемену?
Василию Кирилловичу стало казаться, что к нему переме-
нились. Он подмечал косые взгляды, усмешки, его слуха
достигали глумливые и глупые замечания насчет его внеш-
ности, бородавки на щеке, стихов, манеры выражаться. Не
только надменный Бирон, который с людьми обращался,
как с лошадьми, и лишь с лошадьми по-человечески, или
властный, грубый Волынский, но и мелкая придворная сош-
ка, обшлага его кафтана не стоящая, и глупые шалуны ка-
мер-юнкеры стали небрежничать, даже нагличать с ним.
Может, все это и прежде бывало — смешки, грубости, не-
брежение, — нешто в привычку чванной, надутой и неве-
жественной знати, будто сошедшей на дворцовый паркет

из Кантемировых сатир, общество поэта, чье значение и достоинство не в предках или вотчинах, не в титулах и чинах, а в чистой сфере духа? Они даже не понимали толком, кто он есть и почему на равное со всеми обращение претендует. Придворный — не придворный, лекарь — не лекарь, шут — не шут, но государыня балует, к ручке своей допускает, табакерки с адамантами дарит, значит, приходится терпеть. Ведь терпишь и худшее — приставаания и гнусные выходки бесчисленных, вконец обнаглевших дураков и карлов императрицы. Конечно, иной раз не удержишься и смажешь по гнусной харе или горбу, да тут же и откупишься, чтоб государыне не пожаловались. Со стихослагателем такого, конечно, не требуется, он себя смиренно ведет, покамест вслух читать не заставят. Тут он весь растопырится, как кричит на заре, напыжится да как пойдет завывать во всю мочь без малейшего стеснения, словно не во дворце, а в хлеву. Но государыне то любо, значит, помалкивай. Сейчас при всех безызытно европейских дворах виршеплеты заведены. Ничего не попишешь — мода. Но поставить лишний раз на место тучного, рассеянного и самоуверенного пииту тоже не помешает. Может, и даже наверное, так оно и раньше случалось, но, безразличный к пене придворной жизни, Василий Кириллович просто внимания не обращал на титулованное хамство. Он был выше этого. Насмешки и дерзости отскакивали от него, как горох от стены. А сейчас он стал до болезненности чуток и раним. Он оробел, съежился, ощутил опасность внешнего мира, которым раньше пренебрегал, веря в свою защищенность, и люди каким-то образом провели о его ущербе и мгновенно разнуздались.

Ему казалось порой, что он подмечает на лицах придворных ту особую, брезгливую гримасу, какой отзывались они на разные докуки шутейного сброда Анны Иоанновны, и это пугало его до сжатия сердца и холодного пота. Русская знать, известно, привержена дуракам, но придворных шутов и шутих все ненавидели дружно за их развяз-

ность, наглость, склонность к доноситељству, а более всего за то, что их слишком любила монархиня...

—
4
—

Высокая, тучная, мужеподобная дочь слабоумного царя Ивана Алексеевича таила в грубых чертах своих странное сходство с великим дядей, корень коего, видать, в царе Алексее Михайловиче. Эта схожесть мало кем подмечалась в силу глубочайшего внутреннего различия между дядей и племянницей. Пустая, ленивая, незначительная, утрюмая и при этом помешанная на развлечениях, Анна меньше всего заботилась о сохранении Петрова наследства. Ей было наплевать на Россию, которую она оставила в ранней юности, выданная замуж за герцога Курляндии, не знала своей родины, да и знать не желала. У нее была одна страсть — конюший Бирон, с которым она сошлась после смерти мужа. Склонная к единобрачию и верности, но бессильная сделать Бирона хотя бы тайным мужем — он был женат, Анна осыпала его бесчисленными милостями. Он стал оберкамергером ее двора, в 1737 году получил Курляндское герцогство, а заодно и всю Россию, которой бывший конюший распоряжался куда бесцеремоннее собственной вотчины.

Намаявшись скукой, бедностью, интригами ничтожного Курляндского двора, Анна Иоанновна, выйдя на широкий российский простор, превратила свою жизнь в сплошное увеселение, в нескончаемый праздник. Бирон, не занимавший никаких государственных постов, показывался на этих балах в атласном кафтане небесного цвета, так идущем к его серо-голубым холодным глазам, при орденах и ленте, весь в сверкании драгоценных камней, окруженный угодливостью и лестью, рослый, красивый, надменный, он купался в лучах своего величия, и Анна Иоанновна была счастлива. Но каждый бал, даже «нескончаемый», рано или поздно все-таки кончается. Бирона уводили прочь дела

и заботы будней: семья — ревнивая Анна со странным смирением признавала права этой ненужной, мешающей семье и даже подружилась с Биронихой; конюшни — шталмейстер Бирон был по нутру просто конюх, обожавший лошадей, запах стойла и навоза. То была единственная бескорыстная страсть временщика, и тучная, неуклюжая Анна, сделав над собой великое усилие, научилась превосходно ездить верхом. И герцог уже не мог помешать ей заглядывать в конюшни и сопровождать его в дальних верховых прогулках. От государыни после этого крепко пахло конским потом, и, прискучивший ее липкой привязанностью, Бирон испытывал прилив нежности. Но была у него еще и такая жизнь, куда русская императрица не могла вступить, даже если б и пожелала. И когда Бирон делал собственную политику: строил козни, плел сети, учинял заговоры против русских людей, их достатка, земли, прав — Анна оставалась одна, и свинцовая тяжесть одиночества наваливалась ей на грудь. Мучительное это чувство, ведомое всем Романовым, начиная с первого Михаила, возросло у Анны до размеров душевного недуга в загоне тухлого Курляндского двора. Неспособная в дикой мозговой лености ни к государственным делам, ни к чтению, ни к серьезной беседе, она находила спасение лишь в шутках. В их возне, ссорах, драках, визготне, сплетническом тараторе рассеивалась ее угрюмость, она отвлекалась от тяжелых мыслей о близящейся старости и вечном нездоровье.

Причудлив, жутковат, даже грозен был шутейный штат императрицы. И хоть русские баре известные до шутов охотники — рядом с богом обиженным, хуже черепахи изуродованным каждый зело умным и пригожим себя зрит, — но царицыных дураков все боялись и ненавидели. Среди обычных шутов в пестрых костюмах — одна штанина красная, другая синяя, полосатая, колпак с бубенчиками или шапка с ослиными ушами, в руке погремушка с горохом, всевозможных уродцев — горбунов, гномов, кол-

ченогих, косоглазых, ласторуких, самовароподобных, бляющих, мычащих, кукарекающих, пузыри пускающих, слова путного молвить не умеющих, — попадались ражие молодцы чужеземного происхождения, скрывающие под шутовским нарядом острый ум, ядовитую злость, отвагу и литые мускулы наемных убийц. Предезеркие художества, кои они творили, пользуясь своей безнаказанностью, озадачивали даже выдавших виды придворных, из них выделялись португалец Лакоста и смуглый итальянец, чье благозвучное имя Петро Мира не случайно переделали в Педриллиу. Темные пронзительные глаза этих авантюристов, прикрывшихся скороморчьем колпаком, повергали придворных в смятение. Рядом с ними иной вельможа не только не полагал себя умнее и выше, а дрожал от страха, как бы с этими шутами местом не поменяться. А что?.. Были среди богом обиженных и людьми униженных выходцы из самой родовитой знати. Так, под кличкой Кваснина ходил в шутах князь из стариннейшего, знатнейшего рода Голицыных. Опала, плаха, изгнание были в привычку этой беспокойной фамилии, но в шутах и квасниках никто еще не состоял. Некогда юный князь Голицын, посланный с поручением к папе римскому, в угождение наместнику Бога на земле принял католицкую веру, за что и был в шуты определен. Конечно, не блистал умом князь Голицын, но и не умнее его люди исполняли и придворную, и посольскую, и военную, и какую хошь службу, он же гостей квасом обносил. Его ущерб состоял в одном: он всегда хотел угождать окружающим, делать людям приятное, и уж вовсе не способен был кому-либо противустоять. Он угадал желание святого отца и вернулся домой католиком. Нельзя сказать, что Голицын-Кваснин особо страдал в своей новой службе, ибо доставлять людям всевозможные удовольствия, радостно подчиняться, потворствовать чужой воле было всегдашним стремлением его натуры. Таким уж создал его Господь. А все-таки жутковато иной раз становилось при виде того, как другие шуты князя-

боярина волтузят. Да, был у Анны старый счет с домом Голицыных, пытавшихся урезать ее власть.

А молодой Волконский, тоже принявший католицистскую веру и угодивший в шуты? В нем и вовсе никаких вывихов не наблюдалось, и в свою позорную должность угодил отнюдь не за измену православию, а по мстительности Анны Иоанновны, возревновавшей к его красавице жене. Лишь раз пресыщенный, равнодушный к женщинам, Бирон смягчил льдистый блеск своих глаз, узрев юный, статный облик княгини Волконской, и недалекий добряк, ее муж был, аки гусь, посажен в плетеную корзину у покоев императрицы.

Если люди родовитые не чувствовали себя защищенными от колпака с бубенчиками и гусиной плетушки, то что же должен был испытывать придворный пиит, коего тоже для развлечений употребляли, словно горбатенького и ушастенького швейцарца по кличке Магистр, искусно пиликавшего на скрипочке с одной струной?

У шутов была премерзкая манера замешивать, «заигрывать» в свою возню разных почтенных особ, так что иной раз не отличишь, кто шут, а кто не шут. Исключение составлял один Бирон. Но даже сам грозный кабинет-министр Волынский нередко подвергался их наскокам. Крепкий, как кленовый свиль, сановник — происходил из мелкой астраханской шляхты и начинал рядовым солдатом — сразу пускал в ход кулаки, и шуты с воплями разбежались. Но такую самозащиту не каждый позволить себе мог — шуты были первыми доносчиками при императрице и фаворите и могли замарать так, что не отмоешься.

Бирон, любивший лошадь как богово совершенство, натурально не мог испытывать к шутам ничего, кроме брезгливости. Он и вообще-то людей ни во что не ставил, а тут какие-то людские ошметки. Но ему угодно было их наушничество и то, что в его отсутствие императрица ими утешалась. Это было куда лучше, чем если б иной утешитель выискался, ну хоть бы наглый, ловкий и ядреный Волынский.

С шутами приходилось считаться, но, боже упаси, чтоб они это почуяли! И бедный Василий Кириллович, потерявший всякий кураж после визита в Тайную канцелярию, изо всех сил напрягался, чтобы оборонить свое скромное достоинство от вельмож и наипаче от шутов. У него вроде болезни стало — страх в шута превратиться. И всякий раз, возвращаясь из дворца в свой бедный дом, он с трепетом спрашивал себя: не случилось ли чего такого, что его ниже допустимого уронило, не сломилась ли его фортуна от академии к шутейной команде? И хотя чуткие, как собаки, к чужому страху шуты что-то про него смекнули и обнахальничали против прежнего, шапки с ослиными ушами все же не решались натянуть на крупную голову первого русского стихотворца. Может, тянулось за ним покровительство князя Куракина, числившегося в близких людях герцогу Курляндскому? Это его спасало, это и едва не погубило...

—
5
—

Пока ТрEDIAKОВСКИЙ бестолково и растерянно собирался, теряя то очки, то кошелек, то пуговицу с кафтана, кадет сосредоточенно и угрюмо ковырял в носу длинным бледным пальцем, не стесняясь присутствием ни самого академии секретаря, ни его жены. Кадет явно не штудировал «Юности честного зерцала», где прямо указано: «чистить перстом нос возбраняется». ТрEDIAKОВСКИЙ, пережив первый испуг, несколько овладел собой и решил, что Кабинет ее величества еще не Тайная канцелярия, там не пытаются, не вздергивают на дыбу, а повод для вызова может оказаться самый ничтожный: навет академического коллеги или жалоба церковников, что куда хуже, но в последнее время он их не задевал, а старое быльем поросло. Конечно, ничего нельзя знать наперед, коли имеешь дело с властью, но и отчаиваться рано. Вышел же он невредим от самого Андрея Ушакова. И, приободрившись, хотел сделать вну-

шение кадету, дабы не сорил из носу на чистый пол в присутствии почтенных особ, но тут ему под дых ударило сходство нарочитого свинства кадета с тошными действиями ушаковского шелудяки. Что это — случайное совпадение, или людям гнусных занятий вообще свойственно манкировать приличиями, или подготовка жертвы к лишению прав человека? Худо, худо, ох худо!.. И ТрEDIAKовский оставил выговор при себе.

— Скоро там? — силло спросил кадет и отхаркнул через плечо, доказав тем самым некоторое знакомство с наставлением шляхетскому юношеству.

— Скоро!.. Уже иду!.. — жалким голосом отозвался Василий Кириллович, беспомощно топчась перед женой, пришивавшей ему пуговицу...

Когда они вышли на улицу, синее небо, крепкий, кусачий мороз, каленый, бодрящий, заставили Василия Кирилловича особенно горько ощутить обрушившуюся на него беду. Хрустело под ногами, колкий воздух хорошо студил грудь, искрились опущенные деревья и крыши под толстым снегом, плотные прямые дымы казались столбами, поддерживающими небесный свод, столько радости было в мироздании, в сияющем божьем дне, что невольно стало измученному сердцу Василия Кирилловича, и он потянулся за сочувствием к другой душе, к угрюмому паршивцу кадету, есть же и на нем хоть слабый свет человека. Задыхаясь от быстрого шага и пресекающего дыхание мороза, ТрEDIAKовский пожаловался на немилостивую судьбу. Живешь, и мухи не обижев, токмо о славе государыни печешься, никаких сил ради пользы российской не жалеешь, а вместо благодарности в Кабинет ее величества волокут.

— В какой еще Кабинет? — прохрипел кадет, не глядя на ТрEDIAKовского. — Тебя к кабинет-министру Волынскому доставить велено.

ТрEDIAKовский аж вспотел на лютom морозе. Мгновенно колючий иней вырос на бровях, над верхней гу-

бой, затынул волосатые ноздри. Он остановился, достал фуляр, высморкался, утер лицо. Эх же он ослышался! Конечно, и вызов к кабинет-министру ничего доброго не сулит, гордый и грубый Воынский не больно его жалует, а все же — какое сравнение с тем, что ему от страха померещилось! Воынский в большой силе, да ведь он человек, и есть другие человеки — защитят. Сама матушка-государыня не даст в обиду своего певца, коли он супротив нее не виноват. Но хорош этот кадетишка — прогугнил что-то себе под нос, заместо того чтобы толком сказать, и в такой испуг вогнал.

Заметив, что ТрEDIAKовский остановился, кадет остановился тоже. Он, видать, сильно продрог в шинелишке, подбитой ветром, и торопился в тепло. Но Василий Кириллович не собирался потакать бесцеремонному мальчишке. Он был человек тучный, с одышкой, придворный поэт, секретарь Российской академии, муж ученый и трудами своими славу снискавший, нечего ему воробышком лететь по прихоти капризного вельможи. Он не спеша приблизился к кадету и сделал тому строгое внушение:

— Негоже, сударь мой, так с почтенными людьми обходиться. Ты горло от кнастера не прочистил, хрипишь невесть что, а мне вон какие ужасы померещились. Таким объявлением человека можно вскоре жизни лишить или, по крайней мере, в беспмятство привести.

Кадет пробормотал какую-то грубость, вроде посоветовал уши прочистить. Василий Кириллович, преисполняясь все большего достоинства по мере того, как росло и ширилось ликующее чувство освобождения, сурово заметил кадету, что уши у него в полном порядке, он слышит не токмо все земные голоса и звуки, но и музыку сфер, а вот иным недорослям не мешало бы помнить правила приличий, предписывающие освобождать нюхало от табака и соплей с помощью фуляра, а не указательного перста. Кадет по-волчьи зыркнул глазами, уткнул подбородок в воротник и быстро зашагал вперед.

По мере их продвижения к дворцу в природе происходили какие-то перемены. Небо утратило чистоту, замутилось, по забелевшей голубизне проносились быстрые тощие облака, солнце за ними стало круглой золотой монетой, на которую можно взирать без рези в глазах. Чуть заметно потянуло ветерком с залива. Мороз не умерился, но похоже, что в ближайшее время он пойдет на убыль.

Вблизи дворца от Невы ударило по глазам ледяным пламенем. Аж слезы вышиб пронзительно-ледяной сверк. Василий Кириллович защитился рукавицей от блистающих лезвий. Это стал меж недостроенным Зимним дворцом и Адмиралтейством ледяной дом, измышленный усердием Волынского для развлечения недужащей императрицы. С тех пор как Анна занемогла — лекари не умели назвать болезни, обглодавшей ее, как собака кость, — Волынский изошрялся в устройстве все новых и новых увеселений, машкератов, шутейных потех, одна причудливей другой. Государыня хоть и опала телом, почернела с лица, ставшего вовсе мужским, с притемью под носом и на подбородке, а порядка жизни не меняла, даже еще жаднее цеплялась за удовольствия. Но сейчас гораздый на выдумки Волынский превзошел самого себя. Поговаривали, правда, что задумка принадлежала Бирону. Раздраженный успехами Волынского, он надоумил государыню потребовать невозможного: статочное ли дело дворец из льда возвесть! Но Волынский доказал, что нет для него невозможного в угождении государыне.

В краткий срок, отпущенный завистливой злобой фаворита, отыскали и доставили в Петербург с разных концов страны редких искусников. Лед брали с Невы, нарезали кирпичами и складывали стены по всем законам строительного дела, используя для крепежа невскую воду. Так, шаг за шагом, возвели по чертежам даровитого зодчего,

задушевного друга кабинет-министра Еропкина, дворец — восемь саженой длины, две с половиной ширины, три высоты. И вот оно, хрустальное чудо с колоннами и шпицом, с крыльцом и окнами, с ледяными светильниками перед парадным входом, где в чашах будет гореть нефть, — чудесный, хрупкий, недолговечный памятник мимолетного монаршего каприза, жутковатый символ пустой растраты народных сил, мастерства, выдумки, таланта, пышный, сверкающий и бессмысленный, как и все это царствование. И как это в духе Волынского! От него, младшего птенца гнезда Петрова, ждали свершений великих, дел громких, к вящей славе России служащих. Но, кроме подписания выгодного Исфаганского торгового договора с Персией, что еще во дни Петра было, прославил он себя лишь крутым губернаторством в Астрахани и Казани, участием в австро-русско-турецком конгрессе в Немирове, приведшем к заключению Белградского мира с Турцией, по которому Россия за здорово живешь лишилась всех своих завоеваний, русской кровью окупленных. А допрежь того Волынский приложил руку к другому громкому делу — возглавил суд над Дмитрием Михайловичем Голицыным, вознамерившимся поставить над волей монаршей Верховный совет из старых бояр с подмешкой новой знати. Престарелый князь отправился умирать в Шлиссельбургскую крепость, а Волынский стал бы первым человеком при государыне, кабы не Бирон.

Дойдя в своих мыслях до князя Голицына, Василий Кириллович ощутил внутри себя какое-то неудобство вроде щемления. Он постарался выкинуть это из головы, вернуться к широкому размышлению о судьбе даровитого выкорымыша эпохи преобразований, который в нынешнее ничтожное время строил и украшал лишь собственное гнездо, но щемливое беспокойство не проходило и наконец навело на след. К роду Голицыных принадлежал жалчайший из шутов — Кваснин, которого в апофеозе празднеств, посвященных ледяному дому, должны обвенчать с распут-

ной и злой шутихой Бужениновой, прозванной так в честь любимого блюда Анны Иоанновны. Случайно ли вновь повязалось имя Волынского с одним из Голицыных или то был выбор самого кабинет-министра, не изболевшего ненависть к славному и несчастному роду, пред коим он, Волынский, куда б ни забрался, все равно хам и выскочка; то ли ему казалось, что нынешним малым злодейством он как бы подтверждал справедливость большого прежнего, когда подвел под топор старого «верховника», — сподобился тот каземата, взамен плахи, лишь милосердием государыни. Поди разберись в чащобе такой дремучей души, как у Артемия Волынского!

Для него, Василия Кирилловича, тут заключалась своя каверза: несколько дней назад бросил ему Волынский вскользь, через плечо: сочини вирши на сию свадьбу. «Я виршей не пишу!» — гордо отвечивал (про себя) Тредиаковский, отвесив поклон. Но потом крепко озадачился — всерьез или в насмешку сие распоряжение? Не было ничего страшнее и ненавистнее для Василия Кирилловича быть запутанным в шутовские дела. Волынский не любил его, даром что земляки, ибо числил ошибочно — по князю Куракину — за Бироновым подворьем. Невдомек министру было, сколь натерпелся академии секретарь от наглости чужеземцев, опирающихся на Бирона. Да и сам фаворит не пропускал случая унижить, высмеять, поставить в глупое положение Василия Кирилловича. Он боялся, но и презирал от всей души невежественного, чванного, брезгливого ко всему русскому курляндца. Но не о том сейчас забота. Ломоносовский выпад напрочь вышиб из памяти Тредиаковского поручение Волынского. И хорошо, что вышиб. Иначе по слабости душевной и привычке подчиняться сильным мира сего — чем не Голицын-Кваснин? — накатал бы он свадебную песнь шутам и осрамился бы в собственных глазах и перед потомством. Ему ли, императрицу и Россию поющему, шутов величать!.. А если б Ломоносову сие предложили?.. Вспомнились слова молодого Салтыкова, встречав-

шегося с Ломоносовым в Фрейберге: «Меня подмывало обломать трость об этого наглеца, но не решался, такой и убить может!» Он, ТрEDIAKовский, никого не может убить, но постоять за честь русской поэзии может, и, если ВоЛЫнский впрямь ради шутовского величания его вызвал, он скажет ему — смиренно, но твердо — о своих заслугах перед российской словесностью. «Не буду писать, и все тут!» — решил Василий Кириллович, приосаниваясь...

7

— Где вирши? — спросил ВоЛЫнский, едва ТрEDIAKовский переступил порог кабинета.

— Нету, — упавшим голосом сказал поэт.

— Как это «нету»? Завтра свадьба.

— Негоже пииту скоморошествовать, — довольно твердо произнес ТрEDIAKовский, и крепкая, упрямая скула молодого помора проплыла перед ним.

ВоЛЫнский медленно поднял тяжелую голову. Его немолодое, но еще красивое лицо было помято, желтые взболтанные глаза глядели сумрачно и нездорово. Он всегда много пил, но прежде сон смывал с него следы попойки, и после разгульной ночи с девками и тройками он выглядел свежим, нетерпеливо бодрым, а ныне, постарев, погрузнев и озаботившись, тащил собой в день дурноту и тяжесть похмелья.

ВоЛЫнский поднялся, вышел из-за стола, в движениях его не было прежней сухой легкости.

— Ты астраханский? — спросил он скучным голосом. ТрEDIAKовский чуть отсунул лицо от его сивушного дыхания.

— Как же, — сказал он с насильственной улыбкой. — Ваш земляк.

— Земляк, значит... — ВоЛЫнский прикрыл глаза, будто что-то соображая, его тонкие веки чуть трепетали, сверкнул очистившимся, светлой ярости взглядом и что было силы ударил ТрEDIAKовского в зубы.

Голова ТрEDIAKовского дернулась, хрустнул шейный позвонок. Он попятился, и новый страшный удар расквасил ему нос. Хлынула кровь — и залила перед кафтана. Почему-то первая мысль Василия Кирилловича была об этом кафтане: как будет браниться и сокрушаться Марья Филипповна, корпя над засохшими, несмывающимися пятнами, а уж потом безобразие и подлость случившегося заломили ему душу.

— За что?.. — проговорил он гнусаво сквозь кровь, забившую нос, и слезы налили ему уголки глаз. — Да как вы можете так?..

— Земляк, говоришь? — повторил ВоЛЫнский, словно было что-то усугубляющее вину ТрEDIAKовского в этом обстоятельстве, и огрел его по уху.

ТрEDIAKовский трясущимися руками извлек из кармана фуляр и приложил к лицу.

— Он ругался на вас, зачем вызвали, — прохрипел кадет.

— Нешто посмел бы я... — ТрEDIAKовский отнял от лица пропитанный кровью платок. — Совести у тебя нету.

— Ругался! — мстительно подтвердил кадет. — Чего, мол, такую важную персону по пустякам тревожат. Кабы еще государыне зандобился, а тут всякое пыжало от дел отрывает.

— Побойся Бога! — только и молвил ТрEDIAKовский. ВоЛЫнский остро глянул на кадета.

— Дай-кошь ему по соплям. Неохота руки марать. А ну!.. — И кабинет-министр крепко ткнул кадета кулаком меж лопаток, видать, за «пыжало», придуманное, как он сразу догадался, злобной фантазией кадета.

Тому не нужно было говорить дважды. Как ни закрывался и ни увертывался Василий Кириллович, твердые кулаки находили незащищенное место. Видать, в отцовской деревне этот недоросль зело преуспевал в кулачной потехе. Заплыли глаза, уши стали, как оладьи, кровь текла из носа, изо рта слабого плотью кабинетного мужа. Отступая, Васи-

лий Кириллович споткнулся на ковре и упал. Кадет ударил его сапогом в живот.

— Хватит! — сказал Волынский прежним скучным голосом. — Ковер запачкает... А ты, сволочь, чтоб к завтраму были вирши. Не то раздавлю. Пошел вон!..

И ТрEDIAKовский пошел. Он пошел, как был, в порванном, испачканном платье, с разбитым, окровавленным лицом во дворец Бирона принести жалобу на кабинет-министра. Он не ждал серьезной кары для Волынского, слишком высоко тот стоял, но и нескольких суровых слов императрицы, сказанных публично сиятельному живорезу, было бы достаточно. Придворные увидят, что никому не дозволено подымать руку на поэта-ученого. Ждал Василий Кириллович и для себя сочувственной ласки: хоть перстенок какой должны ему в утешение пожаловать.

В приемной у фаворита было по обыкновению людно, и, хотя появление избитого и окровавленного поэта произвело впечатление, пустить его вперед никому на ум не вспало. ТрEDIAKовский занял очередь и стал рассказывать случившемуся тут знакомому гвардейскому капитану о претерпленном надругательстве. Он так увлекся живописанием своих страстей, что не заметил, как в приемную вошел кабинет-министр Волынский в сопровождении давешнего кадета и жердылы-приказного. Нехорошую тишину, воцарившуюся в прихожей, он принял за повышенное внимание к своему рассказу.

— Ты здесь, гнида? — Хмурый голос Волынского оборвал ему сердце. — Витийствуешь?.. Жаловаться пришел?..

Волынский наотмашь ударил его в грудь. Василий Кириллович повалился на гвардейского капитана, тот посторонился, и поэт рухнул на пол. По знаку Волынского кадет и приказный подхватили его под микитки, вытащили на улицу, кинули в возок и куда-то помчали...

Потом уже Василий Кириллович сведал, что на шум из кабинета выглянул Бирон и, увидев разъяренного Волын-

ского, сказал гнусаво, что было у него признаком подавленного гнева:

— Что тут происходит? Опять вы?.. Здесь вам не конюшня.

— Конюшня — это по твоей части, — дерзко ответил Вольтер. — А коли я наглого слугу проучаю, то сие никого не касается.

— Слуг вы у себя дома наказывайте, — побледнел Бирон. — Я слышал голос академии секретаря Тредиаковского. Он к холопам вашим не принадлежит.

— А это мы сейчас увидим!.. — в бешенстве вскричал Вольтер, выбежал из приемной, вскочил на лошадь и прибыл в караулку в одно время с возком.

И началось такое безобразие, какого нигде, кроме святой Руси, не увидишь. Когда-то в Париже Тредиаковский слышал, что оскорбленные Вольтером вельможи подсылали к нему наемных головорезов, чтоб избить палками, а некий французский маршал, высмеянный Мольером, при встрече обнял драматурга, прижал к груди и поцарапал ему лицо орденами. Но эти поступки, о которых говорилось с отвращением и гневом, казались невинными шалостями по сравнению с тем, что учинил над русским поэтом русский вельможа. Он велел содрать с Тредиаковского кафтан и рубашку и лупцевал его палкой по голой спине, пока тот сознания не лишился. Ушат холодной воды привел его в чувство. Вольтер снова принялся за дело и свирепствовал до плеча онемения. После этого Тредиаковского передали в руки солдат, и экзекуция возобновилась по строгому воинскому уставу. Поэта распластали на холодном захарканном полу караулки, один воин сел ему на голову, другой на ноги, а третий отмерил пятьдесят палок. Тредиаковский снова обмер и снова был возвращен в сознание ледяным окатом. Ненасытный Вольтер приказал дать ему еще тридцать палок. Полуживой от боли, унижения, обрыва всех внутренних сцепов, собирающих человека в личность, Тредиаковский каким-то образом запомнил па-

лочные порции и впоследствии точно назвал их в своей жалобе Академии наук. Он долго не постигал лютости Волынского, необъяснимой цепкости, с какой первый сановник государства, обремененный многими делами и заботами, впился в слабого, беззащитного человека, отважившегося на свой жалкий бунт. Лишь когда стало известно о «заговоре Волынского», кое-что приоткрылось Василию Кирилловичу.



Предвидя скорую кончину Анны и регентство Бирона, Волынский разработал проект «О направлении государственных дел». Еще творя суд над князем Голицыным, он серьезно задумался над попыткой верховников ограничить царскую власть советом государственных мужей. Крепко запали ему в душу слова, коими старый князь отпел свое дело: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за отечество, мне уж и без того остается немного жить, но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего».

Не тех, кого следовало, позвал на пир Голицын, за то и поплатился. Шляхетство боялось власти верховников, полагая, что с ними вернется засилие старинных боярских родов, уничтоженное Петром. Анна Иоанновна не своей решимостью разорвала подписанные ею голицынские кондиции, а по настоянию гвардейских офицеров и дворян. Молодое русское дворянство, добровольно надевшее на себя ярмо, получило в благодарность бироновщину и слезами горючими поплатилось — прав был старый князь! — за свою преданность престолу. Волынский полагал, что ныне шляхетство вполне созрело, дабы создать из себя сильный представительный орган для обуздания самодержавия и свержения Бирона.

И Волынский начал плести свою сеть: искать и вербовать сторонников, прощупывать гвардию, одновременно

всячески улещивая больную, капризную и ненасытную к развлечениям государыню. Его вкус к помпезным зрелищам, коих он довольно нагляделся в Персии, размах и богатое воображение помогали заворачивать такую карусель, какой не видывал пресыщенный двор. Бирон вздумал подставить ему ножку затеей с ледяным домом, но все шло к тому, чтобы еще более возвысить Волынского во мнении императрицы. Сейчас Волынский страшился не зависти, злобы или ревности Бирона, а лишь пронизательности, которой этот спесивый и вроде бы туповатый курляндец обладал с избытком. Все мелкие и даже крупные каверзы герцога не были опасны Волынскому, он знал, как прогнать нахмурь с потемневшего чела государыни, вызвать улыбку на запавших устах. Другое дело, если герцог пронохает о «Проекте» и прочих расчетах Волынского, тогда ему несдобровать. И участь князя Голицына завидной покажется оступившемуся честолюбцу. Жестокость временщика могла сравниться лишь с его алчностью.

Волынский следил за каждым своим шагом, словом, жестом, следил, чтобы его поведение ничем не отличалось от всегдашнего. Упаси боже, чтобы Бирон и его клеветы заметили, что он осторожничает, затаился, стал рассчитывать свои поступки, он, знаменитый своей необузданностью и удалой ширью истинно русской природы. И он заставлял себя пить, кутить, якшаться с непотребными женщинами, хотя ему было совсем не до того, совершать продуманно опрометчивые поступки.

Ледяное празднество было задумано с невиданным размахом. Триумфальные шествия победоносного Петра равно и ошеломляющие выходы всепитейшего собора должны были поблекнуть перед великолепием карнавала Волынского. Он хотел надолго ослепить и оглушить государыню, чтобы на спокойе двинуть вперед свое дело. Бедного русского поэта, как былинку, как палый листик, засосало в вихрь государственных страстей, не на жизнь, а на смерть борющихся властолюбий. Он думал, что скромно

отстаивает собственное достоинство, а может, и достоинство тех, кто придет вслед за ним на ниву отечественной словесности, а сам, того не желая, сунулся под колесо разогнавшейся во весь дух телеги кабинет-министра.

Волынский просыпался по утрам с тревожной мыслью: не ударила ли оттепель. Тогда все пропало — потекут, оплывут сложенные с таким искусством ледяные стены, в мутную лужу превратится хрустальное диво. Но окна сверкали морозной росписью, красноречиво свидетельствуя, что зима прочно сковала столицу. Волынский вздыхал облегченно и тут же начинал беспокоиться о другом: вдруг посреди шествия понесет непривычная к городскому обиходу оленья упряжка плосколицых насельников северных окраин государства Российского, или, вспугнутые огнями, фейерверковыми вспышками, ринутся на толпу индийские слоны, или какая другая непредвиденная поруха испортит плавное течение праздника. А тут не олень с тяжело колышущейся гривой, не слон с могучими бивнями, а гнида, мелочь, землячок астраханский, словоблуд, шут без колпака поперек сунулся. Нужны Волынскому его паршивые вирши — это государыня пожелала, чтобы было прочитано стихотворное приветствие брачующимся шутам, — питала она странное пристрастие к стихоплетству. И уж если такая тля осмеливается прекословить, заместо того чтобы с благодарностью руки лизать, то сколь же трудно будет поднять людей на большое дело, подчинить их себе, привести к победе и, возглавив новый, силу и власть имеющий Сенат, набив шляхетству рот разными привилегиями, стать при наследнике Анны подлинным властелином России.

К той же великой цели стремился некогда и Александр Данилович Меншиков, да проворонил юного Петра II и в березовскую ссылку, в курную избу угодил вместе с красавицами дочерьями. Волынский так не обмишулится. Но известно, что большие предприятия нередко гибнут из-за мелочей. Потому и расправился он беспощадно с ничтожным Третьяковским. К тому же в мозгу мелькнуло: уж не

Бирон ли подбил стихотворца к неповиновению? Что если ушлый курляндец прощупать его хотел? Человек, замысливший большое тайное дело, не станет по-пустому шум подымать. И Вольнский нарочно разнуздался в Бироновом доме. Ко всему еще он окончательно уверился, что ТрEDIAKовский — с подворья ненавистного временщика. Кабы Вольнскому не было что таить, он, верно, не стал бы учинять скандал в покоях щекотливого фаворита, но в данном случае такое вот откровенное, простодушное, неосмотрительное хамство хорошо маскировало серьезные намерения. В караулке же он от души дал себе волю. Этот противник самодержавной власти, устроитель российского парламента, не терпел и малейшего противодействия своей воле...

—
9
—

Избитого, мокрого, окровавленного ТрEDIAKовского заперли на ночь в караулке, чтобы он сочинял веселую свадебную песнь. Лязгнув засов, ТрEDIAKовский остался один. Под потолком ютилось маленькое окошечко, за которым мерцала белесая от снега ночь. Но ТрEDIAKовскому казалось, что прошла целая жизнь между светлым утром, когда он почувствовал в себе благородную ломоносовскую упрямку, и ночным опамятованием в мерзкой луже посреди караулки. Он постарел на целую жизнь за этот день. О каком достоинстве, какой чести можно думать, когда живешь под властью рукосуев, палочников, душегубов? Что для них заслуги, ученость, слава — награда терпеливому труду, это же заплочных дел мастера под личиной вельмож!

Но не стоит трудить этим душу. Его искус не кончился, чаша не испита до дна. Как еще распорядится им завтра Вольнский, какую роль отведет на ледово-шутовской свадьбе? Может, вовсе в шуты зачислит? Неужто допустит матушка-государыня?.. ТрEDIAKовский тяжело вздохнул. Разве можно положиться на кого из этих великих, всяк своему нраву служит, а маленький человек для них что муха, при-

хлопнут и не заметят. Но он должен завтра прочесть стихи, иначе не видать ему ни дома, ни жены, ни детушек. А ему ничего не надо, только бы увидеть их. Пусть шутком, пусть кем угодно, ползком или на карачках, только бы добраться до их родного тепла. Вспомнив о семье, Третьяковский заплакал. Он плакал, выползая из мерзкой лужи, подымаясь на ватные ноги, устраиваясь на лавке, приткнутой к стене. Лечь он не мог, так болела ободранная спина. Он скорчился в уголке, найдя наименее мучительное положение для разбитого тела, руками упираясь в лавку, виском прижавшись к холодной стене. Ну же, стихоплет, сочиняй веселые стихи во славу Голицына-Кваснина и красавицы Бужениновой! До чего ж вдохновительный для твоего таланта предмет! Брак, узы Гименя... А твоя Марья Филипповна нешто лучше себе долю выбрала, пойдя за сочинителя, чем шутиха Буженинова? Что она думает сейчас, сидя одинешенька в бедной их берложке, без вести от него, не зная, вернется домой кормилец или навсегда сгинет, как случилось со многими людьми всякого звания в это душегубное время. Не Кваснин с Бужениновой дураки, истинные дураки они с Марьей Филипповной, что задумали пожениться, детей завести, жить как положено людям. И он сказал вслух своим разбитым ртом, обращаясь не к царским дуракам, а к себе самому и своей половине: «Здравствуйте, женившись, дурак и дурка!» И будто прорвало — потекли злые, непристойные, издевательские строчки. Шутейного, ядреного, похабного, забористого захотели — получите песнь свадебную с солью, с перцем, с собачьим сердцем, с матюшками, с подлостью всяческой, пусть и государыня послушает, и весь ее блестящий, гнилой с исподу двор. Третьяковский не жалких дураков срамил, он бил по всем, и в первую голову по себе самому, по своему унижению безмерному, по сытым мордам придворной черни, тешащейся гадкими забавами, по вельможам — скифам и самой скифской царице. Стихи были оскорбительны для слуха, безобразны, разнузданны...

И он угодил Вольнскому. Выслушав утром свадебную песнь, министр расхохотался и повторил вслух особо понравившиеся строчки:

Не жить они станут, но зоблют сахар,
А как устанет, то будет другой пахарь..

— Можешь ведь, коли захочешь! — сказал он милостиво. Только голос у тебя гнусный и вид непотребный, будто ты всю ночь с солдатами бражничал, дрался и блевал.

Разговор происходил в покоях Вольнского, куда доставили Василия Кирилловича. Министр хлопнул в ладоши и велел принести Тредиаковскому горячего молока с медом для прочистки горла, большую чару водки для общей бодрости и машкерадный костюм.

Последним Василий Кириллович не слишком огорчился, заметив на диване другой машкерадный костюм, пышный, яркий, отделанный жемчугами и драгоценными камнями, видать, предназначенный самому Вольнскому. Следовательно, тут нет намерения выставить его шутом. Более огорчительным оказалось, что читать песню придется в маске, к тому же носатой. Лицо Василия Кирилловича было так обработано, что все усилия искусного цирюльника, пустившего в ход примочки, мази, пшеничную муку мельчайшего помола, не могли скрыть следов побоев. Опечалился Василий Кириллович, когда напялили на него глухую черную бархатную маску с толстым изогнутым клювом, как у заморской птицы-попугая, оставлявшую для обозрения лишь бледные губы и мясистый запудренный подбородок.

Может, от огорчения, что все-таки привели его в шутовской вид, может, от слабости и дурноты, — он ничего не ел целые сутки, только ожег нутро крепкой водкой, — прочитал он на празднике свою песнь без обычного воодушевления, тихо, тускло, жалостно. Белый подбородок дрожал, кривились разбитые губы, он горбился от боли в спине и ежил плечи и со своим попугайским носом был впрямь

похож на старую больную птицу. Слух о расправе над ним успел распространиться во дворце, и любому из расфранченных придворных очень легко было представить себя на его месте, и это тоже не способствовало шумному успеху. К тому же государыня, вопреки обыкновению, не выразила удовольствия, даже не улыбнулась, а сидевший справа от нее Бирон сердито хмурился. Он уже пожаловался императрице на грубость Вольтского, и Анна Иоанновна наказывала кабинет-министра своей холодностью.

Обернулось же все это против Третьяковского. Разозленный Вольтский велел отправить его назад в караулку и повторить наказание. Но несчастному поэту было уже все равно. Он решил про себя, что не выйдет живым из переделки, и поручил душу господу. После первой дюжины палок он потерял сознание, и подвыпившие в честь карнавала, благодушно настроенные солдаты оставили его в покое.

Очнулся он от холода и колтыханий, его куда-то несли по морозцу на шинельке. Был он в том же машкерадном костюме, только накрыт шубейкой, с маской на лице. Картонный нос отвалился, как у больного дурной болезнью.

— Куда вы меня несете? — спросил он солдат-носильщиков — На кладбище?

— Домой, куды же еще! — ответили ему...

За минувшие часы произошел крутой поворот в настроении императрицы. Сколько ни напрягалась она гневом в угоду фавориту, но не могла устоять перед чудесами, порожденными щедрой фантазией кабинет-министра. Поистине ошеломляющим было шествие насельников бескрайнего государства Российского — полтораста разноплеменных пар в ярких народных костюмах поочередно радовали взор. Они мчались на оленьих, собачьих и козьих упряжках, скакали на конях, трусили на ослах, колыхались на верблюжьих горбах, медленно влеклись на упрямах волах и даже на откормленных свиньях. Поистине такое увидишь только в России, раз-

ве хоть одно другое государство собрало под своей крышей столько разных народностей? Тут были и самоеды, и остяки, и зыряне, и финны, и татары, и башкиры, и калмыки, и киргизы, и малороссияне, и белорусы. Ну а сами россы нешто на одно лицо! Щеголеватые, ражие ярославцы, стройные, гордые новгородцы, быстрые, жильные московиты, кряжистые задумчивые рязанцы, да всех не перечесть! И уж на что равнодушна была к своей родине государыня Анна Иоанновна, но и в ней шевельнулось чувство удивленной гордости за обильную и могучую страну, коей призвана она управлять. Невообразимо уморителен — животики надорвешь — был обряд венчания, соединивший дурака Кваснина с дурой Бужениновой, а сами молодые имели вид до того пакостный и ничтожный, что давно недужившая Анна приободрилась, взыграла, осушила кубок сладкого, густого греческого вина с пряностями и совсем развеселилась, не обращая внимания на кислую физиономию фаворита. Волынский был допущен к ручке, удостоен весьма лестных слов и понял, что выиграл кампанию. Под уклон праздника он вспомнил о Третьяковском и велел его отпустить, а коли идти не сможет, отнести домой.

Вот и отправился Василий Кириллович в обратный путь, как знатный французский барин, на носилках, правда, носилки те были из солдатской шинелишки, а несли не вышколенные слуги, а полупьяные солдаты, то и дело пребольно ронявшие его на мерзлую землю.

Когда вышли к Неве, Василий Кириллович увидел в мятущемся, но уже замученном пламени нефтяных светильников и смоляных факелов что-то огромное, бесформенное, безобразное — то был оплавливающийся в потеплевшем воздухе ледяной дворец. В непрочном, тающем чертоге, насмешливом даре императрицы Голицыну-Кваснину, оставались лишь брошенные всеми пьяненькие новобрачные. Теплый ток воздуха с залива не дал несчастным шутам замерзнуть до смерти.

Дома, едва придя в себя, Василий Кириллович попросил письменные принадлежности. Поминутно мутясь сознанием, он принялся писать завещание. За годы изнурительного неустанного труда поэт-ученый не нажил ни палат каменных, ни угодий, никакой сѹби. А берложка их и рухлишко и так семье останутся, кто посягнет на жалкое имущество бедняка? Дадут и нищенское вспомошествование, он в этом не сомневался, а Марья Филипповна, женщина хотя и младая годами, но умная, оборотистая и во всем умелая, не даст погибнуть их детям, вытянет и в обучение определит. Не пропадут! В России люди как трава растут, без заботы, без солнца и тепла, а все равно вытягиваются из тощей почвы одним лишь упорством — жить, жить, жить вопреки всему. Так отчего ж не стать на ноги и ихним детям при такой разумной, твердой сердцем матери?

Но было у Василия Кирилловича одно сокровище, о нем-то и болела душа в эти последние, как он полагал, часы, — его библиотека. Он начал собирать книги — печатные и рукописные — еще отроком в Астрахани. И сундучок с бумажным сокровищем таскал за собой повсюду: в Москву, в Амстердам, в Париж. Из столицы Франции он уже не мог сам перевезти книги, столько скопилось, их отправил ему вослед в Петербург князь Куракин, благодетель.

Редкие рукописи — собственноручные послания отцов православной церкви и раскольничьи грамоты, среди них самым протопопом Аввакумом и союзниками его писанные, соседствовали с французскими романами, поэмами и сборниками гривуазных стихов, частично приобретенными на Сенской набережной, частично полученными в дар от того же Куракина и от парижских друзей, среди коих было немало сочинителей. У него были полный Корнель,

Расин, Мольер, Вольтер, Буало, сочинения Малерба, Фенелона, Баркляя, шестнадцатитомная «Римская история» Роллена, его же «Древняя история», Кревиеровы «Истории об императорах»; были у него книги английских, итальянских, немецких, голландских, испанских, португальских прозаиков и поэтов, греческие и латинские грамматики, жизнеописания великих воинов, государственных мужей, служителей духа, оды Горация и любовные песни Катутла, множество сочинений по философии, географии, медицине, языкознанию, теологии, астрологии и, конечно, вся русская поэзия от виршей князя Хворостинина и творений Сильвестра Медведева, Федора Поликарпова, Кариона Истомина в русле церковно-дидактической традиции до острых сатир князя Антиоха Кантемира, а равно записи народных песен, комедий, сказок, раешников, жития святых мучеников и редкие издания Евангелия... Неумная жадность к познанию, распиравшая Василия Кирилловича, выразилась в этой богатейшей книжнице. Он тратил на книги каждую лишнюю копейку, не стеснялся и выпрашивать их, и вымогать, а при случае, не видя в том греха, и присваивать, где плохо лежит. Ежели умеючи действовать, то библиотека — золотое дно. Но откуда у Марьи Филипповны такому умению взяться? Разбазарит она даром, за бесценок, все эти сокровища. Тут Василий Кириллович малость себя обманывал, оглупляя смекалистую Марью Филипповну. Но при слезной жалости к семье, оставляемой без всяких средств, он еще горше печаловался сердцем о деле своей жизни, немалой частью коего была и эта любовно, самоотверженно собранная библиотека. Сохранности ради бесценных рукописей и книг, завещал он самое дорогое Академии наук. Он любил семью, ненавидел шумихеров и корфов, но над всеми его чувствами возвышалась пламенная страсть к науке, просвещению, словесности, стихотворчеству.

Коснеющим языком наказал он Марье Филипповне вручить завещание сразу после его кончины профессору

Шумахеру. Марья Филипповна всплакнула, заверила: «Все сделаю, болезный мой!» — и сунула сложенную вчетверо бумагу за пазуху. После в светелке, малость владея грамотой, она свела последнюю волю умирающего, снова всплакнула, обозвала его «иродом» и спрятала завещание за образа, решив вовсе уничтожить, коли муж не раздумает помирать. Сама она твердо верила в его выздоровление. Она отпаивала страдальца целебным отваром, а на спину ему клала примочки из травяного настоя. Во дни девичества Марью Филипповну называли колдуньей: от ее трав, высушенных, растертых в порошок, запаренных, перемешанных с разными специями, любую хворость как рукой снимало. Правда, нелегко было собирать нужные травы в болотистых скудных окрестностях Петербурга, все же и здесь ее составы знатно помогали страждущим.

И Василий Кириллович вскоре опамятовался настолько, что стал писать зело крепкий ответ Ломоносову, это дело он почитал наиважнейшим, и, лишь отправив его, составил обстоятельную жалобу на Волынского, которую, как и письмо к Ломоносову, адресовал Академии наук для дальнейшего употребления. Он не верил, что академия даст ход его жалобе, — хоть и сильны были немцы при Бироне, а против кабинет-министра, в фаворе пребывающего, пойти не посмеют. Конечно, избиение, коему он подвергся, уязвляет честь академии, но вместе с тем спесивые чужеземцы не допускали мысли, чтобы и с ними могли поступить сходным образом. А на русскую шкуру им наплевать. Но Василию Кирилловичу важно было послать жалобу — пусть знают все и сам гордый Волынский — слух-то все равно пойдет, — что не смирился он с насилием и не задушил в себе протестующего голоса. Он бессилён защитить свою плоть от здоровенных рукосуев и солдатни, но душу его не убили. Какие-то новые, странные силы пробудились в кротком человеке, он знал теперь, что бы с ним ни делали, как бы ни изгалялись, в шута все равно не превратят. Он стал даже тверже, чем во все годы, последовав-

шие за вызовом в Тайную канцелярию. И Марья Филипповна, ознакомившись с новыми посланиями мужа, не стала подвергать их участи завещания, а передала по назначению. Она удивлялась и не сочувствовала дерзости Василия Кирилловича, который, дыша паром изо рта, осмеливается спорить и жаловаться, но уважала эту непонятную силу в нем и не хотела ей перечить.

Однако академия рассудила по-своему и оба послания оставила без движения. В отношении жалобы на Волынского никаких объяснений не требовалось, а на послании к Ломоносову было наложено такое заключение: «Сего учеными спорами наполненного письма для пресечения долгих, бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж за почту денег напрасно не терять...»



Тредиаковский стал жить дальше. Он долго болел и отсиживался дома. Много читал, работал. Спина упорно не хотела заживать. Только подсохнет, станешь рубашку сдвигать, опять замekli ранки. И все же с каждым месяцем гнойнички уменьшались, затягивались, целебный бальзам хоть и медленно, но оказывал заживляющее действие. Василий Кириллович стал выходить, вернулся к исполнению своих обязанностей в академии и при дворе. Но внутри у него не заживало. Врожденная отходчивость, поэтическая безмятежность, доверчивость, не вовсе оставившие его после ушаковского застенка, исчезли без следа. Характер его изменился, он стал колюч, скрытен, зол, и хотя по-прежнему гнулся перед высокостоящими, но и они смутно чужали, что этот смиренник может выпустить яд, и не спешили задевать его. Даже шуты, народ весьма понятливый, не посягали на Тредиаковского. А в темных, глубоких и умных глазах Педрилы он подмечал что-то похожее на сочувствие с примесью чуть ли не уважения.

Не радовала Василия Кирилловича происшедшая в нем перемена. Он не был ни злым, ни твердым, ни кусачим; по природе своей добрый и мягкий, он хотел любить людей. Если не любишь людей, то зачем и писать для них? Нынешняя ожесточенность лишала его даже той малой внутренней свободы, какой он обладал раньше. Эта его свобода покоилась на убеждении, что, как бы плохо ни обращались с ним порой, он все же приятен людям со своей неленивой музой. Что там ни говори, а поэзия протачивала ходы к душам людей даже при азиатском дворе Анны Иоанновны. Люди привыкали к стихам и начинали чувствовать потребность в них. Пусть не все, пусть немногие, но что-то сдвинулось. Василий Кириллович тяжело переживал нынешнюю свою отчужденность. Но вскоре все померкло перед ошеломляющим известием, что всесильный кабинет-министр изобличен в государственной измене, взят под стражу и отдан в руки Ушакова.

В народе об этом говорили всякое и, как обычно, наибольшую веру давали дичайшим слухам: Бирон застал его с государыней — и та в угоду первому любовнику пожертвовала вторым; Волынский намеревался русский трон опрокинуть и себя над Россией поставить. Эти слухи, подобно древним легендам, в искаженных образах отражали некую подлинность, ведь и Змей Горыныч скрывал исторического половецкого хана. Так в народных толках преображались намерения Волынского ограничить царскую власть Сенатом, свернуть шею Бирону и стать первым мужем в государстве.

При дворе же царило мертвенное молчание. Испуг сковал все уста. На пострадавшего от злодея-изменника Тредиаковского поглядывали с почтением...

Но в потоке людей, спешащих к месту казни, Василия Кирилловича не узнавали и потому толкали пребольно. Впрочем, он почти не замечал этих уязвлений плоти, погруженный в мысли о причудливой судьбе своего супостата.

Он слишком хорошо знал бывшего кабинет-министра, чтобы верить в его вольнолюбие. Но коль Бирону светило

регентство, у Волынского не оставалось выбора. Рассчитал он все широко и смело, да только Россия не Англия и не Швеция, и российское шляхетство не готово соответствовать замыслам Волынского. А Бирона час когда-нибудь пробьет, вдруг понял Василий Кириллович, только случится это на русский лад, по-домашнему, кулаками полупьяных гвардейцев. Дворянство же вовсе не так уж глупо и косно, просто никому не хочется ставить над собой Волынского вместо Бирона. Хрен редьки не слаще. Он вспомнил, как, исторгая водочный перегар, российский Кромвель месил ему лицо кулаками, и ноги сами прибавили шагу.

До чего же охоч простой люд до кровавых зрелищ! Пожалуй, и на ледяную потеху так не валили, как на законное смертоубийство. Конечно, сие представление позабористее. Там морозили, да недоморозили в апофеозе географического праздника двух шутов, а здесь обезглавят одну из первых фигур в государстве. Петербург не избалован подобными зрелищами, не то что старая столица, матушка-Москва, одной казнь стрельцов навек насытившаяся. Да и нет у людей сочувствия тому, кто вознесся над всеми аки солнце, перед кем шапки ломали, пресмыкались, на колени падали, кто сшибал и давил их своими пьяными тройками, кто волен был над их достоянием, свободой и животом. Справедливо, наверное, и все же Третьяковскому стало как-то не по себе, что он замешан в эту потную, душную, гадко-радостную шушваль, исторгающую тяжкий смрад под палящим июльским солнцем. Вернуться?.. Нет, он должен глянуть в лицо своему истязателю, должен стать близ лобного места, живой, здоровый, годный к труду и радости, а тот, кто терзал, топтал, смертью убить его хотел, а в нем то большее, что божьим даром называется и дается одному за многих и ради многих, примет позорный конец. Это перст божий. Каждому воздастся по делам его. Василий Кириллович почувствовал, что своя обида, своя месть истаивают в его душе, очищающейся от злого, себялюбивого, мелкого. На черном торжестве возмездия он будет слу-

жить не своей обиде, а всем униженным, затравленным, битым, замученным словотворцам.

Он оттолкнул какого-то малого в кожаном фартуке, остро воняющем рыбой, отстранил тощего мастерового, растопырил локти, покрепче сжал трость и напористо устремился через запруженную народом площадь к плахе.

Удивляло обилие женщин. Попадались среди них и совсем юные, с кожей нежной, как персик, с влажными телячьими глазами, светившимися испугом и радостным ожиданием. Иные небось тайком от старших сюда продрали. Бедна новизной и развлечениями русская жизнь, даже в столице. А если б эту жадность, этот интерес, горящий в молодых глупых глазах, на доброе и разумное обратить?

— Ведут!.. — стоном прокатилось над площадью. Деревянная подвысь заполнилась людьми: гвардейцы, солдаты, палач в красной рубахе, его подручные, приказные. И все это множество роилось вокруг старого человека со связанными за спиной руками. ТрEDIAKовский протер глаза, несколько раз моргнул, как от пыли. Нельзя было поверить, что этот худой, согбенный старик в грязном, расстегнутом на впалой груди кафтане и есть ВоЛЫнский. Ему было чуть за пятьдесят, но сейчас, без парика, седой, с маленькой, острой головой, с небритым виском и заваленным ртом — зубы ему выбили, — он выглядел на все семьдесят. Да, крепко поработали над ним пыточных дел умельцы! Поразило ТрEDIAKовского, что в темных и по-прежнему пытливых глазах ВоЛЫнского не было одури от испытанных мук, ни ожесточения, ни злобы, а какое-то странное, мягкое любопытство. И, притянутый этим светом, Василий Кириллович рванулся вперед, разъяв сцеп плотно сбитых тел, и оказался у самого эшафота..

12

ВоЛЫнский прошел через сущий ад, и, если б его даже помилovali, это лишь ненадолго оттянуло бы мучительный

конец. Он был весь размолот внутри и не мог жить. Он с самого начала знал, что обречен, и ни признание истинной или придуманной вины, ни чистосердечное или куда более убедительное фальшивое раскаяние, ни самое низкое предательство, ни даже заступничество государыни не могли спасти его от смерти. Бирону нужна была такая вот, устрашающая публичная казнь, чтобы парализовать всех недовольных перед объявлением его регентом. Вольнский сразу смирился со своей участью и лишь молил в душе, чтобы скорее пришел конец. Когда же услышал приговор, то испытал не ужас, а великое облегчение. И с этим пошел на казнь. В его искаленном теле оставалось достаточно жизни, чтобы обрадоваться свежему воздуху и свету после смрада и темени подземелья. Оказывается, дышать полной грудью и видеть солнце — уже счастье. Поздно же ему это открылось!.. Мешала лишь толпа, и Вольнский пожалел, что его не прикончили тихо, в каком-нибудь укромном месте, где не было бы никого, кроме исполнителей приговора. Но сетовать на это бессмысленно, и он спокойно, даже благожелательно рассматривал человечью несметь, удивляясь, что ни на одном лице, мужском или женском, молодом или старом, не было и тени сострадания. А ведь он не сделал ничего плохого этим людям, не соприкасался с ними, за что же им его ненавидеть? Впрочем, ненависти, может, и нету, а лишь равнодушие с примесью злорадства: хвалился, мол, хвалился — да под стол и завалился! А разве мог он чего другого ждать? Конечно, нет! Между ним и этими слетевшимися на казнь, как воронье на падаль, петербургскими людишками зияла пропасть.

Если же глянуть поверх голов дальше, за цепь солдат, где грудилась в шелку, атласе и бархате вся курляндская шайка с прихлебателями — сам-то, поди, в карете схоронился! — то даже оторопь берет, что твой исход кому-то столь радостен. Странно подумать, что был ты ребенком, и матушка на коленях тебя качала, называла «золотцем» и «теленочком», и не было для нее ничего дороже на свете. Сейчас, матушка, вашего теленочка палач заживо разделает.

Остальные придворные держались сзади. Неохота им было с осужденным глазами встречаться. Еще пожалеет шляхетство, что отдало его на растерзание. Впрочем, нет у него теперь ни в чем уверенности. Не уловишь разумом кривых и темных путей истории. Лучше не смотреть туда, ну их всех к богу!..

Обегая взглядом толпу, Волинский вдруг остутился о знакомые черты: высокий лоб, мясистые щеки, бородавка, вытаращенные голубые глаза. Надо же, и этот притащился! Ну что ж, распотешь свою душеньку, битый стихоплет, надутая пустышка. Волинский отвернулся, но что-то заставило его еще раз оглянуться на ТрEDIAKовского. Господи!.. Из мертвячьей коловерти, бездушной несмети на него смотрело человеческое лицо, исполненное жалости и сострадания. Бедный дурачок, даже ненавидеть по-настоящему не умеет. И он улыбнулся ТрEDIAKовскому.

Казалось, тот начал что-то быстро, быстро жевать, его челюсти, рот, заушины, даже скулы и брови ходуном заходили. Да он плачет... Добрый человек! — осенило Волинского, и сердце его засочилось. Он был близок к тому, чтобы понять на своем исходе что-то очень большое и важное, к чему никогда не подступала его жестокая и целенаправленная душа. Но ему не дали. По знаку палача подручные накинулись на него сзади и стали сдирать кафтан, причиняя мучительную лишнюю боль. Он не увидел, как рванулся к плахе ТрEDIAKовский, что-то крича перекошенным ртом, как испуганно раздалась толпа и кто-то схватил поэта, заломил ему руки и потащил прочь...



Эти страшные минуты остались смутными в памяти ТрEDIAKовского. Он хорошо помнил появление Волинского на плахе, согбенного, старого, с маленькой острой головой, и как мгновенно обесценилась в его душе вера в право возмездия. Был несчастный, истерзанный, страдающий че-

ловец, остальное не стоило и полушки. Он всем нутром понимал Вольтерского. Если уж он, черная кость, многожды колоченный бурсак, так переживал свое унижение, то каково этому гордому, властному, привыкшему повелевать человеку? Страшнее побоев и пыток было для Вольтерского злобное торжество врагов, презрение тех, кто еще вчера перед ним пресмыкался. Но, сострадая ему, истерзанному, ему, униженному, ему, поверженному, Василий Кириллович думал о Вольтерском как о живом. Лишь когда палачи опрокинули Вольтерского, в сердце и в мозг ударило: да ведь его убьют!..

И вот тут память изменила Тредиаковскому. Кажется, он закричал, но что? — он не помнил, кажется, рванулся вперед — зачем? — он не знал. В его поступке не было ни разума, ни смысла, а поплатиться он мог свободой, даже жизнью, но ни о чем этом не думал смешной поэт, никем не признанный, не угаданный Предтеча, в чьем безотчетном порыве родился жест великой русской литературы — к страждущему...

14

Тредиаковский обрел память вместе со страхом, что его схватили и тащат в Тайную канцелярию. Впрочем, страх почти тут же сменился равнодушием — будь что будет, а равнодушие — раздражением, что опять над ним куражится чужая воля. Он уперся, забарахтался и вырвался из цепких рук.

Перед ним был молодой человек лет двадцати пяти с тонким и мужественным лицом. Резкий, прямой нос, загорелые скулы, темный пушок над красивым, чуть улыбающимся ртом. Даже при великом испуге его нельзя было считать за ушаковского приспешника, а Василий Кириллович устал бояться.

— Кто вы такой? — сказал он сердито. — Я вас не знаю.

— Но я знаю того, кто подарил России «Остров любви», — с улыбкой сказал молодой человек.

— Что вам от меня надо? — все так же сердито спросил ТрEDIAKовский.

— Ничего. Просто мне не хотелось, чтобы вас забрали. «Слово и дело», любезный Василий Кириллович, говорится и по меньшему поводу, чем сочувствие государственному преступнику.

— Да вам-то какая забота?

— «Начну на флейте стихи печальны, зря на Россию чрез страны дальны!» — тихим, музыкальным голосом прочел молодой человек. — Я много лет был в обучении на чужбине и все твердил ваши прекрасные строки.

— Ломоносов! — вскричал ТрEDIAKовский, пораженный внезапной догадкой. Молодой человек рассмеялся.

— Я никому носов не ломал. Даже в трактире. Не любитель.

— Прости, юноша, — смущенно сказал Василий Кириллович. — Я принял тебя за одного студюоза, проходящего обучение горному делу в Фрейберге и зело поэзии приверженного.

— Я обучался мореходству в Амстердаме, — сказал молодой человек. — Стихов же слагать не умею, хотя помню множество, и не только русских. Но, долго от родины отлученный, я в русских стихах слаще всего в тоске моей утешался. «Россия мати, свет мой безмерный!» Как же скучаешь там по родине, как молишься на нее, а вернешься — и об одном только думаешь: скорее бы ноги унесть.

— Не навестишь ли ты меня, благородный юноша? — спросил растроганный ТрEDIAKовский. Тот покачал головой.

— Благодарствую. Мне надо еще родителей проведать, а завтра уже в плавание. «Канат рвется, якорь бьется, знать, кораблик понесется!»

— Милый юноша, — чуть не со слезами сказал ТрEDIAKовский, — дай бог тебе во всем удачи. Кабы ты только

знал, сколь утешна моему сердцу встреча с тобой. Вижу, незря все муки и бдения, отзывается в чьих-то душах мое слово. Если случится быть в Париже, поклонись от меня сему граду:

Красное место! Драгой берег Сенский
Тебя не лучше поля Элисейски...
И молодой человек подхватил:
Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимня нет, ни летнего зноя...

и, низко поклонившись Тредиаковскому, скрылся в проулке.

Василию Кирилловичу стало одиноко и грустно. В памяти всплыла улыбка Волынского, которому не с кем было обменяться прощальным взглядом перед смертью. Как же пустынно человеку в мире! Лишь поэзия разрывает тенета одиночества. Стихи подарили ему дружбу этого юноши-морехода. Ах, пока есть на свете нежный хорей и притягательный, неуловимый ямб, стоит жить! И Тредиаковский бодро зашагал к своему дому.

Волшебная сказка и сказочники

Когда сейчас взрослые люди рассказывают сказки маленьким детям, они чаще всего ломаются, играют в дурачков, ибо не верят в то, что говорят. А моя бабушка верила и в Кошеля Бессмертного, и в Бабу Ягу, и в лешего, и в говорящую мертвую лошадиную голову. Я понимал, что она верит, замирал от ужаса, и в ужасе этом была поэзия сопричастности инобытию, вечной тайне. Сейчас дети редко-редко услышат из уст взрослого настоящую сказку. В лучшем случае их попотчуют неким суррогатом из обрывков далеких, забытых снов и современных «мультишек». Настоящую сказку можно получить только в книге.

Спокон веков сказочник рисуется в двух образах: славного белобородого дедушки с хитроватым прищуром в бирюзовых глазах и доброй, уютной бабушки с очками на носу и вязаньем в руках (бессмертная красавица Шахразада, чарующая бесчисленные поколения читателей дивной вязью своих небывальщин, все-таки не стала воплощением образа сказительницы).

Традиционное, освященное веками представление о тех, кто рассказывает сказки, переносится и на писателей сказочников. Доброта и благость, необыкновенная любовь к детям, тихая мудрость и некоторая отрешенность от земных дел кажутся их неизменными чертами. Таким нарисовал Ганса Христиана Андерсена другой необыкновенно добрый человек — Константин Паустовский. Может быть, в отношении Андерсена это и справедливо, хотя после недавней поездки в Данию автор «Русалочки» и «Калош счастья» предстал передо мной, в восприятии своих соотече-

ственников, в ином свете — менее благостным, развинченно романтическим и анемичным, более живым, острым и заземленным.

И подавно не похож на доброго сказочника нервный, издерганный, саркастический, исполненный мистического ужаса перед непостижимостью мироздания и отвращения к обывательской пошлости Эрнст Теодор Амадей Гофман, умевший до экстаза восторгаться прекрасным, сочувствовать гонимым и непонятым и яростно ненавидеть самодовольных хозяев жизни, веривший в волшебство и магию и с редкой пронизательностью видевший всю подноготную земных дел. Он и сам мучительно ощущал свою раздвоенность, в нем жило две души, два разных человека, поэтому тема двойника проходит сквозь все творчество Гофмана. Большую часть взрослой жизни, за малыми просветами, когда существование его обретало цельность, Гофман жил в двух образах: исполнительного судейского чиновника, достигшего довольно высоких постов (он до скрежета зубовного ненавидел суд и судопроизводство), и необузданного романтика, чьи поэтические видения воплощались в литературе и музыке, а сарказм — в графике. Он поклонялся Моцарту, к имени, данному ему при крещении, он прибавил нежное имя своего кумира и стал Эрнст Теодор Амадей. Вдохновляемый творцом «Волшебной флейты», он и сам писал светлую, гармоничную музыку, озаренную причудливо нежной фантазией. Но в графике он сам дьявол, его карикатуры на окружающих мещан без промаха разили цель, не щадя никого; от убийственной насмешки не защищали ни важный чин, ни большая звезда на груди. Порой ему приходилось горько расплачиваться за эти злые шаржи. В рисунках Гофмана не было ничего от той мечтательной души, что напела оперу о речной деве Ундине.

В своих романах, новеллах, сказках Гофман сочетал оба начала: волшебное соседствовало с шаржем, нежные видения исчезали в раскатах сатанинского хохота. Нет, Гофмана никак не назовешь добряком. Его перо с изящной лег-

костью набрасывало эльфические образы детей и тут же, почти слышимо закрипев, вычерчивало портрет филистера, судейского крючка, чиновника со сморщенной душой, блюдолиза придворного и самого властелина — надутого болвана. И вновь без малейших усилий он уносится в мир причудливой фантазии, таинственных и страшных видений.

Он работал по ночам и нередко, напуганный собственными вымыслами, будил жену и просил посидеть рядом, пока он пишет.

Как естественно и просто под пером Гофмана волшебство вливалось в быт. Почтенная канонисса фон Розеншён, благодетельница приюта для благородных девиц, оказывается феей цветов Розабельверде из Джинистана в сказке «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». А как идиллически начинается прелестная сказка «Щелкунчик и мышиный король»: рождество в нарядном, богатом доме, елка, подарки, возбужденные счастливые дети, довольные своей щедростью родители, чудесные елочные игрушки, сладкие марципаны.

И до чего же просто рождественский праздник в почтенном немецком семействе оборачивается невероятной чертовщиной. Гофман верил, что все люди, вещи и явления имеют два лица: одно — дневное, обращенное к повседневности, другое — ночное, страшное, скрывающее мрачную тайну: сдвини покров с обывательского благообразия — и обнаружатся сатанинские страсти, фантасмагория, бред. Гофман боялся этого таинственного мира и вместе с тем презирал людей, не способных услышать потусторонние голоса, поверить в чудо, волшебство. В семье советника медицины Штальбаума он выделил маленькую Мари, потому что в ней нет ни туповатого практицизма ее брата Фрица, ни здравомыслия глубоко буржуазных родителей; поэзия коснулась маленького существа своим крылом, и потому из всей семьи лишь она допущена в страшную и пленительную сказку, которая разыгрывается под мирными сводами бюргерского дома. Ей дано увидеть

скрытую суть окружающих, узнать, что старший советник суда, часовщик-любитель, изобретатель игрушек, крестный Дроссельмайер — могущественный волшебник и маг, а деревянный щелкунчик — его заколдованный племянник, что игрушки живут по ночам весьма бурной жизнью, а под полом обитает семиголовый мышиный король. Гофман так поверил маленькой Мари, что в конце сказки подарил ей волшебное царство, где «всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки». Но он далеко не всегда так щедр к своим героям. И нередко, проведя их сквозь чудесные приключения, награждает всего-навсего житейским благополучием, вполне устраивающим даже тех, кто позволил на миг увлечь себя волшебному порыву. Гофман не заблуждался насчет душевных богатств своих здравомыслящих соотечественников. Отсюда ироничность многих его концовок.

«Щелкунчик», несомненно, самая добрая сказка Гофмана. Но почему писатель, особенно же писатель с судьбой Гофмана, должен быть добрым? Гофман жил в бурное и трудное время, хотя иные бури века умудрился пропустить мимо себя. Так, юношей он «не заметил» Французской революции, да и о Наполеоне узнал толком лишь потому, что нашествие французских войск сорвало его контракт с Лейпцигским оперным театром. Он жил «внутри себя», а не во внешнем мире. Куда сильнее общественных бурь, терзавших Европу, были для него личные потрясения: в раннем детстве — смерть отца, оставившего его на руках у беспомощной, болезненной и равнодушной матери, затем смерть матери и докучное опекуновство дяди, невыносимого педанта, с приходом юности — мучительная, безнадежная любовь к замужней женщине... Когда жизнь наконец наладилась — он женился по любви, получил хорошее место в Познани, — шарж на всемогущего генерала разом сломал это хрупкое благополучие, карикатуриста сослали в богом забытый Плоцк.

И не раз в дальнейшем язвительный карандаш и острое, насмешливое перо будут причинять Гофману немало бед. Самые же губительные поступки он совершил на исходе жизни, смело восстав против насилий. Чинимых властями над совестью судей, а в сказке «Повелитель блох» высмеял председателя комиссии по расследованию политических преступлений. В этом крайнем индивидуалисте, аполитичном, чуждом общественным страстям своего времени, обнаружилось неожиданное социальное чувство. Ему грозила страшная расправа, но неизлечимая болезнь опередила человеческую кару. По злой иронии судьбы к этому времени Гофман, изведавший жестокую нужду, холод всеобщего непризнания, потерю единственной дочери, стал знаменит и почти богат. Но он уже ничего не хотел, кроме клочка зеленого поля, кусочка синего неба и глотка свежего воздуха. И в этом ему было отказано. Парализованный, прикованный к кровати, он скончался сорока семи лет от роду.

Мало соответствуют благостному образу добрых сказочников знаменитые братья Гримм. Наверное, я буду не оригинален, если признаюсь, что в детстве предпочитал толстый растрепанный том гриммовских сказок пленительным грезам великого Андерсена. Очевидно, чудесное нужно нам в детстве в чистом виде, без поэтических прикрас. Конечно, нельзя сказать, что записанные братьями Гримм народные немецкие сказки вовсе лишены поэзии. Но это как ушедший под землю ручей — он есть, он обнаруживает себя россыпью незабудок, осоковой растительностью, дыханием почвы, примающей под ногами, и вместе с тем он остается невидим. А ручей Ганса Христиана бурлит, шумит, играет, преломляет свет над собой и отвлекает тебя от леса, таящего столько опасных чудес. Андерсен творил, используя фольклорные мотивы, братья Гримм лишь собирали и записывали народные сказки.

Это не механическая работа: приходилось сличать разные записи, извлекать первоначальное звучание из-

под напластований позднейших времен, чтобы народная фантазия явилась в чистом виде, не искаженном стилизацией; то был труд ученых, исследователей, конечно, с божьей искрой в душе, иначе бы все засохло, но все же не литературное творчество.

Да они и были крупными учеными-филологами, профессорами и академиками Прусской академии. Знаменитые люди, которым даровано прижизненное долголетие, переходят в память потомков лишь в старческом образе. На сохранившихся изображениях братья Grimm важны и суровы, Якоб — до угрюмости, и трудно поверить, будто ими записаны такие прелестные шутки, как «Бременские музыканты» или «Семеро храбрецов» — сколько тут очаровательной глупости и никаких назиданий! А что если Гриммы, братья-погодки, трогательно любившие друг друга и прожившие совпадающую во всем жизнь, кроме одного: Вильгельм ушел на четыре года раньше брата, вовсе не были скучными и надутыми учеными мужами, а разбитными ребятами, знавшими толк в крепкой шутке, остром словце и веселом розыгрыше?

Это — предположение, но несомненно, что в тяжеловатых немецких ученых, облаченных в темные скюртуки, было немало от мечтательного юноши, верившего в Ундины и грезившего о неземной любви с прохладной девой вод, а еще больше от того задорного мальчишки, который отдал бы все на свете, чтобы пошататься по дорогам с веселыми бременскими музыкантами.

Они родились в захолустном местечке Ханау в семье чиновника, обучались юриспруденции в Марбурге. Но души юных правоведов давно пленились народной немецкой поэзией, и они принялись собирать средневековые тексты, песни, легенды о короле хитрецов Рейнеке Лисе, бедном Генрихе и т.п. То не было простым коллекционированием — Гриммы исследовали творчество миннезингеров (рыцарей-певцов), майстерзингеров (ремесленников певцов), народную и куртуазную поэзию.

Будучи профессорами Геттингенского университета, они собрали и выпустили знаменитые «Детские и семейные сказки», ставшие всемирным чтением и прославившие их куда больше, нежели все многомудрые труды. А ведь Гриммы — основоположники «мифологической школы» в филологии. Крупнейшие европейские исследователи, в том числе наш Буслаев и знаменитый сказочник Афанасьев, примыкали к этой школе. Но бессмертные братьям Гримм подарили все-таки не их коллеги, соратники, ученики и последователи, а шумные, крикливые, невоспитанные мальчишки и девчонки, самые искренние и лучшие читатели на свете, которые и читать-то толком не умеют, зато умеют так замирать и обмирать, так смеяться и плакать над книгой, так радоваться, страдать, сопереживать героям, как не умеют никакие другие читатели. Дети щедро отблагодарили братьев-сказочников, построив им нерукотворный и вечный памятник в своих душах.

Сказки братьев Гримм, славящие находчивость и смелость, высмеивающие глупость, лень, трусость и жадность, замечательны по языку (конечно, в русском переводе это так не ощущается). Братьям Гримм удалось вернуть старым сказкам, заболтанным многими поколениями и сельских, и городских людей, чудесный, гибкий и чистый народный язык.

Я повел свой разговор о сказочниках не по порядку. Справедливости ради следовало начать с Шарля Перро, ибо он возродил жанр волшебной сказки в Европе. Свои знаменитые сказки он опубликовал раньше Гриммов, Гофмана и Андерсена — в конце XVII века. Но дело не только в хронологии — Перро открыл сказке двери в большую литературу, ввел Золушку во дворец. И задолго до Перро выходили книги сказок, но никто серьезно к этому жанру не относился. Детское развлечение — ни один взрослый уважающий себя человек не унизился бы до чтения сказок. Но вот пришел чародей, взмахнул волшебной палочкой, и образованные, знатные, изысканные, пресыщенные люди с жадностью набросились

на «детское» чтение. Подобно принцу, оживившему поцелуем спящую красавицу, а с ней и все погруженное в сон царство, вдохнул Перро жизнь и свежесть в спящее царство сказки.

Крупный, признанный писатель, член Французской академии, он знал цену своим сказкам, это вычитывается между строк в традиционном галантном посвящении «Мадемуазель» и в авторском предисловии к первому изданию. Но куда меньше доверял он способности светского общества к художественному восприятию и выпустил сказки под именем своего восемнадцатилетнего сына П. Дарманкура. Старый академик, автор многих серьезных книг, вроде четырехтомного труда «Параллель между древними и новыми», маститый поэт боялся рисковать своим литературным положением и до конца дней отрицал, что им написаны «Ослиная кожа», «Рике с хохолком», «Синяя борода» и другие чудесные небывальщины. Одно дело — взять на себя душевный труд и привить дикий черенок простонародной поэзии к стволу «высокой» литературы, другое — отвечать за последствия дерзкого поступка.

И снова, как в случае с братьями Гримм, только более жестоко судьба посмеялась над писателем: сказки, в авторстве которых он страшился признаться, не только имели ошеломляющий успех у современников, породив целую подражательную литературу, но и сохранили для поколений имя Перро. А кто помнит сейчас его тяжеловесные труды и мастеровито-холодную поэзию, скованную канонами классицизма?

Братья Гримм обращались зачастую к тем же сюжетам, что и Перро. Они стремились тщательно сохранить содержание, строй и лад сказки и те словесные одежды, в которые ее облек народ. Перро таких целей не ставил: он брал ходячий сказочный сюжет не из особого пристрастия к фольклору, а потому что видел заложенные там художественные возможности и расцветивал готовую канву своей фантазией, своим юмором, снабжал моральным нравоче-

нием в стихах и создавал нечто весьма своеобразное. Перро обладал безукоризненным вкусом и во всем знал меру; оставаясь верным народной основе сказки и честной простоте языка, он избежал жеманства и литературщины своих последователей. Он всегда оставался мил, улыбочиво-простоушен, в нравоучениях ироничен; в нем не было ни педагогического рационализма, ни самолюбивого скепсиса, так испортивших сказку в последующий век.

Перро был, как мы говорим теперь, новатором, он ввел новый материал в литературу, его самобытная и остроумная манера изложения сближала волшебство с жизнью, придавая чудесам достоверность и возводя обыденное в ранг чудесного, а его последователи «пошли по пути приспособления сказки к требованиям салонного искусства или детской педагогики» (Н.П.Андреев). Сказка как литературный жанр надолго пришла в упадок. Новый подъем сказки произошел не во Франции, лишь растерявшей то, что нашел Перро, а в Германии усилиями трудолюбивых братьев Гримм, гениального Гофмана и высокоодаренного Гауфа, чей быстрый расцвет оборвала ранняя смерть.

Всего двадцать пять лет было отпущено писателю-романтику Вильгельму Гауфу, но этого мотылькового срока ему оказалось достаточно, чтобы обрести жизнь вечную. Он доказал справедливость вещей слов Леонардо да Винчи: «Долгая жизнь — это хорошая жизнь». Как легко многие из нас разбазаривают золото дней, не считают даром потраченных месяцев, канувших в пустоту лет! А спохватываются — ах жизнь и прожита, и ничего не сделано, и все, что откладывалось на завтра, никогда не сбудется. А молодой человек Гауф, учитель в частных домах, ничего не откладывал, работал денно и нощно и оставил после себя два романа, в которых осмеял религиозное ханжество и мещанское лицемерие, трехтомную историческую эпопею «Лихтенштейн» о крестьянской войне в Германии, множество лирических стихотворений и, наконец, сказки, которыми зачитывается весь мир. Такие его шедевры,

как «Маленький Мук», «Калиф-аист», «Карлик Нос», навеянные восточными сказками, многожды переделывались для театра, а в последнее время и для кино.

Гауф любил столь популярный в фольклорном творчестве, идущий из глубокой древности мотив превращения: стали аистами калиф и его визирь, превратился в носатого уродца карлика Носа пригожий Якоб; иногда превращение бывает не внешним, а внутренним: честный угольщик Петер стал холодным негодяем, потому что продал душу злой нежити Михелю-Голландцу. Но, пройдя сквозь жестокие испытания, герои Гауфа обретают свое подлинное лицо.

В манере Гауфа замечательно то полное доверие, с каким он сам относится ко всем фантастическим происшествиям, выпадающим на долю его героев. Тут нет и тени иронии, никакого заигрывания с читателем, эдакого подмигивания: мол, мы-то с вами знаем, что так не бывает, но давайте вместе подумаемся. Нет, Гауф всегда серьезен, до конца искренен, исполнен достоинства и глубокого сочувствия к беднякам, утратившим свою суть. В сказках Гауфа чувствуешь себя надежно, как в родном доме, хотя порой бывает и очень страшно, но ведь и дома может быть страшно, когда ночь, и ты не спишь, и лунный свет проникает в окно, и скрипят половицы под чьими-то тяжелыми шагами, тянет каким-то странным холодом. И все-таки ты сознаешь замирающим сердцем, что под охраной домашних духов ничего плохого с тобой не случится. Так и у Гауфа. Он, несомненно, самый добрый из всех сказочников...

Гофман – величайший писатель из всех, обращавшихся к жанру сказки. И все же лучшим сказочником единодушно считается датчанин Ганс Христиан Андерсен. Его сказки больше говорят человеческому сердцу, нежели причудливые и жуткие до болезненности видения немецкого романтика. Андерсен принадлежал к тому же литературному направлению, его первые романы о судьбе художника в мире корысти были пронизаны традиционным романтическим духом.

Эти романы не остались незамеченными, но большой славы автору не принесли. В безволии бледноватых героев угадывалось безволие не нашедшего себя молодого писателя. Свое настоящее призвание Андерсен открыл в сказке.

Сын бедного сапожника, увидевший свет в маленьком домике под черепичной крышей в городе Оденсе, что на острове Фюн, рано почувствовал влечение, весьма далекое от той скромной роли, которая предназначалась ему в жизни, — наследовать дело своего отца. Его мечтательную душу околдовал театр. Четырнадцатилетним подростком отправился Ганс Христиан в Копенгаген, чтобы стать актером. На сцену он не попал, но его наивные драматургические опыты привлекли внимание дирекции. Да будут благословенны эти проникательные люди, разглядевшие следы таланта в ребяческой пачкотне! Андерсен получил стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе. Еще в студенческие годы он пишет смешную и щедрую на выдумки книгу «Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса Аматаера». Здесь легко обнаружить те зернышки, из которых впоследствии произрастут золотые колосья его сказок. И сейчас юного автора влечет «даль свободного романа». Что из этого вышло, мы уже говорили. Словно подтверждая известные слова Тургенева, произнесенные много позже, что до тридцати лет нельзя написать хорошей прозы, Андерсен лишь — и сразу — за порогом тридцати позволяет себе стать тем, кем он был на самом деле. Словно из рога изобилия посыпались «Огниво», «Волшебный холм», «Принцесса на горошине», «Русалочка» и другие шедевры, составившие три тома «Сказок, рассказанных для детей».

Андерсен всегда любил и знал народную сказку, на этой доброй почве расцвел его большой талант, и все же нельзя согласиться с теми, кто сводит творчество Андерсена лишь к фольклорной традиции, равно сомнительно зачисление всей его «малой» прозы по департаменту сказки. Неоспорима связь с фольклором «Новых сказок», но в дальнейшем эта связь

резко ослабляется без ущерба для художественных целей писателя, а там и вовсе становится неосязаемой. Он расстаётся с волшебниками, феями, королевами воображаемых стран, нежитью лесов и вод, его притягивает окружающее, люди из плоти и крови с их тревогами, радостями, бедами, с их достоинствами и несовершенствами, с их трудной судьбой. Он так говорил об этом: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Долгое время удивительно впору был ему яркий костюм сказочника, но когда он почувствовал, что шнурок жмет в проймах, пуговицы не застегиваются, а штаны предательски трещат при наклоне, то понял, что вырос из этой одежды, и спокойно повесил ее в шкаф. Он расстался со сказочной бутафорией и неизменно счастливыми концовками. Впрочем, этому золотому правилу детской сказки он изменил еще в «Русалочке». Тем самым он перестал адресоваться напрямую к детям, не исключая их, разумеется, из числа своих читателей. Он давно хотел говорить с печальными взрослыми людьми. Андерсен писал прозаические басни, аллегории, короткие новеллы, просто рассказы, в которых порой и сохранялся сказочный тон, но ничего другого от сказки не было. Да ведь и называл он свои поздние писания не сказками, а «историями».

Нас же интересует Андерсен сказочник. Он довел до виртуозности то умение, которое мы находим у Гофмана: сочетать два плана — волшебный и житейский. В сказочный сюжет «Русалочки» он непринужденно вводит бытовые подробности, порой юмористические — почетные устрицы на хвосте знатной водоплавающей тетушки русалки. Поэтический строй этой песни любви ничуть не снижается, но для читателя вымысел обретает черты реальности, а неземная любовь русалочки к принцу — терпкий вкус родственной человеческой муки. И наоборот, он умеет в тусклой обыденности окружающих нас предметов домашнего обихода открыть чудесное, извлечь поэтический смысл из какой-нибудь штопальной иглы или старого крахмального воротничка. Чаще всего Андерсен пользуется этим при-

емом для целей сатирических: очеловечивая неодушевленные предметы, он высмеивает и осуждает не их безвинную суть, а людские пороки — чванство, корысть, суетность. Но бывает, что тот же прием используется для возвеличивания наиболее ценимых им в человеке свойств — стойкости, мужества, верности, общественной полезности.

Мне думается, нет нужды насильственно привязывать Андерсена к волшебному дереву сказки. Как писатель и человек он рос, развивался, менялся, старел, опечаливался, утрачивал безграничную веру в способности нашего грешного мира к чудесному превращению в райский сад, стоит только его обитателям сильно этого захотеть. Природа человека оказалась куда более косной, нежели ему рисовалось в юности, и феи бессильны в тяжелом земном царстве. Над человеком надо много трудиться, «чтобы он стал тем, кто он есть», как замечательно сказал один французский мудрец. Для этого мало высмеивать людские заблуждения, нужно неустанно напоминать о вечности маленькому, жадному, рассеянному и глупому существу, слишком много о себе возомнившему. И Андерсен не устает это делать, его позднее творчество окрашено иронией, сарказмом, печалью и горечью, он вовсе не так добр и снисходителен, как в своих ранних сказках, когда сердце было полно веры и надежд. Но может быть, это и есть высшая доброта: говорить жестокую правду тем, кого любишь?

Но вернемся к доброму, улыбчивому Андерсену детских сказок. Ведь и тогда его нравственный кодекс был весьма суров. Он всегда строго спрашивал с человека. Очень редко Андерсен просто резвился, как в «Волшебном холме». Лишь изоциренный фанатик морали сможет отыскать назидание в прелестной и причудливейшей истории о том, как старый норвежский тролль с сыновьями-оболтусами гостевал у датского лесного царя. И хотя за троллями, лесовиками, водяными, мертвой лошадей и кладбищенской свиньей угадываются обычные люди с их вполне человеческими слабостями и ухватками, это ничего не меняет, ибо

никаких выводов тут при всем желании не сделаешь. Сказка вполне бесцельна и тем очаровательна. Это самая любимая детьми сказка, наверное, в силу того, что она ровным счетом ничему не учит, но содержит какой-то нужный для растущего организма витамин. Я и сейчас радуюсь игре таланта, которым налита всклень эта сказка, но с некоторой горечью сознаю, что в детстве моя радость была ярче, упоительней и глубже.

Но и прямой, ясный вывод из рассказанного — мораль — ничуть не вредит сказке, если не пристегивается к ней, а естественно вытекает из всего ее поэтического строя. Чарующий «Соловей», едва ли не вершина творчества Андерсена, откровенно нравоучителен. Прослышал китайский император, что в саду у него поет дивная птица — соловей, и велел доставить во дворец. Пение соловья настолько очаровало императора и его дворец, что все простили птичке ее невзрачную серенькую наружность. Но тут император Японии прислал искусственного соловья, певшего всего одну песню, зато усыпанного драгоценными камнями. Настоящему соловью дали отставку, а всеобщей любимицей стала блестящая заводная игрушка. Не беда, что в мертвом горле звучит одна и та же песня, кому нужно при дворе истинное искусство? Ан нужно! Император заболел, явилась смерть и села ему на грудь. Лишенный атрибутов власти (смерть забрала его корону и скипетр), всеми покинутый, умирающий император тщетно просил механическую птицу скрасить ему уход. Но та не умела петь сама, без завода. По счастью, прилетел настоящий соловей и силой своего дивного голоса прогнал смерть, вернул императору корону и скипетр. Спасительно и животворно лишь настоящее искусство. Мы это узнали во время войны, когда в годину тяжелых испытаний запели настоящие соловьи, а механических певцов не стало слышно. Тема животворной силы истинного искусства, противостоящего мертвенной бесцельности подделок, волновала многих писателей, но никто не разрешил ее так блистательно, как Ганс Андерсен, а глав-

ное, такими скупыми средствами — на пространстве нескольких страничек. Это — литературное чудо, и таких чудес немало у датского кудесника...

...Велика роль сказки, дающей на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира, в росте человеческой души. Мир весь — тайна, за каждой запертой калиткой скрывается дивное царство, и нет предела возможностям человека. И есть Баба Яга и Кощей Бессмертный, просто в жизни они выглядят иначе, чем в сказке, но тот, кто узнал их в раннем детстве, всегда распознает, под любым обличьем и одолеет. И надо любить животных, тогда в нужную минуту под рукой окажется серый волк и мудрый ворон, и добрый заяц, и верный пес с глазами, как плашки, и не надо верить, что смерть — это навсегда.

ПУШКИН НА ЮГЕ

Всего тридцать семь лет длилась земная жизнь Пушкина. Данте считал, что человек в этом возрасте прошел лишь половину предначертанного смертным пути. Но когда пытаешься представить себе все, что успел Пушкин за этот недолгий срок: его стихи и прозу, научные изыскания, журнальную деятельность, путешествия, дружбы и распри, дуэли и женщин, которых он любил, — то кажется, что Пушкин прожил две жизни.

Впервые я был потрясен насыщенностью и энергией жизни Пушкина, когда съездил в Болдино и воочию представил себе то, о чем знал по книгам. Незабвенная болдинская осень стала синонимом вдохновения: Пушкин создал здесь «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина», дивную лирику и «Домик в Коломне», последние главы «Евгения Онегина», и при этом его хватало на сильную внешнюю жизнь с устройством дел по имению, со скачкой по окрестным просторам, подарившим ему пейзаж «Дубровского», с золотом человеческого общения, с любовью к прекрасной девушке Февронье, с обширной перепиской, исполненной и огня и юмора, с шальными наскоками на холерные кордоны.

Но и растянутая во времени южная одиссея Пушкина тоже удивительна по наполненности, по мощной, безостанной игре жизненных и творческих сил. Сколько эти четыре года вместили в себя поэзии, любви, разъездов, встреч, дружб, острейших столкновений, рискованных поступков, за которые можно было поплатиться свободой, будущим, самой жизнью. Его вынужденное путешествие на юг было следствием монаршей немилости.

сти, но уже в положении ссыльного он сумел навлечь на себя мстительный гнев одного из самых могущественных вельмож, наместника Воронцова, раздражение и ненависть разных мелких, но опасных людишек. А вступление в тайное масонское общество, дружба с заговорщиками, безрассудно смелые любовные истории, дуэли, ядовитые эпиграммы, от которых его не отучила и ссылка. Невероятно пестрая, сумасшедшая жизнь, и при этом творчество — не судорожное, не взхлеб, а спокойное, с глубоко дышащей грудью. Задолго до того как Пушкин сформулировал свое поэтическое кредо: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво», — он ему уже следовал. Не случайно его путешествие в зрелость, а именно в этом смысле пушкинского юга, началось с великолепной элегии «Погасло дневное светило», чей лад печально раздумчив и величав. В эти четыре года уместился романтизм Пушкина, вспыхнув «Кавказским пленником» и отогрев «Цыганами».

Всякое человеческое «приключение», в том широком смысле, который вкладывал в это слово великий австрийский романист Роберт Музиль, имеет свой исток. Надо различать причину и повод. Поводом послужили «предерзостные» стихи и эпиграммы. Донос Каразина, визит на квартиру Пушкина переодетого полицейского агента, вызов к генерал-губернатору Милорадовичу, гнев Александра, разжужжанный Аракчеевым, которого поэт пригвоздил к позорному столбу самой ядовитой из своих эпиграмм, заступничество Жуковского и Карамзина и — вместо Сибири — Бессарабия — все это общеизвестно. Но, как говорила Анна Ахматова, «побольше стихов, поменьше III отделения».

Мне думается, роль внешних обстоятельств в судьбе Пушкина часто преувеличивается. Можно подумать, чуть не вся жизнь Пушкина ушла на борьбу с жандармерией и Бенкендорфом. Это унижает Пушкина. Конечно, всякие бенкендорфы, дубельты, фокки мешали ему жить, мешали крепко. Пушкина, человека гордого и самолюбивого, без-

мерно раздражали слезка, перлюстрация писем, бесконечные придирки и запрещения, позже — официальный полицейский надзор, к чему хотели привлечь даже его отца... Впоследствии он с бешенством вспоминал о грубом произволе, разлучившем его со столицей, с друзьями, с милым севером, но совсем иное было, когда он получил приказ выехать в распоряжение главного попечителя колонистов Южного края, генерала Инзова. Стихи зеркально отражают состояние духа Пушкина, и в них не найдется ни сетований, ни гневных филиппик в адрес властей, напротив, всегда подчеркивается добровольность его отъезда. И неважно, что отъезд был вынужденный, важно, каким его ощущал Пушкин.

Незадолго до ссылки Пушкин вынашивал планы вступить в военную службу и уехать на Кавказ, после решает скрыться в отцовской деревне. Душен стал ему Петербург. Хотелось вырваться из засасывающей и расслабляющей суеты светского общества, в гушу которого он попал, едва выйдя из лица. Пушкин ничему не умел отдаваться вполсилы. Игра честолюбий, интриги, интрижки, пустые похождения, сплетни, хвастливая гусарщина иссушали душу. В послании к Чаадаеву он говорит:

Ты сердце знал мое во цвете юных дней,
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный..

Как много сказано в трех строчках! Тут и безмятежный расцвет в садах лица, и первые разочарования рано познанной взрослой жизни, и ранняя усталость необузданной натуры (Пушкин предваряет есенинское: «Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось»).

Но вот «страдалец утомленный» вырвался (не своей волей, но сейчас он не помнит об этом) из тенет света, страстей, давящих дворцового Петербурга:

И сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.

Это уже с юга. Так воспринимал свою ссылку Пушкин. Чувство освобождения владело его душой.

Искатель новых впечатлений.
Я вас бежал, отечески края...

Для Пушкина той поры не царский указ и не жандармская рука вытолкнули его из Петербурга, а он сам совершил побег из темницы, пусть без стен и решеток, но оттого не менее душевной. Вот каково было умонастроение Пушкина, когда он прибыл в Екатеринослав, где в ту пору находилась канцелярия Инзова.

Приехав сюда, он неосмотрительно искупался в холодном Днепре и схватил «жестокую горячку» — болезнь столь же загадочную, хотя и не столь безнадежную, как «неизлечимый недуг». Прибывший об эту пору в город легендарный герой войны 1812 года генерал Раевский с сыном Николаем, другом поэта, нашел Пушкина на Мандрыковке (одно название чего стоит!), в покосившейся хатенке, на деревянной скамье, в жалчайшем состоянии. При виде их Пушкин заплакал.

И началось «приключение»... Генералу Раевскому ничего не стоилохлопотать для Пушкина разрешение на поездку к целебным водам Кавказа, куда направлялся и он сам. Сохранились письма Раевского к дочери Екатерине, позволяющие проследить весь маршрут первого южного путешествия Пушкина: Мариуполь — Таганрог — Ростов-на-Дону — Аксай — Новочеркасск — Ставрополь — Георгиевск — Горячие воды, очевидно, нынешний Пятигорск. Оттуда, попользовав себя ваннами, двинулись на Железные воды, а затем и на Кислые. Поселки вокруг источников были еще деревянные и кибиточные, курортными городами они станут позже.

К сожалению, генерал Раевский, прилежно и подробно описывая в своих посланиях красоты пейзажа, облик городов и селений, через которые следовал со своими спутниками, приводя к месту интересные исторические справки,

скрупулезно сообщая о всех завтраках и обедах, ни словом не обмолвился о том, что возвело лечебный вояж в ранг легенды. О генерале Маркове, сенаторе Волконском и Карагеоргии упомянул, а коллежский секретарь, сочинитель Пушкин казался ему персоной не столь значительной. Справедливости ради скажем, что в дальнейшем отношении доброго генерала к Пушкину заметно изменилось.

Во всяком случае, Раевский непреднамеренно лишил нас ценных сведений. Наблюдательный, беспристрастный и умный свидетель дорогого стоит. О настроении Пушкина этих начальных юных дней можно судить по его собственным письмам и стихам. Но судить осторожно. Вопреки уверениям поэта, нельзя допустить, будто его впечатлительная душа не откликнулась ни Кавказу, ни позже — Крыму. В эпилоге к «Руслану и Людмиле», написанному на Горячих водах, он сетует: «Ищу напрасно впечатлений». Надо полагать, что все же не напрасно, если у подножия Машука возник ошеломивший современников «Кавказский пленник», а с ним — расцвел русский романтизм.

Позволю себе подвергнуть сомнению и крымские признания: «Воображение мое спало, хоть бы одно чувство, нет!» И еще: «Холодность моя посреди прелестей природы». Что же, Пушкин говорит неправду?.. Кошунственное предположение. Но судите сами: впоследствии он писал о своем пребывании в Крыму как о «счастливейших минутах жизни», вспоминал о «наслаждении» южной природой. Эти взаимоисключающие высказывания равно правдивы. В той странной апатии, в какой находился Пушкин в начале своего пребывания на юге, он мог и сам не сознавать, как сильно пронизали его все новые впечатления, как глубоко ранен он Кавказом и Крымом. И разве не из потрясенности морской пучиной возникло его великое стихотворение «Погасло дневное светило»?

М.Гершензон, один из самых сильных и самобытных умов отечественного литературоведения, считал, что Пушкин находился под гнетом неизжитой «северной» любви,

отсюда его кажущаяся бесчувственность. Эту «северную любовь» он расшифровывает как Марию Аркадьевну Голицыну, которой Пушкин посвятил в одесскую пору стихотворение «Давно об ней воспоминанье». Последние строчки «Я славой был обязан ей, // А может быть, и вдохновеньем» почти повторяют конец, другого, ранее написанного стихотворения «Он мною был любим, он мне одолжен был и песен и любви последним вдохновеньем». То же самое, но — от женщины. Выходит, и написанное на другой день (!) стихотворение «Мой друг, забыты мной следы минувших лет», как бы договаривающее предыдущее, тоже обращено к Марии Аркадьевне, за три дня до высылки Пушкина вышедшей замуж за князя Михаила Голицына.

Все пушкинисты согласны с тем, что Пушкин увез с собой на юг тайну большой и мучительной любви, но далеко не все сходятся на Марии Голицыной. Тут дело доходит до курьезов, в бессмертную страсть поэта зачислили даже Наталью Голицыну, для которой у него были прозвища: «трупедра» и «толпега». От стихов никуда не денешься, а они свидетельствуют в пользу Марии Голицыной. Что могло быть между юным поэтом и восемнадцатилетней девушкой, которую готовили к венцу? Да ведь ничто так не усиливает любви, как разлука. Марсель Пруст говорил, что настоящий рай — это потерянный рай. Вдали от любимой короткая влюбленность налилась грозной тяжестью единственной и неразделенной страсти.

Всякое приближение к юному и даже не очень юному существу женского пола не проходило для Пушкина бесследно. В Крыму он «перенес» влюбленность в дочерей Раевского. В гениальном «Редеет облаков летучая гряда» дева юная, ищущая печальную вечернюю звезду, очевидно, — Елена Раевская (старшая сестра Екатерина давно вышагнула за порог юности), значит, она была в мыслях Пушкина. Другое стихотворение «Увы, зачем она блистает // Минутной, нежной красотой» может относиться как к Елене, так и к Екатерине — в эту пору недужили обе. Но

мне думается, что образ обреченной на скорую смерть страдальицы не персонифицирован, а лишь навеен хрупкостью больных девушек. Трудно поверить, чтобы Пушкин заживо хоронил одну из дочерей Раевского, тем более что дело отнюдь не обстояло столь трагично: Екатерина вскоре вышла замуж за генерала Орлова, декабриста. Есть и другая версия, что тайной и бессмертной любовью Пушкина была Мария Раевская, ставшая позже женой декабриста Сергея Волконского и последовавшая за ним в Сибирь.

Пушкинисты стремятся углубить и главное — растянуть во времени мимолетные увлечения поэта. Для респектабельности, что ли, первого русского классика? — им, как нож острый, его легкомыслие. Но Пушкин нисколько не нуждается в защите, он прекрасен и чист даже в своем непостоянстве, ибо все искуплено поэзией.

Начало пушкинского путешествия значительно не его летучими влюбленностями в дочерей Раевского — подарим их всех мгновенной и вполне целомудренной прихоти поэта, — а «Кавказским пленником», в поэзии Пушкина мощно забил романтический ключ.

Еще до отъезда на юг у Пушкина проснулся интерес к Байрону, Раевские познакомили его с поэзией величайшего романтика. Зерно упало в подготовленную почву, и Пушкин создал поэму, в которой молодые побегι российского романтизма разом вымахали в цветущую рошу. Только гению дана власть такого преобразования.

Но романтизм Пушкина куда человечнее байроновского; там порваны связи с действительностью и возведен в грандиозную степень характер самого поэта, ратоборствующего не только с себе подобными, но с Богом, стихиями, Вселенной. Герой «Кавказского пленника» имеет много общего с Пушкиным, поэт даже лиру вручил ему, сделав собратом по музам, и он земной человек, а не преувеличенный романтический герой. Надо внимательно прочитать начало поэмы, и возникнет отчетливая картина душевной жизни самого Пушкина в начальную пору его ссылки. «От-

ступник света, друг природы», пленник полетел на Кавказ за «веселым призраком свободы». Но ведь таково было и ощущение самого Пушкина, о чем мы уже говорили, он словно забыл, что им распорядилась чужая воля, и вовсе не для того, чтобы одарить его свободой. Пленник также испытал любовь и разочарование и «для нежных чувств окаменел». Он унес в горы память об иссушившей сердце бурной жизни, слишком рано изведанных страстях, несчастной любви. Это постоянные мотивы пушкинской лирики того времени, но в яркой романтической упаковке.

Крым, куда Пушкин перебрался с Раевскими морем, подарил ему самую романтическую из его поэм — «Бахчисарайский фонтан», где он вновь, хотя и глухо, обращается к своей оставленной любви. Ее тень преследовала его, искала воплощения и стала образами Марии и Заремы.

«Бахчисарайский фонтан» навеян легендой, и все же поэма в известной мере может считаться исторической, ибо христианская девушка Мария, взятая в плен татарами во время набега на Польшу, — это дочь польского магната Мария Потоцкая. Хан Гирей тоже невыдуманное лицо, правда, во время походов на Польшу он еще не был ханом, а сераскиром ногайских орд. Раскованность в обращении с историческим материалом, поэтическое своеволие Пушкина — пример того, как следует писать о прошлом. Надо быть верным духу, а не букве — художественное изображение истории вовсе не требует буквализма. И не беда, что упоминается о «Кознях Генуи лукавой», имевших место за три века до той горестной истории, в память которой возник фонтан слез, раз это нужно для художественных целей автора. Пушкин резко отделял собственно историческое сочинение от поэтического.

Закончил поэму Пушкин уже в Одессе в 1823 году, а до этого были три года Кишинева, где Пушкин обрел душевный покой (весьма относительный при его взрывчатом темпераменте) под крылом добряка Инзова. Простой до патриархальности, благородный, умный и надежный рус-

ский человек, Инзов сразу понял, чего стоит Пушкин, и стал ему защитой. Пушкин даже поселился у него в доме, победовав в постоянной избе и тем превратив ее в музей Пушкина. Инзов сослужил Пушкину не только прямую, но и косвенную службу. Всех долго удивляло, почему полковник Липранди, тайный агент Бенкендорфа, которого наивно числили по Союзу благоденствия за его провокационные разговоры с солдатами, не погубил Пушкина, как сделал это с В.Ф.Раевским. Пушкин сдружился с ним, вел при нем «возмутительные» речи, читал крамольные стихи, а перо профессионального доносчика оставалось сухим. Что это — преклонение перед гением, желание сохранить Пушкина для России? Все куда проще и грубее: Липранди не хотел перебежать дорогу главноначальствующему Инзову, уверенный, что тот сам «освещает» зловредную деятельность Пушкина.

В двадцатые годы прошлого века Кишинев был жалким городишком: несколько каменных домов местных богачей и двухэтажный «дворец» наместника возвышались над убогими мазанками. Но в Кишиневе было некое подобие общества, довольно крупная карточная игра, клубный дом, а при нем ресторатор Жозеф и очаровательная Мариула, певшая молдавские песни, ресторация Николетти с бильярдной, кондитерская Манчини, аптека со стеклянным шаром, девичий пансион и другие очаги культуры, у которых грелся Пушкин, и что гораздо важнее — немало умных, значительных людей — постоянно живших там и приезжих, они оказали самое благотворное влияние на формирование взглядов и личности Пушкина. Одним из них было уготовано бессмертие, как Постелю, другим слава в потомстве, как декабристам В.Ф.Раевскому, М.Ф.Орлову, К.А.Охотникову или талантливому писателю А.Ф.Вельтману, об иных мы знаем лишь потому, что они прикоснулись к Пушкину, как коллежский секретарь Н.С.Алексеев или писатель-чиновник В.П.Горчаков. Но и эти достойные люди были нуж-

ны Пушкину, а были и такие, как образованный и знающий Липранди, интересный собеседник, полезный спутник в поездках по краю и — по неведению — почти друг, но память о нем презренна. Кишинев свел Пушкина с классиком молдавской литературы Костаке Негруци, с Густавом Олизаром, польским поэтом, написавшим Пушкину послание «Поэту могучего Севера», с острым и злым Вигелем, писавшим доносы на Чаадаева и оставившим интересные мемуары, впрочем, с ним Пушкин был знаком еще по «Арзамасу».

Пушкин и сам сознавал значительность своей жизни в Кишиневе, наполненной серьезным чтением, важными разговорами и спорами, размышлением об основополагающих началах бытия и земного устройства человека, а главное — разнообразным творчеством. Спокойно, раздумчиво, даже величаво говорит он о своей новой жизни в послании «Чаадаеву»:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений,
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы .
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись..

И дальше все в таком же торжественном роде, пока под перо не попался враг, знаменитый своими похождениями мужеловец и картежник Толстой-американец, который в прежни лета —

Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор..

В том же тоне он прошелся по Каченовскому — «оратору Лужников», затем вновь вернул себе высокую речь и лишь в самом конце сорвался в шалость:

И счастлив буду я; но только, ради Бога,
Гони ты Шепинга от нашего порога.

Чем не угодил петербургский офицер Шепинг поэту, я не знаю, но сама шутка показывает, что в умудренном жизнью кишиневском отшельнике сохранился прежний насмешник и забияка. Потребовалось совсем немного времени, чтобы кишиневское общество убедилось в этом на своем опыте. Каких только безумств не натворил тут Пушкин: дуэли, дерзкие романы с лениво доступными женами молдавских бояр, ожесточенные споры за обеденным столом наместника, едва не переходящие в рукоприкладство; кого-то избил палкой, кого-то оскорбил, кого-то пронзил эпиграммой, две недели странствовал с цыганским табором, не в силах оторваться от пестрых лохмотьев черноглазой Земфиры (чем не Алеко?) — требовалось терпение и забота добрейшего Низова, чтобы отчаянные выходки опального поэта не обернулись для него грозой. Видимо, и это все было нужно для созревания столь необыкновенной души, иначе мы лишились бы прекрасной поэтической строки или страницы прозы.

Пушкин ничуть не заблуждался в отношении себя, когда писал старшему другу Чаадаеву о своей новой умудренности. Шалости — пена, а волна — личность все набирала росту и силы. Очень много дало поэту общение с В. Раевским и М. Орловым, революционно мыслящими людьми, членами тайного общества, о чем Пушкин не знал.

Кажется невероятным, что, будучи так близок со многими декабристами (два лучших лицейских друга его, Пушкиц и Кюхельбекер, были видными деятелями Северного общества), разделяя их взгляды, Пушкин сам не участвовал в заговоре. Это обстоятельство удивляло и высочайшего следователя Николая, спросившего Пушкина, с кем бы он был 25 декабря, если б находился в Петербурге. И Пушкин с обычной правдивостью ответил: с друзьями на Сенатской площади. Но Пушкин узнал о существовании тайного общества лишь зимой 1825 года от навестившего его в Ми-

хайловской ссылке Пушкина, и это открытие уж ничего не могло изменить.

Когда Пушкин гостил в Каменке у В. Л. Давыдова, руководителя (вместе с С. Волконским) Каменской управы Южного общества, сюда съехались многие видные декабристы, в том числе «меланхолический Якушкин», тот самый, которого Пушкин знал еще по петербургским собраниям «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи». Он оставил воспоминания о заседании тайного общества в присутствии Пушкина и о тяжком разочаровании поэта, когда ему представили все это шуткой. «Я никогда не был так несчастлив, как теперь, — признался Пушкин, — я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собой, и все это была злая шутка». И Якушкин добавляет: «В эту минуту он был точно прекрасен».

Существуют две версии, почему Пушкина не вовлекли в заговор. Одна — декабристы не решились довериться отважному, свободолюбивому, но плохо управляющему своими чувствами, не умеющему ни таиться, ни молчать поэту. Никто не сомневался в его верности, самоотверженности, готовности идти до конца, но нельзя было ставить дело такой серьезности в зависимость от взрывчатого нрава. К тому же Пушкин уже был на подозрении, к нему было приковано особое внимание власть предержащих. По другой версии Пушкина пощадили, решили сохранить для России его поэтический гений.

Вторая версия представляется мне более убедительной, ибо она подтверждается авторитетом Сергея Волконского, одного из самых благородных, чистых и великодушных людей своего времени. Вот что писал его внук: «Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено завербовать Пушкина в члены тайного общества, но он угадал великий талант, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения». А сын С. Волконского, проведший детство в Сибири, сохранил для по-

томства удивительное признание отца: когда до «глубины сибирских руд» дошла горестная весть о гибели Пушкина на дуэли, Волконский корил себя за то, что не завербовал Пушкина: «Он был бы жив, в Сибири его поэзия стала бы на новый путь». Мысль трогательная, бесхитростная и высокая, но несколько сомнительна: при необузданном темпераменте Пушкина он наверняка бы оказался на острие движения, и кто знает, не разделил ли бы участи пяти повешенных.

Общение с декабристами, не ведавшими тогда еще того коллективного имени, под которым они войдут в историю, подарило Пушкину самое революционное его стихотворение «Кинжал», куда более «цареубийственное», нежели «Кинжал» Якушкина. Удивительно, что Пушкин, которому еще недавно грозила Сибирь, «гибель всерьез», у которого Карамзин вырвал обещание хоть на два года образумиться и не писать ничего против правительства, не только бросил в лицо царизму раскаленные строки о неминуемой каре, что отыщет злодея «на суше, на морях, во храме, под шатрами», но и давал переписывать это страшное стихотворение. Михаил Бестужев-Рюмин распространял его среди офицеров. «Кинжал» фигурировал и на следствии по делу декабристов. Многие допрашиваемые говорили, что «свободолюбивый образ мыслей получили по стихотворениям Пушкина».

Во время своего гостевания в Каменке Пушкин вместе с В.Л.Давыдовым совершил поездку в Киев на ярмарку. К сожалению, киевская страница жизни Пушкина недостаточно заполнена. Известно, что он познакомился тут с великим актером Щепкиным и навсегда стал почитателем его громадного дара. Как раз в эту пору друзья Щепкина выкупили его из крепостной неволи.

По обыкновению, Пушкин жадно знакомился с архитектурными памятниками и драгоценными для него приметами старины, древняя Киевская Русь покорила поэта. Огромное впечатление произвела на него Киево-Печерская

лавра, где похоронены злосчастный Кочубей и его сподвижник Искра. Над их могилой высечена надпись: «року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь Обозу Войскового за Белой Церковью на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судия генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того ж дня в обители святой Печерской на сем месте погребены».

Вот здесь надо искать корни «Полтавы», а не на месте победной битвы, где Пушкин позже побывал, и не под Бендерами, где он посетил стоянку бежавшего после полтавского разгрома Карла. Поэтическая мысль Пушкина получила первый толчок у скорбных могил. Пушкина до глубины души тронуло, что оклеветанный Мазепой и казненный по приказу Петра Кочубей, равно и полковник Искра нашли честное захоронение в усыпальнице при храме Божьем, а не были выброшены на расклев птицам-трупоедам или скинуты в общую яму. Это чувство стало еще пронзительнее после казни декабристов и подлого, тайного захоронения их на пустынном острове Голодае. Пушкин сравнивал трусливый поступок Николая с достойным жестом Петра, а ведь в Петровские времена нравы были куда суровее, а кары, вернее расправы, беспощадней.

Пушкин никогда не расточительствовал ни в стихах, ни в прозе, давал лишь необходимое. Как коротко и как совершенно описание полтавского боя! Даже «байронические» его поэмы лишены одной из главных примет романтизма — многословия. И если он в конце поэмы говорит о забвении могилы предателя Мазепы и о сбереженной памяти казненных, то для него это важно.

Забыт Мазепа с давних пор!

.....

Но сохранилася могила,

Где двух страдальцев прах почил:

Меж древних праведных могил

Их мирно церковь приютила.

Пушкин думал примером Петра подвигнуть царя на поступок христианского милосердия: отдать семьям тела казненных декабристов, чтобы нашли они успокоение в отчей земле. Первой намерение Пушкина постигла своей высокой и пронизательной душой Анна Андреевна Ахматова.

Конечно, «Полтава» написана не для увековечения памяти Кочубея, сотворившего немало кривды, хотя Пушкин мог и не знать об этом, его уже тогда привлекали личность и деяния Петра, равно не могла поэтическая душа остаться глухой к романтической любви старого гетмана и юной девы, но тем многозначительнее приведенные выше строки. Первый, подземный толчок к созданию «Полтавы» Пушкин ощутил в Киево-Печерской лавре.

Я спрашиваю себя: какое чувство было доминирующим у Пушкина кишиневских дней? Пожалуй, любопытство. Конечно, не бытовое, житейское, а обострившийся и жаждущий утоления интерес к окружающему миру, к прошлому и настоящему, к народной стихии, к людям самого разного чина и звания. Из интереса к не приукрашенной пылким воображением действительности, к обыденному, повседневному рождался пушкинский реализм. Ведь в апреле 1823 года в Кишиневе была начата первая глава «Евгения Онегина», ознаменовавшая появление нового Пушкина. Но это уже в исходе Кишинева, а пока — романтические поэмы «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан» и оставшийся незаконченным «Вадим». Прямым же отзывом на текущую жизнь была его лирика, а также послания, эпиграммы.

Особняком стоит «Гавриилиада», написанная в 1821 году. По кощунству эта поэма может быть сравнена лишь с «Орлеанской девственницей» Вольтера, коей, надо полагать, и навеяна. Но Пушкин оставил Вольтера далеко позади: тот посягнул на причисленную к лику святых пастушку — спасительницу Франции, а Пушкин насмеялся над пресвятой Девой Марией, Господом Богом и всем царстви-

ем небесным. Тут дело серьезное. К буйным шалостям пера «Гавриилиаду» никак не причислишь. Пушкин вырабатывал в себе мировоззрение, и мировоззрение атеистическое. Он был первый и на долгое время единственный, вовсе нерелигиозный поэт России. Тут не богоборчество, за которым всегда — вера, а самое настоящее безбожие. Позже, в Одессе, домашний врач Воронцовых, крупный английский хирург Хетчинсон, подкрепит интуитивное неверие Пушкина научными доказательствами.

Пушкин простился с угасшим на острове Святой Елены Наполеоном достойными великой тени стихами. Не властолюбца и завоевателя славит Пушкин, а того, кто

..Русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Стихотворением «Война» он приветствовал греческое восстание, поэт всерьез подумывал принять в нем участие. Он пишет «Гречанку», обращенную к легендарной Калипсо Полихрони, любовнице Байрона, осенившей своим приездом Кишинев. Растревоженный прикосновением к Древней Руси, он создает «Песнь о вещем Олеге», чей певучий лад преследует нас со школьной скамьи. Увлечение молдавским фольклором породило «Черную шаль», положенную на музыку Верстовским и ставшую самым популярным русским романсом. И ведь нужно было еще донимать эпиграммами беспутную Аглаю, жену А.Л.Давыдова — помещика-сибарита, и Тада-рашку (Ф.Крупенского, брата вице-губернатора), и волооких кишиневских дам, играющих в светскость, и одарить нежной музыкальностью стихами маленькую Адель, дочь грешной Аглаи, и вдруг расшутиться скоромной сказкой про царя Никиту. Словом, забот хватало.

В дни пребывания Пушкина в Кишиневе его не переставало волновать, что любимый им с лицейских дней древнеримский поэт Овидий изнывал в ссылке и кончил свои дни там, где Дунай впадает в Черное море. Пушкина все-

гда занимали исторические параллели, особенно если они касались его собственной судьбы, а здесь сходства было немало. Оба поэта знали славу, оба пали жертвой недоброты императора: Овидий — Августа, Пушкин — Александра, и перемогали ссылку в одном географическом пространстве. В послании «К Овидию» грохочет важная интонация, совершенно естественно возникающая в молодой гортани, склонной перекатывать виноградину смеха, и навивная гордость Пушкина, что, в отличие от Назона, он, «суровый славянин», слез не проливает.

Главный знаток кишиневских дней Пушкина, профессор Б.А.Трубецкой считает, что Пушкин предложил дать имя «Овидий» масонской ложе, открывшейся в Кишиневе. Опальный поэт, конечно, поспешил вступить в эту нелегальную организацию, которую возглавлял генерал Пуштин. С обычной горячностью и молодой верой Пушкин кинулся в новое опасное дело и стал «каменщиком» еще до официального учреждения ложи, но вскоре понял, что никакого толка от вялого просветительства не жди. Это открытие стало насмешливыми стихами, адресованными Пушину:

Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй им просвещенный!

Надо думать, что для поэта не было трагедией, когда ложу запретили.

Есть определенная тенденция в пушкиноведении наделять чрезмерной тяжеловесной серьезностью каждое движение Пушкина уже с лицейских дней. Будто это не солнечный, легкий, подвижный, как ртуть, проказливый Пушкин, а угрюмый старец Шишков. Надо ли говорить, как далек этот образ от истинного Пушкина, особенно его ранних лет. Если непредвзято отнестись к пушкинской жизни на юге, то видишь в поступках Пушкина, во всем его пове-

дении очень молодого человека, каким он и был на самом деле. Ошеломляет зрелость иных его стихов, этим чудом опережения себя награждает творца гениальность. Конечно, ею окрашены не только стихи, но от этого Пушкин не становится гениальным старцем, а остается гениальным юношей. Исключительное явление Пушкина надо брать целиком, а не рассматривать в увеличительное стекло частности, что неизбежно приводит к искажениям.

В кишиневские дни появилась у Пушкина привычка толкаться среди простого народа, замешиваться в толпу. Он бродил по базарам среди разноплеменных людей, приглядываясь к торгу, к лезвистым лицам цыган-конокрадов и глазастым цыганок-ворожей, втягивал жадными ноздрями густой запах пота, кож, соломы, дегтя, слушал уличных музыкантов — леутаров, кобзарей, пристраивался к хоровам и даже отплясывал «жок». Он делал все это в молодой радости бытия, а не потому, что вырабатывал реалистический метод. Но несомненно, что «с пребыванием в Бессарабии пробудилось у светского юноши Пушкина то чуткое внимание к народной жизни, которое уже никогда не покидало его до самой смерти».

Равно и путешествие Пушкина с Липранди по городам и весям Бессарабии, по местам русской боевой славы, хранящим память о победах Суворова, Румянцева и Кутузова, было следствием здоровой любознательности и всегдашнего интереса к прошлому России, а не деловитого расчета на будущие исторические сочинения.

Все это вот к чему: не надо за каждым естественным жестом Пушкина, особенно молодого Пушкина, высматривать далеко рассчитанные цели.

Мне представляется неверной тенденция чрезмерно драматизировать тот душевный кризис, который Пушкин пережил на юге. Многочисленно возводя очи горé, говорят, что он был близок к самоубийству. А мне вспоминаются слова великого человекознатца Горького: каждый стоющий молодой человек хоть раз да покушался на само-

убийство. Пушкин — живой, заинтересованный, свободолюбивый человек, — конечно же, не мог остаться равнодушным к разгулу черных сил в Европе и гнусной деятельности отечественных мракобесов, но от трагических мук и отчаяния душа его защитилась спасительным скепсисом. В весьма бодром послании В. А. Давыдову поэт иносказательно говорит о подавлении восстания в Неаполе, но считает — иначе и быть не могло. Он иронизирует:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

Иное — сам Пушкин. Он полон веры в очистительную бурю:

Ужель надежды луч исчез?
Но нет, мы счастьем насладимся.
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес.

Далеко же ушел он от своей прежней наивной веры, что рабство падет «по манию царя»!

На события в Испании, где в результате военной интервенции была раздавлена революция, Пушкин откликнулся двумя стихотворениями. Если в первом «Кто, волны, вас остановил» он еще призывает «грозу — символ свободы», то в написанном несколько позже «Свободы сеятель пустынный» его скепсис достигает предела:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Пройдет время, жизнелюбивая натура Пушкина преодолет кризис, он вновь обретет веру в народные силы и посреди николаевской ночи до последнего дня будет верить в звезду пленительного счастья.

В какой-то час Кишинев исчерпал себя для Пушкина. Как сказали бы мы сейчас, здешняя жизнь перестала давать ему информацию, сам Пушкин в стихотворном письме к Вигелю выразился куда крепче. К чести Кишинева, ставшего одним из красивейших городов нашего юга, он не сохранил обиды на поэта и свято чтит его память. Когда сделалось совсем невмоготу, Пушкин обратился к Нессельроде — он числился по министерству иностранных дел — с просьбой об отпуске на два-три месяца. Министр доложил государю, тот наложил резолюцию: «Отказать!» В августейшей семье Александра называли «наш ангел», несомненно, то был очень памятный и мстительный небожитель.

Пушкинская лирика 1823 года открывается стихотворением о птичке, которую поэт, свято соблюдая на чужбине обычай старины, выпустил на волю. Это прямой отзыв на немилосердный жест императора.

Я стал доступен утешенью,
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью,
Я мог свободу даровать!

Царь лишил себя подобного утешенья, а ведь Пушкин просил не о свободе, а лишь о том, чтобы перевести дыхание, но и того не дали. Только ли за прошлые грехи? Сомнительно. Недаром кишиневский чиновник А. И. Долго-руков писал канцелярской вязью в своем путливом дневнике: «Вместо того, чтобы прийти в себя и восчувствовать, сколь мало правила, им принятые, терпимы быть могут в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России». Да, не «восчувствовал», как ни наставлял его придворный историк Карамзин: и стихи писал крамольные, и кощунственную поэму сочинил, дружил с заговорщиками, давал переписывать свои послания к заключенному в крепость «первому декабристу» — В. Ф. Раевскому, не перечить грехов...

Друзья добились перевода Пушкина в Одессу.

Это не Кишинев с его мазанками, кривыми улочками, непролазной грязью — в дождь, Одесса — настоящий, хоть и небольшой город, с оперным театром, красивыми зданиями, дворцом наместника, собором, бульваром, ресторанами и кофейнями, с шумным портом, куда приходят корабли из разных стран. В Одессе есть общество, есть свой провинциальный высший свет с положенными ему сплетнями, злоязычием, есть красавицы, которые оказали бы честь Петербургу, есть даже своя изящная словесность и неизбежные при ней завистники, и есть наместник, блистательный, надменный, со славой двенадцатого года, любимец государя, типичный администратор той поры: жестокий, беспринципный, лощеный и холодный карьерист — Воронцов. А у него есть очаровательная и легкомысленная жена. Словом, в Одессе есть все, чтобы погубить и более осмотрительного человека, чем наш поэт.

Сердце Пушкина проснулось для любви и лирики. Давно уже из-под его пера не выходило столько любовных песен. Благословенна будь Амалия Ризнич, к ней обращено «Простишь ли мне ревнивые мечты» и, может быть, «Ночь»?

Но не забыты и поэмы. В Одессе начаты «Цыганы» (законченные уже в Михайловском), ими Пушкин рассчитался с романтизмом, здесь написаны две главы «Евгения Онегина» — первого великого реалистического романа в русской литературе.

Герой «Цыган» Алеко не выдержал испытания на романтического героя. Он жаждал свободы, но свободы лишь для себя. Столкнувшись с истинным природным свободолюбием, не признающим никаких оков, он повел себя как себялюбивый собственник, его ревность — продукт цивилизации, от которой он бежал, да не убежал, ибо несет в себе ее гниль, эгоизм и жестокость. Он убивает Земфиру и слышит от старого мудрого цыгана спокойно-печальное: «Оставь нас, гордый человек». Романтическое бегство в мир естественной жизни не выход, там не обретешь внутреннего покоя, но причинишь зло и горе истым детям природы. Жить надо в

своем мире, в том, которому ты принадлежишь по рождению, воспитанию, социальному положению. И вместо мрачно-живописного, чуть ходульного Алеко появляется до конца реальный человек невского променада, петербургский щеголь, лощеный, себялюбивый и неприкаянный Евгений Онегин, который тоже убивает — Ленского, но по правилам хорошего тона и без всякой страсти.

В Одессе сердце Пушкина, жившее последние годы скудной пищей воспоминаний, набросилось на любовь, как голодный на каравай. Жена сербского негодья, Амалия Ризнич, красивая, огненноглазая, величественная и большестопая — последнее приходилось скрывать под длинными платьями, напоминавшими греческие туники, — стала бессмертной любовью Пушкина. Да, бессмертной, хотя умерла она очень рано, от чахотки — не помог и благословенный климат края олив, но память о ней Пушкин пронес через всю жизнь. В 1830 году в Болдино, прощаясь с милыми тенями, он посвятил Ризнич едва ли не самое совершенное из своих творений «Для берегов отчизны дальней» и дал ей жизнь вечную.

Ризнич, зная, что ей отпущен короткий срок, не медлила увенчать любовь поэта. Блестящая и быстрая победа дала счастье, но посеяла семена ревности. Карл Юнг говорил, что зерно всякой ревности — недостаток любви. Не подвергая сомнению чувство Пушкина к Ризнич, вспомним, что пленительный образ Амалии не мог вовсе затмить другие черты — яркой, холодной и опасной Каролины Собаньской. Эта, судя по всему, неувенчанная любовь, тоже оказалась долголетней, она пригасала и вспыхивала вновь, когда загадочная Каролина возникала в жизненном пространстве Пушкина. Волнующий аромат тайны, исходивший от нее, имел весьма прозаический источник: красивая дама была осведомительницей Бенкендорфа; возможно, снабжала синеглазого обер-жандарма сведениями и о Пушкине.

Даже если Юнг прав, будь благословенна ревность, коль подарила нам божественное «Простишь ли мне ревнивые мечты». Все прекрасно в таком существе, как Пушкин!

Другая одесская дама дала повод для еще более потрясающих стихов о ревности, впрочем, они принадлежат уже иной поре жизни Пушкина.

А между ручьями любви — сочь желчи, разочарования; временем, не отданным страсти, им владела угнетенность. Естественно, что в таком состоянии Пушкин был особенно податлив голосу неверия, иронии, насмешки над всеми хрупкими ценностями бытия. То не был тайный голос, почти все исследователи считают, что злым гением Пушкина был старший сын генерала Раевского Александр, живший в то время в Одессе. Человек этот сыграл если не роковую, то серьезную и недобрую роль в судьбе Пушкина. Желая скинуть злые чары, Пушкин заклил их стихотворением «Демон». Последние строки стали поговоркой: «И ничего во всей природе благословить он не хотел».

Раевский был влюблен в свою дальнюю родственницу, жену наместника, графиню Елизавету Ксаверьевну Воронцову. Влюблен до безумия, пользуясь старым, избитым и единственно точным образом, когда речь идет о случае Раевского. Ведь он и кончил свои отношения с Воронцовой поступком, воистину безумным. Раевский невольно привлек внимание Пушкина к этой незаурядной женщине. А впрочем, какая там незаурядность? — знатная генеральственная дама с дурными генами. В ней сочеталось польское легкомыслие и кокетство с тяжелым потемкинским комплексом; бабушка ее была одной из племянниц светлейшего, любившего их совсем не по-родственному. Раевский подолгу жила в имении Александрия у своей двоюродной бабушки графини Браницкой, матери Елизаветы Ксаверьевны, которая тоже частенько гостила там. Адъютант Воронцова в пору Отечественной войны, Раевский пользовался его дружбой и вполне злоупотребил ею.

Раевский был причиной того, что взгляд поэта, очарованный Амалией Ризнич, задержался на живых, приветливых и милых, хотя вовсе некрасивых чертах Елизаветы Ксаверьевны, прояснил, а там и загорелся. К ней можно было по-разно-

му относиться, но все сходилось на том, что она полна очарования. Как велико и прочно было впечатление, произведенное ею на Пушкина, видно хотя бы по тому, что ничьи другие черты не предавал он так часто бумаге в своих точных беглых набросках. Воронцова преследовала его; он рисовал ее анфас, часто зачеркивая не удовлетворявшие его наброски, рисовал в рост, рисовал ее длинные пальцы с миндалевидными ногтями. Как ни странно, изумительно хваткому карандашу Пушкина Воронцова давалась меньше всех других, он улавливал сходство, но не мог передать прелести ее неправильного лица; его Воронцова носата, тонкогуба, неприятна, в ней нет и тени того «щегольства», о котором мечтательно писал под старость Вигель. Удачнее всего он изобразил ее со спины, а еще лучше вечно женственное этой нестройной, непостоянной, но смелой в чувстве натуры передает набросок ее породистых пальцев.

Влюбленность Пушкина в Елизавету Ксаверьевну, всячески разжигаемая Раевским — тот думал прикрыться страстью не умеющего сдерживаться поэта, в чем отчасти и преуспел, — конечно, была замечена Воронцовым, что не прибавило ему симпатии к мелкому чиновнику, неугодному двору, пусть тот кропает стихи. К тому же Воронцов начал догадываться о характере отношений его жены с Раевским, но того он еще должен был терпеть, а вот от Пушкина нужно избавиться. Холодность наместника сменилась явной неприязнью, а последняя вылилась в позорную начальственную издевку: Пушкина вместе с другими мелкими чиновниками послали «на саранчу». Глубоко оскорбленный, Пушкин получил прогонные, съездил в Тирасполь и через пять дней вернулся. Краткость его отчета соответствовала непродолжительности отсутствия:

Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела —
Все съела
И вновь улетела.

Конечно, так он пошутил в канцелярии, а наместнику дал иной отчет вместе с письмом, исполненным высокого достоинства и оскорбленного чувства, в котором просил об отставке. Ему было отвечено, что отставку он должен испрашивать у Нессельроде.

Пушкин так и сделал, уверенный, что отставка будет ему дана и он останется в Одессе частным лицом, возле Елизаветы Ксаверьевны, в чьей любви он теперь не сомневался. Тогда уже появился тот грот любви, что «вечно полн прохлады сумрачной и влажной». О нем Пушкин будет еще долго вспоминать.

А свою месть Воронцову Пушкин осуществил в двух эпиграммах, из которых знаменита одна — «Полу-милорд, полу-купец», но вторая — еще ядовитее, ибо говорит о торжестве малорослого Давида над Голиафом, который был «и генерал, и побожусь, не проще графа».

Пушкину невдомек было, что современный Голиаф действует не палицей, не мышцей бранной и не в открытом бою, а совсем другим способом. Вослед пушкинскому прошению полетело другое — от самого Воронцова, он просил избавить его от Пушкина. «Он может быть превосходный малый и хороший поэт...» — лицемерил полу-подлец, ставший в своем письме полным. Нессельроде не пришлось ломать голову, как совместить прошение об отставке с просьбой Воронцова: к его услугам было перлюстрированное письмо Пушкина с атеистическими высказываниями. Пушкин, неизменно доверчивый, спешил поделиться с друзьями теми научными доказательствами ненаселенности небесных сфер, которыми снабдил его врач и естествоиспытатель Хетчинсон. Это решило его участь. Не было более тяжкого греха, чем грех безверия. Пушкин получил отставку вместе с предписанием немедленно покинуть Одессу и ехать в псковское имение своих родителей для дальнейшего проживания там. Ссылка становилась бессрочной.

Елизавета Ксаверьевна подарила Пушкину на прощание кольцо с таинственной надписью, ставшее талисманом

поэта. Он с ним никогда не расставался. Кольцо сняли с пальца, когда мертвое тело Пушкина клали в гроб. О талисмানে есть прекрасные стихи, но они принадлежат иной поре жизни поэта — Михайловскому. Там продолжали развязываться узлы, завязанные в Одессе, переосмысливалось все пережитое, там возникло стихотворение «Коварность» — о Раевском, чью игру Пушкин понял до конца, продолжался диалог с Воронцовой — и поэтический, и эпистолярный.

Да, я не сказал: Пушкин все-таки выгадал для себя лишний день в Одессе для прощания с Воронцовой; не считаясь с последствиями, она уехала первой в Крым, затем уехал он — в Псков, нигде не задерживаясь, как было предписано. А с югом и морем он простился уже в Михайловском: «Прощай, свободная стихия...».

ВАСТУПНИЦА

ПОВЕСТЬ В МОНОЛОГАХ

1

Архив III отделения. Полутемно, сыро и смрадно. Во всю ширину и высоту стен тянутся полки, на них тесно стоят папки с «Делами». Едва тлеет камин. У небольшого столика с шандалом о три коптящих свечи трудится тщедушный плешивый старик в поношенном статском сюртуке — архивариус. Он просматривает какие-то бумаги и делает записи в толстой потрепанной книге. Дверь открывается, входит ладный, с ловкими движениями человек в голубом жандармском мундире с генеральскими эполетами. У него высокий, чуть скошенный лоб, светлые волосы, цепкий насмешливый взгляд. Это — знаменитый Леонтий Васильевич Дубельт. Следом за ним жандарм вносит толстые папки.

Архивариус вскакивает. Его зримо трясет. Лицо искажено раболепным страхом.

Дубельт (*приветливо*). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич! Да не тряситесь так. Экой же, право, робкий!.. (*Показывает жандарму на стол.*) Клади сюда. Да аккуратнее, безрукий! Небось Пушкина дело, а не Ваньки Каина. Хотя у Ваньки оно, знать, было тоньше. Обожди за дверью.

Жандарм выходит.

Садитесь, садитесь же, Павел Николаевич, что вы передо мной, как лист перед травой?

Архивариус громко икает.

(*Брезгливо морщится.*) Опять икота одолела?.. Вы никак селедкой завтракали, да и с лучком. Экий, право, гурман!.. Ну-ка, сядьте подальше и дышите в сторонку. Терпеть не могу луковый запах, особенно по утрам.

Архивариус подчиняется.

(Берет колченогий стул, усаживается.) А знаете, Павел Николаевич, вы могли бы большую карьеру сделать, если бы государю на глаза попались. Он страсть трепет ценит. Знаете, как граф Клейнмихель в случай попал? При первой встрече с императором так разволновался и ослабел, что его замутило. Все решили — конец голубчику, а государь только поморщился и осведомиться изволил, часто ли случается с его верноподданным подобное. Нет, только при виде его императорского величества, от сильного трепета и усердия. Столь уважительная слабость польстила государю, он приблизил и возвысил Клейнмихеля. Раз как-то граф удержал дурноту, и это вызвало приметное неудовольствие. Государь засомневался в его преданности. Но Клейнмихель быстро исправил ошибку. Ныне он самое доверенное лицо государя, после, разумеется, нашего шефа графа Бенкендорфа. А у вас, Павел Николаевич, козырь не многим слабее, чем у Клейнмихеля.

Слышится какой-то ржавый звук.

(Заинтересованно прислушивается и понимает, что это смех.) У вас есть чувство юмора. Оно поможет пережить разочарование: вам не сделать карьеры — вы икаете и трясетесь перед любым начальством, а надо лишь перед его величеством. В этом сила Клейнмихеля: со всеми — зверь, а перед государем — пес блюющий. Большое дело, любезный Павел Николаевич, иметь зримый порок, чтобы без подлой лести возвеличивать высочайшую особу. Граф Александр Христофорович государю еще ближе Кленыхина, как того в войсках кличут, а не испытывает дурноты, не икает, но рассеян противоестественно и при всей своей ловкости беспамятен и бестолков... да не тряситесь вы так, Павел Николаевич, нас же никто не слышит, а я на себя не донесу и вы не донесете — внимать крамольным речам столь же преступно, как и произносить. Спокойнее, Павел Николаевич, а то вы сроду икать не перестанете. А это

неприлично для служащего столь высокого учреждения. Сам государь удостаивает нас своим посещением. Скромный труд наш на благо России «святым делом» называет. «Святое дело сыска» — доподлинные слова царя Николая.

И чего вам бояться, любезный Павел Николаевич, это вас должны бояться сильные мира сего. Кстати, вы не обращали внимания, что вас зовут, как государя, только наоборот? К чему бы сие? Знамение? Или примета скрытого родства? Об этом стоит подумать. Вы страшный человек, Николай Пав... тьфу, Павел Николаевич, ведь вы все про всех знаете. *(Обводит широким жестом хранилище.)* Мне известно, что вы не просто регистрируете поступающие к вам дела и по полкам их распределяете, на радость архивным мышам, а наивнимательнейше, от корки до корки штудируете. Память же у вас, почтеннейший, как у Гомера или Шекспира. Все помните, что не с вами было. А для чего вам это? Бескорыстная любознательность? Скорее желание убедиться, что знаменитые и знатные, коли видеть их с исподу, ниже последнего архивного червя. Тогда и чин ничтожный, и жалованье низкое, икота и трясучка, и вся впустую прожитая жизнь — не так уж мучительны. Вы интересный человек, Павел Николаевич, самый интересный после меня в этом заведении, и я люблю с вами разговаривать. Особенно потому, что вы молчите. Даете человеку выговориться. Я вас по-своему уважаю, Павел Николаевич, — не за икоту, о нет, за сосредоточенную злобу, что держит вас здесь. Вы же давно могли уйти на пенсию и спокойно долететь, но ненасытное мстительное чувство сделало вас вечным узником смрадного подвала. Я с вами откровенен, как ни с кем другим, вам бессмысленно врать, вы если не впрямую, то косвенно узнаете подноготную каждого. Но вам неизвестно, что государь называет Александра Христофоровича Бенкендорфа ангелом. Шеф жандармов и впрямь ангел: весь лазурный, голубые чистые глаза, розовая кожа, ангельская кротость с одними, ангельский холод к другим. Последних неизмеримо больше. Вы

никогда не задумывались, почему ангелы не могут любить? Впрочем, небожители идут по другому ведомству. Ангелы бесполой. Александр Христофорович — истинный ангел. А вот я не ангел и не блевун, у меня нет отчетливого, бьющего в нос ущерба, и мне не сделать первоклассной карьеры. В определенном смысле я ее уже сделал, могу подняться еще на ступень, когда граф Бенкендорф оставит свой пост, но его влияния не добьюсь. Не бывать мне ангелом нашего государя. Мешает ум, скрыть который гораздо труднее, чем кажется. И зачем ты, матушка, не ударила меня незаросшим темечком о косяк, был бы твой Леонтьюшко фельд-маршалом, первым министром или обер-прокурором святейшего синода. Впрочем, стоит ли сетовать на судьбу, особенно в присутствии почтеннейшего Павла Николаевича, который не дорос и до таких скромных чинов? Но Павел Николаевич выше этого. И я, как ни удивительно, тоже выше. Для меня суть моих занятий важнее наград, званий и титулов, хотя все это важно для жизни и для самих занятий.

(*Со вздохом.*) Вот, Павел Николаевич, сдаю вам, быть может, величайшее из всех дел, какими занималась собственная его величества канцелярия, хотя касается оно особы весьма невысокого ранга. Тридцатилетний муж, глава семьи, знаменитый поэт, чья слава вышла за пределы России, довольствовался юношеским званием камерюнкера. Вот он, весь тут! (*Хлопает рукой по верхней папке.*) Тело Пушкина предано земле его другом Александром Тургеневым, а дело сдается мною в архив. И желательно сохранить сие от мышей и прочих скверных зверушек. Каждый, кто причастен к этому делу, обрел бессмертие, многим едва ли желательное. Итак, покончено таинственное дело, а до конца ли разгадано — кто знает? Даже я этого не знаю, хотя находился в самой гуще. Нет, не был я ни движущей пружиной, ни даже сколь-нибудь важной частью сложного механизма, но и в стороне не остался. Говорю о том равно без гордости и без сожаления. Сейчас

умы в разброде. Свет поделился на две неравные части. Большинство осуждает Пушкина и оправдывает Дантеса, иные даже рукоплещут красавцу эмигранту, что несколько странно с патриотической точки зрения; меньшинство же оплакивает Пушкина и проклинает его убийцу. И у всех на устах стихотворение юного корнета Лермонтова «На смерть поэта», с эпиграфом: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Но я хотел не о том, добрейший Павел Николаевич. Смерть Пушкина вдруг обнаружила, что есть не только свет, чье мнение единственно важно, а такое странное, неощутимое и не упоминаемое в России образование, как народ. Считалось, что народ — это где-то в Европах, во Франции, в Англии, в цивилизованных странах, испытавших революционные потрясения. Мы думали — лишь с революцией масса неимущих, проще — толпа, становится народом. В России революции не было, но гибель национального поэта обнаружила, что существует народ. Не холопы, не смерды, не дворня, не работный люд, не гольтьба, не городская протерь, не мещане, а именно народ. Иначе как назовешь те тысячи и тысячи, что осаждали дом Пушкина в дни его агонии, а затем по одному прощались с покойным, целуя его руку? Если б то были просто горожане да пригородные крестьяне, тело Пушкина не повезли бы тайком в Святые Горы. Но тут пробудилась и заявила о себе какая-то новая, еще не сознающая самое себя сила. В известном смысле это страшнее, чем 14 декабря на Сенатской площади. Мятеж молодых аристократов не имел корней, недаром же солдаты не пошли за ними. Народ — вот самое страшное, что оставил нам Пушкин, а не богохульная «Гавриилиада», злые эпиграммы и крамольные стихи. Это понимают пока лишь самые пронизательные, и прежде всего — государь. И все же дело завершено. Слава богу, иначе тлетворное влияние Пушкина росло бы с устрашающей силой. Мертвец, при всех оговорках, куда менее опасен. У людей короткая память, они позволяют себя отвлекать и развлекать, что куда проще, нежели осиливать жи-

вое воздействие громадной личности и могучего таланта. Второго Александра Сергеевича Пушкина в России не будет. Не сойдутся так больше звезды. Я равнодушен к стихам и прозе, признаю лишь исторические сочинения и мемуары тех, кто движет историю, но я понимаю, что такое Пушкин. И при этом ничуть не раскаиваюсь, что имел некоторую, пусть скромную, прикосновенность к закрытию этого дела. Есть ли тут противоречие? Ни малейшего. Великое государство Российское создавали не Пушкин, Гоголь или Грибоедов, а Иван III, Алексей Михайлович, Петр Великий с корыстными, но дельными соратниками, Екатерина, Румянцев-Задунайский, Суворов, даже Сперанский при всех его просчетах и, разумеется, ныне здравствующий монарх, служилое дворянство, генералы, министры, высшие чиновники. Граф Клейнмихель, над которым тайком посмеиваются, важнее для России, чем насмешник Гоголь. Клейнмихель строит, а Гоголь разрушает. Граф угадал главное в наши дни: исполнительность. Лишь она противостоит хаосу, к которому тяготеет русская жизнь. Я хоть и Ду-бельт, но ощущаю себя россиянином, всем сердцем, всей требухой привержен к этой стране, ее истории, вечному неустройству и потугам это неустройство одолеть, встать вровень с цивилизованными странами. И ведь есть к тому возможность, есть! Старушка Европа загнила и смердит, а тут молодые, свежие, нетронутые силы. Я не могу сочувствовать тем, кто препятствует серьезной государственной жизни России. А высший свет — вовсе не свора льстецов, выскочек, завистников, интриганов и сплетников, хотя и таких довольно, но прежде всего — опора самодержавия. И кто посягает на него, колеблет трон. А я на страже. Только, Павел Николаевич (*голос Дубельта звучит глубоко и серьезно*), вот это действительно должно остаться между нами. Я не хочу, чтобы хоть одна живая душа знала, что я служу не ради чинов, крестов и лент, а ради идеи. Этого мне не простят. В награду за скромность я пока-

жу вам некоторые материалы, которые никогда не поступят в ваш архив.

Архивариус живо вскакивает и кланяется не без достоинства.

(Насмешливо.) Мы с вами из одного теста — бессребреники... (Вновь становясь серьезным.) Одно меня угнетает. А что, если я ошибаюсь? И как раз Пушкин, Гоголь, Грибоедов и иже с ними строят Россию, а не политики и полководцы? Но нет, этому отказывается верить разум. Бумагомаратели, чего они стоят? А Радищев? Екатерина ополчилась на него, как на Пугачева, а эта государыня была великим политиком. И почему столько шума вокруг маленького курчавого камер-юнкера, не имевшего ни одной награды, зато не раз ссылаемого, всячески унижаемого, гонимого? Почему царь стал его цензором? Не слишком ли много чести? Но к ничтожным делам цари не снисходят. Да нет, тут другое: обуздать дух разрушения. А почему в Писании сказано: вначале бе слово, потом бе Бог? Может, тут и коренятся сила и власть этих, ни силы, ни власти не имеющих? А если так, то хороши же мы все!.. Нет, нет! Государство не в них, а в нас...

Входит жандармский офицер и молча протягивает Дубельту листок.

Браво, Щеглов, вы делаете успехи! Было бы худо, если б граф Бенкендорф получил это из других рук. Вы свободны!

Жандарм выходит.

(Читает.)

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Шестнадцать строк. Но стоят иной поэмы. И кое-кому будут стоить карьеры и даже судьбы. Михаил Павлович сказал о Лермонтове: «Этот заменит нам Пушкина». Великий князь попал точнее, чем мог думать. Нет сомнения, что эти строчки написаны лермонтовской рукой. Виден сокол!.. Стихотворение стало совсем другим. Зарвался мальчик! Боюсь, что отмщение государя обратится теперь вовсе не на Дантеса. Француз просто защитил себя от ревнивого и дерзкого камер-юнкера, не дававшего ему покоя, да и не только ему. А этот корнет полоснул саблей по всему высшему обществу, по двору, и куда хуже — по особе государя, которому противопоставил Бога. Как вы находите стихи, Павел Николаевич?

Архивариус потрясенно разводит руками.

Хороши, ничего не скажешь. Слишком хороши. О, неиссякаемая Россия!

Быстро входит жандармский офицер.

Жандарм. Ваше превосходительство! Его величество государь император изволили пожаловать! В сопровождении их высокопревосходительства графа Бенкендорфа.

Дубельт. Возьми-ка, голубчик, вот все это (*показывает на грудь папок, лежащую на столе*). Да, почтенный Павел Николаевич, лишаю вас на время преинтереснейшего чтения. Ничего не попишешь. Пушкина нет, а дело его живет! (*Выходит следом за жандармом.*)

Февраль 1837 года. Петербургский дом Арсеньевой. Маленькая гостиная, хорошо и уютно обставленная, на стенах гравюры, акварели Лермонтова, несколько фамильных портретов в багетных рамках, среди них портрет покойной дочери хозяйки — Марии. В вазах свежие оранжевые розы.

Арсеньева, довольно высокая, с прямой спиной, бодрая старуха, седая и темноглазая, вводит в гостиную Аграфену, бывшую мамку Лермонтова, женщину примерно своих лет, но совсем дряхлую с виду, согбенную, с отечными ногами и шаркающей поступью.

Арсеньева. Ходи веселей! Хватит притворяться, что тебя так растрясло, дорога по зимнику гладкая. До чего же все дворовые избалованные — спасу нет! Я старше тебя, а не шаркаю и не гнусь... В баньку сводили? Накормили хорошо?

При этих отрывистых вопросах Аграфена кланяется и хочет поцеловать барыне руку, но та не позволяет.

А ну, без глупостей! Здесь Петербург, не Тарханы. Барин молодой увидит — разгневается. Ах, Аграфена, тяжко мне с ним! До того тяжко!.. Люблю его больше жизни, каждое желание предупреждаю, а чей он — мой или чужой?.. Да садись же, садись, в ногах правды нет. Да и устала ты, старая. Садись вот тут. Сейчас велю тебе чаю крепкого дать с вареньем и сахарком, ты ведь сладкое любишь, и ромшу ямайского или бальзамца. Молчи, молчи, не лицемерь. Нешто не знаю, как по буфетам рыскаешь. Честна, честна — оставь тебе казну, копейкой не попользуешься, а винцо тайком вылакаешь. Ох, русские люди, русские люди! Чего только в нас не намешано: и доброта святая, и преданность, и к жертве любой готовность, и вороватость, и лукавство, и притворство, и к разбою склонность. Француз или немец — одной краской мазан, а наш — радуга, все цвета налицо. *(Подходит к двери, распахивает створки и чуть не сибиает с ног подслушивающую девушку.)* За-

чем шпионишь? Что я — любовника прячу? Стара я для таких дел. Тыфу ты, из головы вон, — Аграфена же твоя крестная! Ну, поцелуйся с крестной и принеси ей чаю — живо! А наболтаться еще успеете, она никуда не денется. Здесь жить будет.

Девушка обняла крестную и метнулась к двери. Арсеньева успевает дать ей звучный шлепок.

Хороша натяжка у твоей крестницы, даже руку отшибла. Разучилась я тут бесстыдниц шлепать, а уж высечь и не мечтай. Для этого надо в часть посылать. Одно дело — доброй материнской рукой проучить, другое — своего человека к чужим на правож послать. А ну-ко Михаил Юрьевич проведает, для него это как нож вострый. Не может он, чтобы человеческое достоинство страдало. Нешто достоинство в заднице помещается? Небось помнишь, как в Тарханах: попробуй кого на конюшню послать — сейчас затрясется весь, зубками заскрипит, побледнеет, того гляди родимчик хватит. Я тронуть никого не решалась, совсем разбаловались люди. А что поделать, знаю, что порчу дворню, а молчу. Слово наследника — закон. Да тебя-то это не касалось, ты ж мамка, тебя сроду никто пальцем не тронул.

Входит крестница Аграфены с подносом, уставленным чашками, кувшинчиками, вазочками, тарелочками со всевозможной сладкой снедью, ставит на столик перед старушкой и ускользает, опасливо покосившись на барыню.

(Налила Аграфене большую рюмку рома и себе плеснула немножко в серебряную чарочку.) Давай выпьем за нашего баловня! *(Пьет и по русскому обычаю опрокидывает пустую чарочку, мол, капли не оставила.)* Как я его в детстве баловала! Иной бы злодеем вырос. Ребенок — личинка человеческая, чем к нему добрее, тем он хуже. Забияки, охальники, разбойники из самых забалованных выходят. Родители трясутся над дитяtkом, как я над внучком, и он сме-

кает в маленькой своей душе: я самый важный, самый главный, золотой и бриллиантовый и все по-моему должно быть. И выходит он в широкий мир, а жизнь под него не стелется ковром, у людей свои интересы, ему вперекор. И пошло чудить такое вот занеженное дитя, силком брать, что само не идет, куражиться и своевольничать. А Мишенька не такой. Он, правда, горяч, вспыльчив, но и отходчив, а уж добр, добрее не бывает. И чем человек проще, тем он к нему жалостливей. Мишеньку многие не понимают, думают, колючий, злой, нелюдимый, а он застенчивый. Он всю душу готов раскрыть, да ведь наплюют туда, нахаркают. Он это чуёт и замыкается. А кто его глубже знает, тот за Мишеньку в огонь и в воду. Что Раевский, что Монго Столыпин, что Алексей Лопухин, что Юрьев. И Мишенька за друзей жизнь отдаст. Он и с девушками умеет дружить — сама деликатность, сама сдержанность... Заговорила я тебя? А ты терпи и внимай. Сласти чаек, ромцу подливай, не жалея. (*Вдруг, будто осердясь.*) Да, я одна говорю, а ваше рабье дело слушать, молчать и улыбаться. А вот коли случится то, чем Мишенька иной раз, гневаясь на меня, грозит: вы наверх, а мы на дно, — ты будешь говорить, а я помалкивать да улыбаться. А про себя небось проклинать трепуху неумемную. Молчи, знаю, что не проклинаешь. Ты верная Личарда, сама от вольной отказалась.

Входит слуга и протягивает Арсеньевой записку.

(*Читает записку.*) Еще бы не пришел! Гордым больно стал Ванька Джалакаев, его хор сейчас нарасхват. Но помнит, душа цыганская, кто его графу Шереметеву рекомендовал. С Шереметева и начался его карьер. Ах, связи, связи — в Петербурге они важнее богатства, знатности, всех талантов. А чем-чем — связями Господь Бог не обидел. Можем мы кое-что в северной нашей Пальмире. (*Слуге.*) Ряженные явятся — доложи. Шампанское — охладить к пяти. И помельче лед для устриц крошите. Раньше чем на стол подавать, не открывайте, а то вся свежесть пропа-

дет. Тут гурманы такие соберутся! Сам-то Мишенька в еде не больно разборчив, хоть и напускает на себя вид знатока. Хорош знаток! Его раз булочками с опилками накормили, а он и не заметил. (Слуге.) Чего уставился, как филин? Сказано — ступай!

Слуга уходит.

(Обращается к Аграфене, глядящей на нее с каким-то испуганным недоумением.) Обед я даю Мишеньке и его друзьям. Опять, понимаешь, у нас ссора вышла. Знаю, о чем думаешь, не то, не то! О Юрии Петровиче Лермонтове, как помер, больше речи не заходило. То ли простил мне Мишенька отца, то ли скрыл обиду на дне души — не знаю. Хотя если подумать хорошенько, то и в нынешнем разладе мелькнула отцова тень, как это мне раньше в голову не пришло? Но давай лучше по порядку, а то я все путаюсь. Беспокойно мне чего-то. А вроде бы чего беспокоиться? Со стихами на смерть Пушкина обошлось, Мишенька мне мою дурость, об Александре Сергеевиче сказанную, простил, сам записку прислал, такую добрую, ласковую. И хоть я во всем виновата, он себя корит за несдержанность, грубость. Да какой он грубый, может, самый нежный человек на свете. Мало кто его настоящего знает. Друзья знают, Варенька Верещагина, Маша Лопухина и та голубоглазая девочка, в которую он еще мальчиком влюбился, знают. Боже мой, как смотрел на нее Миша своими черными глазами, как следил за каждым движением, а заговорить не решался. А она все понимала, девятилетняя женщина, уж так все понимала, и кокетничала с ним, и поощряла, и тут же напускала на себя презрительный вид, а он, лопушок бедный, не отважился с ней познакомиться, только вздыхал ужасно и руку к сердчишку прижимал. Вот когда в нем душа пробудилась. Он после, уже взрослым, ей стихи посвятил. До чего ж памятный, как все в нем глубоко!.. О чем бишь я? (Арсеньева явно думает о чем-то другом, мучительно-тревожном, и это путает ее речи.) Ах да,

обед я даю в честь примирения со своим суровым внуком. Но ведь скучно ему вдвоем со старухой пировать — ни выпить, ни покуражиться, ни о скабрёзном потолковать. У гусар это принято. Я его с дружками пригласила. Посижу с ними для порядка, винца английского легкого пригублю да и уйду к себе. А молодежь пусть развлекается. Хор цыган заказала, лучший в Петербурге, и знаешь, старая, чего я еще придумала? Не праздновали мы святок в нынешнем году, да и какие святки в Петербурге, а Мишенька больше всего этот праздник любил, особенно ряженных, их песни, пляски, все сумасбродство. Он часто жаловался, что не было у него в детстве сказок, не было Арины Родионовны, как у Пушкина, кумира его и бога, мол, плохо это для поэзии... Ты, чертовка, почему сказок для моего внука жалела? Ишь молчунья! Небось растеряла память, при барах обретаешься?.. А песни Миша слушал и сам певал и наигрывал, и на рожке, и на флейте, и на чем хочешь... Опять меня занесло... Да вот, надумала я в шальной моей голове ряженных пригласить. Пусть, когда господа охмелеют и от цыганских плачей устанут, ворвется шайка смазливых, пакостных рож и позабавит их песнями и всяким фокусничаньем. Вроде не ко времени, да у кого средства есть, тому в любой день святки. А мне надо Мишеньку развлечь. У него нервы во все испорчены. Разным я его видела: и когда за отца переживал, и когда в Московском университете неприятность вышла, и когда Катька Сушкова его мучила, но таким, как сейчас, не видела. Пуля, что Пушкина убила, и сквозь него прошла. Заболел он нервной горячкой, после все хотел Дантеса вызвать и отомстить за Александра Сергеевича. Но государь упрятал француза на гауптвахту. И слава богу, а то беспреречно бы Дантес и этого русского поэта уложил. И не потому, что наши стреляют плохо или отвагой не берут. Оба бесстрашные и стрелки отменные. Не могут они первыми в человека выстрелить, даже в злейшего врага. Вон Пушкин сколько раз дрался, а ни одной дуэли не выиграл, все в воздух палил. И Мишенька такой же. Им

жаль чужую жизнь, а их кто пожалеет! Нельзя поэтам на дуэлях драться. Никого на свете Миша так не любил, никому не поклонялся, как Пушкину. Молился на него. А когда впервые в свете столкнулись, будто онемел и ничего своему идолу не сказал. Потом горько сожалел. Но как же обрадовался, когда ему передали, что Пушкин «Бородино» похвалил. «Далеко мальчик пойдет!» — доподлинные слова Александра Сергеевича. И Мишенька жил мечтой о новой встрече. И что Пушкин ему главное слово скажет. Не дождался, Дантесова пуля ту мечту убила. (*Утирает глаза. И, разозлившись на себя за слабость, говорит иным, деловым Тоней.*) А кружевниц ты привезла?

Аграфена кивает.

(*Звонит в колокольчик и приказывает явившемуся слуге.*) Девоч-кружевниц приведи!.. Поди, забаловались там без хозяйки. Ну, я их приструню. Заставлю новые узоры плести.

Появляются кружевницы: Черные очи, Карие очи, Синие очи и Сероглазка. Приседа, здороваются с барыней, потом становятся рядом.

Слушайте, девки, мое наставление. Здесь вам не Тарханы, а столица. Народ охальный, хитрый. Наговорят, наобещают с три короба и последнее отберут. Держи ушки на макушке. И чтоб без шашней. Я этого не потерплю. Зарубите себе на носу. И к гостям Михаила Юрьевича на глаза не суйтесь. Гусары — сорвиголовы. А к самому баричу, коли по старой памяти в деловую заглянет, поласковой, потеплей будьте. Песню спойте, он страсть деревенские напевы любит, спляшите, авось ноги не отвалятся. И всякое его желание предупреждайте, чтоб еще подумать не успел, ан уже сделано. Понятно?

Девушки, перемигиваясь и пересмеиваясь, дружно кивают.

Ладно, ступайте, негодницы! (*Слуге.*) Вели их китайским чаем напоить, с вареньем и пряниками.

И откуда такая статья? Трескают картошку, капусту, огурцы, а стройны, как нимфы. Хороша наша пензенская порода! Ну как, нахлебалась? Давай и за дело. Подсоби-ка!

Вдвоем они извлекают из шкапа туго набитый мешок.

Велела я к твоему приезду собачьей шерсти набрать. Свяжешь Мишеньке жилетку. Собачья шерсть самая, говорят, для тела полезная. И теплая, и мягкая, и целебная. Я все за его здоровье опасаюсь. Помнишь, какой он хворый был? И золотухой, бедный, мучился, и простуды бесконечные, и перхал, и легкими недужил. Болтали кумушки: не жилец. По правде, я и сама, грешным делом, думала, что он в мать свою покойную пошел. Уж я ли не тряслась над моей ненаглядной, а сгорела от злой чахотки в двадцать три года. Злой рок надо мной, Аграфена, все, кого люблю, рано уходят. Мужу и тридцати пяти не было, как он в одночасье помер. Знаю, пустили сплетни, будто яд принял, оттого что я любовницу его Мансыреву в дом не пустила. Враки! Я, правда, велела ей передать, что осрамлю перед всем обществом, коли на мой порог сунется. Спектакль у нас любительский был: «Гамлета» играли. Ну, Михаил Васильевич все выбежал на крыльцо пассию свою встретить. Не знал, что я нарочного выслала и тот ее в пути перехватил. Лютые крещенские морозы стояли, он потный весь, его и прохватило. К тому же переволновался, вина выпил и, как могильщика в пятом действии отыграл, прошел в гардеробную, тут ему карачун и приключился. А что там пузырек пустой нашли, так он, видать, капли сердечные принял. Какое еще самоубийство? Никем не доказано. Мы хоть и ссорились, а помнили о прежнем счастье, он меня, бывало, на руках носил, даром что я рослая, налюбоваться не мог. И если б тогда не помер, наладилась бы наша жизнь. Но все в руке Божьей. И дочка судьбу мою повторила. Вышла по страстной любви, да, хорош был Юрий Петрович Лермонтов, ничего не скажешь, но ветреник. С кре-

постными девушками баловался, после наложницу завел, компаньонку жены Юльку Ивановну. Ее из тульского имения Арсеньевых прислали на исправление, она там юного моего родственника соблазнила. Месяца, может, не прошло, застала Машенька мужа в объятиях этой Юльки бесстыжей. Так вот она исправилась. У дочки не было моей силы, я все выдержу, зашатаюсь, упаду да опять на ножки встану, недаром меня Марфой Посадницей кличут. А та слабогрудая, деликатная, нежная натура. Стала чахнуть. Юльку-то я из дома выгнала, да уж без пользы. Сжигала Машеньку чахотка. Редко-редко скользнет с кровати тенью бледной к роялю, Мишеньку на колени посадит и играет слабыми своими пальчиками. А он, двухлетний, вроде бы и душа не проснулась, а все понимает, слушает музыку, а по щекам слезы текут. Так они сидели и оба плакали. И ведь помнит он свою маму. Из этой памяти стих родился про ангела. Летит по небу ангел и несет на землю юную душу. Но душе этой на земле не прижиться, потому что помнит она о рае.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Господи, ну можно ли поверить, что это семнадцатилетний мальчик написал? Это он о себе, о маминой музыке, которая стала для него воспоминанием о рае... Постой, старая, что с тобой? Ты плачешь? Неужто тебя так Мишины стихи тронули? Да может ли быть в подлом сословии такая тонкость чувств? Слушай, ты... Аграфена, хочешь вольную? Опять предлагаю. Чего головой качаешь?.. И верно, на что тебе вольная, все одно при мне останешься. Знаешь, твой племяш, каретник Андрон, просился в отхожий его отпустить. Разрешаю. Без оброка. Завтра старосте напишу. Ни-ни, не смей к ручке тянуться. Поклонись вежливо — и хватит... Опять я сбилась. Рада очень, что тебя вижу. Смутно мне, тревожно, всякие мысли роятся, а вылить душу

некому. Мишенька вон рассердился и не заходит. А с тобой я люблю разговаривать. Ты умная. Я серьезно. Ты молчишь умно. А иной распустит язык, а дурак дураком, и сказать ему нечего. Вспомнила, о чем говорила. Бывает, заедешь на чужое поле и выбраться не можешь. Да не чужое оно, нет, мое, самое горькое поле. Как мог Мишенька, который все так сильно чувствует, простить отцу смерть своей матери, ангела, что ему о небе пела? И не только простить, а полюбить невесть за что. Он и не видал его почти, а как тянулся! Вот он, голос крови. И обижался за отца, страдал ужасно, что тот бедный и незнатный и родня его не уважает. Но я знала, в чем Мишенькина польза, и не отдала его отцу. Разве мог Юрий Петрович маленького, слабого, болезненного сыночка выходить? Мог ли воспитать его, сам в воспитании нуждающийся? Мог ли ему образование дать? Уж на что он взбалмошный был и упрямый, а и то понял, где Мише лучше будет. И смирился. Но чего мне это стоило! И у Мишеньки против меня в душе отложилось. Он сроду не признается, но меня не обманешь. Когда человек любит, такое всегда чувствует. Да пусть хоть проклинает меня, для его пользы я что хочешь вытерплю. И вот с Пушкиным тоже. Я сразу почуяла опасность. Неужто мне Пушкина не жалко, неужто я не понимаю, что он для России значит? Я через Мишеньку все стихи узнала. Но, видя, как Мишенька переживает, стала говорить, что Пушкин сам виноват. Сел не в свои сани и вылезти из них не решился, вот и привезли они его прямешенько к гибели. «Не в свои сани не садись» — старая мудрость. Ведь и Мишенька изо всех сил к свету тянется, а не светский он человек, нет в нем ни лоска, ни угодливости, ни умения лавировать, прям и резок, доверчив и бесстрашен. Хорошо еще, просто шишки набьет, а если другой Дантес?..

И ведь ничего нового я ему не открыла. У него, как в стихах: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил ты в этот свет завистливый и душный...» Стало

быть, знает и, как бабочка, сам на огонь летит. Вот что меня убивает. Не шаркун он паркетный, не красавец раздушенный, не богатырь, как Монго Столыпин, ничем для света не взял. Нужны им его ум, талант, острый язык! Мы уже знаем, как высший свет гениев ценит. Мишенька вроде и сам все понимает, смеется над своей внешностью, «чисто, говорит, армейской», горбачом Вадимом себя вывел, а в глубине души страдает и думает силой характера взять, блеском, славой. Да нешто светским красавицам ум нужен, им ус подавай. А у Мишеньки и усишки-то жиденькие. Им рост подавай, ногу стройную, а мал и кривоног наш бедняжечка. О господи!.. Конечно, за Мишеньку любая пойдет, есть в нем для женщин обаяние, а главное — есть у бабушки помещице нерасстроенное, кое-что в сундуках, да и связи немалые, чего еще нынешней красавице надо? Да он о женитьбе не помышляет. Ему бы блистать и покорять. Вот Пушкин доблистался. Правда, потом Александру Сергеевичу в великую тягость стали свет и двор, да поздно, сердешный, спохватился, там жертву так просто не отпускают. Изволь платить за гордость не по чину, за независимость, за шутки колкие, за презрение к выскочкам. Род-то Пушкиных хотя и старинный, а захудалый. Мишенька и тут с Александром Сергеевичем схож. Древо Лермонтовых скрыто в шотландских туманах, никто, кроме Мишеньки, не берет всерьез воспетого Вальтером Скоттом барда Лермонта. Сам же за худобу отца своего переживал, сам же хочет тягаться с Шереметевыми, Голицыными, Оболенскими или новой знатью, вроде Орловых, Разумовских, у тех грамота геральдическая хоть не пожелтела, да богатства несметные. Нет, надо Мишеньке держаться подальше от гостиных и блестящих залов. Вот я и думала примером Пушкина его устроить. И как же он разгневался! За отца родного так не гневался, как за Александра Сергеевича. Веришь ли, мне даже показалось, что ударит. Конечно, никогда у него рука на ба-

бушку не поднимется, но знаешь, Аграфена, можно ударить глазами.

Ни у кого я таких глаз не видела, как у Михаила Юрьевича. То блестят, орят, сверкают, то ночи черней, непрозрачные, тусклые, тяжелые, остановившиеся, как у мертвого. Но редко можно прочесть по его глазам, что он чувствует. С друзьями-гусарами у него глаза всегда веселые, улыбочивые, а это вовсе не значит, что ему весело. Это значит, что ему должно быть весело, и он заставляет себя — не веселиться, тут глаз не заблещет, — а чувствовать, что ему весело. Непонятно говорю? Мне и самой непонятно. Вроде бы, коль человек заставил себя чувствовать веселье, радость или горе, — значит, это чувство им владеет. А у Лермонтова не так. У него воля громадная. Он принуждает себя, и ему по всем статьям весело: улыбка на детских губах, эпиграммами так и сыплет, бокалы залпом осушает, первый заводила и дебошир, а на самом дне лютая печаль. Не знаю, всегда ли так, во время холостяцких пирушек я его не видела, но думаю, что не ошибаюсь. Ведь гусары там, или товарищи детских игр, или студенты — разницы нету. А в обществе, особенно когда кругом молодые красивые женщины, взгляд у него вдруг станет свинцово-тяжелым, веки припухнут и моргать забудут, и кажется, будто он за тысячу верст отсюда. Иная дура-красавица осведомится: где вы, господин Лермонтов, никак стихи сочиняете? Он непременно колкостью ответит. А дело в том, что Мишенька весь в этом бале или в этой гостиной, ему до боли хочется привлечь к себе внимание, победить всех соперников, покорить всех женщин, а как?.. И вдруг станет легким, спокойно-насмешливым, это значит, все переварил внутри, сам себя высмеял и освободил душу. Но в тот раз, когда мы с ним из-за Пушкина сцепились, не требовалось особой пронизательности, чтоб прочесть Мишенькин взгляд. Такая в нем была боль, такая обида, такой гнев, нет, хуже, ненависть. Бабушка родная с врагами Пушкина стакнулась, с теми, кто его погубил. И уж мне не объяснить было, что плачу я

над Пушкиным, ненавижу его убийц не из-за него самого даже, а из-за Мишеньки. Они у меня в голове путаются, думаю о Пушкине — и вижу Мишеньку, о внуке душа заболит — вижу Пушкина на снегу распростертым. Кажется, поэт должен все понимать, нет, и поэт из своих пределов не вышагнет, все мы как магическим кругом обведены, и нет нам из него хода. Ведь я урожденная Столыпина, мой род процветает, а Пушкины и Лермонтовы в загоне, значит, я из той самой светской черни. И смех, и слезы!.. Может, мы бы еще нашли общий язык, да тут, как на грех, зашел Николай Столыпин, он в министерстве иностранных дел служит, у графа Нессельроде, злейшего врага Пушкина. И схватились кузены не на жизнь, а на смерть. Кончилось тем, что Миша велел ему немедленно убираться, а то он за себя не отвечает. Столыпин смутился, оробел: «Да он сумасшедший, его надо связать!» — ноги в руки — и деру. Пока они спорили, Михаил Юрьевич что-то все на подоконнике черкал. После я на ковре лоскуток бумаги подобрала. Обрывок стихотворения. Начало — лучше некуда. «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов». Это он в Николашу метил, да и во всех Столыпиных. Мой-то батюшка на винных откупках при Екатерине взошел. С графом Алексеем Орловым компанию водил. Михаил Юрьевич не только по моим родичам ударил, это бы полбеды, а по самым близким к трону людям. Ладно там Орловы, Разумовские, Шуваловы, у иных хоть заслуги перед Россией были, а всякие немцы, что трон окружают, они-то вовсе рассвирепеют.

Что он с этими стихами сделал? Бросил, порвал, а вдруг в свет пустил? Тогда помилуй нас Бог... Но, вишь, время прошло, он мне записку ласковую прислал, обещал прийти, я обед затеяла, цыган позвала... Авось обойдется. А нет — что ж, мне не впервой сильным кланяться. Есть ход и к Бенкендорфу, и даже к великому князю Михаилу Павловичу. Он Лермонтова стихи ценит. *(Вдруг залилась смехом.)* В какие только истории я из-за Мишеньки не попадала!

Помню, еще в юнкерах он жестокою простуду схватил. Мне донесли. Я сразу в Петергоф, где полк его стоял. Являюсь к полковнику Гельмерсону: отпустите больного домой. Он выставился на меня: «А если ваш внук захворает во время войны?» — «Ты думаешь (я ведь, ко всем на «ты»), что бабушка его отпустит, где пули летают?» — «Зачем же он тогда в военной службе?» — «Да это пока мир, батюшко! А ты что думал?» И забрала я Мишеньку. Сейчас вон, говорят, с горцами сражение началось, самое время из военной службы уходить. Да попробуй уговори его! Значит, снова у нас споры и плачи пойдут, снова он на бабушку озлится. Ох, устала я, Аграфена. Чем старше Михаил Юрьевич, тем с ним труднее. Никогда не знаешь, что он выкинет. Может, зря я этот пир затеяла? Он еще по Александру Сергеевичу скорбит. Поди, разгневется на цыган и на хари мерзкие? (*Звонит в колокольчик.*)

Появляется торжественный камердинер Никита.

Никита, как цыгане явятся, отведи их в малые покои и винца им рейнского подай. И пока не позову, держи там. Понял? Ежели отменится, сейчас расчет сделаешь, как за полный вечер. А ряженных собери в людской. И тоже без моего приказа не пускай. Никак внизу дверь хлопнула? Неужто Мишенька так поспешил? Ангельчик мой! Господи, а я и не одета. Аграфена, давай скорее платье, знаешь, бархатное с шитьем...

Снаружи слышится какой-то шум. Голоса. Никита выходит и почти сразу возвращается с конвертом в руке.

Поклонившись, отдает барыне.

(*В сильном волнении.*) Господи, да что это? Неужто Мишенька передумал? Неужто не придет? Господи, пощади старуху. Отведи беду. Ох, как сердце колотится!

Аграфена капает из пузырька в стакан успокоительное, подает барыне, но та резко отводит ее руку.

Ну, Марфа Посадница, где же твоя смелость? (*Разрывает конверт.*) Ничего не вижу... дай очки, другие... (*Чита-*

ет.) «Сударыня, только из любви к поэзии господина Лермонтова, коего почитаю как нового Баркова...» Что это? Насмешка? Издевательство? *(Хочет порвать письмо, но удерживается.)* «...и чьи несравненные перлы: «Уланша» и «Петербургский гошпиталь» наизусть знаю, взял я на себя скорбное и весьма опасное для меня поручение сообщить Вам о неприятности, постигшей вашего внука». Боже мой! Это не в шутку. Это всерьез, хотя и дурак писал. «Ваш внук находится под арестом и лишен сязи с внешним миром...» Господи, не оставь! Ох, чую мое сердце!.. «Он взят под стражу за приписку к стихотворению «На смерть поэта» и распространение оной...» Что я говорила, Аграфена? Знала, всегда знала, что не пройдет даром эта дерзость! Только обманывала себя. Обедом обманывала, шампанским, устрицами, цыганам!.. «Допрошенный графом Клейнмихелем, господин Лермонтов во всем признался и сейчас ждет решения своей участи. Видать, пошлют его на Кавказ в армию тем же чином усмирять непокорных горцев...» *(Издает глухой стон и закрывает лицо руками. Пересилив себя, читает дальше.)* «Прошу Вас, милостивая государыня, письмо мое тотчас уничтожить. Я человек маленький, а коли сведают, что г-ну Лермонтову услужил, полный мне фиаско выйдет...» Болтун! Фиаско ему выйдет. *(Никите.)* Кинь в печку. А фиаско-то нам вышел. Полней некуда. Чего я больше всего боялась, то и случилось. Горцев усмирять!.. Как бы они не усмирили — пулей или кинжалом. Господи, всеблагой, не дошли мои молитвы, не тронули тебя? И чем я тебя прогневила, старуха жалкая, что отнимаешь всех, кого люблю? Ничего ты мне не оставил. Один внучек был, и того — под пули черкесские!.. *(Ударяет себя кулаком в грудь.)*

Аграфена подходит к ней, хочет усадить в кресло.

Отстань! Ступай в людскую, пусть всякое дело бросают и о благополучии раба божьего Михаила молятся. И чтоб по-

клоны клали истово. Кто шишек на лбу не набьет, задницей поплатится.

Аграфена выходит.

Господи, сохрани его под пулями, а уж я сама добыюсь прощения. Довольно слез, надо сильной быть, настойчивой и цепкой, как репей. Вцеплюсь в горло моим сородичам и вельможным друзьям, я старуха, мне все позволено. Сяду — не слезу, пока не вернут мне внука!..

В дверь просовывается страшная харя.

Кто таков? Ну и образина! Из преисподней, что ль? А, ряженные! *(Подходит к дверям и широко распахивает створки.)* Давай сюда! Не робей!

Вваливается жуткая, как в бреду, ватага в вывороченных тулупах, в немыслимом тряпье, волосы всклокочены, у кого мукой присыпаны, у кого свекольным раствором крашены; щеки горят от бодяги; накладные усы, бороды, приставные носы, рога.

В руках — метлы, трезубцы, рогожные кули на палках.

А ну, ходи веселей, вшивая команда! Жги, не жалей сапог! Кружись, пляши, дери глотку! Всех вином напою! Никита, шампанского для дорогих гостей! А ну, наддай!..

Оробевшая поначалу, шатая загикала, засвистала, заблеяла, завизжала и пошла выкидывать колена в чудовищной пляске-кривлянии вокруг Арсеньевой. И она сама притопывает избоченясь. Понутив голову, глядит на барыню верный Никита.

—
3
—

Тарханы — имение Арсеньевой. Светелка в барском доме, служащая Арсеньевой к малой гостиной, и комнатой для дневного отдыха. Мебель красного дерева; у окна рабочий столик, за которым прилежно трудится Аграфена; к стеклу прижалась щедро облиственная ветка клена. В углу божница; над диваном большой портрет императора Николая I.

Елизавета Алексеевна Арсеньева приметно изменилась за минувшие четыре года: голова совсем побелела, прибавилось морщин, в углах

рта образовались две глубокие горькие складки. Но стан по-прежнему прям, движения сухи и четки, голос чист от старушечьего пришепывания. Она все еще Марфа Посадница, хотя и побитая жизненными невзгодами и вечным страхом за единственного любимого.

А р с е н ь е в а. Растревожила меня графиня Ростопчина своими стихами. Уж лучше бы и не присылала. Лестно, ничего не скажешь, от доброй души написано. Она искренне Михаила Юрьевича любит, не просто любит, а преклоняется перед ним. Поэт поэта всегда поймет. Вынь-ка вату из ушей, послушай стихи.

Аграфена бросает на барыню укоризненный взгляд.

Ладно тебе! Слова нельзя сказать. Знаю, что лучше меня слышишь. Только стихи другим ухом слушают... Есть у тебя такое ухо, иначе б не стала читать. Экое самолюбие у старухи!

Но есть заступница родная.
С заслугою преклонных лет
Она ему конец всех бед
У неба выпросит, рыдая.

Ошиблась графиня: не доходят до неба мои молитвы, а до земли — просьбы. Глух стал ко мне Господь, а того глуше — граф Бенкендорф. Что уж там Мишенька нашкольничал — не знаю, но озлился на него граф — хуже некуда. Неужто из-за машкерада? (*Хихикает.*) Знаешь, старая, что Мишенька отчудил? Увидел двух дам в домино, взяла их под руку и стал прохаживаться. А то были царственные особы. Они не могут себя выдать, а он, плут эдакий, делает вид, будто не узнал. Все так и обмерли, граф Бенкендорф от бешенства перчатки порвал, а что поделаешь — машкерад! С Мишенькиной стороны это, конечно, шалость непростительная, но, с другой стороны, или сиди себе во дворце, или терпи, коли под маской пришла. Да уж больно они к славе своей ревнивы. Иные думают, что дуэль с заносчивым Барантом, сыном французского посланника, Мишеньку подвела. Нет, тогда великий князь его под защиту взял, мол, негоже русскому офицеру перед

иноземцем тушеваться. А тут все Мишенькины покровители враз отвернулись. Михаил Павлович давно сердит был, для него воинский порядок и дисциплина на первом месте, а у внука то ворот мундира опущен, то эполеты не надеты, то сабелька не подвязана, то еще какое самовольство. Другие же Бенкендорфа страсть боятся, а он Мишеньке — первый враг. Он свое призвание в том видит, чтоб русских поэтов преследовать. Что делать? Одно остается: пасть в ноги государю. А ну-ка и он не снизойдет? Мишенька, когда о прошлый год в Тарханах гостил, признался, что ему на Кавказе долго не выдержать. Я, говорит, на выслугу надеялся, на прощение, но чувствую, что все для меня закрыто. К Владимиру за храбрость представили — отказали, к золотой сабле — отказали, в чине не повышают. А нынче Монго Столыпин отписал: решено и вовсе Мишеньку в деле не использовать. Храбрость его отчаянная всем известна, так, чтобы не отличился, пусть в сражениях не участвует. С одной стороны, оно и лучше: горская пуля меткая, с другой — нешто только от чечни погибают? Выходит, его там как декабриста держат, даже хуже, тем выслуга не заказана. А надзор и тайный, и явный — за Мишенькой ничуть не слабже. Да разве согласится он на такую жизнь? Он и раньше говорил, что опротивела ему эта война. Но в боевой потехе он хоть забывался, а бездельничать возле войны — какой толк? Сорвется Мишенька, беспрерменно сорвется. Раньше я люто сражений боялась, а сейчас не знаю, что для Мишеньки хуже — звон оружия или тишина. Плохо, плохо все обернулось, хуже некуда. Не ждали мы такого. Знаешь, в последний свой приезд в Петербург он самым модным человеком был. У него стихи вышли, роман. С ним все носились: и знаменитые писатели, и мыслящие люди, и первые светские дамы, прямо нарасхват мой голубчик шел. И радовался он, сердешный, порхал, как бабочка, доверчивый, бесстрашный и наивный... А ведь успех в свете — палка о двух концах. Прощают тем, кто знатен, влиятелен или сказочно богат. А коли ты личными достоинствами взял, сразу являются завистники и хулители. Пошли клеветы и наветы,

доносы по начальству. Кто на эпиграмму обиделся, кто жену — свою или чужую — приревновал, третьему что нож вострый — успех мальчишки-офицера, а еще вспомнили, что он в опале, в кавказской ссылке, а ведет себя в Петербурге как светский лев и ни перед кем не заискивает, не стелется. Пушкина припомнили со старой злобой. Одного, мол, сбыви, другой объявился. Собралась черная туча над Мишенькиной головой, и грянул гром. Прочь из столицы на Кавказ, в армию, но не в дело, а под надзор. Как жизнь переменилась, Аграфена! Помнишь, когда Мишеньку за стихи арестовали и еще юнкер-дурак письмо прислал? Достало у меня сил Мишенькину участь смягчить. И позже, когда с Барантом дрался. Дрался! Барант ему бок и руку шпагой проткнул, после пулей убить хотел, а Мишенька в воздух выстрелил. Видать, Баранту Дантесовой славы захотелось. Но ему ничего не было, а вся кара на Мишеньку пала. Опять немилость, опять ссылка. Кабы не великий князь, могли и в солдаты упечь, с лишением дворянства и всех прав состояния. Вот тогда уже я поняла, как Мишеньку ненавидят — двор, власти, вся светская чернь. Ох, худо, ох, страшно! И чего я здесь сижу? Чего жду! Под лежач камень вода не течет. Надо в Петербург ехать, Мишеньку спасать. Неужто государь не склонит слух к просьбе старой дворянки? Я ведь не только Арсеньева, я Столыпина, наш род всегда опорой трона был. Мы верно царю служили, с первыми вельможами водились, от нас не отмахнешься! (*Подходит к киоту, тяжело опускается на колени.*) Господи, всеблагий, умили стиви государя!.. Господи, защити и помилуй внучка моего единственного!.. Никого ты мне больше не оставил, Господи!..

Аграфена тоже молится.

(*Поднявшись.*) Ну, хватит Богу надоедать, а то еще разгневется. Слушай, Аграфена, Бог меня сейчас надоумил, вроде как видение наслал, а не женить ли Михаила Юрьевича? Найти ему невесту, знатную и со связями, чтобы родня перед государем заступилась. Михаил Юрьевич не безрод-

ный, не нищий, он в славе и собой молодец. Чем не жених? Пора ему остепениться. Он о журнале думает, о серьезном литературном труде. В гусарской компании не больно потрудишься: пиры, развлечения, романы, шалости, а потом сожаления о пропавшем без толку времени, грусть и нежелание жить. А тут — жена-красавица, добрая и умная, детишки. Михаил Юрьевич страсть детей любит. Он дочери Вареньки Лопухиной, своей любви единственной, чудные-пречудные стихи посвятил!.. Ах, Господи, неужто возможно такое счастье — увидеть Мишеньку женатым, спокойным, занятым серьезными думами и трудами? И чтоб забылись, как дурной сон, Кавказ, черкесы, армейская служба и пустое молодечество, недоброхотство начальства и вечный топор над головой. Господи, нешто я о чем дерзком мечтаю? Все люди так живут, а для Мишеньки это недостижимое счастье. Только вот хочет ли он такого счастья? «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

Со двора доносится тихая песня — лермонтовская колыбельная, которую поет простым голосом крестьянская женщина над своим ребенком.

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

(Прислушивается. Подходит к окну, выглядывает наружу.)

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю...

Слышишь?.. Чужая баба поет, не тарханская и не михайловская. А спроси, откуда песня, скажет, народ сочинил. Вот так-то! Я из-за Михаила Юрьевича многое понимать стала, о чем раньше и не думала. Стихи, признаться, в грош не ставила, так, забава, пустяк. Ну, песня хорошая — дру-

гое дело, да там напев главное. А теперь знаю: в стихах страшная сила. В них такое выразить можно, что простой речью нипочем не скажешь. «Демон» — какая силища, а начни пересказывать — не демон, а домашний черт получится, каким девок пугают. Я понимаю теперь, почему Мишенька все в людскую шастал и в девичью, когда еще не знал, для чего девки нужны. И почему любил с деревенскими ребятишками возиться, в войну играть, а после кулачные бои устраивать. Из этой потехи «Песнь о купце Калашникове» родилась. Поэт у народа речь берет, а после народу же возвращает. Только лучше, чище, красивей. Странное дело, Аграфена, вроде бы я Мишеньку воспитывала, я его под арсеньевский, под столыпинский уклад ломала, а сейчас мне кажется, что он меня обломал. Нет, «обломал» плохое слово. Я не обломанное дерево, я еще ветвистей стала. Я и раньше не такой была, какой меня представляли. Родня думает, что во мне рано все женское угасло. Нет, дело прошлое, и я тебе признаюсь. Это уже после смерти мужа неверного было — полюбила я дворового человека Ивана Яковлева. Он на Лушке красивой хотел жениться, а я не позволила. Помнишь, он меня в церковь на шарабане возил? Я тогда лошадей боялась, и Яковлев сам впрягся, заместо жеребца, и духом к церкви доставлял. Но почти всегда оземь грохал. Он нарочно чеку вынимал, и колесо отваливалось. Всех удивляло, что я его не наказывала и даже не ругала. Другому кому сразу б велела полголовы обрить, а этому все с рук сходило. Жалко мстил мне бедняга, что с Лушкой разлучила. А когда дочка преставилась и Мишенька на руках моих остался, вся страсть на него перешла, и Яковлев из шарабана выпрягся. Истинно, страсть, какую я и к мужу моему не испытывала, хоть влюблена была без памяти, и к черту глазастому Ваньке Яковлеву, которому жизнь разбила. Я за Мишеньку всю кровь из себя по капле отдаю, на костер взойду. Я страшной жизнью живу, но до краев полной. Нет на свете никого несчастнее меня, нет, наверное, и никого счастливей. Любая весточка от него —

счастье, стихотворение новое — бал души, облачко над его головой — мне буря. Во всем я обобрана: в женской доле, в детях, а могу сказать о себе, что жила, а не тлела. И я свою судьбу ни на какую другую не променяю. Будь Мишенька просто молодым человеком, каких тринадцать на дюжину, я все равно б любила его без памяти, но разве может мое сердце не цвести, когда его гением называют? Вот вам и золотушный, вот вам и сутулый, вот вам и кривоногий. Монго Столыпин — красавец писанный, а если его и вспомнят, так только потому, что в Мишенькиных друзьях ходил. Ладно, раскудаhtалась! Лучше о деле думай. Женитьба, конечно, выход, только вряд ли кто за опального дочь отдаст. Нет сейчас таких людей. Робкий век, рабы души. Нет, как ни крути, а надо прощение вымолить. А потом уже о невестах думать. Надо, чтобы он в Петербург вернулся, в отставку вышел, журнал завел, доказал властям, что уж не мальчик, а степенный муж, и тогда... Скажи, Аграфена, только честно: видишь ли ты Михаила Юрьевича угомонившимся, солидным в речах и поступках? Я, по правде говоря, не вижу. Он сейчас школьничает почище, чем в юнкерском училище, только поэм скабрезных не сочиняет. И чем ему грустнее, безысходнее, тем больше проказничает. Не хочет, чтоб люди знали, что у него внутри. Никому он не позволяет в себя заглядывать, даже мне. Но я-то и без позволения все вижу. За тысячи верст вижу. И знаю, что надо мне в Петербург поспешать. И так сколько времени потеряно. Бог не оставит меня. Государь суров, строг, но не безжалостен. (*Звонит в колокольчик.*)

Входит камердинер Н и к и т а

Никита, вели возок готовить. В Петербург еду. Со мной — Аграфена, слуга Василий, кучером Никодим. А ты соберешься не спеша, с толком, как следует, и за мной следом. Я тебе подробную инструкцию оставляю. Ступай!

Никита выходит.

Нахвасталась я тебе, что полная моя жизнь. Слишком полная. Устала я. Душа во мне устала. Сердце устало. Косточки устали. Мне ж под семьдесят, а Мишенька меня гоняет, как девку молодую. То в Петербург, то в Тарханы, то назад в Петербург. А я ведь по-старому лошадей боюсь. Мне б полежать, отдохнуть, понежиться, нет, только и знаешь, что из очередной беды его вызволять. Пиши этому, пиши другому, ищи встречи с третьим. Клянчи, моли, грози, плачь, заслуги предков поминай, свою старость и немощь. Нельзя ж так! Дай мне хоть немножко покоя, внучек, ослабь хомут, отпусти вожжи, устала лошадка, ох как устала старая кляча! Мне давно на живодерню пора, а я все везу, везу, с горы на гору, ноги сбиты, холка в крови, спина изъедена... (*Вытирает слезы.*) А иной раз закроешь глаза, размечтаешься: послал Господь чудо, и все само устроилось. Не знаю уж как, да ведь Бог все может, коли захочет. Вдохнет добро в грудь Мишенькиных врагов, и отпустят они ему его бедные вины. И явится он — загорелый, возмужавший, спокойный, радостный...

С улицы слышится колокольчик.

Господи! Аж сердце екнуло. Кого это принесло?.. Не хочу никого видеть. Пойди глянь...

Входит слуга и протягивает Арсеньевой конверт.

Письмо? Откуда?.. Поддай очки! Что-то страшно мне стало. (*Дрожащими руками надевает очки.*) Мишенькина рука. Слава те, Господи! И чего я, дура, так перепугалась? (*Разрывает конверт.*) «Дорогая бабушка, пишу Вам с того света. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в живых...» Что это с ним? Кахетинского, что ли, перебрал? Нешто можно так шутить?.. «Завтра у меня дуэль с Мартыновым, Мартышкой, черкесом с большим кинжалом. Сам виноват, не шути с дураком, нарвался на вызов. Стрелять я в него не стану, а он выстрелит и не промахнется. Я понял по его злобному взгляду. Письмо это перед самой дуэлью передам Монго...» Свят, свят!.. Нет, не буду дальше читать.

Не для меня такие шутки... Да тут еще записка вложена. От Монго, узнаю его лапу. (*Читает.*) «Я подлец — недоглядел Мишеля. Он убит на дуэли...» (*Стоит недвижно.*)

Аграфена кидается к ней, хочет поддержать.

Поди прочь! Я — Столыпина. Нас с ног не собьешь. (*Падает как подкошенная.*)

—
4
—

Та же комната через несколько часов. А р с е н ь е в а лежит на кушетке, укрытая пледом. Но вот она зашевелилась, открыла глаза, попыталась встать, но слабость повергла ее назад.

Арсеньева (*чуть слышно*). Помоги встать-то...

Аграфена приходит на помощь своей барыне. С Арсеньевой произошла разительная перемена, она превратилась в дряхлую старуху. Исчезла осанка, согнулась спина, обвисло, почернело лицо. С белыми волосами, в длинной белой рубахе, она похожа на привидение. Аграфена накидывает ей на плечи халат.

(*Далеким голосом.*) Какой сон страшный мне приснился: Мишенька под горой лежит, а над ним ворон кружит. К чему бы это? К болезни или... Постой, ты плачешь?.. (*Сжимает голову руками.*) Значит, это правда? И не приснилось?.. (*Потерянно.*) А как же я живу еще?.. Разве я имею право жить? (*Подходит к кияту.*) Ответь, Господи! Что ты все молчишь? (*Зажегшимися темными глазами глядит в равнодушное лицо Бога.*) Открой свой замысел. Забрал молодого мужа, дочь чахоткой спалил, внука злодею под ноги швырнул. Зачем ты отнял у земли Лермонтова, Господи, лучшее твоё создание, твой самый драгоценный дар людям? Неужто ты так скуп, Боже? Дал и сразу забрал. Ты не меня одну, ты всю Россию осиротил, отнял ее звонкий голос. Зачем ты так мучаешь детей своих? Или сам не ведаешь, что творишь?.. И ты, заступница, где милость твоя? Я ли не молила, ты-то ведь знаешь, каково сына терять!

Может, слаба стала? Что же тогда сыну или мужу своему словечка не замолвила?.. Я богохульствую?.. Ладно, пусть хоть раз услышат правду цари небесные. А кто там истинно царь, поди разберись. Небось не бородатый старик и не сын его, а тот, о ком Мишенька поэму сочинил. Нету у меня больше Бога, умер мой Бог!.. Аграфена, помоги снять образ-то. Пусть его в каменную церковь отнесут. Мне он не помог, может, кому другому поможет.

В божнице остается четырехугольная пустота на месте снятого образа.

Письмо... письмо Мишенькино где?..

Аграфена подает ей письмо.

Никто с того света писем не получал, а мне пришло. Никому его не дам, в могилу со мной ляжет. *(Читает.)* «Милая бабушка, не убивайтесь слишком по мне. Жалеть можно того, кто цепляется за жизнь, а я не цепляюсь. С меня хватит. Хватит злобы, клевет, преследований, тупой жестокости одних, рабьего смирения других, хватит отечественной духоты. Я уже не хочу ни славы, ни Петербурга, ни новых испытаний страстями. Я все узнал, прожил не одну, а несколько жизней, с меня довольно. Теперь я всегда буду с Вами, милая бабушка, больше не надо за меня бояться, просить, умолять, хлопотать, со мной уж ничего плохого не случится. И ни в чем, ни в чем себя не упрекайте. Вы сделали для моего счастья больше, чем это в силах смертного человека. Но что поделаешь, если у Вас такой нелепый внук. Простите меня, милая, родная моя, любимая, последняя мысль будет...» *(Голос Арсеньевой пресекается.)* Что это? Никак ослепла?..

Аграфена подходит и приподымает ей веки. Она отталкивает руки старушки и сама держит дряблую кожу.

Веки от слез ослабели. А хоть бы и не видеть... Не видеть, не слышать, не говорить — ничего не надо. Уйти бы скорее. Уйти, а убийцу Миши жить оставить? *(Она встает, и что-то от былой стати появляется в ее согбенной фигуре.)* Как же так вышло, что никто за Мишу не засту-

пился? Ведь это ж не дуэль, а убийство. И Монго Столыпин хорош! Еще рыцаря из себя корчит. Как же он допустил?... Ну, ладно — дворянская честь... Хотя какая честь в такой дуэли? Он же видел, что Мишенька не хочет стрелять, значит, это убийство. Почему не пристрелил он Мартынова, как бешеную собаку? Не принято!.. Так вызови его за друга! Вызови и убей. Там же еще секунданты были. Никто, поди, и не пикнул. Трусы они, что ли, или дураки отпетые? Михаил Юрьевич за Пушкина сразу вступился и кинулся Дантеса искать. А Мартынова и искать нечего было, стоял перед ними, обгаренный кровью. Ничтожные друзья, ничтожные души! Мишенька всех насквозь видел и жалел в их ничтожестве. Великан среди карликов. Даже убийцу своего жалел. Но я-то не жалею. Раз нет мужчины, чтобы отомстить, я сама негодяя вызову. Дрались и раньше женщины на дуэли. Я русская дворянка, хорошего рода, обязан Мартыш проклятый мой вызов принять. Не примет — оскорблю публично, в рожу наплюю. Все равно, откажется от поединка — так прикончу. Он же стрелял в беззащитного. *(Снимает со стены старый дуэльный пистолет, держит его двумя руками, пытается поднять, но «кухен-рейтер», чуть ли не екатерининских времен, тяжел ее слабым рукам.)* Небось как увидит дуло пистолета, сам за другой схватится. Такой за шкуру свою и старуху застрелит. Только я ему не дамся, я его раньше расшибу. *(Пытается взвести курок и роняет пистолет.)*

На шум поспешно входит камердинер Никита.

Чего уставился? Подними. Не по руке мне он. А ведь молода была, стреливала из пистолета мужу на потеху. Да еще как метко стреливала. Не драться мне с Мартыновым. Ну, подыму я пистолет, а прицелиться все равно не смогу. Не увижу злодея. Кто же отомстит за Мишенькину смерть? Монго?.. Кабы хотел, сам бы догадался. Видать, за карьеру опасается. С дуэлянтов строго спрашивают. Значит, и с Мартынова спросят? А он и так в отставке. В деревню сошлют. Велика кара! В

поместье своем будет сидеть, вином и яствами тешиться, девок щупать и горюшка не знать. А потом его простят, появится в свете, будет интересничать, как же — второй Дантес! Ему небось многие руку пожмут. Потом женится, волчьа сыть. Детей-мартышек наплодит. А лермонтовское древо под корень срублено. Неужто это ничтожество, ноль на ножках будет жить да еще похваляться своей отвагой? Вся кровь свертывается, как подумаешь!.. *(Взгляд ее падает на портрет императора Николая I.)* Вот кто за Михаила Юрьевича отмстит! *(Подходит к портрету.)* Отмщенье, государь, отмщенье! Покарай злодея, великий государь. Столыпина верой и правдой престолу служили и бились за царя и отечество, живота своего не жалея. Покарай убийцу, государь. Слава русская — твоя слава. Худо, что на твоей мантии кровь лучших поэтов русских. Сотри ее. Бог с ними, со Столыпиными. Вся их служба одной лермонтовской песни не стоит... Я знаю, ты гневался на Лермонтова, да не по злобе он шалил, от избытка молодых сил. Двадцать шесть, всего двадцать шесть лет ему было, разве можно с него так строго спрашивать? Он лишь становился мужем и не стал... Накажи Мартынова, государь, лиши его жизни, или в рудники сошли, или в солдаты без выслуги. Ты умеешь карать, государь. Я еду к тебе за справедливостью. *(Камердинеру.)* Вели запрягать. Сегодня выедем!

Никита *(с возрастающим волнением слушал страстную мольбу своей барыни, его благообразное кроткое лицо натекло темной кровью)*. Нет!.. Нет!.. Никуда ты, матушка, не поедешь!

Арсеньева *(потрясенно)* Ты что?.. Ты заговорил, когда тебя не спрашивали? Да еще прекословить вздумал?..

Никита. Сто лет молчал, а сейчас скажу. И что хочешь со мной делай. *(По лицу его текут слезы.)* Нечего тебе в столице делать. Михаила Юрьевича пулей убили, а тебя стыдом убьют. Не хотел показывать... Но коли так... читай! *(Протягивает ей письмо.)*

Арсеньева (*растерянно*) От племянника твоего?.. Помню! Мишенька ему протезировал. Вольную выпросил. В университет послал. (*Читает.*) «...когда же царю донесли о гибели Михаила Юрьевича, он сказал: «Собаке собачья смерть...» Как ты посмел, холопья душа? Да я с тебя живьем шкуру спущу. Аграфена, кликни конюхов!

Никита. Не надо. Сам пойду.

Арсеньева. Нет, стой!.. Постой, Никита... Ты любил Мишу, и племянник твой любил. Не мог он зря написать. Да и кто осмелится клеветать на государя? Значит, ведомы эти слова в Петербурге... Боже мой!.. Царь это о Лермонтове сказал, об убитом. О поэте великом. Экая злоба низкая!.. Теперь все понятно. Знал Мартынов, кому его выстрел угоден. Будто повязка спала. Вольно же тебе, царь Николай Романов, без капли романовской крови, так с подданными своими обращаться, но уж не взыщи, что и мы с тобой по-свойски обойдемся! (*Подходит к портрету царя и с неожиданной в ее старом теле силой срывает со стены.*) Я тебе больше не подданная. И весь род наш убийце коронованному не служит... (*Растерянно.*) Какой род? Арсеньевых? Да кто они мне и кто я им? Столыпина? Если уж ближайший друг и родич предал... Да и какая я Столыпина? Я — Лермонтова! Спасибо, внучек, за подарок твой посмертный, дал ты мне истинное имя. С тем и останусь навсегда при тебе — последняя Лермонтова. Развязались все узы, нет у меня ни царя небесного, ни царя земного. (*Никите.*) Собирайся в Пятигорск за телом Михаила Юрьевича. Останки его фамильный склеп примет, а душу — Россия...

—
5
—

Тот же архивный подвал, что в прологе. Архивариус на своем обычном месте. Входит Дубельт. Следом за ним два жандарма вносят толстые папки, кладут на стол и удаляются.

Архивариус вскакивает и угодливо кланяется.

Дубельт (*приветливо*). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич. Садитесь, садитесь!.. (*Разглядывает его с легким неудовольствием.*) Вы что-то осмелели, не икаете, не дрожите... Ну вот, дело Пушкина окончательно завершено. Самое длинное дело в нашей практике. Собственно, теперь это как бы два дела в одном — Пушкина и Лермонтова. Тем больше пищи для любознательного ума. Государственная телега скрипит, но катится.

Архивариус подсовывает Дубельту какие-то листки.

Фи, какая безвкусица!.. Черная рамка, траурный шрифт.. Можно подумать, умер сановник или генерал. А всего лишь из списков Тенгинского полка вычеркнули ссыльного офицера. Господа литераторы ни в чем не знают меры. К тому же общеизвестно отношение государя... Это дерзкий вызов.

Архивариус, тихонько похихикивая, кладет перед ним другую писанину.

А, знакомые инициалы! Чахоточный господинчик возводит Лермонтова в гении? И что это за намеки?.. Совсем распустились! Печальные примеры ничему не учат. Придется уделить особое внимание этому борзописцу. (*С досадой.*) Так мы никогда не закроем проклятого дела!

Архивариус (*сильным голосом*). Всех не перебреешь.

Дубельт (*потрясенно*). Что-о? Вы что-то сказали?

Архивариус (*громче*). Всех не перебреешь!

Дубельт. Архивная сырость разъела вам мозги, уважаемый.

Архивариус. Никак нет! Парикмахер у нас бритвой зарезался. И записку оставил: «Всех не перебреешь».

Дубельт с ужасом смотрит на развеселившуюся «архивную крысу».

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

Бывают расхожие истины, повторяемые людьми в одних и тех же словах, но при этом не теряющие смысла. Одна из них: писателя нельзя понять вне его биографии. Наверное, нет такого писателя, чье творчество было бы совершенно безразлично к событиям его внешней и внутренней жизни. Это относится и к таким авторам, как Свифт или Кафка, как домосед-путешественник Жюль Верн и фантаст Уэллс. Исключение составляют авторы Рокамболов, Сюркуфов, Ник Картеров, Джеймсов Бондов и отечественных Неуловим Петровичей, но все это к литературе отношения не имеет. Аксакова от его жизни никак не отделишь, он писатель автобиографический от начала и до конца. У него нет и строчки, оторванной от его собственного бытия, придуманной, намечтанной, нет, за каждым словом — лично пережитое, выстраданное чувством и мыслью. Единственное исключение — прелестная обработка сказки об аленьком цветочке. И вместе с тем нет смысла погружаться в его биографию, это значило бы повторять все то, что он сам рассказал о себе в прославленной трилогии и таких сочинениях, как «Собирание бабочек», «Встреча с маринистами», «Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове», «Знакомство с Державиным», «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости», как его охотничьи записки, незавершенные произведения последних лет, литературные и театральные мемуары и потрясающая история его знакомства с Гоголем. Даже стихи Сергея Тимофеевича автобиографичны, он никогда не воспарял выспрь. Читатель узнает,

как рос и развивался сын степных заволжских помещиков в уединенной усадьбе, как постигал тихую и значительную сельскую жизнь и очаровывался родной природой, узнает о его родителях и дедах, об учении в Казанской гимназии, а потом и в Казанском университете, о страстном увлечении рыбалкой, охотой, коллекционированием бабочек, о рано проснувшейся тяге к сочинительству и еще пуше — к декламации и театру, о недолгой службе в Петербурге, значительной знакомством с Державиным, Шишковым, актером Шушериным и другими корифеями тогдашней сцены, о возвращении в Москву, службе в цензурном комитете, об участии в театральной жизни, приятельстве с Щепкиным, Коковцевым, князем Шаховским, Загоскиным, Писаревым, о нежной, порой мучительной, трудной, но всегда искренней и глубокой дружбе с Гоголем, узнает все о его большой теплой семье, о двух замечательных сыновьях Константине и Иване, о даровитой дочери Вере, о «русском начале», хранителем которого был дом Аксаковых. Но ничего не узнает об Аксакове — инспекторе Межевого училища, позже — директоре Межевого Константиновского института. Жалеть об этом не приходится, ибо эта деятельность, необходимая для материального существования семьи, осталась посторонней душевному опыту Сергея Тимофеевича.

Есть еще одна пора, не отраженная напрямую в аксаковских воспоминаниях, хотя, как я понимаю, она дала самый щедрый материал для записок ружейного охотника. Женившись, Сергей Тимофеевич оставил Москву, с которой прочно сжился, и уехал на десять лет — такой он поставил срок — в свое заволжское имение. Возможно, сыграли роль хозяйственные соображения, хотя едва ли трезвый ум Аксакова заблуждался в его сельских познаниях и хватке земледельца. Скорее всего, ему хотелось, чтобы дети, которых он нетерпеливо ждал, появлялись на свет не в душном городе, а в степном, луговом раздолье, набирались сил на природе, в чистом, свежем воздухе, душистом

от разнотравья. За это десятилетие Сергей Тимофеевич лишь однажды приезжал в Москву, чтобы напечатать свой перевод сатир Буало, сделавший его членом «Общества любителей российской словесности». А потом, согласно своему плану, Аксаков вернулся с семьей в Москву. Старшему сыну Константину было десять лет, младшему Ивану шесть, им надо было дать хорошее образование.

Писать Аксаков начал очень рано, лет пятнадцати. Долго пробавлялся, как положено, стихами весьма среднего достоинства, кое-что опубликовал, затем писал театральные рецензии и обзоры, давшие ему репутацию знатока и некоторое имя в литературных кругах Москвы и Петербурга, переводил пьесы, участвовал в журнальной полемике, враждуя с даровитым Николаем Полевым, издателем «Московского телеграфа», и пресловутым Фаддеем Булгариным.

Лишь в 1834 году, будучи сорока трех лет от роду, написал он свою первую прозу — очерк «Буран». Успех был неожиданный и полный. Всякий другой на месте Сергея Тимофеевича засел бы всерьез за сочинительство, но он никогда и никуда не спешил. Разве только что в юности на утреннюю зорьку. Лишь в начале сороковых соберется он — в секрете от друзей — что-то записывать для своих воспоминаний, которые спустя много лет станут «Семейной хроникой» — первой частью обессмертившей его трилогии.

Куда раньше появится книга об ужении рыбы. Гоголь, не знавший, что Сергей Тимофеевич уже давненько сидит над мемуарами, настойчиво советовал ему написать книгу о своей жизни. Сергей Тимофеевич отмалчивался и при случае подсовывал ему страничку-другую о куличке или вальдшнепе.

Насколько серьезно относился Сергей Тимофеевич к «портретам» куличков и других пернатых, видно из его переписки с сыном Иваном, поэтом и публицистом. Сергей Тимофеевич просил советов и строгого суда. Ивана бес-

покоил лебедь: эта птица настолько запозитизирована, что писать о ней надо с поелику возможной простотой, даже сухостью, чтобы избежать красотей. «Лебедь должен быть написан как можно проще, проще утки: он сам по себе так хорош и величав, так окружен ореолом всяких поэтических преданий и эпитетов, несколько уже опошленных, что для самой свежести и оригинальности картины необходимы совершеннейшая простота описания, простое, спокойное и отчетливое изображение всех подробных прелестей картины, без всяких восторгов... Вот какую-нибудь серую утку можно подсобить лиризмом, — но мне особенно нравятся Ваши описания, потому в них простота выражения без лиризма доводит производимое впечатление до лиризма».

Последнее замечание исчерпывающе точно определяет достоинство писательской манеры Сергея Тимофеевича. Аксаков внял совету сына, основательно «подсушил» своего лебеда, но требовательный Иван остался не совсем доволен.

В одном из писем Сергей Тимофеевич поведал Ивану о потрясшем абрамцевских обитателей событии: Гоголь прочел главу из второй части «Мертвых душ». Вот как это было: «В 7-ом часу Гоголь вдруг говорит: «а что бы Куличка прочесть?..» Мы пришли наверх, я выбрал маленького Куличка и заставил Костю читать. Гоголь решительно ничего не слушал, и едва Константин дочитал, как он выхватил тетрадь из кармана, которую давно держал в руке, и сказал: «ну, а теперь я вам прочту...» Раза три я не мог удержаться от слез...»

Взволнованный Иван умолял воспользоваться добрым настроением Гоголя: Отесенька (с легкой руки Константина, отвергавшего иноземное «папаша», дети так называли отца), подкиньте ему нового куличка, Бог даст, еще прочитает.

Литература Сергея Тимофеевича была чисто вспоминаятельного свойства и в этом отношении являла резкий контраст творчеству обожаемого им Гоголя. Там царили вооб-

ражение, фантазия, у Аксакова — память и только память. В этом отношении он явление уникальное. В знаменитых автобиографических трилогиях Льва Толстого и М. Горького много вымысла, литературы. Признано, что память — единственное оружие творца новой западной прозы Марселя Пруста. Да и сам автор, стремившийся обрести утраченное время, считал память источником, питающим всю его литературу. Но это далеко не так. Достаточно сказать, что все персонажи Пруста, за редчайшим исключением, которого я не могу сейчас припомнить, обладают несколькими прототипами. Даже на редкость цельный барон де Шарлюсс, в котором все узнали эстета-стихотворца аристократа Монтегю (он и сам себя признал, сказав, что во всем Сен-Жерменском предместье лишь один может позволить себе быть настолько сумасшедшим), имеет еще одного прототипа. Едва ли уступающему барону в цельности, блистательному Роберу де Сен Лу уделили свои черты сразу шесть представителей «золотой» молодежи. Сложный строительный материал пошел на возлюбленную рассказчика Альбертину: несколько девушек в цвету и... шофер Альфред. Это же относится и к событиям романа; Пруст пишет так, что ты не сомневаешься в их буквальности, ай нет, всегда что-то смещено, сдвинуто, переосмыслено, окутано фантазией. Вот такой игры у Сергея Тимофеевича не найдешь — это говорится не в порицание и не в похвалу, — он всегда предельно точен в передаче тех жизненных событий, которые хранит его сильная и свежая память, он хочет нарисовать людей такими, какими они были на самом деле, ему неинтересно приукрашивать их или ронять. Он ничего не домысливает, никакой работы воображения, кажется, что он просто не знает, что это такое. Прямое отражение — вот метод Аксакова.

Что же, литературный труд Аксакова ущербен, это творчество как бы второго сорта? Ничуть не бывало. Гоголь выше Аксакова, но не потому, что умеет придумывать, а потому, что ему отпущено больше художественной силы. А

Бестужев-Марлинский со всем своим пылким воображением ниже Аксакова, ему меньше дано от природы. Переводить в слова действительную жизнь — задача ничуть не менее трудная, чем писать мир воображаемый. И то и другое требует равной муки, дарит равным счастьем или разочарованием. Память и фантазия равны перед богом искусства.

До чего же бесхитростно и вроде бы безыскусно пишет Аксаков, да и старомодно. По языку, стилю аксаковские хроники и записки можно отнести к докарамзинской эпохе российской словесности. А ведь появились они после «Повестей Белкина», «Капитанской дочери», «Пиковой дамы», после «Героя нашего времени», после «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода», «Шинели» и «Мертвых душ». Совершив невиданный рывок от скудного сентиментализма «Бедной Лизы» к вершинам зрелой художественности и глубокому психологизму, наша литература создавала поразительные образы: Германн — карманный Наполеон, разочарованный Печорин — его тень ляжет на последующие десятилетия, чистый душой служака Максим Максимыч, грандиозные уроды «Мертвых душ», чьи имена сразу стали нарицательными, несчастный Акакий Акакиевич, заставивший Достоевского воскликнуть: «Мы все вышли из гоголевской шинели». И вот после всего этого появился писатель, который с патриархальной простотой, наивной убежденностью в своей правоте предложил современникам такой нехитрый товар, как ерши, шуки, карпы, кулики, кроншнепы, рябчики, перепелки, причем сделал это с обескураживающей серьезностью, будто не было в России других насущных проблем, как ладить удища или отстреливать пролетную дичь. Он не поэтизировал своих скромных героев, не возводил в степень символа, не окутывал сказочной дымкой, нет, все давалось в лоб, без затей, почти с научной точностью, с доверчивой неторопливой обстоятельностью. Но тем Аксаков и взял читателей — сразу и навсегда.

Приход каждого большого писателя — это открытие нового мира. Душная чиновничья Россия существовала и до Гоголя, но узрели ее во всей жути и кошмаре лишь после «Ревизора» и «Мертвых душ». И уж подавно видим и ощутим каждым жителем России был мир ее природы, но никто не знал, что он так многообразен, богат, манящ и пленителен, пока о нем не рассказал рыболов и охотник, художник Божьей милостью Сергей Тимофеевич Аксаков.

Я уже говорил о том, с какой глубокой серьезностью и ответственностью относился Аксаков к своим запискам о рыбах и птицах. Он боготворил Гоголя, но ему не казалось кошунственным предварять его чтение новых глав второй части «Мертвых душ» страничкой-другой о куличке или бекасе. Он знал о своем художественном неравенстве с великим Гоголем, но не считал, что *предмет изображения* в его записках ниже предмета изображения гоголевской поэмы. В великом и вечном мире природы все равны, нет высших и низших, в пичужке не меньше достоинства, чем в каком-нибудь помещике — даже положительном; ее свойства, обычаи, повадки, окраска, голос, время прилета и отлета столь же важны в мироздании, как приметы и отличия человеческого существа. Для Аксакова каждая малость большого мира — частица общей гармонии.

Странно звучит: гармония и охота. Казалось бы, всякая охота и ловитва разрушают естественную гармонию мира, вносят зло, уничтожение. Так почему же все самые великие природолюбцы были страстными охотниками? Есть ли сомнение в том, что Тургенев и Фет любили природу, чутко вслушивались в ее дыхание, отсюда и поэтичная проза «Записок охотника», и тонкая пейзажная лирика Фета. Но, рассказывая в письме матерому охотнику Фету об одной из удачнейших своих охот, нежный Тургенев, еще пропахший порохом, в неизжитом упоении честит подстреленного им бекаса и «подлецом», и другими бранными словами... от любви к верткой, быстрой птице, которую так непросто взять. Паустовский, Юрий Казаков были страстными охот-

никами и рыболовами. Аксаков пишет в предисловии к «Запискам об ужении рыбы», что охота сближает человека с природой. К сожалению, эта мысль справедлива лишь для минувшего времени, когда дичи и рыбы было много, слишком много для нормальной «круговерти» жизни, как выражаются егеря. Если пернатой дичи в избыток, то не хватает места для гнездовий, самцы мешают самкам высиживать птенцов, не хватает и пищи, и охотник оказывается помощником природы. К тому же человек не травоядное животное. Ведь и наши меньшие братья со спокойной совестью пожирают друг друга, разумеется, те, которые не могут обойтись растительной пищей. Заболоцкий писал: «Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы». Но человеку оказалось далеко до мудрого зверя, он истреблял больше, чем воспроизводилось, истреблял впрок, в азарте, он нарушил равновесие в природе, опустошил воды и леса, и теперь охота, кроме промысловой, стала делом дурным, грешным.

Читая и перечитывая Аксакова, я так и не понял, в каких отношениях он находился с Богом. Религиозная экзальтированность Гоголя последних лет вызывала у него отвращение. Он назвал Гоголя после смерти «святым», но тут же намекнул, что слово это надо понимать не в церковном смысле. Свои твердые нравственные правила он никогда не подкреплял ссылками на религию, а в одном письме признал себя плохим христианином. Он жил в вере отцов, но привлекало его небо, где летают утки и гуси, а не то, где парят Божьи ангелы. Наверное, его мироощущение было пантеистическим — не в смысле обожествления природы, а в том материалистическом, как у Джордано Бруно или Спинозы, когда можно вообще обойтись без Бога. Читая Аксакова, ты проникаешься сознанием, как велик и важен мир бессловесных, какое чудо жизнь во всех ее проявлениях. Вот чем захватывает Аксаков, без этого он был бы чем-то вроде знатока рыб Сабанеева или автора «Записок мелкотравчатого».

Аксаков не формулировал своих философских взглядов, за исключением преданности «русскому началу». Но значительность его внешне непритязательных автобиографических хроник, составивших трилогию, в том, что у них прочная и сильная мировоззренческая основа. Эти воззрения выражены в известной фразе Льва Толстого: «Хватит делать историю, давайте просто жить». Фраза изумительная по простоте и глубине. Еще Толстой говорил, что самая серьезная и настоящая жизнь происходит дома, а не на площади. Под домом он разумел не четыре стены, а то, что объемлется прямой заботой человеческого сердца, а под площадью не городское пространство, а разгул отвлеченных умствований, приводящих к разрушительным последствиям. Для толстовской правды важна каждодневная жизнь семьи со всеми малыми и вроде бы незначительными событиями, со всеми слезами и радостями, с праздниками, болезнями, разлуками, встречами, со всем, чем томится человеческое сердце.

Правдиво и бесхитростно излагает Аксаков события, предшествовавшие его появлению на свет, какими они сохранились в памяти окружающих, иначе говоря — в семейной легенде; большое место занимает долгое и трудное сватовство отца, влюбившегося в девушку, превосходившую его умом, развитием и положением в провинциальном обществе. Он был небольшим чиновником, она — дочерью фактического управителя целого края. И хотя известно, чем кончилось это сватовство, ибо плодом согласия явился сам рассказчик, читатель волнуется так, словно брак может не состояться. Это удивительное свойство Аксакова: посредством неторопливых, даже ленивых фраз, вовсе лишенных той живости, какой научили русскую прозу Пушкин, Лермонтов, Гоголь, создавать напряженное повествование, прочно удерживающее читательский интерес.

Он создает замечательный по глубине характеристики портрет своего деда, гневливого и доброго, скорого на расправу, но всегда справедливого, с хорошим раскидистым

умом и сильной, не чуждой причуд душой; он не приукрашивает, не идеализирует своего деда, но, несомненно, восхищается цельностью и нравственной чистотой типично русской натуры.

Рядом с этой очаровательной фигурой особенно жуток помещик Куролесов, муж аксаковской тетки, скрывавший под маской славного малого и рачительного хозяина зверскую харю изверга-крепостника. Разоблачительная сила этого образа заставляет вспомнить о Радищеве. Много хлопот с цензурой наделал Аксакову жестокий помещик Куролесов.

«Семейная хроника» была принята восторженно и литераторами, и читателями. Несколько удивленный успехом, но ничуть не возгордившийся, Аксаков двинулся дальше. В «Детских годах Багрова-внука» он в привычной, обстоятельной, неспешной, приметливой к подробностям манере рассказал о своем детстве в глухой деревне Багрово, о помешательстве на рыбалке, так путавшем его мать, о судьбе вдовы страшного Куролесова, обо всем, чем наполнены были медлительные сельские дни.

Сергею Тимофеевичу было невдомек, что в «Детских годах Багрова-внука» и воспоминаниях о казанской поре жизни он решил одну из самых трудных, почти невыполнимых задач в литературе, которую шесть десятков лет спустя поставит перед собой один из величайших писателей нашего века Джемс Джойс в очень личном романе «Портрет художника в юности», так восхищавшем строгого к коллегам Хемингуэя. Да, Аксаков изобразил вовсе не болезненного, забалованного, раздражающе чувствительного, робкого и слезливого недоросля из дворян, а будущего художника. Человека с содранной кожей, которого ранят все обыденные впечатления бытия; для него весь мир — раскаленная проволока, каждая разлука — на век, каждая гроза — гибель вселенной, каждое увлечение — утрата своей сущности. Аксаков простодушно недоумевает по поводу крайней чувствительности маленького Багрова. В душе его бушуют шекспировские страсти: первая рыбалка потряса-

ет сильнее, чем Макбета — явление духа Банко, поступление в гимназию — Голгофа, он не вынес разлуки с матерью, нервно заболел, пришлось забрать его домой и на год отложить начало самостоятельной жизни. Он был мучителен для самого себя, для близких и окружающих, этот ласковый мальчуган, не драчун, не сорванец, но слишком любящий, слишком привязчивый, слишком впечатлительный, слишком увлекающийся, к тому же слишком правдивый даже в глазах своих честных, богобоязненных родителей. Он не виноват во всем этом и не может стать другим, у него душа художника.

Известно, как велика суть матери для многих больших писателей: от Лермонтова, на всю жизнь замороженного образом молодой, рано умершей матери, Гоголя, которого Аксаков понял вглубь, лишь узнав его мать, до Марселя Пруста. Багров молился на свою мать. От художника в нем и жалостливость, необычная для мальчика, выросшего в грубо-здоровом сельском обставе, где режут скотину и сворачивают головы гусям. От художника — совершенная неспособность управлять своими чувствами. Отсюда и захлебная любовь к чтению, он по сто раз перечитывал каждую книгу из своей скудной библиотечки, а при виде новой книги его аж колотун бил. Удивительная художническая память Аксакова питалась силой его детских и юношеских переживаний. Если б он так не шалел от весеннего пересвиста и боя, если б не переживал очистку пруда, пускающей мельницы, забрасывание верш как вселенские катаклизмы, то никогда бы не написал своих необыкновенных охотничьих книг. Мальчиком он жил перенапряженной душевной жизнью, каждодневность шла глубоким нарезом по сердцу, памятью которого и созданы его хроники. Старик Аксаков не разделался с прошлым, оно до последнего дня пело в его неостывшей крови, отсюда такая свежесть его воспоминаний.

Нет менее схожих книг, чем аксаковские хроники и «Портрет художника в юности», последняя написана во

всеоружии литературной техники нашего века, она являла переход Джойса от чеховской прозрачности «Дублинцев» к изошренной прозе «Улисса», вскрывающей механику подсознания; аксаковские хроники казались чуть старомодными даже в его время, но я сильнее чувствую тонкую душу будущего художника в Багрове-внуке, нежели в Стивене Дедалусе, это скорее одаренный юноша-бунтарь, путь которого непредсказуем, хотя он и пишет стихи. Джойс слишком сознательно начал тянуть завязшего в религиозной трясине Стивена к литературе. Как-то не верится, что у юного проповедника и схоласта с зудом бродяжничества в крови — душа художника. А простодушный Багров — художник, хотя Аксаков вовсе не задумывается об этом. Бессознательное оказывается сильнее художественного расчета.

«Детские годы Багрова-внука» не были приняты столь единодушно, как «Семейная хроника». Там все проще: хорошие помещики, плохие помещики, иронически-сочувственное изображение патриархального быта и осуждение язв крепостничества. Здесь сильно прозвучала личная нота, и не все ей откликнулись. Восхищенно принял «Багрова-внука» и поставил выше «Семейной хроники» Лев Николаевич Толстой, который, как всегда, видел дальше других. Но даже не зная письма Толстого к Боткину с лестным отзывом о хрониках, легко догадаться, что аксаковская проза была очень по душе Толстому. У Аксакова все серьезно, как в житиях, все дышит почвой, никакой легковесности, преднамеренности, желания потрафить модным идеям, вкусам общества, много слез и никакого зубоскальства. У русского народа смех был не больно в чести, ведь он от беса, а слезы святы. Христос никогда не улыбался. При этом Аксаков вовсе не принадлежал «к тем высоким душам, что начисто лишены чувства юмора» — выражение Томаса Манна о Стриндберге. У него проглядывает порой мягкая ирония, тихая улыбка — без язвительности. Он человек снисходительный к людским слабостям, к тому же пишет

о живых людях или недавно ушедших, а это обязывает к деликатности. Ему совсем не присуща размашистая отвага Николая Семеновича Лескова, который в своей беллетристике бил наотмашь невзирая на лица.

Сергей Тимофеевич Аксаков порой наивен, но совсем не прост, у него крепкий, раскидистый, пронизательный ум и твердая нравственная основа. О зле он пишет сдержанно и просто, не витийствует. Его Куролесов страшен, хотя на него не потрачено обличающих слов, он показан таким, каков он есть. Сатире и сарказму Аксаков начисто чужд. Это для Гоголя — смех сквозь невидимые миру слезы. Аксаков не смеется, а слезу бережет для чистых сердцем.

Куда более жестк (не жесток) Аксаков в своих письмах родным и близким, особенно к тем, за кого чувствует ответственность. Замечательны его письма к умному и даровитому сыну Ивану, чью молодую самоуверенность отец разрушает двумя-тремя меткими словами, а также некоторые письма к Гоголю последней поры, которого Аксаков защищал от него самого. Крутенок мог быть Сергей Тимофеевич! Так же твердо и жестко выступил он в защиту Пушкина от журнальной травли, а его отзыв о пресловутом «Выжигине» бессмертного стукача Булгарина под статью знаменитому пародийному письму Пушкина на ту же тему. Был Аксаков суров и как театральный критик, от него доставалось не только слабым актерам, но даже высокочотантливому Мочалову и великому Щепкину, если они оказывались не на высоте. Одно дело писать о тех, кто сам выставляет себя на суд людской, другое — о тех, кого ты наблюдаешь исподволь, здесь требуется бережность и сдержанность. А актеры, кстати, на Аксакова не обижались, чувствуя неліцеприятность его критики.

Странно и необычно положение Аксакова в русской литературе. Он был на восемь лет старше Пушкина и на двадцать три Лермонтова, а вошел в литературу, когда Пушкина и Лермонтова уже на свете не было, когда угасал

Гоголь и утверждалось новое течение — критический реализм, а выглядит писателем допушкинской поры. Круг Аксакова молодых и средних лет — это люди, казавшиеся Пушкину отжившими, смешными, как князь Шаховской, адмирал Шишков и дряхлый, выдохшийся Державин. И как бы скалил белые зубы Пушкин, если б слышал аксаковские дифирамбы напыщенным стихам драматурга Озерова! Мне думается, друзья Аксакова поздней поры, сторонники русского начала, славянофилы Погодин, Хомяков, Самарин и иже с ними, казались бы Пушкину людьми обветшалыми, выходцами из допетровской Руси, а Пушкин поклонялся царю-реформатору. В свою очередь круг Пушкина не вызывал симпатии у Аксакова. Сходились они лишь на Гоголе и Языкове.

Любя и понимая Пушкина, ценя Лермонтова, с которым он познакомился на именинном обеде, данном Гоголю, Сергей Тимофеевич писал так, будто их и не бывало. Вот Гоголь чувствуется в некоторых пейзажах «Семейной хроники», но не в лепке образов и не в обращении с жизненным материалом — тут они антиподы. Это не слабость Аксакова, а его сила. Пережив великанов, он почти ничем от них не попользовался и сохранил полнейшую самобытность. Мне почему-то кажется, что, пиши Державин прозу, он оказался бы предтечей Аксакова, а если б прозу писал Тютчев, то образовалась бы связь, подобная Пушкин — Лермонтов. Но все это предположения, игра. На первый взгляд Аксаков в прозе сороковых-пятидесятых годов кажется анахронизмом. Конечно, это в корне неверно. Он принес в нашу литературу новые мотивы, новое видение и свое собственное отношение к русской действительности.

У Пушкина пейзаж почти отсутствует. Лермонтов тоже крайне скуп на описание природы, подчеркиваю, речь идет лишь о прозе. Природа — да еще какая! — появляется у Гоголя, но, зная, не случайно он порой сбивается на стихи. И Аксаков уплатил дань романтическому гоголевскому пейзажу, но вообще он шел иным, самостоятельным, сугу-

бо реалистическим путем. Писать о природе просто, деловито, с наблюдательностью ученого, не сбиваясь на взволнованную песнь, но так, чтобы из деловитости и глубокого знания сама собой возникала поэзия, дано было в ту пору одному лишь Аксакову. Его пейзажная живопись оказала значительное влияние на всю последующую русскую литературу.

Если б не Аксаков, наше представление о русской жизни было бы куда одностороннее и беднее. Какими привыкли мы видеть русских помещиков второй половины XVIII — начала XIX века? Это фонвизинские Простаковы и Скотинины или гоголевские монстры из «Мертвых душ». Но вспомним, дед Лермонтова по материнской линии Арсеньев покончил с собой — несчастная любовь — в Тарханах, отыграв сцену могильщиков в «Гамлете», поставленном силами актеров-любителей из подстепных дворян пензенской глубинки. Трудно представить себе Манилова — Гамлета, Собакевича — Клавдия, Коробочку — Гертруду и могильщика — Ноздрева. Значит, сидели в своих усадьбах и совсем другие люди, нежели добродее Чичикова, с тягой к культуре, вон, и до Шекспира добрались!

Совсем не похож на Простакова и Скотинина прекрасный дед Аксакова Степан Михайлович, выведенный в хронике под собственным именем, но под фамилией Багров. Нет, он не игрывал в «Гамлете» и даже не знал о существовании такой драмы, как и самого Шекспира, он и грамотой владел плохо, зато сколько в нем было доброты, света, понимания людей, мудрости, что не исключало вспыльчивости, смешных и докучных причуд — следствия вседозволенности, но как прочна его нравственная основа и до чего хорошо, просто совершает он свой опасный подвиг по вызову сестрицы из рук изверга Куролесова! Это поистине эпический образ.

Акварельными красками написан нежный образ отца писателя, сперва влюбленного юноши, потом кроткого мужа его матери, сумевшей разглядеть в скромном, чуть неле-

пом чиновнике нравственную прочность, верное сердце и ответившей любовью на любовь. Чуждый ханжества, Аксаков пишет порой об отце с доброй улыбкой, но как-то неприметно убеждает нас, что такими вот тихонями подвигается русская жизнь, что ими сбережена Россия во всех своих тяжелых испытаниях.

Благородная, горячая, порывистая мать героя хроники Софья Николаевна — один из лучших женских образов в русской литературе. Рядом с ней может быть поставлена монументальная фигура Прасковьи Ивановны Куролесовой, набравшей после смерти мужа-разбойника и характера, и стати.

Славных людей встретил Сережа Багров в Казани и дал им жизнь вечную на страницах «Воспоминаний»: это и преподаватель математики Карташевский, тип умного наставника, и надзиратель той же гимназии добряк Упадышевский, и славный доктор Бенис, спасавший тело и душу тяжело расхворавшегося от разлуки с матерью мальчика, и многие другие — выходит, русская провинция состояла не только из Ляпкиных-Тяпкиных, Земляник и Шпекиных. Не следует думать, что все писания Сергея Тимофеевича залиты сладким медом прекраснодушия. Славянофилы, правда, пытались противопоставить его «разоблачительному направлению», как тогда называли критический реализм, но достаточно одного Куролесова, чтобы разрушить идиллию, а есть еще старший инспектор гимназии, самолюбивый и безжалостный формалист Камашев, есть немало противных и типичных для того времени и той среды людей среди близких родственников юного Багрова: его тетушки-интриганки и сплетницы, их тупые, до совершенства ничтожные мужья, словом, человеческого брака хватает, но он не может затенить той крепкой и жизнеспособной России, которая встает со страниц аксаковской хроники.

Русскую жизнь первой трети прошлого века мы видим как бы сквозь призму Пушкина. Его оценки для нас закон,

мы судим о людях по тому, как к ним относился Пушкин или по тому, как они относились к Пушкину. Мы не признаем Николая Полевого, потому что Пушкин после короткого доброжелательства вдруг невзлюбил литератора-плебея и принялся безжалостно язвить его. А ведь когда-то «Московский телеграф» всколыхнул стоячие воды русской журналистики, да и сам Полевой был личностью незаурядной. Но Пушкина не смягчила даже горестная участь Полевого: его журнал закрыли за критику лже-патриотической драмы Кукольника. В угоду Пушкину мы забываем о дерзком редакторе «Телеграфа» и помним лишь Полевого со сломанным хребтом, когда, задавленный и нищий, он принимает сухой хлеб из рук Булгарина. Едва ли не в большей мере это относится к такой значительной фигуре, как адмирал Шишков — глава литературного общества «Беседа любителей русского слова», президент Российской академии. Правда, Пушкин оговорился раз добрым словом о Шишкове, связывая некоторые чаяния с назначением его министром просвещения: «Сей старец дорог нам; он блещет средь народа // Священной памятью двенадцатого года» (Аксаков взял эти строки эпиграфом к своему очерку о Шишкове), но это не ослабляет яда знаменитой эпиграммы:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.
Но кто ж глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

А ведь Шишков делал доброе дело, когда отстаивал самостоятельность и чистоту русского языка, слишком уж засоренного иностранными словами, особенно галлицизмами. Конечно, смешно придумывать для прочно вошедших в речевой фонд «калош» тяжеловесное слово «мокроступы», но бороться за родной язык в обществе, почти разучившемся говорить на нем, — дело святое. Он и адмирал

был серьезный и уж никак не злобный шут, утрюмец и тупой ретроград. Оригинальный, добрый, бескорыстный русский человек с милыми чудачествами и твердыми жизненными принципами. Таким рисует Александра Семеновича Шишкова близко знавший его Аксаков, чем вносит необходимый корректив в образ человека, неугодного Пушкину и потому дружно осужденного потомками.

Так же неожиданно раскрывается у Аксакова и второй член «утрюмой» триады — князь Шаховской, плодовитый драматург, крупный театральный деятель, превосходный режиссер и знаток сцены. Он был ни утрюм, ни зол, ни глуп, а очарователен, с детской непосредственностью, милой шепелявостью, бешеными вспышками тут же проходящего гнева, с безграничным добродушием. В быту нелепый, часто смешной, но очень полезный деятель русского просвещения, с которым охотно соавторствовал Грибоедов.

Жалко, что Аксаков не сделал сходного усилия ради осмеянного пушкинским кругом Николая Полевого, которого знал в пору лучшей его деятельности. А ведь в какой-то момент Сергею Тимофеевичу стали претить грубые выпады против редактора «Телеграфа», хотя он и сам принадлежал к стану его противников. Но уж слишком отвращали его вульгарность и самонадеянность одаренного журналиста из купцов.

С.Т.Аксаков оставил интересные воспоминания о великане русской поэзии Державине, правда, поры его угасания, и о некоторых второплановых фигурах, без которых все же неполна картина культурной жизни России первой половины XIX века: об актере Шушерине, писателе Загоскине, «первом ополченце» — литераторе Сергее Глинке, театральном деятеле Коковцеве, популярном водевилисте Писареве. Его, как позднее Лескова, привлекали фигуры своеобразные, чудаковатые, пусть до шутовства, но с золотой сердцевинкой человечности, которую он обнаружил даже в нетерпячих, фанатичных «мартинистах», не принял он лишь их главу — злого честолюбца Лабзина.

Среди мемуарных очерков Аксакова выделяется значительностью и важностью для всех, кому дорога русская литература, «История моего знакомства с Гоголем». Любил ли Аксаков кого-нибудь так беззаветно и преданно, как Гоголя? Но такова его художническая честность, что, не переставая оплакивать внезапную кончину Гоголя, он вынуждает себя к предельной беспристрастности. И при этом никогда не воспользуется беззащитностью ушедшего перед судом оставшихся. Он обстоятельно и жестковато рассказывает, как трудно шло их сближение. Гоголь и вообще был неудобным для общения человеком. Он ощущал свою литературную деятельность как мессианство, из дали лет это еще можно понять, но признать в сотрапезнике Спасителя — тут нужны чудеса вроде воскрешения Лазаря. Гоголь не умел и не хотел приспособливаться к другим, для этого у него просто не оставалось душевных сил. Людям это представлялось высокомерием. Как холодно и небрежно отклонил он помощь Аксакова в постановке «Ревизора» на московской сцене, с которой не справился Щепкин. Аксакову было и обидно, и больно, он не скрывал этого, но все же нашел в себе силу простить Гоголю его необъяснимую эскападу. И в дальнейшем, когда отношения стали до конца дружественными, доверительными и откровенными, Гоголь не раз ставил в тупик прямолинейного Сергея Тимофеевича. Однажды, когда тот почти в экстазе взмолился, чтобы Всевышний даровал Гоголю здоровья, сил и времени для окончания великого труда — «Мертвых душ», Гоголь присоединился к нему почти в тех же выражениях. Он как будто о другом человеке говорил, недоумевал Аксаков в письме к сыну. Он не осуждал Гоголя, чувствуя его необыкновенную душу лучше, чем многие другие, но и он не постигал подвижнического отношения Гоголя к своей литературной задаче. Он понял это, когда Гоголя не стало, и сказал о нем — святой.

Для Гоголя литература была не мышлением образами, низанием слов, а высшим жертвенным служением России.

Двусмысленный успех «Мертвых душ» мучил, собственный сатирический дар причинял боль, и хотелось погнать по пространству Руси птицу-тройку, а не бричку с Чичиковым. Создать пленительные образы тогдашней русской жизни, способные застѣнить те страшные свиные рыла, которые пялились на читателя с каждой страницы первой части поэмы, — такой подвиг не по плечу даже Гоголю. Он думал найти опору в вере. «Нельзя исповедовать две религии безнаказанно, — пишет Аксаков, — тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задает такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет».

Когда Гоголя не стало, Аксаков сделал еще одно усилие в память ушедшего друга: заставил себя перечитать «Выбранные места из переписки с друзьями». В полном согласии с общественным мнением, он считал эту книгу — смесь «Домостроя» с «Нагорной проповедью» — позорным падением Гоголя, о чем и написал ему с обычной прямоотой. Теперь Аксакову удалось заглянуть туда, куда не достиг лихорадочно блестящий взор Белинского. Он по-новому прочел две наиболее раздражавшие его прежде статьи: «Предисловие» и «Завещание» и постиг, что пора дать полную веру любви Гоголя к людям. «Речь идет не о том, ошибочны были или нет некоторые мысли и воззрения Гоголя, речь идет о правде его смирения, чистоте намерений, сердечности чувствований и стремления к добру».

Аксакову было «больно и тяжело вспоминать неумеренность порицаний», возбужденных этими статьями в нем и в других. «Вся беда заключалась в том, что они рано были напечатаны. Вероятно, такое же действие произведут обе статьи и на других людей, которые, так же, как и я, были недовольны этою книгою и особенно печатным завещанием живого человека. Смерть все изменила, все поправила, всему указала настоящее место и придала настоящее значение». С последним умозаключением Аксаков, похоже, несколько поторопился...

Если спросить, в чем очарование и своеобразие прозы Гоголя, Тургенева, Лескова, Льва Толстого, Бунина, то даже малоискушенный в литературе человек найдет определения более или менее соответствующие речевой манере каждого из названных писателей. То романтическая, то язвительная, то волшебно-сказочная, то улично-соленая, бесконечно разнообразная речь Гоголя; певучая, ласкающая слух, музыкальная речь Тургенева; причудливый язык Лескова, полный придуманных им самим слов, которые кажутся народными; громоздкая, порой неуклюжая, продающаяся к предельной точности, даже ценой сознательного косноязычия, завораживающая речь Толстого; чеканная, оснащенная эпитетами речь Бунина... А как охарактеризовать, хотя бы столь же приблизительно, язык Аксакова, в чем его своеобразие и прелесть, если таковая есть? Ответить непросто. Иногда он пишет так: «Приведите их в таинственную сень и прохладу дремучего леса, на равнину необозримой степи, покрытой тучною, высокою травой; поставьте их в тихую, жаркую летнюю ночь на берег реки, сверкающей в тишине ночного мрака, или на берег сонного озера, обросшего камышами; окружите их благовонием цветов и трав, прохладным дыханием вод и лесов, неумолкающими голосами ночных птиц и насекомых, всю жизнь творения...»

Красиво? Да, совсем как у Гоголя. Но это не язык Аксакова, когда он говорит своим голосом, а не лезет в гоголевский карман за поэтическими красотами. Собственный голос Аксакова чужд фиоритур. И песня его скромна, проста, естественна, как дыхание. Точность, выверенность каждого слова поразительны. Но все-таки тут есть и нечто большее, чем совпадение слова с сутью. Квалифицированный естествоиспытатель может не менее точно описать любое животное, но такого впечатления не добьется. Тут создано определенное настроение, оно в ритме фразы, в словосочетании, неназойливом использовании диалектизмов: «урема» вместо «поречья» или «поемного кустарника», цвето-

пись: «темно-синие глаза» ерша, из всего этого и возникает тот довесок, что отличает истинное художество от самого совершенного научного описания и называется поэзией.

Еще более отчетливо поэтичность аксаковской прозы раскрывается в его хрониках, написанных свободнее и размашистее. Впрочем, забота о точности никогда не оставляла Аксакова. Стремление сказать о предмете как можно вернее и полнее порой несколько утяжеляет его фразу, но Аксаков не стремится к легкости ради легкости, краткости ради краткости — куда спешить, надо пристальнее вглядываться в каждое явление жизни; в его неспешно текущей прозе обаяние первозданности, о чем бы он ни писал, он пишет так, как будто никто до него этого не делал. Да и читателю так кажется. Исконный, укорененный, не нахватанный где попало язык Аксакова превосходно служит его художественным целям.

Остановимся на последнем, недописанном очерке «Зимний день» — характерном для всей писательской манеры Аксакова. Видимо, он хотел рассказать о русачьей охоте, но до самой сути не добрался, смерть остановила его руку. Вот начало:

«В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрьские морозы, особенно о зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар». Разве важно для читателя 1858 года, что рядовая аксаковская охота произошла в 1813 году? Но Аксакову с его обязательностью и добросовестностью необходимо сообщить точную дату. Кстати, это свойственно сельским людям, для которых даты значат куда больше, чем для городских. Знание дат помогает устанавливать определенные закономерности в явлениях природы. И вроде бы совсем уже неважно, что ртуть застыла 29 декабря, но и это нужно автору. Так осталось в его поразительно цепкой памяти, и он рад, что может сообщить читателю точный день, ибо в точнос-

ти — вежливость не только королей, но и писателей. И как хорошо народное выражение «зимние повороты», которые еще называют «солнцеворотами». А вот где весь Аксаков: «ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар». О лютом холоде можно сказать короче и проще, но разве промозжит — так до костей, как от ртути, упавшей в шарик градусника? Аксаков диктовал этот очерк полуслепым, на одре мучительной болезни, но он не пожертвовал ни одним словом в стремлении выразиться как можно полнее и точнее. Судите сами: «Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеянными, так что деваться с ними было некуда». Это так художественно, что захватывает дух, а между тем Аксаков вовсе не заботился о *литературности* выражения, он только хотел быть верным натуре. Да он и не считал себя художником, в чем сам признавался без всякой боли (художник — Гоголь!), он полагал, что интересен читателям лишь доскональным знанием материала и добросовестностью изложения.

Есть что-то невыразимо обаятельное в том, что Аксаков в одной чарующе-обстоятельной манере, с одной истоиво-проникновенной интонацией рассказывает о ловле пескарей в летнее бесклевье и о зверствах садиста Куролесова, об отчаянии своего отца, решившего покончить самоубийством, если ему откажут в руке любимой, и о спуске багровского пруда. В этом есть величие. Ведь с какой-то высшей, горней точки зрения все, о чем говорилось, — явления равнозначные в великом таинстве жизни, ибо никому не дано знать, что главное и что не главное. Творец с равным тщанием создавал все, что наполняет его постройку. Уважение к жизни во всех ее проявлениях — вот кредо Аксакова, хотя сам он избегал обобщающих формулировок.

Нельзя говорить о Сергее Тимофеевиче и не сказать о всем теплом аксаковском гнезде, где грелись многие люди, в первую голову, как уже не раз говорилось, Николай Васильевич Гоголь. Я написал эту фразу, и меня осенила внезапная догадка, может быть ложная. Гоголь постоянно зяб, даже летом. Об этом свойстве его физической природы с удивлением пишет Аксаков. Гоголю всегда было холодно, особенно в сидячем положении, ему постоянно требовалось разминаться, чтобы ускорить согревающий ток крови. Поэтому особенно он мерз в возках, что делало для него мучительными переезды. А вот в каком виде предстал он Аксакову за рабочим столом: «...вместо сапог, длинные шерстяные чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок». Зимой он постоянно отмораживал то нос, то ухо и так дрожал, что у Аксакова душа заходила от жалости. Эта мерзлячьсть Гоголя, как и многие другие странности его физической структуры, Аксаков относил за счет расстроенной нервной системы. А последнее он считал следствием того страшного удара, каким явилась для Гоголя гибель Пушкина. От этого потрясения он не избавился до конца дней. При жизни Пушкина Гоголь был совсем другим человеком. Вспомним, что Гоголь рассматривал работу над «Мертвыми душами» как исполнение воли Пушкина, как его завещание. Отсюда многое следует.

Так чутко понимая структуру Гоголя, Сергей Тимофеевич никак не мог взять в толк, почему Гоголь стремится в Италию. И ему, и его семье, и всему аксаковскому кругу виделась в этом измена России, русскому делу, чуть ли не отступничество. По-моему, объяснение напрашивается само собой: Гоголь ехал за теплом, он слишком мерз на русском ветру. Считалось, что он едет за итальянским искусством, итальянской музыкой, итальянскими впечатлениями, нет, все это было сопутству-

ющим, он ехал за итальянским солнцем. И в благодатном итальянском климате, прогревшись до косточек, писал о русских затяжных дождях, русской метели, русском хилом лете.

Как нельзя отделить Льва Толстого от Ясной Поляны, Пушкина от Михайловского и Бодина, Лескова от Орла, Тургенева от Спасского-Лутовинова, Анненского от Царского Села, так и Аксаков немыслим без Абрамцева, хотя прожил он тут всего пятнадцать лет из своей долгой жизни. Но каких лет!..

Помещик заволжских степных далей, казанский гимназист, московский чиновник и прочный житель старой столицы, Сергей Тимофеевич обрел в Абрамцеве вторую малую родину после своего любимого Ново-Аксакова, прославленного им под названием Багрово. Здесь же написаны все его главные произведения.

Выйдя в 1839 году в окончательную отставку, Сергей Тимофеевич стал подумывать о приобретении усадьбы под Москвой. Жить без природы он не мог, выезжать на лето всем кланом в далекую родовую вотчину во глубине Оренбургской губернии было слишком громоздким, практически неосуществимым предприятием, а дробить семью, пусть временно, Аксаковы не любили, снимать же дачу под Москвой — дорого, да и не по нутру основательному Сергею Тимофеевичу, человеку не летучему, а корневому. Но найти имение по душе и по средствам оказалось делом весьма не простым. Свои муки он доверил стихам. Даю их сокращенно:

Поверьте, больше нет мученья,
Как подмосковную сыскать;
Досады, скуки и терпелья
Тут много надо испытать.
Здесь садик есть, да мало тени;
Там сад большой, да нет воды;
Прудиска — лужа по колени,
Дом не годится никуда.

.....

Там хорошо живут крестьяне,
Зато дворовых целый полк
Там лес весь вырублен заране —
Какой же в этом будет толк?
Там мужики не знают пашни,
А здесь земля нехороша.
Там есть весь обиход домашний,
Да нет доходу ни гроша.
Там есть и летние светлицы,
Фруктовый сад и огород,
Оранжереи и теплицы,
Да только вымер весь народ.
Там есть именье без изъяна,
Уж нет помехи ни одной,
Все хорошо в нем для кармана,
Да — нету рыбы никакой!

Это написано в 1842 году, а через два года Аксаков торжествует: наконец-то он нашел, что искал:

Вот наконец за все терпенье
Судьба вознаградила нас:
Мы наконец нашли именье
По вкусу нашему, как раз.
Прекрасно местоположенье,
Гора над быстрою рекой,
Заслонено от глаз селенье
Зеленой рощею густой.
.....
Не бедно там живут крестьяне;
Дворовых только три души;
Лесок хоть вырублен заране —
Остались рощи хороши.
Там вечно мужики на пашне.
На Во́ре нет совсем воров,
Там есть весь обиход домашний
И белых множество грибов.
Разнообразная природа,
Уединенный уголок!
Конечно, много нет дохода,
Да здесь не о доходах толк.
Зато там у́женье привольно
Язей, плотвы и окуней,
И раков водится довольно,
Налимов, щук и голавлей.

Это альбомные стихи, для домашнего обихода, но в них отразились мировосприятие и жизненная философия Сергея Тимофеевича. Тут на равных соседствуют высокие социальные обстоятельства и раки, шуки, голавли. В сознании Аксакова природа во всех ее малостях была равновелика миру общественному, историческому.

Так вот появилось в жизни большой аксаковской семьи Абрамцево, мало изменившееся с той давней поры. Аксаковым с их истовым русским началом было важно и трогательно, что скромная усадьба лежит близ того святого места, откуда Сергей Радонежский призывал князя Дмитрия на Куликову битву. В Троице-Сергиев келарь Авраамий Палицын в тяжкую годину российского унижения обрел дар народного трибуна и разбудил дух нижегородского мещанина Минина и храброго, чуть вяловатого воина Дмитрия Пожарского. Тогда же, в смутное время, разбилась о стены лавры вражеская кичливая рать. Аксаковы старались не думать о том, что здесь же, спасаясь от Софьиных козней, нашел убежище Петр I и отсюда повел наступление на старую Русь, столь дорогую сердцу абрамцевских новожилов самобытным своим укладом и общинным корнем. Студили семью западные веи в прорубленное Петром окно.

Невеликое имение стало одним из культурных очагов Москвы и центров славянофильства, ибо отсюда гремел голос самого одержимого и необузданного из них — старшего сына Сергея Тимофеевича Константина. И здесь спасался измученный Гоголь... И здесь, «накушавшись», как говаривал затейник Лесков, благодатного абрамцевского воздуха, Сергей Тимофеевич на шестом десятке, угрожаемый слепотой, открылся дивным мастером прозы и спокойно, без суеты, но прочно уселся в сани русской классической литературы.

С Абрамцевом он простился лучшим своим стихотворением, посвященным Аполлону Майкову. Оно кончалось так:

Прощайте, горы и овраги,
Воды и леса красота,
Прощайте вы, мои «коряги»,
Мои «ершовые» места.

Аксаков как в воду, как в прозрачную Вóрю глядел, — отсюда он уехал в смерть...

Абрамцеву выпала особая участь: стать в двойне историческим местом, дважды мемориалом. В 1870 году известный предприниматель Савва Мамонтов покупает Абрамцево у дочери Аксакова Софьи Сергеевны. Широко одаренный человек, ценитель искусства и меценат, Савва Иванович приобретает Абрамцево не только для себя и своей семьи, но и для своих друзей-художников. В Абрамцеве подолгу гостят Виктор Васнецов, Репин, Неврев, Поленов с сестрой, Антокольский, затем к ним присоединяются молодые: Константин Коровин, Врубель, Остроухов, Аполлинарий Васнецов, Серов.

Все, что создавали здесь художники: в красках, камне, глине, дереве — было овеяно там русским духом, который отличал Абрамцево в дни Аксаковых. Думается, неслучайно Савва Мамонтов, приверженец самобытного отечественного искусства, остановил свой выбор на Абрамцеве, задумав собрать под крыло художников, наиболее преданных русскому началу. Этому отвечала абрамцевская традиция. Он кое-что тут достроил, но ничего не перестраивал, бережно сохранив и главный дом, и аксаковский кабинет с портретом Гоголя, и планировку парка, и, конечно же, любимую гоголевскую аллею. Люди пришли другие, новые, но исповедовали ту же веру, что и прежние владельцы усадьбы, и в двойной славе Абрамцева нет раздвоенности.

В аксаковском гнезде отогревались многие славные люди России. Здесь бывали наездами, а то и гостевали Щепкин, Погодиу, Шевырев, Хомяков, Самарин, Тургенев и многие другие. Конечно, душой дома был Сергей Тимофеевич — высокоодаренный, умный, с непререкаемым нравственным авторитетом, по-русски хлебосольный и внимательный к

людям. Но внутри аксаковской семьи расклад был несколько иной. Главой и мозгом семьи был, разумеется, Сергей Тимофеевич, но сердцем — старший сын его Константин. Человек не очень дальнего ума, хотя и больших способностей, неистовый в убеждениях, горячий, необузданный в чувствах, с даром красноречия, он пользовался среди близких большим влиянием, которого не избежал и Сергей Тимофеевич. Он оглядывался на Костю, а умная и одаренная Вера буквально молилась на старшего брата и возненавидела Тургенева, посмеявшегося не соглашаться с ним. Константин Сергеевич и его друг Хомяков были признанными вождями славянофильского движения. Поэт, драматург, публицист и критик — Константин Аксаков имеет несомненные научные заслуги, он опубликовал ряд значительных лингвистических работ, но есть у него и другая великая заслуга перед русским народом. По его упорнейшему настоянию впервые был отпразднован юбилей Москвы — семисотлетие. Любопытно, что тогдашний министр просвещения, пресловутый гонитель Пушкина, Уваров искренне не мог взять в толк, почему надо отмечать этот день. Тут сошлись и традиционная антипатия официального Петербурга к старой столице, безразличие к русской истории и полное отсутствие патриотического чувства. Как ни странно, национальную идею такого торжества понял Николай I и на радостях прислал московскому генерал-губернатору разрешительную депешу в каком-то залихватском тоне: празднуйте на здоровье, сколько хотите и как хотите.

Младший брат Константина Иван Сергеевич полностью разделял его взгляды, но был человеком иного, практического склада. Ему хотелось приносить деятельную пользу России, и он служил — энергично, по-аксаковски праведно и горячо. Последнее противоречило духу николаевского бюрократического аппарата, пришлось выйти в отставку. Он занялся журналистикой, бесстрашно отстаивал свои взгляды и снискал европейскую славу. Женившись на старшей дочери Тютчева, он издал второй — при жизни Федо-

ра Ивановича — сборник его стихов, очистив от тургеневских поправок. Он же написал биографию Тютчева, долгое время остававшуюся единственным трудом о великом философском лирике России.

Можно наговорить много дурных слов о славянофилах, но все же не нужно забывать, что эти люди отстаивали культурную, нравственную самобытность России, чтобы не стала она сколком с западного мира, не потеряла своего неповторимого лица. И они были стойкими противниками крепостного права, видя спасение России в крестьянской общине. Царское правительство упорно преследовало их и лишь на короткое время Крымской войны помягло в надежде, что поднимутся славянские племена, находящиеся под господством Турции и Австрии. Когда же война была проиграна, вернулось к прежним гонениям.

Сам Сергей Тимофеевич себя славянофилом не называл, ему претили крайности движения, панславянство и пресловутый щит Олегов на вратах Царьграда, он говорил о своей приверженности «русскому направлению». Он не мог оставаться равнодушным к бесу подражательности Западу, овладевшему не только высшим обществом, петровской столицей, но и провинциальным дворянством, купечеством, городскими мещанами и даже зажиточным крестьянством. Он носил старинную русскую одежду и бороду на шкиперский манер с голым подбородком. В пору гонения на славянофилов он отказался сбрить бороду и сменить русское платье на «немецкое». Может показаться странным, что умный, пожилой, знающий себе цену человек так упрямо отстаивал несколько клочков седых волос и бесформенный архалук. Но Аксаков не ленился писать пространные петиции сперва московским, потом петербургским властям, чтобы ему оставили бороду и привычную одежду. Он готов безвыездно сидеть в подмосковной, чтобы своим видом не вводит в соблазн окружающих, готов схорониться в заволжской усадьбе вдали от всех глаз — ничего не помогло. С тупой беспощадностью самовластия

почтенному, заслуженному человеку было приказано расстаться с привычной внешностью, и ему пришлось подчиниться. Самое дикое, что власти видели в бородах славянофилов не русскую традицию, а моду итальянских карбонариев. Достоинству старого писателя был нанесен тяжелый удар.

Сергей Тимофеевич скончался 30 апреля 1859 года, до глубокой старости было еще далеко, но жизненные ресурсы оказались исчерпанными. Он тяжело, мучительно болел, ему грозила полная слепота, и он до конца спел песню своей жизни, всю ее, включая предбытие, перелив в литературу. Только маленький очерк оборвался на полуслове. Он прожил большую и, при всех тяготах, счастливую жизнь.

Константин Аксаков не пережил потери безмерно любимого отца, скоротечная чахотка через год унесла еще молодого, сильного, широкогрудого человека.

Иван Аксаков прожил долгую деятельную жизнь. Его борьба за общеславянское дело принесла ему неслыханную популярность, «увенчавшуюся, — как сказано в словаре Брокгауза и Ефрона, — кандидатурой его на болгарский престол, выдвинутой некоторыми болгарскими избирательными комитетами». Престола Иван Сергеевич не занял, зато вскоре угодил в ссылку. Но пусть не стало царской династии Аксаковых, в русской культуре эта династия прославлена навсегда.

СОН О ТЮТЧЕВЕ

Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бодрствования природа и все мироздание приоткрывают наблюдающему человеку дверь — не в царственные покои свои, нет, но хотя бы в прихожую. Человек остается по-прежнему далек от постижения целей, намерений и символов Творца, но может полюбоваться его то веселой, то грозной и никогда не повторяющейся игрой. Тютчева радовала вечная молодость старого Бога, позволяющего себе самозабвенные белыи игры на восходе, на закате, равно и в той обнаженности мировой бездны, что людям в странном заблуждении представляются ночной тьмой.

Но в последнее время у него сильно болели ноги, особенно голени, и ему стало не до прогулок в святые утренние часы. Аврора могла как угодно румянить небо, выгонять серебро росы из трав, укладывая по тяжеленькой, дымчатой и чуть расплющенной собственным весом капельке в каждую седоватую манжетку, пробуждать голоса птиц, раскрывать чашечки цветов, — Тютчев мучился ногами в выстуженных к утру простынях: старое тело не согревалось, впустую забирая тепло из постели и окружающего сухого, разогретого кафельными печами воздуха, — подтапливать начали с последних чисел июля. И весь в своем недуге, в жалкой, недостойной человека слабости перед болью, он старался забыть, что без него расцветает день.

Ноги мозжило до полудня, потом боль начинала постепенно отпускать, и к вечеру он уже мог выйти на прогулку, недалекую и небыструю, так не похожую на прежние его странствия, и сам ощущал, как странен его медлитель-

ный, шаркающий шаг, приличествующий какому-нибудь подагрическому сановнику или генералу-ревматику, а не худому, даризелевой невесомости и незаземленности поэту. После смерти Денисьевой скупая плоть Тютчева вконец истаяла. Его бестелесность пугала. И жутко прекрасной стала крупная голова с белыми легкими волосами, разметанными словно внутренним вихрем.

Но Тютчев, человек предельно искренний и чуждый позе, не способен был эстетически воспринимать перемену в своем физическом и духовном облике, какую нанесло страдание, не мог постигнуть красоту этой муки, столь полной, открытой и в безысходности совершенной, что перед нею склонилась даже смертельно оскорбленная Эрнестина Федоровна, его законная жена.

Он испробовал все: стихи, слезы, бегство в Ниццу, много значившую в его жизни, политику, все виды самообмана, горячечные, ночь напролет, разговоры с умным, добрым Георгиевским, зятем Денисьевой, понимавшим и чтившим их горький союз. Ничего не помогало. Елена Александровна не отпускала его, выматывала душу не «тоской желаний», как некогда было с ним после другой страшной потери, а безнадежностью запоздалого раскаяния. Чувство вины было не внове Тютчеву. И узнал он его впервые в ту давнюю пору, когда первая жена Нелли пыталась заколоться маскарадным кинжалом. Но с той виной он сумел не то чтобы справиться, а сжиться, просто потому, что был молод. А шестидесятилетнему человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя надеждой на искупление.

Двадцать три года прожила Елена Александровна Денисьева, не ведая, как грозен и беспощаден окружающий ее добрый мир. Ее кружение и блистание в свете под снисходительным — поверх карт — взглядом тетки, суровой инспектрисы Смольного института, терявшей близ племянницы свою жесткую пронизательность и властность, было безвинным и мотыльково-кратким. Веселость, отвага, бесшабашность, живость, переходившая порой в милую дер-

зость, — все было сложено в единый миг к сухим, как у оленя, ногам стареющего баловня гостиных, как только она ощутила в нем истинное чувство. Да, чувство было истинным и возникло почти с первого взгляда, когда он пришел в Смольный проведать дочек Дашу и Катю, и вдруг ударом по глазам и сердцу — промельк чудесного, смутлого, с огромными яркими очами существа, и захлебывающиеся, вперебой голоса маленьких сплетниц, мгновенно угадавших волнение отца: «Это Леля Денисьева, инспектрисина племянница... Отец у нее майор, отличился под Фридландом... А Леля тут на особом положении, не как все воспитанницы! — и с восторженно-замирающей интонацией: — Ее уже в свет вывозят!..»

Какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью обернулась безмятежная легкость большеглазой смольнянки! Она сразу превзошла его в мощи, цельности и одержимости чувства. Он устремился за ней, поднялся выше своих обычных сил, опалил крылья, рухнул, но, поддержанный ее мужеством и отчаянием, повис между небом и землей, то безоглядно отдаваясь любви, то испрашивая милости и терпения у Эрнестины Федоровны.

И удивительный, роковой смысл приобрели в отношениях с Денисьевой его стихи. Сама воплощенная поэзия, она не любила стихов, даже его. Но, навеянные ею, были необходимы ей как воздух. Словно в них одних находила она искупление своей грешной, в нарушение всех божеских и человеческих законов, жизни. Существовала ли на свете женщина, настолько созданная для прочных радостей замужества и материнства, как Елена Александровна? Теплая, искренняя вера отличала ее, и лишь крушение внутренних устоев опалило эту веру мрачным фанатизмом. Она жаждала порядка во всем, чтילה общественное мнение, а по злему року жила в удручающем беспорядке, попирая изо дня в день общественное мнение, устав своей среды. И общество выбросило ее вон. Пришлось уйти в отставку и гордой инспектрисе Смольного. Словно две мещаночки,

сняли они квартиру в одном из окраинных переулков столицы.

...Самым трудным для него стали первые шаги: сойти с крутого крыльца, пересечь мощный плитняком дворик и выйти за калитку. А там дорога словно подхватывала тебя, помогая тихому, шаткому шагу...

Он шел и думал: «Наша любовь дала жизнь трем детям, я совершил жалкий жест порядочности и «простер над ними отцовскую длань», попросту усыновил их. Но что значит эта формальность в глазах света? И дети, которых она безмерно любила, усугубляли ее муки. Она страдала, когда я наклонялся над колыбелью нашего первенца и когда забывал это сделать. Страдала, когда я был с ней и когда уходил, страдала, когда мы ездили за границу — в любом пейзаже и любом окружении. Страдала, когда я целовал, обнимал, желал ее, и еще невыносимее страдала, когда заботы, усталость или скорбь отвлекали меня от нежности. Она хотела, чтоб я любил ее непрерывно и вместе чтоб не прикасался к ней. У нее был культ ложа, но каждое объятие наше окрашивалось горечью унижения, незаконности, неосвященности Божьим благословением. Иногда казалось, что она готова убить меня. Раз так едва не случилось: пущенное мне в голову тяжелое пресс-папье ожгло кожу на виске и обломило угол изразцовой печи. И это из-за стихов. Она хотела, чтобы я переиздал свои стихи и всю книгу посвятил ей.

Боже, я не понимал даже отдаленно безмерности ее боли, отчаяния, святости ее гнева. Как нежно и умоляюще, как гневно и яростно просила она меня, а потом требовала, чтобы книжка была отдана ей. Она верила, что мои бедные стихи заменят аналой, дадут ей право глядеть в глаза всему свету — и своим прежним подругам, и своим бывшим наставницам, и своему глупому отцу, порвавшему отношения с «дочерью-блудницей», и своим детям, когда они подрастут, и даже моей семье, и самому Господу Богу. И как же мал и беден был я перед этой духовностью и святой верой, что

браки заключаются на небесах поэзии, коли тупо и упорно отказывал в ее справедливом желании».

Какая нищая смесь из жиденькой авторской скромности, презрения и вместе уважения к свету, копеечной деликатности к жене, проявившей в свой час спокойное, до жестокости, небрежение к Нелли, помешала ему выполнить великую просьбу Елены Александровны? Правда, было еще одно, от чего так просто не отмахнуться: верность умершим, тем, кого нет и кто беззащитен перед нашей памятью. Нежная, преданная, вечно озабоченная, несчастная и прелестная Нелли, ценою собственной жизни спасшая их детей, — мог ли он отнять у нее «Еще томлюсь тоской желаний» — эту почти единственную плату за всю ее любовь и самоотверженность? Он мог отнять «Геную» у Эрнестины Федоровны или выплакать у нее в подарок, но мертвую не мог обокрасть. Вот что на самом деле помешало ему выполнить заветное желание Лели. Но не осталось у него чувства правоты, значит, была какая-то внутренняя ложь в его поступке. Да, легко изменять живым, — трудно, почти невозможно изменять мертвым. Ну, так Леля и требовала от него подвига во имя их любви. Она же совершила подвиг, горестно и покорно подставив плечи и лоб под клейма. Ее высота оказалась ему недоступной. И как странно, он был податлив и мягок и вовсе не владел своими страстями — под рафинированной оболочкой дипломата творилось древнее азиатское буйство в крови, но какое самообладание, хладнокровие, какую железную стойкость противопоставил он страстному напору своей любимой! А ведь он умел чувствовать страдание близкого человека, как свое собственное. Не ко времени пробудилось в нем дьявольское упорство, позволившее некогда его дальнему родичу майору Степану Тютчеву вопреки приказу командующего и ярости прусской лавины выстоять со своей батареей под Гросс-Егерсдорфом. Безумная и прекрасная Елена Александровна разбилась о него своей искромсанной душой, своим изглоданным чахоткой телом.

И, признав свое поражение, она сказала почти жалеючи: ты еще заплатишься за это!.. Боже мой, в последней предсмертной ясности она видела, как непомерна окажется эта плата...

...Но дорога в жестких морщинах колеи, копытных следах, иссохших колдобинах — давно уже не было дождя, — пустынная серая дорога, медленно уходившая из-под ног, влекла его прочь от самоистязающих мыслей в озноб еще не родившегося, еще безъязыкого стихотворения. Чаще всего стихи слагались у него во время одиноких прогулок, а потом ему оставалось лишь записать их или продиктовать кому-то из близких. И как непохожи были эти стихи на те, что сочинялись. Он отнюдь не пренебрегал сочинением стихов — на торжественные, юбилейные даты, на крупные события политической или государственной жизни, на смерти и рождения. Приятно было вгонять неподатливые, упрямые слова в ритмические строки, заставляя их перекликаться друг с дружкой, обретать тот или иной музыкальный тон. Каждое стихотворение — маленькая победа над хаосом. Он не придворный пиит, но и близкие к одическим стихи нужны ему, равно как и эпиграммы, ибо в нем самом заложена жажда отклика на суматоху внешней жизни. Но бывало и другое, обычно в дороге, когда стихи начинались смутным шумом, словно далекий морской прибой, затем в мерном шуме этом прозванивали отдельные слова и вдруг чудно сочетались в строку. Он становился как бы вместилищем некой чужой работы. Ему нужно было лишь узнавать лучшие, самые необходимые слова, не только наиболее точно выражающие смысл, но содержащие что-то сверх прямого смысла, слова, отбрасывающие тень и сияние. Конечно, стихи эти не с неба падали, их порождали высшая сосредоточенность, настроенность и бесстрашие. Пустынная дорога, идущая травяными полями или нивами, купы деревьев, лес на горизонте, небо и облака в нем помогали этой настро-

енности и тому бесстрашию перед Богом, что давало ему заключать в слова сотрясающий душу ужас.

И вот оно — сказалось сразу двустручием:

Были очи острее точимой косы
По зигзице в зенице и по капле росы...

Ах, Бог мой, как хорошо! Но не надо. Рано. Ведь даже «сумеречный свет звезд», «мглистый полдень» или «громокипящий кубок» его юношеского стихотворения вызвали бешенство пишущей братии, доморощенных знатоков отечественной поэзии. Что будет с очами «острее точимой косы»? Нет, не пришло еще время для этих стихов, оно придет через век, быть может, чуть раньше. Он еще раз, словно прощаясь, повторил вслух эти строки и дал им уйти в горло другого, грядущего поэта.

Он, как птицу, выпустил стихи из ладоней, но к острому сожалению примешивалась взволнованная убежденность, что стихи сегодня непременно будут. Да и как им не быть, если завтра годовщина смерти Елены Александровны, если она, что ни ночь, является ему с невысказанным и мучительным укором, словно все еще чего-то ждет от него. Она приходила не во сне, а в предсонный час то тихой и скорбной, то яростно-гневной, какой он куда чаще видел ее в последние годы жизни, садилась на постель, чуть сминая стеганное шелком одеяло, и ничего не говорила, даже не смотрела в его сторону, только вздыхала протяжно-прерывисто, с каким-то всхлипом в конце каждого вдоха, и острые скулы ее рдели. Ему хотелось коснуться ее, но худая старческая рука в странном бессилии не дотягивалась до нее, не могла выиграть у пространства какой-нибудь вершок. Иногда она так же тихо удалялась, а иногда глаза ее начинали метать молнии, и у него холодел висок, некогда задетый пресс-папье, расколовшим кафель печи. О, как счастлив был бы он, если б она овеществилась в удар, в рану, в увечье, он бы молился на кровавый знак ее снисхождения к нему.

В июле минула пятнадцатая годовщина их союза, и он посвятил этой дате стихи, казавшиеся ему самому хорошими, искренними, но имевшие следствием то, что глаза Елены Александровны источали теперь лишь молнии. Он вызвал гнев ее тени, как вызвал гнев ее сущего образа, и вновь повинны были стихи. Неужели холодными показались ей строки: «15 июля 1865 года»? Мертвая, она умела терзать еще искуснее, нежели живая, и чаша его страданий наполнилась до краев.

...Был тот час суток, который французы называют «между собакой и волком». Солнце еще только погружалось в сизую тучу, заставшую на западе горизонт, и небо было располосовано багровыми тяжами, а уже в березняке, с не захваченного закатом края церковной свечечкой затеплилась луна, бледно вызолотив прозоры меж стволов. Под небесной распрей затихла земля, ни звука в просторе, только слабые шаги Федора Ивановича по иссушенной земле звучат сверчковым тиканьем.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя, —

сладко сказалось в сердце.

Нет, и для этих стихов еще не настало время. Их скажут потом, лет через пятьдесят. Надо что-то оставить будущим поэтам, чтоб новыми голосами понесли в мир его слово.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа...

— Стоп! — пусть, пусть все это скажет в свой час другой во утление собственной боли.

От жесткого, в корявых заусенцах большака опять заломило ноги. Он перебрался через заросшую лопухами обочину и пошел по обгорелой желтой траве, задевая не сдающийся засухе колючий чертополох с пунцовыми цветками, источающими сильный спертый дух.

Он не успел порадоваться облегчению, будто стальными обжимами охватило голени. Он остановился, трудно

дыша. И вдруг — от боли, одиночества, от непоправимого своего сиротства в мире — заплакал. Дрожащей рукой вытащил из кармана носовой платок и прижал к глазам. Когда же отнял от лица совсем мокрый платок, вокруг было так темно, будто он все глаза выплакал. Нет, просто померкло ликующее небо, солнце скрылось, а луна, вставшая над рощей, давала свет тихий, приглашенный. Мокрые от слез губы прошептали:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?..

Ветер скользнул по лицу, остудив глаза, щеки, губы. Ему стало знобко, домой бы повернуть, но зазвучавшие в нем стихи вытеснили все другие соображения. В них не было ничего, кроме утверждения простых очевидностей: он брел именно вдоль дороги, а не по дороге, и угасал день, ему было тяжело, болели, замирали ноги. В поэтический чин эту строфу возносила последняя строчка, тоже простая, безыскусственная, но тем и прекрасная. Он продолжал, оглянув мглающий простор:

Все темней, темнее над землею,
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

И вскрикнул. Он говорил с Еленой Александровной, с Лелей. Обращение не было приемом. Тут вообще не было никакой поэтической риторики. Душа стала словом и выражала себя напрямую.

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

— Вижу, — тихо и отчетливо произнес глубокий голос Елены Александровны. — Вижу, бедный друг мой, и слышу.

— Сим отпускаеши! — проговорил другой голос почти шепотом, но словно бы под хрустальным куполом — так отгулив и отзвончив, широк и внятен был резонанс. И все — тишина, сумрак, одинокий старик у дороги...

...Дома беспокоились. Но Федор Иванович запретил выходить навстречу ему, даже встречать за воротами. И дочь, Анна Федоровна, и приехавший под вечер жених ее Иван Сергеевич Аксаков то и дело, будто между прочим, раздвигали шторы на окнах и пытались проглянуть окутавшую усадьбу темень, — сморщившаяся луна давно ушла в полупрозрачную дымность бегущих туч.

Фрейлина Анна Федоровна, старшая дочь от первого брака, унаследовала от отца блестящее остроумие, полную душевную свободу, опасно обострив ее женской безответственностью и вызывающей прямоотой, что укоренило за ней при дворе кличку Еж. Она связала тягостное состояние отца последних дней и непонятно долгое его отсутствие с завтрашней датой, это немного успокаивало и злило одновременно. Она уважала чувство отца, даже чуть завидовала его способности к сильным и глубоким страстям, ей понятным, но несвойственным (с того, видать, и заневестилась она только в тридцать шесть лет), и все же не могла подавить в себе раздраженно-недоброго чувства к покойной Денисьевой. Анна Федоровна была в какой-то мере поверенной этой любви — отец ездил с ней и Денисьевой на Валаам, — хотя, при всей своей хваленой проницательности (даже вещие сны видела), так и не догадалась тогда о близости старшей подружки-смольянки с отцом. Она была их ширмой, если называть вещи своими именами. Очевидно, это и настроило ее против Денисьевой. Но когда та умерла, мачеха показала, как надо относиться к истинному горю, а ей не хотелось уступать в великодушии Эрнестине Федоровне. И сейчас ее огорчала собственная злость, но она ничего не могла поделать с собой. Если уж не стало этой красивой, несчастной, полубезумной женщины, так пусть мертвый не кусает живого.

К беспокойству же Ивана Аксакова примешивался некий литературный зуд. Он задумал новое издание стихов Федора Ивановича, куда более полное, нежели тургеневское. Десять лет назад Тургенев с присущим ему доброжелательством и обязательностью взял на себя труд издания разбросанных по журналам и альманахам стихов поэта. Труд был бы и вовсе не тягостен для такого пламенного почитателя тютчевской поэзии, как Иван Сергеевич Тургенев, если б Тютчев хоть в чем-то пошел навстречу. Но Тютчев палец о палец не ударил ради такого важного для каждого автора дела. Пушкин был поэтом куда более прославленным, но он с глубочайшей серьезностью и уважением относился к своим издательским делам. Если б Господь Бог послал ему, Аксакову, хоть тень тютчевского дара, уж он не зарыл бы клад в землю! Аксаков понимал, что его задача окажется никак не легче тургеневской, но хотя бы добиться согласия поэта на это издание.

И тут оба услышали, как хлопнула в сенях дверь. Анна Федоровна мгновенно успокоилась, поняв по каким-то ей самой необъяснимым знакам, что с отцом все в порядке. Лишенный ее вещего дара, Аксаков опрометью кинулся в прихожую. Слабые звуки, доносившиеся оттуда, позволили Анне Федоровне догадаться, что Аксаков помогает отцу снять длинное, узковатое в проймах пальто, в рукавах которого всегда по-детски застревали отцовы кисти, вешает это пальто в платяной шкаф, что отец приглаживает свои легкие, ловящие неощутимое дуновение волосы, поправляет черный галстук и идет в комнату. Затем она услышала, как Аксаков хорошим, добрым, сейчас чуть жалобным голосом говорит отцу о задуманном издании:

— От вас требуется так немного, хотя бы уточнить некоторые даты...

«Зачем Аксакову это надо? — думал Федор Иванович. — А может, он просто придрался к моему сборнику, чтобы приехать и провести время с Анной? — Тютчев вдруг мо-

лодо и озорно усмехнулся. — Нет, боюсь, что все наоборот. Он и женится-то ради моего сборника. После Гоголя, которого Аксаковы, особенно неистовый Константин, чуть не «на смерть залюбили», по выражению самого творца «Мертвых душ», их пламень перекинулся на меня. Надо держать ухо востро с этим молодцом. Пусть женится на Анне, бедная моя фрейлина настоящий перестарок, но убереги меня Господь от аксаковского огня. Кстати, я только что понял, чем Иван вводит в заблуждение. Он безбород в отличие от отца и старшего брата. Видишь его скошенный слабый подбородок, но приделай ему бороду — будет вылитый Константин. Это опасно...»

Федор Иванович вошел в гостиную в своем старом узком сером костюме, подчеркивающим его худобу. Анна Федоровна подошла и поцеловала отца в высокий, намятый шляпой, чуть влажный лоб. Он рассеянно скользнул невесомой рукой по ее затылку и плечу, словно березовый осенний листик задел ее в своем падении.

— Какое издание, зачем?.. — сказал он, обернувшись к будущему зятю и морщась, словно от лимона. — Кому это надо?.. — И прошел в кабинет.

Аксаков в досаде и восхищении сцепил длинные пальцы и громко хрустнул — жест, запрещенный в присутствии невесты. Но он был так взволнован, что не заметил гневно подскочивших бровей.

— Ну, что вы на это скажете? — произнес он зазвеневшим голосом — родовым голосом аксаковского умиления, и слезы налили ему уголки глаз. — Что за чудо морское, зверь лесной ваш невозможный отец? Человеку дан такой редкий, удивительный дар! А он в грош не ставит свои стихи! Бывает ослепление гордыней, но ослепление скромностью, ей-Богу, так же губительно!..

«...Как убедить Аксакова, чтоб он оставил меня в покое с этой книжицей?.. Ведь все и так состоялось. Мне отозвался дух умершей, мне был явлен глас неба. Неужели важно, чтоб стихи мои прочел какой-нибудь коллежский асессор

или учитель словесности?.. Все это пена, я обрел спокойствие, больше мне ничего не надо...»

Да, он обрел спокойствие, Денисьева больше не являлась. Но уже осенью, когда тонким сахаристым ледком затрещали замерзшие лужи, он швырнул небу назад его милость. Он всегда был вежлив с Богом, и впервые мольба его прозвучала как вызов:

О Господи, дай жгучего страдания
И мертвенность души моей развей —
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней!..

ЗАПЕРТАЯ КАЛИТКА

Он много успел с утра. Он побывал в поле, где на сырых пойменных низинах бабы ворошили толстое осоковатое сено, а на взлобке за усадьбой мужики ставили первый стог; на конюшне, где вдосталь полюбовался молодым, будто из цельной черной кости выточенным жеребцом Закрасом, которого минувшей весной впервые подпустили к маткам, — большие надежды связывал заядлый лошажник с ладным породистым орловцем; заглянул на шумный птичий двор, окунулся в адову жарышу кухни, будто «снисшел еси в преисподняя земли».

А по пути с кухни перехватил конопатого, рыжего (здесь многие говорили «рудого») мужичонку Афоню, доставлявшего почту со станции. Он давно подозревал, что газеты сперва попадают в людскую, где два великих грамотея — истопник Савушка и кондитер Никола — раньше своего барина знакомились с движением мировой политики и светскими новостями, чтобы в полдник с важным видом просвещать дворню. Афанасий Афанасьевич тщетно пытался углядеть следы грязных пальцев на газетных листах, учуять сладкий запах Николы и горелый, чадный — Савушки, но листы были чистыми, а крепкая — смесь мочи с керосином — вонь типографской краски отбивала более тонкие ароматы. Еще немного, и Афоня был бы схвачен на месте преступления, он уже сворачивал к людской, но Фет заметил у него в руке письмо в знакомом продолговатом конверте и не выдержал, окликнул.

Письмо, как и ожидалось, было от Льва Николаевича Толстого, и, конечно, он сразу забыл об Афоне, чем не преминул воспользоваться юркий мужичонка. В нетерпении Фет тут же разорвал конверт, и померкло его

радужное настроение: опять не угодил!.. Что-то зачастили в последнее время деликатно-суровые выговоры от младшего годами Льва Николаевича. Но в каком-то смысле Толстой был старше всех, с кем сводила его жизнь (Тургенев пытался отстоять приоритет возрастного старшинства, и это едва не привело к дуэли), покладистый с друзьями, Фет охотно подчинялся нравственному превосходству графа. Но на этот раз упрек попал в самое больное место. «Хоть я люблю вас таким, какой вы есть, — писал Толстой, — всегда сержусь за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгуете, а все больше бильярд устанавливаете».

Экая беда — бильярд!.. Стол дорогой, хороший, и надо его так ровно установить, чтобы на своей разбивке брать партию в «американку» с кия — меткому охотничьему глазу и твердой руке кавалериста Фета это вполне по силам. Но Афанасий Афанасьевич прекрасно понимал, что дело вовсе не в бильярде. Толстой осуждал его нынешнюю жизнь, хотя чем отличается она от прежней, которую Лев Николаевич неизменно и радостно одобрял? Может, тогда Толстой лучше понимал естественную и гармоничную двойственность Фетовой природы? Он похвалил Афанасия Афанасьевича, что тот на листке письма с новым стихотворением «излил чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта». Толстой постиг движение стыдливого духа, пытающегося спрятать от чужих глаз свое сокровенное. Тогда Фету казалось, что Толстой проглядывает его сущность до самого дна. Но Толстой — прежде всего великий сочинитель, он сочиняет и пересочиняет Фета по своему произволу, в зависимости от той внутренней работы и тех борений, что совершаются в нем самом. Понять же другого человека по-настоящему может лишь тот, в ком отличающий Толстого ясный ум души (только души, а не самонадеянный и узкий головной ум) свободен от самовластья творческой воли.

«Зачем я обманываю себя, — оборвал свои мысли Фет. Зачем делаю вид, будто вина на Толстом, а вовсе не на мне? Что общего между моими прошлыми тяжелыми и необходимыми заботами и нынешней пустейшей суетой? Чего лезу я к мужикам с указаниями и советами, да как подстожье класть, да как треснувшее копыто лечить, когда сам же нанял управляющего, умного, знающего, высокопорядочного Оста? Мне нечего делать ни в поле, ни в конюшнях, ни на птичьем дворе, я только обижаю и раздражаю своим неуместным вмешательством щепетильного Оста. Кухня — это еще по моей части, все остальное — от многолетней привычки к безостановочному крутежу. Я никогда еще не был так свободен и никогда еще не был так занят, как сейчас. Я сам придумываю себе заботы. И тщетно стал бы ждать Толстой, чтобы ныне житейская жалоба излилась на листке с новым стихотворением, — поэзия забыта. Понадобилось убийство царя-освободителя, чтобы я проговорился крошечным и слабым стихотвореньицем. Толстой все это видит и презирает... »

— Просим вашу милость работку принять, — послышался за его спиной вкрадчивый голос.

— Какую еще, к нечистому, работку? — Не узнав Киприянова, бильярдного мастера, выписанного из Курска, Фет грузно повернулся.

— Бильярдный стол уста...

Все остальное застряло в глотке мастера — Фет недаром начинал службу в кавалерии с младшего чина, чуткое ухо поэта сберегло перлы крепкого унтер-офицерского красноречия.

У Киприянова разом вспотело широкое бледное лицо. Он был человек балованный, весьма не бедный и амбициозный. Фет вспомнил об этом посреди «большого кирасирского захода», которому научился у незабвенного вахмистра Лицицкого, и властно, словно норовистого коня, обуздал себя: Толстой Толстым, а бильярд бильярдом, и работу принять надо со всем тщанием, не выбрасывать же деньги на ветер.

— Моя вспышка, дорогой Иван Свиридович, — сказал он без всякого перехода, — служит выражением собственного душевного беспорядка и твоей почтенной особы никак не касается.

— Понимаю, сударь, — Киприянов наклонил голову, как бильярдный шар, и такую же твердую костяную голову с бахромой сивых волос на затылке, — и, поверьте, умею ценить богатство и гибкость татаро-русского велеречия!

— Ого! — удивился Фет. — Ты еще и словесник?..

По пути в бильярдную Афанасий Афанасьевич вновь растравил в себе обиду на Толстого. Пусть он в чем-то и прав, но кто-кто, а уж Толстой мог бы проглянуть дальше грубых очевидностей внешнего поведения, а главное, понять, изнутри понять, почему мечтательный студент-поэт превратился в торопыгу-помещика, не знающего покоя.

Ему выпала странная судьба и странная жизненная задача: вернуть то, что принадлежало ему от рождения и было отнято игрой таинственных обстоятельств, — имя и лицо. В четырнадцать лет ленивый и беспечный барчук, воспитанник пансиона в Верро, столбовой дворянин Афанасий Афанасьевич Шеншин, в чьем роду были воеводы и стольники, вдруг превратился в иностранца и разночинца Фета. Каждому человеку больно и дико лишаться своего имени, но каково это подростку с тонкой кожей? К тому же он лишился не просто имени, а куда большего!

Мальчиком ему доставляло неизъяснимое наслаждение рассматривать родословную Шеншиных; от «герольда» пахло дикой полынью, степной пылью из-под копыт вражеской конницы, рвущейся к южной окраине русской державы, прикрытой щитом воеводы Шеншина; пахло вином и брашном изобильного царского застолья, зорко наблюдаемого расторопным стольником Шеншиным. И маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприютном мире сладко быть лишь русским дворянином и баринем.

И вот он не русский, не дворянин, не барин, не старший сын и наследник родовой вотчины отставного ротми-

стра Шеншина, увезшего из Дармштадта от живого мужа и малолетней дочери голубоглазую Шарлотту Фет, чтобы сделать в России своей законной женой. Вскоре по приезде Шарлотта родила. Слишком поторопился на свет божий младенец, нареченный Афанасием, и подделка, совершенная приходским священником в угоду влиятельному прихожанину, через четырнадцать лет была раскрыта консисторией.

Но, как ни страшен был удар, Фет куда позже осознал и ощутил его сокрушающую силу, молодость живет иллюзиями. В студенческие годы, обнадеженный успехом своего поэтического дебюта, он наивно верил в спасение через литературу. Красавцу императору Николаю I не везло с поэтами, и он освобождался от них с помощью петли, каторги, солдатчины или пистолетов метких стрелков. У русской поэзии был тяжелый счет с царем, что набрасывало тень на столь блистательное царствование. Почему бы певцу природы, тонких, смутных ощущений, нежного трепета своей доброй и безвредной музой не привлечь благосклонного внимания государя и не примирить с отечественной поэзией? А там!.. Глупые, ребячливые мечты!.. В середине сороковых годов в просвещенном русском обществе угас интерес к поэзии, чего же было ждать от гиганта с сероголубыми глазами? Мужественно пережив разочарование, Фет избрал кратчайший, казалось бы, путь в дворяне — военную службу, ведь первый же офицерский чин давал потомственное дворянство.

И юный выпускник Московского университета по филологическому отделению надевает солдатскую шинель, обрекая себя на смертную скуку и тяготы провинциальной армейской службы. У Фета твердый, целеустремленный характер, поэзия загнана в чулан; посадка, выездка, посыл лошади шенкелями, сабельные приемы, неукоснительное исполнение службы, благоволение командиров — других забот нет у подтянутого, сдержанного, малообщительного кирасира. И лишь порой, как некогда в Верро, в

редкие минуты свободы и одиночества он вновь почувствовал «подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность», цветок поэзии. Но он тщательно скрывал эти цветы от товарищей по службе — кутил, картежников, лошадиников, борзачей. В канун получения им первого офицерского чина вышел указ: лишь звание майора дает дворянство.

И опять годы скучной службы, муштры, бессмысленных, изнуряющих смотров, пустых маневров под отдаленный и мрачный гуд севастиопольской кампании, куда отправляли лишь по жребию, но ему жребий не выпадал.

На мучительно медленном пути к поставленной цели было растоптано единственное сердце, открывшееся ему великой, бескорыстной любовью. Конечно, нелегко было порвать с милой, умной, музыкальной, искренней в каждом жесте и слове, безмерно влюбленной в него и почти любимой им самим девушкой, но не мог же он, нищий армейский офицер, скудно поддерживаемый из дому, связать судьбу с бесприданницей. Это значило бы навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. Вскоре после разрыва Мария Лазич трагически погибла: сторела заживо от случайно — да так ли?.. — оброненной на легкое платье спички. Что он потерял, Фет понял куда позже, тогда же лишь отдал дань скорби — ему светила гвардия. Придет время — о, не скоро, но придет, — и горестная тень властно возьмет все, в чем было отказано живой Марии Лазич.

А пока была гвардия и служба близ Петербурга, и прилив щедрости со стороны старого Шеншина, и возобновление литературных связей, и поэтический подъем, и возвращение на страницы журналов, и успех, и чин ротмистра, за которым следовал желанный чин майора. А завершилось все крахом: ценз на дворянское звание подняли еще выше, теперь служи до полковника, коли хочешь стать дворянином. Даже крепкий Фет дрогнул и затосковал. Две-

надцать лет тянул он лямку, не приблизившись ни на шаг к заветной цели. Он взял отпуск по болезни, затем бессрочный и, окончательно признав свое поражение, уже не вернулся в полк, вышел в отставку.

Но то, в чем было отказано поэту и воину, удалось помещику. В шестидесятые годы, когда «порвалась цепь великая», правительству особенно угодны стали крепкие, хозяйственные люди, что прочно сидели на земле, твердой рукой направляли мирское дело и не поддавались никаким потрясениям той тревожной поры. А Фет стал образцовым помещиком. Невзрачную Степановку, купленную на деньги жены, урожденной Боткиной — насмешливый Тургенев называл усадьбу кукишем на пустыре — он превратил в «табакерку», что было высшей похвалой у орловских подстепных помещиков. Он усердствовал в роли мирового судьи, оказывал помощь голодающим, цифры его урожаев украшали губернскую статистику. О видном сельском деятеле стало известно при дворе. Александр II уронил слезу из голубого, наследственно выпуклого глаза на прошение Фета: «Как он страдал, бедный!» — и размашисто подписал указ о «возвращении» родового имени Шеншин сыну... амт-ассессора Фета.

Наконец-то воссоединившись с воеводами и стольниками, так волновавшими его юную гордость, Афанасий Афанасьевич продолжал ревностно служить земскому делу и собственному укреплению. Он сменил степановскую «табакерку» на богатейшее имение Воробьевку под Курском, осуществив сполна тот идеал, который нарисовал убедительно и просто в письме к Софье Андреевне Толстой: «Жить в прочной каменной усадьбе, совершенно опрятной, над водой, окруженной значительной растительностью. Иметь простой, но вкусный и опрятный стол и опрятную прислугу без сивушного запаха». Нетерпеливым и энергичным попечением нового владельца большой каменный, с паркетными полами и зеркалами во всю стену, хотя и несколько обветшалый воробьевский дом над светлой

рекой был приведен в состояние, мало сказать опрятное, — великолепное. «Значительная растительность» состояла из парка столетних дубов, раскинувшегося на восемнадцати десятинах и прорезанного от крыльца до ворот аллеей рослых вязов; в теплице выращивались олеандры, кипарисы, филодендроны. Весьма опрятен был и стол: свежую икру, столь любимую Афанасием Афанасьевичем, подавали только что вынутую из осетра. А вышколенная прислуга не прикрывала стыдливо рта, выслушивая хозяйские приказания.

Достигнуто было все, но пойдя остановись после четвертьвекового кружения в беличьем колесе землевладельческих забот! А тут еще он загорелся покупкой дома в Москве, чтобы долгие зимы коротать в уютной старой столице... Но — и он не обманывался на этот счет — то были последние содрогания житейщины. Тем обиднее показался укор Толстого. Еще немного терпения и доверия, и он порвет с хлопотливой Марфой. Зачнется новая песня.

...Не знаю сам, что я буду
Петь, — но только песня зреет...

Давно молчащие уста отомкнутся. Ночь все настойчивей призывала его душу, которая, подобно тютчевской душе, лишь на краю звездной бездны, трепещу и содрогаясь, постигала самое себя...

Лучший способ проверить, хорошо ли установлен бильярд, это сыграть на нем партию. И Фет предложил Киприанову «американку».

— Ну какой из меня партнер? — тревожно улыбнулся мастер, беря мазик.

Скромность его не была напускнутой: человек, всю жизнь посвятивший бильярдным столам, сам был никудышным игроком, кий дрожал в его узловатых руках, твердых и ловких в обращении с инструментом, и, боясь киксов — оскользней, он мог играть только мазиком, а глаз-ватерпас

начинал косить, теряя точность. Фет думал, что это происходит от болезненного самолюбия мастера, который в жажде выигрыша утрачивал всякую власть над собой.

Разбивать вышло Фету. Помелив кий, он прицелился и точно послал биток в краешек четвертого от острия пирамидки шара. Со звуком, напоминающим плевков, полосатый шар влетел в правый угол. По тому, как развалилась пирамидка, как разбежались шары, можно было с уверенностью сказать, что бильярд поставлен безукоризненно. И освещен правильно: шары не отбрасывают теней на сукно, каждый приютил свою точечную тень под собой. Фет легким тычком отправил в левый угол «зайцев», и вот самая строгая проверка — на тишайшем ударе в середину. Не спеша, ровно и стройно покатился шар по аппетитному зеленому сукну, на самом краю лузы чуть помедлил, будто решая, что делать дальше, и как в нору юркнул.

— Чем же я сушку-баранку угрызу? — напряженно пошутил Киприянов. — Зубов нету.

Скорее всего, и получить бы ему сухую, но тут Фет заметил, что его любимый белый кактус, цветущий раз в году, готов распахнуть свой единственный, туго, чуть не вразрыв набухший бутон. И, разом потеряв интерес к бильярду, партии и партнеру, Фет отложил кий.

— Спасибо, Иван Свиридович, сработано на славу. Расчет получишь в конторе. — И, крикнув слугу, велел перенести кактус в гостиную...

В гостиной Фет застал неизвестно как случившегося в доме молодого человека, чья фамилия — Иванов — хорошо отвечала совершенному безличию владельца. Подобные люди неизбежны в усадебной жизни, и бороться с ними тщетно, тем более что они не только безвредны, но зачастую оказываются для чего-то нужны: недостающие партнеры в висте или крокете, спутники дам на прогулке. Иногда они знают редкий рецепт варенья или настойки, хорошо свистят или подражают птицам, выразительно декламируют или поют вторым голосом и всегда могут перево-

рачивать ноты. Куда больше занимала Фета приехавшая накануне дальняя родственница, весьма юная особа, в которой мило, трогательно и раздражающе слилась уездная, выхоленная в теплом родительском гнезде прелесть с чуть неуклюжими замашками современной умничающей девицы. Поначалу Фет принял всерьез эту «современность» и ощерился всеми иглами. Но провинциально вздымающаяся от малейшего волнения юная грудь разоблачала невинную игру, и нестареющее сердце шестидесятилетнего поэта забилось громче. С недавних пор такие вот внезапные влюбленности стали постигать его отнюдь не влюбчивую и в юности душу. Это было что-то совсем новое в нем. Но, едва вспыхнув, влюбленность обретала образ Марии Лазич и, не возмутив семейного покоя, уходила в поэтическую печаль.

Фет с самого утра исподтишка наблюдал за девушкой. Погрузившись в какую-то скучную книгу, она незряче бродила по аллеям парка, потом сидела на скамейке под акациями, но, выгнанная безжалостным солнцем, скрылась с притиснутой к близоруким глазам книгой в беседке, затянутой вьюнком, откуда, наскучив одиночеством, перебралась на террасу и, наконец, в гостиную.

Со скошенного луга тянуло санным духом, заглушавшим парковые запахи, выстоявшиеся под раскидистыми густолиственными дубами. Фета волновала девушка, волновало предстоящее таинство расцвета белого кактуса, а жена, умевшая наводить на него покой, была в отъезде. Тут-то и пригодился Иванов. Молодой человек охотно брал любую приманку, это позволило Фету направить разговор в нужное русло и постепенно запутать в свои сети усердную чтицу.

Ему хотелось говорить о любви, ну, хотя бы произносить это слово, чтобы оно с дыханием уст касалось загорелой кожи прелестного существа, так уютно устроившегося в глубоком мягком кресле. Кактус, созревший для любовного таинства, давал повод к смелым поворотам, а присут-

ствие пусть и невзрачного сверстника девушки принуждало ее к безотчетным защитным действиям. И Фет с легкой грустью наслаждался извечной борьбой, которую сам же разжигал.

Так прошло время до позднего обеда, накрытого, вопреки обыкновению, не в цветнике под елками, а в столовой, поскольку Фет принял хинин от воображаемого недомогания. Во время долгой и сосредоточенной трапезы все лирические веления отступили перед свежей икрой, ботвиньей, жареными цыплятами, молодой телятиной с овощами и шоколадным тортом, обильно залитым ледяным «Редерером». После обеда Фет вздремнул в кабинете. От кожаного дивана крепко пахло седлом, наверное, оттого и приснился ему чудесный кавалерийский сон с бешеной скачкой и звонким цокотом копыт по спекшейся от жары земле.

За чаем они собрались в гостиной. Девушка вскоре снова уткнулась в книгу, порой скашивая на колючее растение влажный, полный, как у вальдшнепа, темный глаз, ставший из синего почти черным. Иванов, наглотавшись с робкой жадностью чаю, услужливо пытался продолжать давешний разговор, но попытки его были так нарочиты и неуклюжи, что Фет оставлял их без внимания. Помог делу сам кактус.

С последним ударом напольных часов, торжественно и гулко отбивших шесть, золотистые лепестки тугого бутона, зримо задрожав, стали раздвигаться, обнаруживая посреди венца какую-то белую нежность. На что это похоже? На складки легчайшей белоснежной туники. Лепестки раздвигались, удлинялись и наконец стали лучами вокруг белой, как кипень, сердцевины, в которой продолжала твориться работа обретения формы. Все трое следили за цветком затаив дыхание. Но конечно же, ни один глаз не уловил мгновения, когда разгладившиеся складки туники вдруг образовали тонкостенную фарфоровую чашечку. Прекрасный цветок был готов к воспроизведению жизни.

— Поистине, любовь — великий художник! — нарушил священную тишину Фет.

Короткий фырк из чуть округлившихся тонких ноздрей был ему ответом.

— Любовь, — краснея и запинаясь, сказал Иванов, — самый произвольный, а стало быть, самый искусный и обширный диапазон жизненных сил индивидуума.

Фету понравилась эта мысль, пусть и выраженная с семинарским косноязычием, он с невольной симпатией глянул на молодого человека.

— Почему это чувство так преувеличивают? — ленивым голосом протянула девушка, подняв над книгой прелестное, для любви созданное лицо. — Неужели в жизни нет ничего более важного и значительного?

— Нет! — почти со злобой отрезал Фет. — Любовь — красота — музыка... Все это разные обозначения той высшей Истины, которую люди верующие, а также боящиеся взглянуть в лицо вечности... пустоте, называют Богом. А всякие умствования — от лукавого, в них правды нет. Когда-нибудь вы и сами это поймете.

— Я люблю музыку, — тем же медленным голосом произнесла девушка, — немного играю, но, право же...

— Не мудрствуйте! — перебил Фет. — Вверяйтесь своей душе, а не глупым книжкам. Что там у вас, анатомия какая-нибудь?

— Это Бокль! — Соболиная бровь тонка, как та черная лоснящаяся полоска, что идет по хребту взрослого соболя, соболиные брови возмущенно выгнулись над темными полными глазами. — «История цивилизации Англии».

— Анатомия и есть! — Это прозвучало грубо, но Фет не слышал своей интонации, внутри него пело: как же ты хороша, как хороша ты, моя милая! И зачем тебе дурость чужих умствований, когда ты так умна всем своим юным сильным телом, всей статью и сутью женщины, созревшей в тебе? Ты сама любовь, сама музыка, сама Истина! Отбрось этого английского путаника, плюнь в него и разотри

стройной ножкой. — Когда музыка и любовь сливаются, тогда понимаешь, чем могла быть жизнь, — глубоким голосом сказал Фет. — Мне открылось однажды это чудо... — На какие-то минуты темное, полудикое существо вобрало в себя всю прелесть мира, всю любовь и всю боль... Не злую, душную, бездарную боль обычных человеческих неудач, а ту, без которой мы были бы нищи.

— И кто же это?... — вяло полюбопытствовала девушка.

— Цыганка... Простая цыганка из хора... — Фету вдруг стало трудно говорить, воспоминание содержало какой-то яд. Какой, он не знал. Лучше всего было бы просто замолчать, но девушка ждала, и он без всякого подъема, тусклой скороговоркой закончил: — Она любила гусара, а тот не мог ее выкупить.

— И этот бедный гусар — вы? — насмешливо спросила девушка.

— О нет! — с улыбкой ответил Фет; яд таился не в самой истории несчастной Стешы и не в их коротком знакомстве, а в чем-то походя затронутом вспоминающей мыслью. — Я просто слушал ее пение... да нет, пением это не назовешь — смертная жалоба, стон, рыдание... «Ах, ты злодей, злодей, добрый молодец». Как хорош тут постоянный эпитет «добрый»! А дальше еще лучше: «Слышишь ли, мой сердечный друг? Разумеешь ли, жизнь, душа моя?» И все эти ласковости обращены к злодею. Какая правда любви и женственности, и до чего же это по-русски!.. А как пелось! Самозабвенно, исступленно, низким, страшно напрягающим полудетскую грудь голосом, вдруг обретавшим высоту сопрано... Свою маленькую изящную голову она откинула на тяжелую, с отливом воронова крыла косу... Девушка вздрогнула и выпрямилась в кресле.

— И где же все это происходило? — Теперь небрежность тона была деланной.

— В раю... Нет, в задних комнатах паршивого трактира. Но Стеша едва ли помнила, где она и кто вокруг. Да и мы не помнили. А когда она, изнемогнув, замолчала, а потом в

слезах бросилась вон из комнаты, мы продолжали сидеть как истуканы. И даже забыли о своем вине.

— А что было потом с этой... Стешей? — Фет пожал плечами.

— Откуда мне знать?.. Кажется, у гусара так и не нашлось денег. А цыганки рано увядают. Как этот цветок. — Он кивнул на кактус. — Завтра он уже будет бездушным трупом.

— Давайте продлим ему жизнь! — Девушка порывисто поднялась, томик Бокля упал на пол, но она не заметила.

— Каким образом?

— Поставим в теплую воду.

— Вы думаете, это поможет?

— Даже увядшие цветы оживают в теплой воде.

Они так и сделали. Крикнули прислугу и велели принести нагретой воды. Девушка осторожно отрезала от стебля цветок («Кованую золотую звезду», — сказал про себя Фет) и поставила в стеклянную вазу...

Итак, он одержал победу. Маленькую победу, но в иной он и не нуждался. Образ любви, бегло и поверхностно очерченный им, пересилил досужливые измышления английского материалиста. Душа, заключенная в такую изящную оболочку, была отнята у лукавого и сейчас принадлежала ему. И от него зависело, продлить или прекратить этот плен, от него зависело и большее, но ему уже все это стало не нужно. Он сам был схвачен, окопчен, скручен обладавшим вечной над ним властью образом. Мария Лазич, Жанна д'Арк любви, будто нарочно насылала на него прелестных девушек и молодых женщин, чтобы расшевелить его старое сердце, разогреть кровь, а затем одним властным движением повергнуть к своим обугленным ногам. Он вспомнил вдруг, что первая жена и великая страсть кумира его Тютчева тоже познала огненную купель. Но Тютчев любил ее со всей силой своей безудержной натуры, а он, Фет, не допустил себя до такой любви, принес ее в жертву владевшей им цели. Но будь благословенно то, что было!.. Страш-

ная мысль ознобила ему позвоночник, и, спасаясь от этой мысли, он кинулся под могучую руку Толстого. Что писал ему Лев Николаевич в шестьдесят пятом, в год голода и мора?.. Что у него на столе розовая редиска, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, а в саду солнце и тень, на молодых дамах белые кисейные платья, а кругом голод глушит поля лебедой, порошит землю, обдирает пятки мужиков и рвет копыта у скотины... «Так страшно и даже хорошо и страшно», — признавался Толстой. Никто в целом мире не посмел бы сказать такого о голоде, а Толстой посмел, на то он и Толстой. Его «хорошо» полно бездонного смысла: хорошо, потому что это библейское, Апокалипсис, а не повседневная пошлость с газетками, сплетнями, политикой, мелкими страстишками и крупными подлостями, хорошо, потому что может привести к гибели и к рождению чего-то не бывшего, хорошо, потому что тут дышит судьба, и еще по многому, чего не выразишь словами, ибо всякое слово неполно и от бессилия своего лживо. Ну, Фет, усилься и скажи «хорошо» в толстовском смысле уходу Марии Лазич. Тебе выпало библейское вместо скудного гарнизонного романа. Огнем ушло то, что могло исчахнуть в тусклой житейщине. И тебя навсегда опалило тем огнем. Как нища была бы твоя муза, если б не костер, зажженный Марией Лазич! Благополучный муж и рачительный хозяин, ты остался бы буколическим поэтом, певцом природы, поэзия сердца равно не могла родиться ни из прежних злых неудач, ни из последующего преуспевания...

Очнувшись от своих дум, Фет обнаружил, что он один в гостинной, если не считать цветка кактуса, уже не золотистого в померкшем дне, а зловеще оранжевого. Хорошо, что никого нет, никто сейчас и не нужен. Приближался его час, даривший ему лучшие стихи, но в нынешней немоте лишь щекочущий горло близостью слов. Немота не пугала его, он знал, что «песня зреет», что не отпускающая его бесцельная суета — предвестница тишины.

Спустившись с террасы, Фет своим коротким кавалерийским шагом направился через парк, сперва по вязовой аллее, затем боковой тропкой, протоптанной в траве к маленькой, скрытой за кустами жимолости, всегда запертой калитке. Ключа от ржавого замка не оказалось в связке, которую грустно-торжественно вручила ему наблюдавшая усадьбу старушка, вдова генерала, дальняя родственница прежних владельцев. Острый глаз Фета обнаружил калитку при первом же беглом осмотре имения, но, когда он спросил о ключе, старушка замахала руками: «Пропал, батюшка, как сквозь землю провалился. Я этой калиткой сроду не пользовалась. И что ты хочешь, нету крепостных — нету и порядка». Почему-то Фету думалось, что маленькая калитка хранит нехитрую сельскую тайну. Ведь коли она есть, значит, чему-то служила. А чему могла служить узенькая, запрятанная в кустах дверца, ведущая в поле, к пахучим стогам, к вербняку над рекой? Как славно назначить здесь свидание, проскользнуть меж нагретых солнцем дубов по вечерней росе к этой калитке, отомкнуть ржавый влажный замок, выйти в поле, надергать сухого сена из стога, упасть навзничь лицом к закату и ждать, ждать тихих шагов, слабого дуновения, тени на сомкнутых веках, отчего померкнет свет вечерней зари. Ждать долго, хмелея от нетерпения, и... не дожидаться, и выгадать поэзию в обманутом ожидании.

Он раздвинул ветви жимолости, вот он — наглухо запертый лаз к счастью. А за ним бронзовое поле, лиловые стога, багряная от зари излука реки, вырвавшейся из темного ивняка. Вечер... И сами сказались в нем старые строки:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу..

Молодец, что обошелся одними глаголами! Тут нужна немалая смелость. Фраза без подлежащего, предмета, о

котором идет речь, субъекта, — за что секут гимназистов, да и поэтов не милуют. А ведь в субъекте этом самом — главная ложь. Разве скажешь, что прозвучало за рекой и что прозвенело в лугу? Конечно, сказать можно — язык без костей, только будет ли в том правда? Называя предметы, мы больше всего врем, ибо не дано нам знать их скрытой сущности, не дано знать, чем они являются для самих себя. Человек гадает, тычется носом в населяющие мир предметы, как слепой щенок в теплое брюхо матери, но вместо безусловной вещественности молочной титьки находит лишь некий приблизительный образ. Истинно ведомы ему только проявления таинственных незнакомцев — одушевленных и неодушевленных предметов. «Прозвучало» — да, слух тебя не обманул, прозвучало и все еще дрожит в ушной перепонке; «прокатилось» в стороне, где немеет уснувшая река, — да, и еще погромыхивает тележным колесом далекого грома; «прозвенело» — да, и тоненько замирает над бронзовым лугом; «засветилось» — да, ах как засветилось тающей аlostью на том берегу, где излука! Но попробуй в каждом случае назвать с у б ъ е к т — и ты наврешь с три короба, потонешь в мучительно неточных, случайных словах. Конечно, о многом люди давно договорились и между собой и с предметами, которым дали имя, и река может быть названа Рекой, как он Шеншиным... Бог мой, до чего неудачный пример! Оказывается, имена человеческие тоже условны, не сплавлены с сутью... Но думать об этом не хотелось, и он стал укорять себя в непоследовательности: всегда ли он так предан глаголу, содержащему правду действия, доступного органам чувств, как в этом стихотворении? «Что-то где-то млеет, тлеет», — издевался над ним Тургенев. А ведь так и надо, чем наугад шлепать ярлыки... Он ощутил странную усталость — не от этих деланных рассуждений, а от того тревожного, плохого, что не давало заговорить себе зубы, что упрямо и мучительно продиралось наружу вопреки всем его усилиям. Это началось, когда он вспомнил о Стеше, но цыганка тут ни

при чем. Басманная улица... Он жил тогда в Москве, на Басманной, за Красными воротами. Здесь находилась психиатрическая больница Красовского, куда он поместил несчастную Наденьку, свою любимую сестру, постигнутую первым приступом безумия. Он еще носил форму, но внутренне поставил крест на военной службе. В эту трудную пору жизни и сдружился он с сестрой. Добрая, милая, полная теплой и радостной жизни, Наденька помогла ему пережить разочарование. Но тяготевающий над ним рок не дремал, и однажды тихим, не предвещавшим никаких бед утром его встретил горящий ненавистью взгляд и солдатская грубость нежной, любящей сестры. Безумие реяло возле него всю жизнь. Душевнобольной была его бедная мать, возможно, и бегство ее из Дармштадта с едва знакомым угрюмым русским барином было вспышкой безумия. Она умерла от рака с помраченным сознанием. Бежавший в Америку брат Петр одержим чувством вины и необоримой тягой к перемене мест; безумие его по-своему прекрасно, жертвенно, он вечно кого-то спасает: людей, животных, деревья, сражается в повстанческих войсках за свободу выдуманных народов, лишает себя всяких удобств — не заслужил, спит на голой земле. Родные долго думали, что у сестры Любиньки просто дурной, невыносимо упрямый характер, но теперь ясно, что она так же не властна над собой, как мятущийся Петр или свихнувшаяся к старости «немецкая» сестра Каролина Фет. Значит, и ему не избежать наследственного безумия, недаром уже в ранней молодости знал он приступы безысходной меланхолии... Ему стало страшно. И все вокруг стало страшным: и поле, накрывшееся тенью, и желтый обвод чернильных облаков на западе, и выплывающий из рощи бледный месяц, и темный парк за спиной. Казалось, еще мгновение — и он обратится в паническое бегство, но, как всегда на краю, спасение оказалось в нем самом, в его железной воле. «При первых же признаках безумия я покончу с собой», — твердо и спокойно сказал он себе. Он знал, что тут нет ни позы,

ни самообмана, он сделает это, если будет нужно. Значит, нечего бояться. Страшна душевная болезнь, а не смерть, недаром же у покойников всегда такие хорошие, умиротворенные лица. Даже у безумцев, вспомнил он с удивлением. Добрая сестра — смерть расколдовывает их души, прежде чем унести с собой.

Ему стало хорошо и прочно, ничто не страшило ни в воспоминаниях, ни в окружающем, ни в том, что ждало впереди. И словно так из глубины памяти наплывала на высеребранный месяцем полевой простор горбатая Басманная с церковкой Петра и Павла, с хорами московской знати и с тем желтым двухэтажным домиком, где он снимал мрачноватую — густые липы за окнами застили свет, — но теплую и какую-то печально-уютную квартиру. Ну, усишься еще немного, напрягись, Фет, и вот ты уже не один.

Он неслышно приблизился и стал за спиной, отчетливо ощутимый теплом тела и дыханием, шевелящим волосы на затылке, милый друг юности, самый дорогой и близкий человек всей его жизни. Сколько потом было преданных, добрых, умных друзей, а как с Аполлоном Григорьевым, ни с кем не было. То бесхитростное доверие, душевное понимание, что связали их в юности, остались с ними навсегда. В черные дни Наденькиной болезни Григорьев приносил на Басманную утешение и радость. Только дай клич, и — гитара за спину — Григорьев спешит из далекого Замоскворечья через пол-Москвы. У него не было денег на извозчика, и он топал пешком с Малой Полянки через оба Каменных моста, промахивал Моховую, Охотный ряд, Театральную площадь, Театральный проезд, Лубянскую площадь, длиннющую Мясницкую и мимо Красных ворот попадал на горбатую Басманную. Немалое путешествие! Этак выйдешь засветло, а доберешься при фонарях.

И, как странно, Григорьев всегда больше давал ему, чем получал в ответ. Все университетские годы прожили они

бок о бок на антресолях григорьевского дома на Малой Полянке, подле Спаса в Наливках, и не было на свете столь разных характеров, темпераментов, мирозозерцаний: Григорьев — само трудолюбие, искания, неиссякаемый энтузиазм, он — сама беспечность, лень, ирония. Своим развитием он обязан духовной жадности Аполлона куда больше, нежели университету, коим безбожно манкировал. Григорьев был душой студенческого кружка, что ни вечер собиравшегося у них на антресолях. В прокуренных комнатах до поздней ночи не прекращались споры о немецкой философии, и полупьяному слуге Ивану так настроили в ушах великие имена, что он заорал однажды с театрального подъезда: «Коляску Гегеля!»

При всем своем добродушии Фет почему-то любил угнетать Григорьева — телесно и духовно. Ловким приемом, изученным в Верро, он заламывал руки Аполлону и швырял его на пол, но тот нисколько не обижался на своего мучителя; позже, когда порывистый, мятущийся Аполлон вдруг исполнился религиозного рвения и, налепив свечки на все пять пальцев, бил поклоны в церкви, безбожник Фет, пристроившись рядом, вливал ему в пунцовое ухо яд мефистофельских сарказмов. И в стихах был верх Фета, но с каким трогательным восторгом переписывал Григорьев его стихи в тетрадку, отчаянно проклиная собственные неуклюжие потуги. И когда они оба влюбились в крестовую сестру Григорьева Лизаньку и она отдала предпочтение Фету, Григорьев выдержал и это испытание. Да была ли на свете другая душа, столь чуждая зависти, ревности, обиды?..

Годы не охладили Аполлона, и в тяжелые московские дни он по первому зову бежал на помощь другу со своей семиструнной — власть цыганской мелодии над обоими была беспредельна. Григорьев начинал петь сразу — не громким, слабым голосом, даже не пел, а проговаривал песню под аккомпанемент, но с таким искренним чувством, с таким нутряным пониманием рожденной под звезд-

ным шатром степных небес таборной песни, что и не нужно было голосистого, звучного пения.

С ясностью прямого видения возникли перед ним бедноватая комната с мягкой мебелью в чехлах из холстинки, овальный столик и медный самовар на подносе, стаканы с остывшим, крепкой заварки чаем и в синеватом наплыве табачного дыма резкий, шиллеровский профиль Григорьева, и он содрогнулся от внезапной мысли: тому четверть века! Недаром же ему так ненавистно само понятие времени — равно и даты, и хронология, отсюда и отвращение к истории, которую он мог бы любить, не будь она погружена в стихию времени. Как счастливы были древние греки, не знавшие, что такое время! Для современников Перикла Троянская война, Фермопильская битва или последняя Олимпиада — события почти одной давности. Невыносимо грустно, когда обнаруживается дряхлость твоих столь живых и свежих воспоминаний. И вновь, как уже не раз, пронзило Фета страстное желание осилить время, вырваться из ненавистного плена. Против времени есть одно оружие: самозабвение, «пять мгновений Магомета». Что ж, поэт не уступает пророку, вдохновение под стать экстазу. Стихи, стихи, где вы, вернитесь!..

Он сперва ощутил свои мокрые, потяжелевшие ноги и лишь затем обнаружил, что бредет через парк по росистой тропинке. В гостиной горел свет, он обогнул дом и черным ходом пробрался в свой кабинет. Зажег толстые свечи в шандале, достал стопку бумаги и придвинул кресло к столу. Надо отнять у вечности сегодняшний день со всем, что в нем было, с упрямой девушкой, золотым цветком кактуса, собственной растревоженной памятью, надо вернуть из тьмы так быстро, так безнадежно канувшего в забвение доброго, талантливого, несчастного и в жизни, и в смерти человека. А коль винограда поэзии лишь щекочет горло и не хочет брызнуть соком, он сделает это «презренной» прозой. «Кактус» — назвал он свой рассказ.

И новоявленный прозаический Орфей пустился в путь за Эвридикой, за сероглазой, русоволосой, большеносой Эвридикой в кумачовой рубашке, плисовых шароварах, заправленных в лакированные сапоги, в суконной поддевке — иной одежды не признавал околдованный псевдорусским стилем Аполлон. Из-за суконной поддевки да яркого кумача между ними вышло едва ли единственное за всю дружбу столкновение. Собрались они в Грузины слушать Стешу из знаменитого хора Ивана Васильева не в урочный вечерний час, а ясным днем. Фет велел вызвать извозчика с закрытой каретой. У него были собственные дрожки, но он еще носил военную форму, и что бы подумал плац-адъютант, увидев его разъезжающим по Москве не то с торбанистом, не то с кучером? Григорьев понял, что Фет стесняется его вида, и поднял бунт. Пришлось срочно изобрести простуду, надсаживаться в кашле, сипеть и фыркать сухим носом в фуляр. И милый, доверчивый Аполлон сразу прекратил спор, хотел в аптеку бежать, предлагал отменить поездку, насилу утомил он не в меру заботливого друга...

Перед тем как вывести на свет божий Аполлона Григорьева, Фет снабдил свой рассказ обрамлением, дабы погрузить воспоминания в сегодняшний день, оплести сегодняшними чувствами. Безличному и скучному Иванову он придал черты своего прекрасного, гибельного брата-странника, цветолюбца и садовника, лечившего старые деревья и поломанные кусты так бережно и нежно, словно он угадывал в них способность к боли и страданию. Этому новому Иванову поручено было объяснить заумной девушке прелесть цветка и вызвать наивный вопрос: «А что такое, по-вашему, любовь?»

Рука Фета дрогнула, разбрызгав чернила. Боже мой, и проза способна дарить трепет!.. Но все же проза живет иными законами, нежели поэзия. Что бы тут раскинуть крылья, вверяясь несущему току воздушных струй, но рука не стала крылом и, служа земному делу, вывела язвитель-

ную филиппику против философских книжек, которыми девушка глушит свое сердце...

Но вот не слишком ловко, каким-то рассудочно-насильственным зигзагом он обратился к воспоминаниям. После первых, сердцем сказанных слов о Григорьеве он вдруг почувствовал странную необходимость в оговорке. Это вовсе чуждо поэзии, которая не бывает правой или неправой и не знает ни перед кем ответственности, разве лишь перед самой собой. А тут вонзилось занозой в мозг, что рассказ прочтут люди, хорошо, слишком хорошо знавшие Григорьева, его слабую, грешную натуру, его загулы, безобразия, и зачем ему перед ними слюнявого дурачка разыгрывать. Воспетый стихами, Григорьев мог явиться хоть светлым ангелом, хоть золотым рыцарем, хоть белым менестрелем, а тут... И, вздохнув, Фет написал: «Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей з н а ю щ и х в нравственном смысле...» Нет, не Божье дело — проза, подумал Фет, но править не стал. Прости мне и это, Аполлон!..

Моральная уступка отыгралась потерей тона. Он никак не мог вновь настроиться на растроганность, владевшую им в парке. Ты богатый, признанный, счастливый, осуществивший все свои желания, уговаривал он себя, и ты пишешь о человеке, обобранном до нитки, так будь же к нему щедрее, снисходительнее, горячее, ты и так его вечный должник!.. Лишь с приездом в Грузины, в заведение Ивана Васильева, разогрелось перо Фета, и сразу глянула со страниц живая душа Аполлона. Писать стало легко. Не хотела, не могла им петь дикая, пугливая, горестная Стеша. И с чудесной, простодушной хитрецей, таящей столько истинного участия и сострадания, подъезжал к ней Аполлон. Начиная издали, о том о сем, наигрывал на гитаре под сурдинку, втягивал в разговор про дела цыганские, про отношения в хоре замкнутую в своей боли девушку, а там стал играть громче, звонче и вдруг запел любимую — «Цыганскую

венгерку», да так увлекся, так загорелся, что вроде и забыл, для чего они приехали. У Фета была на редкость дурная память, но один куплет он вспомнил и с удовольствием вписал в свой рассказ:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня,
Любил барин цыганочку —
Она замуж вышла..

А хорошо, восхитился он. Как поймана народная интонация! В памяти «Цыганская венгерка», при всей ее потрясающей искренности, казалась более сделанной, не в плохом, Боже упаси, смысле, а в присутствии отчетливой поэтической воли. За буйством, удалью, отчаянием, безысходной скорбью утраты чувствовался знающий свою цель зрелый поэт, искусник. Быть может, нигде больше не достигал Григорьев такого уверенного мастерства. А этот куплет очарователен поистине народной бессмыслицей: при чем тут ольха, при чем тут вишня, какое отношение имеют эти растения к брошенной цыганкой барину? Вот уж: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Только народ, творящий бессознательно, бывает так дивно расточителен. И при всем том это поэзия чистейшей воды, задушевность, не придуманная, не сочиненная, пленительная своей простотой и наивностью. Жаль, что у него нет стихов Григорьева, а в памяти ничего больше не удержалось, кроме этих четырех строчек. Впрочем, и так хорошо: в капле росы — целый сад, в капельке чистой поэзии — вся лирическая душа Аполлона. И Фет радостно продолжал свой рассказ.

Доплакав «Венгерку», Григорьев без передышки завел настоящую, народную, хлесткую: «В село Красно стеганула». Иван Васильев подхватил бархатным баритоном, а вскоре тихо, робко, но постепенно смелея, стало проникать в дуэт серебристое сопрано Стеши. «Эх, господа! Да что же я тут вам мешаю, — воскликнул Григорьев. — Мне так не сыграть, а не то что спеть. Голубушка, Стеша!..»

И, покорная какой-то независимой от нее силе, Стеша взяла гитару.

Вспомни, вспомни, мой любимьй,
Нашу прежнюю любовь...

Слезинка дрожала на реснице, но так и не скатилась. Но вот, сильно рванув струны, Стеша завела ту самую, сокровенную, песню души своей о злодее — добром молодце: «Слышишь ли, разумеешь ли».

Слова сами стекали с пера, от Фета требовалось лишь одно — не мешать. Казалось, Стеша не кончит песню, рыдания душили ее, но сила и гордость цыганки, — лишь допев последний куплет, она дала волю слезам и убежала.

Фет почувствовал, что рассказ исчерпал себя. Тот несколько головной посыл, из которого он возник, оказался вроде бы и не нужен. Воспоминание обладало собственной ценностью и не нуждалось в поддержке обрамления. И восторженный брат под псевдонимом Иванова, и юная почитательница Бокля были лишними на театре, где так красиво и вдохновенно сыграли Стеша и Аполлон. Убрать их легко, да ведь с ними исчезнет и кактус, а его жалко. Излюбленное помещиками экзотическое растение с колючками на мясистых листьях и непрочной прелестью одинокого напрасного цветка оказалось в рассказе куда важнее и значительнее своей прямой сути. Таинственным образом проросло оно в горестные судьбы давно ушедших людей. Ничего не поделаешь. Пришлось дописать рассказ, вернув его в сегодняшний день, что — хорошо ли, плохо ли — придало ему звучание притчи. Скептическая девица была посрамлена и даже лишена жеста раскаяния — цветок кактуса в теплую воду поставил Иванов. Жестокая расплата за то, что не сумела удержаться в сердце поэта. Все же рассказу недоставало концовки, но Фет уже знал, где ее искать.

Взяв свечу, он направился в гостиную. В цепенелой ночной тишине старые дома всегда наполнены шорохами, скри-

пами, неживыми вздохами. Что-то рассыхается в них, трескается, расходится, изгнивает, их дряхлую плоть точат древесные жуки, перетирают в железных резцах грызуны, но в этом доме царила такая тишина, словно он был построен из мрамора. Не скрипнула половица под тяжеловатыми шагами Фета, не шатнулись лестничные перила под его рукой — на славу отремонтировал и укрепил он старое жилье. Вот что значит вездесущий хозяйский глаз, вот что значит самому вникать в каждую мелочь. А еще укоряют: Марфа печется о мнозем...

Бесшумно качнулось коромыслице тяжелой медной ручки, бесшумно распахнулась высокая резная дверь, и огромные зеркала разом отразили в черно проблескивающей глубине красноватый огонек свечи, желтую гладь чела и пунцовый атлас халата. Фет предвидел, что теплая вода не поможет, не оживит того, что приговорено самой природой. И вот он, конец рассказа: «На краю стакана лежал бездушный труп красавца кактуса».

Вернувшись в кабинет и поставив точку, он перечитал рассказ и остался им доволен. Оказывается, и проза обладает магией. Даже не скажешь, как оно сделалось, но самым живым и милым в рассказе вышел Аполлон Григорьев. Наверное, таким и было не осознанное до конца веление: подарить безнадежно забытому другу хоть крупицу бессмертия. И дабы совершить жест добра, он смело вторгся в чужое ремесло и одержал маленькую победу. Да, Марфа печется о мнозем, но сегодня его обремененная душа (хоть близок час освобождения!) сумела вырваться от хлопотливой Марфы и припасть к отшельнице Марии...

Афанасий Афанасьевич давно привык и не роптал, что его поэтические создания не находят отзвука в толпе, тем важнее было для него мнение немногих избранных. И конечно, особенно волновало, что скажут о рассказе Тургенев и Лев Толстой, о которых Аполлон Григорьев в свое время много и страстно писал, причем аналитический скальпель

не дрожал от подбострастия в его быстрой и уверенной руке, а с Тургеневым был настолько близок, что иные свои статьи публиковал в форме писем к нему. Иван Сергеевич воздержался от оценки рассказа и словно в объяснение своей сдержанности сделал неожиданное признание: он никогда не обижался и не злился на своих критиков, но Аполлона Григорьева ненавидел. Лев Николаевич просто отмолчался.

У Аполлона Григорьева, такого мягкого и доброго, было удивительное умение попадать авторам по самому темечку, в то нежное родничковое место, которое зарастает у всех младенцев, кроме предназначенных судьбой литературе.

Но удовлетворение Фета собственным поступком ничуть не померкло. Позже Афанасий Афанасьевич еще не раз возвращался к образу старого друга в своих воспоминаниях, оконченных незадолго перед смертью, но так и не спохватился, какую странную и обидную для Григорьева шутку сыграла с ним память. Исполняя под гитару «Цыганскую венгерку», Григорьев действительно иной раз пел куплет, который Фет привел в рассказе «Кактус», но, конечно, не включил в свою маленькую поэму, ибо то были не его слова, а народные, из старой песни... Но почему память Фета сохранила лишь это четверостишие? Неужели оно в самом деле лучше всего остального в поэме и тут бессознательно сработал тончайший поэтический вкус Фета?..

Будем, как Фет!

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огня.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Напечатать на видном месте это лучшее в русской лирике любовное стихотворение, ставшее лучшим любовным романсом, и ничего больше не надо: день памяти великого поэта Афанасия Фета достойно отмечен.

Но ни одна газета не отважится на такой нестандартный жест, надо обволочь кумира слизью бессильных слов.

А может, слова нужны? Мы так опошлялись, огрубели, одичали (невесть с чего, ибо нынешний моральный климат несоизмеримо чище и мягче, чем в сталинские и постсталинские лукаво-лицемерно-жесточкие времена), что если кто и бросит беглый взгляд на это стихотворение, то не задумается ни над ним, ни над его автором, к культуре надо заманивать, понуждать пряником или кнутом. И вовсе не нужда, которая ничуть не усилилась, иначе люди искали бы работу, а никто работать не хочет, — словесная вседоз-

воленность и бесстыдство полной душевной расхристанности от тайной муки своего соучастия в преступной и грязной коловерти прожитых лет отвратили людей от хрупких ценностей бытия, которые принадлежат державе искусства, культуры.

Теперь не стыдно быть невежественным, темным, бескультурным, тупо-агрессивным, оправдание — мнимое — в гиблой эпохе, в нашем прошлом и настоящем. Наш великий и увертливый народ снял с себя ответственность за все другое, что творилось за последнее семидесятилетие, из соучастника беззаконий, мерзости, предательства стал безвинной жертвой и в качестве таковой скинул последние пути цивилизации. Удивительное это дело: за все, что творится на Руси, всегда ответствен кто-то другой, посторонний, аборигены либо спали, либо попросились выйти, как нерадивый ученик, боящийся, что его спросят урок.

Конечно, распад охватил не всех, но многих; едва ли не большинство поддалось демагогии народных витий — мощной рати провокаторов: коммунистов и сочувствующих, которые, похоже, уверились, что пришло время для истинного, полнокровного фашизма, а не прикрытого стыдливо марксистским фиговым листком.

Но не всех, повторяю. На премьерe музыкального спектакля «Россини», осуществленного театром гениального дирижера Е.Колобова в поместительном Зеркальном зале «Эрмитажа», негде было яблоку упасть. Этими людьми, просидевшими в духоте со счастливо-осиянными лицами, а потом отправившимися по домам опасной пустынностью белой московской ночи, мы спасемся. Если такие сохранились, ничто не пропало. Россия будет.

Этим прекрасным людям не надо читать моей статьи, пусть вспомнят стихотворение и обратят свой добрый взор к тому, в ком оно прозвучало впервые. Пишу для тех, кто на этом спектакле не был и не будет, но все же не утратил способности к отклику, не дал себя отравить красно-коричневому дурману и назойливому, дурному ехидству прессы.

Любопытно, как это стихотворение появилось на свет. Когда-то Татьяна Кузминская пела в Ясной Поляне в присутствии Фета, и тот, сильно приохоченный к романсному пению другом юности Аполлоном Григорьевым, был глубоко растроган ее доверительной и глубокой интонацией. Прошли годы, и вновь в Ясной Поляне пела Кузминская летней короткой ночью. Фет, взволнованный, поднялся в спальню и утром преподнес певице стихотворение. Все были восхищены и несколько подавлены этим откровенным и страстным признанием в любви, — при сем присутствовала жена поэта Мария Петровна, урожденная Боткина. Ничуть не дрогнули двое: Лев Николаевич, которому не было дела до сопутствующих поэзии обстоятельств, и Мария Петровна, чей эстетический вкус был воспитан знаменитыми братьями — писателем и художником. Она и Фет соединили свои судьбы в весьма зрелом возрасте и отнюдь не по страсти. Каждый пришел к другому, испытав крушение: Мария Петровна — любовное, Фет — социальное: рухнули его мечты вернуть себе дворянство, утраченное в силу запутанных обстоятельств, о которых мы скажем ниже. Как нередко бывает, когда в брак не вмешивается любовь, союз их оказался долгим и если не счастливым, то удачным, хотя, по словам Бориса Садовского, Фету случалось поколачивать жену за мелкие грешки. Мария Петровна была влюблена в поэзию, и это возносило ее жизнь с Фетом, Афанасий Афанасьевич на приданом жены вышел в крупные помещики и экономическим путем удовлетворил свои сословные претензии. Марию Петровну не волновал приплод породных кобыл, хорошие урожаи овсов и пшеницы, но от стихов мужа, пусть посвященных другой, расцветало ее усталое сердце.

Отношение Толстого — а он любил Фета и как поэта, и как человека — очень много значило для Афанасия Афанасьевича. Он — один из самых заруганных русских поэтов. Россия никогда не щадила своих гениев, достаточно вспомнить, что вытворяли с Пушкиным — и при жизни, и после смерти (писаревские пакости). Не ругали только

тех, кого или не заметили, скажем, Тютчева (до статьи Некрасова великий философский лирик ходил в тихих, второстепенных поэтах), или не успели по раннем уходе (Лермонтов, но эпитафия Николая I: «Собаке собачья смерть» — потяжелее писаревской дубины).

Чистое, золотое дело — поэзия. Отчего она вызывает такое ожесточение? Смеялись над Дельвигом, издевались над Бенедиктовым, Случевским и Аполлоном Майковым, бранили Полонского, ну, а как травили символистов да и вообще всех поэтов серебряного века — и говорить не приходится. Но если отбросить советский период бесчинств, то больше всех русских поэтов доставалось Фету. Было в нем что-то вызывающее особое раздражение окружающих, да и многих потомков тоже, хотя серебряный век высоко поднял имя Фета.

Едва ли найдется другой пример подобного несоответствия человеческой сути и поэтического дарования. Воздушный, эльфический поэт был кряжистым, заземленным, деловитым, крайне бытовым по всем своим замашкам и привычкам человеком. Сама внешность Фета, особенно в старые годы, когда человек приобретает некое сглаживающее благообразие, была вызывающе антипоэтична: грузный, тяжелый, с грубым, прихмуренным, часто брюзгливым лицом. А в лучшую свою пору он был среднеарифметическим гусаром, без печати индивидуальности. А ведь он уже тогда писал замечательные и ни на кого не опирающиеся стихи.

Но Фет-человек умел привязывать к себе значительных людей. С юных лет и на всю жизнь его полюбил Аполлон Григорьев, с ним дружествовал и редактировал (к сожалению) его стихи Тургенев, потом они рассорились, он был хорош с Некрасовым, Дружининым, Боткиным, Полонским, Страховым.

Конечно, Фету доводилось и в молодые годы слышать добрые слова; так, Дружинин сказал об одном его стихотворении, что не удивился бы, увидев под ним подпись Пушкина; но куда больше было назойливого наставничества и журнально-газетной брани.

О нем не было такой обстоятельной, серьезной и глубокой работы, как большая блоковская статья о поэзии Аполлона Григорьева. Самый видный исследователь Фета советского времени посвятил значительную часть своего труда выяснению национальности поэта. В удивительно грубом, раздраженном тоне он доказывает, как вину Фета, что тот был еврей. Если б не фамилия самого ученого, можно было бы подумать, что это писал боевик «Памяти» или красно-коричневый патриот из анпиловского палаточного городка.

Поскольку пришлось затронуть национальный вопрос — а он сейчас самый животрепещущий, ибо, только уничтожив инородцев, можно накормить, одеть, обусть, согреть и обустроить изнемогающий под гнетом демократии многострадальный народ, — то задержимся на этой теме.

Происхождение Фета не прозрачно. Отставной ротмистр, богатый и родовитый помещик Афанасий Шеншин увез из Дармштадта от живого мужа и малолетней дочери голубоглазую Елизавету-Шарлотту Фет, чтобы сделать в России своей законной женой. Вскоре по приезде Елизавета-Шарлотта родила. Слишком поторопился на свет божий младенец, нареченный Афанасием, и подделка, совершенная приходским священником в угоду влиятельному прихожанину, через четырнадцать лет была раскрыта консисторией.

И беспечный барчук, воспитанник пансиона Верро, столбовой дворянин, в чьем роду были воеводы и стольники, вдруг превратился в иностранца, гессен-дармштадтского подданного и разночинца Фета. Смириться с этим он не мог, маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприятном мире сладко быть лишь русским дворянином и баарином. У него появилась одна всепоглощающая цель: вернуть утраченное.

В студенческую и послестуденческую пору, обнадеженный успехом своего поэтического дебюта, он наивно верил в спасение через литературу. Глупые, ребячливые мечты!.. В середине сороковых годов в просвещенном русском обществе угас интерес к поэзии. Мужественно пережив разоча-

рование, Фет избрал кратчайший путь в дворяне — военную службу, ведь первый же офицерский чин давал потомственное дворянство.

Выпускник Московского университета по философскому факультету, поэт, познавший первый успех, надевает солдатскую шинель, обрекая себя на смертную скуку и тяготы провинциальной армейской службы. У Фета был твердый характер, поэзия загнана в чулан; посадка, выездка, посыл лошади шенкелями, сабельные удары, неукоснительное исполнение службы, благоволение командиров — других забот нет у подтянутого, сдержанного, малообщительного кирасира. И лишь в редкие минуты свободы он чувствовал «подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность», цветок поэзии. Но он тщательно скрывал эти цветы от товарищей по службе.

В канун получения Фетом первого офицерского чина вышел указ: лишь звание майора дает дворянство.

И опять годы скучной службы, муштры, бессмысленных, изнурительных смотров, пустых маневров под отдаленный гуд севастопольской кампании, куда отправляли лишь по жребию, но ему жребий не выпадал.

На мучительно медленном пути к поставленной цели было растоптано единственное сердце, открывшееся ему великой, бескорыстной любовью. Конечно, нелегко было порвать с милой, умной, музыкальной, искренней в каждом жесте и слове, безмерно влюбленной в него и почти любимой им самим девушкой, но не мог же нищий армейский офицер, скудно поддерживаемый из дому, связать свою судьбу с бесприданницей. Это значило бы навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. Вскоре после разрыва Мария Лазич трагически погибла: сторела заживо от случайно — да так ли? — оброненной на легкое платье спички. Что он потерял, Фет понял куда позже, тогда же лишь отдал дань скорби — ему светила гвардия. При-

дет время — не скоро, но придет, — и горестная тень властно возьмет все, в чем было отказано живой Марии Лазич.

А пока была гвардия и служба близ Петербурга, и возобновление литературных связей, и поэтический подъем, и возвращение на страницы журналов, и успех, чин штабс-ротмистра, за которым следовал желанный чин ротмистра, соответствовавший в кавалерии пехотному чину майора. Друзей и поклонников Фета огорчали его неразборчивость и жадность, он был готов печататься где придется, ничуть не заботясь направлением и репутацией газеты или журнала. На эти упреки Фет отвечал хладнокровно: «Если Кундель будет издавать журнал 'Х...' и хорошо платить, я буду печататься только в 'Х...' Кунделя». В этом заявлении был уже весь сформировавшийся, зрелый Фет. Но его избавил от необходимости сотрудничать в печатном органе Кунделя прилив нежданной щедрости старого Шеншина. И вдруг полный крах: цену на дворянское звание подняли еще выше — теперь службы до полковника, если хочешь стать дворянином. И Фет сдался, признал свое поражение, взял отпуск, затем вышел в отставку.

Но не такой он был человек, чтобы поставить крест на главной цели всей жизни. Свой шанс он нашел на Маросейке, в Петроверигском переулке, в доме старых друзей Боткиных. Мария Петровна Боткина отдала ему свою руку вместе с громадным приданым. Сердце она не могла присвокупить, ибо оно было разбито, да Фет и не настаивал.

На деньги жены он купил невзрачную усадьбу и превратил ее в «табакерку», что было высшей похвалой у орловских подстепных помещиков. Фет стал образцовым хозяином. Он усердствовал в роли мирового судьи, оказывал помощь голодающим, цифры его урожаев украшали губернскую статистику. О видном сельском деятеле стало известно при дворе, где после реформы особенно угодны были крепкие хозяйственные люди, что прочно сидели на земле, твердой рукой направляли мирское дело и не поддавались никаким потрясениям той

тревожной поры. Александру II подали прошение Фета. Царь уронил слезу из голубого, наследственно выпуклого глаза: «Как он страдал, бедный!» — и размашисто подписал указ о «возвращении» родового имени Шеншин сыну... амт-ассессора Фета.

Наконец-то он воссоединился с воеводами и стольниками, так волновавшими его юную гордость. Афанасий Афанасьевич продолжал ревностно служить земскому делу и собственному укреплению. Он сменил степановскую «табакерку» на богатейшее имение Воробьевку под Курском, осуществив сполна тот идеал, который нарисовал убедительно и просто в письме Софье Андреевне Толстой: «Жить в прочной каменной усадьбе, совершенно опрятной, над водой, окруженной значительной растительностью. Иметь простой, но вкусный и опрятный стол и опрятную прислугу без сивушного запаха». Энергическим попечением нового владельца большой каменный, с паркетными полами и зеркалами во всю стену, хотя несколько обветшалый воробьевский дом над светлой рекой был приведен в состояние мало сказать опрятное — великолепное. «Значительная растительность» состояла из парка столетних дубов, раскинувшегося на восемнадцать десятинах и прорезанного от крыльца до ворот аллеей рослых вязов; в теплице выращивались олеандры, кипарисы, филодендроны. Весьма опрятен был и стол: свежую икру, столь любимую Афанасием Афанасьевичем, подавали только что вынутую из осетра. А вышколенная прислуга не прикрывала стыдливо рта, выслушивая хозяйские приказания.

Во всех хлопотах поэзия была основательно подзабыта, но настал день, когда Фет радостно почувствовал:

...не знаю сам, что буду
Петь, — но только песня зреет.

Он не печатался около двадцати лет.

Так кем же был Фет? В царской России учитывалась не национальность, а вероисповедание. Фет был православный. Обожатель Фета Борис Садовский в своих впервые опубли-

кованных «Российским архивом» мемуарах утверждает, что Фет был чистым, беспримесным русским, но ничем этого не подтверждает. А вот Толстые считали Фета евреем (полным или наполовину — не играет роли, чувствительная русская кровь не терпит примеси), и Софья Андреевна любила пройтись насчет еврейской наружности Фета. Все когда-нибудь открывается, узнаем и мы тайну рождения Фета. Но кем бы он ни оказался: русским, евреем, полукровкой, — это никак не отразится на высочайшем качестве его поэзии. При всех дворянских притязаниях Афанасий Афанасьевич никогда не отрекался от своего поэтического имени, он был и остался в поэзии — Фет. Хотя в житейском смысле проклял это имя. Он писал жене, снова став Шеншиным: «Если спросить: как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им — Фет».

Быть может, кроме юношеских лет, которые он провел в доме Григорьевых на Малой Полянке возле Спаса в Наливках в дружестве с хозяйским сыном Аполлоном, соревнуясь с ним в стихотворчестве, поэзия — по времени, на нее отведенному, — никогда не занимала в жизни Фета первого места. Григорьев умел заводить Фета всегдашней готовностью рифмовать, философствовать, спорить о литературе, искусстве, социальных проблемах, эти годы Фет провел в атмосфере чистой духовности. Как высоко парил дух в кружке Григорьева, видно на одном маленьком смешном примере. Вызывая коляску Григорьева после спектакля, одуревший от бесконечных умственных разговоров заспанный слуга заорал: «Коляску Гегеля!»

Но в дальнейшей жизни Фета иные заботы постоянно теснили поэзию: то лямка армейской службы, то помещичьи, хозяйственные хлопоты. Нередко он записывал стихотворение на случайно подвернувшемся под руку клочке бумаги. Однажды он послал Льву Николаевичу Толстому записку, набросанную на какой-то квитанции вместе с новым стихотворением. Толстой похвалил Фета и за стихи, и за то, что

рядом «излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 к. Это побочный, но верный признак поэта».

Толстой безоговорочно любил стихи Фета за их музыкальность, лиризм, чистый хрустальный тон и отсутствие тенденции, чего Лев Николаевич органически не переваривал. Еще до сближения с Фетом он писал Боткину: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов». А затем ему полюбился и сам Фет — деловой, озабоченный, серьезно и правильно живущий. «Я свежее и сильнее вас не знаю человека», — признавался ему Толстой. Нравилось, как Фет ездил к нему в гости: с долгими сборами, вдумчивым обговариванием дороги, проверкой экипажа, осмотром лошадей, как перед большим путешествием. Впрочем, для волнений были поводы: Фет тяжело добирался до Ясной Поляны — то сорвется чека и соскочит колесо, то опрокинется возок, то лошади понесут, то весь выезд провалится под истончившийся лед на переправе. Фет залечивал ушибы, отогревал застуженную грудь, отпаривал ноги, чинил экипаж или сани, заменял лошадей и снова — в путь.

Толстой увлекся сапожным делом и стачал две пары сапог. Одна досталась его зятю Сухотину, другую после долгой торговли, примерок, жалоб на тесноту в подъеме, сомнений в качестве кожи и крепости дратвы, одарив Толстого всеми переживаниями и страхами ремесленника, всучивающего свою продукцию, купил Фет. Сухотин поставил сапоги великого тестя на видное место в гостиной и поклонялся им, как реликвии, за что Толстой окончательно возненавидел его. Фет использовал свою пару по назначению, особенно не хвалил, хотя и не ругал, когда же она сносилась, хотел заказать Льву Николаевичу новые. То был счастливейший миг в жизни создателя «Войны и мира».

Но даже нежного и снисходительного к другу Толстого (лишь чтение газет — этих грязных, марающих руки и душу листков — он ему запретил) огорчало фетовское раз-

базаривание времени на мирскую суету, когда есть поэзия. «...Хотя и люблю вас таким, какой вы есть, — писал он Фету, — всегда сержусь на вас за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. У вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгаете — а все больше бильярд устанавливаете». Да, был грех, Афанасий Афанасьевич, великолепный игрок, кропотливо следил за установкой бильярдного стола.

А не слишком ли по-житейски касался Толстой тонкой и таинственной материи поэтического творчества? Можно ли поверить, что Фет не написал каких-то необходимых ему внутренне стихов из лени, занятости или рассеянности? Каждый истинный поэт выговаривается до конца. Наивно думать, что он мог больше. И живет поэт столько, сколько ему нужно для самовыражения. Лермонтов исчерпал себя в двадцать семь лет и ушел. Уши вянут, когда слышишь причитания: ах, сколько бы он еще сделал! Он сделал все, что мог, неужто вам мало? Самоубийство поэта или близкий к самоубийству способ прекращения жизни — последняя точка в рукописи. Фет сказал все, что должен был сказать; при всем пиетете к Толстому он не мог бы сказать больше, даже если б не тратил времени на установку бильярдного стола, случку породного Закраса, запашку под яровые нового клина и утепление оранжереи.

Толстой в упоении наставничеством отмерил Фету срок жизни (лет семьдесят, если не ошибаюсь). Фет насвоевольничал, прибавив себе два года, а затем ушел из жизни способом, по мнению многих, очень похожим на самоубийство. У него была тяжелая болезнь сердца, исключавшая резкие движения и вообще любые перегрузки. Фет знал это, но однажды, словно назло кому-то, побежал и умер. Видимо, он почувствовал высыхание в себе Кастальского ключа и не хотел жить лишь ради зернистой икры прямо из осетра.

Сделанного Фетом хватило, чтобы занять опустевший после смерти Тютчева трон русской лирики и дать

жизнь новому поэтическому движению, имя которому — символизм. Да, Фет прошел тем же путем, что его сверстник Бодлер и младший современник Верлен, от романтизма к символизму. Я слышал в Ницце рассказ Георгия Адамовича о том, что Фет особенно гордился одним своим четверостишием:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немую,
Засветилось на том берегу.

В живом рассказе Адамович не считал нужным ссылаться на первоисточники, свидетельства мемуаристов (он же не мог слышать это рассуждение от самого Фета), скорее всего, то была вдохновенная мистификация, нисколько меня не шокировавшая, ибо я уверен, что в зачине «Вечера» — исток новой русской поэзии. И когда я писал рассказ «Запертая калитка», то перевел литературную байку Адамовича во внутренний монолог Фета.

«Молодец, что обошелся одними глаголами! Тут нужна немалая смелость. Фраза без подлежащего, предмета, о котором идет речь, субъекта, — за что секут гимназистов, да и поэтов не милуют. А ведь в субъекте этом самом — главная ложь. Разве скажешь, ЧТО прозвучало за рекой и ЧТО прозвенело в лугу? Конечно, сказать можно — язык без костей, только будет ли в том правда? Называя предметы, мы больше всего врем, ибо не дано нам знать их скрытой сущности, не дано знать, чем они являются для самих себя. Человек гадает, тычется носом в населяющие мир предметы, как слепой щенок в теплое брюхо матери, но вместо безусловной вещественности молочной титьки находит лишь некий приблизительный образ. Истинно ведомы ему только проявления таинственных незнакомцев — одушевленных и неодушевленных предметов. 'Прозвучало' — да, слух тебя не обманул, прозвучало и все еще дрожит в ушной перепонке; 'прокатилось' в стороне, где немеет уснувшая река, — да, и еще погромыхивает тележным колесом дале-

кого грома; 'прозвенело' — да, и тоненько замирает над бронзовым лугом; 'засветилось' — да, ах как засветилось тающей алостью на том берегу, где излука! Но попробуй в каждом случае назвать СУБЪЕКТ — и ты наврешь с три короба, потонешь в мучительно неточных, случайных словах. Конечно, о многом люди давно договорились и между собой и с предметами, которым дали имя, и река может быть названа рекой, как он Шеншинным... Бог мой, до чего неудачный пример! Оказывается, имена человеческие тоже условны, не сплавлены с сутью...»

Какое счастье, что это стихотворение не отредактировал Тургенев! Бескорыстно любя литературу, особенно поэзию, добрый Иван Сергеевич не жалел ни времени, ни сил на редактирование чужих произведений и проталкивание их в печать. Издавая первый и на многие годы единственный сборник Тютчева, он уверенно переписывал его строки, придавая им недостающую, по его мнению, мелодичность. Фета он не правил, но испешурял листки со стихами суровыми пометками: «Непонятно», «Неясно», «Что за дьявол?». А непонятно Тургеневу было почти все. Диву даешься, когда видишь, чего не понимали такой литературный колосс, как Тургенев, такой умный человек, как Салтыков-Щедрин, в стихах Фета. Последний не понял прелестного стихотворения «Колокольчик», вся сложность которого заключалась в том, что поэту кажется, будто звук валдайского колокольчика издал в ночном саду колокольчик-цветок. Резолюция Салтыкова гласит: «...это не загадка, а продолжение той же самой поэтической деятельности, которая уже исчерпала скудное свое содержание, но не хочет еще сознаться в этом».

Сколько таких вот беспощадных приговоров было вынесено Афанасию Афанасьевичу: Определеннее всех, как и положено, высказался провидец Писарев: «со временем издатели продадут его книги пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы». Какое было нужно мужество, чтобы не только не сломаться, но ни на шаг не отступить от

своего пути. Можно подумать — Фет знал, что новый поэтический век спешит ему навстречу. Не Пушкина, не Лермонтова он призовет, не музу гнева и печали (хотя у Блока будут некрасовские ноты), не академизм Майкова, своими богами он назовет Тютчева и Фета. Приведу два беглых примера влияния Фета на будущую поэзию. «...Радость-Страданье одно!» из песни блоковского Гаэтана — это «радость страдания» Фета: «Останься пеной, Афродита, // И, слово, в музыку вернись...» Мандельштама — это фетовское: «Поделись живыми снами, // Говори душе моей; // Что не выскажешь словами — // Звуком на душу навеи».

Твердость в главном сочеталась у Фета с удивительной, противоречащей его характеру покладистостью в частности, хотя их не бывает в поэзии. Он писал стихи без помарок и черновиков, они у него выпевались из груди, как песня у птицы. Его поэтическая манера естественно и органично включала в себя и архаизмы, и найденные другими словосочетания, правда, помещая их в иной образный ряд, что давало новое звучание, и свободную импрессионистичность, и чудо намека, летучего знака, а Тургенев требовал неукоснительной простоты, логики, ясности, и Фет безропотно вносил поправки, портя свои стихи, нарушая архитектонику, изредка облегчая душу кроткой жалобой и лишь однажды — протестом.

А ведь в бытовой жизни он отнюдь не был ни слабым, ни даже покладистым человеком. Он всегда знал, чего хочет, и твердо шел к намеченной цели, не гнушаясь советами, но всякий раз поступая по собственному разумению. В этом суть двойственной природы Фета. В одной грубоватой оболочке уживались два разных человека: поэт Фет, слышавший музыку сфер, отвлеченный, доверчивый, мягкий, и помещик Шеншин, предпочитавший всем звукам небес ржание породного Закраса, расчетливый, прижимистый хозяин, опытный землевладелец, барин.

Фету не подавали «соху-с» к подъезду, он занимался сельским хозяйством с хмурой и жесткой повадкой профессионала. Мы ничего не знаем о существовании и тайне человека. Те

умственные силы, которые следовало бы направить на самопознание, мы потратили на самоистребление и добились тут немалых успехов. Мы — загадка для самих себя и друг для друга. Было ли в Фете два несоединимых человека или один, в котором все кажущиеся противоречия крепко и органично связаны? Кто знает? Может, этой Марфе надо было хлопотать о мнозем, чтобы затем припасть Марией к ногам Христа-поэзии? Без хлопот не было бы озарений. Темна вода...

В исходе жизни Фет вернулся к чистой духовности, как «на заре туманной юности». Он пишет великолепные стихи, много переводит, издает труд о своем любимом Шопенгауэре, обращается к прозе. Он признан, он мэтр чистой поэзии, хотя широкой популярностью пользовались лишь его стихи, ставшие романсами. Любопытно, что Чайковский лучше всех, по мнению самого Фета, определил его поэтическую суть: «Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже тех тем, которые легко поддаются выражению словом». В самый корень заглянул Петр Ильич! Конечно, Фет не антологический поэт, каким хотели видеть его благожелательные современники, и не певец природы, чистый пейзажист, каким старалось его представить ради художественной безопасности советское литературоведение, пейзаж, как и весь окружающий мир, служил Фету для «символического изображения внутреннего мира посредством внешнего» (Б. Бухштаб)...

...Фет вернулся из кузни, где следил, как перековывают Закраса. Кузнец был хороший мастер, но пьяница, и Фет боялся, что тот поранит лошадь или прибьет подкову криво. Бог милостив, все обошлось. Отругав кузнеца за пережитые волнения, Фет зашел в контору и приказал начать выборочную косовицу, солнце пекло не по-июньски, не ровен час погорят травы на взлобках. Отсюда он направился в бильярдную, расположенную на втором этаже главного флигеля.

Возле гостиной он столкнулся с женой, а в глубине коридора, у черного хода, заметил небольшую, гибкую фигурку

наездника Фролушки и, не глядя, отвесил супруге затрепину. Она отлетела к стене, но и слова не молвила в свою защиту. По винтовой деревянной лестнице он поднялся на второй этаж и приметил на круглом столике обрывок серой конторской бумаги. Вынув золотой карандашик, он записал то, что с предупреденной бессонницы толкалось ему в голову.

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

Надо будет послать Толстому, подумал он. Глядишь, разнежится и спроворит новую пару яловых. Или хоть набойки к старым прибьет.

Из бильярдной послышался волнующий костяной сшиб шаров. Мастер опробовал стол. «Надо ему вложить в американку!» — выиграла азартом душа. Но, прежде чем войти в бильярдную, Фет приписал еще куплет.

Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, чернее тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.

Сограждане, совки, родные! Давайте бросим нить, горлодерствовать, бездельничать и злобствовать!

Будем, как Фет, деловиты.

Будем, как Фет, поэтичны.

Будем, как Фет, зажиточны.

Будем, как Фет, вечны.

ВЛАЯ КВИНТА

Из себя не выбежишь, от себя не уйдешь, не спрячешься. И что толку натягивать на голову драное одеяло, зарываться в сальную, противно теплую, колючую от перьев подушку без наволочки, подтягивать колени к ноющему животу, сворачиваться в клубочек, до боли жмурить глаза от резкого света солнечного июньского полдня, все равно сна больше не будет и полусна тоже не будет, одна лишь маета, и дрожание нервов, и мучительная, душная толкотня каких-то обрывочных мыслей. Ей-богу, он достаточно себя знал, чтобы не надеяться на спасительное забытье добавочного сна. В том бреду, каким давно уже стало его существование, исподволь образовался порядок, столь же непреложный, как размеренная по часам жизнь какого-нибудь педанта-англичанина. Правда, у Аполлона Григорьева счет велся не на часы, а на дни. Большой загул длился девять дней, ни днем меньше, ни днем больше: на исходе девятого дня окончательно сдавала печень, не принимавшая больше ни капли вина. Провальный сон распластывал его ровно на сутки, после чего начиналось опаматывание с тошнотой и смертной слабостью — дрожащая рука не могла удержать стакана с водой, желудок выталкивал даже самую безвредную пищу, — но постепенно измученное тело собиралось, крепло в узлах, обретало подвижность, оживлялось, а там и закипала мысль, он вновь радовался, возмущался, ликовал, гневался, страдал, рвался к борьбе, он жил. На этом кончался четкий распорядок: нельзя было рассчитывать, когда внутренний подъем жизни достигнет некоей критической точки и потребует вновь открыть шлюзы. Тем более что вмешивались нередко посторонние силы: загулявший приятель мог до срока затянуть в свой омут

или похороненный на дне памяти образ вдруг оживал, населял душу невыносимой болью, и не было иного спасения, как потопить его в вине; и на обман он поддавался — случалось, одна-единственная рюмка с устатку разом ломала всю стройную линию поведения, и гитарный аккорд мог сшибить с высоты, куда возносила его по-юному горячая и сильная мысль.

Но в нынешний заход давно установившийся порядок впервые нарушился: он гулял ровно десять дней. И удивление перед этим новшеством было первым чувством, пришедшим к нему с возвращением памяти. К добру или к худу такая перемена? Но коли расшаталась, сдвинулась прочная система, то почему бы лишнему дню загула не обернуться лишним часочком сна? Хоть бы еще на час, на один только час оттянуть возвращение невыносимой яви. Но сна не было ни в одном глазу, и, сколько ни корячься на жесткой койке, его не призовешь. Надо вставать, надо начинать жить. Жить... Перемежать пьяные запои с запойной работой — разве это жизнь? Да, его жизнь. Проклятая, горькая, бесталанная и все еще милая жизнь. Вроде бы катиться дальше некуда, а ведь не променял бы он несчастную свою жизнь на тихое, благодное жиронакопление. Менять жизнь — значит самому измениться. А нешто это вообще возможно? Сколько раз собирался он начать новую жизнь, опрятную, трезвую, всю как есть посвященную полезным и добрым делам, а ведь ничего не вышло. И спутниц ко спасению, надо отдать ему должное, находил самых подходящих: в молодости — заневестившуюся Лидию Корш, ставшую в замужестве скандальной, распутной и крепко пьющей барынькой, и в недавние дни — номерную проститутку Марью Дубровскую. Последнее было и вовсе непостижимо. Не связь с проституткой, это ему не внове, а то, что он, человек сороковых годов, выступил в классической роли шестидесятника. Не было, правда, ни швейной машинки, ни фиктивного брака. Было кое-что похуже. «Семейная» жизнь в степном Оренбурге, смеси

скверной деревни с казармой, без истории, без преданий и памятников, без старого собора и чудотворной иконы, незаконное брачное сожительство со всем тем дурным, что может дать неудачный законный брак: скандалами, бессмысленными сценами ревности, грязными оскорблениями безответной прислуги и непомерными претензиями, будто «устюцкая барышня» на принца рассчитывала, а ей достался учительшка, с завистью к дамам оренбургского «света» — их туалетах, выездах, раутам. А до этого, еще в Петербурге, были тщетные попытки найти ей занятие: и языкам иностранным пытался обучать, и музыке, даже на сцену вывел, использовав в первый и последний раз свое влияние театрального критика. Ни к чему не оказалось у нее ни терпения, ни таланта. Но, только промучившись без малого год в Богом забытом Оренбурге и возненавидев до стога, до крика, сквозь всю смертную жалость ее глупую, цепкую, как волчец, эгоистическую любовь, не мешавшую ни малым, ни большим предательствам, собственную свою слепоту и глупейшее самообольщение, понял он, что «устюцкая барышня» навсегда останется такой же, какой была в пору их знакомства, пожиная скудные плоды своего холодно и бездарно рассчитанного падения. Они расстались...

Трудно, до невозможности трудно человеку сменить шкуру, и все же он мог бы стать другим, даже сейчас мог бы, позови его та, единственная. Пусть только поманит, пальчиком шевельнет. Ради нее он забудет вино и цыган, разобьет гитару, станет тихим, покорным, смиренным, как последний мещанин, если это надо его душечке. Почему он так назвал ее в песне? «С голубыми ты глазами, моя душечка». Она никогда не была его душечкой. Чистая, невинная, с прозрачно-голубым взором и гладким, бестревожным лбом, источающая какой-то эфирный холодок, она была недоступна для его страсти и то ли не догадывалась о ней, то ли искусно изображала неведение. Потом, когда она уже принадлежала другому, появились стихи, громкие

и откровенные, но ни единым словом не отозвалась она его мучительным признаниям. Ни на миг не потревожилось ее чистое и спокойное сердце его бурной, неопрятной страстью. Он лгал в стихах, утверждая противное. Нет, в стихах все было правдой, но то другая, особая правда, не равная скудной истине дневной очевидности. А как сладко, как нежно и больно было сказать ей, недоступной: «С голубыми ты глазами, моя душечка!» Тут и прощение, хотя она никогда ни о каком прощении не просила, да и не признала бы его права прощать ее. Но перед Богом — разве не нуждается в прощении человек, причинивший столько зла другому человеку? И он простил ей свою сломанную судьбу, простил безмятежность мраморного лба, не отозвавшегося хоть морщинкой беззвучному вою, каинской тоске его души, простил холодную жестокость невинности, не замечающей на белой своей одежде крови распятого. Да какая она душечка? Душечка — теплая, слабая, нежная, готовая, даже не любя, по одной бабьей жалостливости прикинуться сердцем к больному любовью сердцу. А Леонида — имя-то какое на русский слух нелепое! — швейцарское дитя, вспоенное разреженным прохладным воздухом Альп, ну, чего зря болтать, замоскворецким густым, деготным, ладанным воздухом вспоено дитя обрусевшего швейцарца Визарда; ледышку носит в груди, куда ей в душечки! Но растопилась ледышка, замутился бездонный голубой взгляд, прежде легкое, неприметное дыхание затревожило газовую косынку на груди, когда в доме появился эффектный и пустоватый Михаил Владыкин. И до чего же легко досталась Леонида этому барину и удачливому драматургу! Не уплатив дани мук, страдания, собачьей преданности, тоски, стихов и слез, он с непостижимой быстротой сделал ее своей перед Богом и людьми и увез в пензенскую деревню. Они умчались, не заметив, что колеса свадебного возка переехали человечье сердце. А там семейная тишина скоро наскучила этому удачнику. Он вдруг открыл в себе актера и обернулся Менелаем на московской сцене. Ну и черт с

ним, пусть менелайствует себе на здоровье, но она-то, Елена этого Менелая, что с ней? Поди, осалопилась, отупела в своей глуши, а может, и на новую линию вышла? Она ведь сильная, умственная, от гибельных чувств и от гибельных людей хорошо защищенная. За нее нечего бояться...

Господи, уже тринадцать лет тому, как переступил он впервые порог дома Визардов и увидел тихую девушку с голубыми глазами, ни разу не глянувшими на него с вниманием или участием, не говоря о чувствах более горячих. Разве что опасливым и отчужденным любопытством расширился зрачок, когда он витийствовал в донкихотовом или гамлетовом пошибе. И в том, и в другом образе, равно близком его двойственной натуре, оставался он ей чужд, даже враждебен. Почему хорошие женщины избегали его? В юношеские годы крестовая сестра, нежная Лиза предпочла ему наиспокойнейшего Фета; Антонина Корш, первая его взрослая любовь, — рассудительного Кавелина, Леонида — незначительного Владыкина. Быть может, этих положительных, спокойных женщин отталкивал его горячечный энтузиазм, незаземленность, невмещаемость в обычные рамки? А успех он имел у сестры Антонины Лидии, страшной, гибельной натуры, у Марии Федоровны Дубровской да еще у одной, сжигаемой чахоткой, с изломанной душевной жизнью и воспаленным сознанием, ну, и черноокие Стеши да Маши его не обижали. Но тринадцать лет, трезвый или пьяный, счастливый или несчастный, здоровый или больной, один или в чужом тепле, он начинал день с мыслью о Леониде, как иные с утренней молитвы. Хоть бы раз она его пощадила, хоть бы раз оставила в покое. Голубоглазый сфинкс!.. В чем причина ее проклятой власти над его душой, в чем сила ее очарования, которому подпадали почти все посетители дома Визардов? Но ведь те подпадали, а потом безболезненно освобождались от чар, черпая защитные силы в собственной малости и приверженности к рутине. А он так и не освободился, так и не разорвал пут. Неужели до конца дней нести ему эти вериги? Да, ты не

избавишься от своей ноши до смертного часа, ибо корень в тебе самом, ты ни от чего своего не хочешь избавиться — ни от любви, ни от пьянства, ни от донкихотства, ни от долгов — и даже гордишься в какой-то своей подпольной тьме, что ты монстр, не похожий ни на кого из окружающих. Пьяни кругом не сосчитать, есть и такие, что тебя перегуляют, и не бедна Русь поэтами, чья лира позвончее твоей, и мыслящими критиками и пламенными служителями идее не обойдена, и нешто когда скудела наша почва чудаками, что не страшатся и платьем ярким, и диковатой повадкой навлекать насмешки и поруганье окружающих, но чтобы в одном человеке все слилось, спаялось, спеклось намертво — этого в веках поискать — не сыщешь. Может, главное твое назначение, а каждая Божья тварь чему-то назначена, не страстные стихи, не умные критики, не борьба за выстраданные идеи, а совсем в другом: явить русскую натуру во всех крайностях, яри и беспечности, готовности к высочайшему взлету и нижайшему падению. В твоих безобразиях — вызов той удручающей европейской безликости, которую сторонники западного развития пытаются навязать самобытному русскому укладу. И славянофилам — кукиш под нос! Из кожи лезут вон рыцари ракового хода, доказывая, что русский человек по самой природе своей смиренник, скромник, образцовый семьянин и святоша. Какая чушь! Будто земская жизнь возможна без гульбы «до поры, до утренней до зари. Гульба по душе, гульба весеннюю ночь, весь денечек, осеннюю ночь до святочку». До чего же жалки и смехотворны аксаковские славословия народному смирению! А куда девать тогда Стеньку Разина, Прокофия Ляпунова, Минина-Сухорука, Пугачева? А куда девать меня самого?..

«Ну, оправдал свое пьянство?» — с усмешкой спросил себя Григорьев. Это входит в жизненный распорядок, надо подбодриться, чтобы сделать первый и самый мучительный шаг в явь из благодной тьмы. Потом все равно придет хандра, как называл Григорьев похмельное раскаяние,

не признаваясь даже самому себе, что может жалеть хоть о чем-то, сотворившемся с ним по воле его безудержной натуры. Он вредил только себе самому, а окружающим не причинял зла во хмелю, никого не оскорблял, не дрался, если его не задевали, все добрые свойства его незлобивой, мягкой, сострадательной, восторженной, общительной натуры оставались при нем, лишь в преувеличенном и оттого жутковатом порой виде. Он помнил сквозь все напластования, как на второй или третий день загула ему попалась на улице жена композитора Серова Валентина Семеновна, и звучала в нем музыка «Юдифи», и он заорал, пугая прохожих: «Прегениальнейшая шельма твой Сашка, черт его дери! Как это у него запоет Юдифь: «Я оденусь в виссон», — сапоги готов ему лизать. Гениальнейшая башка у Сашки!» — «Успокойтесь, голубчик, успокойтесь, миленький!» — лепетала Серова. Хорошая баба, одареннейшая, умнейшая, но дура...

И, думая обо всем этом, он понимал свою игру: боится с кровати встать, тянет время. Пока лежишь тихо, даже не знаешь, как тебя размолотило, и кажется, что жить можно. Ну, погуживает в голове, ломит затылок, во рту пересохло, и языком не пошевелить, и нет воды под рукой, чтобы смочить рот, но жить можно. А вот как встанешь, да как поведет тебя, да как закружит, да как подкатит под самое сердце!.. И все-таки встать надо.

Он закинул руки за голову, ухватился за спинку кровати и немного подтянулся вверх, в полусидячее положение. И сразу боль, дремавшая в нем, как вода в чаше, всколыхнулась, растекалась по телу. Железным обручем сдавило черепную коробку, тошнота подкатила к горлу и ожгла омерзительной горечью, заболели глазные яблоки, будто их придавили пальцами, все закружилось перед ним: стены, потолок, окно, в которое изливался золотой и синий июньский свет. Он закрыл глаза, закинул на них согнутую в локте руку и несколько секунд перемогал головокружение. Теперь он открывал в себе все новые очаги боли. Гнусно ныли

наломанные неудобными ночевками кости, особенно ребра и крестец. Лишь в первые ночи спал он по-человечески в каких-то номерах у Фредерикса и на Лиговке, потом гулял с цыганами ночи напролет, а отсыпался днем у знакомых. У Мея пьесу читали, когда он ввалился. «Милый мой, возлюбленный, желанный, где, скажи, твой одр благоуханный?» — звучно продекламировал Григорьев и плюхнулся на мягкий продавленный диван. Раз у Серовых тоже при гостях выспался в столовой. И наконец в клубной бильярдной обосновался. На бильярде плохо спать — жестко и вонюче и першит в горле от меловой пыли, которой пропиталось зеленое сукно, — зато надежно: борта свалиться не дают. Ох и загремел он раз с лавки в полицейском участке! Как изумился Страхов, заглянув среди дня в бильярдную и обнаружив его простершимся на центральном, лучшем столе, на котором разрешено играть только мудрую пирамидку. Славно они тогда поговорили. Хороший у него ум, не догматический, широко охватывающий суть явлений. И кто же потом сбил, а там и вовсе изгадил ему настроение?.. Островский?.. Неужели это Островский стыдил его за темный и непроворотный стиль? Григорьев поморщился. Стараясь отогнать неприятное воспоминание, он приподнялся, и новый накат боли, головокружения и тошноты уложил его на лопатки. И все же надо вставать. А то последний срам приключится, до какого он еще ни разу не доходил. Он осторожно спустил ноги с кровати, убрал руку с лица, открыл глаза, дал им привыкнуть к свету. Чуть приподняв и повернув голову, он с удивлением обнаружил, что на нем надеты какие-то плисовые, не его штаны. Он вышел в суконных брюках мышинового цвета, а плисовых штанов со второй московской юности, с приснопамятной молодой редакции «Москвитянина» не нашивал. О знаменитых его коричневых, с отливом, широких плисовых штанах и такой же поддевке поверх кумачовой рубашки с косым воротом Фет шутил, что Григорьев рядится под московских извозчиков, которые сами так сроду не одевались.

И кумачовую рубашку, и плисовую поддевку он и сейчас охотно надевает, когда случается в духе, он и за границей не стыдился просторной и ладной русской одежды, так хорошо идущей к его полноватой крепкой фигуре, а вот брюки давно уже только суконные признает. Как же оказались на нем эти шаровары? С кем же он мог поменяться? Не иначе, с Ромкой Казибеевым из Сурмиловского хора. Как, подлец, «Раскудрявую» выводит! Тут можно не только хорошие брюки на дрянь сменить, а самую душу прозакладывать. Но странно, что он чувствует на себе Ромкины поноски как собственные. Помнит тело одежду, не иначе, облекали его эти штаны, когда их мягкая переливчатая ткань еще не обратилась в редину. А после татарину за бесценнок спустил. Верно, от «князя» и попали они к Ромке.

Григорьев собрался с духом и, цепляясь за спинку кровати, встал на ноги. Редкая плисовая ткань билась парусом вокруг дрожащих икр. Комната перевернулась в его глазах, и он перевернулся вместе с комнатой, но устоял и, отплюнув горькую слюну, обрел привычное положение тела. Внутри у него будто цепями перемолочено, живого местечка не осталось. О Господи!..

Он опустился на колени, нагнуться не мог, опасаясь дурманного прилива крови к голове, и нашарил под кроватью фарфоровую посуду, свое единственное движимое имущество, последний подарок цивилизации, который он сохранил во всех передрыгах кочевой жизни. Он и на эту квартиру явился с гитарой в одной руке (гитару имуществом не считал — продолжением своего сердца), с узелком, содержащим ночной горшок и несколько книг, в другой. С такими узелками бабы ходят в церковь святить пасху и куличи. «А имущество где?» — подозрительно спросила хозяйка квартиры. «Вот оно все здесь!» — ответил он с наивной гордостью, искренне считая, что горшок служит гарантией его добропорядочности, привязывая к земле, к миру основательных людей, владеющих собственностью...

А потом он сидел на кровати и тихо втолковывал воображаемому Островскому:

— Пойми, я не мысль выражаю, а чувство, вымучившееся до формул и определений. Вот чем я отличаюсь от других, пишущих критики. И, конечно, я всегда буду труднее для постижения. Они задачки решают, а я дух из тьмы изымаю. Я ве-я-ни-е, а не школьный учитель. Да-с!.. А читатель пусть думает, разбирается, на то и даны человеку мозг и сердце... Он подумал немного и заключил:

— А не может разобраться, ну и черт с ним. Мне такие читатели не нужны...

Хотелось пить, он поискал глазами — пустая кружка стояла кверху дном на полу. Умыться бы. Но и в тазу, и в кувшине ни капли воды. Спросить самовар? Нет сил тащиться в коридор и уламывать хозяйку, лишившую его утреннего чая за неуплату квартирных денег.

Совсем обессилев, он прилег на кровать. Супцу бы не особо горячего похлебать, куриного бульона с сухариками. Он не был гурманом, ел жадно, много и быстро, выбирая куски пожирнее, а не потоньше вкусом. Нет, не был он гурманом ни в яствиях, ни в литературе. Пища должна питать и укреплять, а не баловать плоть, и книги должны питать, укреплять, а не баловать и нежить дух. Сбитню бы он попил, простоквашки или коричневого топленого 'молочка, что так вкусно у деревенских баб на Сенном рынке...

Чего домогался от него Островский? И с какой стати пошел у них этот ненужный разговор? Опять, что ли, в «Искре» язвили его за дурные словеса? Но Островский не станет подпевать искринцам. И все же досадительный разговор имел место, вот почему так странны и необычны были усыплявшие его на рассвете чертики. Не в первый раз обирал он с себя чертей, привык к ним, ничуть не боялся, как и пучеглазых рож и зеленого змия в темных углах комнаты. Сухонькие, похожие на сверчков чертики были большею частью впрозелень, но попадались и серые, как паутина, бурые, как лесные лягушки, и он легко стря-

сывал их с себя, сбивал щелчками, а особо цепких брал цепотью за крылышки и, стараясь не раздавить, швырял прочь. Нынешние черти отличались от всех прежних животы у них просвечивали, как у диковинных рыбок в аквариумах, и там ясно читались прозвища. Был чертенок Который, был чертенок Поколику, был клещево-цепкий Зане. Все излюбленные — да какие там излюбленные, пропади они пропадом, проклятые и неотвязные — слова, испещряющие не только его статьи, но и стихи. А чертенок Подметка откуда взялся? Ах да, ведь он частенько оговаривается «подметкой чувств». Может, и в добрый час явилось в мир словечко «который», позволяющее так легко связать фразу, но у Григорьева словечко это торопится вперед заскочить, на правый фланг придаточного предложения, и уж до смысла не докопаться. Неужели не может он призвать к порядку своевольное местоимение? А вот не может, просто не видит, что оно в неположенном месте выскочило, слишком страстно, слишком горячечно пишет, слишком торопится свою мысль досказать. И почему-то всякий раз недосказывает. Но это уже другое... Статью всегда надо срочно сдавать, поджимают журнальные сроки, а главное, безденежье давит, и нет времени на доработку, доделку. И все же не надо на нужду валить. Нужда — это когда дети голодные плачут, а у него деньги на ветер летят. За рабочим пароксизмом следует пароксизм загула. Милый, наивный, даровитый Страхов жаловался, что ученые занятия не дают ему вкусить жизни. Да знает ли он о тех мрачных эриниях, которых Бог насылает на мыслителей, слишком жадных к жизни? Храни и помилуй от жизни того, кто хочет сказаться в слове. А ну ее в подпушие, как говаривал покойный Лермонтов. Моя беда, моя трагедия в том, что я не умею переживать жизнь внутри себя, мне ненасытно хочется пережить ее в действительности. Если б не угарная, сладкая, мучительная растрата сил и чувств, сколько бы я успел! Да ведь жаден до жизни, как медведь до меда. Вот и оборачиваются чертями уродливые слова, перепол-

няющие мои сочинения. К чему все-таки прицепился Островский? К чему-то вовсе не стыдному, к чему-то важному, становому в моих писаниях, неужели к «Скитальчествам»? А уж они ли не выпелись из души!.. На ломберном столике, служившем и для работы, и для еды, валялись растрепанные номера «Эпохи», но как до них добраться?..

Он снова повторил весь давешний ритуал: уцепился руками за спинку кровати, подтянулся, пережил миг дурноты, спустил ноги в плисовых штанах на пол, встал, выждал, когда успокоится сердце, и сделал первый шаркающий шаг от кровати. Страшно было остаться без поддержки, но он справился с собой, ерзнул дальше. Тут он осмелел настолько, что рискнул оторвать ногу от пола и сделать настоящий, хоть и коротенький, шаг. Удалось! Вот так и всегда бывало: кажись, уже конец, больше не подняться, но пересилил себя, встал, двинулся, пошатываясь, а там и укрепился на земле, вернул себе стройный человеческий образ, вновь крепки кости, вновь бьется мысль, и закипают в груди чувства, и рука тянется к перу.

Доковыляв до ломберного столика, он взял журнал, листанул наугад, и по глазам, по мозгу ударили страшные, как и в горячечном бреду, строки: «Если б школа давала тезис в отрицательной форме *spiritus non existit*, он негрировал бы негоцию и вместо того, чтобы быть материалистом и нигилистом, был бы идеалистом, *est semper bene...*» Господи, да как рука не отсохла?.. Чтобы русский писатель позволил себе такую галиматью, гадчайшую заумь, будто недопереведенную с латыни! Вот ведь позволил, подумал он с жалкой усмешкой. Я и позволил.. Но зачем же печатать-то было? И как могли братья Достоевские это допустить? А может, я брежу, может, мне все мерещится, как зеленые хари в углах и черти на рукаве? Но я же очнулся, отошел. Неужели головой повредился?.. Матушка, спаси своего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку!.. Но нет матушки, давно нет несчастной, худой, как рыба кость, полубезумной и прекрасной за покровом стран-

ной душевной омраченности женщины, так любившей чествовать большим деревянным гребнем тогда еще не буйную и не безумную русую голову Полошеньки. Слезы закапали из слинявших, а когда-то ярких, сверкающих глаз Аполлона Григорьева.

И все же жизнь опять втягивала его в себя — измотанный, изломанный, дрожащий, дурно пахнущий, он был ей для чего-то нужен. Жизнь не отпускала его, и он хотел, чтобы не отпускала, чтобы держала его на земле, где он все потерял и ничего не обрел — ни любимой, ни дома, ни семьи, ни власти над умами, ни положения, ни имени, а лишь растерял то, что дано ему было от рождения: здоровье, силу, чистоту, безоглядную веру в людей, прозрачность взора. Но, может быть, потерями и притягивает его жизнь. Леонида, утраченная навсегда, в каком-то высшем смысле принадлежит ему — жгучей памятью, болью, стихами, созданными в нем ею. Ему плохо сейчас, так плохо, что хуже некуда, но он отвергает услуги смерти. О, как же прав Пушкин, всегда и во всем правый, воскликнув: «Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» А под страданием он разумел не маету и упадок, не тоскливую неотвязную боль, а способность обострять каждое чувство, жить всей силой и полнотой страстей.

Но, друг мой, страдания Пушкина не чета твоим тяготящим, душным сердечным болячкам, африканские страсти ярко вспыхивали и быстро отгорали. Ты весь из житейщины, из сырой жизни, там же все было крепко, сухо и горяче, как порох. Твоя «Венгерка» окуплена кровью сердца. Да разве так уж безмерно любил Пушкин в свои веселые, озорные молдавские дни крупную черноволосую большую Ризнич, а ведь к ней обращено трагическое «Для берегов отчизны дальней», а божественное «Я помню чудное мгновенье» посвящено даме, над которой он сам же потом посмеивался: «У дамы Керны ноги скверны». Пушкин мимолетностям дарил бессмертие. У тебя же лишь крушение души исторгло настоящую поэзию. Выходит, ты просто

бездарь, друг мой, и у тебя один путь — в кабаки? Нет, положив руку на сердце, ты вовсе не бездарен. Значит, кабак не следствие, а причина?.. Среди первоклассных талантов не сыщешь пьяниц. Дивная «Вакхическая песнь» спета трезвым человеком, и звонкий темноглазый поручик сохранял ясную голову посреди гусарского разгула. Крепко пивал во дни «Москвитянина» Островский, но разве повернется язык назвать пьяницей создателя «Грозы»? Труженик, собранный человек, знающий свое назначение, он, когда нужно стало, незаметно выбрался из-за пиршественного стола, за которым продолжали бушевать его преданные и непутевые сподвижники. Но тяжело, запойно пьет Мей, спивается Левитов, и вся литературная бурса, завивая горе веревочкой, губит себя до поры до времени. А ведь все это таланты. Нет, полуталанты. Может, невозможность сказать до конца берedit, травит душу, и рука сама тянется к рюмке. Так ли?.. Возможно, есть тут доля правды, только не вся правда...

В ранней замоскворецкой юности, когда студент Фет жил на хлебах в деревянном доме Григорьевых возле Спаса в Наливках и юноши занимали соседние комнаты на антресолях, братски делясь мечтами, надеждами, сомнениями, даже стыдными снами, влюбленностями и первыми стихотворными опытами, он нередко приходил в отчаяние от неуклюжести собственных виршей, подчеркнутой благозвучием фетовских строф. Но разве хотелось ему искать утешения в вине? Да нет же! Он восторгался, от души восторгался крылатой фетовской легкостью, проклинал корявую нескладницу своих бедных и таких искренних стихов, но не падал духом, а полно и взволнованно жил поэзией, музыкой, любовью, громадностью раскрывающихся перед ним умственных горизонтов. Даже во дни, когда все честолюбивы, поэтическое честолюбие не терзало его. Поэзия была — и осталась — необходима ему для «собственной надобности», каждый поворот его жизни отмечен стихами, он, наверное, самый личный поэт из всех существу-

ющих на Руси. Таким он был на заре туманной юности, таким и остался, когда найденное главное дело заставило потесниться музы. И есть странный разрыв в нем. Его стихи лишены народности, все, кроме «Венгерки», где подхвачена та чистая и страстная нота, что с незапамятных времен звучала под звездным шатром цыганских небес.

Но пить он начал, причем сразу круто, не с тоски и невыраженности — от полноты жизни. Еще подставляя голову под маменькин гребешок, он уже следил, чтобы не дыхнуть на нее кюммелем, а то и крепкой водкой. Тогда же узнал он завораживающую истому цыганских напевов, тогда же изменил глубоким тонам рояля ради надрывов семиструнной краснощековской, тогда уже не мог противостоять зову разгульной, самозабвенной, головокружительной жизни и кинулся без огляда и боязни в ее грешные объятия. Домашний гнет, навязанный семье болезненной, до ханжества добродетельной матерью, не только не удерживал от сомнительных подвигов, напротив, возносил разгул в чин свободолюбия. Мысль о раскаянии не касалась его души. С собой человек вправе распоряжаться, как ему вздумается, быть может, это единственное достояние, в котором он до конца волен.

И все у него было цельно, не разорвано, не лоскутно: стихи, увлечение немецкой философией, бессонные ночи над книгами, вечное раздражение мысли, споры с друзьями, загулы, цыгане, жаркая близость с женщинами, которых он потом не помнил, и никакого сожаления ни о чем, никакого сомнения в том, что все происходит правильно, истово. И писалось ему стихами и прозой так же просто и естественно, как жилось и дышалось, и он не задавался вопросом, так ли, правильно ли он пишет, как не задавался вопросом, так ли, правильно ли дышит. И однажды он по-детски удивился и озадачился, увидев черновики Пушкина. Там не было ни одной не перечеркнутой строчки, ни одного не переделанного слова. Вот каким каторжным трудом, каким прилежанием оплачена волшебная легкость пуш-

кинского стиха! Он так не мог, не умел, у него просто времени не хватало бы. Шум жизни звал, оглушал, пьянил крепче вина. Неужели Стешина низкая волнующая нота или дружеский, за полночь спор о важнейших вопросах бытия не важнее какого-то криво ставшего в строку слова? К тому же главная тема споров — искусство и жизнь — оказалась столь захватывающей и жгучей, что вскоре не стало душевного времени ни на что другое. Он понял, истина входит в человеческую душу лишь в образе красоты. Все великое сообщается жизни воплощенным в произведения искусства, наука делает лишь черную работу. И наконец в нем сказалось гулко, торжественно и чудно, как в соборе: искусство — это второй мир второго творца. Он должен внушить эту мысль людям — стихи заброшены, он пишет о литературе. Критическая деятельность пришла к нему так же естественно, как прежде поэзия, как загулы, и так же явилась прямым продолжением его личности. Но теперь он не замыкался в скорлупе собственного «я», а смело ступил в общественный поток. При этом он ничем не поступился в своей капризной индивидуальности, оставаясь вызывающе самим собой.

Его не устраивало ни одно из существующих направлений: ни славянофильство с его душными старобоярскими идеалами, ни тем более западничество, всерьез рассчитывающее привить русской стихии аглицкий парламентаризм, ни «теоретики», договорившиеся до того, что «сапоги выше Пушкина», ни эстетики-гурманы, у которых искусство — нечто вроде похотливого самоудовлетворения. Он лупил по всем, и его лупили все. Брань и насмешки барабанили по его шкуре градом, а каждая градина — с гусиное яйцо, но он не чувствовал боли, упоенный засиявшим для него светом. Он твердо знал — спасение в народности, но в отличие от славянофилов видел ее не в крестьянской общине, а во всех русских сословиях, и в первую очередь в купечестве, сохранившем в наибольшей чистоте и цельности богатый, самобытный национальный характер, жизненную бо-

дрость, пряную густоту русского быта, старинные обычаи, пляски, песни, теплую веру. Своим окончательным прозрением он был обязан Островскому. И ярко засверкал его меч во славу народности и столпа ее — Островского. Ответные удары могли и быка свалить, а он знай себе ломил дальше, захваченный великой мыслью — создать новый, всеобъемлющий метод критики, который удачно назвал «органическим».

Направления раздергивали литературу, признавая лишь удобное их узким целям, не замечая или ниспровергая неудобное, — смятенный вид обрела русская словесность. А Григорьева, этого раздрызганнейшего в быту человека, влекло к целостности. Ему мечталось выработать такой критический метод, который каждое литературное явление рассматривал бы в свете большого общенародного дела, народного идеала, а не с нищенских позиций соответствия ближайшим, сиюминутным целям.

Порой в густом сумрачном тумане проступали контуры светлого величественного здания, которое вот-вот станет явью. Но контуры таяли, а там и вовсе исчезали в чаду жизни, в утомлении перетруженной мысли, бессильно упускающей какое-то необходимое звено. Григорьев то приближался, то отдалялся от своей цели, а то и вовсе отчаивался в ней и тогда бросал все к чертям собачьим, отказываясь от власти, идущей в руки, и бежал, как павший духом воин с поля сражения, никому и никогда не признаваясь в своем дезертирстве и даже перед самим собой оправдывая его житейскими причинами. Так было в пору его бегства из Москвы за границу в качестве наставника князьиньки Трубецкого, когда Погодин готов был передать ему «Москвитянин», так было и во время последнего бегства в Оренбург с «устюцкой барышней», когда он уже становился хозяином в критическом отделе журнала братьев Достоевских. Он придумал какую-то обиду для оправдания своего бегства, но ведь это неправда, правда в том, что пора ему было сказать слово, то главное слово, которого все

ждали и которое стало бы платформой журнала, а он не мог сказать этого слова, не знал его. Красиво звучит «общенародное дело», а в чем оно? Самой душой вынете — «народный идеал», а где он? Расплавается в беспредельности... Вон у «теоретиков» идеал определен, ясен, да черта ли в нем?.. Фаланги усовершенствованной человечины дружно возделывают всеобщий грушевый сад. Да коли так... Коли сбудется... повешусь на первой же груше в этом цветущем саду...

Было и другое. Он писал одну из главных своих статей, отталкиваясь, по обыкновению, от Пушкина, ибо Пушкин — начало всех начал, и в подтверждение какой-то мысли процитировал из «Черни». Затем перечитал крепко закрученное рассуждение, испытав даже некоторую гордость, и вдруг:

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

И закричал, так ошеломляюще прекрасно это было, а потом заплакал над скудостью, беззвучностью и ненужностью многомудрых своих рассуждений. Да, не вести слепцу зрячего, без художества теория — пропащее дело. Отсюда безнадежная вторость всяких критических упражнений. Как там ни крути, ни усердствуй, какие волшебные здания ни строй, дело твое не Богово, а сугубо человеческое. Господь сочинял Вселенную не как критик и не как публицист. Вдохновенная творческая сила, создавшая за семь дней все сущее и сказавшая себе «это хорошо», была сродни искусству, поэзии, но никак не рассуждению, иначе не быть миру столь совершенным. Все дурное в нем — от человека с его опасным заносчивым разумом, иными словами, от критики...

Григорьев тяжело вздохнул. Он с самого начала ждал, что придет к этому невеселому итогу. Так всегда начиналась хандра. «А все оттого, мой друг, что ты незавершен-

ный создатель. Артист, у которого творчество съедено анализом, к тому же с nepозволительной жаждой жизни». И так, приговор оглашен. Он, как и следовало ждать, беспощаден и обжалованию не подлежит. Но, странно, Григорьев не слишком опечалился. И вовсе не из цинизма или равнодушия к себе. Он словно не верил безобразной правде вывода. Хандра, копившаяся в нем, как туман в овраге к вечеру, не торопилась накрыть душу. Видать, неспроста. Ему предложено спастись. Умиравший в страшных муках философ просил сына: «Напомни мне какую-нибудь важную мысль, это освежит меня». Мысль Григорьеву не приходила, но забрезжило нечто лучшее — образ. Яйцо. Огромное, свежее, только что из-под наседки, чуда-наседки, богатырши наседки, розоватое, будто просквоженное солнцем, гладкое яйцо, Богово чудо — замкнутый внутри самого себя цельный, заверченный мир, содержащий все элементы жизни. Нет ничего красивее яйца. Какое там еще здание мерещилось ему?.. Чушь!.. Каждое здание либо несоразмерно, либо незавершенно, либо искажено излишествами, красота даже лучших творений зодчества условна как знак своего узкого времени. Яйцо — совершенство, ни прибавить, ни убавить, оно полно, осмысленно, вечно и все как есть служит своему назначению. Метод органической — анафемски хорошо звучит! — критики впервые предстал Григорьеву в образе яйца; нерасторжимо и целостно сольются в нем жизнь — искусство — постижение. Конечно, критика никогда не станет третьим миром, но приблизится наконец к тому, над чем простерся свет Господень.

А кто же второй творец второго мира, комически озадачился вдруг Григорьев. Совершенная красота первых насельников мироздания довольствовалась сама собой и не могла породить чего-либо внешнего по отношению к себе. Извечное зло вовлекло Еву в грех, она же вовлекла Адама, и поколебалось Богово устройство, пошли разлады и уродства, и юную вселенную омрачила первая кара. Из мучительной

тоски по утраченному: раю — идеалу — гармонии — родилось искусство. Значит, Змей, Сатана — прародитель искусства. В раю искусства не было, да и не могло быть, зачем раю вглядываться в собственную красоту. Стало быть, не только критика от лукавого! Он совсем развеселился.

Григорьев чувствовал, что может встать, а если б еще похлебочкой подкрепился, то и на улицу выползет. Но похлебочки ждать неоткуда, и оставалось придумывать себе другие радости. Много есть в мире такого, что поважнее личных страданий. Хотя бы пьесы Островского. В Оренбурге он врачевал себя «Мининым», а в последний заход думал служением Мельпомене потеснить служение Лизю. В Александринку завалился на «Бедность не порок» — любимейшую свою пьесу. Да не получилось ничего — холодная, сделанная игра петербургского баловня Самойлова в роли Любима Торцова оскорбила в нем чувство правды. Не могут играть в Петербурге Островского, нешто есть у них Замоскворечье? Петербургский купец издавна припахивал немцем или голландцем. Но, вспомнив о пустом спектакле, он уже радовался, потому что мостик перекинулся к далекой счастливой поре, быть может, самой счастливой поре его многострадальной жизни.

Тогда он вернулся в Москву после бегства в Петербург от несчастной любви к Антонине Корш, так и не залечив душевных ран, разочарованный в обманных возможностях столицы и в себе самом, но уже «чующий правду», которая и привела его в стан молодой редакции погодинского «Москвитянина». Он сразу понял, что нашел людей, близких ему всей кровью, но те не спешили раскрыть объятия еще одному отечественному Гамлету, чья русская закваска привлекала их столько же, сколько же отпугивал чужеродный меланхолический туман. Хоть доверия еще не было, а на премьеру пьесы своего главы и кумира Островского «Бедность не порок» в Малый театр взяли. Так и сидели в ложе всей компанией. Спектакль захватил Григорьева с первых реплик, но зрительный зал разогревался медленно, да и то

лишь магическим обаянием великого Прова Садовского, игравшего — какое там «игравшего», это Самойлов играет, а Пров жил и погибал всерьез — беспутного Любима Торцова, первого замоскворецкого романтика на русской сцене. Григорьева бесила тупость публики, он себе ладони до свекольной красноты набил, орал, вскакивал на кресло. «Тебя выведут, сумасшедший!» — одергивал его Погодин, сам потрясенный до слез. Много раз потом выводили Григорьева из театра — не умел он приказывать своей душе, коли она рвалась наружу, но в тот раз обошлось и он дождался знаменитого места, когда пробудившийся от пьяной спячки и сознавший свое человечье достоинство Любим кричит всему презревшему его миру: «Дорогу, дорогу, Любим Торцов идет!» Лед тронулся. Всяк, в ком жива душа, понял, что на русскую сцену шагнул шаткой, но уверенной поступью совсем новый герой. До того на театре горланил и хвастался Ляпунов, кобенился под орлеанскую девственницу Минин (разумеется, не Островского) — жалкие подделки под русский тип, а тут развернулась во всю ширь мощная натура восставшего из грязи коренного русского человека, в коем смирение перед Богом и нравственным законом в нужный час оборачивается бунтом против злоторства.

Чудо случилось в четвертом акте, когда старый, измочаливший душу о жизнь Любим Торцов тихо, из какой-то последней глубины усталости и одиночества просит Гордея о милости: «Брат, отдай Любушку за Митю. Он мне угол даст... Назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать на морозе-то из-за куска хлеба, хоть под старость-то да честно пожить...» Когда он кончил, была неестественная, какая-то жуткая тишина: люди в зрительном зале забыли дышать, окаменели, затем возникла долгая стонущая нота и — обвал!.. Позже Григорьеву довелось видеть знаменитого Сальвини в «Отелло» и неистовство самой темпераментной в мире итальянской публики, но все южные страсти меркнут перед тем, что случилось в московском Малом театре на премьере Островского. И

впервые его бескорыстное сердце сжалось не то что завистью — о нет! — но каким-то печальным восторгом перед властью гения над толпой. И чувство это стало почти нестерпимым, когда Островский, большой, лобастый, с глазами, полными слез, поднялся в ложе и, обращаясь к друзьям своим и соратникам, сказал, беспомощно разводя руками:

— Не виноват, братцы!.. Небо свидетель — не виноват. Не я — Господь Бог писал!..

Какое же это ни с чем не сравнимое счастье — иметь право сказать о себе т а к о е! Но, отозвавшись сжатию сердца и соленой влагой, скатившейся на губу, безмерности чужого успеха, Григорьев напрочь забыл о всем малом и личном, растворившись без остатка в торжестве того, в чем прозревал будущее.

Его взяли на кутеж, который начался в ресторане, а закончился в доме Островского богатырской мужской попойкой. И навсегда пленилась молодая душа Григорьева спокойной мудростью и пронизательностью Островского, не оставлявшими его и в подпитии, дивной старомосковской речью и глубиной взора великолепнейшего Прова, щемящей, беззащитной нежностью Мея и всем густым, свежим, здоровым даже в безобразиях духом, царившим в этом кружке. У него кружилась от счастья совсем ясная голова, хотя налился он водкой и шампанским по затычку, но в огненный час не может завладеть человеком никакое отравное зелье. И старик Погодин, возвеселившись духом, потребовав, чтобы Григорьев спел под гитару что-нибудь цыганское. Тут же появилась семиструнная, и Григорьев, слишком доверчивый, открытый и прямодушный, чтобы стесняться, свободно, с душой спел настоящее таборное. Странное дело, его голос, зычный в разговоре, споре, с учительской кафедры и особенно в партере театра, становился тихим, томительно-нежным, когда он пел, даже не пел, а проговаривал слова под искусный аккомпанемент, и он не умел иначе, лишь в самых подъемных местах усиливал звук,

вкладывая страсть. Приняли благодарно, не больше; придет время, И он приучит их к цыганским напевам, откроет им глубоко народную стихию этой ни на что не похожей музыки, но тогда они еще не были готовы. Да и находился тут певец редкой силы, обладатель такого богатого, красивого, природой поставленного голоса, что не Григорьеву с ним тягаться. И певцом этим, кто бы мог подумать, оказался изысканный Третий Филиппов, будущий святоша и гонитель свободной мысли. Он взял из рук Григорьева гитару, рванул струны и так анафемски взрыдал варламовским «Парусом», что аж сердце вон, и без передышки русскую песню выдал. И тогда Григорьев с размаху кинулся на колени перед всей честной компанией и, рыдая, закричал: «Возьмите меня к себе, братья!.. Не отвергайте душу неприкаемую! Я же ваш, ваш, всем сердцем, всей требухой ваш!..»

И старик Погодин с красным, как вишня, разляпым носом вдруг сорвался с места и — трубой иерихонской: «Братцы! Рекомендую Аполлона Московского. Редчайший человек — не знает, где выс... где молитву прочесть. Первое справит в красном углу, второе — под лестницей. Прошу любить и жаловать!» Нельзя было устоять перед такой рекомендацией, Григорьев был принят и возлюблен всеми этими прекрасными людьми. Вскоре он стал как бы вторым центром молодой редакции, признанный теоретический глава направления, написавшего на своем знамени: народность... И началось золотое пятилетие его жизни с великой и безнадежной любовью, с трудами и яростной борьбой, а кончилось известно чем — бегством за границу от любви, от друзей, от работы, от самого себя... Ну, хватит на пепел дуть, давай жить дальше...

Он пришел в такое возбуждение, что рывком поднялся с кровати, на слабых, но уже держащих ногах достиг окна и распахнул раму. В лицо ударило теплым сладким духом зацветших во дворе лип. В Северной Пальмире воздух, как известно, то сырой и затхлый, то горьковонький, а тут из-

ливалась чистая, свежая, медовая струя, совсем как в замоскворецких садочках. И если закрыть глаза, чтобы исчез каменный колодец двора, серые тюремные стены и бледное чухонское небо, то кажется, будто тебе дышит в лицо Малая Полянка, травяная, липовая, березовая, и ты опять юн и влюблен. Он всегда почти был влюблен. Так уж устроен, ему необходимо любить женщину, приносить жертвы, хотя бы воображаемые, губить себя ради нее, изливаться в стихах. И тут одной отвлеченной любви к далекой Леониде Визард мало, нужен зримый образ, существо из плоти и крови, нужны глаза и губы, нежность и сила женщины.

А ведь ты оживаешь, мой друг!.. Давно ли встать не мог, а вон уже о женщинах думаешь. Давай теперь умно и последовательно двигаться к полному выздоровлению. Перво-наперво надо попить воды, чтобы отмякло ссохшееся нутро, второе — поесть теплой, лучше жидкой, пищи. А там можно и о работе подумать. Набросать план статьи, поправить перевод «Ромео и Юлии» — на это тебя хватит.

Он стал обыскивать комнату в надежде найти завалящийся кусок сахара или сухарь, ах, с каким бы наслаждением вонзил он зубы в заплесневелый плюшкинский куличный сухарь, пусть даже не отскобленный Маврой от зеленцы. Но ничего не попадалось под руку, даже пива на глоток не осталось в многочисленных пустых бутылках. Имелась, правда, в доме одна таинственная специя, но он и подумать о ней не мог без желудочных колик. Стало быть, придется выползти в комнаты, кинуться в ноги хозяйке или старой служанке ее, усатой Марковне, или тащиться за ворота, чтобы в большом петербургском мире найти кусок хлеба и глоток воды. И тут в дверь постучали.

Кто бы это мог быть? Хозяйка? Но она никогда не стучалась, а сразу перла в дверь, изрыгая жалобы и хулу на вечно должжающего квартиранта. Марковна? Она тоже лезет без стука, а если дверь заперта, как сейчас, долбит кулаком. А это стук осторожный, вежливый, косточкой указательного пальца. Неужели Страхов вспомнил о нем? Ми-

мый, милый Николай Николаевич! Григорьев должен ему вот уже полгода, хотя обещался отдать перед масленой. Но кто, скажите на милость, будет отдавать долг перед масленой, когда деньги всего нужнее? Это любимейший праздник каждого русского человека, и равно невозможно вернуть долг перед масленой и после масленой. Но как только он пристроит перевод «Ромео и Юлии», то перво-наперво расплатится с добрейшим Николаем Николаевичем. Вообще у него есть принцип: никогда не занимать у тех, кому должен. Во-первых, это безнравственно, во-вторых, безнадежно. Да ведь сейчас речь идет вовсе не о займе — о тарелочке супа, куске хлеба и бутылке пива в ближайшей кухмистерской. В такой малости ни один православный человек другому не откажет. Но почему-то Григорьев медлил открывать. Он хотел предусмотреть все возможности. Бог послал ему спасителя: кто бы ни оказался за дверью, его накормят и напоят. Ну, а если там не Страхов, а человек, которому он ни копейки не должен, или курьер из редакции со срочной просьбой?..

За дверью слышались приглушенные голоса. Посетителей было двое. Братья Достоевские, вспыхнуло радостно, и тут же по сердцу полоснуло стыдом. Как мог он забыть в скотском своем эгоизме, что добрейшего Михаила Михайловича уже нет на свете? Скорее всего, это Страхов и Федор Михайлович. Не похоже на Достоевского, чтобы в святые рабочие часы навещал спившихся друзей, но милый Страхов мог подвигнуть его на подвиг милосердия. Господи, сделай так, чтобы это был Федор... Михайлович Достоевский, издатель «Эпохи», подсказал он Творцу. Надо расплатиться с хозяйкой и лавочником, закрывшим кредит. А Федор получит для журнала перевод «Ромео и Юлии» и новые статьи о методе органической критики. В конце концов, он отдает все свои долги. Даже когда заимодавец перестает ждать, вычеркивает долг из памяти. Как удивился в свое время Катков, когда в безукоризненном по форме письме Григорьев напомнил ему о своем долге — не лич-

ном, а журнальном — трехлетней давности и предложил в погашение давно списанной суммы перевод «Ромео и Юлии», над которым он начинал тогда работать. Григорьев очень любил писать подобные письма и никогда не забывал напомнить, что его корреспондент имеет дело с человеком чести, причем сообщал своему посланию оттенок легкой укоризны, подчеркивающей его душевное превосходство над кредитором.

Но, конечно, встреча с Достоевским и Страховым радовала его не только из меркантильных соображений. Он поделится с ними своими новыми мыслями и решениями, докажет, что рано еще списывать его со счетов. В счастливом нетерпении он вскочил с кровати, пересек комнату, повернул ключ в ржавом замке и ударом кулака распахнул створку двери. То не были Достоевский и Страхов, хотя тоже приятные люди: помощник смотрителя долгой тюрьмы Иван Иванович, маленький, ссохшийся, но очень живой и душевный старичок, и громадный полицейский, которого Григорьев встречал на улице, но не знал по имени.

— Аполлон Александрович! — воскликнул помощник смотрителя, простирая к Григорьеву сухонькие, усыпанные гречкой руки.

— Иван Иванович! Какими судьбами? Милости прошу! — радовался Григорьев, пропуская гостей в комнату.

— Имею честь представить вам Афанасия Капитоныча Козодоева. Видом звероподобен, сердцем кроток, как голубь.

— Очень, очень рад! — Григорьев не без удовольствия вложил небольшую женственную руку в огромную теплую длань полицейского. Он любил таких вот больших, кряжистых и добрых от своей силы людей. Афанасий Капитоныч с трогательной осторожностью чуть помял ему пальцы. — Прошу, господа! Извините, что не прибрано, не ждал!.. Располагайтесь. Пожалуйте сюда, в креслице, Иван Иваныч. А вы, дражайший Афанасий

Капитоныч, лучше на кровать, стульца весьма непрочны по причине крайней ветхости.

Григорьев уже пережил разочарование и сейчас был искренне рад неожиданным гостям. Он не раз сиживал в Долговом и успел оценить редкую доброту и деликатность Ивана Иваныча, к тому же тонкого ценителя и знатока отечественной словесности. Попечением Ивана Иваныча Григорьев всегда был устроен в «Тарасихе» наилучшим образом: чистая сухая камера, тихие, благовоспитанные соседи; для работы — кабинетик Ивана Иваныча в тюремной канцелярии; когда его навещали друзья — Страхов, Михаил Достоевский, Милюков, — Иван Иваныч принимал их по-семейному — этот бедняк собрал под своим кровом всех неимущих родственников — на казенной квартире при Долговом, угощал чаем, кофеем, и хороший разговор затягивался нередко за полночь. Он даже в город Григорьева отпускал, что было уж и вовсе против правил. Но кроме доброты у Ивана Иваныча был хороший раскидистый русский ум, который не сразу угадывался за самоуничжительной повадкой. Но коли собеседник брал на себя труд проникнуть за шутейную оболочку, то открывал геттингенскую способность к воспарению на привязке русской пронизательности.

Иван Иваныч был человеком с образованием и некогда занимал довольно видный пост в министерстве юстиции, но что-то у него случилось, какой-то малый служебный проступок, ловко преувеличенный завистливым наветом, и многообещающий чиновник скатился по ступеням служебной лестницы почти в самый низ. Григорьев был убежден, что никакой вины на Иване Иваныче вообще нет, а погубила его злосчастная русская доля. Громадная семья, почти нищенская бедность, приверженность к Лиэю и светлый бескорыстный разум придавали образу Ивана Иваныча классическую завершенность.

— Ну, что там у вас? Какие новости? — интересовался Григорьев, мучаясь, что ему нечем попотчевать хороших людей.

— Да что у нас может быть, почтенный Аполлон Александрович? Все по-прежнему тихо, мирно, день-ночь — сутки прочь.

— А из «старичков» вернулся кто?

— Как не вернуться? Почитай, все на месте.

— И грузинская царица? — улыбнулся Григорьев.

— Помните, однако! — обрадовался Иван Иваныч. — Как же-с! Вновь украшает нашу скромную обитель. И еще больше драгоценного металла на себя повешала. Обвилась до самых пят золотой цепью, как пушкинский дуб на лукоморье.

— А купец... Разуваев?

— И его увидите, в том же долгополом сюртуке и высоких сапогах со скрипом.

— А зачем мне его видеть? — нахмурился Григорьев. — Какая нужда?

— Как же-с? — смутился Иван Иваныч. — Всех своих старых дружков встретите, кроме Селиванова, франта усатого. Плохая ему карта вышла, в настоящую тюрьму угодил.

— Так вы за мной пришли? — упавшим голосом сказал Григорьев, только сейчас догадавшись о причине неожиданного визита помощника смотрителя и полицейского.

Он не раз сиживал в Долговом и всегда считал месяцы, проведенные там, самыми спокойными, комфортными и урожайными на работу в своей жизни. Нигде ему так не писалось, как в тихой «Тарасихе» у Измайловского моста, в уютной, садовой, благоуханной части старого Петербурга; он хорошо и регулярно питался за счет заимодавца, со вкусом играл на гитаре перед благодарными слушателями, наблюдал немало оригинальнейших личностей, его любили, чтили и узники и начальство, частенько навещали друзья. Но так уж устроен человек, что всякая, даже самая сладкая неволя тяжка его сердцу. И хотя в нынешних безвыходных обстоятельствах Долговое отделение было единственным спасением, острая тоска защемила сердце. Ведь он принял важные решения, собирался начать разумную строгую жизнь, завер-

шить главный труд своей жизни, и, хотя «Тарасиха» ничему этому не мешала, скорее наоборот, он не был готов, совсем, до растерянности, чуть не до слез не был готов к такой перемене жизненных обстоятельств.

— Я вот нарочно к Афанасию Капитонычу в спутники навязался, чтобы вам повеселее было, — тихо сказал помощник смотрителя, заметивший огорчение Григорьева.

— Спасибо, добрейший Иван Иванович, поверьте, я высоко ценю ваше участие и деликатность... Так вы говорите, что я всех старых приятелей встречу?

— Ну, не всех, конечно, но многих. А вот Охтинского Графа не встретите.

Охтинским Графом Григорьев прозвал пошло-смазливому пшюта с Невского, мелкого авантюриста, корчившего из себя большого аристократа.

— Получил наследство от богатого дядюшки и расплатился с долгами? — засмеялся Григорьев.

— Какое там! Грузинскую царицу пытался обокрасть. Ну, его и убрали от греха подальше... А из ваших, — жизнерадостно продолжал Иван Иванович, видя, что Григорьев приободрился, — только господин Камбек нам честь оказывает.

Горький пьяница, почти потерявший человеческий облик, мелкий журналист Лев Камбек принадлежал к печально-гадким достопримечательностям петербургского дна, и уж на что не горд и не заносчив был Григорьев, но даже его передернуло, когда добрый Иван Иванович посчитал Камбека по одному ведомству с ним.

— Жалчайший человек! — поморщился Григорьев.

— Совершенный мизерабль, — согласился Иван Иванович.

Помощник смотрителя еще что-то говорил, называл какие-то имена, и Григорьев ласково кивал, но мысли его были заняты неким сосудом, который ему принес однажды бывший союзник, работавший на конфетной фабрике. «На последний край, — честно предупредил тот. — Спиритус вини наличествует в составе, но и много примесей:

масла, эссенции, всякая химия. Ежели только есть возможность — лучше не прикасаться». Однажды Григорьев совсем было собрался глотнуть конфетного напитка, но из бутылки шибануло такой едкой скипидарной вонью, что его чуть не стошнило. Но сейчас, кажется, дело вышло на самый край. Если он не подкрепитя глотком, ему не доползти до «Тарасихи». Конечно, надо сделать все возможное, чтобы избежать злой специи, и, отбросив церемонии, Григорьев сказал начистоту, что хотел бы угостить друзей в честь встречи, но в доме нет ни полушки. Иван Иваныч и Афанасий Капитоныч, как на грех, тоже были не при деньгах. «И заложить-то нечего, — сокрушался про себя Григорьев. — Ни с меня, ни с Ивана Иваныча ничего не снимешь, иначе на улицу не покажешься. А вот на Афанасии Капитоныче много всякого навешано...»

— Не только продавать, но и закладывать что из казенного обмундирования строжайше запрещено, — проговорил хрипловатым баском полицейский, и крепкий запах сивухи, лука и подсолнечного масла растекся по комнате.

«Эк же умен и сообразителен русский человек, — восхитился Григорьев. — Какой немец, даже быстромысленный француз догадался бы о моей мыслишке? Афанасий же свет Капитоныч сквозь черепную кость прочел. Стыдно и грешно предлагать таким людям вонючую, преподлейшую дрянь, но еще подлее не предложить». И Григорьев сказал с тревожной веселостью:

— Если жизнь не особо дорога, могу угостить. За последствия не ручаюсь.

— Аполлон Александрович! — растрогался Иван Иваныч. — Разве важно, что пить, важно — с кем пить. А с вами и керосин покажется нектаром.

— В русском брюхе и долото сгниет, — присовокупил Афанасий Капитоныч.

— Дай-то Бог!.. — пробормотал Григорьев, извлекая из шкапчика темную липучую бутылку и стараясь не вдохнуть едкого смрада.

— В кунсткамере намедни сторожа арестовали, — сообщил Афанасий Капитоныч, — он спирт из-под двухголового младенца лакал. Спыхватились, когда редкостное диво испортилось, пятнами пошло, а его сам Петр-царь в банку закатал.

— Фу, Александр Капитоныч, какие вы истории рассказываете в такой, можно сказать, ответственный момент! — укорил Иван Иваныч.

— К слову пришлось, — смутился полицейский.

Григорьев достал стаканы. Возник небольшой спор, взбалтывать ли жидкость перед употреблением или лучше так оставить. Сквозь темное стекло виднелся на просвет осадок, особенно густой у донца. Иван Иваныч склонялся к тому, что жидкость сама себя отфильтровала, отложив на дно вредные примеси, но Афанасий Капитоныч резонно возражал, что в осадок могло уйти самое ценное, а наверху осталась чистая вода. Это всех напугало.

Взболтали, налили по стаканам. Дышать старались ртом, чтобы не чують запаха, но почему-то все равно воняло.

— С Богом! — сказал Григорьев.

— Авось не помрем, — не слишком уверенно проговорил Иван Иваныч и, зажмурившись, опрокинул жидкость в рот.

Григорьев безуспешно пытался удержать в себе отраву. Он едва успел прижать полотенце ко рту, и ему отрыгнулось. Но, пока он тщился сохранить выпитое в желудке, пары успели ударить в голову. Ему стало хорошо, во всяком случае, неизмеримо лучше, чем гостям.

Афанасий Капитоныч с налившимися кровью глазами откинулся к стене, вспучив могучее чрево, и, давя пятернею грудь, бормотал:

— Отцы!.. Родные...

А Иван Иваныч одеревенел, замер в полной неподвижности, какую Григорьев наблюдал у ящериц в берлинском зверинце. Его бледно-зеленые глаза стали как пуговицы, жилистая шея вытянулась и напряглась, растянулся беззубый рот. Григорьев не на шутку встревожился.

— Иван Иванович, что с вами? Вам плохо?

— Уже хорошо, — слабым голосом проговорил Иван Иванович и вернул себе человеческий образ. — Надо Капитоньчу помочь.

— Не надо... — прохрипел Афанасий Капитоныч. — Господь милостив. Вроде бы отошло.

— Жестокая вещь, однако! В ней градусов сто, не меньше.

— Ста нет, — авторитетно заявил Афанасий Капитоныч. — Это маслá действуют. Пожалуй, не стоило взбалтывать. Крепости и так хватает,

— Повторим? Не взбалтывая, — предложил Иван Иванович.

— Детей не оставьте, — попросил Афанасий Капитоныч.

— Живы будем — не помрем! — бодрился Иван Иванович.

— Помрем не помрем, а глаз лопнуть может...

Все повторилось заново: тошнота у одного, одеревенелость у другого, хрип и слезливые мольбы у третьего. Но что-то было и новое — отошли скорее, увереннее. Григорьев снял со стены гитару и, склонив к деке одутловатое лицо, заиграл вступление к «Венгерке».

— Душенька! — тонко вскричал Иван Иванович и зажал себе рот ладошкой.

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный, напев,
Старый друг мой — ты ли?..

Хорошо петь таким людям, как Иван Иванович и Афанасий Капитоныч. По сморщенному пергаментному лицу помощника зрителя катились блаженные слезы душевного умиления, полицейский запустил пятерню в густые, толстые, просоленные сединой волосы и чуть покачивался из стороны в сторону.

Милый друг, прости-прощай, —

тихо, нежно, даже не спел, а проговорил Григорьев и почти шепотом:

Прощай — будь здорова!

И вдруг застонал:

Занывай же, занывай.

Злая квинта, снова! —

последнее слово он выкрикнул во всю силу легких.

Афанасий Капитоныч вскинул голову, глянул шально и дико и вдруг заплакал навзрыд.

— Плачь, Капитоныч, плачь! — торжественно произнес Иван Иваныч. — И я омыл слезами драгоценные слова этого необыкновенного человека. До встречи с ним я нищевал духом, как гостинодворские побирušки плотью. Я казался себе ничтожней жалкой букашки и не имел силы жить. И тогда этот мудрый человек сказал мне: восстань, Иван! Взгляни на меня. Я нищ, и сир, и бесприютен. Лиси язвины имуть, а птицы гнезда. Сыну же человеческому не имать, где главу приклонить, но я не хочу умирать. Да, в страшной жизни русского пролетария, в жизни накануне нищенства, накануне Долгового отделения или того гаже — Третьего, жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений я должен все вытерпеть во имя главной идеи нашего века. А идея эта — сознание значительности каждой, самой мелкой личности. Ты чуешь, Афанасий, каждой, самой мелкой личности. Мы не средства для внешних целей, мы сами цели!

Афанасий Капитоныч поднял мокрое лицо.

— И я — цель?..

— И ты, Афанасий, и я, окаянный грешник, — цель. Чуешь, сколь сие отрадно, утешно и высоко? От великих слов этих я прозрел изнутри и увидел дивное мерцание за плечами учителя...

— Истинно! — взревел Афанасий Капитоныч. — За Левиафаном стезя светится!

— Афанасий, ты все понял. И сейчас поймешь меня и одобришь...

Прежде чем Григорьев успел помешать, Иван Иваныч упал перед ним на колени и поцеловал его руку. Смущенный и раздосадованный, Григорьев стал его подымать. Иван Иваныч предвосхитил его любимейший жест. В миг наивысшего душевного подъема, а миг этот приближался, Григорьев просто не мог без коленопреклонений. Так он грохнулся перед молодой редакцией «Москвитянина», так разбил в кровь колени перед Венерой Милосской в Лувре; падал он ниц и перед композитором Варламовым, и перед Серовым, и перед Провом Садовским, и перед Стешей Казибеевой бесчисленно, и сейчас, умиленный тем, как глубоко запали в бесхитростную и глубокую душу Ивана Иваныча его слова, как постиг его излюбленную мысль дремучий с виду Афанасий Капитоныч, умиленный — в который раз — невозможным богатством русской природы, он прикидывал, перед кем выбить пыль из паркета — по старому ли приятельству перед помощником смотрителя или уважить новую дружбу в лице блюстителя порядка, и уже склонялся к последнему, да раздражал мундир. Но Иван Иваныч опередил его и тем лишил наилучшего выхода душевного восторга. А он и впрямь испытывал восторг, как и всегда, когда находил понимание. Великий демократизм и одновременно аристократизм Григорьева в том и состояли, что он с равной заинтересованностью, искренностью и самоотдачей разговаривал с Достоевским, Островским, Страховым и любым обитателем Долгового отделения, кабакским завсегдатаем или полицейским. И он сказал Афанасию Капитонычу:

— Я безобразен в моих частных делах, но убеждению всегда служил, как фанатик. Тут я не только с людьми, но и с самим Господом Богом тягаюсь, словно библейский Иов. Правда, Иов был послабже в выражениях.

— Это вроде бы лишнее?.. — озадачился Афанасий Капитоныч

— Нет, не лишнее. Бога не обманешь, не облицеме-ришь, он все равно тебя насквозь видит. Так я и режу ему правду-матку, по чувству вламываю. И верю, что не оби-

дится он на меня и поможет совершить задуманное. Хочу я, друзья мои, такую методу сочинить, чтобы объяла она целостно жизнь и литературу. Мне подавай либо абсолюте, либо ничего. И плевал я на утилитарную утопию плотского благополучия под гнетом наружного единства, коли нет единства внутреннего — в Христе, Вере, Идеале!..

— Бог в помощь, — истово сказал Афанасий Капитоныч. — Вот в Долгушке, тиши-спокое, и завершите свой великий труд. — Слова полицейского напомнили, что надо трогаться.

— Ну, по последней! — вскричал Иван Иванович.

— Пойдите, братцы! А разве не положено злостного банкрота в узилище на извозчике везти? Давайте эти деньги и пропьем.

— Не отпускают нам таких средств, — вздохнул Афанасий Капитоныч. — Считают, что можно и пешком строим добраться.

— Вы же сами говаривали, Аполлон Александрович, что на петербургских пролетках только с блудницей можно ехать — обнявшись, — заметил Иван Иванович. — А с полицейским вроде бы неловко.

— Буколические пролетки!.. — вспомнил и засмеялся Григорьев. — Но серьезно, нельзя ли кредитора слегка облегчить?.. Кстати, кто на этот раз мой благодетель?

— Все тот же Лаздевский Казимир Антонович.

— Вот паучище! И не надоело ему меня преследовать?

— Вы для него выгодный клиент. Он знает, что рано или поздно получит все сполна.

— Как бы не промахнулся на этот раз. Ума не приложу, кто за меня расплатится. Так нельзя ли его выставить?

— Невозможно-с!.. Заимодавец должен кормить узника, но не поить зелием.

— Ну и черт с ним! Обойдемся своим нектаром.

Григорьев разлил по стаканам остаток жидкости, несколько капель упало на ломберный столик и прожгло сукно, будто серная кислота.

— И чего только мы не пьем! — грустно подивился Иван Иванович. — Как только над плотью не издеваемся! А ведь мы созданы по образу и подобию Божьему.

— Были, — заметил Афанасий Капитоныч, — но давеча от этого образа ушли. Со свиданьицем!..

Привыкнуть к специи было невозможно — они вновь пережили смерть и воскресение. Сборы оказались недолги. Григорьев закинул за спину гитару на сальной перетертой ленте, сунул под мышку рукопись «Ромео и Юлии», томик Шекспира — в карман сюртука, запихал горшок подальше под кровать и был готов.

— А бумагу? — спросил Иван Иванович.

Но бумаги в доме не оказалось.

Безо всякого сожаления покинул Григорьев очередное пристанище в скитальческой своей жизни. Сколько уже было этих кратковременных приютов, сколько еще будет, но все же меньше, чем осталось позади. Как ни крути, житейский путь пройден больше чем наполовину, намного больше. Ну и Бог с ним, лишь бы дело свое закончить!..

На углу Фонтанки Иван Иванович вдруг отделился, юркнул в лавчонку и вышел оттуда со стопой белой бумаги. Какие-то жалкие гроши завалялись у бедняги в рваном кармане, и те он без сожаления пожертвовал на гиблое дело литературы. Поступок Ивана Ивановича расшевелил Афанасия Капитоныча. Видимо, не в его правилах было пользоваться властью для личного убогствования, но ради друзей пошел он на сделку с совестью и разорил пивника на три кружки светлого.

Странно, что от пива этих железных людей почему-то развезло. Афанасия Капитоныча потянуло в сон, он клевал носом, встряхивался и тарасил слепнувшие от солнца глаза. Иван Иванович предался воспоминаниям, в которых истинное так перепуталось с придуманным, намечанным вспять, что он и сам уже не знал, где правда и где вымысел, и только сердце истекало сладкой болью. Аполлон же Александрович люто затосковал.

Они шли по набережной Фонтанки в сторону Измайловского моста. В синей, непривычно чистой воде отражались дома, деревья, облака. Изредка по опрокинувшемуся в речку миру проплывали лодки рыбарей, мальчишки плескались у берега. И хотя не было ничего нового и привлекательного в привычной картине летнего Петербурга, Григорьеву стало ужасно больно терять реку, лодочников, купающихся мальчишек, бледнотелых северных заморышей. Почему-то казалось, что он никогда больше этого не увидит. Он понимал, как глупы его мысли. Рано или поздно кто-то заплатит его долги, он выйдет из «Тарасихи» отдохнувший, посвежевший и равнодушно пройдет по набережной, думая о своих делах и заботах и меньше всего о скучной городской реке и чухонском небе, ну, а если уж очень допечет в нестрогом заключении, отпросится у Ивана Иваныча на прогулку по городу, как то бывало прежде, но тяжесть, навалившаяся на грудь, не отпускала. И стала совсем невыносимой, когда он оказался возле молоденькой липки. Это деревце с темной гладкой, тонкой корой, еще не нажившей продольных бороздок — морщин зрелости, и светло-зелеными листиками в форме сердечка напомнило ему другую липу, во дворе их старого дома на Малой Полянке. Он был мало приметлив к деревьям, да и вообще равнодушен к природе, его увлекало все человечье, горячее, страстное. Тихий мир природы мог тронуть, лишь став предметом искусства: поэзии, прозы, живописи. Вот только море любил Григорьев, любил до боли, до слез. В его волнах и раскатах чудилась человечья необузданность. Спокойное море оставляло его безразличным, но чем выше вздымались пенные валы, тем сильнее отзывалось им сердце Григорьева. А тут чахлое городское деревце повергло в смертную тоску.

Григорьев покосился на своих спутников. Оба вконец осоловели, и ничего не стоило бежать. Но стыдно подводить людей. Ивану Иванычу, пожалуй, ничего не будет, он по своей охоте тут, а полицейскому карьеру ломает. И главное — ради чего? Ну, погуляет день-другой на воле, а потом его все равно найдут и «закуют в железа». Разве

скроешься а Петербурге без гроша за душой? Бред, ребячество, расстроенные нервы. Но деревце, маленькое, худое деревце с нежной корой и светло-зелеными листиками!.. Неужели он никогда больше его не увидит?..

И тут он обнаружил в нескольких шагах от себя генеральшу Бибикову. И генеральша Бибикова (она была вдовой адмирала, но почему-то весь Петербург величал ее генеральшей) заметила его своими слегка заплывшими, но удивительно зоркими, цвета незабудок глазками. Эти глазки быстро забегали в припухлых веках, поочередно поймав, оценив и сморгнув за ненадобностью Ивана Иваныча, полицейского и сохранив в зрачках одну лишь фигуру Григорьева. Генеральша не думала избегать встречи и, похоже, ничуть не смутилась несколько странным окружением знакомого литератора. Сквозь туман всплыло смутное воспоминание о недавнем разговоре с нею, касавшемся литературных дел. То ли во время последнего его загула, то ли еще раньше Бибикова сообщила Григорьеву, что намерена заняться издательской деятельностью, и спрашивала, запродаст-то он кому собрание своих сочинений. Он как-то пропустил мимо ушей этот разговор, не до того, видать, было, а может, не поверил серьезности намерений генеральши. Сомнительно, чтобы его писанина могла заинтересовать Бибикову, даже если она впрямь в издателя наладилась. Странная женщина! Из прекрасной родовитой семьи, вдова заслуженного адмирала, мать красавицы дочери, она чаще всего производила впечатление салопницы, провинциальной барыньки, что проводит дни в захолустье в сплетнях и ссорах с прислугой, даже яркие глаза ее задегивались мутной пленкой, утрачивая всякое выражение. Но вдруг что-то происходило у нее внутри, и она вмиг оборачивалась петербургской демимонденкой: разбитной, живой, с задорным профилем и опасным взглядом. Но какое ему дело до всех ее превращений? Достаточно того, что у нее водятся деньги и эти деньги она не прочь употребить на издание

его сочинений. Григорьев снял шляпу и поклонился генеральше.

Бибикова ответила ему и быстро, грациозно пошла ему навстречу, чуть покачивая бедрами, играя глазами. Иван Иваныч и полицейский деликатно отступили в сторону.

— Вы обдумали мое предложение? — спросила Бибикова, сразу беря быка за рога.

— Где же мне было думать, сударыня, в несчастных моих обстоятельствах? — пожал плечами Григорьев.

— Чем так несчастны ваши обстоятельства? — спросила генеральша игривым тоном демимонденки.

— Я узник. Меня ведут в Долговое.

— Кому же это вы так задолжали? — испуганным голосом салопницы спросила генеральша.

— Ростовщику Лаздевскому, аспиду жизни моей.

— И много, поди? — оставаясь в образе салопницы, поинтересовалась генеральша.

— Да чепуха, ваше превосходительство, несколько сот рублей.

— Пожалуй, я уплачу ваш долг, Аполлон Александрович, — каким-то третьим голосом произнесла генеральша. Скорее всего, то и был ее настоящий голос, отроду не слышанный Григорьевым. И суховато-серьезному голосу этому можно было верить.

Казалось, деревцо у парапета качнулось к нему, прошестев зелеными листиками. Прекрасная, щедрая русская женщина возвращала Григорьеву и набережную, и реку, и небеса, и эту чудесную липушку, которая вскоре зацветет и запахнет медом! Камень отвалился от груди, сердце забилось полно и гулко, а давно томившее его намерение, временно вытесненное страхом, выиграло ликующе и швырнуло на колени перед генеральшей. Он и сам почувствовал, что движение получилось искренним, ловким, красивым, вот таким он любил себя.

— Маточка! — вскричал Григорьев. — Милостивица! Жизнь отживу, а не забуду твоего благодеяния.

— Встаньте, Аполлон Александрович, — довольно спокойно попросила генеральша, — на нас смотрят. Неудобно, право.

— Не встану, пока к ручке не допустите, — упорствовал Григорьев.

Бибикова прижала к его губам пахнущую хорошим мылом, белую, совсем молодую руку и быстро отдернула, словно боялась, что он укусит.

— Ну уж и вы, Аполлон Александрович, мне порадейте, — попросила генеральша, когда Григорьев с хмурым видом отряхивал брюки.

Он злился на себя за словечко «маточка», невесть почему сунувшееся на язык. То было из обихода Макара Девушкина, на которого он сильно кидался в начале своей критической деятельности. Потом он изменил отношение к Достоевскому и даже к этому слюнвятому герою, в котором, как ему казалось поначалу, унижен эпический образ Башмачкина. Но в последнее время он склонялся к тому, что в Девушкине сильнее русское начало, нежели во всемирном образе гоголевского маленького человека, да и теплее, человечнее Макара. Но то, что противно-слащавое обращение вдруг сорвалось с его собственных уст, да еще в такую патетическую минуту, было полной и даже унижительной капитуляцией. Годы ломал он себе мозги, мучился, искал, а Макара спокойно ждал своего часа, чтобы сунуть ему в рот раздражающее слово и посмеяться над многомудрым критиком.

Сквозь досадительные мысли звучал жалостный голос генеральши-салопницы, упрасивающей его не терять даром времени в Долговом, а сочинять побольше всяких критик, пока она будет договариваться с Лазевским о выкупе векселей.

— Как бы мне с ним полегче уладиться, я ведь стеснена в средствах. Мое дело вдове... И стишками, Аполлон Александрыч, не манкируйте, и переводами, особенно француз, они хорошо у читающей публики идут.

Григорьев с гадливым удивлением внимал этому лепету. Богачка, генеральша упрашивала нищего, ведомого в долговую тюрьму, порадеть для пушей ее выгоды.

— Ладно, — сказал он не слишком любезно, — за мной не пропадет.

— Мерси, — поблагодарила генеральша. — А насчет «Ромео и Юлии», если в театре пойдет, мы отдельно поговорим. Со спектаклей, я слышала, хорошо платят. Мне бы какую гарантию... До скорой встречи, мой поэт!.. Я вам трубочного табаку пришлю!.. — И, сделав прощальный жест ручкой, достойный дамы полусвета, генеральша удалилась.

— Больно много ей чести — Григорьева на коленях видеть, — недовольно пробурчал Иван Иваныч.

— Они же дама!.. — галантно сказал Афанасий Капитоныч.

...Генеральша Бибикова не спешила выкупать Григорьева из неволи. Возможно, ей не удавалось «полегче уладиться» с алчным ростовщиком Лаздевским. А может, она рассчитывала, что в благотворной тишине Долгового отделения Аполлон Александрович больше наработает для задуманного ею издания, чем в суете столичного света.

В Долговом и впрямь было довольно тихо, лишь по вечерам из соседнего парка, открытого для гуляний, раздавались звуки духовой музыки и заразительный смех нестрогих девиц немецкого происхождения, избравших «Тарасовф гартен» местом своего вечернего служения. И Григорьеву становилось грустно. С союзниками, среди которых находились два известных всему Петербургу монстра — журналист Лев Камбек, не расстававшийся и в жару с поддевкой из верблюжьей шерсти, что усиливало его сходство с пещерным предком человека, и вечно пьяный художник Бернадский, — он почти не общался. И они без него служили Лизю ромом и зорной водкой, играли в трынку и пели каторжные песни. А его гитара молчала в «убежище страждущей невинности и гонимой добродетели». Работал

он мало. Что-то начинал и бросал. Вот только перевод «Ромео и Юлии» закончил. А потом вдруг принялся составлять свой послужной список — перечень смелых попыток, горьких неудач и разочарований. Он и сам не мог понять, зачем ему вздумалось подводить с канцелярским тщанием грустный итог своей жизни. Невеселый документ он посвятил «старым и новым друзьям». Лишь раз его «страдальческий застой» был потревожен образом Леониды Визарда, и после долгой поэтической немоты сами выговорились, выпелись стихи. Он записал их, взволнованно перечел, споткнулся о «седалище Ваала» — по словарю: «трон», а в просторечии «задница», — но править не стал и сунул листок с сонетом в рукопись перевода.

Григорьев вышел из Долгового отделения уже осенью и ничему не обрадовался, даже не глянул на молоденькую липу, тихо прошелестевшую пожелтевшими листьями, когда он проходил мимо. А через несколько дней его не стало, умер в одночасье, на полуслове, полужесте, не узнав смерти в шильном уколе под сердце...

Похороны на Митрофаньевском кладбище были грустно-жалкие. Пришли Достоевский, Страхов, Аверкиев, Крестовский, Боборыкин, товарищи по узилищу, среди них Лев Камбек в верблюжьей поддевке и пьяный в дугу художник Бернадский; были, конечно, и помощник смотрителя Иван Иваныч, и полицейский Афанасий Капитонович. По выходе с кладбища, не стовариваясь, завернули в ближайшую кухмистерскую. Столов сдвигать не стали, и как-то произвольно литераторы и возникшая невесть откуда генеральша Бибикова в яркой шали и шляпе с пером отделялись от друзей покойного по долговой тюрьме. Лев Камбек, осуществлявший связь между столами и придававший грустному сборищу кощунственно комический вид, позаботился, чтобы выпивки всем хватило.

Начались речи. Никто не мог поймать нужный тон. Страхов неловко и долго бормотал что-то о высоких запросах души покойного, который, обрываясь в своих усилиях,

сразу впадал в противоположное: в беспорядок жизни, погубивший в конце концов его крепкую натуру.

И тут, аленький, колышавшийся от горя, слабости, пьянства, поднялся Иван Иванович и заговорил, расплескивая водку дрожащей крапчатой ручонкой:

— Нельзя об Аполлоне Александровиче так... холодно, рассудительно. Он ведь ни в чем края не знал. Шел, шатаюсь, падал, расшибаясь до крови, но шел... шел к идеалу, к последней правде. Да, он никогда не был могуч, но всегда был прекрасен, и силу ему давала вера в земское дело, в народность... — Слезы закапали из маленьких воспаленных глаз помощника зрителя. — И вы... вы увидите, господа, как всем нам будет не хватать этой жизни. Он сам себя называл ненужным человеком, а мало кто был так нужен, как бедный Аполлон Александрович... Радость наша, красавец, светик наш... — Иван Иванович не мог договорить и, зарыдав, упал на стул.

И гороподобная туша рядом с ним исторгла из своей глубины:

— За Левиафаном стезя светится!..

— Виват! — вскричал Лев Камбек и, забыв, что он на поминках, полез чокаться с литераторами.

— Аполлон Александрович обещал мне, что я буду получать перспективную оплату за «Ромео и Юлию», — играя незабудковыми глазами, говорила генеральша Бибикина и никогда еще не выглядела так легкомысленно, как на печальной тризне.

— Скучно на этом свете, господа! — тихо сказал Достоевский сидящему рядом Страхову...

...Бессмертная страсть Григорьева, Леонида Визард, окончила в Швейцарии медицинский факультет и защитила диссертацию на тему: «О влиянии цианистого калия на организм кроликов».

ДЕНЬ КРУТОГО ЧЕЛОВЕКА

Утром приходил иконописец и поставщик божественных досок Никита Севастьянович Рачейсков с Васильевского острова. И, как всегда, хоть знакомству их уже четверть века, терпеливо дожидаясь на кухне приглашения в хозяйские покои, прижимая к груди завернутые в холстину иконы.

Чем-то сразу и больно поразил изограф Лескова. А вроде бы Никита Севастьянович давно застыл в своем суровом, строго духовном образе: высок, сух, тонок, удлиненным лицом постен, седые волосы разобраны прямым пробором на два крыла, маленькие темные, будто исплаканные глаза прячутся под кустистыми бровями. Лескову показалось, что под длинным, до щиколоток, черным суконным азымом вовсе нет плоти, а голова художного мужа от глубоких западин за ушами и под нижней челюстью лошадиному выдвинулась вперед. Былая прочная сосредоточенность в себе сменилась отрешенностью, словно уже начал переселяться на небо, столь привычное своей лазурью, кипенью облаков и золотом светил его тонкий, о три волоска кисти, старый, потерявший счет годам, богомаз. Только громадные — лопатами — руки его, ставшие вовсе непомерными в оскудении остального телесного состава, принадлежали жизни, набухшие венами, жилами, с темными волосами на тыле ладоней и послушных строгой воле мастера длинных перстах.

Чинно, уважливо поздоровавшись с иконописцем, Лесков повел его в кабинет, увешанный картинками, гравюрами, иконами, заставленный сомнительными апраксинскими раритетами, а также напольными и настольными часами.

Никита Севастьянович высвободил доски из холстины, после чего сел на стул с прямой спинкой, положил на худые колени свои лапищи и застыл недвижно. Весьма в меру словоохотливый и в бодрые годы, он ныне будто вовсе разучился говорить. Но, златоуст и жаднослушатель, Лесков тоже не был настроен на болтливый лад.

Рачейсков принес ранее привлекший Лескова образ устюжской Божьей Матери и неведомого Спаса какого-то наглого по светской выразительности письма. Обе иконы были искусно расчищены. Лесков гордился тем, что сам умел осветлять черные доски, хотя делал это весьма аляповато, злоупотребляя к тому же политурой, но внезапная утрюмая озабоченность, овладевшая им, объяснялась не досадой на старого изографа, самовольно лишившего его сладостного труда, а чем-то совсем иным, сложно повязанным с мучительными заботами его нынешней жизни.

Странен и непривычен был этот Спас — ни византийского тайномыслия, ни печали, ни грозности, ни проникновенности, ни сострадания, ни один из многих смыслов, вкладываемых иконописцами в образа Христа, не прочитывался на тяжелом мужицком лице, именно лице, чтоб не сказать еще грубее, но уж никак не лике Бога-Сына.

Лесков пытался расспросить Никиту Севастьяновича о создателе образа, но из односложных, будто через силу ответов следовало, что происхождение иконы тому неведомо. И это было вопреки правилам Никиты Севастьяновича. Он всегда знал, что предлагает покупателю.

Лесков решил оставить за собой обе иконы. Никита Севастьянович назвал цену, как всегда умеренную, да и не полагалось торговаться с ним, получил деньги, спрятал их вместе с холстиной в бездонный карман азяма, низко поклонился и двинулся к черному ходу. Лесков пошел проводить его.

— Хотел я тебя, Севастьяныч, вот о чем попросить... — вспомнил Лесков уже в кухне, но осекся под строгим взглядом мастера.

— Я боле не приду к вам, — тихо сказал Никита Севастьянович.

— Что так?

— В иные пределы ухожу.

Лесков помолчал, потом сказал истово, чуть приметно дрогнув голосом:

— Коли так... легкой тебе кончины, Севастьяныч. — Что-то похожее на улыбку тронуло бескровные губы старца, и темные исплаканные глаза мягко глянули из-под кустистых бровей.

— Спасибо, что не лукавил. — И, согнувшись под приолокой, вышел в пыльный свет черной лестницы.

Умиленный простотой и честностью прощания, Лесков смахнул невольную слезу и вернулся в кабинет. Прислоненный к стене Спас встретил его прямым и жестким взглядом. «Это не Христос, — думал Лесков, вглядываясь в грубые, мужицкие, чем-то притягательные черты. — У него лицо мастерового, каменщика, землепашца, только не икупителя чужих грехов. Таким скорее мог быть Бог-отец по завершении чудовищного труда мироустройства. У него и чело влажное от пота. А какая непреклонность в очах! А ведь Христос был слаб, исполнен великого смятения, страха и неверия в свои силы. Нет, это не Христос, вернее Христос, в которого художник по странной причуде или наитию, откровению свыше вложил черты его Божественного Отца! А Христос не тянул, нет, не тянул! Куда ему до отца! Слаб был, суетен, непрочен и к тому же гутнив. Люди не понимали его поучений, словно он явился из чужой страны или глубокого прошлого. Он не делал чести Отцу-Вседержителю. Но старик — какой молодец! Не пожалел, не пощадил родную суть, подверг такому испытанию, что и худшему врагу не пожелаешь. Экую ношу водрузил на слабые плечи сына плотничихи Марии, жены бессильного старостью Иосифа! Как хотелось Иисусу бежать страшного подвига, как претило ему искупить муками и позорной смертью на кресте под сжигающим солнцем Иерусалима

грехи человечества. Он ли не просил, не молил Отца небесного и своего собственного: «Помилуй мя, Отче! Пронеси чашу мимо!» Не приклонил слуха, не сжалился отец. Мерзко, нестерпимо было Богу, что Сын его так слаб и безволен, так привержен земной суете. Нет уж, коли ты Сын Божий, так и докажи себя деянием, достойным Отца! Бог дал Сыну испить чашу страданий до последней капли. Великий замысел Творца включал и кару за потуги уйти от предержавной высшей волей судьбы. Вот это характер!» — восклицался Лесков, остро и ревниво выглядывая небольшими яркими темно-кариими глазами черты отца в грубоватосуровом обличье сына.

— Так с ними и надо! — с удивлением услышал он свой голос в пустоте кабинета. Слова вырвались из беззвучия души и прозвучали как приговор.

Бесхарактерность, леность, небрежение долгом, попытки уклониться от начертанного отцом пути, даже просто опуститься на придорожный камень, предоставив дорогу идущим, суетность, уже не говоря о гадостном стремлении тешить беса ногодрыганием под срамную музыку, уверенность в своем праве на хлеб, не политый слезами и потом, — суть смертные грехи и должны караться с такой беспощадностью, чтобы задрожало сердце самого карателя, как дрогнуло Господне сердце, когда он послал сына на Голгофу. «Ну, Дрон, Дронушка-Дрон, держись, шаркун, танцзальных паркетов натиральщик, в науках не преуспевший сын, не кровь моя, а сукровица, не плоть моя, а перхотный очес, крепко же засел ты у меня в печенях, крепко же и заплатишься!»

Он почувствовал, как горит лицо и тяжело пухнут глаза от прилившей к голове крови. Этого еще не хватало! Теперь пойдет на весь день крутить и корчить. Надо было отвлечение какое придумать. Новые иконы, что ли, повесить? Но этим всегда занимался Дрон, ловко у него получалось, хорошие руки! А сам Николай Семенович попробует гвоздь вбить, непременно по пальцам стукнет, а уж если и

повесит чего на стенку, так вкривь и вкось. Лучше дож-даться зятя Крохина, обещал заглянуть перед обедом. А сейчас можно на прогулку сходить. В Гостиный двор наве-даться, к букинистам.

Лесков сменил шлафрок на короткий летний пиджак из серой шерстяной материи, надел легкое светлое пальто, обшитое тесьмой, на голову — соломенное канотье с чер-ной репсовой лентой, в руку взял камышовую трость с серебряным набалдашником и, хорошо, ладно ощущая все свое снаряжение, грузноватой, но упругой поступью на-правился к двери.

— Дядя, ты уходишь? — послышался за его спиной детский голос.

Лесков вздрогнул, очнулся от дум. Как странно, что он все время забывает о существовании этого ребенка, «сиротки», богоданной насельницы его усталого сердца (и маленького чулана возле кухни), отрады натружен-ных очей. Года два назад привела Вареньку «дремучая» чухонка и сдала с рук на руки горничной Кетти. Светлово-лосая Кетти, дочь перновского домовладельца, выгнан-ная родителями за какие-то провинности, находилась в услужении у генерала Шпицберга, начальника крепост-ной артиллерии в Ковно. Она понесла от его денщика, лишилась места, уехала в Петербург, в положенный срок родила и пристроила младенца в финской деревушке Кейдала под столицей. К Лескову Кетти попала по объ-явлению. Теперь Вареньке был один путь — в приют, но тут Лесков совершил всех удививший, а многих озада-чивший шаг — оставил Вареньку в доме. То было наи-тие — поступить по догме любезного сердцу Льва Ни-колаевича Толстого чернососошного моралиста Сютяева. «Своего и корова оближет, — говаривал Лесков. — А принять чужое дитя как родное — угодное Богу дело». Его мало заботило, что это противоречит его прежним утверждениям: мол, по древнему закону, выражающему девственные свойства человеческой души, любить можно

только кровью родных детей, иная любовь к детям — натяжка и фальшь.

Малюжка вошла в дом в пору, когда Дрон, примерный ученик и послушный сын, еще ничем не огорчал отца, что, впрочем, не избавляло его, как и всех близких Лескова, от бурь и потрясений. В новых же обстоятельствах значение сиротки необычайно возросло.

— Дядя, ты уходишь? — повторила Варя и потупилась.

— Гулять иду, — сказал Лесков и тоже увел глаза. Этому ребенку и этому взрослому равно нечего было сказать друг другу. Варя, как существо примитивное, насупилась и стала крутить ленточку от коробки шоколадных конфет. Лесков — как более искушенное — нашел иной выход из затруднения. Ему нечего было сказать этой девочке, но он мог много и веско сказать за нее, ответить злопыхателям, хулителям его милосердия, погрязшим в тленодушии. Не раздеваясь, он вернулся в кабинет, достал лист бумаги, придвинул чернильницу.

— Возьми у матери конверт и принеси сюда, — сказал он, зная, что девочка последовала за ним и стоит в дверях, крутя свою ленточку.

Он услышал топот детских ног по коридору, и в душу ему пахнул горячий ветер гнева. И сама собой вырвалась из-под пера облитая кровью и желчью фраза, адресованная «добрейшей» — еще так недавно — Александре Николаевне Толиверовой. испытанному и преданному другу:

«А вам в приют ее, мою Вареньку, — на приютский крупяной кулеш да на картофель?!» «Крупяной кулеш» пронял самого автора, была в нем какая-то нищенская убедительность — полная слеза обожгла щеку. Девочка положила конверт на стол.

— Подай перочинный ножичек... Не там, на тумбочке. Потом ему понадобился сургуч, стакан воды, чтобы запить успокоительное лекарство, салфетка, чтобы промокнуть каплю на лацкане пиджака. Девочка вихрем носилась по квартире, толково и споро исполняя поручения. Чувство

неловкости прошло. Варя воплотилась в казачка, что ее вполне устраивало и освобождало от внутренней фальши, которую она не постигала детским своим умишком, но чувствовала так же отчетливо, как отсиженную ногу.

Отомщевательное письмо было написано с солью, перцем, собачьим сердцем, с той чрезмерной аффектацией, которая не может заменить простого, искреннего чувства и лишь укрепляет оппонента в противоположном мнении.

Удовлетворенно пробежав послание, Лесков запечатал конверт и решительным шагом покинул кабинет.

— До свидания, дядя, — сказала сиротка захлопнувшейся двери.

Миновав тихую Фурштадтскую и приметив с легкой грустью первую прожелть в густой и притемненной, как и положено к исходу лета, зелени садов. Лесков направился окольным путем к центру. Он хотел насладиться покоем здешних пустынных, росных, дремлющих улиц, овеваемых прохладой с Невы, а дальше, в приближении людного и вонючего центра, нанять извозчика. Но благим намерениям не суждено было осуществиться, во всяком случае в начальной части.

Он и сам не знал, что ему предшествовало: тревожный ли запах гари — колоколам и рожку пожарного обоза или пожарный насос, влекомый тройкой массивных гривастых битюгов, дал почуять в чистом воздухе горячую работу огня? За насосом, на четырех линейках, в сверкающих касках промчалась пожарная команда, золотыми вспышками отражаясь в окошках низеньких домов.

Будто по ребрам Лескова прогрохотали подковы пожарных тяжеловозов. Неправда, будто время лечит все раны. Уязвленную плоть оно лечит, а раны души не затягиваются. Двадцать три года назад, в Духов день, когда купцы выводят своих дочек на смотрины в Летний сад, так же вот, только куда гуще, понесло горелым над столичным центром. Горели Апраксин и Шукин рынки. И чуть не первым из петербургских газетчиков оказался сам Нико-

лай Лесков. Он жадно впитывал в себя все пересуды, толки, слухи и слушки, угрюмый ропот, визгливые причитания баб. Толпа дружно и злобно обвиняла в поджогах поляков — как полагается, студентов да и вообще учащуюся молодежь, смутьянов из господ и всякую протерь. И в «Северной пчеле» появилась осмотрительная, как мнилось наивному автору, но прозвучавшая взрывом в ушах всех опрятных людей, бедоносная статейка о петербургских пожарах.

Как накинудись, как навалились!.. Боже мой, какой только напраслины на него не возводили!.. Конечно, удары шли слева, но время было такое, что правые только «хакали» на каждый удар. И даже газета, почти провокационно поручившая столь тонкое и сложное дело совсем зеленому сотруднику, и пальцем не шевельнула в его защиту, напротив, последующим неловким, двусмысленным бормотанием совсем утопила. Дошло до того, что иные знакомые раскланиваться перестали. С тех пор крепко засело в печенях..

Не такой он был человек, чтобы смириться, в тиши пережить свою неудачу, сделать должные выводы. Нет, сызмальства его девизом было: «Отмщение!». Пошли «отомщевательные» романы: «Некуда», «Обойденные», наконец, грубо, судорожно слепленные «На ножках». Покойный Писарев отказал ему в звании русского литератора и утверждал, что ни один порядочный писатель не захочет видеть свое имя рядом с именем господина Стебницкого, под таким, довольно нелепым псевдонимом он начинал. Травили, улюлюкали и не хотели заметить, что были в «Некуда» Рейнер, списанный с кристального Артура Бени, погибшего в войсках Гарибальди, Лиза Бахарева, Бертольди, студент Помада — кто еще так любовно изображал нигилистов? А сокрушал он лишь тех, кто принизил, испохабил, в грязь втоптал чистый тип Базарова. Да что говорить!.. Лучшие годы жизни были смяты, осрамлены, просто украдены, ибо не жил он, а томился и страдал духом. И не было не только прощения, но и забвения содеянному в молодости. Один за другим выходили «Житие одной бабы», «Запечат-

ленный ангел», «Соборяне», «Тупейный художник», «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», «Очарованный странник», а критики как воды в рот набрали. И не было таких причудливых и богатых духом русских характеров ни у кого из пишущей братии, даже у самых великих. Во всяком случае, его праведники не чета сопливому Макару Девушкину! Но хоть бы кто словом добрым печатно обмолвился! А ведь читали и перечитывали, но молчали, поджав губки, во дворце читки вслух устраивали, сам венценосец восхищался. Достоевский раз даже страшным словом «гениально» в адрес его проговорился, а печатно — уязвлял. Нет, как ни крути, остался он незаконным сыном русской словесности.

Ныне известность его на всю Россию и за границу шагнула, а стало ли ему легче печататься, свободнее, увереннее жить? Нет, все так же свирепствует над его сочинениями цензорский карандаш, а теперь и духовная цензура навалилась. И нет семьи, да еще неудачный сын-пустопяс. Вот какой горечью пахнуло на Лескова от занявшегося где-то неподалеку пожара. Весь душевный мусор взвело тем дуновением. И сразу стало трудно дышать. Впору домой вернуться. Но тут он увидел одинокого «ваньку», клевавшего носом на козлах. Тяжко просели старые рессоры под грузным телом.

— К Гостиному двору, — приказал Лесков. «Ванька» проснулся, подобрал рваные вожжи, дернул, чмокнул губами и стал разворачивать свою каурую клячонку.

— Куда, дурак? — Лесков ткнул камышовой тростью в худые лопатки извозчика. — Не видишь — пожар. Давай прямо.

— Далече, барин. — «Ванька» обернул к Лескову старое личико с редкой, как у корейца, бородашкой. — Четвертак придется накинуть.

— Хватит и двугривенного, — сказал Лесков. — Пошел!.. И пролетка, скособочившись в перевес грузного седока, покатила по булыжной мостовой...

В полуденный час последнего дня лета на Невском проспекте было людно, шумно, пыльно и вонько. За лето город всегда портился, протухал. Хоть и строго спрашивали с дворников, да ведь за каждой мелочью не уследишь — в пазах торцов между плитами тротуаров что-то застревало, разлагалось на жаре, изгнивало. Да и всякий продукт смердит летом вдесятеро против других времен года, когда пахнет либо морем, либо дождевой сыростью, либо чистым снегом, а в краткую пору петербургской весны — травой, листьями, сиренью. Лесков злился на город, а еще больше на самого себя. Он знал, что настоящим петербуржцам здесь никогда дурно не пахнет. Говорят, у Достоевского плотоядно шевелились ноздри, когда он шел через Сенную, будто вдыхал не настой дегтя, конского навоза и мочи, деревенского рассола и гнилой соломы, а нежнейшие ароматы. Не смущал Петербург и чуткого носа Пушкина. Беда в том, что Петербург так и не раскрылся Лескову, несмотря на все его славословия — печатные и устные, — как не раскрылся до конца никому из русских писателей, кроме Пушкина и Достоевского. Такие бытописатели и знатоки Петербурга, как Всеволод Крестовский, разумеется, не в счет.

Пушкину Петербург был высок и дивен, как могут быть дивными лишь в исторической памяти человечества Афины Перикла или цезарийский Рим. Афиняне золотого века и древние римляне, конечно, не так очарованно воспринимали обстав своего каждодневного бытия. Надо быть Пушкиным, чтоб, отметя трущобы, пустыри, грубую, бьющую в нос невоплощенность стройных замыслов градостроителей, слякоть и грязь, морось и промозглый ветер с Невы, видеть волшебный город, будто родившийся из прозрачного сумрака белых ночей, город, который ничто не может унижить.

А Достоевский нашел тут и более сложную поэзию — белые ночи и тишина пустынных набережных, вспугнутая торопливым постуком женских каблучков, чудно и чудно

уживаются у него с жутью темных переулков, мрачных дворов, гнилостных лестничных клеток, располагающих к убийству, а таинственный страшноватый город манит, пленяет душу. Лескову же воняло...

Расстроенный, он вошел под сумеречный, чуть отдающий склепом свод галереи Гостиного двора. По обе стороны шли лавки и лавчонки, откуда сперто и заманчиво дышало стариной: пыльными коврами, гобеленами, тленом полусгнивших рукописных книг, расчищенной нашатырем бронзой, лаком. Тяжелые крылья носа Лескова раздувались, вбирая знакомые и всегда возбуждающие запахи. Но что мешало ему сегодня самозабвенно зарыться в благоственный мусор минувшего.

Прошлой зимой он ездил сюда с Дроном, приходившим из училища на воскресную побывку. Они брали извозчика от Таврической до угла Садовой и Вознесенского — добрых четыре версты по свежему колючему зимнему воздуху. А затем обходили не спеша Ново-Александровский рынок, Апраксин двор и гостинодворскую галерею, и ему нравилось показывать сыну, как ловко умеет он находить жемчужное зерно в навозных кучах старьевщиков, угадывать ценность какой-нибудь закопченной доски, едва различимой уголком в завале всякой дряни; как цепко и необидно для продавца торгуется, сбивая цену чуть не вдвое, как может с каждой протерью поговорить на особом языке: с «князем» — татарское словцо вернуть, с букинистом — уместный славянизм кинуть или доегласным созвучием на вирш блеснуть, петербургскую жулябию трущобным, крепчайшим заворотом осадить. Но, конечно, куда полезнее была для юноши та россыпь культурных сведений, которой щедро делился отец.

Сколько узнал Дрон и о стилях разных эпох, и о художественных манерах русских иконописцев и французских графиков, какое эстетическое богатство приобрел, вышагивая за отцом по холодным плитам галереи. «Но почему у него всегда было такое нищенское, неодухотво-

ренное лицо и капелька под носом? — раздраженно вспомнил Лесков. — Все ежился, непоседа, да шаркал ногами, будто ему невтерпех в танцевальный зал? А может, ему просто холодно было? — вдруг грустно спросил он себя. — Зяб до костей в шинелишке, подбитой ветром, казенных ботинках без калош — не положены кадету, — да белых нитяных перчатках? Где уж тут наслаждаться образами строгановского пошиба, копиями с Лиотара, старинным изданием «Юности честного зерцала», булями да жакобами!.. А, чепуха! Молодой человек, кровь с молоком, не может коченеть, как кисейная барышня, в мягкой петербургской зиме. Я в его годы...» Но настроение было испорчено. И, купив всего лишь бюстик Сократа на мраморной розетке и не обманывая себя насчет его художественной ценности — рыночный товар, но согодится в пару к бюстику Гете, купленному ранее в некой иллюзии насчет промашки невежественного торговца, — Лесков покинул галерею и вновь оказался на Невском.

Он пошел в сторону Аничкова моста, тяжелее обычного опираясь о камышовую трость и прижимая к селезенке завернутого в розовую бумагу Сократа, и вскоре увидел на углу Невского и набережной Фонтанки крупную, осанистую фигуру Терпигорева-Атавы.

Могутен, избыточен слегка обрюзгшим телом был певец дворянского оскудения. А нарочито широкая, не мешающая размашистым движениям одежда еще более увеличивала место, занимаемое им в пространстве. Большое лицо с сильными, грубыми чертами, отнюдь не дворянскими, хоть и происходил из тамбовского потомственного, а кучерскими, вполне гармонировало со статью.

Лесков любил Терпигорева, хотя и считал его сильно сродни Ноздреву. «Пустобрех всяя Руси» был столь же привержен Бахусу, как гоголевский герой, так же охоч до картишек и женского пола, так же безоглядно лез в спор и так же готов был загулять с кем попало. Но у Терпигорева в отличие от пустейшего Ноздрева был талант, и недюжин-

ный. Его судьбу решила одна фраза Некрасова, оброненная мимоходом в ответ на элегический взрыд Терпигорева, что упустил он себя, а сейчас поздно!.. «Почему же? — спросил Некрасов. — И по отаве трава растет». Он подарил Терпигореву внезапную надежду, веру в свои силы и несколько вычурный псевдоним. Очень скоро безвестный Терпигорев прогремел на всю Россию под именем Атавы своими превосходными очерками.

«До чего же велика и неохватна русская литература, — внезапно умилился Лесков, — если такой талант, как Терпигорев, не принимается в расчёт вершителями литературных судеб! Да и сам он отнюдь не по-ноздревски, с трогательным смирением считает себя журналистом, а не художником слова. А ведь в первоклассных западных литературах автор под стать Терпигореву был бы ох как на виду! В Германии он наверняка памятника бы удостоился, во Франции стал бы одним из бессмертных, а в Англии — каким-нибудь баронетом. Хорошо звучит: баронет Терпигорев или баронет Атава! И стоит этот несбывшийся баронет на углу Невского и, ничуть не сокрушаясь несоответствием своего дара с признанием, довольный собой, заведшимися свободными деньжонками и еще не отказавшим пищеварением, прикидывает, где бы и с кем бы почесать языки за графинчиком холодной водки и острой закуской. Ах, русские, русские люди, неведомо для самих себя и не гордо несете вы в смутном существе своем громаду российских просторов, неохватную ширь вскормившей вас земли. Потому все так крупно в вас: достоинства и пороки, талант и небрежение им, буйство ума и умственная лень, размах и щедрость...»

Терпигорев, озиравший Невский, прохожих и экипажи, тоже заметил Лескова и не шагнул, а кольхнулся ему навстречу, родив ветер. Друзья сердечно поздоровались.

— Совершил обход гостинодворской сокровищницы? — сказал Терпигорев, увидев сверток в розовой бумаге. —

Никак, зуб Бориса и Глеба отыскал? — захохотал он звучным, аппетитным хохотом.

Но Лесков даже не улыбнулся. Он не любил шуток над своими коллекциями и приобретениями, к тому же пребывал отнюдь не в смешливом настроении. Он насупил брови и опустил сверток в карман пальто, сразу некрасиво отвисший. Не дождавшись ответа, Атава расценил положение как угрожающее и прибег к безошибочному приему — сделал предметом насмешки самого себя.

— А я вот приобрел кое-что для своей библиотеки, — сказал он нарочито серьезным тоном. — Шато-Латур издания 1871 года. Не желаешь ли почитать?

Лесков ухмыльнулся. На полках «библиотеки» Атавы вместо книг стояли бутылки коллекционных вин.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал Лесков. — Не в духах я нынче, Сергей Николаевич. Уязвлен многими бедами и несчастьями.

«А когда ты не уязвлен? — подумал Атава. — Сколько я тебя знаю, любезный друг, вечно ты уязвлен, отягощен, раздавлен и чуть ли не насмерть убит бесчисленными «вредами». Газетчики и критики, литературные друзья и недруги, домашние и близкие, киевская родня и родня кагарлыцкая, братья и старушка-матушка, Лампадоносцев и Георгиевский, редакторы и цензоры, церковники и нигилисты, домовладельцы и прислуга, колыванские бароны и эзельские члены-советники купального комитета, женщины и дети — все сговорились довести твою больную печень до угрожающего раздутия, как у огорченного розгами налива в трактирном садке. Но ты все же справляешься, друг, и с настоящими, и с мнимыми напастями. Объяснил бы мне лучше, как это, находясь в непрестанном борении с окружающими и видя сквозь увеличительное стекло все изъяны человеческих душ, создаешь ты своих праведников, подвижников, святых чудаков, чистых сердцем Голованов, Ахилок, Туберозовых, плодомасовских карликов? И богатырей земли русской, вроде очарованного странника Фля-

гина или рваненького гениального Левши? И я, давно узнавший всему цену и за версту чующий малейшую фальшь, расчет, обман, подтасовку, разоруженный и растерянный, реву как белуга над твоими вымыслами?»

Терпигорев знал, что Лесков ждет расспросов о своей кручине, и предусмотрительно помалкивал. Слушать о чужих горестях приятно, когда они не вымышлены. В противном случае ты понимаешь, что человек с жиру бесится, и тогда сочувствие — деланное — дается с мучительным трудом. А Терпигореву не хотелось утруждать себя в такой погожий, ласковый и, увы, прощальный летний денек.

Мимо прохромал чиновник в заношенном вицмундире и порыжелых стоптанных сапогах.

— Ишь, ленивая скотина! — вскользь бросил Лесков, провожая взглядом хромца — В левом сапоге гвоздь вылез, так будет мучиться, стервец, а гвоздя не забудет.

— Господь с тобой, Николай Семенович! — даже несколько возмущился Терпигорев. — Впервые видишь человека и сразу осуждаешь. Может, он от роду калечный или на войне раненный.

— Ты это серьезно говоришь? — сверкнул глазами Лесков.

— Конечно, серьезно.

— И ты не видишь, как он ногу ставит? Прямо и ровно, а под угол схиливает. У калеки вся походка сбита, но на свой лад привычная, устоявшаяся, а этот обормот только еще прилаживается к гвоздю.

Почему-то Терпигорев сразу поверил, что так оно и есть, и впервые не то чтобы с досадой или завистью, а с каким-то грустным удивлением подумал о том, насколько разны видят они с Лесковым окружающее. Вот он заметил хромца и бегло пожалел, а Лесков проглянул до гвоздя в сапоге и с тем открыл совсем иной душевный пейзаж прохожего. И сколько бы подобных различий обнаружилось у них, делись они наблюдениями над промельками уличной жизни! Но Терпигореву такие вот послы из ок-

ружающего были вовсе без пользы, вся его литература строилась на осведомленности, на доскональном, точном, обширном и глубоком знании предмета. Творчества у него кошки на лизок. Лескову же достаточно малой вспышки, чтобы начать творить — не подобие действительности, а собственный мир, овеянный необъяснимой красотой. Он тоже знает жизнь, но главная его сила — мгновенно добираться до гвоздя в сапоге...

— Что-то лазурными гусарами запахло, — сказал Лесков.

— Терпигорев диковато глянул на него. Каким бы пронзительным зрением ни обладал автор «Соборян», он все же не мог видеть спиной. А именно со спины Лескова подошел Коростенко, о котором поговаривали, что он служит в полиции. «Лазурными гусарами» с легкой руки Лескова называли в Петербурге жандармов — по небесно-голубому цвету мундиров. Неужели нюх Лескова был так же остер, как и зрение? Сам Терпигорев, сколько ни силился, не мог уловить никакой новой струи с появлением Коростенко. Все так же пахло рекой, нагретым камнем, конским навозом. Но Лесков утверждал, что после посещения Третьего отделения, куда его вызвали пять лет назад в связи с изобретенным им способом запечатывать письма, он чуть не целую неделю «вонял жандармом». Лескову показалось — не без оснований, — что его письма перлюстрируются. Тогда он заказал одному умельцу с Васильевского острова печатку с надписью: «Подлец не уважает чужих тайн» и стал ею — по сургучу — запечатывать свои письма. Чины «черного кабинета» оскорбились, и в результате Лескову пришлось наведаться на Гороховую. «Сил нет, — долго спустя жаловался писатель, — и в бане парился, и ванну хвойную что ни день принимаю, а все жандармом несет».

Терпигорев относил это за счет обычных лесковских преувеличений, того грандиозного вздора, до которого был люто охоч писатель. Да неужто сейчас на Лескова впрямь пахло полицейским участком? Быть того не может! Если

уж принюхаться к Коростенко, то почувешь раздушенного и напомаженного петербургского хлыща, а никак не полицейского. И все же Лесков угадал!

Коростенко поздоровался с развязно-искательным видом человека, знающего, что его присутствие нежелательно. Лесков что-то буркнул в ответ, но не поклонился. Его сильное лицо напряглось и потемнело, и Терпигорев открыл в своем друге неожиданное сходство с Иваном Грозным. «Если бы ему похудеть, подсушиться, был бы вылитый Иван Васильевич!» — со вкусом решил Терпигорев.

Лесков был причастен к появлению Коростенко на окололитературном горизонте Петербурга. Мать этого человека находилась в свойстве с популярным доктором Алферьевым, дядей Лескова, у которого будущий писатель нашел приют в счастливую киевскую пору своей жизни. Студентом Коростенко печатал стишки в обличительном духе, за что был выгнан из университета. Попытавшись жить от журналистики, он скоро понял, что фортуны надо ловить в столице, и прибыл в Петербург с рекомендательным письмом Алферьева к уже набравшему литературного веса племяннику.

Лесков, и вообще-то охотно помогавший молодым, действовал тут с особой горячностью. Сохранив благодарное и недоброе воспоминание о гостеприимстве дядюшки, поселившего его во флигельке своего поместительного дома, но забывавшего приглашать к обеду, Лесков хотел сполна рассчитаться за приют да и собственную гордыню потешить. Поэзии Коростенко он сочувствовать не мог, тем не менее открыл ему дорогу во многие газеты и журналы. Коростенко оказался человеком цепким, вскоре его уже знали и в Петербурге и в Москве. Особой популярностью он пользовался у студентов. Но ведь от стихов, к тому же обличительных, не построишь палат каменных, между тем с некоторых пор Коростенко стал жить более чем достаточно: квартиру изрядную у Пяти углов снял, обзавелся модным

платьем, столовался в дорогих трактирах. И в обществе дружно заговорили, что он служит в полиции.

Будучи от природы человеком незлобивым, но из беспокойной породы остромыслов, Терпигорев не без удовольствия ждал и кисленького и солененького от встречи Лескова со своим протеже.

Коростенко был очень высок и худ, с маленькой головой. Его фигура утончалась, уходила ввысь, как в перспективу. На лице не хватало кожи, и, улыбаясь, он обнажал весь оскал — нижние и верхние десны и два ряда частых, мелких, очень белых зубов. То и дело оскаливаясь, Коростенко поведал, что в подражание «высокочтимому иересиарху» Николаю Семеновичу он создает сейчас нечто в «божественном духе».

— Евангелие от Иуды, — мрачно уронил Лесков. Терпигорев ухмыльнулся, довольный, что его ожидания начинают сбываться. Над бархатным воротником уходящего вверх узкого английского пальто Коростенко возник оскаленный череп и задержался в несмыкающейся судорожной усмешке.

Коростенко, видимо, ждал развития боевых действий, но почему-то очередного удара не последовало. Лесков наступил, притемнился, и Терпигореву почудилась в нем тайная лютая печаль. Он хотел было сам приняться за Коростенко, зная прекрасно, что человека, совершившего такую метаморфозу, все равно ничем не проймешь и даже не обидишь, разве что слегка всполошишь чисто практической заботой: не помешает ли рассекреченность столь удачно начатой службе, — но Коростенко опередил его.

— Достославный муж Гатцук, — сказал он, ломаясь, — затеял серию литературных акафистов и привлек к сему мя, грешного. В великом сумлении пребываю, с кого начать, кто более других достославных возвысил на святой Руси наше дело.

— Ваше? — переспросил Лесков. — Фаддей Венедиктович Булгарин. С него и начинайте.

Терпигорев хрюкнул от удовольствия. Коростенко же поступил простейшим способом. Он изо всех сил замахал проносившейся мимо карете, будто увидев знакомых, и, буркнув «честь имею!» — кинулся вдогон журавлиным шагом.

— Интересный сюжетец, — сказал Терпигорев, — от обличительного стихотворца до полицейского агента.

— Сюжетец весьма пошлый, — сказал Лесков, и опять на собеседника пахло грустью и подавленностью. — Таких совместителей завалишь, и не только среди поэтов. Не задалась судьба, не пошло дело, где хочешь, в литературе, науке, журналистике, практической деятельности, капиталов нету, а жить хочется и бес тщеславия одолевает, чего же проще и удобнее — доносительство. Платят хорошо да и на всякие там грешки в либеральном роде сквозь пальцы смотрят. Кстати, вот тебе сюжет куда оригинальнее — из агентов в литературу.

— Нежизненно. А сколько, по-твоему, получает Коростенко?

— Булгарин и Греч подняли цену на литературный донос. Получает достаточно. Бог с ним... Пойду я, Сергей Николаич, — сказал Лесков с тяжелым вздохом и тем же выражением подавленности, что уже дважды было подмечено Терпигоревым. — До лучших дней. Терпигорев задержал его руку.

— Здоров ли, Николай Семеныч? — спросил он участливо. — Какая хвороба тебя снедает?

— Телом я здоров, — угрюмо проговорил Лесков, — а духом сломлен. Сын у меня не удался. И нет ничего горше и язвительнее для родительского сердца — видеть, что твой единственный, в муках рожденный сын — дрянь и ничтожество.

Поразительное признание не сразу дошло до Терпигорева своей главной сутью в силу глубочайшего наслаждения — комического и психологического, — доставленного ему выражением «в муках рожденный». Это было так от-

менно по-лесковски, что у Терпигорева аж дух перешибло, словно на руки пришли одни козыри. Расставшись с матерью Дронушки, Лесков, видимо, лишил ее доли участия в создании сына. Это он сам, единолично, в муках рожал Дрона. Это его корчило на смятых простынях под жесткими и ловкими руками повитух. И Терпигорев мог бы поклясться, что, произнося слова о муках, оплативших появление на свет Дронушки, Лесков испытывал терзающие женские боли в крестце и чреве.

Пережив в себе чуть стыдную в данных обстоятельствах чисто художественную радость, Терпигорев вспомнил и о прекрасном сыне Лескова, семнадцатилетнем Дроне, умном, ласковом, терпеливом, не по годам серьезном. Ему вроде и восьми не было, когда родители расстались. Едва шагнув в пору отрочества, Дронушка взвалил на свои слабые плечи заботу о доме, об удобствах — и внешних и внутренних — отца-писателя. Поиск квартиры — у Лескова была страсть к перемене мест, — переговоры со швейцарами, дворниками, истопниками, непрошеными визитерами, улаживание неловкостей между отцом и матерью, а также дочерью Лескова от первого — скорбного — брака Верой, и от многих иных докук освободил Дронушка капризного, нетерпячего, безудержного и в гневе и в самоистязаниях отца.

Он прекрасно учился, был примерного поведения, но стоило ему чуть оступиться — с кем не бывает? — как отец мгновенно отбрасывал устав мужского равенства и без малейшего угрызения совести посылал кухарку в дворницкую за розгами. Но у мальчика было прекрасное сердце, и, хотя что-то там твердело, ссыхалось в незабвении горькой и несправедливой обиды, он не переставал любить и даже жалеть отца. Поразительно было, с какой нарочитой жестокостью наносил Лесков удары по хрупкой психике молодого, доверчивого, не обросшего защитной коркой существа. Для своих самодурных опытов он выбирал непременно либо День ангела сына, либо какой-нибудь уми-

лительный праздник, либо мгновения полной разоруженности юной души, безошибочно им угадываемой. А ведь он по-своему любил сына. Он, порвавший последние слабые связи с киевским кланом Лесковых, с дряхлой матерью, сестрами, вычеркнувший из души жалкую дочь Веру, обвинивший бывшую жену, мать Дронушки, в гибели своего семейного счастья, хотя не было сомнений, что погасил домашнюю лампу сам Николай Семенович, не терпящий никаких уз, обязательств, кроме велений творческого духа. Но и с единственной привязанностью к сыну что-то стало, и здесь закрутило, закорчило крутого человека. Неужели и деликатный Дронушка неведомо для себя встрял между Лесковым и письменным столом с побитым молью, закапанным свечным воском и ламповым керосином старым зеленым сукном? И понадобилось избавиться от него, вытолкнуть вон из внутренних пределов, чтобы там беспомешно гуляли умственные и духовные вихри.

«Черт бы побрал эти большие таланты!» — бесился про себя Терпигорев. Буревое, темное, непреклонное лицо Лескова делало безнадежным всякие попытки разубеждения.

— Опять в печенях припекает? — сказал без улыбки. — А я был бы счастлив, будь Дронушка моим сыном.

— Что ты знаешь о нем? — с невыразимой горечью сказал Лесков. — Ты видел сейчас этого бывшего молодого человека? Видел, какой дрянью вырастают забалованные сынки?

— Николай Семенович, опомнись, при чем тут Дрон? И чего ты равняешь своего парня со всякой мразью?

— Себя я должен казнить!.. Себя!.. — Лесков прижал крепкий кулак к полиловевшей рогатой вене на виске.

Почему такие люди, как Лесков, вечно готовы казнить себя, но казнят других, и обычно самых близких? Помолись, Дронушка, тебя ждут серьезные испытания. Так вот отчего туманился наш крутохват, когда тут терся Коростенко! Он Дронушку к нему примерял. Надо же!.. Неужто могут сочетаться в одном человеке такая прозорливость,

что гвоздь в чужом сапоге видит, с такой слепотой к самому родному?..

Расстались писатели не то чтобы холодно, а как-то недоуменно, словно не понимая, почему вообще так долго пробыли вместе. Лесков, кинув трость вперед и опершись на нее, как на посох — Терпигореву сразу вспомнился посох, каким Иван Грозный поразил висок сына-царевича, — перешел Невский, а Терпигорев взял путь через Аничков мост к знаменитому трактиру Палкина.

От тяжкого неуюта и черных ветров, нагнанных крутым человеком, ему захотелось в тепло и приятие, захотелось чего-то хорошего для себя. Удобно устроившись на мягком плюшевом диванчике в славно протопленном малом зальце трактира, он заказал графинчик водки, зернистой икры, балыка, уху с расстегаями и бараний бок с гречневой кашей. Музыкальный ящик тихо наигрывал «Не пробуждай воспоминаний», весело потрескивали сухие березовые дрова в камине, и калориферное тепло казалось родившимся от живого, яркого огня. Многие посетители кланялись Терпигореву, другие отзывались на присутствие известного, но лично незнакомого писателя лестным округлением глаз. Хорошо все-таки, что он поверил Некрасову и вновь взялся за перо, выпавшее было из потерявшей уверенность руки. Зазеленела молодая трава по выкошенному полю. И тут из голубоватого табачного воздуха будто выплыла тревожный и грозный всевидением, всеслышанием, произволом чувств, страшный и неподсудный образ злого колдуна-медоуста, и меланхолически вздохнула душа: да, растет трава по отаве, только какая это трава!

Лесков вернулся домой, и первое огорчение постигло его прямо на пороге. Прихожая тонула в клубах кухонного дыма. Эта вообще-то удобная, славная квартирка отличалась одним недостатком — даже при открытых в кухне окнах смрад и чад проникали в прихожую, а оттуда разносились по комнатам. Прихожая словно вытягивала, высасывала из кухни все миазмы. Приходилось отпахивать на

ширину медной цепочки входную дверь, чтобы гастрономический дурман утекал в лестничную клетку.

Огорчение Лескова было вызвано не привычным чадом, а тем, что он крепко отдавал жареными куропатками. Ничто так не любил знающий толк в яствах писатель, как жареных серых куропаток. Он предпочитал их не только грубоватым тетеркам или изысканным с пригоречью рябчикам, но и нежнейшим, тающим во рту кроншнепам и гаршнепам. Кухарка знала его слабость и частенько с отменным искусством готовила куропаток в сметане, с мелко наструганным, жареным в масле картофелем. Особенно часто заманчивое блюдо стало подаваться на стол в последнее время, когда он громогласно заявил, что грешно и гадко есть убоину. Не из угождения кумиру своему Толстому решил он отказаться от рыбы и мяса, просто не мог дробить зубами плоть и кости созданий Божьих. Ну если оставаться до конца честным, отвращение его к мясной пище было пока еще скорее духовного, нежели физического толка. И кухарка, будто нарочно, подвергала его решимость, не подыавшуюся до фанатизма, чудовищным испытаниям. Он устоял вчера перед аппетитными свиными голяшками с гороховым пюре и хреном, перетертым со свеклой, хотя желудок плотоядно бурлил соками, и, давясь, поел творога с овощами, а сегодня чертова баба пострашнее придумала пытку. Сквозь густой, пьянящий аромат дичи он пронюхал и другой запах, ранее навестивший прихожую, — жареной телятины. Стало быть, на закуску подадут холодную телятину в коричневом дрожащем желе. Ах, канальство! Человек суеверный мог бы подумать, что кухарка подослана вражьей силой, дабы помешать спасению прозревшей истину души.

— Дядя, а к тебе гость пришел, — слышался голос сиротки. Лесков вздрогнул. Слово «гость» в невинных устах малютки могло означать кого угодно — от нищего до ближайшего родственника, только не того единственного визитера, которого ждал Лесков со всем нетерпением гнева.

О Дроне сиротка, как-то недобро выделяя его среди всех, говорила Лескову «твой».

Гость и сам объявился в прихожей, то был Николай Петрович Крохин, просто Петрович, муж младшей сестры, умственная и душевная скудость которой искупалась — частично — обезоруживающей детскостью и наивностью. К сестре Лесков был снисходительно прохладен, а вот мужа ее, скромного акцизного чиновника, привечал из всей родни.

А между тем не было на свете столь противоположных натур, как страстный, гневливый, причудливый фантазер Лесков и тихий, застегнутый снаружи на все пуговицы, а внутри добрейший сборщик неокладных налогов. Впрочем, чему тут удивляться? Антиподы всегда легче сходятся и уживаются, нежели скроенные по одной мерке, — угол не ударяется об угол, а находит спасительный паз.

Несмотря на испытанное разочарование, уж больно не терпелось сорвать сердце. Лесков почти обрадовался зятю. Будет и отдушина для гнева, и сотрапезник, ежели грешный сын не явится в пустой и глупой надежде избежать заслуженной кары. Да и не жалко скормить милому Петровичу всю запретную благодать — телятину в желе и жареных птичек.

— Хорошо, что заглянул, Петрович, — ласково сказал Лесков. — Неважнецкие у нас дела, брат.

— А Дронушка где? — сразу попал в цель Крохин. Лесков не ответил, только махнул рукой... Меж тем виновник терзаний крутого человека, не ведая беды, счастливый и радостный, мчался к отцу, чтобы поделиться своей великой удачей. Но не будем заниматься пересказом того, что навечно врезалось в мозг и сердце Андрея Николаевича Лескова и через столетия было вверено бумаге с исчерпывающей полнотой и точностью ничего не забывшей и едва ли простившей памяти.

«В 1885 году на выпускных экзаменах я потерпел неудачу. Чтобы сберечь год и успеть попасть затем в какое-

нибудь высшее учебное заведение, я решил держать их снова осенью...

31 августа, в первом часу дня, «на крыльях радости», точнее, на хорошем извозчике, поощренном обещанием лишнего двугривенного, я примчался на Сергиевскую и, пулей влетев в отцовский кабинет, не поздоровавшись толком с оказавшимся почему-то здесь же Крохиным, торжественно положил перед отцом только что выданный мне желанный аттестат от 29 августа за № 1583. Им удостоверялась моя среднеобразовательная зрелость и подготовленность к постижению дальнейшей учености.

С первого взгляда я понял, что отец встал сегодня «под низким барометрическим давлением»... Пробежав свидетельство с подробным перечнем баллов, полученных мною по всем предметам, он пренебрежительно бросил его в сторону и, вонзив в меня гневом зажегшийся взгляд, жестко произнес:

— Ну и куда же ты теперь с этим сунешься?

Как ушатом ледяной воды, смыло с меня всю радость, нашел столбняк.

— Я спрашиваю тебя, — продолжал отец, — что с этим делать дальше? На что оно годится? Куда сейчас с ним идти?

— Как куда? — едва приходя в себя, заговорил я. — Этот аттестат открывает мне все двери. Он дает мне право на поступление в высшие гражданские институты, в Лесной, Петровско-Разумовское в Москве, в высшие военные училища, позволяет быть допущенным к конкурсным испытаниям в специальные технические институты исключительно по одним математическим предметам.

— Я этого не вижу!

— Николай Петрович, — умоляюще повернулся я к Крохину, — прочтите, пожалуйста, то, чего не видит здесь мой отец.

— Я вижу то, что мне надо видеть, и с меня этого довольно! Куда тебя примут с этим сию минуту?

Я начал перечислять институты.

— Там экзамены уже в разгаре, и тебя там ждать не собираются.

— Тогда буду держать в будущем году.

— Это значит еще целый год болтаться без дела?

— Но ведь туда же иногда держат по нескольку раз!

— Я этого не допущу. Найди себе немедленный выход!

— В таком случае в Константиновское, в Николаевское кавалерийское...

— Это еще что за пошлость! Чтобы твоя драгунская лошадь... моим горбом заработанные деньги? — на лету подхватил он последнее, пропуская мимо ушей все остальное. — Ты упустил время. Сейчас везде все вакансии уже заняты, и ты везде останешься за бортом!

— Вы глубоко ошибаетесь. Довольно вам проехать в Главное управление военно-учебных заведений, и по вашему прошению я буду принят немедленно, так как занятия еще не начались, а некоторое количество вакансий всегда имеется в распоряжении этого управления.

— Куда это еще и зачем я должен ехать! Перед кем это унижаться? Кого просить? В твои годы я сам пробивал себе путь лбом, а не отцовскими хлопотами. Довольно! Я вижу положение всех вернее: тебе осталась одна дорога, единственная, которая подбирает всякую дрянь, — в солдаты! Но этого я видеть не могу и не желаю. Ты поедешь в Киев, к дяде Алексею Семеновичу, и пусть он там тебя обряжает в достойный тебя убор. Но, повторяю, мне это видеть мерзко и не полезно моему здоровью и духу. Собирайся и отправляйся!..»

Повесив голову, Дрон вышел.

— Что скажешь? — Лесков повернул к зятю красное, с раздувшимися на висках и высоком лбу венами, бодрое, почти веселое лицо.

«Неужели он актерствовал? — с тоской подумал Крохин. — Да нет! Это у него искреннее... боевой подъем духа».

— Князь тьмы Талейран говорил: бойтесь своих первых движений — они самые благородные.

— Экий человекознатец! — восхитился Лесков. — В самую точку!.. — Но уже в следующее мгновение он диково-то покосился на Крохина, словно усомнился, что тот действительно произнес эту фразу, ведь Петрович ничего не читал, кроме «Нивы», а там едва ли встретишь высказывания Талейрана. Да и привел его Крохин вроде бы ни к селу ни к городу. Но Крохин решил удивить его еще больше:

— Тебе иного опасаться надо, Николай Семенович, у тебя первое движение — самое ужасное.

И снова удивление пересилило в душе Лескова всякие другие, более естественные для него чувства. Вместо того чтобы осадить зарвавшегося родственника, он сказал с усталым вздохом:

— Что ж... Всяк своему нраву работает... Но быстро справился с внезапной слабостью.

— А с чего ты взял, что это первое мое движение? — сказал он опасным голосом.

— А-а!.. — вроде не очень удивился Крохин. — Стало быть, все заранее решено было. И Дронушка зря тут распинался... Грустно это, Николай Семенович, ох как грустно!

— Ну, не твоей дряблой добротой меня судить! — воскликнул Лесков.

Николай Семенович видел в Крохине лишь расслабленную, а потому и малоценную доброту, опирающуюся на крайнюю ограниченность. Доброты — врожденной и неколебимой — было и в самом деле хоть отбавляй. Но этим не исчерпывалась сущность Николая Петровича Крохина. Был еще ум — неигристый, с ленцой, но прочный и ясный русский ум, сообщавший поведению сборщика налогов никому не ведомое величие, ибо он все знал про окружающих. Он знал куриную глупость и беспомощность своей жены Ольги Семеновны, но, жалеючи, списывал ей все промашки, неловкости, бестактности, обиды, и непритязательная семейная жизнь

их была счастливой. Он приехал в Петербург, исполненный безмерного преклонения перед своим знаменитым зятем, и, познакомившись с ним, ничего не утратил в своем высоком отношении, хотя и сделал одно удивительное открытие: кое в чем, например в оценке близких людей и многих бытовых обстоятельств, тот недалеко ушел от своей малоумной сестры. Крохин, как и большинство нелитературных людей, наивно полагал, что писатели — величайшие человекознатцы. Читая Лескова, он восхищался не только красотой, картинностью описаний, но и тем, что тот все про всех понимает. А познакомившись ближе, обнаружил, что волшебник слова даже про своих домашних понимает все вкривь и вкось. Страстное, «печеночное» отношение к людям закрывало истину. Случались, разумеется, ошеломляющие прозрения, открытия, непостижимые угадки, но то были лишь яркие вспышки в густом тумане, заволакивающем дневное зрение души. Оказывается, писатели знают придуманных ими людей и все понимают про них, тонко выводят каждый внутренний ход, определяющий тот или иной поступок, а в окружающих — живых, дышащих, томящихся, смеющихся, горящих, радующихся, рассеянных, добрых, страдающих мигренью и несварением желудка людей — могут ничегошеньки не понимать. Слепота Лескова объяснялась, конечно, не глупостью, но, коли тебя вечно «ведет и корчит», откуда взяться спокойной и трезвой оценке?..

И Крохин стал жалеть гениального зятя почти так же, как и недалекую жену. В мягком климате его доброты и Ольга Семеновна казалась не глупее людей, и зять иной раз отбрасывал свое зломнительство, заставлявшее его в великой скорби восклицать по Иисусу: «Враги человеку — домашние его!» Но было в Крохине то умное смирение, что предохраняло его от губительных попыток силой своей доброты и ясновидения изменить ущербную суть одной и мучительную суть другого. Он знал, что, кроме беды и кру-

шения, с трудом созданного равновесия, ничего из этого не выйдет. Оставалось жалеть, умяляться, поддакивать, иногда молчать.

Но сегодня он впервые не мог ни поддакивать, ни просто молчать. Жалость к юноше пересилила жалость к слепому отцу. Все разрушил этот человек вокруг себя — прочное семейное здание заменил карточным домиком с придуманной сироткой, но оставил ему Господь в неисчерпаемой доброте своей среди всех мнимостей одну истинную ценность — благородного, умного, доброго сына. И с ним он разделался беспощадно. А за какие, спрашивается, грехи? На экзаменах провалился — с кем не бывало? Да и выдержал он нынче эти проклятые экзамены, аттестат получил. Танцевать любит? Тоже преступление! Сам нешто не отплясывал с девками на венской площади? Да что там танцы! А кто в Киеве, на Андреевском спуске, с саперными юнкерами в кровь дрался? Не из сплетен знал об этом Николай Петрович. Сам Лесков в некий добрый час, подкрепившись за ужином густым и пряным самосским вином, умиленно вспоминал о горячих днях своей юности, а потом добавил с улыбкой: «Иной раз обожрешься журнальной руганью и думаешь: чем на бумаге сквернословить, дал бы я Буренину и иже с ним по ремню с медной пряжкой, сам бы оплел десницу сыромятной кожей. А ну, выходи, кто кого? Покажи, чего стоишь! Руби в песи, круши в хузары! Ух, хорошо!» И, схватив камышовую трость, принялся со свистом рассекать воздух, и лицо у него стало молодое и отчаянное, как в далекие, киевские дни.

Впервые осмелился Николай Петрович выразить неодобрение поступку Лескова. Он думал, что скорый на расправу шурин попросту выставит его за дверь, но у того, видать, были иные намерения. Вообще-то не слишком нуждающийся в одобрении окружающих, он почему-то на этот раз хотел склонить зятя к моральному соучастию в учиненной расправе над сыном. Так, во всяком случае, расце-

нил его околичности Крохин. И когда возникла пауза, он сказал с тихим упорством:

— Уволь, Николай Семеныч, чужому человеку нечего меж отцом и сыном вступать.

— «Вступать»? — гневно повторил Лесков. — Кто тебя просит вступать?.. Ты рядом стой, со мной рядом.

— Уволь... — пробормотал Крохин. Окажись в Лескове раскаяние, боль, он бы немедленно пожалел его своим большим и тихим сердцем, но тот, похоже, не только не раскаивался, а торжествовал, будто подвиг какой совершил. Мелькнувшая было в нем грусть истаяла без следа. Не оправдания, не одобрения ждал старый печенег, а восхищения своей лютостью.

— Да что ты заладил «уволь», «уволь»!.. Не уволю! — Зять попробовал бунтовать, а всякий бунт следует подавлять в зародыше. — Вот что, завтра ты сам отправишь его в Киев.

— Господь с тобой!.. — через силу прошептал Крохин..

— Подумал бы... — Глаза Лескова метнули черное пламя.

— Из Ура Халдейского в Месопотамию посылаю я негодного сына к дяде его Левану, ибо забаловался он и обманывал меня, облакаясь шкурой козьею, — произнес он со вкусом.

«Все кончено, — подумал Крохин. — Для дикого и несообразного поступка уже найдена библейская формула. Слабому зрением, но твердому нравом Исааку уподобил себя безжалостный отец. Бедный, бедный Дронушка!»

— Ну, я пошел, — сказал он, подымаясь.

— Оставайся, пообедаем. Предложу тебе тельца упитанного, хотя сам от него вкушать не стану, ибо не приемлю в пищу трупов.

— Не могу. Жена ждет.

— Ах ты, фетюк! — рассвирепел Лесков, не знавший для мужчины более зазорного слова. Но с Крохина обидное прозвище стекло как с гуся вода.

— Одинок тебе будет, Николай Семеныч, — сказал он, подвигаясь к двери. — Ах как одиноко!

— Доколе у моего тепла сиротка обогревается, и на меня теплом вея... — начал в тоне проповеди Лесков и вдруг спохватился, что принижает собственный подвиг. — Думал ли ты, Петрович, что испытывал он, — короткий кивок на аляповатую икону, где на троне небесном в курчавых барашках облаков восседал Бог-отец, когда обрекал Сына на смертную муку? Но ведь он знал, что, пройдя искусы, испив до дна чашу, Сын вознесется и обретет место одесную него. Я же и такого утешения не жду, да и не желаю... Один?.. Да, один. Даже без согревающей памяти! — И Лесков снова метнул горделивый взор на Саваофа.

«Вот оно что! Да он с Господом Богом соперничает! — осенило Крохина, и мурашки забегали у него по спине. — Уноси ноги, Петрович, не для тебя такие игры!» И с невольным восхищением и ужасом оглянул он тучную, но крепкую, литую, с крутой соколиной грудью, борцовую фигуру Лескова. Да, окажись он на месте сына Исаакова, схватившегося в темноте то ли с ангелом Господним, то ли с самим Господом Богом — в библейской мути пойдя разберись! — неизвестно еще, кто бы кому вывернул бедро. И Крохин без оглядки кинулся прочь... Обедал Лесков в одиночестве. Дрон не вышел к столу, а распорядиться о приборе для сиротки — девочка частенько разделяла трапезу «дяди», а подавала на стол ее мать — за всеми бурными событиями он как-то забыл. Николай Семенович успешно противоборствовал князю тьмы — не Талейрану, возведенному в этот сан семинарским остроумием Крохина, а извечному врагу человеческому, — за роскошным блюдом холодной телятины и кусочка не попробовал, удовлетворился легким, тающим во рту желе, начисто освободив память о его мясном происхождении, а вот с куропатками казус вышел. Нечистый, несомненно, имел в союзниках кухарку, которая так расстаралась, негодница, что превзошла самое себя. А вот кто взял в союзники самого князя

тмы?.. Лесков метнул быстрый взгляд в сторону аляповатой иконы. Смуглое лицо Бога-отца было, по обыкновению, непроницаемо и невыразительно, и все же... Лесков усмехнулся.

Аромат жареных золотистых куропаток дурманил сознание. От него некуда было деться. Им пропиталась вся атмосфера столовой, и сама душа Лескова запахла жареными куропатками. «Ты не сокрушил моего духа и хочешь осилить плоть?» — яростно думал Лесков, изнемогая в жестокой борьбе. Силы были неравны, по одну сторону Лесков и граф Лев Николаевич Толстой, по другую — Бог, сатана и кухарка. Численное превосходство обычно решает исход сражения...

Если уж падать, так в пропасть, а не в сточную канаву — он очистил все блюдо, шесть птичек умял прямо с косточками, хрустко прожаренными, оставив на тарелке лишь треугольники грудных килей. И залил птичек бутылкой подогретого, дабы букет сильнее чувствовался, старого бордо. А потом на десерт налег и на любимое самосское вино.

Конечно, расплата не заставила себя ждать. Послеобеденный сон был тяжел, густ, приторен, как старое самосское, и срамен, сон, достойный молодого монашка, а не мужа, отягощенного годами и мудростью. Послышался тихий шорох.

— Это ты, маленькая? — ласково сказал Лесков и, наугад выбросив руку, поймал тонкое пястье не сиротки богоданной, а ее матери, горничной Кетти. «Какая нежная и породистая рука у дочери перновского домовладельца!» — в который раз удивился Лесков. Ох, грехи наши тяжкие! «До чего распустилась! — сердито думал Лесков, когда дверь кабинета бесшумно притворилась за Кетти. — Лезет сюда без спроса, словно я кум пожарный или brave денщик генерала Шпицберга. Надо будет подыскать другую прислугу. Жалко, что Дрон уезжает, он бы этим занялся. А сиротку я оставляю, взяв у матери расписку, что не будет

вмешиваться в ее воспитание. Ну, увидятся раз в месяц — куда ни шло, все-таки мать... Но частое общение с такой особой не может быть полезным для дитяти...»

Потом он долго плескался в ванной комнате, окатывался ледяной водой, растирался одеколоном и махровым полотенцем и вышел посвежевшим, бодрым, внутренне упругим. Пока он мылся, над городом прошла короткая гроза, и стало легко дышать. Лиловатый сумрак, выплывающий из Таврических куц, окутывал город. В стороне залива дотлевал огнистый закат. На улице было тихо, так же тихо было и в доме. Приближался заветный час. Лесков задернул шторы в кабинете, оставив открытым одно окно. Оттуда тянуло прохладой реки и дождя.

Он зажег два пятисвечника на письменном столе, очинил гусиное перо.

— Господи! — сказал он всей душою, глянув в темный угол на незримый, лишь угадываемый лик, и осенил себя широким крестом, словно богомаз Северьяныч, приступающий к новой доске. — Не оставь!..

Потрескивали и оплавлялись свечи в медных подсвечниках. Расщепившийся с первым же нажимом кончик пера побрызгивал чернилами, но другого не было, а металлические, скребучие, мертвые перышки Лесков не признавал. Внешняя неопрятность не мешала словам ложиться ровно в борозду. Душа напряглась и выражала себя без околичностей, объяв собой всех одиноких, непонятых, загнанных, беспомощных, заплутавшихся между земной юдолью и царствием небесным.

В соседней комнате семнадцатилетний Дрон, сданный отцом в солдаты, глотал слезы, укоряя себя: ты же мужчина, ты воин, ты не смеешь плакать! Но слезы вскипали вновь и вновь — не от предстоящей солдатчины, а от жгучей несправедливости, учиненной над ним отцом.

Несомненно, Лесков был бы крайне удивлен, если б ему сказали сейчас, что по его вине может страдать человеческое существо. Исполненный великой, заливающей серд-

це любви ко всем малым и сирым, он самозабвенно творил святое дело русского писателя.

Что же, значит, мимо скользнул и канул прожитый день? Нет! Все, чем он был наполнен: Дронушкина участь, умирающий изограф, беспокойные глаза сиротки, цезарийская обрюзглость Терпигорева, гадкое видение Коростенко, бунт Крохина, грозные куропатки, легкость Кеттиной руки, стыд, недовольство собой и злая вера в себя, терзания и муки, все, все входило в делание за письменным столом, но преображенное, вознесенное в ранг высшей жизни, справедливости, сострадания, доброты. Тяжки, корявы, неотесаны, грязны камни, взятые для постройки, высоко, воздушно и кружевно сложенное из них здание.

И еще долго, до самой зари, горели свечи в окошке на Сергиевской улице, что не на самом краю, но и не в центре Петербурга, и там, у этого неяркого света, в который раз и все равно наперво могучая творческая сила создавала мир, ничуть не уступающий Богу.

Считается, что в тот далекий день Лесков дал русской армии отличного штабного офицера, выросшего в крупного военного специалиста, но лишил русскую литературу первоклассного писателя. Единственная, посмертно изданная книга Андрея Николаевича Лескова — об отце — убеждает, что врожденным даром затейливого, сладкогорького русского сказа был он под стать самому «мудрому мастеру хитростного искусства слова».

Но может ли свободный человек пройти мимо своей сути и судьбы, не стать тем, кем он должен бы стать по очевидным дарованиям? Думается, нет. Скорей всего, Андрей Николаевич не дал волю своей подспудной литературности, справедливо посчитав ее «даром напрасным и случайным». И снимем с души Лескова грех, тревожно ощущавшийся им самим, когда он на склоне лет настойчиво и жалко пытался вложить перо в твердую офицерскую руку вполне созревшего и сделавшего окончательный выбор сына.

НАШ СОВРЕМЕННОК — ЧЕХОВ

Чехов, несомненно, самый близкий нам из русских писателей-классиков. Мнится, что и хронологически он был последним в великой когорте. А между тем Чехов ушел в самом начале века, его пережил Лев Толстой, не говоря уже о Бунине, последний умер после второй мировой войны, стало быть, видел те же небеса, что и мы, ныне живущие.

Как не схожи во всем эти величайшие русские рассказчики — Чехов и Бунин! Прежде всего, стилистически, что главное, ибо, если говорят: человек — это стиль, то в отношении писателя подобное утверждение справедливо вдвойне. Чехов работает на детали, подробности, Бунин — описателен, он не пытается дать целое через часть, а по возможности полно изображает это целое. Чехов предельно лаконичен, Бунин щедро многословен. Чехов устремлен к человеку, Бунин — к пейзажу, и человек его всегда выходит из глубины пейзажа — сельского или городского. В рассказах Чехова — россыпь характеров, многие из которых стали типами: унтер Пришибеев, человек в футляре, ученый сосед, Ионыч, Душечка, Печенег, Мисюсь, вся семья Цыбукиных, Ванька Жуков, даже... Каштанка. У Бунина другое: чаще всего он берет некий тип, скажем, мелкого помещика, уездной барышни, кулака, молодого офицера, доброго крестьянина или деревенского лоботряса, и разыгрывает с ними вечные темы любви, смерти, разлуки, и все это в густейшем вещном замесе. Любопытно, что даже Лика из одноименной повести, написанной воистину божественными словами, лишена характера, это просто очаровательное существо той поры русской жизни, когда оконча-

тельно развалились дворянские гнезда. В Лику трудно влюбиться; смакуя бунинское слово, достигшее в этой повести небывалой красоты и выразительности, вы влюбляетесь в саму любовь, в молодость, в вечно женственное, в неслыханную прелесть мироздания. А вот Анна Сергеевна — таково нарочито обыденное имя дамы с собачкой — наделена ароматом неповторимой личности, это не просто прекрасная, добрая, любящая женщина, это характер, оваянный пленительной женственностью, и каждый читатель разделяет чувство Гурова.

Как говорил Блез Паскаль, человеку по-настоящему интересен только человек. Вот в чем неоспоримое преимущество Чехова перед Буниным. Словесная живопись Бунина, на мой взгляд, богаче, фраза полновеснее, он куда лучше знает природу да и весь вещный мир, никогда не совершит такой промашки, будто существуют помещичьи вишневые сады, он чувственнее ощущает бытие, а это крайне важно для художника, и все же для человека всего интереснее человек. А разве вы вспомните хоть одного из сонма бунинских персонажей с таким родственным сочувствием, как старого профессора из «Скучной истории», с такой щемящей нежностью, как Мисюсь или старушку мать архиерея? Да, он вылавливал в гуще народной яркие и причудливые типы, да, от его девушек и молодых женщин веет печальным очарованием, но все они остаются на периферии читательской души, а бедная, прекрасная и обреченная Маруся Приклонская («Цветы запоздалые») на всю жизнь врезается в сердце.

К формуле Паскаля следует добавить замечательное рассуждение Анатоля Франса, по какому признаку можно определить великого писателя. Поочередно рассматривает он такие критерии, как владение формой, умение создавать интересные и разнообразные характеры, красота языка, занимательность сюжета, и на примере писателей, чье величие общепризнано, доказывает несостоятельность всех этих критериев.

Иван Алексеевич Бунин любил лишь самого себя, а Чехов любил людей. Недаром же Бунин так охотно использовал форму от первого лица, и это не было приемом: «Я» рассказов и повестей идентично авторскому «Я». Эгоцентричность автора проявляется хотя бы в том, что все брошенные им в рассказах женщины (Лица — героиня одноименной повести — разделяет общую участь) находят преждевременную смерть. Бунин органически не представлял себе, что после него можно найти счастье с другим. Чехов никогда не пользуется приемом от первого лица по-бунински, его «Я» условно, сам он не присутствует в своих рассказах, такой полной самоустраненности не встретишь, пожалуй, ни у одного новеллиста. Ведь у рассказчика очень многое идет от сиюминутного впечатления собственной жизни, и так *удобно* писать об этом от собственного лица. Чехов этим удобством пренебрегает. Прежде всего от врожденной стыдливости, литературного целомудрия, не позволяющего ему выходить на суд людской со своими болячками, неприятностями, дурным настроением, мутной игрой страстей. Он изображал кипящую вокруг него жизнь, но не втискивался между нею и читателем. Он доводил свою щепетильность до аскезы, утверждая, что писатель должен браться за перо в состоянии полного покоя, даже холода. Конечно, самообладание необходимо художнику, иначе его рука, подчиняясь чистой эмоции, выйдет из повиновения, и все же высказывание Чехова странно в его устах. Возвращаясь к нашей антигезе: вот Бунин тот воистину холоден, когда пишет не о себе самом. Разве есть в нем любовь к несчастному подростку Мите, так дорого оплатившему свою первую любовь («Митина любовь»), или к Захару Воробьеву из одноименного рассказа, или к корнету Елагину («Дело корнета Елагина»)? Нет, он остро, пронизательно, даже вьедливо наблюдает этих людей, дает обстоятельную, выписанную до последней подробности картину их поведения, но в этом «физиологически» точном письме чувствуется внутренний холод. А вот любит он того черноволосо-

го, смуглого, горячей южной красоты юношу, каким был некогда сам.

И удивительно теплой жизнью пронизаны все чеховские образы. Как рождается нежный жар жизни из полного творческого спокойствия, ровно бьющегося сердца и остуженного ума — неразрешимая загадка. Лев Толстой плакал, читая «Душечку», а ведь образ милой женщины, умевшей смотреть на окружающее лишь глазами своих мужей, — сатирический образ. Пустота черепной коробки Душечки, заполняющейся чужими готовыми мнениями и соображениями, страшновата. И вместе с тем есть что-то бессмертно женственное, что пленяет в гротескной фигуре и выжимает слезы из жестких глаз старого Толстого.

Человечность Чехова подняла его не только над таким писателем, как Иван Бунин, вооруженным самым совершенным художественным аппаратом в русской, а стало быть, и в мировой литературе, но и над всеми его современниками, поставив в один ряд с Достоевским и Толстым.

Чехов был необычайно высоко ценим при жизни, особенно когда Художественный театр сумел прочесть его драматургию. Н. С. Лесков, человек суровый и малоснисходительный к коллегам, сетовал, почему в газетах пишут о приезде в город какого-нибудь тайного советника и не пишут о приезде Чехова. Лесков писал это, когда Чехов был еще очень молод и лишь недавно расстался с маской весельчака Антоши Чехонте. Известно, как высоко ценили Чехова Л. Толстой, М. Горький, тот же Бунин, а первым догадался о масштабах чеховского дарования патриарх русской литературы Д. Григорович, заклинавший его беречь свой талант и не расходовать на «срочную» работу. Поразителен ответ Чехова: «Если у меня есть дар, который следует уважать, то клянусь чистотой Вашего сердца, я доселе не уважал его». Чехов был искренен, когда писал это, он был искренен, когда благоговей перед Толстым, ощущая свою малость рядом с ним, всерьез мучился, какие надеть

брюки для визита к великому старцу. И вместе с тем Чехов куда раньше своих современников понял, чего он стоит. Даже самым пламенным его почитателям не приходило в голову ставить его на одну доску с Тургеневым, Гончаровым, не говоря уже о Толстом. А Чехова не смущала ни тень Тургенева, ни дьящееся грозное бытие Толстого. Он никогда не говорил об этом впрямую, но он проговаривался сознанием своего равенства. Не буду приводить всех примеров, ограничусь одним.

Рахманинов пожаловался Чехову на дурной прием, оказанный Толстым его новому романсу «Судьба» в исполнении Шаляпина, и на уничтожающий отзыв старца о великом Бетховене. «Не обращайтесь внимания, — хладнокровно посоветовал Чехов. — Просто у него было несварение желудка. Тогда он говорит много глупостей». В этих словах — пронизательность хорошего врача и полная свобода человека, который может себе позволить не склоняться перед авторитетами. Толстой с его дьявольской пронизательностью уловил эту новую независимость прежде застенчивого, как девушка, Чехова, и умиленный взор сменился недобрый прищуром.

Чехов не выносил, когда его называли певцом российских сумерек и маленьких серых людей, он-то знал, что его песня совсем не о том, что она звучна, широка и переливчата, как сама Россия.

Достаточно вспомнить один только рассказ «Воры», чтобы начисто отмести представление о Чехове как о певце серой жизни. И суть тут не в образе огневого конокрада Мерики, написанного с буйной коровинской яркостью, а в жалком фельдшере Ергунове, который, опалившись пьяной, ножевой, утарной ночью в воровском притоне, сбрасывает вериги «порядочности». Чехов приветствует это вольное, бунтарское, проснувшееся в Ергунове; для него лучше любой бунт, чем мертвящий покой обывательщины, серая скука мещанского благополучия. То, что для другого писателя было бы падением Ергунова, для Чехова — пробужде-

ние. Но этот рассказ как-то не замечали, он не укладывался в готовое представление о певце сумеречной России.

А как предвзято читался другой замечательный рассказ Чехова «В овраге». В нем видели призыв к смирению, непротивленчеству. Кроткая, безответная, горестная Липа — ее ребенка умертвила хищница Аксинья — в конце рассказа угощает куском пирога с кашей бывшего свекра, старика Цыбукина, в страшном доме которого свершилась трагедия ее жизни. Но если смыть пелену с глаз, то увидишь совсем иной смысл рассказа: не умилительна, а страшна Липа в безмерности своего смирения перед злом, в безнадежном рабстве духа. Этот смысл подсказан и эмоциональной окраской концовки, да иначе и быть не могло: всю жизнь Чехов настойчиво призывал «выдавливать из себя по капле раба».

Не только известная предвзятость, но и «дробность» формы мешала даже самым умным современникам Чехова до конца постигнуть грандиозность его цели. Чехов в «малой прозе» (его творчеством опровергнут уничижительный оттенок этого термина) решил ту же исполинскую задачу, что Бальзак в «Человеческой комедии». В россыпи его рассказов дана не менее исчерпывающая картина жизни общества, чем в монументальной литературной форме.

Вот какой подвиг совершил худой, длинный, смертельно больной человек, выхаркивающий в носовой платок свои легкие. Он воистину был богатырем духа. Вспомним хотя бы о его поездке на Сахалин, мучительной даже для здорового, крепкого человека. Никто не гнал его по страшному отечественному бездорожью, через непомерные, то снежные, то потонувшие в вешнем разливе пространства на последний край земли, кроме собственной художнической совести, требовавшей сказать свое слово и о самых несчастных России. Без них был бы не полон русский народ, который весь — от мала до велика — вошел в чеховскую энциклопедию порубежья двух веков.

Всеохватность Чехова поражает. Но не менее поражает жизненность и живучесть его героев, над которыми не

властно время. Почему нам так близки его мужики, сотские, унтеры, приказчики, мелкие и крупные чиновники, ведь все эти персонажи давно сошли со сцены жизни? А уж о его интеллигентах-писателях, ученых, студентах, мечтателях, о прекрасных, грустных женщинах, о детях можно сказать прямо: они из нашей плоти, наших дум, нашей боли. Чехов был очень социален, он никогда не изображал человека вообще, рассчитанного на любое время, как это делал порой, скажем, Леонид Андреев, нет, каждый его герой прочно заложен в ячейку своей эпохи, будь это человек в футляре, Гусев, Ионыч, Гуров, Неизвестный, да кто угодно, но есть в них и что-то надвременное, коренящееся не только в общественном, социальном, имущественном положении, но и в извечной тайне человека, делающей его неисчерпаемым. Вот почему они так свободно входят в наши дни, войдут и в грядущее — не как старинные портреты, а как живые к живым.

И в этом превосходство чеховского — этического — отношения к действительности над бунинским — эстетическим.

Пусть запоздало, но следует объяснить, почему в размышлениях о Чехове оказалось столь много Бунина. Мне вовсе не хотелось стравливать величайших русских рассказчиков, но громада Чехова так завалена словами, что к ней не пробиться, и надо найти какой-то угол зрения, чтобы не захлебнуться в общих, отработанных словах. Бунин дает такой угол.

А кроме того, антитеза Чехов — Бунин существует в нашей литературе. До шестидесятых в новеллистике безраздельно господствовал Чехов, все рассказчики, кроме до конца самобытного Андрея Платонова, в той или иной степени зависели от Чехова. В шестидесятые годы вновь прогремел Бунин, он сразу покорила многих и многих не только в цехе малой прозы. Все «деревенщичики», за исключением Василия Шукшина, предпочли описательную манеру Бунина импрессионизму Чехова. И, как обычно бывает, с

приходом нового кумира поблек прежний. Но миновали десятилетия, и надо прямо сказать: той жажды, которую утолял Чехов, великому пейзажисту и кудеснику слова Бунину утолить не удалось. Ибо протяни руку к Чехову, ты коснешься человека, протяни руку к Бунину, ты коснешься цветка, дерева, кружева, сермяги, нежной дворянской или грубой мужицкой кожи, ты коснешься некой вещественности, части бытия, что всегда меньше Человека.

И как же поражает цифра 125! Век с четвертью назад в Таганроге увидел свет младенец, нареченный Антоном. Как это далеко, еще при крепостном строе. Не было ни электричества, ни таблицы Менделеева, поэт пушкинской эпохи Тютчев еще не написал своих самых пронзительных стихов, еще не появились «Отцы и дети», «Записки из Мертвого дома» и «Братья Карамазовы», «Война и мир» и «Анна Каренина», еще рыдала семиструнная гитара Аполлона Григорьева, Некрасов пел о страданиях мужика, а Фет — о медленных майских зорях. Все это давно стало историей, а Чехов — наш современник, он в нашем дне. Это чувство настолько сильно и естественно, что как-то в Мелихове я поймал себя на том, что поживаюсь, как человек, забравшийся без спроса в чужой дом, когда хозяин на минуту отлучился. Эффект его присутствия, пользуясь современной терминологией, был до жути реален. А давно ли в городе Миннеаполисе улицы пестрели афишами: «Иванов», «Дядя Ваня», словно в бывшем Камергерском переулке. «Чему вы удивляетесь? — сказал мне профессор русской литературы. — У нас ставят Чехова куда чаще, чем Шекспира». Вот как нужен сегодня повсеместно наш земляк. И в верховьях Миссисипи!..

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Учитель словесности Елецкой мужской гимназии Варсанофьев ждал гостя. И хотя гость был не столь уж важный — второклассник, подросток лет двенадцати, — учитель не на шутку волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, трудно давалось общение с «белой костью», заносчивыми барчуками, детьми промотавшихся подстепных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов, но и потому, что он хотел представить на суд этого гимназиста свое новое литературное произведение — рассказ «с направлением» из крестьянской жизни. Учитель словесности писал давно и упоенно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты и альманахи, в том числе столичные, и уже несколько раз сподобился видеть свое имя в печати. Два его рассказа появились в «Русском богатстве» и три-четыре на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное — надежду, что он «выпишется» в настоящего писателя и навсегда порвет с рутинной провинциальной гимназии, где впустую расходует силы на равнодушных, тупо-насмешливых недорослей. Уж если начистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Пуды бумаги и ведра чернил извел трудолюбивый, усидчивый сын дьячка, без счета затупил перьев, а результат оставался мизерным. Зато сколько пустого, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда он задавал свой неизменный вопрос: «А мне ничего нет?» Ответы приходили редко, чаще они появлялись на специальной страничке газеты или тонкого журнала — в издевательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчай-

шее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подписчикам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных, толстых журналов приходили ответы, порой весьма обстоятельные, случалось, и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что большее било по сердцу: публичное плоское отношение (он печатался под псевдонимом, но от своих, елецких, не скроешься), умелый, дотошный (всегда несправедливый) разнос в письме, возвращение рукописи с убийственной припиской: «Не подходит» — или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством: он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится, покупал номер за номером ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь, и, вдыхая керосиновый запах свежей типографской краски, жадно искал свое имя, не находил, дергал носом, сморкался в большой клетчатый фуляр и начинал снова ждать и надеяться. Кончалось же все небольшим — дня на три-четыре — запоем. Но бывали же, бывали случаи, когда свинцовую безнадежность прорезал яркий луч солнца и вместо насмешек, сухого отказа, молчания он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпускало в груди, будто разжимался какой-то внутренний сцеп вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он, учительшка из захолустного Ельца, ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко, у них связи, знакомства, репутация, а его бедные творения беззащитны, за ними нет ровным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием, да верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики, ина-

че протянешь ноги и в богатом Петербурге, и в хлебосольной Москве.

Но замечен и назван в перечне молодых литераторов «с направлением» он был лишь однажды критиком солидного журнала «Наблюдатель». Варсанофьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он почитал главным в литературе, и, наоборот, не понимал, когда в письмах-отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди, не ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум, самого Пушкина за такую литературу вон как оттрепал, все лучшие читатели, и в первую очередь молодежь, враз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала.

Нет, он на верной дороге. Рано или поздно столбовая эта дорога приведет его на Парнас российской словесности, да уж больно долог, неторен и одинок путь! Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой, снимал комнату у богатой, глупой и гутливой мещанки, вдовы акцизного, друзей, даже просто знакомых не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали да и относились к дьячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо-пренебрежительно. Им, замшелым, тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на вопросы. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов, ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в собутельниках он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку, карты же в руки не брал.

Не лучше были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили, другие им остро завидовали, третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащем крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности: темному

пушку на верхней губе и по челюсти, ломающемуся голосу, грубым мослам; были и просто тихие, пришибленные мальчишки, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом; грязно-ярким пятном выделялись драгуны из местных, литой купеческой стати; остальные, вовсе лишенные образа, сплывались в бесформенную, тусклую массу. И все эти, такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны, создавшей едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали, из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных — Габорио. Исключение являл один второкурсник, бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсанофьев давно приметил этого ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи — он запоминал стихотворение с первочтения — и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести на счет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся и в отношениях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях, его не ловили в уборной в компании курильщиков. Ничем вроде бы не утвердив себя среди сверстников, он выгадал у них право на обособленность: его не замешивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыгрывать или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Варсанофьев, как только угадал в ученике родственную кровь.

Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики, когда учитель, бойко стуча мелом, писал на доске условие задачи, заглянувший в класс директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает

толстую книгу, к математике явно не относящуюся. Директор ворвался в класс: «Пошел в угол до конца урока!» — «Вы не смеете на меня кричать, — поблднев природно смуглым лицом, произнес ученик. — И потрудитесь говорить мне «вы», я не мальчик». Взбешенный директор схватил с парты книгу (то была «Одиссея»), и оттуда выпал листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии. Отец примчался с далекого подстепного хутора улаживать разгневанного директора...

Барсанофьеву понравился поступок ученика, потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться: как-никак сбежал из бурсы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силенками пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но сознание себя незаурядной, творческой личностью уживалось в нем с внешней приниженностью, вернее сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым желанием, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выискивал на полу близоруко шурящимися глазами, вздрагивал, когда к нему обращались. Такой повадкой не завоеешь авторитета. И желчный директор, и добродушный инспектор держались с ним небрежно, хотя и ценили как знающего педагога. Но этот тихоня и скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничего и никому не спускал, единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера, и тут он действовал столь неуклонно и беспощадно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, но в общем-то добродушных оболтусов. Почти все знали предмет плохо, но послушные ученики выезжали на спасительной троечке, а нарушителей порядка Варсанофьев резал. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отклоняться в коридоре, остаться без обеда, то никому не хотелось за пущенного к потолку чертика, игру в перышки, подсказку или другую мелкую провинность расплачиваться матрикулом. Ведь за этим следовала

домашняя казнь, пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Варсанофьева раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно «позволить». Конечно, его не любили, но про себя. Варсанофьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным, из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге, но не за них самих, а потому, что они представляли несметную рать страдальцев.

Разумеется, Варсанофьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллеги в мальчишке, балующемся стишками, но все же оба кадили одному божеству, и это помогло учителю, изнемогавшему без живого, слышащего уха — коли нету в забытом Богом Ельце чуткого слышащего сердца, — превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсацкую неуклюжесть и довольно ловко, в правильном сочетании любезности и взрослой снисходительности, с не лишенным юмора намеком на их общее служение музам, пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный, худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а ледком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняюще твердый взгляд синих глаз, казавшихся черными от зрачков и тени ресниц, согласился неожиданно просто, и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям, да и зачем, спрашивается, — водку пить, в карты резаться?..

И сейчас Варсанофьев нетерпеливо поджидал гостя, которого уже не мог воспринимать как недоросля, школяра, ибо собственным доверием возвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние бурсацкие годы поверял он по ночам одному другу первые, незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта-прасола Кольцова, но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию, в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух

самому себе не наслаждения ради, а для критической оценки — на слух лучше ощущалось, что вышло и что не вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил, и постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного, с ненавязчивой интонацией чтения.

И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивало безопасности: чем еще обернется эта попытка нарушить тишину добровольного да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по младости лет в дворянский гимназический клуб, но таящим в темных глазах, замкнутом лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь, хоть и без вульгарности иных его однокашников? В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга: учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Отнестись как к ребенку? Но от ребенка не ждут суда. Видеть в нем младшего собрата по литературному делу? Больно много чести юному бумагомарателю. Благо бы, еще в прозе себя пробовал, это что-то говорит о глубине натуры, а стихи, если они не в обличительном роде, под стать детскому греху — знак возрастной неопрятности, минующей с наступлением зрелости.

Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут. Что если сказать больным и отпустить гимназиста подобру-поздорову? Он поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюда и чашки — хотел угостить гимназиста чаем с бубликами, для чего хозяйской прислуге, старой Федосьевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и

упаковочную бумагу и сам поразился, до чего же уютным и пригожим стало его холостяцкое логово: чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах. Вот уже сказала польза от его опрометчивого поступка.

Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградил себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист.

Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсановьев приплясывал вокруг него, раздираемый противоположными стремлениями, хотелось помочь замерзшему мальчонке — февраль после нескольких синих оттепельных дней повернул на жгучий мороз, — но боялся уронить свое достоинство и потому предоставил одеревеневшим пальцам гостя самим справляться с пуговицами и крючочками. Варсановьев делал много лишних, незавершенных движений и смущенно бормотал:

— Вот так!.. Молодцом!.. Сюда, пожалуйста!.. Давайте вместе... Сами справитесь?.. Ну и отлично, Ванечка. Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть, в домашней, разумеется, обстановке? И отчужденно с замерзших, плохо размыкающихся губ слетело:

— Сделайте одолжение.

Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стаивающего инея. Он весь как-то сжался, съжился от мороза и в своей тесной гимназической курточке, с темными примятыми фуражкой волосами, торчащими ушами казался совсем мальчишкой, и учителя поразило, как мог он придавать столько значения его приходу и его мнению.

— Проходите, Ванечка, — сказал он покровительственно. — Здесь тепло, вы скоро согреетесь.

Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладони в коленях, а взгляд его, как

всегда с мороза, с белизны, чуть подослепший, смеркший, с цепким любопытством забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсанофьев обнаружил с удовольствием, что этот пристальный и не совсем приличный осмотр мало его трогает, и не потому даже, что такого уж высокого мнения о своем быте, а потому, что правильно определил себя в отношении мальчика. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсанофьев спокойно рассудил: от горячего да сытного его сразу развезет, в сон потянет, и какой тогда из него слушатель. Пусть лучше так переможется, всему свой черед.

Учитель положил на стол рукопись, и вернулось избыточное вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике хранились различные припасы и стояла початая бутылка портвейна, настоящего «Порто», и бокальчик. Он осторожно, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими, неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу.

— Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы, попадают ли вам петербургские и московские журналы, посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения. — Внушительно произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился — долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь.

Гость сказал, что столичные журналы попадают ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал — скучно, особенно у второго. Варсанофьеву такое заявление — обухом по темени.

— Господь с вами, Ванечка!.. Это же властители дум!

— Не моих, — обронил тот.

— Да ведь они о главном пишут. О самой сути. Все остальное — развлечение, мишура, висюльки на люстре — звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки.

Ладно, спорить до ночи можно. Давайте лучше читать. — Он прочистил горло и начал: — «Климка Хударев и урядник»... «Сия непридуманная история случилась прошлой весной в деревеньке Сухотиновке Н-ского уезда, Орловской области. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала...»

Читая, Варсанофьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшательства прозаической речи: если пейзаж, так в меру (сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а Варсанофьеву хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Руси); если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому не понятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прямо за душу хватало, а когда урядник швырнул облыжно оговоренного Климка в холодную, Варсанофьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного.

Вернувшись, он удивился странному, отрешенно-сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звукам земных голосов.

— Вы не слушали, Ванечка? — В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение. — Вам скучно?

— Я все слышал, Орест Михайлович, — отозвался тот, не меняя выражения лица. — Последняя фраза: «Он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске».

— Это многие гимназисты умеют из тех, что спят на уроках, — повторить последнюю фразу учителя.

Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика, взгляд собрался.

— Орест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту. И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть.

— Простите, Ванечка, вид у вас какой-то...

— А-а?.. Крысы...

— Что-о? — не понял учитель.

— Под полом. Вон там, в углу, где кровать. Учитель прислушался и ничего не услышал.

— Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысиный желудок сильный, толченое стекло запросто переварит.

— Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсановьев, которому представилось, что заскучавший барчук хочет его уязвить.

— А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот.

— Я не замазывал крысиных дыр, — сказал учитель. — И даже не знал, что есть такая замазка со стеклом.

— А чего же так хрустит? — удивился Ванечка. Варсановьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в «утешительную» и сел к столу.

— Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул он.

— Ей бы алмаз растолочь, тогда поможете, — с мальчишеской улыбкой сказал Ванечка, и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости.

— Может, вернемся к чтению? — предложил Варсановьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление.

— О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным. Варсановьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки, каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсановьев с крепнущим чувством гордости убеждал-

ся, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе несчастного Климa естественно, как поток, стремилось к его самоистреблению. Повесился в остроге горемыка. И вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке.

— Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься.

— В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил учитель.

— В литературе, а не в жизни. Я понимаю, так жалостнее. Но веревка или порвется, или развяжется.

— А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсановьев. — Неужто пробовали?

— Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала. Только горло ободрала.

— Довели? — спросил вконец обозлившийся Варсановьев.

— Понесла от кучера. А он женатый.

— Бог с ней... В конце концов, Клим мог повеситься и на пеньковой веревке.

— Откуда в остроге веревка? По ней из окна спуститься можно. Бежать.

— Разве это так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека — он и руки на себя наложил. А все эти мелочи, кому они нужны?

— Ну как же?... — чуть растерянно сказал Ванечка. — Нужны, однако... Иначе ничему веры не будет.

— Так на чем же ему вешаться, черт бы его взял! — вскричал раздосадованный Варсановьев.

— Говорят, и на рукаве повеситься можно...

— Ладно! — Варсановьев вскочил и кинулся за занавеску: нужно было успокоить расхोлившиеся нервы.

— Орест Михайлович, — слышался неожиданно мягкий голос Ванечки. — Пили бы здесь. Там вам, поди, невкусно. Да и облиться можно.

И как в воду глянул — дрогнула рука Варсанюфьева, держащая бокальчик, и посадила рубиновую каплю на белую рубашку. Подглядывает? Издевается?.. Варсанюфьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный затылок со стрелочкой заходящего с виска косога пробора, очень прямую, худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за учителем.

— Мой хозяин Бякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше тоже кулеминское «Порто» пил, а потом перестал. В него, говорит, жженую пробку подмешивают для вкуса и цвета. И оттого изжога, отрыжка. Он теперь у Разуваева в лавке «Крымское» берет. На пятиалтынный дорожке, но без последствий.

Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он там еще увидел? — с тоской подумал учитель. — Паука на нитке, клопа на стене или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем бедном доме?» Варсанюфьев вернулся к столу.

— Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина, поэтому и предпочел делать это келейно.

«И с чего вдруг сунулось на язык семинарское слово «келейно»?» — с раздражением подумал Варсанюфьев и нервными движениями стал скручивать папироску.

— Орест Михайлович, закурите Жукова табаку. Какой прекрасный запах! Отец всегда Жуков табак курит. И совсем как у вас приготовленный — с перетертыми корешками сон-травы, с мятой и медком. Вам его, наверное, из деревни присылают? В городе такого табаку не найти.

— Да уж... — самодовольно начал Варсанюфьев, польщенный тем, что курит один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашками. — Пойдите, — спохватился он вдруг, — а вы откуда знаете про Жуков табак? Я в гимназии никогда не курю.

— Так ведь пахнет, — пояснил Ванечка. «Ан врешь! — обрадовался чему-то Варсанюфьев. — Вот и попался, который кусался! Я последний табачок на той неделе скурил и даже

упаковку выбросил. А после Федосьевна клопов керосином морила. Не может тебе Жуковым табаком пахнуть, да еще с приправами. Ловок больно! Велика хитрость: вызнать все про человека, а после мага-чародея из себя строить!»

— Нет, Ванечка, не пахнет у меня Жуковым табаком. Давно весь искурил.

— Да что вы, Орест Михайлович! — Ванечка чуть конфузливо улыбался: он не понимал игры взрослого человека, вздумавшего невесть зачем запирается в таком пустом деле. — Он же под кроватью...

Не спуская с Ванечки пытливого взгляда, Варсанофьев прошел к кровати, нагнулся, сунул туда руку, пошарил и вытащил картуз, на четверть полный Жуковым табаком.

— Как же я забыл о нем?.. — подавленно проговорил учитель и с некоторым испугом глянул на странного гостя.

— Можно, я вам скручу? — попросил Ванечка.

— Мне, право, неловко...

— Приятное ощущение, когда крутишь, — сказал Ванечка, исключив тем самым любезность из своего предложения, и посучил пальцами.

— Не балуетесь? — поинтересовался Варсанофьев.

— Пока нет.

Этот мальчик удивительно быстро, без задержки менял доверительный мальчишеский тон на холодно-отстраняющий. Он придирчиво следил за тем, чтобы собеседник не переступил какой-то черты. А собственное поведение он так же внимательно наблюдает? Его замечания по поводу крыс, портвейна и даже табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания задеть, подковырнуть, этот барчук не избалован и совсем просто относится ко всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей Неурожайке или как там их вотчину. И все-таки чуть приметные одергивания Варсанофьев ощущал то и дело: в смене тона, взмахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях, проскальзывающих по смуглому лицу. Это раздражало, хотя придраться было не к чему.

— Спасибо, — сказал он, принимая ловко скрученную папироску. — Давайте дочитаем. Осталось совсем немного.

А сам мучительно соображал: нет ли на облитых желчью последних страницах какой-нибудь еще «мочальной веревки», которую только и заметит въедливый и хладнодушный слушатель. Вроде там все в порядке, а впрочем, кто знает. Теперь он ни в чем не уверен. Но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать, не останется времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не сосредоточивалось внимание на второстепенных подробностях, Варсановьев дочитал рассказ и, хоть настроение было сломано, почувствовал его горестную силу. Но, страшась молчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться насчет самовара.

Маленькая пробежка и легкая перебранка с Федосьевой помогли ему собраться. Вернувшись назад, он спросил почти весело:

— Ну, как? — и разорвал мочальную веревку, на которую были нанизаны золотистые бублики.

— Хорошо... Не хуже, чем у Златовратского, — улыбнулся Ванечка.

Его улыбка ничуть не задела Варсановьева, а слова обрадовали. Пусть этот недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсановьева, не хуже, по мнению этого маленького эстета, то чего же еще желать? Он не мог сделать ему большего комплимента, и несколько минут Варсановьев не испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие, теплые волны ходили внутри его, плавно и нежно перекатываясь через сердце.

Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и каждому? Нет того, чтоб удовлетвориться признанием своих единоверцев и единомумов, хочется любви, ну, вот столечко, и от тех, кто их любить не может. Более того, именно от чужих и чуждых, даже враждебных, томительно хочется хоть крошечного признания,

хоть оговорки ласковой. Варсановфьев давно заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка, верно и сам того не сознавая, принадлежит к недружественному лагерю. К тому, где любят чистое искусство, — в рот им дышло! — кадят Фету и Полонскому и в грош не ставят «направление». Он уже получил подарок, но не желал им ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам. И самый лучший способ — это поговорить о частных недостатках, пусть еще за какую-нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдаст должное глубине и значительности целого.

— Ну, что я еще наврал? — спросил он с подкупающим добродушием.

Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он словно колебался: стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами. Варсановфьев не прерывал затянувшегося молчания. Вздохнув, мальчик сказал:

— Там у вас весенний ландыш описан... и сказано: горький запах. Какой же он горький? Это вкус у ландыша горький, если его бубенчик разжевать. У раннего ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий-свежий!..

— Пойдите, Ванечка, — засмеялся Варсановфьев. — Как это запах может быть влажным и еще водянистым?

— Не знаю... — Что-то растерянное появилось в лице мальчика. — Может... — И тихо, но твердо он сказал: — Да, кисловатый, влажный, водянистый, свежий.

— Да ведь это тавтология: влажный и водянистый, — посмеивался Варсановфьев.

— Какая тавтология?

— Вы еще не проходили. Повторение. Точнее, определение, повторяющее в иной форме ранее сказанное.

— Так вот же — в иной форме! — обрадовался мальчик.

— Разошлись, Ванечка, разошлись!.. Ну, что еще?

— Еще?.. Помните, мужики-порубщики дерево валят?

Урядник видит, как ствол зашатался.

— И что?

— А ствол не шатается. Дерево верхом падает. Вы смотрите на него, а оно вдруг как двинется вперед верхушкой. Грозно, страшно! — Он передернул плечами.

Варсановьев вскинул брови и ничего не сказал, похоже, до него просто не дошло. Мальчик опять вздохнул.

— У вас Клим только умер, а глаза у него запавшие и веки белые.

— Все так.

— Нет, вначале глаза у покойников выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее остального лица.

— Ну, это, братец... — учитель вовремя поправился, — братец вы мой Ванечка, фантазии! Покойник покойнику рознь. У одного так, у другого иначе.

— Да нет же! — упрямо сказал мальчик. — Глаза не сразу западают, и веки темные. Еще там сказано, что головка у ласточки черная. А она сине-черная. И расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный.

— Это, Ванечка, вам все синит! На то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы синеземом назывался.

— Орест Михайлович, вы правда не видите, что черноземная грязь иссиня-черная? — И словно бы жалостливое удивление пробилось в его голосе.

— Нельзя видеть то, чего нет, — сухо сказал учитель. — Придумки, Ванечка, игра ума.

Федосьевна внесла ключом кипящий самовар. Поставила на поднос, да неловко, — из-под неплотной крышки плеснуло крутым кипятком и чуть не обварило руку учителя, хотевшему помочь старушке.

— Экая неловкость, — сказал он в сердцах. — Вот уж верно: до старости дожила, а ума не нажила. Ворча, Федосьевна удалилась.

— Зря вы ее так, Орест Михайлович, — морщась, сказал Ванечка. — Она же почти слепая.

— Слепая?!

— У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе запыл.

Варсанофьеву вспомнились многочисленные и почти необъяснимые неловкости и промашки старой Федосьевны, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить, и понял с покорной грустью, что маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток: небось и у ласточки голова черно-синяя, и синее жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что от него останется?.. В комнате совсем померкло. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чая, подвинул сахар, тарелку с бубликами.

— Угощайтесь.

Тот погрел ладони о горячий стакан, насыпал сахару, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто, и все это с таким вкусом и смаком, что зависть брала. Материальный мир был ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на пять человеческих чувств, и, несомненно, он получал о нем больше сведений, чем другой человек, но ведь это не главное, это низменное, и беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсанофьев в таком духе и высказался, но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел его черед не понимать собеседника. И, уже злясь, учитель спросил:

— А вам от товарищей не попадало?

— За что?

— Больно вы приметливы, Ванечка. Товарищи не считают, что вы задаетесь?

— Не знаю. Меня это не интересует.

— Побить могут, — с надеждой сказал учитель.

— Пусть только попробуют! — Темные глаза по-волчьи сверкнули. — Столбового дворянина тронуть? Не советую.

Полезла, полезла сословная спесь! Как это у Щербини? «И предки ваши тем знатнее, чем больше съели батогов». Что-то в этом роде. Но оставим цитату при себе. Он и так

волчком глядит. Подумаешь, столбовые!.. Дворяне от столба. Но все эти сарказмы Варсановьев сохранил в душе, а вслух сказал:

— Я ведь просто так... Вы же понимаете, что такое побои для бывшего бурсака? Барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц.

Ванечка рассмеялся — сравнение понравилось, и вернулась доверчивая интонация.

— Отец раз хотел мне уши надрать. Мы с ним стояли весной на крыльце, вдруг слышу — сурки свистят. Отец посмотрел искоса: ты что же, сурка за версту слышишь? Конечно. Врешь, негодяй! Не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. Нет, говорю, свистят. Он крикнул, чтоб подали коня. Вскочил в седло. Если наврал, уши оборву. И ускакал. Вернулся тихий, смущенный. Прости, сын, вышли сурки из нор, играют, свистят.

— Занятно, — сказал Варсановьев. — А все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает, нет, не сделает.

— А я не собираюсь в писатели, — удивленно сказал Ванечка. «И слава богу! — подумал Варсановьев. — Не то, поди, все литературное дело зашатается».

— Но вы же пишете стихи. Может, читаете? — Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану. — Не настаиваю... Наверное, это правильно, что вы не помышляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы писать, — пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. Вы сказали о моем рассказе: хорошо. Но ведь вы не полюбили моего Клима, его судьба вам безразлична?

Ванечка не ответил. Он макал бублик в чай и с наслаждением откусывал размоченный кончик.

— Ведь не полюбили? — настаивал Варсановьев. — Скажите прямо, я не обижусь.

Мальчик молча кивнул.

— А почему? — обиженно спросил автор.

— Какой-то он... общий...

— В том-то и штука! — вскричал Варсановфьев. — Это обобщенный Клим. Тип современной жизни. Литература должна создавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем.

— Но я не понимаю этого! — сказал мальчик с досадой. — У нас есть на хуторе Клим, его я люблю. Он сутулый, волосатый, добрый, от него вкусно пахнет: хлебом, луком, квасом. И руки у него большие, теплые, шершавые. Он меня на лошадь сажал, на меринка Копчика. А про этого вашего Клима я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой разнесчастный. Мало ли несчастных на свете! И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник, у него жена чахоткой больна и дочь старая дева.

— Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чахоточной женой? Нужен обобщенный образ...

И Варсановфьев пустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры, но все, что он не раз упоенно проговаривал в себе, как-то странно обезценивалось присутствием этого мальчика, и учителю самому стало скучно. «А у ландыша запах кислотный, влажный, водянистый, свежий», — вспомнил он, и в груди сжалось.

— Хотите, я вам одну умную книжицу дам, там все изложено. Только, Ванечка, никому ни-ни!.. Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой. «Я, кажется, забыл салфетки, — спохватился Варсановфьев. — Ну, и черт с ними!» Он достал с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплете и положил на стол.

Ванечка почти сразу стал прощаться. Варсановфьев его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось. Хуже — получилось что-то совсем другое, во все ему не нужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнение в своих силах навеялось, И не

поймешь почему. Плюнуть и забыть? Чепуха все это, или, как говорил благочинный из сельской поповки: «епуха» — это распоследняя чепуха, чепуховее и быть не может. «Епуха! — повторил он про себя, скидывая чары. — Я на верном пути. Усердие, труд, вера в свою правоту — и я буду в Петербурге, меня признает критика и вся читающая Русь. А эта Богова нелепица с нюхом собаки, слухом соловья и зрением ястреба заглохнет в елецкой глуши, проедая и пропивая остатки промотанного отцом и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Врет он, что не думает о литературном поприще. Думает небось. Только пустое это, коли нет направления. Отыграла, отзвенела, отсверкала дворянская Русь, другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступись, дай дорогу, дьячков сын Варсанюфьев грядет!.. — Вот так всегда действовало на него кулеминское 'Порто', принятое на очищенную: к воинственному воспарению подымало дух. — Надо взять себя в руки, а то впрямь невесть чего нагородишь».

Полутьма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Варсанюфьев выскочил следом за ним на крыльцо и оказался в огромной звездной, звенящей морозом ночи.

— Эк же играют серебром ночные светила! — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба.

Прямо перед ними над черными крышами зареченских лачуг лучилась переливчато яркая ограненная звезда.

— Смотрите, Ванечка, какая звезда! Прямо-таки чудо Вифлеемское!.. Давайте высчитаем, что это за диво дивное...

— А чего высчитывать? — несколько удивленный этим витийством, сказал мальчик. — Сириус... Любимая звезда моей матери.

Он ушел, а Варсанюфьев кисло подумал, что в каком-то смысле этот барчук, белоручка, не больно преуспевающий

в науках гимназистик, знает о мире больше, нежели он, педагог и литератор. «И на здоровье!» — решил Варсанофьев и, просквоженный стынью, поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала забытая Ванечкой умная книга...

На другой день Варсанофьев чувствовал себя прескверно. Он плохо спал, его мучила изжога, и даже не от кулеминского «Порто», в которое, по любезному сообщению всезнающего Ванечки, подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка, а от всего неудавшегося вечера. То была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь.

В узком, лоснящемся на локтях и спине фраке он вошел в класс, пряча глаза и горбясь, неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес переключку, не подымая головы от журнала и сцепив домиком над бровями бледные, чуть дрожащие пальцы. А закончив переключку, не переменял позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отличаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чующего неизмеримо больше, чем три десятка наивных и простодушных оболтусов.

Дурное, мстительное чувство, слившись с нутряным жжением, завладело учителем. Литература, несомненно, искадила личность Варсанофьева, человека по природе бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он углядел своего мучителя на обычном месте, у стены. Ленивый и неусердный, Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на «камчатке» добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу. Фета небось и Полонского!.. А ведь уверен, наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда

ему готовиться было? Домой вернулся поздно и уж, верно, не стал корпеть над уроками любящий поспать барчук — усадебная привычка, обломовщина! — только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукомойника с медным носиком, утерся пахнущим цветочным мылом полотенцем и — в постель, в бездонную сладкую глубину отроческого сна. «Что это со мной? — встревожился Варсанюфьев. — Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли наслал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур меня, чур!..»

Варсанюфьев еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнуло и напряглось тонкое, большеглазое лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага, не выучил стихотворения Никитина! — злорадно подумал Варсанюфьев и тут же спохватился: — Постой, постой! А почему он знает, что я его вызову? Не должно такое ребенку в голову впасть. Это же низко — вызвать после вчерашнего. Выходит, он меня в неблагоприятном поступке подозревает? С какой, спрашивается, стати, разве дал я ему хоть малейший повод?.. Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка, как мог он догадаться? Я не смотрел в его сторону, всего раз, может, глянул из-под руки. Да ведь ему и того достаточно. Небось и легкую испарину на лбу углядел, мне правда лоб слегка увлажнило, когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом ножной запах учуял — подмокают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал: откашлянул, дыхание перевел, желудком екнул, от него разве что укроется! Ему бы в следователи пойти — цены б не было? Фу ты, черт, будто голый стоишь! Неужто можно так читать окружающее?.. Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью, — это постижение».

А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-за парты: ногу левую подтянул и согнул в колене, а правую в проход поставил для упора, чтобы сразу встать, как только

его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечами поводит, разминается...

«Вот возьму и не вызову, наблюдательный господинчик! Тем более хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабаните за мое поживаешь! А мы и не попросим вас стихов читать, мы вас о направлении никитинской поэзии попытаем, мы вас насчет обобщенного Клина прощекочем». И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Варсанюфьев торопливо, каким-то враз просевшим голосом вызвал:

— Бунин Иван!..

СМЕРТЬ НА ВОКЗАЛЕ

Лучше было бы остаться дома. После утреннего чая, когда Иннокентий Федорович встал из-за стола и церемонным поклоном поблагодарил жену, ему нехорошо — внезапно и как-то слишком уж бесцеремонно — сдавило сердце. Он побледнел, закрыл глаза, проглотил сухую, горькую слюну и сжал пальцами спинку стула.

— Что с тобой? — испуг жены отдавал усталостью. Она давно устала бояться за него, устала от его хрупкости, замкнутости, вежливости, за которой проглядывало ровное, спокойное отчуждение, устала от невольного и неослабного давления сильной и запертой на засов внутренней жизни человека, с которым, если верить церкви, была единой плотью и духом единым.

Приступ минул раньше, нежели жена успела накапать лекарство в рюмку. Сердце вырвалось из тенет, как птица из кулака, и обрело волю. Анненский отпустил спинку стула, ласково, но решительно отстранил руку жены с пахучим лекарством и прошел в кабинет. Сердце билось чуть сильнее положенного, но это было даже приятно. Оно трудилось, как старый, износившийся, но все еще прочный, приработавшийся насос, вгоняя кровь в узкие каналы артерий и вен. Анненский не испытал страха, он давно, еще в юности, узнал, что у него неизлечимо больное сердце. Тогда открытие это было мучительно, но с годами он успокоился. Он жил как все, не думая о своем ущербе, и если избегал излишеств, то не из боязни или слабости, а по здоровой уравновешенности, брезгливо отвергавшей дурман страстей, вина и никотина.

Больное сердце не мешало ему любить и подчинять своей воле людей, работать до изнурения, упоение творить и плакать над стихами. А вышагнув за половину житейского пути, он твердо уверился, что ему отпущен не мотыльковый, а достойный человека срок, и стал находить даже известное преимущество в хвори, населяющей от рождения его грудную клетку. Он отличался от людей, не имеющих сердечной болезни, лишь тем, что знал, от чего умрет, здоровым же такое знание не дано. Это освобождало от многих страхов. Ну хотя бы — ему не грозил рак. После «Смерти Ивана Ильича» самая мысль о раке стала нестерпимой. Он умрет опрятно и быстро, не измучив ни себя, ни близких, ни сиделок отвратительным, медленным распадом плоти. Истинный классик, Анненский выше всего ценил форму, строгость линии, соответствие сути. Классически строгая жизнь, классически строгая смерть. Он умрет от сердца — это его устраивало. Не от желудка, не от почек, не от печенки и селезенки, не от изъеденных чахоткой легких, от сердца, как и следует умирать жившему полным сердцем. У того, кто умел скорбеть скорбями своего века, сострадать не только близким, а всем страждущим, кто мог заплакать над неведомой старой чухонкой, потерявшей сына, и даже над деревянной куклой, которую потехи ради бросают в водопад Баллон-Каски, сердце должно рано или поздно разорваться.

— Но только не сейчас? — громко произнес Анненский в пустоту кабинета.

Он сказал это строгим, внушительным и глубоким голосом, каким обращался к гимназистам Николаевской гимназии в пору своего директорства.

Этот голос безотказно действовал на гимназистов, даже самых тупых, развинченных, циничных, затрагивая те слои души, которые не бывают до конца очерстевшими в молодых существах. Анненский коротко, по-детски фыркнул. Подобную разоруженную усмешку он позволял себе лишь наедине с самим собой. Сколько же в нем самообладания

и самоуважения, если к судьбе, року, тайным силам, отмечающим человеческий век, он обращается словно к нашкочившим школярам?

И дабы окончательно задушить в вырвавшемся из груди заклятье мыший писк испуга, он спокойно и задумчиво повторил: «Нет, только не сейчас». Сегодня наконец-то должно было выйти решение о его отставке с казенной службы. Тридцать пять лет жизни отдал он отечественному просвещению, пора и на свободу. Впрочем, с просвещением он не порвет окончательно, будет и впредь преподавать древние языки на Высших женских курсах Раева прелестным, нежным, юным существам, безраздельно принадлежащим настоящему. Но с инспекторской деятельностью покончено навсегда. Следовало бы раньше это сделать, но казалось дезертирством уйти с поста, когда классическое образование подвергается столь ожесточенным нападкам. Слепцы! Они думают, вытеснив гимназии реальными училищами, переделать русского человека в сугубого реалиста и практика, который немецкую обезьяну наново изобретет. Конечно, глупо в двадцатом веке отвергать науку, инженерию, насущную потребность для людей точного знания. Это нужно, и это будет, независимо от того, хотим мы или нет. Но речь идет о другом — о создании ведущего человеческого типа нации, воплощающего ее духовность. Классическое образование сформировало Пушкина с его ясным, дисциплинированным, уравновешенным умом, с его гармоничной, высокой душой. Отмените классическое образование — и прощайтесь с мечтой — не о новом Пушкине, второго Пушкина быть не может, но о пушкинском типе человека и художника, до дна русском, но освобожденном от национальной косности и распущенности, равно и от узкого, алчного практицизма, — девятнадцатый век воочию показал, что у славянской горлинки быстро отрастают хищные когти. Коромысло легко плечам, когда оба ведра полны. А если одно пусто, ох как перекосит, переломит девицу-Россию! С отменой классического образования если и

не вовсе погаснет, то поблекнет скорбно русская интеллигенция. Технический интеллигент — нонсенс. Интеллигент — это Сократ, Сенека, Цицерон, а не специалист по паровозным топкам.

Завтра он велит отдать старьевщику свой порядком заношенный вицмундир. Действительный статский советник Анненский — отныне частное лицо. Немного педагог, немного журнальный критик, впрочем, не исключено, что он примет предложение возглавить критический отдел «Аполлона», немного переводчик, во всяком случае, до выхода всего русского Еврипида, и поэт, поэт, поэт! Прежде всего поэт, наконец-то поэт? Будет предан забвению Ник. Т-о — бездарный псевдоним, под которым вышла его единственная тощая киндяка стихов «Тихие песни», — и с открытым лицом на суд читающей публики выйдет Иннокентий Анненский. «Кипарисовый ларец» — он назвал свой новый сборник в честь потемневшей от времени, полированной шкатулки из кипарисового дерева, с вензелем на крышке, где хранились его рукописи, — вручен утром сыну Валентину для приведения в порядок и подготовки к печати.

На сына можно положиться, он человек аккуратный, воспитанный в строгой дисциплине, к тому же и сам не чужд муз. «Кипарисовый ларец» в надежных руках. Словом, начинается новая жизнь... Анненский улыбнулся, затем негромко рассмеялся, приложив пальцы к полным, под мягкими усами, губам. Ему вспомнилось диккенсовское: «Утешительно было слышать, что старый джентльмен собирается начать новую жизнь, так как было совершенно очевидно, что старой ему хватит ненадолго». Как и всегда, точно воспроизведенная в уме цитата доставила Анненскому удовольствие. Радовала сохранившаяся свежесть памяти, да и вообще у него было пристрастие к цитированию — и к буквальному, и в духе перифразы. Разве не раскавыченной цитатой из пушкинской «Телеги жизни» были последние строки стихотворения «Опять в дороге»? А разве сам

Пушкин не процитировал старого, всеми осмеянного пиита, князя Шаликова: «Ямщик лихой, седое время?»..

Подобные легкие, необязательные и, в сущности, пустые мыслишки нередко навещали Анненского после сердечного приступа или когда надвинувшаяся боль, словно отогнанная ветром грозовая туча, проходила стороной, и были выражением его скромной радости, что позволено жить дальше. Вообще же Иннокентий Федорович не давал попусту шалить своему мозгу, всегда нацеленному на серьезное размышление либо творчество.

За окнами кабинета тускшел серый, с прижелтью, куцый декабрьский денек, что выгорает, так и не вспыхнув, часам к трем пополудни. Наступала самая печальная пора в Царском Селе. Сиротливы, голы и черны деревья, съезжались настывшие, но еще не забранные льдом воды, закрыты в деревянные ящики мраморные парковые статуи. Но грех жаловаться. Осень по гнилому петербургскому климату выдалась на диво. Дожди отслезились в начале ноября, раз-другой необлетевшую жестяную сирень и пухлые травы подсолило утренником, затем установилась сухая, острая от ровного натяжения северо-восточного ветра погода, температура держалась около нуля. Случалось, в серо-сизой слоющейся массе облаков распахивались голубые расщелины, и тогда вспыхивал золотом купол Екатерининского собора, оживали тяжелые, замороженные воды каналов и прудов, красиво смуглела поляя листва у поребрика тротуаров. Но голубизна быстро задерживалась, тусклый сумрак вновь окутывал улицы, деревья, воду, небо. И мучительно хотелось весны, не мартовской черно-ветровой, а теплой, чистой, майской, с лопнувшими почками, нежной травой, блистающими чуть не до полуночи днями. Что ж, когда-нибудь весна придет, и он встретит ее небывало свободный, раскрепощенный от службы, бумаг, нудных разъездов по непролазной Вологодчине, промозглому Олонецкому краю, — поэт, всю поэт, а не поэт-чиновник, стыдливо маскирующий самое важное в себе.

А среди дня ему вдруг почудилось, что не для него придет эта весна. Он и сам не знал, с чего началось. Он только что выправил одно из самых своих любимых стихотворений — «Старые эстонки» и с удовольствием повторял вслух превосходное — теперь уже по самому строгому счету — четверостишие:

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовью!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней?

Большая совесть! Она никогда не давала покоя Анненскому, казалось бы столь надежно защищенному от толчков жизни своими классическими пристрастиями. Но этот классик, этот штатский генерал был человеком с содранной кожей. Кровавый 1905 год не выболел в нем, стоящем, по близорукому мнению окружающих, над схваткой. Старшеклассники его гимназии участвовали в молодежных волнениях. Он стал их защищать и поплатился педагогической карьерой. Его лишили директорства и отстранили от преподавания. Но совесть не приняла этой подачки. В душу, в мозг, в сон неотвязно стучались старые эстонки, матери расстрелянных в Ревело, на Новом рынке, молодых рабочих. Что он Гекубе, что она ему? — это не риторика, а изначальный вопрос человеческой этики. Ответ был в самом важном и мучительном его стихотворении-признании. Палачи могут крепко спать, они не ведают, что творят, но нежные, кроткие, тихие, все понимающие люди, не способные сжать в кулак тонкие пальцы, дабы помешать злу, — вот кто виновен? Сегодня наконец-то чувство стало словом. Видно, обострившаяся сила переживания и дала эту тяжесть в грудной клетке.

И прошло какое-то время, прежде чем он убедился в грубой физической природе боли. Грудобрюшную преграду будто зажало в тиски. Неужели и туда отдает сердце? Он знал ноющую боль в руке, лопатке и под лопаткой, но сейчас творилось что-то новое и страшное. Его словно за-

перли в этой боли, как в тесном чулане, — духота и безвыходность. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку и далеко вытянув под стол длинные ноги, в неестественном, мертвом натяжении восковой фигуры, но не мог изменить позы. Малейшее, даже не резкое движение тут же порвет тот слабый сцеп внутри его, которым он еще держится среди живых. Его единственное спасение в этой странной, неудобной, подсказанной инстинктом жизни позе. Он видел со стороны манекеню спесь своей нелепо вытянувшейся фигуры, но удержался от усмешки, считая ее дурным тоном. На последнем пределе приличествуют серьезность и тишина. Вот почему он и на помощь не позвал...

Его снова помиловали. Сердце билось прерывисто и гулко, он слышал его не в себе, а как бы со стороны, и это было неприятно. Но окутанный ранним сумраком кабинет вновь принадлежал ему со своими темными углами, поблескивающим стеклом книжных шкапов, с креслом-качалкой и кожаным продавленным диваном, с бронзовыми и гипсовыми фигурками античных богов и героев, с ученической копией «Прощания Гектара с Андромахой», со старым, траченным молью ковром на полу. Когда приступ брал в тиски, привычная обстановка смещалась, отступала, становилась чужой, холодной, почти враждебной. Возвращение дружественной сути окружающих вещей было знаком отступления болезни.

Но Анненский не торопился нарушить свой восковой покой. То, что случилось с ним сейчас, не было похоже на все прежние атаки, он имел дело с новым страшным противником и хотел до конца выведать его намерения. Наконец очень медленно, словно шарнирный состав его не имел единого управления, он согнул одну ногу, потом другую, выпрямил корпус, оперся о подлокотники кресла и встал. Сделав несколько глубоких вдохов, он так же медленно принялся одеваться.

На занятия женских курсов можно было ходить в обычном пиджачном костюме, но Анненский считал это распу-

щенностью. Он сохранял в одежде ту же строгость, важность, почти торжественность, как и в бытность свою директором Николаевской гимназии: черный сюртук с чуть вздернутыми плечами, белый жилет, пластрон, черный шелковый галстук. Одну лишь вольность позволял себе Иннокентий Федорович — не мешал седой, чуть выющейся пряди зачесанных назад волос падать на высокий, без морщинки лоб. Поправляя перед зеркалом эту прядь, он почувствовал, что лоб его влажен. Достал крепкий мужской одеколон, протер лоб, виски, крылья носа и пальцы. То ли освещение виновато: сероватая хмарь, сочившаяся из окон, мешалась с тусклым светом настольной керосиновой лампы на ониксовой подставке, но Иннокентия Федоровича поразила бледность, даже какая-то синюшность его крупного лица. Вообще-то у него была светлая кожа, но, конечно, не такого мертвенного цвета с иссиня-желтыми тенями под глазами и на висках. Наверное, лучше остаться дома. Но это не по-спартански. Если он и успел кое-что сделать, ну хотя бы перевести всего Еврипида, при своем слабом здоровье, негодном сердце, истрепанных нервах, так только потому, что не давал себе спуска, не считался с приступами боли, головокружениями, опустошающими схватками физического и душевного бессилия. Он надевал доспехи и, клонясь под их тяжестью, выходил на ристалище, на бой, жестокий, беспощадный и заранее проигранный. Впрочем, сам бой уже был выигрышем. К тому же он никогда не признавал себя побежденным. Так было, когда его изгнали из Николаевской гимназии, так было после злобных издевательств и скупых, сквозь зубы, полупохвал, встретивших «Тихие песни», так было, когда терялась любовь и дружба.

Преодолевать себя приходилось постоянно, в большом и в малом. Он всегда присутствовал на воскресной молитве в гимназической церкви, даже когда очередной приступ атаковал сердце. Он держал свечу в правой руке, и ни разу не удалось подловить острым, пронырливым, всевидящим

глазам гимназистов, чтобы дрогнула свеча в бледной директорской руке, колебнулось копыцею пламени. Так недвижимо выстаивал он полтора часа, душных, страшных полтора часа, и тень спартанского юноши, которому лисица выгрызла внутренности, витала перед затуманенным взором.

«А может быть, я все же сильный человек? — думал Анненский, разглядывая в зеркале свое большое, просторное лицо с тяжеловатым носом, пристальными, печальными глазами и пухлым ртом, не способным упрятать свою мягкость и доброту под густыми, воинственно закрученными кверху усами. — Черт возьми, вся сильная, четкая лепка лица сводилась на нет этим розовым губошлепьем. Но ведь мой рот свидетельствует скорее о деликатности и доброте, нежели о безволии и слабости», — уверял он себя. Иннокентию Федоровичу нужно было сейчас верить в свою силу, ведь и Гете и Толстой, знавшие о человеке больше всех остальных жителей земли, считали, что болезнь кладет на лопатки лишь слабых, безвольных и распущенных.

И все же он не решил до конца, поедет ли на курсы. Оставил себе маленькую лазейку, но эту лазейку, сама того не желая, закрыла жена.

Она перехватила его в передней, где он топтался возле вешалки, не зная, что надеть: теплую ли шинель на вате или легкое демисезонное пальто, калоши или глубокие ботинки, меховой пирожок или мягкую шляпу, а по существу, все еще раздумывая, ехать в Петербург или остаться дома и лечь в постель.

— Ох, не надо бы тебе ехать, — сказала жена, зябко кутаясь в пуховый оренбургский платок, хотя в доме было тепло, даже жарко от хорошо натопленных калориферных печей. — Ты скверно выглядишь.

Давно уже между ними существовал лишь контакт привычки, утреннего чаепития, обеденного стола и семейных ритуальных жестов, лишенных при внешней сердечности какого-либо содержания. Иннокентий Федорович

сперва грустно, затем твердо-равнодушно уверился, что жена то ли не посмела, то ли не захотела последовать за ним туда, где дуют черные ветры, и жестко отвергал всякие с ее стороны попытки коснуться его навсегда отделившегося существования. Жена не постигала его хрупкой и вместе выносливой сути, следовательно, не могла знать, что ему вредно, а что полезно. И если она говорила: останься, то правильной было ехать. К тому же в мозгу ясно вспыхнул сонм молодых, горячих девичьих лиц, внимательных серых, голубых, карих и черных глаз, румянцем опаленных щек, на него повеяло ароматом юности, доверчивости, навивной влюбленности, и все это было куда лучшим лекарством для его больного сердца, нежели пахучие микстуры, компрессы, вялые домашние заботы и появление глупого, самоуверенного, пропахшего трубочным табаком немца-врача, которого он по Достоевскому называл Генценштубе, хотя звался тот как-то коротко — Шульц или Штольц.

— Я не умею манкировать своими обязанностями, — сказал он сухо и снял с вешалки темное драповое пальто.

— Ну хоть за извозчиком пошлем!..

— Не надо, — отмахнулся он.

Но в дверях острое сострадание к чужой малости, то мучительное сострадание, которое породило самые щемящие стихи, заставило его обернуться к увядшей, ненужной и безвинной женщине и кивнуть ей с ободряющей улыбкой.

И она улыбнулась растерянно, не поняв жеста добра, как не постигала и отчуждения. Анненский вышел с болью в душе. «Бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей».

Сумеречная улица в черных костлявых деревьях, в слабом шорохе иссохшей листвы приняла его и растворила в своей пустынности и печали, в ознобливой незащищенности. Он как-то разом обесценился, стал полым листом, гонимым ветром. Город, так прочно и серьезно ставший у каприза двух императриц, ни от чего не защищал, не га-

рантировал сохранности. Вся его бюргерская каменная основательность, уверенность под боком императорского обиталища, уют, нарядность и опрятность были бессильны перед ветром, дующим с болотистых равнин, перед дымными тучами низкого чухонского неба, перед черными сквозняками мироздания, ледящими враз съезжившуюся душу... Извозчика бы?..

Забраться в укромное нутро пролетки с поднятым вискантином и клеенчатой полостью, в запах мокрого сукна, кожи, лошадиной шерсти, свернуться в своем тепле, потерять эти нищенски обобранные деревья, грубый ветер, серое небо и вновь поверить в свое право быть. Но тщетно напрягал он зрение, пытаясь высмотреть в мгlistых даях прямой, долгой улицы ссутулившегося на козлах «ваньку». Наверное, все извозчики сгрудились у вокзала или торговых рядов, где легче было выстоять ездока в этот глухой пустынный час. Нет, не будет ему избавления за три гривны, катись по панели, как полый листик, глядишь, и докатишься. И он покатился, пряча нос в воротник пальто, отсекая ветер углом плеча и ухватывая глазом лишь квадраты каменных плит, которыми был выложен тротуар.

На углу Бульварной улицы, людной, говорливой, крепко принадлежащей обыденности и уж никак не первоначальному хаосу, он притормозил бег, собрал себя нацельно и вновь стал Иннокентием Федоровичем Анненским, эллинистом, литератором, «действительным статским советником», как определил его за спиной — с ноткой почтительности — чей-то непрокашлянный голос.

Его успокоившаяся было душа сразу вскипела. Нет ничего удивительного, что прохожие узнают его, царскосельского старожилы, бывшего директора мужской гимназии, через которую проходили отпрыски всех уважаемых людей города. Но знает ли его на самом деле хоть один из всех этих торопливо пробегающих мимо людей? Им знакомы его лицо, фигура, походка, его пальто, шляпа, трость, ведомы чин и занимаемое положение. Кому-то известны и

другие, внешние обстоятельства его жизни, ну, хотя бы почему он лишился директорства, и редкий обыватель не осуждает его за глупое донкихотство. Допустимо даже, что у кого-то имеются на книжной полке его переводы с древнегреческого, или «Книга ограждений», сборник критических статей, или номера «Аполлона» с его стихами, но найдется ли хоть один человек в Царском Селе, которому вспало бы назвать его поэтом? Нет, нет и нет! Одни по неведению, другие по невежеству, которое им самим кажется строгим вкусом, высокой требовательностью, отказывают ему в звании, поднятом в России на небывалую высоту гением Державина, Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева. Ах, господа, господа, как же удивитесь вы, когда поздно или рано узнаете, что никто — каламбур Ник. Т-о! — иной как ваш тихий царскосельский сосед поднял кубок, небрежно оброненный великим Тютчевым, и наполнил молодым вином. В поэзии русской звенели и звенят, пусть на новый лад, лишь кубки Пушкина и Лермонтова да некрасовского кружка, а тютчевский фиал забыт. Впрочем, разве умели вы ценить Тютчева при жизни, разве отдали посмертно Богу богово? Его могила на Новодевичьем кладбище заброшена, там не найдешь и цветочка, не то что венка, которыми курсистки и гимназисты забрасывают могилу бедного, благородного и поэтически нищего Надсона и даже надгробье насквозь декламационного Апухтина.

Наткнувшись на Тютчева, Иннокентий Федорович в который раз задумался о тревожно загадочной судьбе этого ни с кем не схожего поэта. Кто еще из служителей муз так небрежничал своим громадным, поистине Божьим даром? Он мог не писать годами, ленился печатать свои стихи, пальцем не шевельнул ради издания книг. Его первый тощий сборничек увидел свет стараниями влюбленного в него Тургенева, второе прижизненное издание осуществилось неукротимым энтузиазмом Ивана Аксакова. Тютчев не желал даже рукопись просмотреть, распределить стихи

в хронологическом порядке, снисходительно мирился с наивной тургеневской редактурой. Тут не было ни скромности паче гордости, ни кокетства, он и впрямь был равнодушен к литературной славе. А ведь стихи были ему необходимы, и он знал им цену. Все самое важное для себя объял он стихами: первичный хаос, Бога, природу, день и ночь, весну, женщину, любовь, рождение и смерть. Пусть он писал урывками, его поэзия воссоздает с великой полнотой сложный душевный пейзаж самого творца и его мироощущение, проникает за зримую поверхность вещей и явлений, соприкасаясь с последними тайнами.

Но к судьбе своих стихов он был безразличен. Тут таится какая-то тягостная неправда. Что же такое стихи, как не мостки, переброшенные к другим людям? Разве смысл поэзии не в том, чтобы разорвать тенета одиночества, безмолвия, разъединяющего людские души? Поэзия — это кратчайший путь к человеку, знак безоружного доверия, приглашение к своему огню. Лучше писать стихи в альбомы, нежели в стол. Последнее просто бессмыслица! Поздно же понял ты это, Ник. Т-о! И не сопоставляй свою участь с тютчевской. Открытый Пушкиным, понятый и восславленный Некрасовым, любимый Тургеневым, Фетом, Вяземским и всем шумным кланом Аксаковых, боготворимый прекрасными и значительными женщинами, он мог быть равнодушен к известности, даруемой печатным станком и газетными отзывами.

Не каждому желанен слишком яркий свет, громогласный хор славословий, не каждому потребно широкое союзничество. И не надо примерять к себе судьбу Тютчева царскосельскому старожилу, существующему в вакууме. Его вообще не знают. Он невидимка. Такой высокий, приметный в любой толпе, значительной наружности господин, с высоким чином и солидными трудами — легко ли «перепереть» всего Еврипида на язык родных осин! — он невидим, как если б обладал прозрачностью стекла. Людям ведомы лишь грубые, пошлые очевидности его внешнего об-

лика, манер, житейского поведения и служебной карьеры, его истинное лицо неизвестно людям, даже нечаемо. Достаточно сказать, что горообразный поэт-художник Волошин с гривой льва и сердцем ягненка, недавно появившийся на петербургском горизонте и мгновенно ставший популярным, признался, что почитал переводчика Еврипида, критика журнала «Аполлон» и поэта Ник. Т-о тремя разными, ничем не связанными личностями.

Увесистый толчок заставил Анненского пошатнуться и с негодованием глянуть на широкого, приземистого человека в распахнутой шубе на лисе и бобровой шапке. На багровом в сизость, мясистом лице человека тяжелый склеротический гнев истаивал в добродушно-игривое возмущение:

— Эк же вы толкаетесь, ваше превосходительство! Не хорошо, батенька. Все небось в Эладах своих плавааете.

Это был чиновник Дворцового ведомства и сосед Анненского статский советник Девятков.

— А мне показалось, вы меня задели, Эраст Павлович, — поклонившись, сказал Анненский.

— Что за счеты, почтеннейший Иннокентий Федорович! Нынче я вас, завтра вы меня — на том мир стоит. Но погоды, погоды какие!.. — став серьезным, сказал Девятков.

Только петербуржцы да, пожалуй, лондонцы умеют так значительно и важно говорить о погоде. В туманном повирых, дождями исхлестанных, болотными и речными испарениями задушенных столицах умеют ценить редкие улыбки безжалостного неба. В подобрешем, ставшем глубоким и доверительным голосе Эраста Павловича чувствовался определенный намек на причастность государственной власти, а возможно, и святейшего синода к перемене климата.

Я поэт, Эраст Павлович, черта ли мне в вашей погоде, когда гнилая, слякотная осень может одарить меня щедрее самой ослепительной весны. Почему вы не читали моих стихов, Эраст Павлович? У вас же остается уйма свободного времени от необременительной службы, обжорства, карт,

ссор с женой и порки тупого сына-гимназиста. И вы вовсе не дурак, Эраст Павлович, уж я-то знаю, хотя ум ваш зарос жиром. В вас дремлют силы Ильи Муромца, крепкий русский ум, громадные способности к постижению. Ну, прочтите, неужто это так трудно? Вдруг вам доставит радость, ну хоть про Ваньку-ключника в тюрьме. Нет же русского человека, какое бы место ни занимал он в служебной и общественной иерархии, чтоб тайно не любил Ваньку-ключника и атамана Кудеяра. Вслушайтесь, Эраст Павлович, напрягите слух своих ушей-оладий, как распевно, широко и легко звучит:

Крутясь-мутясь да сбился
Желты пески с волной,
Часочек мы любилась
Да с мужнею женой.

А, Эраст Павлович?.. Ведь вы-то знаете, крошка-богатырь, как любиться с чужой женой? А разве вам не близко, как и каждому нашему соотечественнику, стоящему возле казны, такое вот, каторжное:

Цепочку позванивать
Продели у ноги,
Позванивать, подманывать:
«А ну-тка, убег!»

Но весь этот монолог совершался, разумеется, в безмолвии души, а с полных, упрятанных под усы губ Иннокентия Федоровича слетали одобрительные слова в адрес нынешней осени, весьма утешительной для сердца каждого петербуржца. На том они и расстались. Неузнанный, неугаданный, непрочитанный Анненский заспешил в сторону вокзала, а квадратный, ясный, как день, в своей темноте, чиновник Дворцового ведомства не спеша побрел к родным пенатам.

Уже на вокзальной площади Иннокентия Федоровича остановил благочинный отец Илиодор, священник городского собора. Высокий, в длинной шубе на енотах, из-под которой вывешивался подол черной рясы, и с ухоженной

рыжей бородой и беспокойными зелеными глазами, отец Илиодор тоже заговорил о погоде, но думал, по обыкновению, о чем-то совсем другом. Он питал неистребимую страсть к доноситељству, этот интеллигентный, начитанный и респектабельный поп, бессовестно нарушавший и тайну исповеди, и доверие дружеских отношений. Анненскому было известно, что доносы отца Илиодора сыграли не последнюю роль в лишении его директорства. Одного лишь заступничества за нашкодивших гимназистов было недостаточно для столь суровой кары. Свои доношения благочинный писал на веленовой бумаге, гусиным пером, с каллиграфическими красотами в духе старца Епифания, кроткого союзника мятежного протопопа Аввакума, в велеречивой манере древних акафистов. Он чувствовал себя не просто «шишом государевым», а чем-то вроде Симеона Полоцкого, отстаивавшего истинную веру от раскольников. Но Анненского не занимало сейчас гнусное пристрастие отца Илиодора. Глядя прямо в беспокойные, ищущие, льдисто-зеленые глаза благочинного, он пытался воздействовать сквозь эти люки на мозг, чтоб ожило там:

Но сердцу чудится лишь красота утрат,
Лишь упоение в замороженной силе,
И тех, которые уж лотоса вкусили,
Волнует вкрадчивый осенний аромат.

Ну же, батюшка, ведь наверняка, сочиняя донос на нерадивого пастыря юношеских душ, вы листанули бледным пальцем с голубым ногтем мои «Тихие песни». Это оттуда и как раз о погоде, которая вас так волнует. Вспомните, вы же на свой лад тоже любитель российской словесности, ну вспомните мои строки!.. Святой отче, выклянчили у Валентина списки моих неизданных стихов неужели только доносов ради? Да нет же! Послушайте, мы с вами оба сердечники, разве вам не близко вот это: «...следом чаща послала стенанье, и во всем безнадежность желанья: «Только б жить, дольше жить, вечно жить!»

Но поп не откликнулся Анненскому, не отступил ни на шаг от темы атмосферных явлений, трактуя их плоской прозой, как какой-нибудь синоптик, с тем и отбыл.

Вновь не узнанный, не открытый, Иннокентий Федорович устремился через вокзальную площадь.

Еще несколько знакомых и полузнакомых раскланялись с ним на перроне, но ни на одном лице не мелькнула радость узнавания, догадка об истинном достоинстве господина в черном пальто, ни один взгляд не зажегся и не увлажнился трепетом встречи с царскосельским кифаредом. Нет, все равнодушно-вежливо приветствовали инспектора петербургского учебного округа, полуопального чиновника и почтенного эллиниста.

Ах, господа, господа! Вглядитесь в меня внимательней, поднимитесь над своей узостью, озабоченностью, равнодушием, пересильте свою глухоту, услышьте меня. Ведь не призрак же я в самом деле, хоть и окрестил себя «Никто». Под моим настоящим именем вышли трагедии на античные сюжеты, но вы не раскрыли их, испуганные внешним архаизмом. Напрасно, то вовсе не подражание моему любимому Еврипиду, а во утоление жажды современной измученной души. И чтобы приучить вас к этим пьесам, я снизошел до остроумия, утверждая в предисловии, что сам «первый бежал бы не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе». Видите, я помню наизусть свою прозу, как и свои стихи. Бедные мои слова томятся во мне, как в темнице, но муки достаются не узникам, а узилищу. Избавление одно — вверить их чужой памяти. Любой крамольный стишок, задевающий полицмейстера или наводящий тень на градоначальника, подхватывается немедля, переписывается в сотни альбомчиков, заучивается наизусть. Но никому не пришло в голову дать приют моим бескорыстным «Трилистникам». Напрасно, напрасно, господа! Я ваш последний царскосельский лебедь. Не станет меня, и Цар-

ское Село, отечество Пушкина и всей его плеяды, приют Карамзина, Жуковского, дивная раковина, где вызревал жемчуг русской поэзии, станет просто мещанским городишком, под боком дряхлеющих садов, забывающих собственную легенду. И о вас, господа, вспомнят лишь потому, что вы были моими соседями и современниками. О, сколько слепоты, глухоты, необъяснимой тупости, сколько жестокости, рассеянности, невнимательности, ослиного упрямства и непросвещенности несет в себе слово «современник»? Умудрились же современники не царскосельского, а самого Эвенского лебедя так прочно не заметить — Шекспира, не взглянуть в его черты, не счесть достойным упоминания в письмах и мемуарах, что оставили столетиям жгучую и позорную загадку: кто же на самом деле создал величайшую — после греков — драматургию и непревзойденную в поколениях лирику?

То был последний прилив гневной бодрости, — в вагоне, куда Иннокентий Федорович попал под третий звонок, пропустив вперед с десятков не читавших его пассажиров, им овладело отчаяние. Он и вообще плохо переносил поезда, даже на таких малых перегонах, как Царское Село — Петербург. Его угнетало все: застойный запах фенола, слабо мерцающие под потолком свечи и покойницкие лица пассажиров, отражающих лбами этот тусклый дрожащий свет, древняя пыль в пазах оконниц, истертый плюш сидений, заунывное тактканье колес, грубые взроги и лязги железного тела поезда, безвыходность пребывания здесь, утрата воли, отобранной у тебя расписанием и таинственным хромоногим существом с разбитым фонарем, называемым кондуктором и состоящим в заговоре с гигантским кольчатым, извергающим желтый пар и пламя, весь хаос дорожного полусуществования и неизбежная русская тоска за окнами. Коротенькое это путешествие выматывало душу почище иных тысячеверстий. Нет ничего пустыиннее, ровнее и безотраднее болотистых равнин, пролегающих между Петербургом и Царским Селом. Сейчас было темно, в окошке, колеблющем в двойных стеклах

желтоватое пламя свечи, почти не проглядывался наружный мир, и все же по взлеску каких-то плоских луж, по вдруг обозначившейся хорде низкого горизонта угадывалась до слез унылая плешина окрестного простора.

В окне, через проход, проплыли бледные купола Пулковской обсерватории, похожей на искалеченную техническим веком Айя-Софию. И тут ничем не заполненный сумрак прочно заложил окна, будто черной бумагой заклеил.

Напротив него сидела бледная, с грустным и незначительным лицом дама, чья осень так и не опалилась строками его поэзии, рядом с ней — пожилой, упитанный господин из породы жизнелюбов, слух которого никогда не тревожили звуки «Тихих песен». Скамейку через проход занимали реалист, испитой священник и молодчага гусар в новой шинели с меховым воротником, можно было побиться об заклад, что на зеркала их душ не ложилось дыхание певца зимних лилий. А в углу согнулась худая, как кость, старуха с наруганными щеками и странно блестящими глазами в черных глубоких провалах глазниц. Неприятная старуха. Она так поглядывала на Анненского из своих пещер, словно читала его или по меньшей мере знала, кто он такой. Но Анненский не знал старухи, никогда не видел ее, ибо, раз увидев это жеманное, древнее, гадко кокетливое существо в ярком и несовременном тряпье, запомнишь на всю жизнь. И зачем она источает огонь из своих остывших недр? Сумасшедшая? Бывшая красавица, блиставшая при дворе Николая Первого, где она соперничала с Наталией Николаевной Пушкиной, или бывшая артистка императорских театров, знавшая славу и поклонение, — подобными призраками кишело Царское Село. Столь же не узнанная, как и сам Иннокентий Федорович, но куда смелее претендующая на узнавание, она тщится пробудить в окружающих память, догадку о себе прежней, не униженной старостью и нищетой, — да нет, тут что-то другое, совсем другое... От нее веет могильным холодом. Хорошо бы она сошла...

Анненский отвернулся, уперся взглядом в красную, истоптанную ковровую дорожку и понял, что холод, источаемый старухой, проник к нему внутрь. Ему было знобко, сыро, невыносимая тоска сдавила сердце. Неужели опять начинается? Господи, а ведь это куда хуже, чем в муках воображения. Неужели конец? Нет, нет! Это только в плохих романах и хороших сказках число три наделено мистической властью. Живая жизнь неподвластна этой ребяческой магии. Но ему опять плохо, совсем плохо. Это даже не боль, любую боль можно вытерпеть, когда же она выходит за некий предел, сознание покидает человека, и он уже неподвластен боли. Это что-то другое, состоящее из ужаса, тоски, безысходности. И распирающий ком внутри...

Надо что-то делать. Ну, хотя бы обволакивать себя сетью мелких движений. Расстегнуть пальто, достать свежий носовой платок, промокнуть лоб и щеки, сложить платок, спрятать в брючный карман и застегнуть пальто. Снова расстегнуть, вынуть часы из кармашка жилета, щелкнуть крышкой и посмотреть, который час. Спрятать часы. Застегнуться. Поправить манжету. Деликатно откашлянуть, прикрыв рот пальцами. Что еще? Можно попросить воды. Но при мысли о тепловатой, припахивающей гарью поездной воде его слегка замутило. Потребовалась новая возня с платком, чтобы вытереть наполнившийся слюной рот. И тут он заметил, что все еще жив, гнетущая тоска и ком внутри не убивают, во всяком случае сразу. Можно жить и с этим. Нехорошо сбившееся дыхание снова упорядочилось. Лишь требовался более глубокий, в несколько приемов вдох, иначе воздух не проникает в легкие, или это только кажется?..

Глянул в угол — старуха исчезла. Сошла. А ведь поезд не останавливался. Чепуха! Просто переменила место, от двери дует, или вышла в тамбур. Да и какое ему дело до этой старухи?..

Его нечитатели: поблекшая дама, дородный жизнелюб, реалист, священник, гусар — тихо сидели на своих местах. Они были безвинны перед ним, эти обыватели, никогда ни-

чего не читавшие, если их не тыкали носом в роман, рассказ, стихи, как щенков в миску с кашей. А тыкать должны вершители литературных репутаций. Обыватель сам никогда не знает — хорошо или плохо прочитанное. Он преспокойно оплачет Пушкина, если ему скажут, что это плохо, — так оно и было в царствование Писарева, и будет восторгаться Емельяновым-Коханским, если ему скажут, что это хорошо. Такого, по счастью, еще не было, хотя иные, весьма популярные поэты недалеко ушли от Емельянова-Коханского. Как ни грустно, литература вовсе не говорит сама за себя, любой талант беззащитен перед теми, кто его отрицает или просто не видит. Вы прощены, дама, господин, священник, гусар, реалист, да падет мой гнев на головы поэтов, прикоснувшихся к моему слову и высокомерно прошедших мимо. Брюсов посоветовал мне учиться, как гимназисту, перемежающему стихоплетство с мальчишеским грехом, тогда, мол, еще может получиться толк, Блок, истинный природный поэт, в отличие от сделанного Брюсова, понял куда больше, даже обмолвился, что Некто, а не Никто спел «Тихие песни». Но сколькими высокомерными оговорками снабдил он скупую, сквозь зубы похвалу? Я не защищаю «Тихие песни», Бог с ними! Но, господа поэты, в отличие от моих поездных спутников вам должны быть известны и другие мои стихи, как напечатанные, так и не напечатанные. Неужели и они ничего не говорят вашему сердцу? Не поверю. Я знаю, как умеют быть глухи поэты, но не настолько же глухи! Моя вина не в дурацком псевдониме, не в скромности, в другом, куда более важном — я не столь Никто, сколько Ничей. В литературе правят банды, как на Корсике. Примкни к банде, и сообщники амнистируют тебя, коли ты бездарен, скудоумен, некультурен, пригреют, дадут дышать, а если ты отмечен хоть малым даром, вознесут и заславословят. И как бы ни пыжились недруги, тебя уже не столкнут со склона Олимпа. Теперь я понимаю злую шутку Чехова: какие они декаденты, это молодцы из арестантских рот.

Я не примкнул ни к одной из литературных групп, не повязался ничьим шарфом, не выбрал себе сюзерена, то бишь атамана. Меня зачислили в символисты, но, покидав из ладони в ладонь, как гоголевский черт украденный с неба месяц, выпустили, сжегшись, из рук. Они поняли, что мой символизм — это не символизм Бальмонта и тем более Вячеслава Иванова. Для меня любая поэзия символична, ибо нет у поэта иного способа самовыражения. Но за моими символами тяжесть и запах земли, а не эфирно-селеновая муть заумных отвлеченностей.

Я болен, может быть, умираю, и одному лишь Богу ведомо, каким ужасом сжимается сердце при мысли о близком конце, но даже сейчас я не считаю свой уход крушением вселенной, как вы, Вячеслав Иванов, как вы, Константин Бальмонт. Я знаю, после меня останется все... кроме меня. Мне не только чужда, но и отвратительна гипертрофия собственной личности, и «обида куклы» всегда была мне больнее собственной обиды, вот чего вам начисто не дано, настоящие символисты!

Декаденты всех мастей быстро смекнули, что я из другого теста, и отдали меня на растерзание газетной братии. В моих стихах мир овеществлен, и, если мне отпущен хоть краткий срок, он станет еще вещественнее, предметнее, если же меня не станет, другие пойдут этим путем, единственно плодотворным и отвечающим времени, — на сближение с жизнью. Как красив предмет, как полна и прекрасна конкретность! Я не сумел быть громким, назойливым и бесстрашным. Мне помешало слабое сердце, служба, врожденная деликатность, сродни чистоплюйству. Но я приветствую грядущих горлопанов. Они заглянут в мои бедные книги и звучными, наглыми голосами сотрясут и опрокинут карточные домики сегодняшних небожителей, вышивальщиков по туману.

И все же — милосердия, братья, отказавшие мне в братстве? Разве дело в направлениях, школах и шайках? Есть стихия поэзии — лишь это важно. Кто-то сказал, что рус-

скому писателю нет дела до прижизненной славы, ему бессмертие подавай. Продлить себя за пределы земного образа — стремление каждого человеческого существа — в творчестве, делах, открытиях, потомстве, наконец. В вечность проникают по-разному. Но я лишь утешаю себя мстительными мыслями о реванше силой грядущих голосов, в которых прозвучит моя интонация, моя нота. Все это не то. Я хочу быть услышанным здесь, сейчас, сегодня. Словом своим хочу связаться живой с живыми. И с этой поблекшей дамой, и с дородным господином, с испитым священником, с реалистом и красавцем гусаром. Кто знает, какие чудеса мы сотворим, когда возьмемся за руки...

Каюсь, я виноват. Я не защитил свою поэзию, даже именем. В наш неуважительный век имя служит известной гарантией ну хотя бы корректности. Оскорбить, осрамить, оклеветать анонима куда легче, нежели господина Имярек, который может быть опасен. Я вас не прикрыл, бедные мои стихи, ни маркой влиятельной компании, ни даже собственным именем. Меня погубили античные пристрастия. Кровожадному циклопу Полифему так ответил об имени своем Одиссей хитроумный:

Славное имя мое ты, циклоп, любопытствовал сведать
С тем, чтоб меня угостить и обычный мне сделать подарок?
Я называюсь Никто: мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все меня величают.

Одиссея «Никто» спасло, меня погубило. Зачем же считаться с человеком, так низко ставящим самого себя? Газетные циклопы затравили новоявленного Улисса. А читатели? Ну, у них нет даже одного глаза во лбу. Горе нарушившему правила игры. И все же пощады, милосердия, господа! Ведь я уже есть, хотите вы того или нет, меня не избежать, как ни поноси, как ни замалчивай, так дайте же мне хоть немного при жизни, не оставляйте все на посмертие!..

Его сильно вжало в скамейку — он ехал спиной к движению, — поезд резко сбавил ход, потом дернулся вперед-назад, лязгнув всеми сцепами, и стал. Неужели приехали?

Да, за окошком глянцево влажнела деревянная платформа Царскосельского вокзала. В Петербурге прошел дождь. Анненский встал, и что-то явственно сместилось в его груди, ему почудился слабый, клацающий звук. Сердце стало тупым и тихим, а клещевая боль схватила его поперек туловища. Оказывается, сердце повсюду — в грудной кости, пищеводе, грудобрюшной преграде, спине, под ребрами. Он стал сплошным сердцем, и это сердце рвалось, рушилось, уничтожалось. Стихи мои, милые стихи, бедные стихи мои, прощайте!..

Он уже знал, что ему не выпутаться. Безобразная боль мешала сосредоточиться на какой-нибудь важной, чистой мысли. Может быть, нужно что-то сделать? Позвать на помощь? Какая чепуха, ему никто не поможет. И не надо суетиться перед вечностью. Следом за другими он вышел из вагона. Его толкали. Внезапно он услышал тонкий паровозный гудок. Так гудел игрушечный паровозик его сына, когда тот был веселым круглолицым малышом, любившим паровозы и цветы, особенно желтые одуванчики, песок и кленовые листья. Затем послышалось пыхтение, всхлебы поршня, тоже игрушечные, понарошку. Над голыми липами, высаженными вдоль перрона, всплыл дымок, — это маленький — о три вагончика — царский поезд двинулся по специальной узкоколейке в Царское Село. Два вагона были для дезориентации террористов, а в третьем ездил царь с царицей. Анненский представил себе уютное нутро царского вагона, отделанного красным деревом, обитого красным бархатом, хорошо протопленного и освещенного, с плотными шторами на окошках, отсекающими неуют темного, враждебного мира, и улыбнулся тому, что лучше быть живым царем, чем мертвым поэтом.

Ему бы не улыбаться. Жалкая гримаса еще длащейся в нем жизни наполнила его щемящей жалостью к себе. Он почувствовал, что глаза влажнеют. Этого только не доставало! Он позорно терял себя, свое мужество, свою прекрасную, никогда не изменявшую ему форму, свою тихую гордость, да

что там, всего себя терял без остатка. Неужели он, столько думавший о смерти, приучавший себя к ней и, казалось, выгадавший достоинство встречи, оказался вдруг безоружен? И он взмолился не о жизни, лишь о сохранении лица. Творчество, одно лишь творчество спасало его, — если б хоть строчка вспыхнула в мозгу, хоть словечко защеколало небо!..

Мимо, задевая его локтями, спешили люди. Они тянулись к городу, шумящему, звенящему за вокзальной стеной, полному своей невозмутимой жизни. Городу и дела не было до того, что сейчас на одного действительного статского советника станет меньше. Чего-чего, а этого добра в столице государства Российского хоть завались.

Прохожие не просто задевали Анненского, они направляли его, влекли к выходу. Он вдруг обнаружил, что перед ним лестница, за ней внизу широкие двери, смотрящие на Загородный проспект. И почему-то он опять узрел всю компанию близко от себя: даму, господина, священника, реалиста, гусара. И старуха в пестром тряпье была здесь. Но она уже не жеманничала, не строила глазок. Ее лицо — размалеванная маска смерти — было неподвижным, сосредоточенным, даже торжественным. Что все это значит? Траурный кортеж, заранее отряженный Царским Селом, похоронная делегация от всей не читавшей его российской публики? Он не может и не хочет решать эти глупые загадки у последнего предела, он хочет лишь одного, чтобы слово коснулось губ, с ним и отойти. Но не поэзия, а классицизм сформировал последний его жест, жест ухода.

...Когда Цезарь узнал в нападавшем Марка Юния Брута, он воскликнул в горестном изумлении: «И ты, Брут?» И, закинув плащ на лицо, молча пал к подножию статуи Помпея...

Люди озабоченной вокзальной толпы, и те, что сбегали по лестнице вниз, и те, что торопились к поезду со своими сумками, чемоданами, баулами, в мокрых, тиной пахнущих пальто, увидели, как высокий, представительный господин остановился на лестничной площадке и, выгадав клочок пустого пространства в толчее, закинул на лицо широ-

кий черный рукав пальто, медленно согнул ноги в коленях и мягко, боком, упал на каменный пол головой к стене.

...Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили идти по домам. Почти все они были влюблены в красивого, меланхолического педагога, о котором было известно, что он пишет любовные стихи. У некоторых девушек эти стихи (Апухтина, Петра Вейнберга) были переписаны в альбомы. Анненский никогда еще не пропускал занятий, и девушки надеялись, что он придет. Они ждали около двух часов, аистом появился расстроенный директор и сказал, что Иннокентий Федорович Анненский никогда уже не придет, он скончался от разрыва сердца на лестнице Царскосельского вокзала. Боже, как рыдали, как убивались эти милые, добрые девушки! А одна, смуглощекая и синеглазая, лишилась чувств, ей давали нюхать соли и натирали виски уксусом.

Блок услышал о смерти Анненского в тот же вечер на Варшавском вокзале, он ехал к умирающему отцу в Варшаву. А сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о курьезе. Мимо большого мощного фонаря медленно, черно и косо проносились снежинки первого в этом году снегопада. По привычке, образовавшейся в последнее время и сильно его раздражавшей, Блок проговорил вслух, громко и отчетливо:

— Ну вот, еще одного проморгали, — и сердито огляделся...

Юная царскосельская жительница Анна Андреевна Горенко остановилась против дома Анненского, вздохнула протяжно и почувствовала, как побежал комком стылый воздух по долгому горлу.

— До чего же пусто стало в нашем Царском Селе, — прошептала она, глядя на зашторенные окна...

Это было в начале петербургской зимы 1909 года. Плакали курсистки. Хмурились поэты. Народ безмолвствовал.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

30 ноября 1909 года у подъезда Царскосельского вокзала (ныне Витебского) высокий красивый господин лет пятидесяти, с легкой проседью в усах, бороде и на висках, схватился рукой за сердце, медленно согнул ноги в коленях и мягко, боком, упал на тротуар. Кинувшиеся к нему люди обнаружили, что он мертв. Едва ли кто из них опознал внезапно скончавшегося господина. Полицейский и врач, поспешившие к месту происшествия, обнаружили документы умершего. Они узнали его высокий чин — действительный статский советник, узнали адрес, имя — Иннокентий Федорович Анненский. Но имя это им ничего не сказала. А между тем оно принадлежало одному из лучших поэтов России.

Похороны Анненского в Царском Селе, где он провел большую часть жизни, собрали огромную толпу, особенно много было учащейся молодежи. Но молодежь провожала опять-таки не поэта, а замечательного педагога-классика, бывшего директора Царскосельской гимназии и неутомимого заступника перед властью предрежущими. Конечно, в огромном скоплении людей были и такие, что провожали и оплакивали автора «Тихих песен», единственного сборника стихотворений, вышедшего при жизни Анненского.

У него были и другие замечательные, но также мало известные труды: две книги «Отражений» — своеобразнейших критических этюдов, несколько трагедий на сюжеты античных мифов и перевод на русский язык всего Еврипида. Но Анненский сам сделал все возможное, чтобы его не знали. Книгу своей лирики он выпустил под печальным псевдонимом Ник. Т-о (Никто — так назвал себя хитроумный Одиссей злобному циклопу Полифему, задумав

его обмануть). Анненский многих ввел этим в заблуждение, но по-настоящему обманул самого себя, свою литературную судьбу. Известный поэт Максимилиан Волошин писал Анненскому, что до самого последнего времени тот существовал для него не как один, а как несколько разных писателей: один был стихотворцем, другой переводчиком Еврипида, третий — автором статей о ритмах Бальмонта и Брюсова, четвертый — драматургом.

Как объяснить феномен Анненского? Чрезмерной скромностью, неуверенностью в себе, которая зачастую бывает присуща людям нездоровым, а рослый, статный Анненский был тяжелым сердечником и знал, что ему отпущен недолгий век, наконец, тем, что ему, директору классической гимназии, педагогу, наставнику молодежи, было не слишком удобно афишировать свою литературную деятельность, носившую слишком личностный характер, особенно в лирике? Наверное, и тем, и другим, и третьим.

Да, он не защитил своих стихов даже именем. Наверное, трудно было писать с должным уважением о поэте, который сам себя затенил. Тут и Брюсову, как, впрочем, не раз, изменило поэтическое чутье, и он в своем отзыве высокомерно посоветовал поэту Ник. Т-о основательно поработать над собой, тогда, мол, еще получится толк. Блок, обладавший более тонким слухом, завершил свою рецензию, написанную тоже сверху вниз, куда более пронизательно: нельзя поверить, что Никто спел «Тихие песни».

Любопытное совпадение: в день смерти Анненского Блок уезжал с соседнего Варшавского вокзала к умирающему отцу в Варшаву. Он похоронил отца, задумал поэму «Возмездие», и тут вышел второй, уже посмертный сборник Анненского «Кипарисовый ларец», и Блок узнал до конца цену тому, кого чуть небрежно похвалил. Впрочем, это узнали многие другие, в первую очередь поэты. И один из них, Н.Гумилев, сказал слова, ставшие крылатыми: «Был Иннокентий Анненский последний из царскосельских лебедей». А первым был Пушкин. Но лебедь в русском языке

может быть и мужского и женского рода. И была еще царскосельская лебедь — Анна Ахматова.

Смерть рассекретила Анненского, она принесла ему дружное, хотя и сильно запоздалое, признание знатоков и любителей поэзии и неизбежную в таких случаях газетную хулу: карлики разозлились, что проглядели великана.

И все же основная причина упорного непризнания Анненского куда глубже, чем все вышеперечисленное. Анненский, которому и по времени, и по многим свойствам его поэзии полагалось бы числиться в символистах, никак не укладывался в рамки этого мощного и влиятельного исхода прошлого и начала нынешнего века литературного движения, более того, шел наперекор догматам, и чем дальше, тем решительнее. Анненский упрямо пробивался из тумана символизма к жизненной правде. Он явно был «чужой среди своих», и Брюсов это смутно чувствовал и потому, столь щедрый на похвалы даже откровенно слабосильным союзникам, холодно отнесся к тонкой, мастерской и предельно искренней поэзии Анненского. Правда, через несколько лет после ухода Иннокентия Анненского вождь символизма в порыве художнического беспристрастия признал: «Его поэзия поразительно искренна». И еще он сказал о лица не общем выражении этой поэзии.

Но и посмертное, пусть относительное, признание, и постановка лучшей пьесы Анненского «Фамира-кифаред» Таировым на сцене Камерного театра, и дань уважения со стороны такого далекого поэта, как Маяковский, поставившего его в ряд с лучшими лириками России: «Не выси-дел дом... Анненский, Тютчев, Фет...» — не дали Иннокентию Федоровичу той популярности, на какую он вправе был рассчитывать. Кто не знает его очаровательного стихотворения:

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя.
Не потому, чтоб я ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне на сердце тяжело,
Я у нее одной ишу ответа.
Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света.

Но мы чаще напеваем, а не читаем про себя или вслух эти строки, ибо нас приучил к ним Александр Вертинский: «Среди миров» — один из самых знаменитых его романсов, который он исполнял всю жизнь.

К загадке Анненского мы еще вернемся, а сейчас скажем, что время Иннокентия Анненского воистину пришло; его издают, недавно вышли обе «Книги отражений», о нем пишут серьезные ученые, появилась большая монография крупнейшего знатока Анненского Андрея Венедиктовича Федорова о жизни и творчестве поэта, которой он отдал не одно десятилетие своего труда. Пора Анненскому занять должное место не только на полках библиотек, в энциклопедиях, справочниках, статьях, исследованиях, но и в душах читателей, а его томику стихов стать настольной книгой любителей поэзии.

Биография Анненского предельно скудна и незамысловата — глубокая и сильная жизнь творилась в нем самом. Но и в этой несложной биографии были примечательные события, без знания которых не постигнуть ни его личности, ни творческого пути, ни всей странной судьбы поэта.

Он родился 20 августа 1856 года в Омске, где служил его отец. Сибирь не оставила следа в его памяти. Он был крошечным ребенком, когда семья переехала в Петербург. Анненский по всему своему складу, манерам, сдержанности, по овевающему его корректную и представительную фигуру холодку был типичным петербуржцем. В детстве и особенно в юности на него оказал большое влияние старший брат Николай Федорович, видный общественный деятель, известный журналист, человек прогрессивных взглядов. И вот это первый значительный штрих в биографии поэта.

Недавно мне попались необыкновенно интересные и умные воспоминания поэта, публициста, критика, немного

издателя Перцова, близкого к символистам эпохи их начала. Там я наткнулся на такую запись: «При воспоминании о Н. Ф. Анненском мне всегда вспоминается и одно тяжелое впечатление, с ним связанное. В 1899 (или 1901) г. Анненский, участвуя в одной из тогдашних студенческо-интеллигентских демонстраций у Казанского собора, получил от разгонявших демонстрацию казаков удар нагайкой по лицу. На лице образовался чудовищный кровоподтек, захвативший всю левую половину. Этот кровоподтек долго не проходил и производил ужасное впечатление. Что-то вопиющее было в факте, что пожилой, достойный, симпатичный человек мог, при каких бы то ни было обстоятельствах, подвергнуться такому обращению. Вся дикая некультурность тогдашнего строя, обыкновенно прикрытая лоском благополучия, внезапно предстала здесь в своей грубой осязательности».

Этот дикий удар по лицу был не первым «подарком», полученным Николаем Федоровичем от царского правительства, которое он презирал всем своим большим, чистым и несмирным сердцем. Он не раз подвергался жестоким гонениям и даже лишению свободы. Вот каков был человек, оказавший на будущего поэта самое сильное нравственное влияние в наиболее восприимчивые годы жизни. И хотя казацкая нагайка не свистнет над головой Иннокентия Федоровича, ему тоже не избежать будет кары за «предосудительные» поступки. Но об этом позже.

Болезнь сердца обнаружилась рано, лишив маленького Анненского не только привычных детских игр с бегом, драками, мальчишеским соперничеством, но и возможности учиться в школе. Гимназическое образование он получил дома и экстерном сдавал экзамены на аттестат зрелости.

Но, ступив из отрочества в юность, он окреп настолько, что смог пойти в Петербургский университет, который и окончил в 1879 году по «словесному разряду» — за этим канцелярским перлом скрывается кафедра сравнительного языкознания. И, словно торопясь жить, выпускник сразу

женится. Милая, вполне заурядная женщина, ставшая женой Анненского, ничем не обогатила его музу, не стала для него источником тех сильных переживаний, что вносили в жизнь иных поэтов их подруги.

Тогда же началась педагогическая деятельность Иннокентия Федоровича, длившаяся без перерыва до 1906 года, когда он был отстранен от директорства и преподавания в Царскосельской гимназии — он посмел заступиться за старшекласников, причастных революционным выступлениям 1905 года. Другой важный факт и внешней, и душевной биографии Анненского, говорящий о том, что он хорошо усвоил уроки старшего брата.

Недолгий киевский период его жизни, когда он в течение трех лет преподавал в коллегии Павла Галагана, примечателен лишь тем, что Анненского заставили уйти, поскольку его педагогические принципы отличались неподобающей гуманностью.

Затем — три года Петербург и наконец — до конца дней — Царское Село. Николаевская мужская гимназия, директором и преподавателем которой он был, сохранилась до сих пор почти в том самом виде, что во дни Анненского, теперь здесь школа. Этой гимназии Анненский отдал десять лучших и нелегких лет жизни, осуществляя свои педагогические принципы — классика и гуманиста.

В свое время достаточно много спорили: нужно ли классическое образование. Несомненно, в какой-то момент русской истории оно стало тормозом, уводя молодые, восприимчивые умы и души от насущного дела жизни в омертвевшую древность. Но таким стало классическое образование в рутинной практике подавляющего большинства тогдашних гимназий, Анненский же, называвший себя «убежденным защитником классицизма», видел в нем высокий эстетический и нравственный идеал. Размышляя о педагогической деятельности Иннокентия Федоровича Анненского, о его взглядах на образование, я пытался реставрировать ход его рассуждений. Противники классицизма — слепцы. Они

рассчитывают, вытеснив гимназии реальными училищами, переделать русского человека в сугубого практика, который немецкую обезьяну наново изобретет. Конечно, глупо в двадцатом веке отвергать точные науки, инженерию, насущную потребность в людях точного знания. Это нужно, и это будет, независимо от того, хотим мы этого или нет. Но речь идет о другом — о создании ведущего человеческого типа нации, воплощающего ее духовность. Классическое образование сформировало Пушкина с его ясным, дисциплинированным, уравновешенным умом, с его гармонической, высокой душой. Отмените классическое образование и распрощайтесь с мечтой — не о новом Пушкине, второго Пушкина быть не может, а с пушкинским типом человека и художника, до дна русском, но освобожденном от национальной косности и разнузданности, равно и от узкого, алчного практицизма. С отменой классического образования, если и не вовсе погаснет, то поблекнет скорбно русская интеллигенция. Техническая интеллигенция — нонсенс. «Интеллигент» — это Сократ, Сенека, Цицерон, Пушкин, Герцен, а не специалист по паровозным топкам. И хотя гимназия с ее ограниченностью, казенщиной, скукой, верноподданническим угодничеством и пустой приверженностью к форме угнетала Анненского: «Завтра тяжелый день — я должен быть в белом галстуке и завтракать с протодиаконом», — жаловался Иннокентий Федорович в письме, но все же считал своим долгом оставаться на посту. О нем говорили, что «из греческой грамматики он сделал поэму».

«Имеет ли право убежденный сторонник классицизма бросить его знамя в такой момент, когда оно со всех сторон окружено злым неприятелем?» — в этих словах credo Анненского.

И он не бросил знамени, но древко выхватили у него из рук, когда он, до конца верный своим принципам, решительно вступился за мятежных юношей. Расплата не заставила себя ждать. Действительный статский советник,

великолепный педагог, Анненский был отстранен от поста директора гимназии, равно и от преподавания, и назначен инспектором Петербургского учебного округа — должность чисто административная, пустая и крайне обременительная для большого человека, ибо требовала частых разъездов по далеким северным губерниям, по уездным городам, затерянным в снегах и хлябях. На свою беду, Анненский обладал тем же качеством, что и Александр Блок: предельно серьезным и старательным отношением к любой работе. Тягостная, изнурительная, не приносящая даже тени удовлетворения деятельность сжигала последние силы, почти не оставляла времени для творчества.

Этим исчерпывается внешняя биография Анненского, точку поставила внезапная смерть на Царскосельском вокзале. Незадолго до своего исхода Анненский вернулся к педагогической деятельности: он читал греческую литературу на высших женских курсах; в эту же пору он стал куда смелее помещать свои сочинения, преимущественно критику, в журналах и, наконец, отважился подать в отставку. Ему мерещилась свободная от казенной службы жизнь, отданная творчеству, сближение с единомышленниками, выход из одиночества. Отставка пришла за несколько часов до смерти. Дверца распахнулась, белая птица с розовым подбоем (любимый образ Анненского) вылетела из клетки, вдохнула синей благодати свободы и пала бездыханная.

Почему я так много говорю об Анненском-педагоге, Анненском-классике? Это неотделимо от его сути, от великого труда его жизни — перевода «на язык родных осин» всего Еврипида, от его высоких и строгих трагедий, наконец, от поэзии, хотя в лирике он почти не касался античных сюжетов и эллинские образы использовал реже многих других поэтов.

Анненский, несомненно, сам много способствовал легенде о себе, как о тихом певце, чуждом житейских бурь, чувствующем себя куда естественней в царстве небытия,

нежели в обители живых, отсюда клеймо — «поэт отчаяния и смерти».

Смерть — самый красивый символ, придуманный людьми, по словам пантеиста Гете, неизменно присутствует в лирике каждого поэта (даже такого бодрого, как Маяковский), равно — и в раздумьях каждого полноценного человека. Пушкин признавался, что мысль о смерти неотступно преследует его: глядит ли он на дуб уединенный, ласкает ли милого ребенка, и он не страшится неизбежного, веря в вечность бытия:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

С ровно дышащей грудью писал величайший философский лирик России Тютчев:

И мысль о смерти неизбежной
Не светит с древа ни листа,
И жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Иннокентий Анненский не принадлежал к таким бесстрашным деревьям. Мысль о смерти его страшила. Не мистически, а вполне реально, ведь он очень рано узнал о своей хрупкости, непрочности в мире. Болезнь лишила его нормального детства с бурной школьной жизнью, он был не такой мальчик, как все, и это, естественно, наложило отпечаток на его сознание, на все жизнеощущение. Он по-своему боролся с этим темным чувством. Не веря в загробную жизнь, в сладостное воздаяние за все претерпленные на земле муки, он приучал себя к неминуемому, говорил о смерти нарочито бытовым языком, что было воистину подвигом для такой трепетной души, как у него:

В квартире прибрано.
Белеют зеркала.
Как конь попоною,
Одет рояль закрытый...

Но, все понимая, все признавая, он не поник головой, не умер раньше смерти, а во всю бедную силу легких призывал жизнь, не скрывая и не тая своего жизнелюбия: «Только б жить, дольше жить, вечно жить!»

И здесь он решительно расходится с тем модернистским ведомством, по которому его упорно числили. Декаденты играли со смертью в сложные и тонкие игры, то призывая ее в жажде немедленного соединения с вечностью, то кокетничая, как с опасно-привлекательной дамой, и во всем этом было много дурного. Недаром же Чехов сказал о них с убийственной точностью: «Да какие они декаденты. Это здоровенные мужики из арестантских рот». Я цитирую по памяти, как и многое другое. Отчего же этим здоровенным мужикам, играющим в упадничество, не порезвиться на кладбище, коли толстая шкура устойчива к могильному холоду? Иное дело — больной, обреченный Анненский, для него все было серьезно, и он не кривлялся перед вечностью. Авторов, поэтизирующих смерть, Алексей Максимович Горький презрительно именовал смертяшкиными. Иннокентий Анненский не из их числа.

Поэт Анненский находился в сложных отношениях с мирозданием и собственным «я», что придавало его лирике трагический характер. Его душа всегда выражала себя напрямую в поэтических строчках, можно наугад открыть хотя бы «Кипарисовый ларец», и любое стихотворение погрузит нас в маету большой, измученной, рвущейся к свету души. Вот начало стихотворения «Смычок и струны»:

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!

Для него было нестерпимой мукой то, что людям казалось музыкой, но он не гасил свеч до утра, и струны пели:

Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.

Он вслушивался в собственную душу и слышал в себе самые тайные шорохи, самые тонкие боли и превращал их в музыку. Одного этого достаточно, чтобы поэт состоялся, пусть он останется поэтом для немногих, камерным певцом, чей голос быстро истает и не останется в памяти людей. Но Иннокентий Анненский был сделан из другого материала. Он слышал шумы законной жизни и жизни, далекой от царскосельских куш и благостного покоя, трудной жизни, и отзывался этому тревожному шуму. То была добавочная мука, но и освобождение от болезненных видений, от изнуряющей тоски и эгоизма собственного страдания.

Из плена утонченных, расслабляющих, уводящих прочь от действительности чувств Анненского высвобождала обостренная совесть. Та совесть, которая руководила поступками отвлеченного, закованного в броню классицизма действительного статского советника, когда он столкнулся с жестокой реальностью социальной борьбы, с безжалостной самозащитой прогнившего режима. Тогда он сразу стряхнул с себя покой безучастности и вступился за гимназистов-бунтарей. Совесть продиктовала Анненскому одно из самых сильных и пронзительных его стихотворений «Старые эстонки». Вот как оно возникло. 16 октября 1905 года на Новом рынке в Ревеле власти учинили преступную расправу над участниками массовой демонстрации рабочих. Расправа была произведена, когда посланные к губернатору участники митинга получили от него лицемерные заверения, что требования рабочих будут удовлетворены. Посланцы едва успели сообщить своим товарищам радостную весть, как загремели выстрелы. Без малого сто человек было убито и ранено. Похороны жертв расправы превратились в невиданную демонстрацию протеста, у могил выступали с речами большевики. В ответ — карательные отряды, огонь и свинец. Не счесть женщин, лишившихся своих сыновей.

Наш царскосельский поэт был далек от кровавых событий, он мог не слышать приглушенных расстоянием стонов, как не слышали многие, наделенные большим политическим

и социальным темпераментом, нежели он, ведь все равно ничего нельзя было поделывать — этим немудреным соображением частенько успокаивает себя эластичная человеческая совесть. Но Анненский сам называл свою совесть «кошмарной», и тихий голос зазвенел металлом. Стихотворение «Старые эстонки» очень большое, я дам его с сокращениями:

Если ночи тюремны и глухи,
Если сны паутины и тонки,
Так и знай, что уж близки старухи,
Из-под Равеля близко эстонки.
Вот вошли, — приседают так строго,
Не уйти мне от долгого плена...

.....
Знаю, завтра от тягостной жути
Буду сам на себя непохожим...
Сколько раз я просил их: «Забудьте...»
И читал их немое: «Не можем».
Как земля, эти лица не скажут,
Что в сердцах похоронено веры...
Не глядят на меня — только вяжут
Свой чулок бесконечный и серый.
Но учтивы — столпились в сторонке...
Да не бойся: присядь на кровати...
Только тут не ошибка ль, эстонки?
Есть куда же меня виноватей.

.....
Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах...
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших... я ж не казнил их.
Я напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких газетах.
Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки
И ни разу она не сжималась?»
Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

В этом безмерно искреннем самобичевании слабое, больное сердце поэта с редким мужеством принимает на себя бремя чужой вины и делает своим. Как просты и убийственны слова укора, вложенные им в сухие уста старух: «Если пальцы руки твоей тонки и ни разу она не сжималась...» А ведь мы знаем, что в должный час слабая рука сжалась ради царскосельских юношей. Но поэт отказывает себе в этом утешении. И произносит страшный приговор: «В целом мире тебя нет виновней». Что же это как не истинная гражданственность, и голос, приученный к ночному шепоту, окрашивается митинговой звучностью.

Замечательно, что, услышав медную отзвень в своем голосе, Анненский с той же обостренной совестью не возликовал, а резко осадил себя: мол, не спеши гордиться собой, куда тебе до тех, у кого слово не расходится с делом. Он сказал, обращаясь к собственному портрету:

Игра природы в нем видна,
Язык трибуна с сердцем лани,
Воображенье без желаний
И сновидения без сна.

Мы позволим себе не согласиться с поэтом. Его сердце трепетало от болезни, но не от ланьей робости. Это подтверждается другими стихотворениями Анненского, облитыми «горечью и желчью». Тихий, кроткий Анненский, классик, с воспитанным, сдержанным жестом бил, коли надо, наотмашь по самодержавной власти, по лицемерию церковников, по стяжателям, по мещанской пошлости сытеньких, тепло устроившихся. Судите сами.

В стихотворении «Петербург» любимый город становится для него символом страшной и душевной силы, опутавшей, как змея, скорбное тело России. Любопытно, что и Пушкину довелось пережить нечто подобное в отношении к Петербургу, городу его любви, о котором он так вдохновенно пел: «Люблю тебя, Петра творенье». Но однажды обнаружил совсем другое лицо города:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит..

Сам город, созданный гением Петра и смертным трудом многих тысяч безымянных русских людей, украшенный Растрелли и Захаровым, Воронихиным и Кваренги, Стасовым и Росси, ничуть не виноват в том, что, став столицей Русского государства, вобрал в себя не только самое прекрасное, но и самое страшное, ибо олицетворял режим. Об этом и говорит Анненский в пронзительном по интонации стихотворении «Петербург». Вот отрывок из него:

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале
— Завтра станет ребячьей забавой.

Разговор идет напрямую: строй, распахнувший пустоту площадей, где «казнили людей до рассвета», строй, с его пресловутым хищным гербом, исторически обречен.

Достается от Анненского и церкви; вот как он изображает собственные «христианские» похороны в стихотворении «Зимний сон»:

А в лицо мне лить саженым
Копоть велено кандилам,
Да в молчаньи напряженном
Лязгать дьякону кадилом.

Пожалуй, даже сам «Ересиарх вся Русии» Николай Семенович Лесков так не прохаживался дубиной по спинам поповским в своей антиклерикальной прозе.

Но особенно едко изобразил Анненский представителя того слоя имущих, что стал особенно заметен в российской жизни на рубеже двух столетий, — стяжателя-кулачишку:

Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков и чада,
И стука бильярдных шаров.
Любится, пока полосую
Кровавый не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косяю
Не сладился белый платок.
Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла
— Чтобы дочь за газетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

И по так называемым средним классам с их мещанством, сытостью, благополучием, душной скукой и бездуховностью хлестнул Анненский сатирическим стихотворением, бытовая, даже уютная уличная интонация которого крепко сдобрена ядом. Называется оно многозначительно — «Нервы», а насмешливый подзаголовок такой — «Пластинка для граммофона».

Под этим стихотворением, будь оно чуть менее совершенно в слове, естественно было бы увидеть подпись талантливого сатирика Саши Черного. Одна эта «Пластинка для граммофона» выводит Анненского из круга чистой эстетики, служения красоте ради нее самой. Но люди, «ведущие» какой-либо формой искусства — литературоведы, искусствоведы, музыковеды, — обладают завидной способностью не замечать того, что им не угодно, что разрушает их концепции, противоречит выводам. «Мученик красоты», «эстетическое донкихотство» — эти определения запестрели в печати уже после смерти Анненского. Но автор «Тихих песен» и «Кипарисового ларца» упорно не уmeshается в этих схемах. Эстетическая ловушка так же не по нему, как сети декадентства, как символизм, как появившийся позднее — акмеизм. Последнее течение провозгласило Анненского своим главою. У Анненского, огромного поэта, каждый мог чем-нибудь поживиться, в том числе и акмеисты, но ведь Анненский никогда не исповедовал культа «искусства для искусства», а если и знал цену отдельному

предмету, чуждому расплывчатому, бесконтурному миру символистов, то он не исключал этот предмет из многообразия мировых связей — социальных, общественных, исторических. Об этом красноречиво говорят его стихи. С другой стороны, Анненский никогда не утрачивал тяги и к чему-то не выражающему себя однозначной видимостью, многое оставалось для него в державе намека, полуугадки, смутного прозрения. Да и вещественный мир не был для него объектом эстетического любования, как для акмеистов.

Странная поэтическая судьба у Анненского: то его не признавали ни по одному «ведомству», то вдруг сильное, звонкоголосое движение само попросилось в вассальную зависимость к нему.

Советское литературоведение, и в первую голову Андрей Венедиктович Федоров, расчистило дремучие заросли, обставшие беззащитную фигуру поэта, исчерпывающе точно определив движение и существо поэтической работы Иннокентия Анненского.

«Жизненный путь Анненского, — пишет Федоров, — оборвался в 1909 году, когда его великий современник Блок, со всей страстностью искавший в искусстве большой жизненной правды, «выхода в жизнь», был близок к цели, этого выхода искал и Анненский, как показывают многие его стихотворения. Поэтический мир Анненского полон противоречий, напряженной борьбы, которая и сообщает его творчеству трагический характер. Борьба эта — борьба между властью мира внутреннего, полного тоски, отчаяния, населенного болезненными видениями, и стремлением к миру реальной жизни, «реальных воздействий жизни». Эти реальные воздействия жизни на последнем этапе творчества поэта все более властно заявляют о себе и получают все более правдивое и сильное выражение».

Конечно, Анненскому не удалось сделать то, что удалось Блоку: он слишком рано ушел — в черные годы России, не создав своих «Двенадцати», не соединившись до конца с народной стихией. Но это его беда, а не вина. Если

позволено мечтать о прошлом, то совсем нетрудно представить себе «Двенадцать» Иннокентия Анненского, ведь, помимо всего прочего, он обладал ухом, чутким к разговорной, уличной речи, он слышал бытовой говор, знал повадку простых людей: этот изысканный человек отлично ориентировался в шумах повседневности и вполне мог создать народную революционную поэму, доживи он до дней, которые сам предрекал.

Эти мечты вспять находят подтверждение в оставшихся неопубликованными двадцати пяти монологах, пронизанных острой социальностью. Как было недавно установлено, это переводы ритмической прозой стихов итальянской поэтессы Ады Негри. Они посвящены рабочим, ремесленникам, трудовым людям безрадостной судьбы. Они вопрошают:

«Кто не дает нам свободно дышать?
Кто гнетет и давит нас?
Чья ненависть тяготеет над нами?..»

Поэт верит, что в борьбе эти задавленные неравенством, социальным гнетом люди обретут свободу и счастье.

«Вперед, вы, которые ищете счастья в труде!
Вперед на честный бой...
Дерзайте, вы, новые и славные бойцы.
Вас ожидает свободный век».

Для нас, с нашим опытом социальной и революционной борьбы, это звучит чуть наивно, да ведь когда это писалось! Но такое искреннее чувство, помноженное на зрелость ума и мастерство, в должный час истории просто обязано было воспламениться алым цветом. Впрочем, не стоит искать достоинства Анненского в том, что он еще мог бы сделать, достаточно и того, что он успел сделать.

Каждый поэт существует в своих словах, иного оружия у него нет. Слово Анненского не спутаешь ни с чьим иным. Он поэт строгий и одновременно раскованный. Он свободно пользуется словами самого разного толка, ничуть не боясь ставить их рядом, его речь может быть старинно-торжественной и площадной, утонченно-нежной и залихватской.

На одной странице напечатаны два стихотворения. В первом — «Из окна» — густым медом льется строка: «И этот призрак пышноризый» — чем-то державинским веет, а второе — «Зимний сон» — начинается так: «Вот газеты свежий номер, // Объявление в черной раме: // «Несомненно, что я умер», // И Увы! Не в мелодраме» — почти фельетонная поэзия. Но по-своему хорошо и то, и это.

И очень часто у Анненского торжественный, почти одический настрой переливается в утонченную печаль, которая внезапно и вместе естественно оборачивается иронией — не гейневской, с подмигиванием читателю, а простой, как дыхание, и, как дыхание, сама себя не сознающей. Как легко переходил Анненский от тихой вечерней грусти к острому сарказму, — и вдруг во всю грудь — народная распевность. Какой богатый инструмент — поэтическая душа Анненского! И все же о нем не скажешь — оркестр, как о могучем Маяковском или безграничном Блоке, нет все-таки — рояль, невероятный, с расширенной клавиатурой, наделенной оркестровой многозвучностью. Недаром и самому Анненскому иные его стихи казались фортепианными сонетами, он так их и называл. Но есть и кантата — народным ладом здесь поется о рождении и смерти поэта.

Над Москвою старой златоглавою
Не звезда в полночи затеплилась,
Над ее садочками зелеными,
Ой зелеными садочками кудрявыми
Молодая зорька разгоралась.
Не Вольга-богатерьь нарождается,
Нарождается надежа — молодой певец...

Да, таков Анненский: осенняя паутинка и мрамор, лунный луч и стальной брус, истаивающий аромат последних роз и ядреный запах дегтя, эолова арфа и хряск трепака — все вмещала его поэзия. Вот удивительный пример емкости стилевой манеры Анненского, послушайте, что он творит в скупом пространстве небольшого стихотворения «У св. Стефана»:

Обряд похоронный там шел,
Там свечи пылали и плали,
И крался дыханьем фенол
В дыханья левкоев и лилий.

Автор вознес нас в поднебесье, но уже со следующей строфы начинается стремительное падение вниз:

По «первому классу бюро»
Там были и фраки и платья,
Там было само серебро
С патентом — на новом распяты.

Это падение в быт продолжается в новой строфе:

Но крепа, и пальм, и кадил
Я портил, должно быть, декорум,
И агент бюро подходил
В калошах ко мне и с укором.

И удивительное — насмешливое, но с оттенком печали заключение:

Все это похоже на ложь, —
Так тусклы слова гробовые.
.....
Но смотрят загибы калош
С тех пор на меня, как живые.

Почти для каждого большого поэта характерно обостренное чувство не только слова, но и звука. Недаром же многим поэтам, как и музыкантам, звуки казались окрашенными: Рембо, Хлебников, Скрябин. В очарованности словами и звуками признается Анненский в одном из самых музыкальных своих стихотворений «Невозможно».

Есть слова — их дыханье, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, *невозможно*.
Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.
Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,

Эти ве, эти зе, эти эм
Различить я сумел дуновенья.

.....
Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но любил я одно — *невозможно*.

Прочтешь и поразишься, как же ты раньше не замирал от восторга и печали при дуновении этих «ве», этих «зе», этих «эм», и, Боже, в какое же дивное слово они спеваются? Анненский, как никто, должен был ощущать многозначное слово «невозможно», ибо для него существующее было полно запретов, но это же слово служит и для обозначения высших степеней восторга, любви и боли, всех напряжений души. И что-то еще в этом слове остается тайной поэта, и проникнуть в нее НЕВОЗМОЖНО.

В русской литературе было не так уж много больших профессиональных критиков. В сознании сразу возникают фигуры Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, а затем, словно по другую сторону барьера — Аполлона Григорьева, Константина Леонтьева и, пожалуй, Страхова. Но критиками, великими критиками, были многие наши классики, и первым, как и во всем остальном, должен быть назван Пушкин, его статьи и отзывы — непревзойденны. Гончаров написал всего одну фундаментальную статью «Милльон терзаний» о комедии Грибоедова «Горе от ума», но эта замечательная работа отводит ему одно из первых мест на критическом Парнасе; превосходны статьи Некрасова о русских второстепенных лириках, выдающимся критиком был Александр Блок. Список можно увеличить. Анненский — из этой плеяды, и я отважусь сказать, что им не поколеблен лишь престол Пушкина. Да это и не по силам смертному.

Ничего похожего на критические статьи Анненского ни по форме, ни по методу подхода к литературному явлению, ни по тону — проникновенно-личному — не было ни в отечественной, ни в мировой литературе. Он не ана-

лизирует произведение, а пишет вроде бы по поводу него: как соотносится оно с жизнью и какой отзвук находит в его собственной душе. В этом смысле он и назвал свои критические очерки «отражениями».

Помните повесть Достоевского о раздвоении личности? «Двойник» — это история безумного, несчастного, гадкого и до слез жалкого господина Голядкина. Анненский не препарирует повесть критическим скальпелем, он словно погружается в ее мрак, в ее промозглую мокро-снежную сырость и затаскивает нас с собой. И там, в петербургской мути, на ледяном сквозняке, мы обнаруживаем не монстра, а замученного, доведенного жизнью почти до полного уничтожения личности чиновника Якова Петровича Голядкина, нашего брата в человечестве. Никаких ученых рассуждений, никаких умствований — Анненский словно прижимается своим сердцем к сердцу Достоевского и так обретает истину. Как страшно, как проникновенно звучат слова, заключающие этот удивительный очерк: «Господа, это что-то ужасно похожее на жизнь, на самую настоящую жизнь».

Для Анненского-критика, как и для Анненского-поэта, критерием литературной значимости были не эстетические категории, а сама жизнь.

О ХЛЕБНИКОВЕ

До столетия со дня рождения Велимира Хлебникова осталось около трех лет. Срок вроде бы немалый. К этому времени, возможно, откроют мемориальный музей поэта в Астрахани. Несомненно, и толстые журналы, и литературные еженедельники успеют заказать и получить обязательные в таких случаях статьи. Не исключено, что в плане какого-либо издательства окажется сборник Хлебникова. Ведь единственное собрание сочинений поэта, которого при жизни называли гением, а Маяковский считал своим учителем, вышло в начале тридцатых годов, то есть пятьдесят лет назад, и давно стало библиографической редкостью. Последний же раз стихи В. Хлебникова были изданы в малой серии «Библиотека поэтов» двадцать два года назад. Ни в одном книгохранилище, кроме центральных, нет произведений Хлебникова, его не знают молодые поколения. Похоже, забвение, окутывающее Велимира Хлебникова, никого не тревожит (я говорю об издательском мире). Однако отдельных лиц тревожит. И вот один из таких, встревоженных, пермяк Владимир Молотиллов, рабочий-наладчик двадцати семи лет, непубликовавшийся поэт, решил, что настала пора «возмутить стоячие воды», прислал мне письмо: походатайствуйте!

Первым моим побуждением было промолчать. Но все мои разумные соображения, продиктованные ясным сознанием своей неподготовленности к роли пропагандиста Хлебникова, показали ему смесь трусости с душевной ленью. Второе явно мимо, я человек вовсе не ленивый, а как насчет первого? Чего, собственно, бояться? О Хлебникове пишут как об одном из крупнейших поэтов начала

века, его упоминают в школьных и университетских программах, недавно в «Литературной учебе» появилась великолепная статья Константина Кедрова о «Звездной азбуке» (на всякий случай названная в подзаголовке «гипотезой»), значит, и литературной смене, которую мы столь бережно пестуем, он не противопоказан. Все так, но... Возникнут специалисты, возмущенно одернут непрошеного заступника: чего, мол, он разоряется, мы сами все знаем, и куда больше и точнее.

Осидил меня Молотилов не напором, не аргументацией, не взыванием к совести, а тем, что оговорился хлебниковскими строчками:

Мне много ль надо?
Нет, ломоть хлеба.
С ним каплю молока.
А солью будет небо!
И эти облака.

Встало в горле — не проглотить. Да это и не поэзия — святая правда: поэту ничего не было нужно, кроме перечисленного, чтобы гореть, создавать новый язык, думать о Вселенной и будущем, управлять мирозданием. И, боже мой, какая это поэзия!..

Со всем смирением признаю, что ничего не открою, даже не приоткрою. Как замечательно сказано у Асеева: «...все попытки описать значение В. Хлебникова падают и бледнеют перед одним движением его губ, произносящих такую строчку, как:

Песенка-лесенка в сердце другое...

Или:

Русь, ты вся поцелуй на морозе!

А сколько сотен таких строк разбросано у него неожиданными подарками читателю!»

Поведу я разговор с того, что наверняка известно «ведам», но едва ли ведомо читателям. Однажды некто из круга Хлебникова, кажется, Крученных рассказал, что знает командарма, у которого четыре ордена Красного Знамени;

воин утверждает, что таких, как он, в стране всего семь человек. «Подумаешь, — сказал Маяковский, — таких, как я, всего один, а не хвастаюсь». «А таких, как я, — грустно сказал Хлебников, — и одного нет». Блестящая острога, но самое невероятное — это правда. Хлебников непостижим, неохватен, необъясним, он не вмещается в обычные координаты.

Известно, поэт не бывает большим ученым в точных науках, это предопределенные самой физиологией разные сферы одаренности, единственное исключение — Гете, но мы знаем, что исключения подтверждают истинность законов. Хлебников был гениальным научным провидцем, он опередил озарения Эйнштейна, Гайзенберга и Луи де Бройля, отверг существование эфира, на чем строилась теория света, первый заговорил о пульсации солнца; не зная об открытии Бэра, догадался об изначальном биологическом числе и определил значение в жизни организма... поджелудочной железы.

Он был редкостно молчалив, тих, совсем не внешний человек — анти-Маяковский, но вот что рассказывает профессор Васильев о его студенческих казанских годах, когда Хлебников изучал математику: «Иногда на эти интересные встречи приходил и Хлебников. И удивительно, что при его появлении все почему-то вставали. И совсем непостижимо, что я тоже вставал. А ведь я уже многие годы был ординарным профессором. А кем был он? Студентом второго курса, желторотым мальчишкой! Я до сих пор не понимаю, почему же я вставал все-таки вместе со своими студентами? Это что-то, чему нет объяснения...»

Объяснение все же есть: завораживающая сила глубоко запрятанной личности. При забившемся в угол Хлебникове громогласный Маяковский становился тих, робок, застенчив, как девушка. Когда Хлебников вернулся из очередных странствий (о странничестве — особо), Брики одели его в поношенные вещи Маяковского: потрепанный серый костюм, ботинки военного образца, суконный тулупчик тоже

военного покроя и круглую меховую шапку. Это было лучшее одеяние будетлянина за всю его жизнь. Но вещи с чужого плеча, даже с плеча друга-соперника, ничуть не принижали Велимира. Он был человек внебытовой. Марина Цветаева замечательно определила «быт» как непреображенную вещественность. Хлебников со своей вознесенной душой был не просто безбытен, а надбытен. Вещи ничего не значили для него, как и чувства, порождаемые вещной стороной существования. Поэтому он легко принимал любое даяние так же, как и единственный человек, в котором он признавал учителя, — Уолт Уитмен — шапку, сапоги, тулупчик, хламиду или кусок хлеба. Других ценностей ему не дарили, да он бы и не взял за ненадобностью. Все его имущество находилось при нем — странник может владеть лишь тем, что унесет на себе. А Хлебников был всегда в пути, он не знал оседлости. Он считал, что путь мыслящего россиянина идет на восток (в Индию), к истоку древней мудрости, он уже шел однажды этим путем, но вернулся из Персии, не захотев кончить дервишем, затеряться омороченным безводием, пеклом, миражами, паломником, у него было *призвание*. Однако путь не был отменен, по убеждению Хлебникова, европейские связи России давно стали бесплодны, отвлекающи, мертвы, он даже изгнал из лексикона все слова с латинскими корнями, чем еще более затруднил понимание своих текстов. Хлебников неутомимо *тренировал* себя — дорогами, голодом, умыванием кончиками пальцев (в пути не будет воды), одиночеством, молчанием, ношением тяжестей: мешок с бельем, мешок с рукописями. Пример Уолта Уитмена помогал. Но как быть с ученичеством, радостно признаваемым самим Хлебниковым? В литературе ученичество идет путем слова и стиля — хотя бы поначалу. Но что общего в стилистике Хлебникова и Уитмена? Другое дело — человечье сходство: первозданность, неуместимость в обычном земном пространстве, надбытность, устремленность в будущее, непластичность, превалирование — особенно у Велимира — ле-

дяной (кипящий лед!) вселенской любви над теплотою чувств к отдельному человеку. Поэтому ученичество здесь можно понять лишь так: Уитмен порой облегчал Хлебникову постижение самого себя и своих отношений с миром.

А вот Маяковский, при разительной человеческой несхожести с Велимиром, литературно, словесно взял от него очень много. В свою очередь Хлебникову с его устричным голосом хотелось походить на Маяковского-трибуна, горлана-главаря, метать громы в толпу, увлекать за собой верных. Ему этого не было дано. До чего же разные люди сошлись под знаменами «будетлянства»! Маяковскому не чуждо было все земное, он был жаден к жизни. А Хлебников довольствовался «ломтем хлеба и каплей молока». Ему не нужен был даже свой угол, чтобы писать, он умел выкраивать себе сосредоточенную тишину в любой толпе, в редакционном бедламе, посреди сходки; в чаду, дыму, ругани, спорах любого многолюдства он вытаскивал свой грессбук и начинал набрасывать колонки цифр (надо было высчитать пульс истории), или стихотворные строчки, или неизменно чеканные формулировки мыслей. Он пребывал в постоянном размышлении, у него не было незаполненных минут. И вместе с тем всегда находились соображения, способные перекрыть самую дерзкую эскападу, самую эксцентричную выдумку. Настоящее его имя было Виктор. И раз, наскучив своим смирением, Маяковский выпалил: «Каждому Виктору хочется быть Гюго!» — «Не более, чем каждому Вальтеру — Скоттом», — тут же отозвался Хлебников своим тонким голосом¹.

Бескорыстие Хлебникова не имело подобия в человеческом обществе, оно евангельского чина. Как-то неловко даже применять к нему слово «бескорыстие», ибо тут заложена «корысть» как некая возможность. Когда-то замечательный

¹ Так со слов самого Маяковского передавала мне этот эпизод моя мать. В книжке «Нахлебники Хлебникова» он лишился смысла. — Ю.Н.

поэт Михаил Кульчицкий написал прекрасное стихотворение о Хлебникове. В дни гражданской войны на разбомбленном белыми полустанке у остывшего трупа матери коченела девочка. Подошел человек, сложил костерок и бросил ему в пищу тетрадки со стихами.

Человек ушел — привычно устало,
А огонь стихи начал листать.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом¹,
Сжигал
Свои
Марсианские
Очи,
Как жег для ребенка свой лучший том.

Я люблю это стихотворение, как и всю молодую, не успевшую набрать лет, опыта и усталости поэзию Михаила Кульчицкого, но считал «том», сжигаемый на костре для чужого угрева, — нарядной и несколько наивной метафорой. И как же был я поражен, узнав, что действительность превзошла невероятностью поэтическую фантазию Кульчицкого. В маленькой книжке, изданной в 1925 году тиражом 2 тысячи экземпляров, Татьяна Вечорка рассказывала со слов Велимира: «Ехал Хлебников куда-то по железной дороге. Ночью, на маленькой станции, он выглянул в окошко. Увидел у реки костер и возле него темные силуэты. Понравилось. Он немедля вылез из вагона и присоединился к рыбакам. Вещи уехали, а в карманах было мало денег, но несколько тетрадок. И когда пошел дождь и костер стал тухнуть — Хлебников бросал в него свои рукописи, чтобы подольше «было хорошо». Два дня он рыбачил, а по «очам глядел на небо. Потом ему все это надоело и он отправился дальше».

Отправился без вещей. Без денег. Без рукописей. А ведь единственное, что Хлебников берет, были рукописи.

¹ Факт биографии В. Хлебникова. — Ю.Н.

Самый близкий друг Велимира, известный график П.В. Митурич, забрал больного и, как потом оказалось, умирающего поэта в деревню, где учительствовала жена. Добраться туда было нелегко, но обессиленный Хлебников наотрез отказался оставить рукописи в городе.

В воспоминаниях Митурича есть поразительная по глубине фраза: «Я понял его чисто физические труды, которые он совершил, чтобы донести свои мысли людям». Скорей бы вышла эта книга, в ней бесценные подробности жизни Хлебникова, рассуждения о математических его трудах, в чем отлично разбирался изобретатель, человек широкой научной мысли, «мирискусник» Петр Васильевич Митурич, и обстоятельства горестной кончины. Митурич предал земле останки друга и на простом деревянном гробе краской голубой, как глаза покойного, когда в них отражалось небо, написал: «Председателю земного шара».

Но я задержался на отношениях Велимира Хлебникова с миром вещным. Куда важнее жизнь его духа, но как же трудно об этом говорить!

Поэзию Хлебникова не просто любили те, кому она открывалась, ею бредили, ею жили, дышали, она становилась как бы вторым бытием. Она брала в плен такие мощные индивидуальности, как Маяковский, пожизненно околдовала Николая Асеева, знавшего Хлебникова от строки до строки. Лев Озеров, сам видный поэт и знаток поэзии, младший друг Асеева, в своих воспоминаниях пишет, что Асеев «пропускал через себя — причем часто-весь его (Хлебникова. — Ю. Н.) пятитомник. А потом опрокидывал на слушателей. Разбирался в текстах Хлебникова, как глубокий исследователь». Он пересмотрел «Уструг Разина», потому что Хлебников никогда не нумеровал страниц рукописей, поставив своих поэтических душеприказчиков перед сложнейшей задачей, выполнить которую они до конца не смогли, откуда и пошли композиционные алогизмы его поэм и больших стихотворений, так затрудняющие чтение.

Лев Озеров пришел навестить больного Асеева и нашел его почти выздоровевшим.

«— Знаете, меня не пилюли вылечили, а четыре строчки Хлебникова.

— Какие?

Асеев читает с наслаждением:

И тополь земец,
И вечер немец,
И море речи,
И ты далече...

— Каждая строка эпопея.»

Мне хочется воспроизвести, по Асееву, начало «Уструга Разина», поэмы редкой мощи и красоты, написанной как бы вдоль известной песни «Из-за острова на стрежень», без которой в пору моего детства не обходилось ни одно застолье. Одна и та же легенда выпевается в популярную хоровую песню и в большую поэзию, а разница всего лишь в словах, которые всем даны и не даны почти никому. Итак, «Из-за острова на стрежень... выплывают расписные...»

По затону трех покойников,
Где лишь лебеда лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.

«На переднем Стенька Разин...»

Атаман свободы дикой
На парчовой лежит койке
И играет кистенем,
Что б копейка на попойке
Покатилась рублем.

Асеев восторгался звуковой живописью: «Так и слышишь и видишь: катится монетка».

Поэма отклоняется от песни, занятой лишь любовной историей, и впитывает в себя социальный смысл разинского разбоя: он не просто ножевой душегуб, атаман пират-

ской шайки, а «кум бедноты», «кулак калек (Москве скажет во!). По душе его поет вещей Олег».

Концы разные. «Грянем песню удалую на помин ее души!» — восклицает песельный безунывный Разин. В поэме он молчит.

Волга воет. Волга скачет
Без лица и без конца.
В буревой волне маячит
Ляля буйного Донца.

Как вместительна короткая хлебниковская строка! Взрывчатая мощь сжата, спрессована в ней. Подобной сжатости, лаконичной силы умела добиваться Марина Цветаева с помощью особого синтаксиса, «задыханием своих тире». Хлебников вообще обходился без знаков препинания, их расставляли после — друзья, редакторы.

Когда я перечитывал в „надцатый раз «Уструт Разина», то сделал для себя неожиданное открытие: на меня дважды, если не больше, из хлебниковских строк глянуло дорогое лобастое лицо Андрея Платонова. Даже самый крупный писатель имеет предшественников, а если смелее — учителей, каждого можно с кем-то повязать, причем связи эти не обязательно так прямые и очевидны, как молодой Пушкин — Байрон, Лермонтов — Пушкин, Достоевский — Гоголь. В Мандельштаме Цветаева слышала державинскую медь, допушкинский, державинский лад звучал у таких разных поэтов, как Хлебников и Вячеслав Иванов, а как сильны блоковские мотивы у деревенского Есенина! Я тщетно пытался уловить отзвука чьей-либо речи, хоть интонации у Андрея Платонова, ведь не с неба же взял он свой проникающий, неуклюжий, свой чудный язык. Это его собственная речь, им созданная и воспитанная, но что-то должно было подтолкнуть его руку в молодые годы, когда пальцы лишь привыкали к перу. Постоянно привязывают Платонова к Лескову, но это пустое занятие. Да, подобно автору «Левши», он любил прием сказа и часто им пользовался. Но этот прием-уступка повествования другому — вне проблемы влияния. Сказом поль-

зовались многие, самые разные писатели, ну хотя бы Зошенко, а что у него общего с Лесковым и Платоновым? Но вот строчки: «Время жертвы и жратвы // или разумом ты нищий, // Богатырь без головы?» Лишите их стихотворного чина, и будет самый что ни на есть Андрей Платонов. Равно как и тут: «И Разина глухое «слышу» // Подыметя со дна холмов. // Как знамя красное взойдет на крышу // И поведет войска умов». «Войска умов» — радость Платонова, но тут и вообще собрались его излюбленные слова: «ум», «голова», «жертва», «жратва»...

Я листаю прозу Хлебникова, и мне то и дело попадаются фразы, которые должны были глубоко запасть в душу молодого книгочеля, паровозного подмастерья, позже инженера-мелиоратора, еще позже стихотворца и прозаика Андрея Платонова, научившегося возвращать слову первозданность, обнажать его скрытую сердцевину, а стало быть — и тайное всего сущего. О Платонове принято: ни на кого не похоже. Ан, похоже!.. Хотя бы это: из письма Хлебникова к Вяч. Иванову: «Мне всегда казалось, что если бы души великих усопших были обречены, как, возможность, скитаться в этом мире, то они, утомленные ничтожеством других людей, должны были бы избрать как остров душу одного человека, чтобы отдохнуть и перевоплотиться в ней». Да ведь отсюда один шаг до излюбленной мысли Платонова о спасении души другого человека («Волшебное существо», «Роза»), лишь проговор высокомерия не платоновский, для Андрея Платонова все души равны (у фашистов нет души), ничтожных людей не существует (каты — нелюди). Но музыка фразы, сочетание слов, сами слова указывают нам прямо на платоновские истоки.

Чтобы завершить эту тему, приведу еще один отрывок. Здесь — важнейшая мысль Хлебникова о языке, думаю, не чуждая и Платонову — Человекову — под этой фамилией публиковал он нередко свои размышления о литературе и работах других писателей.

«Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума времени, отданного на раздумье». То есть, сохраняя корень, играйте со словом, пока оно вам не улыбнется. Уверен, что выражение: «...растрата мирового разума времени...» мы услышали бы в свой срок от Платонова, не озари оно раньше Велимира Хлебникова; здесь же образцовый набор любимых автором «Епифанских шлюзов» слов, из его глубин вся истовая интонация и чуть печальная серьезность. Только русские писатели до конца серьезны (у нас невозможен Анатолий Франс в качестве национального гения), ибо слова не бросают на ветер, слово предполагает деяние, в каждом — зерно поступка, стон души и начало жеста. Знал ли Хлебников, как поражало Аполлона Григорьева, что «Гегель мог сказать что-то дурное о светилах, а потом спокойно играть в вист»?

Почему я уделил так много места побочному обстоятельству, за которое Хлебников никак не отвечает? Но ведь лишнее свидетельство безграничности Хлебникова: каждый может найти в нем что-то для себя. Для одних это будут стихи простые, как трава:

Россия хвора, капли донские пила
Устало в бреду
Холод цыганский
А я зачем-то бреду
Канта учить
По Табасарански.
Мукденом и Калкою
Точно большими глазами
Алкаю, алкаю.
Смотрю в бреду
По горам горя
Стукаю палкою.

Для других — праздник души — хлебниковские «перевертни», все эти «чин зван мечом навзничь», «пал а

норов худ и дух ворона лап». Хотя для самого Хлебникова стихи последнего перевертня стали «отраженными лучами будущего, брошенными подсознательным «я» в разумное небо».

А как могуча революционная поэзия Хлебникова! Я говорю не о бросках в грядущий бунт «Уструта Разина», не о провидении перемен поры начала, — его слабый, тонкий голос, случалось, подымал людей, как раскаты громовержца Маяковского:

И замки мирового торго,
Где бедности сияют цепи
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.

Вершина его революционной поэзии — классический «Ладомир».

Не боялся Хлебников и злободневности, когда действительность озонила каленым железом. Им созданы после революции две поэмы в разговорном ритме блоковских «Двенадцати», что поэмам вовсе не в урон: «Ночь перед советами» и «Ночной обыск». Вот из последней:

— На изготовку!
Бери винтовку.
Топай, братва,
Направо 38.
Сильней дергай.
— Есть!
— Пожалуйста,
Милости просим!

Хлебников знал и то, как много в мире достойного нежности:

Режьте меня,
Жгите меня,
Но так приятно целовать
Копыто у коня.

Ознакомившись с поэзией Хлебникова, пожалуй, можно безошибочно определить, к какому ключу припадали,

прежде чем разойтись по своим путям, Маяковский, Пастернак, Асеев, Тихонов, Сельвинский, Кирсанов.

К любой душе найдется ключ у того, кто с полным правом сказал о себе:

Я, написавший столько песен,
Что их хватит на мост до серебряного месяца.

...В мои школьные годы поэзию Хлебникова не «разбирали», и, если б не Маяковский, мы, верно, не услышали бы такой фамилии: Хлебников и такого имени: Велимир — Великий мир. О, магия слов! Нам говорили, что Хлебников был футуристом, звучало это неодобрительно. Маяковский тоже был футуристом, но его не осуждали. Особенно напирала на заумь, непонятность хлебниковской поэзии, в пример приводили, конечно, «Бобэоби пелись губы».

Но и сегодня серьезные, разъясняющие чудо Хлебникова статьи печатаются крайне редко — лишь в специальных журналах да университетских записках, а ведь это тоже заумь для любителей развлекательного чтения и телевизора. А что такое вообще — понятность, доступность? Трагедия Маяковского «Владимир Маяковский» понятна? А ранняя лирика Пастернака, а воронежские стихи Мандельштама, а почти весь Артюр Рембо, Стефан Малларме, Кро — называю первые попавшиеся имена и уж не говорю о многих современных поэтах?.. И разве только поэзия бывает непонятной? Многим до сих пор непонятны импрессионисты в живописи и Рихард Вагнер в музыке, так что же — так и застрять на них до скончания века? Ну, а мне непонятны не только новейшие открытия физиков (думается, их и сами открыватели могут лишь «расчислить», а не объяснить человеческим языком), но и телефон, и телеграф, и то, почему не плавится волосок в электрической лампочке. Самое любопытное, что среди гуманитариев таких немало, только не все признаются. Но ведь не остановится же из-за этого движение научной мысли. Должны подтягиваться

неучи, а не буксовать наука. То же самое — в искусстве и в поэзии.

Любопытно о непонятных словах и вообще о непонятном рассуждал сам Хлебников.

«...Чары слова, даже непонятного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества. Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными».

«...Слову не может быть предъявлено требование: «будь понятно, как вывеска». Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы... Впрочем, я совсем не хочу сказать, что всякое непонятное творчество прекрасно. Я намерен сказать, что не следует отвергать творчество, если оно непонятно данному слою читателей».

Остановимся на последнем замечании, истинность которого бесспорна. Восхваляя общедоступность поэзии как высшее мерило ее ценности, забывают, что читатели — разные, с разно натренированным слухом к созвучиям слов, и то, что вполне удовлетворяет одного, равным счетом ничего не говорит другому, что, очевидно, утоляет далеко не всякую жажду, и познавшие высшую математику поэзии имеют на нее по меньшей мере столько же прав, как завязшие в азах: четырех правилах и таблице умножения. У Хлебникова, о чем уже говорилось, есть стихи на любой вкус и даже на любой уровень: и прозрачные, как родниковая вода, и сложные, требующие не только поэтической, но и общекультурной, и даже научной подготовки, и то, что пренебрежительно называют «заумью».

Зауми в том смысле, в каком мы употребляем это слово, говоря о Крученых, тоже футуристе первого призыва, такой зауми у Хлебникова нет. Словотворчество Хлебникова решало отнюдь не узколитературные задачи, хотя в огромной мере способствовало возникновению нового языка — после Хлебникова позорно стало упражняться в гладкописи. Но Хлебников вообще считал, что чином поэта не

исчерпывается его земное назначение. Он ставит себе иные, космические цели, бесконечно далеко выходящие за рамки изящной словесности: создание всечеловеческого (и вселенского) языка и расчет закономерности ритмической поступи истории. Хлебников и сам понимал, что взвалил на себя непосильную тяжесть. «Люди моей цели, — говорил он, — умирают в тридцать семь». Поэт имел в виду Моцарта и Пушкина. С первым у него была особая связь: «Япил жизнь из чаши Моцарта», — сказал он вблизи кончины, постигшей его в тридцать семь.

Студент-первокурсник Хлебников написал: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Через несколько лет это сделал языком математической формулы великий Эйнштейн. Теорию относительности Хлебников называл «верой четырех измерений». Четвертое измерение — время, введенное в систему координат, как бы обнялось с пространством и стало единым с ним целым.

Константин Кедров в статье «Звездная азбука Велимира Хлебникова» расшифровывает выводы Хлебникова о том, что видение единого пространства и времени приводит к синтезу пяти чувств человека:

«Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал... незримые области перехода звука в цвет...»

Хлебников видел звуки окрашенными. Ничего невероятного в этом нет. И до него, и во время — были люди с таким устройством слуха и внутреннего зрения, что каждый звук вызывал у них совершенно определенную цветовую ассоциацию. Широко известен звукоцвет Скрябина. Иронизируя над цветовой клавиатурой, предложенной Скрябиным, Рахманинов осведомился, читая с листа партитуру «Прометея»: «Какого цвета тут музыка?» — «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя, — холодно ответил Скрябин. — Атмосфера тут фиолетовая». Он-то

видел, и Рахманинов казался ему самоуверенным слепцом. Для Римского-Корсакова звуки тоже обладали цветом.

Артюр Рембо писал о разной окраске гласных: «А» — черно, «Е» — бело и т. д.

Для Хлебникова же окрашены были согласные, ускользающая женственность гласных мешала ему поймать их цвет. Вот (частично) цветоряд Хлебникова: Б — красный, рдяный, П — черный с красным оттенком, Г — желтый, Л — желтый, слоновая кость. Теперь прочтите: «Бобэоби пелись губы» и подставьте хлебниковские цвета на место согласных. Вы увидите говорящие накрашенные губы женщины: алость помады, белизну с чуть приметной прижельтю — «слоновая кость», что присуще здоровым, крепким зубам, наконец, темноту приоткрывающегося зева. И никакой зауми.

А для чего это надо? — спросит здравый смысл. Почему не сказать то же самое на общедоступном языке? Именно потому, что Хлебников не считал русский, как и любой другой национальный язык, общедоступным. В доисторические времена общий язык наших косматых предков служил к их сближению и объединению; приветливое слово отводило занесенную для удара дубину. Но возникли государства, и каждое отгородилось от соседей не только границами, крепостями и армиями, но и недоступным для чужеземцев языком. С тех пор язык работает на разобщение народов. Хлебников же видел свою миссию в объединении людей, а для этого должен быть создан единый общедоступный язык. Тут нет ничего абсурдного. Равно как и в том, что нужен космический язык, который сделал бы возможным разговор обитателей разных звездных миров. Во дни Хлебникова эта мечта казалась безумной, но ведь безумным представлялся калужским обитателям человек завтрашнего дня, великий Циолковский, чьи осмеянные фантазии торжествуют в сегодняшнем мире. Хлебников вдохновенно призывал:

Лети, созвездье человечье,
Все дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор...

Поэтические бредни? Но сейчас в научных учреждениях серьезные люди ломают головы, каким должен быть язык для общения с инопланетянами.

Мне хочется вернуться к превосходной статье К. Кедрова. Ее сверхзадача, говоря языком театральной режиссуры, реабилитировать «темного» Хлебникова, которого даже серьезные и доброжелательные к памяти поэта литературоведы, вроде Дмитрия Мирского, предлагали отсечь от Хлебникова светлого, понятного и, стало быть, нужного. Работа Кедрова, хотя она высвечивает лишь часть невероятного громозда, имя которому Хлебников, неопровержимо доказывает, что подобное расчленение единого поэтического тела преступно. О звукоцвете уже говорилось; Кедров вскрывает глубинный смысл языка птиц («Зангези»), который Хлебников, сын орнитолога, научился понимать с детства, и «языка богов» (из того же произведения), вещающих звуками пространства и времени, как первые люди, давшие название вещам, животным, явлениям; он показал связь космического мировоззрения Велимира с образным строем его поэзии и тем расшифровал множество загадок и ребусов. Он убеждает читателя, что Хлебников не футурист, а будетлянин, то есть не искатель новой формы, а открыватель нового смысла, требовавшего небывшей формы. После статьи К. Кедрова будешь по-иному читать Хлебникова, и многое, что прежде ставило в тупик, теперь явит скрытую суть. Мускульно, как в фехтовальном зале, ощущаешь разящий выпад рапиры-мысли, спасающий «Перевертень» Хлебникова, который даже Маяковскому казался «штукарством».

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем молод, делом меди
Чин зван мечем навзничь.

Вот как фехтует Кедров за честь Хлебникова: «...Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого к будущему и обратно. То, что для других — лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова — поиск новых возможностей в человеческом мироведении». Словом, не игра, не фокус, а всплеск непрестанно напрягающейся над главной задачей мысли.

«Пора представить поэзию Хлебникова, — пишет Кедров, — как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу». Золотые слова!..

Поэт, которого Маяковский называл «Колумбом новых поэтических материков», «Зачинателем новой поэтической эры» и, наконец, «Королем поэтов», должен явиться в полный рост своему возмужавшему, набравшему зрелости и душевного опыта народу.

ГОЛГОФА МАНДЕЛЬШТАМА

Однажды в программе «Взгляд» показали дом, приютивший Осипа Манделъштама в его воронежском изгнании. И с экрана прозвучал короткий диалог ведущего программы с одним из «хозяев города». Ведущий поинтересовался, нет ли у городских властей намерения присвоить улице имя опального поэта. Иронически и снисходительно посмеиваясь, спрашиваемый, типичный представитель дремучего племени номенклатуры — сытое, гладкое, самоуверенное лицо, взгляд насквозь — пожал плечами: с чего, мол? Ну как же! — жалко забился голос ведущего. Такая трагическая судьба, такой большой поэт!.. «Да ведь не Пушкин!» — срезал Хозяин города и сам засмеялся, довольный своей находчивостью. В подтексте звучало: думаете, мы провинциальные, серенькие, не знаем, что почем? Нас на мякине не проведешь!..

Тут же на экране возник вездесущий Марк Захаров и со свойственной ему д'артаньяновской реакцией сделал ответный выпад: «Конечно, не Пушкин. Он другой гений!» Великолепный укол. Впрочем, его противник не только уцелел, но даже не почувствовал боли. В отличие от Сирано де Бержерака, для которого любая рана была бы смертельна, ибо он состоял из сплошного сердца, представитель воронежской элиты этим чувствительным и уязвимым органом вовсе не обладал.

А мне пришел в голову другой ответ, который мог бы хоть озадачить закованную в броню тупость. Кто-то из великих сказал, что Пушкин — наше все. Пушкин не имя, а

слово, самое полное и звучное слово для обозначения русского гения. Поэтому можно сказать: пушкин Гоголь, пушкин Лермонтов, пушкин Достоевский, пушкин Мандельштам. Да, да, дорогие воронежцы, на одной из невзрачных улиц вашего города, в невзрачном доме жил, творил, готовился к исходу и преображению пушкин русской поэзии двадцатого столетия по имени Мандельштам. Незавидного росточка, худощавый, старообразный человек, которому не было пятидесяти, а выглядел далеко за шестьдесят, с серой щетиной на провалившихся в челюстную пустоту щеках, со вскинутой по-гоголиному головой, тонущий в не по чину барственной, тронутой молью шубе с чужого плеча.

— Дедушка, ты генерал или поп? — спрашивали его воронежские ребятишки, недобро приглядываясь к странному чужаку.

— Немножко и то и другое, — отвечал тот, пересчитывая их бегло-взблескивающим взглядом.

Мандельштам вызывал чувство недоумения не только у воронежской детворы. Ни одна поэтическая и человеческая судьба не может поспорить в непонимании с участью Мандельштама. И вообще-то глуховатый к творчеству современников, Блок (как трудно давалось ему приближение к родственному всем настрою Иннокентию Анненскому) на дух не принимал Мандельштама, издевательски сравнивая его с безвестным московским поэтом-дилетантом. Лишь когда Мандельштам вымахал чуть не во весь свой поэтический рост, Блок проявил к нему некоторую снисходительность. То ли Хлебников, то ли Маяковский пустили о нем злую шутку, высмеивающую античные пристрастия поэта и прицепившуюся к нему, как репей: мраморная муха. К середине двадцатых критики стали делать вид, что такого поэта, как Мандельштам, вовсе не существует, если же приходилось вспоминать о нем, волчья пасть вспенивалась бешеной слюной злобы. Даже бывший собрат по цеху поэтов талантливый Георгий Иванов признавал полностью лишь

«Камень», в «Тристии» обнаруживал остывание дара, а все остальное — и высшее — резко отвергал. Б. Пастернак под уклон дней признался, что недооценивал в молодости почти всех лучших поэтов-современников. Мандельштаму это дорого обошлось. Когда его посадили в первый раз за антисталинские стихи, обиженный вождь позвонил Пастернаку, желая узнать, какое впечатление произвел этот арест на писательскую среду. В ту пору еще существовало общественное мнение, да и с заграницей считались. Сильное слово Пастернака могло бы спасти Осипа Эмильевича. Но Пастернак, взволнованный звонком Сталина, в которого был тогда по-женски влюблен, не мог сосредоточиться на предмете беседы. Он стал зачем-то уверять Сталина, что поэтически Мандельштам ему глубоко чужд. Это было правдой, но сейчас вовсе не нужной. «Вы плохо защищаете друга», — сказал Сталин. Все еще во власти звездного, а не земного, Пастернак уточнил, что его отношения с Мандельштамом нельзя назвать дружбой в том высоком смысле... Сталин уже не слушал, он понял главное: большого шума арест Мандельштама не подымет. Лишь после того как звякнул рычажок трубки, Пастернак опамятовался: не туда его занесло. С тревожным, дискомфортным чувством набрал он номер Сталина. «Нам надо поговорить!» — «О чем?» — холодно спросил вождь. Желая укрупнить предмет беседы, Борис Леонидович затрубил: о жизни и смерти, о вечности!.. Сталин бросил трубку.

Но что-то сработало. Резолюция о Мандельштаме была непривычно мягкой: изолировать, но сохранить.

В свете того, что совершил Мандельштам, снисходительность Сталина кажется сейчас невероятной и необъяснимой. Часто приходится слышать: почему не нашлось на Сталина Занда, Шарлотты Корде, хотя бы Фанни Каплан? Почему же — нашлось, только Мандельштам действовал не кинжалом или пулей, а словом. В дни рабьего молчания, наклона и угодливости он громыхнул такими стихами:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи на десять шагов не слышны,
А где хватает на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца,
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина
И широкая грудь осетина.

Сейчас, когда о Мандельштаме пишут в мире куда больше, чем о любом другом русском поэте, нельзя вроде бы говорить о каком-то его непризнании. Скажем иначе, мягче: затянувшаяся недооценка, недопонимание, нежелание отдать Богу Богово. Даже такой поклонник поэта, как американский исследователь К. Браун, проявляет порой странную глухоту. Обманутый летучей легкостью «Американки», «Тенниса», «Кинематографа», он считает эти стихи пустой тратой поэтических сил, а не пронизательным и радостным откликом поэта на движение времени: двадцатый век оттесняет молодым мускулистым плечом своего предшественника — на смену дряхлым струнам лир он натягивает золотой ракеты струны.

Меня удивляет, каким сдержанным — до сухости — стал Иосиф Бродский в оценке Мандельштама. Он даже объявил своим учителем сверстника и друга Евгения Рейна, чтобы не числиться по ведомству Мандельштама. И многие приняли за чистую монету это усмешливое смирение. «Маленький Ося» называли его в ахматовском кругу в отличие от «Большого Оси»; в милой этой шутке признавалась связь поэзии молодого Бродского с автором «Камня». Тогда Бродский охотно отзывался на любовное прозвище,

но сейчас он сознает себя самого «Большим Осей». Великие не любят предтеч.

Я с вниманием и сочувствием следил за антологией советской поэзии, которую вел Евг. Евтушенко на страницах «Огонька», и на меня пахнуло неожиданным холодком от мандельштамовской публикации. Я знал, как любит Евтушенко сияющее, хотя и очевидное стихотворение «За гремящую доблесть грядущих веков», и ждал иной подачи поэта.

Самое невероятное, что самый близкий Мандельштаму человек, близкий ребром, а не только умственным, духовным и душевным настроем, автор высокой, трагической книги о нем, его жена Надежда Яковлевна Мандельштам завершила свой реквием устало-снисходительной ужимкой всезнания: Ося не великий поэт. Что за помрачение зора, видевшего любимого человека в такую глубину? Не хочется думать, что это слепота чрезмерной приближенности — слишком бедно для такой личности, как Надежда Яковлевна. Или тут смирение перед неумолимостью судьбы, которая все равно обманет, так не лучше ли самой — в упреждение — умалить родного великого человека? Или — что-то коренящееся в комплексе жены — загадочный и до боли обидный срыв?..

Зато знала Мандельштаму цену и не колебалась отдать первенство всевидящая и неподкупная Анна Ахматова. Увидела сразу — в рост — и назвала «молодым Державиным» равновеликая Анне Ахматовой Марина Цветаева. Если впоследствии ясный взгляд боярыни Марины в его сторону чуть замутился, то виноваты его собственные взбрыки. И вот что удивительно: Есенин, который в хмельном ожесточении чуть ли не с кулаками кидался на Мандельштама и поносил на чем свет стоит, однажды сказал с болью и чистотой совершенного поэтического бескорыстия: «Разве все мы пишем стихи? Вот Мандельштам пишет».

При жизни Мандельштама литературное непризнание — в юности у старших: Брюсова, Блока, в зрелые

годы — у советской критики — сочеталось с неприятием его как личности. Опять же, люди значительные: Гумилев, Ахматова, Цветаева, Тынянов, Георгий Иванов, можно назвать еще много высоких имен, — не просто мирились с неудобным Мандельштамом, но искренне любили его. С. Маковский, ностальгически вспоминая в парижском самоизгнании прошлое, а в нем Мандельштама, писал о его детскости, которой нельзя было не восхищаться. Можно. Эта его детскость, незащищенность, любовь к сладкому, беспричинный смех (он смеялся от «иррационального комизма, переполняющего мир») и рядом — резкая самостоятельность мнений, независимость, умственная и душевная, неподчиненность авторитетам, догмам, принятому мнению, правилам литературного поведения — раздражала людей. Мандельштама старались высмеять даже за поступки, которые, будь они совершены другими, считались бы по справедливости героическими. Так, он разорвал список приговоренных к расстрелу, который собирался подмахнуть, не глядя, оголтелый чекист Блюмкин — убийца немецкого посла Мирбаха и завсегдатай литературных салонов. Об этом рассказывали с упором не на отчаянную смелость жеста, а на то, что Мандельштам с криком выбежал из комнаты, когда Блюмкин выхватил пистолет. Литературный эфемер и житейский хам, Амир Саргиджан оскорбил Надежду Яковлевну. Мандельштам доверчиво обратился к писательскому суду, и этот последний под председательством Алексея Толстого оправдал хулигана. Поэт дал ему публично пощечину. Но в литературной среде говорили не о поступке чести, а лишь о вельможном ответе советского графа: «Я настолько силен, что мог бы стереть вас в порошок, но я даже не подам в суд».

А непотребный шум вокруг «дела Горнфельда» — обвинение Мандельштама в плагиате. До сих пор непонятно, что двигало Горнфельдом, кто стоял за его кляузой. Вой поднялся такой, что впервые возмутилась сонная и равно-

душная писательская общественность и выступила с коллективным письмом в защиту измученного Мандельштама.

Кухонная злоба человеческого нищедушия преследовала его и после смерти. Даже порядочный человек Э. Герштейн, обиженная Надеждой Яковлевной, разразилась книгой «Новое о Мандельштаме», которая, не прибавляя ничего нового к образу поэта, хорошо питает обывательскую неприязнь к духовности.

Что же держало Мандельштама на плаву? Да разве был на плаву этот вечно бездомный, почти нищий человек, то незамечаемый, то хищно преследуемый поэт, а потом узник, самоубийца-неудачник, ссыльный, живущий подаянием, наконец, лагерный зэк, не умерший, а сгинувший неведь на каком из островов архипелага ГУЛАГ? Было к нему и другое отношение. Весной 1933 года Мандельштам дважды выступал в Ленинграде. Анна Ахматова писала: «Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т.п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград... и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще сейчас».

О его вечере в Москве писал Н. Харджиев: «Мандельштам — единственное утешение. Это поэт гениальный... Мандельштам держал слушателей, как шаман, целых два с половиной часа. Он читал все стихотворения, написанные за последние два года, в хронологическом порядке. В них было столько заклинаний, что многие испугались. Даже Пастернак испугался, промолвив: 'Я завидую Вашей свободе. В моих глазах Вы новый Хлебников. И такой же чужой, как он. Мне нужна не свобода'. (Замечательное признание! — Ю.Н.) На провокационные вопросы придворных поэтов Мандельштам отвечал с высокомерием пленного императора».

И все же не это главное. Мандельштама держало то, что он всегда оставался Мандельштамом, знающим себе

цену. Он рос, невероятно рос, понимая свою огромность. В самую страшную пору, когда казалось, что дальше уже некуда, он писал:

И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен —
Как Слово о полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружие —
Сухая влажность черноземных га.

Только графоманы и гении обладают такой вот безграничной — вопреки всему — верой в себя. Мандельштам не был графоман. Когда-то он сказал о замечательном пианисте Генрихе Нейгаузе вещие слова, полностью применимые к нему самому, да они и были выражением его поэтической веры:

Не прелюды он и не вальсы
И не Листа листал листы —
В нем росли и переливались
Волны собственной правоты.

К этой правоте Мандельштам шел семимильными шагами: от туманностей и очарованности своего раннего символизма, когда он не верил в собственную материальность: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?», не верил слову и красоте, заклиная их не воплощаться: «Останься пеной, Афродита, // И слово в музыку вернись», через вещественный и здравомыслящий акмеизм: «Нет, не луна, а светлый циферблат // Сияет мне, и чем я виноват, // Что слабых звезд я ощущаю млечность», к такому объемному постижению всего сущего, такому охвату его неслыханным словом, что постижение это обернулось зжидительством, возведением собственной вселенной, ничем не уступающей Божьей. Тут нашлось место земле и небу, пространству и времени, историческому прошлому и настоящему, храмам, дворцам, избам, квартирам, человеку горнему и человеку среди утвари, всему мировому напряжению, создающему религию и культуру.

Поэт был для Мандельштама строителем. Через всю его поэзию прошло восхищение строением — стихи о Нотр-Дам, Айе-Софии, Реймском, Кельнском, Исаакиевском, Казанском соборах, Адмиралтействе. Иисус основал свою церковь на камне — Петросе, камень — в основе поэтической постройки Мандельштама, недаром первую свою книгу он назвал «Камень».

Построив свою церковь и ощутив ее этическую и эстетическую огромность, согласившись принести ту искупительную жертву, которой оплачивается возведение нового Дома Господня, Мандельштам не обмолвился, а всей звучной гортанью сказал Иисусово: «От меня будет миру светло».

Автор лучшей книги о Мандельштаме, Никита Струве, до этого бесстрашно шедший за ним в его глубь, как Данте за Вергилием по кругам ада, здесь слегка остутился. При другом, подобном же высоком уподоблении, он вдруг тонким голосом завел, что не может же Мандельштам с его пиететом к Господу Богу... Может, он все может, недаром его ненавидели пигмеи. Нет, только так открывается во всей полноте и завершенности беспримерный путь поэта и непреложность его исхода — без воплощения нет Мандельштама. В молодом изумительном, но еще незрячем стихотворении «Лютеранин», далекий от понимания своего масштаба Мандельштам говорил: «Мы не пророки, даже не предтечи». Конечно, он не пророк и не предтеча, он тот, о ком пророчат, кому предтекают. Как и Христос, Мандельштам обладал правом выбора и выбрал путь, ведущий на Голгофу.

Его Голгофа была едва ли не страшней Иисусовой. Муки Сына Человеческого: истязание, венчание терновым венцом, путь под тяжестью креста по нынешней недлинной Делароза — от дома Пилата до Голгофского холма, томление на кресте — завершились в течение дня, а там было снятие с креста, пеленание, положение во гроб и вознесение. У Мандельштама муки растянулись на месяцы, может

быть, на год, никто не знает, когда, где и как он умер. Но слухи об исходе великого поэта России ужасны. Кто видел голодного безумца, читающего стихи у лагерного костра за хлебную корку, кто — блокадный призрак, так довел он себя голодом из боязни быть отравленным, кто — задыхающегося доходягу в битком набитом трюме то ли по расчету затопленной, то ли потонувшей в шторме тюремной баржи. Большинство слухов сходится на одном — признаках безумия. А это страшнее всего. «Не дай мне Бог сойти с ума», — молил Пушкин, не боявшийся ни страданий, ни смерти. И никто не протянул умирающему жестом милосердия губку, смоченную в освежающем питье: смеси вина, уксуса, воды. И никто не спеленал его тела и не положил во гроб. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо и Моцарта.

Иисус на горе Елеонской молил Отца небесного пронести мимо предназначенную ему чашу. О том же устами Гамлета просил Пастернак, хотя угроза ему не была столь велика. Когда Сталин объявил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи», Борис Леонидович послал ему благодарственное письмо: Сталин снял с его плеч непомерную ношу считаться первым стихотворцем. Нельзя было устоять перед такой непробиваемой наивностью, и вождь дал указание «оставить в покое этого небожителя».

Для Мандельштама, как и для Ахматовой, настанет час взмолиться о чаше — чтобы мимо, чтобы помиловали, Ахматова сделает это ради несчастного сына холодными «сталинскими» стихами; Мандельштам сдастся измученным глазам «нищенки подруги», перекошенному страхом рту жалкого брата и собственной усталости, он введет Сталина в стихи — мастеровитые, как и все, что выходило из-под его пера, но мертвые. Испушенный в поэзии и сервиллизме вождь не поддался на удочку, сразу увидев, насколько эти чеканные строчки слабее вырвавшейся из сердца хулы про кавказского горца или ходившего по рукам «Фазетонщика»:

«Он безносой канителью//Правит, душу веселя,//Чтоб вертелась каруселью // Кисло-сладкая земля...». Поняв, что чаши не избежать, Мандельштам плюнул на все и бодро понес свой крест на Голгофу. Да, бодро, ибо поразительна поэтическая мощь его черных воронежских дней, на такую высоту не поднимался ни он сам, ни какой другой поэт века, да и что может быть выше Голгофы?

В упомянутой мною книге Никиты Струве найден ключ к такому сложному явлению, как Осип Мандельштам. Во главу своего исследования он поставил понятие судьбы в христианском смысле: не слепой рок, а свободное исполнение человеком Божьего замысла. «Мандельштам, — пишет Струве, — не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение».

Неужели личная судьба и в самом деле должна подтверждать правоту поэта? Когда-то Кюхельбекер сказал: «Тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех — певцов моей России». Пушкин и Лермонтов сознательно шли на пулю. Их роковые поединки не имеют ничего общего с галантными дуэлями Фердинанда Лассаля и Эвариста Гауа, хотя и тут был смертельный исход. Но одно дело, когда к барьеру ведут правила рыцарской игры, другое — давление жизненных обстоятельств и собственный неотвратимый посыл. Пуля подтвердила поэтическую правоту Гумилева и Маяковского (правотой может быть и расплата за измену поэзии), петля — Есенина и Цветаевой; Блок был заморен голодом с собственного согласия, Клюев сгинул то ли в ссылке, то ли в лагере, та же участь постигла Клычкова, Хармса и Введенского, Пастернака затравили, список можно бесконечно расширять. Случалось в большом поэтическом хозяйстве России, что Орфей выводил из ада Эвридику: трагическая жизнь Ахматовой увенчалась признанием и славой. Но это исключение. Может, потому

и не могла так долго состояться поэтическая судьба гениального Тютчева, что великий любовник, остроумец и баблонец гостиных не искупил ее жертвой? Коли твой голос прорезал смутное многоголосье, вырвался из хора, то подтверди кровью свое право «глаголом жечь сердца людей». Ахматова говорила, что не могла бы пожелать поэту Мандельштаму лучшей судьбы, она восхищалась арестом и ссылкой Бродского: ему делают прекрасную судьбу. Надо сказать, что на западе к поэту подобных требований не предъявляют. Судьбы Вийона, Шенье, Клейста не типичны. Более естественны академические лавры и почести. Нынешние ведущие советские поэты тоже не гибнут, а становятся секретарями СП и лауреатами. Прежде наша родина куда строже спрашивала с лироносцев.

Но даже в ряду отечественных поэтов-страдальцев, поэтов-жертв участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего — по сознательности и твердости выбора, именно выбора, а не пассивного принятия. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, — он встал и пошел...

Попробуем пунктирно проследить путь Мандельштама, смешно посягать на большее в кратком очерке, когда и тома новых исследований (зарубежных) не могут исчерпать этой темы. Даже в прекрасной работе Никиты Струве мне недостает анализа отдельных стихотворений. В тех немногих случаях, когда Струве приступает к такому пристальному разбору, он все-таки недостаточно подробен. И мне вспоминается статья Иосифа Бродского, посвященная анализу одного стихотворения Марины Цветаевой. Адресат стихотворения — Эрих Мария Рильке — ее далекая любовь. Все тут очень личное, зашифрованное и, как мне казалось, безнадежно непрочитаемое. Но вот его коснулся смелый, острый и точный скальпель равновеликого поэта, и стихотворение распахнулось, раскрылось во всю глубину, темные далекие ассоциации высветились, будто вынули драгоценность из запятого футляра, и вот она на твоей ладони сверкает, переливается, играет всеми граня-

ми. И какое наслаждение перечитать отягощенные важным смыслом и теперь понятные строки!

Никита Струве не поэт, а талантливый и добросовестный исследователь и не допускает себя до столь беспощадной и, в прекрасном смысле, наглой пронизательности. А может, это правильный расчет собственных сил: ученый не может посягать на то, что открывается интуиции и тайномыслию поэта. Вот если бы Бродский под добрую руку сделал для Мандельштама такую же работу, как для Цветаевой!

Но обязательно ли расшифровывать Мандельштама, а если нет, то можно ли наслаждаться не прочитанными до конца стихами? Помните у Лермонтова:

Есть речи — значение
Темно иль ничтожно —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Лермонтов первый в русской поэзии обнаружил, что со словом не все так просто, не всегда оно очевидно, не всегда совпадает с сутью. Вот комический пример тайнозначия слов из «Пиквикского клуба». Мистера Пиквика судят за мнимое нарушение брачного обязательства. Адвокат истицы, вдовы Бардль, хитрый крючоктвор Бацфус, опирается на фразу мистера Пиквика, сказанную им вдове: он попросил грелку в постель. Бацфус уверяет, что Пиквик имел в виду не прибор для согревания простынь, а саму вдову. Любовники сплошь да рядом называют друг друга чем угодно, только не по именам: рыбкой, ласточкой, втулочкой, почему же не назвать грелкой аппетитную вдовушку? Если отвлекаться от данного конкретного случая, то это верно: любовная игра порой такие слова изобретает, какие не снились ни одному заумщику, но ведь любовники отлично понимают друг друга. Значит, слово свободно от изначального смысла, и если поэт принял это в свою кровь, он может говорить на птичьем языке любви, который будет волновать, даже оставаясь непонятым.

Поэтическое движение Мандельштама шло по линии раскрепощения слова, полнейшей свободы ассоциаций, преодоления временных и пространственных рамок. Вот, кажется, последнее стихотворение, написанное в Воронеже, возможно, и вообще последнее:

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

В конце короткого стихотворения — картина ухода из Киева красноармейцев в пору гражданской войны. Завершается все криком «сырой шинели»: «Мы вернемся еще, разумийте!»

Вроде бы все ясно как день, названы время и место, четко обозначены персонажи. Но есть тайна — второй, пророческий смысл. Вот так будет метаться уроженка Киева, вдова поэта Надежда Мандельштам, гонимая за мужа-преступника, по всей стране, не находя нигде твердого пристанища. И так же сухо будет лицо сильной любовью и ненавистью женщины, подчинившей себя одной цели: спасти, сохранить стихи погибшего. Мандельштам это предвидел — он предвидел и куда более скрытое — и соединил горе «жинки» с горем оставляемого неприятелю города, где «пахнут смертью господские Липки» и где он однажды пережил разлуку с той, что стала его женой.

Вершина мандельштамовской поэзии «Стихи о неизвестном солдате» входят в душу взрывами страшных откровений сквозь мучительный туман тайнописи, но последней строфой озаряется весь мрачный громозд апокалипсической картины мира, созданной поэтом. Это переключка убиенных:

— Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...

В тризну по всем погубленным: в войнах, революциях и мирном душегубстве голодом и статьями, поэт включает себя

И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Он как будто бы знал, что дата его смерти останется неизвестной, как и место погребения, если погребение вообще было, и хочет врезать потомкам в память день своего появления на свет, хотя бы одним краем прикрепиться к времени.

После этого затянувшегося отступления вернемся к нашему намерению проследить поэтический путь Мандельштама. Выше приводились строки из его символического стихотворения «Silentium». Не менее знаменито вот это:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» заполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
И он ответил любопытным: вечность!

Вот так досталось отвлеченному Батюшкову от строгого и трезвого Мандельштама, человека точных координат. Боже, как прекрасна эта гениальная игра!

Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» Новую русскую поэзию Мандельштам вел от Иннокентия Анненского, обладавшего внутренним эллинизмом, адекватным духу русского языка. А что такое «эллинизм» по Мандельштаму? «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая одежда, возлагаемая на плечи любим. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».

Он полюбил прочную и вескую материю камня. Воспевал камень, одухотворившийся в соборы и города. Здесь начинается его проходящая через всю жизнь тема Петербурга. Первое в этом ряду стихотворение «Петербургские строфы» посвящено старшему другу Николаю Гумилеву, наставнику, умному, доброму критику, но не учителю. Учителей не было, были предшественники: Виллон, Державин, Батюшков, Тютчев, Верлен. Мандельштам упивается точным и цепким словом. Он зовет своего младшего соратника по цеху поэтов Георгия Иванова:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...

В этих стихах молодого Мандельштама проглядывает восхищение глупой гусарской юностью, беспечностью и здоровьем, совсем как у старого Льва Толстого, только без оттенка зависти. Я не оговорился, сказав «гусары», — уланы не стояли в Царском Селе, это описка поэта.

Дальше стихотворение приобретает едкую сатиричность в обрисовке обитателей Царского Села: однодума генерала, кичливого князя-офицера и напугавших поэта «мощей» старой фрейлины. Как странно, что многие исследователи считали это стихотворение чисто описательным, холостой тратой акмеистических мускулов.

Мандельштам приветствует «реалии», как сказали бы мы сейчас, американизирующегося общества, раньше других подметив это явление, стихотворениями: «Кинематограф», «Американка» и «Американский бар». Первым после Лермонтова в русской поэзии он обращается к теме спорта. Лермонтов живописал кулачную потеху — русский бокс со смертельным, как положено в России, исходом, Мандельштам — теннис. Потом и футбол появится. Поэт, у которого полушки за душой не было, восхищается игорным домом — на дюнах казино. В эту пору Мандельштам съездил за границу, хотя до сих пор неясно, где ему довелось побывать. Лучшие из «зарубежных» стихов посвящены Венеции и Риму, но, кажется, до Италии он не добрался.

Если верить стихам — а им надо верить до известного предела, ибо они не дневник, а творчество, — Мандельштам в эти годы упивался жизнью. Носил котелок, стал отращивать бачки. Он позволяет и любви заглянуть в целомудренную келью своей поэзии — «Ахматова». Война 14-го года всколыхнула его поначалу на изящные стихи «Собирались эллины войною//На прелестный остров Саламин». Многих разозлило кощунственное в подобном контексте слово «прелестный». Затем он посерьезнел, отдал естественную дань патриотизму, но уже в 16-м году затянувшаяся бойня вызывала у него лишь чувство отторжения.

Очень важным является появление темы Рима в творчестве Мандельштама. Глубокий поклон Риму значил для него обретение христианства. Естественным стало для него и крещение в христианскую веру. Правда, он принял лютеранство, а не православие, но не в силу приверженности к протестантско-бюргерским символам веры, а потому, что, будучи российским жителем, не хотел брать на себя культовые обязательства православия — он был религиозным, а не церковным человеком. Кроме того, не хотел упреков в расчетливости.

Он как будто присматривался к лютеранству и католицизму стихотворениями «Лютеранин» и «Аббат». В первом он живописует простые, строгие и легкие лютеранские похороны, чуть бездушные в своей чинности, что приводит его к безрадостному выводу:

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада
И в полдень матовый горим, как свечи.

Все горько и справедливо, кроме местоимения «мы», — поэт-пророк напрасно распространяет на себя нашу тусклость и равнодушное смирение перед вечностью.

«Спутник вечного романа аббат Флобера и Золя», спешащий на обед в замок, предсказывает Мандельштаму: «Католиком умрете вы». Наверное, Мандельштаму в его очарованности Римом казалось, что он разделит судьбу Печорина и кн. Голицына. И аббат и поэт оба ошиблись. В недалеком будущем Мандельштам внезапно и резко охладеет к Риму и сблизится с Элладой — не с античностью и ее эриниями, а с Грецией, принявшей Христа. Наследницей Греции была для поэта не «бездетная Византия», а Россия и русское православие. Но это все позже, это наполнит новую книгу «Tustia», а в «Камне» Мандельштам поет цезарийский Рим, принявший первых христиан, и папский Рим с тронном заместника Бога.

И все же в «Камне» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ вечного города. С великолепной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что «никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предсказывающих новый этап поэтической работы:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладой когда-то поднялся.

А завершает книгу опять же Греция, хотя стихотворение посвящено театру Расина: «Я не увижу знаменитой 'Федры'». В конце — глубокий задумчивый вздох: «Когда бы грек увидел наши игры...»

Греческие игры Мандельштама, которыми так насыщена «Tustia», начинаются опять же с «Федры», но уже не Расиновой, а той, что в каменной Трезене запятнала трон мужа своего Тезея. Мандельштам обретает невоображаемую, а на ощупь, Грецию в каменной Тавриде*, в той части Крыма, что так похожа на Пелопоннес: от Керчи до Судака, с греческой Феодосией, с Коктебелем, чьи низкорослые пыльные акации похожи на оливы и где на берег выбросило обломок Одиссеева весла. Одно из самых его величавых стихотворений посвящено Тавриде: «Золотистого меда струя из бутылки текла...» Завершается оно бессмертными словами: «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, // Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Ну, а вершина сборника — «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Самый сильный мотив этих стихов — расставание. Это имеет почву в биографии поэта: совершилась Октябрьская революция, и началась для него пора разлук и странствий — нищая одиссея.

Но именно в этом сборнике со взором, обращенным вспять, поверх ушедших столетий, поэт начинает соединяться со своим временем, обретать в нем прочную ячейку. При его чувстве истории и пронизательности он не мог впасть в ошибку Блока, увидевшего Христа во главе революционно-уголовного шествия и приговорившего себя к нежизни, когда обнаружил роковое заблуждение, но Мандельштам избежал и слепоты, постигшей таких раз-

* Кто-то из знающих толк в поэзии говорил: следите за повторяющимися у поэта словами, в них ключ к его сегодняшней душе. Мандельштам не расстается со словом «камень» и производными от него.

ных художников, как Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, не позволившей им ничего увидеть в происходящем, кроме окаянства. Он принял мрачное величие переворота, его неотвратимость: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий // Скрипучий поворот руля. // Земля плывет. Мужайтесь, мужи». Последний призыв он обращает прежде всего к самому себе. И, как известно, внял призыву.

Революция приучила Мандельштама к отъездам, похожим на бегство, к терпким расставаниям: «Я изучил науку расставанья // В простоволосых жалобах ночных». Он был не из тех, кто способен покинуть свою «грешную землю» (и уехать послым, скажем, в Сан-Марино), но, подобно тысячам других сдутых с места жителей, метался по стране, ища хлеба и убежища. Он не умел прокормиться в родном Петербурге.

Эти метания приводили его то в Киев, то в Феодосию, то в Коктебель под доброе крыло Волошина, то в Батум, то в Тифлис горбатый, то в Москву. Почти всюду Мандельштама арестовывали и даже пытались раз-другой расстрелять. За что? За непохожесть, за выпадение из окружающего, за чуждость простому и грубому духу эпохи (он скажет впоследствии: «Нет, никогда ничей я не был современник»); часовым революции и контрреволюции равно казалось, что этот не уместяющийся в привычных координатах человек должен быть изолирован, а еще лучше — пущен в расход, чтоб не смущал взора. Только чудом спас его Максимилиан Волошин. Но этого человека, боявшегося участка, о чем с удовольствием пишут мемуаристы, в глубь души было очень трудно испугать. И, выпущенный на волю после очередного ареста в меньшевистской Грузии, он пишет о Тифлисе веселые, свободные, хмельные стихи, и никакой завсегдатай духанов не мог бы так прославить шашлычно-винный город у слияния Арагвы и Куры.

В «Тристии» продолжается тема Петербурга, обретая в послереволюционном стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...» ту трагическую ноту, которая похорон-

ной безысходностью зазвучит в знаменитом «Ленинграде» (декабрь 1930 г.): «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Это уже безнадежность. А пока ему кажется, что «в черном бархате советской ночи // В бархате всемирной пустоты // Всё поют блаженных жен родные очи, // Всё цветут бессмертные цветы».

Обратите внимание на «поющие очи». Это продолжение Дантовой метафоры: веки — губы глаз. А губы поют. Прием — обычный для Мандельштама. Его метафоры часто можно отыскать в почве Вийона, Данте, Державина, Батюшкова, Тютчева, особенно — Лермонтова, которого он называл своим мучителем. Цитаты — это цикады, говорил Мандельштам, ими неумолчно напоен воздух. Ты становишься собственником цитаты, введя ее в свой духовный мир.

Следующий короткий этап поэзии Мандельштама не стал книгой при всей своей значительности и завершенности, он вошел как «Раздел 1921-1925» в сборник «Стихотворения», изданный в 1928 году, когда поэт переживал кризис долгого молчания. В этом цикле такие шедевры, как «Концерт на вокзале», «Умывался ночью на дворе...», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода», «1 января 1924», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Вы, с квадратными окошками невысокие дома...».

Могучими стихами свидетельствует Мандельштам о своей растерянности перед постигшим его открытием, что хребет века безнадежно сломан:

И еще набухнут почки,
Брызнет времени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Поэту и прежде случалось нередко говорить от первого лица, хотя он не злоупотреблял местоимением «Я»,

но то не был Мандельштам во плоти и крови, а некий его представитель, которому поэт вручал необходимую часть себя — своей тоски, печали, любви, гнева, напряжения мысли. Здесь он целиком воплотился в «Я» стихов. Это все о себе, о себе единственном, а не о том, кому он доверял право говорить от своего имени или в кого он, резвясь, играл.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит
к концу.

Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.

.....
Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными
ногами, —

Когда их было не четыре...

И вот заключительные строки этого страшного стихотворения «Нашедший подкову»:

Время срезает меня, как монету,
И мне уже не хватает меня самого...

В первый день января 1924 года Мандельштам вновь стал разбираться с веком, умирающим, по его мнению, окончательно лишь сейчас. В щемящей нежности и жалости к нему поэт становится сильнее века-властелина, припадающего к его руке:

...И к млеющей руке страдающего сына
Он, умирая, припадает.

Но близка и гибель поэта, ибо она в немоте, которой не избежать:

...Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

Он человек, он мечется, пытается уговорить себя: ничего страшного, твою целостность гарантируют малиновый свет аптеки и щелканье ундервуда. «Чего же тебе еще? Не тро-

нут, не убьют». Но в последнем он не очень уверен и под-
держивает свой дух иным:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Четвертое сословие — это народ, впервые признается
Мандельштам в своей преданности ему — до смерти. Вот
она, белеющая солью совесть. Здесь проясняется, что соль,
ставшая доминантой поэзии Мандельштама, — это совесть.
И она не пускает поэта от своего порога. Он остается —
без утешения поэзией. Большое время шелушится совет-
ской сонатинкой, и лира современного певца — пишущая
машинка — способна родить лишь тень былых могучих
сонат.

Не исчерпав себя этим пронзительным стихотворени-
ем, Мандельштам создает вариант, в котором утверждает:
«Нет, никогда ничей я не был современник», но вдруг, сми-
ря вызов, предлагает «с веком вековать». В стихах этого
времени — мучительная раздвоенность и неспособность
сделать окончательный выбор.

Еще раз с необычайным для него житейским теплом
он вспоминает Петербург. Сегодняшний город дан лишь
намеком на грустное запустение: незамерзший, торчащий
щучьими ребрами каток и слепенькие — свет вполнака-
ла — прихожие с ненужными коньками, а старый Петер-
бург — добросовестным товаром гончара на канале, ман-
дариновой кожурой Гостиного двора, золотым мокко, смо-
лотым электрической мельницей, докторскими приемны-
ми «с ворохами старых 'Нив'», оперой и бестолковым по-
следним трамвайным теплом. Все такое домашнее, уют-
ное, что вовсе исчезло у Мандельштама, у которого и в
быту и в поэзии теперь — ледяной сквозняк.

Великолепным стихотворением «Из табора улицы тем-
ной...» он растает с поэзией на пять лет. Будет прекрас-
ная проза «Египетской марки», переводы навалом, натуж-

ная зарифмованная шутка о глухой, упрямой старушке, путающей Бетховена, Марата и Мирабо, но поэзии не будет. А ведь он находился как раз на середине жизненного пути — так отмерил человеку век возлюбленный им Данте, — в самом расцвете физических и душевных сил. В чем же причина внезапной немоты? Наверное, прежде всего в том, о чем он говорил в «Нашедшем подкову»: ошибся, запутался, сбился с пути. И — это уже мой домысел — оробел перед тем окончательным выбором, от которого не уйти было такому бескомпромиссному и внутренне свободному человеку, как он. Но он еще отводит свой взгляд от чаши, которую подвигает ему рука Всевышнего. Душу корежили, уводя от главного, газетная травля, злосчастная история с Горнфельдом, жестокая бытовая неустроенность.

Разбужен для поэзии он был в 1930 году — выстрелом Маяковского. Он понял, что с этой властью и этим временем не может быть высокого договора, коли уже безупречное служение, принесение в жертву таланта и сердца не спасает от гибели. И он решился. А тут еще выпала поездка в Армению, ошеломившую его лазурью и глиной, близоруким небом и дикой кошкой царапающей речи; «орущих камней государство» сотрясло его безбожно разбазариваемую на быт, обиды, мелкие схватки, жалкие страхи душу, пробудив великую энергию творчества.

Несколько неожиданно Армения зарядила Мандельштама и социальным протестом. А потребовался для этого всего лишь приставленный к нему чиновник:

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,
Командированный — мать твою так! —
Без подорожной в армянские степи.

Но за ничтожным этим чиновником — давящая сила полицейского государства, заставляющая людей «ходить по гроба, как по грибы деревенская девка!..». В последней строфе он подводит справедливый итог своему путешествию:

Были мы люди, а стали людье,
И суждено — по какому разряду? —
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Хорошо сказал Никита Струве: «Уезжал Мандельштам незрячим, а вернулся всевидящим».

А вернулся он в свой родной город и вдруг увидел, что это и в самом деле Ленинград, а не Петрополь и не Петербург. И к этому городу он обратился стихотворением, которое так и назвал «Ленинград», хотя обращение сохранил прежнее: Петербург. Он пытается убедить себя, что это все еще его город, «знакомый до слез, // До прожилок, до детских припухших желез», что свет речных фонарей целебен ему, как рыбий жир ребенку.

Но интонация хрупкой бодрости ломается взрыдом:

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Конец зловеще двусмыслен:

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Кого он ждет? Мертвых друзей, или уцелевших, или — это куда вероятнее, коль дверные цепочки для него кандалы, — тех дорогих гостей, что являются далеко за полночь и о своем появлении не предупреждают телефонным звонком.

Они явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве, но он их уже ждет, о чем говорят и два маленьких стихотворения, написанных после «Ленинграда».

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу...
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

И бесконечно грустное обращение к жене:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Кажется, Николай Чуковский видел их на Московском вокзале, где они сидели на кое-как завязанной корзине в ожидании дешевого пассажирского поезда.

Мандельштам уже согласен на Сибирь, но хочет уйти туда сам, чтобы пасть от руки равного, а не от века-волкодава, кидающегося ему на плечи — сзади («За гремучую доблесть грядущих веков...»).

Органная эта мощь прозвучала у Мандельштама между двумя легкокрылыми печальями: «Я скажу тебе с последней // Прямотой: // Все лишь бредни — шерри-бренди, // Ангел мой!» и «Жил Александр Герцевич, // Еврейский музыкант, — // Он Шуберта навёрчивал, // Как чистый бриллиант».

До чего же ясно видел Мандельштам свою судьбу! В горчайшем стихотворении «Колот ресницы. В груди прикипела слеза...» он за семь лет до второго ареста и лагеря уже все знал:

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

И в разгар этих провидческих наитий он вдруг пишет и печатает (!) невероятное по вызову стихотворение: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня», где дерзко перечисляет ценности прошлого, оставшиеся и поныне достоянием свободного мира: от музыки сосен савойских до бискайских волн и сливок альпийских, от «ролс-ройса» до масла парижских картин, — веселый и наглый гимн европейской наполненности бытия. Ох и погуляла же критическая дубина по его лысеющей голове!

А ему и горюшка мало, «в нем росли и переливались волны собственной правоты» — высшее, чего может достичь художник. Он лишь просит Анну Ахматову сохранить его «речь навсегда за привкус несчастья и дыма». И она сохранит — навсегда.

В стихотворении «Полночь в Москве...» он, как будто отказавшийся от всякого современничества, точно определяет себя по времени: «Я человек эпохи Москвошвея, — // Смотрите, как на мне топорщится пиджак... // Попробуйте меня от века оторвать! — // Ручаюсь вам, себе свернете шею!» Тут нет противоречия: да, он над временем и он же во времени со всеми его малостями: клоунами Бимом и Бомом, медведем на бульваре (бедняга Топтыгин назван вечным меньшевиком природы), с бутылочной гирькой кухонных часов, но он не предает времени, ради которого «разночинцы рассохлые топтали сапоги». Он примет смерть, как пехотинец, но не прославит «ни хищи, ни поденщины, ни лжи». И он приказывает себе не хныкать, не жаловаться. Он это сумеет, ибо «человек эпохи Москвошвея» стоит над временем — для него эпохи взаимопроникаемы и в городе, где «с дроботом мелким расходятся улицы», к Рембрандту в гости идет Рафаэль, не чающий с Моцартом души в Москве «за карий глаз, за воробьиный хмель».

Похоже, что петербуржец Мандельштам и сам не чает души в Москве, хотя у него находится для нее и немало жестких слов. В трех барочно избыточных стихотворениях он, как там ни крути, славит Москву, соблазняющую его «разбойником Кремлем», Воробьевыми горами и рекой Москвой «в четырехтрубном дыме» (МОГЭС); он приветствует молодых рабочих «татарские сверкающие спины» — «Здравствуй, здравствуй, // Могучий некрещеный позвоночник, // С которым проживем не век, не два!». Какая радость существования в этом задыхающемся, почти нищем, безытном человеке, к тому же точно знающем свой конец.

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белокурой тростью выхожу;
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях —
И не живу, и все-таки живу.

И как еще о многом надо ему сказать! Поражает многообразие этой поры — поэта распирает чувство сиюминутной жизни и тревожат тени предтеч: одарив Батюшкова дивной одой, он в другом стихотворении ласкает имена Тютчева, Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, Фета и бородатого Хомякова. И вдруг, словно спохватившись, что забыл первую любовь, по-домашнему привечает Державина, а с ним и Языкова, неожиданно соединив эти имена. А там им завладевает Ариост — к итальянцам у Мандельштама особое отношение: Данте его кумир кумиров. Мировое литературоведение не знало ничего равного мандельштамовской большой статье (целой книге) об авторе «Божественной комедии».

Все еще во власти адриатических грез, Мандельштам попадает в Старый Крым. На страницах нашей печати не раз сетовали на заговор молчания вокруг страшной трагедии Украины — голода тридцатых годов, организованного Сталиным для уничтожения мелкобуржуазной стихии крестьянства. Это не так: не молчали А. Платонов и Б. Пильняк, не смолчал и Мандельштам.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

.....
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая крыльца...

По возвращении в Москву Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по ули-

це Фурманова с готовым стукачом за стеной. Борис Пастернак, приглашенный на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Теперь, чтобы писать стихи, вам не хватает только стола». Никто не умел так раздражать Мандельштама, как Борис Леонидович, что не мешало ему написать лучшие слова о пастернаковской поэзии. Едва гость ушел, Мандельштам в яростном порыве разделался с щедрым даром, молчаливо требовавшим от него ответного поклона. Для этого ему не понадобилось даже стола:

Квартира тиха, как бумага —
Пустая, без всяких затей, —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

.....
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

.....
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

.....
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Хочется говорить о каждой строке Мандельштама, это поэт без пустот, без проходных стихов, но что поделаешь, и после жизни ему так же скупо отмеряется площадь, как и до смерти. А ведь в эти годы были созданы восьмистишия, где столько природы, где «Шуберт на воде», и «Моцарт в птичьем гаме», и «Гете, свищуший на выющейся тропе» (слышите свист?), и «Гамлет, мысливший пугливы-

ми шагами»... Тогда же появляется бесподобный цикл памяти Андрея Белого, чьей смертью не слишком жаловавший его при жизни поэт был потрясен. Мандельштам не любил символизма Белого, даже поразительный язык его прозы оставался ему чужд, но именно Белому читал он свой труд о Данте. То был высокий собеседник, а их осталось, увы, немного, живая память целой эпохи, голголек, заводивший кавардак на Москве, «собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, // Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец». Без него слишком пресной, прямой и простой станет мысль, а быть может, «простота — уязвимая смертью болезнь»? Вся практика нашей скорбной жизни убеждает, что нет ничего опаснее простоты и кривее прямизны.

По-мандельштамовски не просто и не прямо оплакав Белого, а с ним и свое прошлое, Мандельштам вышел на последнюю прямую, которая скривит его в гибель, произнеся с набатной гулкостью в стране, «взявшей на прикус серебристую мышь» — индийский образ тишины, молчания из другого стихотворения, а по-русски — воды в рот набравшей, все, что он думает о кавказском горце: «Мы живем, под собою не чужа страны»...

Но перед тем он дал себе пережить последнюю бурную влюбленность — в поэтессу Марию Петровых.

Ты, Мария, — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твоего порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.

Последняя точка — чудо лаконизма; сколько чувств выражено такими скупыми средствами: два глагола, три точки.

На этом кончилась жизнь и началось житие. Напомню вехи: пощечина Алексею Толстому, возможно, ускорившая все остальное, арест, путь по Каме в ссылку, Чердынь, попытка самоубийства, Воронеж.

Жизнь возвращалась медленно, поэзия вернулась внезапно и бурно апрельскими днями тридцать четвертого

года, когда пробуждается природа и так сладко пахнут синие пласты чернозема. «Чернозем» — чуть ли не первое стихотворение ссыльного Мандельштама. Нет, раньше было стихотворение, навеянное скрипкой Галины Бариновой, давшей концерт в Воронеже. Музыка всегда была для Мандельштама острейшим переживанием и таким интимным, что он не мог говорить с близкими людьми о своих концертных впечатлениях. Мандельштам зажался, молчит, уводит глаза — значит, он с концерта. Но мог говорить, будем высокопарны, с Музой. Пробужденный музыкой и землей, Мандельштам исполнился любви к жизни. Стрижка детей, когда «машинка номер первый едко//Каштановые собирает взятки», заставила его почувствовать блаженную полноту мира и свою способность этой полноте отзываться:

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Лиловые толковые чернила.

Ему надо разделаться с Камой-рекой, по которой он совершил страшное свое путешествие «с занавеской в окне, с головой в огне». Он делает это чеканными двустипшиями, особенно поражает последнее:

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

Да, потому что конвойные — те же узники, они стерегут чужую неволю, а чужая неволя стережет их. В этом суть тоталитаризма — все повязаны одной цепью — общим пленом. Мандельштаму достаточно двух строк, чтобы сказать то, на что другому великому узнику понадобился гигантский бухгалтерский поименник «Архипелаг ГУЛАГ».

И вот он уже может бросить тем, кто пытался запечатать ему рот:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Свою правоту он подтверждает весело и нагло вато вроде бы шуточным, на деле же глубоко серьезным, пророческим стихотворением, поразительным для ссыльнопоселенца, живущего Христа ради, поэта, отторгнутого от литературы, печати, читателей:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Та же мысль на высокой ноте звучит в «Стансах»:

И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как Слово о полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружие —
Сухая влажность черноземных га!

В жизни Мандельштама стало много пейзажа, он ездит по области и отзывается простору, да и Воронеж — небольшой город — куда ближе природе, нежели Ленинград и Москва, и природа врывается в его лирику дивными стихами про щегла. С тех пор для многих в мире Воронеж стал «страной щегла».

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?
Хвостик лодкой, перья — черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щеголовит?
Что за воздух у него надлобье —

Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —
Не посмотрит — улетел!

Мандельштам сам споткнулся об этот гимн птице — красоте — вечности и создал дивные варианты стихотворения, затем извлек из рукава еще один самоцвет, перенес любовь на другую чудную птицу — снегиря.

Я помню, как в довоенном Коктебеле Сева Багрицкий, сын поэта и сам поэт, унаследовавший от отца не только дар стихосложения, но и смутный тембр голоса и умение налить им звучащее слово, читал на террасе волошинского дома эти стихи. «Мои!» — сказал он резко, чтобы прекратить расспросы и доносы, и мы все поняли, чьи это стихи. А потом он читал невероятное о земной оси, которую надо услышать поэту, как последнюю истину. Вон куда уже добрался Мандельштам! Я это к тому, что стихи ссыльнопоселенца звучали в сталинской ночи — не все взяли на прикус серебристую мышь. Сева Багрицкий, погибший на Волховском фронте, не виноват, что в его единственном тощем сборничке, изданном посмертно, оказалось стихотворение Мандельштама.

Воронеж дал Мандельштаму не только новые темы, но и новое мироощущение. Он стал отзываться тому, к чему прежде оставался глух, безразличен.

Он был потрясен фильмом «Чапаев», с влажной простыни экрана ему «в раскрытый рот» прискакал бесстрашный комбриг. И подвиги арктических летчиков будоражат душу. Льются, льются стихи, как никогда изобильно, будто чернозем проник в его вещество, наградив буйным плодородием. Ему кажется, что возможно сращение с действительностью, и ради этого он готов прийти, «головой повинной тяжел». Но искупление воображаемой вины оказалось невозможным. Он никому не нужен, да и самому ему становится мерзок несовершенство жест раскаяния. Он возвращает себе прежнее скорбное и высокое ощущение своего воронежского бытия.

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай собак и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

И наконец он приходит к своей поэтической вершине — стихам о неизвестном солдате, с которых начался наш разговор.

Это жизненный итог, он готов принять свою солдатскую, свою острожную судьбу. Но поэтический ток не иссяк, как никогда звучны его медь, скрипки и орган. Он прощается с морем: «И когда я наполнился морем, // Мором стала мне мера моя», с землею и «клеякой клятвой листов», с прекрасными женщинами, что «сырой земле родные».

Вот хроника последнего года несвободной свободы Мандельштама. В мае 1937-го кончился срок его трехлетней ссылки. В июне его лишили права жить в Москве. Осенью Мандельштамы на два дня едут в Ленинград для сбора денег. В марте 1938-го Литературный фонд дает Мандельштамам путевки в дом отдыха в Саматиху. 2 мая Мандельштама арестовали. Кончилось житие, начались страсти...

За пределами этого очерка осталась блистательная проза Мандельштама: повесть, рассказы, остроумнейшие наброски, приближающиеся к высокому фельетону, статьи, рецензии, лишь упомянуто несравненное исследование о Данте. Поэт проверяется прозой. Проза Мандельштама — продолжение его поэзии, она столь же метафорична, интонационно богата, полна кружащих голову разрывов, неожиданных, ошеломляющих ассоциаций.

Я не коснулся его поэтики, вернее, многих поэтик, ибо Мандельштам чуть ли не единственный поэт, который в движении своего поэтического времени менялся до неузнаваемости. Змея, меняя кожу, остается в той же одежде по расцветке и узору, только новой, с иголки. Мандельштам, сбрасывая поэтическую кожу, становился совсем другим. Можно ли поверить, что ранняя символистская лирика и, скажем, «Ода Бетховену» или «Стихи о неизвестном солдате» написаны одним поэтом?

Явление Мандельштама неохватно. Мне хотелось лишь сказать своим соотечественникам: братья мои бедные, истомленные вечным поиском хлеба насущного, оглушенные политическим краснобайством, задуренные циниками властолюбцами, остановитесь на мгновение, оторвитесь от ящика Пандоры — этой смерти ума и примите в душу, что столетие назад в мир пришел великий поэт Осип Мандельштам, которого предали, как Христа, и, как Христа, отдали на муки и страшную казнь. Он взшел на Голгофу, но Преображения за все десятилетия так и не свершилось.

Та звезда, что зажглась на небе век назад, не погасла, как Вифлеемская по исполнению смысла: навести на вертеп, где ежился от холода новорожденный Бог. К яслям Бога-Нахтигала не пришли с дарами ни цари, ни волхвы, ни пастухи. И ко гробу никто не пришел, да и не было гроба. И звезда продолжает гореть усталым светом в надежде, что те, ради кого он принял муки, заметят ее и поймут знамение. Мандельштам ради всех нас принес свою жертву, ради нас вышел на крестный путь и прошел до конца.

ПО ПУТИ В БЕССМЕРТИЕ

Мои воспоминания о Михаиле Михайловиче Зощенко крайне скудны, но ведь говорил же Пушкин, что любая подробность из жизни великого человека драгоценна.

Я видел Зощенко трижды: мальчишкой на вечере в Политехническом музее, зрелым человеком — в его ленинградской квартире на канале Грибоедова; в последний раз я видел не Зощенко, а его маленькое тело в большом, тяжелом гробу, когда пришел проститься с ним на улицу Воинова, в ленинградский Дом писателей. Каждая из встреч была по-своему значительной. И один раз я говорил с ним по телефону, это тоже было значительно и очень грустно.

Вечер в Политехническом музее состоялся где-то в середине тридцатых. К этому времени уже открылось, что Михаил Зощенко не смешной, а страшный писатель. Уходящая вверх аудитория была битком набита, а на крошечной сцене, где еще недавно разыгрывал свои блистательные спектакли театр «Семперанте», сидели избранные: писатели, режиссеры, актеры — гости Михаила Михайловича, среди них молодые, красивые, очень элегантные — Илья Ильф и Евгений Петров и тоже молодой Игорь Ильинский в больших роговых очках.

Читал М. Зощенко три рассказа. Меня особенно поразила тот, которого я никогда не встречал в его книгах. Это был рассказ об ответственном работнике, захотевшем проверить преданность своих подчиненных советской власти. Его томила мысль, что они не так уж сильно ее любят, больше притворяются. Моей памяти хватает лишь для импровизации на тему рассказа. Кажется, он повесил в учреждении портрет государя-императора и монархические лозунги, — во всяком случае, повернул дело так, будто

произошла реставрация. К его горю, удивлению и гневу, служащие, наиболее хорошо устроившиеся при советской власти, первыми поддались на провокацию, за ними последовали все остальные, кроме жалкого, плохо оплачиваемого счетовода (или кассира). Тот один остался без позы верен «алому стягу своих республик», хотя ничего хорошего от жизни не видел. Растроганный начальник взял его за белые руки, повел в кабинет... Дальше в памяти пустота. Кажется, в конце рассказа говорится, что начальнику крепко досталось за его социальный эксперимент.

Читал Михаил Михайлович изумительно. Ильф хохотал тихо, но до изнеможения, до слез; Петров грохотал, булькал и чуть не упал со стула. А фокус был в том, что Зоценко вроде бы никак не читал, просто добросовестно и внятно произносил текст. Но контраст между невероятно смешным текстом и серьезным, чуть печальным смугловатым лицом производил комический эффект.

Его чтение было полной противоположностью манере Владимира Хенкина, который в те годы почти монополизировал Зоценко. Хенкин играл, в особенно смешных местах подмигивал публике, нес отсебятину, ломался, говорил на разные голоса и тратил столько артистического темперамента, что хватило бы на пять Гамлетов. Хенкин был талантливейшим комиком, но, при всем уважении к его памяти, это чтение было примером того, как не следует читать Зоценко.

Михаилу Михайловичу был задан вопрос, кто, по его мнению, лучше всех читает его рассказы.

— Вне всякого сомнения, Игорь Владимирович Ильинский, — сказал Зоценко и поклонился сидящему на сцене актеру.

Тот приподнялся, вытер очки и, непривычно мешковатый от смущения, низко поклонился в ответ. Зоценко знал, что эти слова будут известны Хенкину, но не считал нужным шадить его.

Потом появится еще один большой артист, который тоже будет превосходно читать Зоценко, быть может, луч-

ше Ильинского, — Владимир Яхонтов. У Ильинского в манере преобладало «синебрюховское» простодушие, Яхонтов был куда жестче, шел в ту глубину, где веселые рассказы становились страшными. И все же ни тот ни другой не могли сравниться с самим Михаилом Михайловичем.

Встретился я с Зоценко через целую жизнь, незадолго перед его кончиной. Многие люди любят знакомиться со знаменитостями — я всегда этого избегал, не отдавая себе отчета почему. Ведь с ними бывает так интересно! Самые благостные часы моей жизни окрашены близким видением (как-то совестно произнести слово «общение») Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Юхана Боргена, Роберта Фалька, Акиры Куросавы, но всякий раз то был подарок судьбы, а подарков не выпрашивают, не домогаются. Упало с неба — и спасибо. Недавно я прочел, что нечто подобное испытывал К. Паустовский. Меня это удивило: ведь он и сам был знаменитостью.

Зоценко услышал от нашего общего знакомого Поляновского, что я пишу о финском писателе Майю Лассила, которого он переводил в самую тяжелую пору своей жизни, и захотел меня увидеть.

Красивый, милый, совсем еще молодой тогда человек, Дима Поляновский любил «сдруживать» людей. Его давно уже нет. Он был редактором милицейского литературного альманаха в Ленинграде, и, когда он умер, гуд и треск сопровождавших похоронную машину мотоциклов поглотили все остальные шумы города — обыватели думали, что хоронят важного генерала.

— Я вспоминаю, какой вы были красавец! — со странным выражением печали сказал Зоценко Поляновскому, едва мы перешли в гостиную из полутемного вестибюля.

Оказывается, последние годы они общались только по телефону.

— Вы хотите сказать, что я сильно подурнел? — улыбнулся тот своим прекрасно очерченным ртом. — Это неприятно, но я не дама, как-нибудь переживу.

— Нет, вы все еще красивы, — совершенно серьезно, без тени улыбки, с той же непонятной печалью продолжал Зоценко. — Но вы были чудо как хороши! Вы были похожи на юношу Возрождения.

— Старею, — опять улыбнулся Поляновский, являя завидное самообладание, и я понял, почему он преуспел в мужественном деле милицейской литературы.

— Пьете? — сочувственно-брезгливо спросил Зоценко.

— Что вы, Михаил Михайлович! Я никогда не служил Лизю, как выражался Аполлон Григорьев, а сейчас мне и вовсе нельзя. Сердце, легкие — я очень часто болею.

— Вы должны с этим справиться, — тепло и серьезно сказал Зоценко. — Вы же совсем молодой человек... И такой красивый... Он посмотрел на бутылку коньяка, которую я поставил на стол. — Мы должны это пить?

— Конечно, — сказал Поляновский. — Даже я вас поддерживаю.

— Не помню, когда я последний раз пил коньяк... Правда, водочки, коньячки, закусочки никогда не были по моей части... Найдутся ли подходящие рюмки?.. — Зоценко беспомощно огляделся.

Квартира с мебелью в белых полотняных чехлах, наглухо закрытым буфетом красного дерева, зашторенными окнами, вся какая-то нераспакованная, казалась нежилой. Можно было подумать, что ее только что получили со всей обстановкой и не успели населить собственным уютом. Конечно, дело было в другом: стоял июль, и семья Михаила Михайловича уехала на дачу, а он остался в городе, среди зачехленной, копящей пыль в складках белых балахонов мебели и всего враждебного его малой житейской приспособленности тяжеловесного быта, в который он так и не сумел вписаться.

Подергав дверцы буфета и, к своему удивлению, открыв их, Михаил Михайлович достал три разнокалиберных бокальчика, долго задумчиво их разглядывал, потом вернул на место, погрузил руку в темное нутро, нашел три маленькие рюмки и поставил на стол.

Постепенно Зощенко обрел смелость в обращении с материальным миром. Он довольно уверенно извлек из буфета половинку засохшего лимона, сахарницу, маленькую серебряную ложечку и такой же ножичек. Немного подумав, нашарил в ящике старый ржавый штопор с деревянной ручкой, похожий на столярный инструмент. Поляновский изящно — не по навыку, а по ухватистой ловкости пальцев первоклассного бильярдиста — ввинтил штопор в гнилую пробку и с чмоком извлек ее, не дав раскрошиться. Опасливо и отчужденно следивший за его действиями Михаил Михайлович успокоился: бутылка не взорвалась, не разлетелась на тысячи осколков, золотистый напиток потек в рюмки, затем — после молчаливого, взглядом, тоста — приятно ожег пищевод.

С приметным облегчением поставив рюмку на стол, Зощенко вернулся к теме здоровья, которая всегда занимала его. Он говорил, что человек может в очень широких пределах управлять своим здоровьем, если будет относиться к нему сознательно и ответственно. Для этого мало не причинять ему зла пьянством, курением, обжорством и прочими излишествами, надо уметь анализировать свое состояние — физическое и душевное, что, кстати, неправомерно разделять. Человек должен отчетливо, без самообмана знать, что в нем происходит, тогда он сможет управлять своим здоровьем. В сущности говоря, он развивал свои давнишние излюбленные мысли, известные еще по «Возвращенной молодости» и первой части «Перед восходом солнца», повторяя то, что годы и годы внушал самому себе. Он прошел трудную школу самовоспитания и научился смотреть правде в глаза, как бы жестока она ни была.

— Это все не пустые слова, — говорил он. — Я тот человек, который растянул свою жизнь. Она должна была кончиться куда раньше.

— Ну что вы, Михаил Михайлович! — взметнулся Поляновский. — Вы едва шагнули за шестьдесят.

— Это немало. А для меня — так и очень много. Я живу сейчас чужую жизнь. Ведь я вроде той пробки, которую вы

каким-то чудом извлекли. У меня больные легкие, ни к черту не годное сердце и сосуды. В мировую войну я был отравлен газами, в гражданскую — навсегда испортил пищеварение. Я тяжелый невропат. У меня была нелегкая жизнь. Я никогда не думал, что доживу до старости, хотя очень хотел дожить. Мне казалось интересным побывать во всех возрастах. Я поставил себе такую цель и добился ее. Старость очень интересная пора, я испытал ее и могу спокойно уходить. Поверьте, это не рисовка. Вот сидит старик, пьет коньяк, как гусар, в компании молодых людей, и старик этот я. Разве можно было вообразить такое четверть века назад? Я был полугруппом. Но я взялся за ум, сознательным и твердым усилием продлил свою жизнь. Теперь я спокоен.

— «Как на душе мне легко и спокойно!» — очень музыкально пропел Поляновский. Зоценко прислушался.

— Чье это?

— Шуберта.

— До чего хорошо... и до чего понятно... — Тонкой смуглой рукой Зоценко сам разлил коньяк по рюмкам. — В разное время разное может помочь человеку выжить. — Он говорил тихо, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри него, к слабой работе изнемогающего организма. — Но всему есть предел.

— А правда, что смех такая здоровая штука? — Поляновскому явно хотелось изменить настрой встречи.

— Понятия не имею, — пожал плечами Зоценко.

— Я был однажды на вашем авторском вечере в Политехническом музее... — Две рюмки коньяка вернули мне дар речи. — Евгений Петров так смеялся, что падал со стула. И я подумал тогда, что он очень здоровый и счастливый человек.

— Я помню этот вечер, — сказал Зоценко. — Ильф тоже хорошо смеялся, просто у него был другой смех — в себя. К сожалению, это не прибавило ему здоровья.

— А сами вы ни разу не улыбнулись. Удивительно, как вам это удается.

— А я отсмеиваюсь, пока пишу. Хохочу буквально до упаду, до слез. И потом мне уже не смешно. У меня где-то есть об этом.

— Да, — вспомнил я и вдруг перестал верить искренности его признания.

Уж слишком серьезным, до печали серьезным было его лицо, оно не годилось для смеха. Ну, для улыбки — куда ни шло, морщинки в углах тонкогубого рта были следами улыбок его шестидесятилетней жизни, но представить себе его хохочущим невозможно.

— Вы как-то сказали мне по телефону, что Майю Лассила помог вам уцелеть, — вспомнил Поляновский. — Это ваши буквальные слова. Я думал, что вы имели в виду его юмор.

— Нет, свою переводческую работу...

— В первом издании не было указано фамилии переводчика.

— Какое это имеет значение? — пожал плечами Зоценко. — В тех жизненных обстоятельствах важно было что-то делать, зарабатывать на жизнь. Я взялся бы за что попало, но мне достались вещи на редкость талантливые, особенно «За спичками». Радостно талантливые и бодрые... Нет, конечно, Лассила помог мне больше, чем я сейчас говорю. Странное животное человек: у меня недавно вышел однотомник — я сразу стал неблагодарным.

— А ведь все догадались, что это ваш перевод, — заметил я. — Там было клеймо мастера: портной Кеннонен, мотающийся по избе в одних подштанниках. Это типичный Зоценко.

— А я уже не помню. — Намек на улыбку тронул уголки губ.

Я сказал Михаилу Михайловичу, что иные его рассказы знаю наизусть, как стихи. Он принял мое признание не то чтобы холодно, но равнодушно, как любезное и ненужное преувеличение. Затем, переварив то, что представлялось ему неуклюжим комплиментом, сказал чуть неуверенно:

— Но сами-то вы пишете по-другому? — И тут же, что-то вспомнив, твердо добавил: — Вы многословны.

Покорно, со вздохом я подтвердил его правоту.

— Зачем вам это надо? — поморщился Зощенко. — Ведь есть пушкинская проза. Ничего лишнего, каждое слово на месте. Это ли не образец?

Я сказал, что читал его опыт в пушкинском роде. Там была зловещая шутка про старого патриота времен первой Отечественной войны, придумавшего страшную мечь Бонапарту. Злодея надлежало изловить, посадить в клетку и лишить пищи — от голода он постепенно съест самого себя. Стилистически то был чистейший Пушкин «Капитанской дочки».

— Вот и пишите так... Если вам действительно знаком этот рассказ.

— Мне бы хотелось вернуться к Лассила, — вмешался Поляновский, которому показалось, что разговор становится для меня опасен.

— А что Лассила? — откликнулся Михаил Михайлович. — Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет. Я сужу, правда, лишь по двум романам, которые переводил, остальное мне неизвестно. Он обожает путаницу, неразбериху, я — тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в «Воскресшем из мертвых» или «За спичками». Был у меня, правда, рассказ про парусиновый портфель, да бог с ним... В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора. Интересно, чему это соответствовало в нем самом? Случайным такое не бывает. Суворов любил вздор, это заметил Тынянов, но там все понятно, а вот Лассила... Я не в силах читать предисловий, но, насколько мне известно, в жизни он был человеком серьезным, трудным, ищущим, с радикальными политическими взглядами, за что поплатился жизнью. Если не ошибаюсь, его расстреляли в тюрьме на Свеаборге. Как-то не подо-

дит юмористу? — Уголки губ чуть дрогнули усмешкой. — А может, наоборот, подходит? Мне хотелось больше узнать о Лассила, но не перешагнуть пропасти, именуемой финским языком.

Мы еще поговорили о Лассила, и у меня создалось впечатление, что у Михаила Михайловича просто не хватило душевных сил углубиться в сложную судьбу писателя, сыгравшего значительную роль в его собственной жизни. Слишком сильно ощущая драматизм своего положения и творя то высокое спокойствие, с каким он хотел встретить кончину, в близости которой не сомневался, видя себя насквозь, он не мог собраться для постижения чужой сути. Так, во всяком случае, мне казалось. То не было старческим эгоцентризмом в обычном смысле слова, но, умевший так органично сочетать глубокую погруженность в себя с живым любопытством к внешнему миру, редкой приметливостью к подробностям окружающего, Зоценко сейчас был целиком обращен внутрь. И все же Лассила его не отпускал.

— Почему вы заинтересовались им? — спросил он.

— Наверное, это как-то связано с вами...

Я не договорил. Опять на лице его возникло то холодное, отчужденное выражение, которое уже раз мелькнуло, когда я сказал, что помню наизусть его рассказы. Только сейчас оно было отчетливей. Он не ждал доброго от людей, его слишком много предавали. Он был расположен к Поляновскому, верил ему и распространил на меня свое прохладное доброжелательство, но, столько раз ожегшись, не хотел «погорячее». Мне вспомнилось давнее.

Мой отчим, писатель Як. Рыкачев, был на том позорном сборище, когда Зоценко уничтожали в первый раз за незаконченную удивительную повесть «Перед восходом солнца». Особенно поразило отчима, что в числе хулителей Зоценко оказался Виктор Шкловский. Друг Маяковского, Мандельштама, Тынянова и всех «серапионов» представлялся отчиму, как и многим другим, человеком без стадно-

го чувства, не участвующим в неопрятных играх своих коллег по дому на Воровского. Кстати, это ошибочное представление сохранилось до сих пор. А ведь, кроме публичного участия в разгроме Зоценко, за ним числится и такой пассаж. Когда «разоблачали» Б. Пастернака, Шкловский находился в ялтинском Доме творчества. Вместо того чтобы обрадоваться этому подарку судьбы и остаться в стороне от позорища, он вместе с другим трусом, Ильей Сельвинским, помчался на телеграф и отбил осуждающую автора клеветнического романа телеграмму. Сельвинский не поленился и поносные стишки тиснуть в курортной газете. Потрясенный Зоценко сказал:

— Витя, что с тобой? Ведь ты совсем другое говорил мне в Средней Азии. Опомнись, Витя!

На что Шкловский ответил без всякого смущения, улыбаясь своей бабьей улыбкой:

— Я не попугай, чтобы повторять одно и то же. В конце разносного собрания, которое, как оказалось позже, было прикидкой куда худшего судилища, Зоценко сказал, глядя в бесстыдное лицо аудитории:

— Какие вы злые и нехорошие люди!

Поздно вечером я зашел к Асмусам по их просьбе и рассказал об этом собрании. У них в то время обитал Борис Леонидович Пастернак, их самый большой друг. Мы еще пережевывали подробности рассказа, когда из коридора, где находился телефон, послышался трубный голос Пастернака. Он кого-то честил с не свойственной ему резкостью за то, что его «осмелились пригласить на этот гнусный вечер». И неужели думали, что он примет участие в изничтожении замечательного писателя? И дальше в том же духе.

Красный и тяжело дышащий Пастернак вернулся в гостиную.

— Боречка, на кого вы так кричали? — спросила Ирина Сергеевна Асмус.

— На Еголина. — Пастернак улыбнулся плотноядно.

Надо знать, кем был тогда Еголин, чтобы оценить по достоинству жест Пастернака. Он ведал литературой на «высшем» уровне.

И вот много лет спустя я рассказал Зоценко об этом звонке.

— Милый Борис Леонидович, — произнес он тихо. — Милый Борис Леонидович.

Мы еще не знали, да и знать не могли, какие муки предстоят самому Пастернаку...

По ходу разговора я выразил удивление, почему для разгрома Михаила Михайловича выбирали самые безобидные вещи, особенно «Приключение обезьяны» — милый детский рассказ.

— А никаких «опасных» вещей не было, — сказал Зоценко. — Сталин ненавидел меня и ждал случая, чтобы разделаться. «Обезьяна» печаталась и раньше, никто на нее внимания не обратил. Но тут пришел мой час. Могла быть и не «Обезьяна», а «В лесу родилась елочка» — никакой роли не играло. Топор повис надо мной с довоенной поры, когда я опубликовал рассказ «Часовой и Ленин». Но Сталина отвлекла война, а когда он немного освободился, за меня взялись.

— А что там крамольного?

— Вы же говорили, что помните наизусть мои рассказы.

— Это не тот рассказ.

— Возможно. Но вы помните хотя бы человека с усами?

— Который орет на часового, что тот не пропускает Ленина без пропуска в Смольный? — отбарабанил я.

Зоценко кивнул.

— Я совершил непростительную для профессионала ошибку. У меня раньше был человек с бородкой. Но по всему раскладу получалось, что это Дзержинский. Мне не нужен был точный адрес, и я сделал человека с усами. Кто не носил усов в ту пору? Но усы стали неотъемлемым признаком Сталина. «Усатый батька» и тому подобное. Как вы

помните, мой усач бестактен, груб и нетерпяч. Ленин отчитывает его, как мальчишку. Сталин узнал себя — или его надоумили — и не простил мне этого.

— Почему же с вами не разделались обычным способом?

— Это одна из сталинских загадок. Он ненавидел Платонова, а ведь не посадил его. Всю жизнь Платонов расплачивался за «Усомнившегося Макара» и «Впрок», но на свободе. Даже с Мандельштамом играли в кошки-мышки. Посадили, выпустили, опять посадили. А ведь Мандельштам, в отличие от всех, действительно сказал Сталину правду в лицо. Мучить жертву было куда интереснее, чем расправиться с ней.

— А вы написали бы просто «какой-то человек», — подал я полезный, но несколько запоздалый совет.

— Это никуда не годится. Каждый человек чем-то отмечен, ну и отделите его от толпы. Плохие литераторы непременно выбирают увечье, ущерб: хромой, однорукий, кособокий, кривой, заика, карлик. Это дурно. Зачем оскорблять человека, которого вовсе не знаешь? Может, он и кривой, а душевно лучше вас.

Несколько лет назад Твардовский почти дословно говорил мне то же самое. Замечательна ответственность больших писателей за каждое слово, и замечательна их вера в жизненную реальность создаваемых ими образов. Зачем плодить уродов без крайней художественной надобности? Следует сказать, что в посмертном двухтомнике М. Зощенко усатый грубиян превратился-таки в «какого-то человека». Редактор трогательно защитил Сталина от «клеветнических инсинуаций». Милые соотечественники, что с вами творится? Почему так упорно не желаете развеять гнилостный туман?.. Когда мы уходили, Михаил Михайлович сказал:

— А вы хотите дочитать «Перед восходом солнца»?

— Еще бы!

— У меня нет сейчас рукописи. Но в следующий ваш приезд она будет.

Он, кажется, поверил, что я знаю наизусть его рассказы...

Я едва дождался нового вызова в Ленинград. Конечно, ничего не стоило приехать просто так, ради свидания с Михаилом Михайловичем, но почему-то мне казалось это неделикатным. Трудно объяснить причину этого чувства. Если б киношники (я по этой части ездил в Ленинград) вызвали меня на следующий день после возвращения в Москву (в кино такое случается сплошь да рядом), я бы с чистой совестью позвонил Зоценко: видите, как мне повезло, не успел уехать — и снова здесь... Но явиться даже через месяц просто так, придравшись к любезному обещанию, казалось мне бестактным. Сейчас я сам не понимаю этой моральной казуистики, но так было...

Лишь через три месяца я снова оказался в Ленинграде. И вот один в пустом номере, с трудом удалив моих многочисленных приятелей, я звоню Михаилу Михайловичу. Конечно, его не окажется дома, он уехал в дом творчества или в Москву по делам, ведь его вновь издают, или заболел, или просто не подходит к телефону. Знакомый тихий голос произнес в самое ухо:

— Слушаю.

Молниеносно в душе проигрывается вариант удачи: он приглашает меня к себе; промельк короткого пути от «Европейской» до канала Грибоедова, знакомый дом, кошачий подъезд, медленный лифт, звонок, дверь открывается... маленькая фигура в байковой куртке, темные глаза с лиловыми подглазьями, узкая улыбка...

— Михаил Михайлович, здравствуйте, это Нагибин... Да, сегодня. Опять по киношным делам... Михаил Михайлович, беру на себя смелость напомнить о вашем обещании... После долгой паузы:

— Неужели вы забыли?.. Ну, конечно!..

Его голос не стал еще тише, не отдалился, но прозвучал словно из-за края света, из бесконечной дали смертельной усталости и отчуждения.

— Видите ли... я не нашел рукописи. Как плохо глут правдивые, чистые люди. Не только у профессиональных лгунов, но и у обычного порядочного человека, прибегающего ко лжи лишь в крайних случаях, в голосе присутствует хотя бы намек на искренность, но у Зощенко это прозвучало до того фальшиво и неестественно, что у меня свело скулы. При всем нежелании показать, что я ему не верю, при всей боязни обидеть, огорчить я не смог хорошо выйти из положения.

— А-а... Ну, ладно, — сказал я деревянным голосом. — Что ж поделать. Простите.

Он что-то говорил, просил не то звонить, не то заходить — это все уже не играло никакой роли: я знал, что не позвоню, не зайду. Мне смертельно было жалко себя и еще больше его.

Мой отчим Як.Рыкачев хорошо писал о Зощенко, очень любил его, он был единственным человеком, которому я рассказал о том печальном звонке.

— Он должен был дать рукопись. При тех отношениях, что сложились... Даже с риском... Тем более за всеми своими страхами он знает, что никакого риска нет. Как же его запугали! Бедный, бедный Михаил Михайлович!

Я думал, что больше не увижу Зощенко. Однажды, когда мне передали его на редкость теплые слова в мой адрес, сказанные, к тому же публично, у меня мелькнула мысль позвонить ему, да рука не поднялась набрать номер. А потом Зощенко не стало. Он умер летом 1958 года, в день моего приезда в город.

Едва сойдя с поезда, я окунулся в слухи и пересуды. Будет гражданская панихида или не будет? Выставят гроб с телом покойного в ленинградском Доме писателей или не выставят? Дадут некролог в газетах или не дадут? Потом разнесся слух, что Зощенко запретили хоронить в черте города, и Анна Ахматова дала телеграмму в Москву, чтобы разрешили положить писателя на Литераторских мостках Волкова кладбища. Кажется, разрешили... Нет! Гос-

поди, что за окаянные души — отказали!.. Власти в растерянности, не знают, что делать! Чепуха! Подпольный ленинградский обком действовал весьма целеустремленно. В 1958 году разыграли зловещий спектакль, достойный черных ждановских дней. А ведь уже состоялся Двадцатый съезд партии! И речь шла о всемирно известном писателе, гордости русской литературы, о тяжело и несправедливо пострадавшем человеке, жертве сталинского произвола, ни в чем не виноватом ни перед народом, ни перед властью. И тщетны были все попытки Ахматовой и ее друзей вернуть достоинство — не Зоценко, он его не терял, а времени, которому вовсе не к лицу было принимать на себя чужие грехи.

Не следует думать, что Ленинград бурлил. Обывателям было неведомо об уходе великого земляка — смерть Зоценко держали в секрете. Ни в газетах, ни по радио — ни слова.

Гражданскую панихиду все же разрешили, но опять же втайне от широких трудящихся масс. Дом писателей был битком набит, несмотря на летнюю опустелость города. У меня клаустрофобия, и толпа мне столь же невыносима, как замкнутое пространство. Тем не менее я проник внутрь и оказался свидетелем тяжелой сцены. Председатель ленинградского отделения СП Александр Прокофьев в своем прощальном слове допустил весьма неловкий пассаж, а может, то была безотчетная душевная грубость, а может, еще хуже — сознательное, предписанное сверху хамство: он что-то вякнул о предательстве Зоценко. И раздался высокий, сорванный крик жены покойного:

— Михаил Михайлович никогда не был предателем! Он мог уехать, его звали. Но он не оставил Родины!..

Она рыдала. Все это обернулось прибытком духоты — не физической, а душевной, и я опрометью кинулся на раскаленную улицу. Здесь уже собралась толпа, простершаяся на невскую набережную, растекшаяся в оба конца по улице Воинова. Все предосторожности властей предер-

жащих не сработали. Михаил Михайлович уходил в свой последний путь прилюдно.

Из Дома писателей, вытирая мокрый лоб скомканным носовым платочком, вывалился громадный старик с обширным серым лицом и длинными — соль с перцем — волосами. На его руке повисла маленькая старушка. Старик был нищенски-броско одет: подшитые сатином понизу брюки — настолько обмахнулся низ — падали на парусиновые, выкрашенные сажей в черный цвет туфли, короткий туалденоровый — в тропическую жару — плащик открывал олохмившиеся полы пиджака, белую, застиранную в тонкую голубизну рубашку и галстук-веревочку.

— Михаил Михайлович может гордиться! — поставленным звучным голосом, широко разнесшимся над толпой, произнес старик. — Его вывозят тайно, как Пушкина. Власть не стала ни умней, ни отважней.

И тут я узнал его: знаменитый некогда петербургский актер, красавец, любимец публики Мгебров, автор двухтомных мемуаров, изданных «Академией». Он притащился из Каменноостровского дома ветеранов сцены вместе со своей дряхлой подругой.

Вынесли гроб. Впереди, с раздавленным тяжестью гроба худым плечом, шел поразительно похожий на Михаила Михайловича смуглый молодой человек — его сын. Вели под руки плачущую жену.

Гроб долго и неумело запихивали в автобус. Наконец он тронулся.

Тело Михаила Михайловича отправилось по месту помертвой ссылки — в Сестрорецк.

Самый страшный роман Андрея Платонова

Неизвестный роман Андрея Платонова, опубликованный в девятом номере «Нового мира» за 1991 год, снабжен замечательными комментариями Н.В.Корниенко. Там сказано: «Роман Андрея Платонова «Счастливая Москва» восстановлен по рукописи, хранящейся в его домашнем архиве. Роман написан карандашом, на серой бумаге, на листах, вырванных из школьных тетрадей и амбарных книг (чаще всего на обеих сторонах), на свободных страницах рукописей его ранних стихов...»

До чего же это по-платоновски и как созвучно тому времени и положению великого русского писателя в «большевицкой» литературе! Невольно вспоминается, что в гитлеровской ночи роман Ганса Фаллады «Пьяница» был написан на четвертушках бумаги, выдаваемых в каземате стационарного вытрезвителя для письма на волю. Каждый листок был исписан с двух сторон: вдоль, поперек и по диагонали. После самоубийства Фаллады чудом сохранившийся текст был расшифрован волевым напором Иоганнеса Бехера. Прав толстовский Александров: человечество не ценит своих гениев.

Платонов был все же счастливей немецкого собрата, он писал на амбарных листках только вдоль.

«Счастливая Москва» — гениальный роман и, наверное, самый страшный у Платонова, страшнее «Котлована», там хоть пробивался какой-то бледный кладбищенский свет: ну хотя бы в преданности девочки-сироты костям своей матери, в заботе обрубка Жачева о ней; здесь все разъедено червем надрывно-больного сарказма. И ничего уже не ос-

тается для утешения человеческого сердца. Роман писался очень долго, с большими перерывами, начало относится к 32-му году, конец — к 36-му, писатель принимался за него в одном душевном, настрое, а завершал совсем в другом. Недаром он столько раз переписывал начало, которое всегда оказывалось слишком радужным.

Ключ к роману — в записи Андрея Платонова, сделанной осенью 1932 года: «Есть такая версия. Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренне думающее и действующее в плане ортодоксии, в плане оживленного «плаката», — но он локален, этот мир, он местный, как географическая страна наряду с другими странами, другими мирами. Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет и быть не может. Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть, и надо работать среди них и для них».

Речь идет о той жизни, какой жили миллионы людей, да почти все население страны, если иметь в виду количественный, а не качественный состав. Платонова эта жизнь с профкомами, параноическими лозунгами и фразеологией, самодеятельностью, мероприятиями и системой рассуждений — вопреки трезвому признанию ее — смертельно пугала, ибо была чужда его тонкой и глубокой душе, «как пуля живому сердцу». В порыве самозащиты он пытался приручить ее. В дивном рассказе «Фро» о тоскующей женщине, раздавленной непосильной разлукой с любимым, есть сцена, казалось бы, противоестественная в образном строе повести, но она из этого самого «нового мира». Бродя по путям железнодорожной мастерской, тоскующая Фро слышит, как участники самодеятельности из кондукторского резерва (я чувствую, как пугался этих слов кончик платоновского карандаша, скользя по листу школьной тетрадки или по желтоватой изнанке амбарных квитанций) поют веселую, мобилизующую и страшенькую, как бредцы сологубовского Передонова, песенку (даю ее сокращенно):

Ах, ель да что за ель!
Да что за шишечки на ней!
Ру-ру-ру — пароход,
Ту-ту-ту — паровоз,
Тр-тр-тр — самолет.
.....
Больше пластики, культуры,
Производство — наша цель!

Платонов ненавидел советский условный мир. На встрече писателей с первыми стахановцами он внимательно и скорбно слушал пустой треп самого противного из всех искусственных героев, машиниста Кривоноса, о том, как он готовится к очередному рейсу. Оказывается, он каждый раз подкрашивает свой паровоз, что и гарантирует ему несказанные достижения. «Здесь, — говорил новатор, — я красной красочкой помажу, здесь синенькой пройду, на колеса обратно красную пушу, а спереди желтую наложу». И тут раздался грустный голос Платонова: «Еще одну красочку наложишь, и паровоз вовсе не пойдет». А на банкете, сидя рядом с раскаленной, как деревенская печка, Пашей Ангелиной, он долго смотрел на ее могучую, обтянутую крепдешинном грудь, по которой елозил новенький орден. «Не трет сосок-то?» — участливо спросил он. Как лишняя красочка не нужна паровозу, так не нужен кусок металла на том комочке плоти, которым мать вскармливает дитя. Трактористку Пашу это не волновало, она была лесбиянка.

Счастливая Москва — это девочка без роду и племени, очнувшаяся для жизни в городе, давшем ей свое имя, отчество всеобщее — Ивановна, а фамилию Честнова в «знак честности ее сердца». Когда это столь щедро и добро заявленное существо подалось в парашютистки, я понял, что Платонов ее не любит или разлюбил в долгописании. К женщинам-парашютисткам у него был свой особый, платоновский счет. В другом его рассказе хорошенькая парашютистка — это змея-разлучница, опасность для скромной семьи — не всерьез, но вроде и всерьез. И вот Москва совершает затяжной прыжок «сквозь вечерний туман, раз-

вившийся после дождей» на новом парашюте, пропитанном водонепроницаемым лаком. Замечательно, по-платоновски описан выход в поднебесную пустоту. Повиснув на крепких ремнях, Москва начинает плавное снижение. И вдруг совершает нечто противное здравому смыслу: она закуривает. Вы представляете себе курящего парашютиста? К тому же Москва не курит; ни до, ни после прыжка на всем протяжении романа она не притрагивается к папиросам. А тут закуривает в воздухе, разом потратив коробок спичек, и поджигает шелковый, пропитанный составом купол. Это не поступок Москвы, а поступок автора, нужный для его целей, а не для целей персонажа. У другого писателя такая несуразица была бы промашкой, но не у такого мастера, как Платонов. У него это проверка здравым смыслом очередного советского уродства, вроде железной бляхи на соске или размалеванного, как потаскуха, паровоза.

Парашютизм — полезное всемирное занятие, пока не уподобляется амоку, как у нас в тридцатые годы. Тогда это стало таким же помешательством власти, перекинувшимся на замороженный народ, как позже первая очередь метро, стрелковые кружки, МОПР, ударничество, стахановское движение, нормы ГТО, четвертая глава, борьба с космополитизмом и прочие мании Сталина, превращающиеся во всеобщее безумие.

Долгое и бессмысленное болтание между небом и землей — нечто вроде перекура, и Платонов реализует метафору, добиваясь компрометирующего эффекта. Лев Толстой говорил: надо хорошо жить на земле, а не плохо летать в небе. Женщине надо осуществлять свое предназначение деятельной любви, выращивания нового человеческого существа, а не висеть на стропях.

Завершается трагикомический эпизод с глубокой серьезностью, достойной пилота-писателя Сент-Экзюпери: Москва прославилась (глупой славой), но из авиации ее отчислили, ибо воздухофлот — скромность, а она роскошь.

С удивительного небесного факела началось незаметное разрушение едва забрезжившего прелестью образа Москвы — нравственное и физическое, превратившее цветущую девушку в Бабу Ягу Костяную Ногу. Кстати, описывая ее внешность, Платонов с видом простодушного восхищения говорит о ее юной «опухлости». Выражение «пухленькая» передает милоту девушки, но «опухлость» — это для утопленницы. Жесток Андрей Платонович к светлой комсомольской юности!

«Счастливая Москва», роман безмерного разочарования, начинался в одном мирочувствовании, еще во власти каких-то надежд, иллюзий и несомненного желания выжить, а завершался в состоянии, близком к отчаянию, что вполне соответствует датам его написания: 1932-1936. Когда Платонов достал свою амбарную книгу, уже был разгромлен «Впрок», но ему казалось, что он еще держится на плоту Медузы, идущем к берегу спасения. Последние строчки писались в дни нового апокалипсиса, ибо вопреки бытующему ныне мнению обвальные репрессии начались не в тридцать седьмом, а на полгода раньше...

«Опухлая» Москва как-то печально, без всяких усилий завораживает всех персонажей мужского рода: и кроткого духом Божко, геометра, городского землеустроителя, утратившего последние черты личности в социалистическом радении, и жутковатого, со сдвинутой психикой хирурга-прозектора Самбикина, и гениального изобретателя Сарториуса, пропавшего от любви, и вневойсковика-паразита, страшненького Комягина, и каких-то случайных зашельцев в роман. И с каждым она спит, с кем на койке, с кем во влажной землеройной яме, с кем в опрятной курортной постели, ей это безразлично, как и то, с кем спать. Настолько все равно, что, уже став калекой — ногу потеряла в шахте Метростроя, — она, отлюбив прооперировавшего ее Самбикина, уходит на протезе к вневойсковику Комягину, становится его женой, но, поругавшись, сгоняет сожителя на пол и пускает к себе притащившегося откуда-то Сарто-

риуса; утром же, забыв о еще не ушедшем Сарториусе, вновь принимает под бок замерзшего на полу Комягина. И все это без психологии и чувства, так же просто и равнодушно, как земля принимает дождь, град, снег.

Тут, мне думается, разгадка судьбы и образа Москвы Честновой. Ей сделали такой чудесный протез, что никто не замечал ее уродства, все отдыхающие на море, куда она поехала с Самбикиным, вырезали свои имена на ее трости и хотели иметь от нее детей. Но в тот вечер, когда Сарториус в темном наитии приперся в коммунальный комягинский вертеп и, прислонившись к канализационной трубе, слушал кишечную жизнь жильцов и страшную, как ад, перебранку супругов Комягиных, с искусственной ногой Москвы произошло важное превращение. «Скрипишь, деревянная нога!» — говорит ей Комягин. В отличие от всех калек Москва не снимает протез на ночь. Она «сошла с кровати деревянной ногой». Она опять заваливается со своей деревянной ногой на койку и принимает туда наконец-то отлепившегося от канализационной трубы Сарториуса. Дело в том, что она не может освободиться от протеза, он стал ее собственной ногой, причем не деревянной, а костяной. Потому что она из Москвы Честновой превратилась в Бабу Ягу Костяную Ногу.

Это произошло вот почему. В сцене, о которой идет речь, померкло воспоминание-символ, питавшее душу и воображение Москвы с того далекого дня, когда она оказалась свидетельницей октябрьского переворота. Революция явилась в виде темной фигуры человека с горящим факелом в руках, бегущего по улице. Ружейный выстрел прервал бег и погасил факел, а бедный, грустный вскрик поверженного отозвался народным гулом в стороне тюрьмы. Свет этого факела пронесла Москва через всю жизнь как самое важное, дорогое и чистое, проверяя по нему свою жизнь (последнее не находит подтверждения в романе, но мы верим намерению автора). И вдруг выясняется, что прекрасным и гибельным символом революции был зне-

войсковик Комягин, проверявший посты самообороны. А выстрелил по нему случайный хулиган. Гул же народных голосов в стороне тюрьмы вовсе не был порывом в свободу, скорее наоборот. Заключенные-уголовники не хотели на волю, потому что в тюрьме хорошо кормили, и взбунтовались. Пришлось их выдворять силой. Комягин и сам подкармливался у надзирателя, ел наваристые щи. Так погас последний свет в душе Москвы и окостенела ее нога.

Уклоняющийся от переосвидетельствования вневойсковик Комягин оказывается главным «героем» романа, хотя поначалу кажется самым ничтожным и необязательным из всех персонажей. Постепенно образ его усложняется и укрупняется. Он неистово лют до женщин, этот белобилетник. Нечаянно и непонятно чем очаровав заглянувшую к нему по делу Москву, Комягин просит ее подождать под дверью, пока он переспит со своей бывшей, старой и непривлекательной женой. Ему это необходимо для поддержания жизненного тонуса, и Москва относится к диковатому предложению внестроевика с покорным пониманием. Комягин, пенсионер последнего разряда, изредка работает в осодмиле: штрафует людей на трамвайных остановках. За что их там штрафовать — неясно, но и многое другое неясно в том «новом мире», который Платонов принимает как данность. Оказывается, это ничтожное занятие дарит Комягина сознанием своей власти над людьми, и есть у него заветная думка: «Что если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингиз-ханом быть!».

Замечательное признание! Вон какие амбиции гнезятся в узкой груди захудалого любострастника: ему мало людей на остановках штрафовать, хочется навести большой порядок — по-чинхмзхановски, и он, похоже, наведет, ибо пришла его пора. Факелоносец революции, Комягин вполне созрел для номенклатуры и высокого поста на Лубянке.

Сарториус не отогрел костяной ноги, и Москва, уже зная всю цену своему сожителю, пускает назад в постель

ожившего Комягина. Ожившего буквально, а не просто замерзшего на полу. Перед тем как окончательно воплотиться в Бабу Ягу, Москва Честнова приговаривает саморазоблачившегося супруга к смерти, против чего он ничуть не возражает, и осуществляет казнь: закатывает Комягина в одеяло с головой и обвязывает веревкой, чтобы он не мог выбраться и задохнулся.

«Он спит? — спросил Сарториус про Комягина. — Не знаю, — сказала Москва. — Может быть, умер. — Он сам хотел».

Да нет, он не хотел, только играл в тихий, покорный уход. Он знал, что не может умереть, ведь он Кощей Бессмертный. И он возвращается под бок к своей Бабе Яге погреться у ее костяной ноги. Все, как в старых русских сказках.

А Сарториус уходит — без слов. Да и какие тут возможны слова? Но и жить дальше в собственном образе после всего пережитого, после потери Москвы тоже нельзя. И он перестает быть Сарториусом, становится Груняхиным, купив на рынке чужой паспорт. Исчез талантливый, быть может, гениальный инженер-изобретатель — и появился скромный работник прилавка. Он поступил в столовую и быстро вошел «в страсть своей работы: он ведал заготовкой порций хлеба к обеду, нормировкой овощей в котел и рассчитывал мясо, чтобы каждому досталось по справедливому куску. Ему нравилось кормить людей, он работал с честью и усердием, кухонные весы его блестили чистотой и точностью, как дизель».

Неплохо обустроил он и свою личную жизнь, женившись на немолодой, некрасивой и к тому же продолжающей любить бросившего ее мужа женщине с великовозрастным противным сыном. Парень хамил, а жена Матрена Филипповна, не любя, ревновала и была его любимым предметом: «старым валенком, вешалкой вместе с одеждой, самоварной трубой от бывшего когда-то самовара, башмаком со своей ноги и другой внезапной вещью — лишь бы изжить собственное раздражение и несчастье».

Но Груняхин бывший (Сарториус) был по-своему счастлив, ибо ушел от себя прежнего, живого, страдающего, томящегося, тяжело плутающего в чашобе жизни. Опростившись, умалившись до социального одноклеточного, он обрел в этом покой и внутреннюю тишину, почти равную счастью. Осуществился в масштабе коммунального существования пушкинский идеал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Страшно, что тут слышится голос собственной измученности Андрея Платонова. Сарториус был заправлен своей душой и отчасти средой. Платонов погибал от режима. К нему вполне применимы слова поэта, сказанные много позже: «Я пропал, как зверь в загоне». В страшной, более чем понятной человеческой слабости он примерил на себя шкурку другого, средненького, незаметного сверху человечка с ничтожной, но честной работой, безлюбой женой, которую можно жалеть, с чужим ребенком, за которого можно не бояться так смертно, как за своего собственного, — чем не жизнь? Это же надо так довести гениального писателя, чье место возле Достоевского и Льва Толстого! Расправа над Мандельштамом и эта большевистская акция идут первой строкой в списке преступлений против человечества и духа.

Но ведь Платонова не расстреляли, даже не посадили. Сталин был неисправимый гуманист, Платонова оставили на воле, а посадили его любимого пятнадцатилетнего сына, одаренного, красивого Тошку. Но и того вернули во время войны, смертельно больного чахоткой, и дали умереть дома, предварительно заразив отца скоротечной формой болезни. Они лежат рядом в армянской части Ваганьковского кладбища, в русской — для Платоновых не нашлось места...

Мы не знаем, какая судьба постигла еще двух человек, любивших Москву Честнову: геометра Божко, растворившегося без остатка в заботе о социализме, никакая личная судьба вообще не могла постигнуть, а вот с врачом Самбикиным дело обернулось неладно.

Проницательный Андрей Платонович не видел нормальных путей для осуществления утопических целей социализма и потому возлагал надежды на парадоксальные способы, как обмануть природу и экономические законы, — отсюда подземное море, чьей тайной энергии хватит на весь социализм, или неистребованная добрая сила солнца, или какая-то гиперэлектрификация всех жизненных процессов. В этом романе глобальным мечтаниям разом осчастливить человечество придан более узкий, частный и несколько пародийный характер: Сарториус создает сверхточные весы, которые положат конец «кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов», и другому, пусть невольному обману массового рабочего потребителя. Чувствуя, что весы Сарториуса, при всей значительности задачи, все же не разрешат окончательно всемирной загвоздки с обязательным для всех счастьем, Платонов прибегает к помощи естественных наук. Он призывает фанатика скальпеля Самбикина. Кромсая внутренности трупов и живых людей, тот обнаруживает в организме умирающего выделение некоего тайного жизненного вещества, которым можно оживлять трупы. Признаюсь, у меня волосы встали дыбом, когда я прочел об ужасном открытии Самбикина, предваряющем эксперименты гитлеровских медиков. Но то ли Платонов сам спохватился, то ли Самбикин поначалу плохо объяснил суть своего открытия, в дальнейшем все оказалось наоборот: он открыл выделение посмертной жизненной секреции у трупов, и ею можно активизировать и продлевать жизнедеятельность строителей социализма. Так-то лучше. Попутно Самбикин открыл вместилище человеческой души и самую душу, это находится в кишечнике между новой, еще не переваренной пищей и старым, подлежащим извержению калом. Тут с Самбикиным едва ли кто будет спорить.

Неистовая любовь к Москве Честновой оторвала Самбикина от его полезных исследований. Странно, но любовь к этой молодой женщине как-то неживотворна и никому

не принесла счастья. Самбикин вдруг понял, что всепоглощающее чувство к Москве мешает ему любить весь остальной мир. Бесплодная маета сердца «превратилась для него в такую умственную загадку, что Самбикин всецело принял за ее решение и забыл в своем сердце страдальческое чувство». Исцеленный от любви врач потерял для автора всякий интерес. Самбикин выпал из романа, как лишний гриб из кузовка после изобильной грибной охоты. Он разделил участь Божко. Так же вываливались из тогдашней жизни люди, не оставляя по себе даже памяти и тем подтверждая необязательность пребывания всех нас в мире.

Роман Андрея Платонова страшен, как страшна была тогдашняя, уже далекая, но не потерявшая способности к возвращению жизнь.

Или распорядился тридцать седьмой год

Пушкин сказал, что любая мелочь, касающаяся великого человека, интересна и важна. Я не помню его формулировки, но мысль передаю верно. С этой точки зрения имеют смысл и мои крайне скудные заметки о взаимоотношениях и разговорах Андрея Платоновича Платонова с моим отчимом, писателем Яковом Семеновичем Рыкачевым. Думаю, что в предвоенные годы, во время войны и вплоть до смертельного заболевания у Платонова не было ближе людей в литературном мире, чем В.Гроссман, Р.Фраерман, Л.Гумилевский и Я.Рыкачев. Василий Семенович Гроссман вносил в свои отношения с Платоновым легкий, но утомляющий того дух соперничества (этот самолюбивый счет продолжался и после смерти автора «Чевенгура», похоже, Гроссман всерьез считал, что может тягаться с Платоновым), отношения с милейшим человеком Р. Фраерманом чуть осложнились после совместного написания пьесы «Волшебное существо», где Андрей Платонович начисто подавил своего соавтора, а отношения с Гумилевским^{СКИ} и Рыкачевым были свободны от каких-либо привходящих обстоятельств.

Несколько слов о Я. Рыкачеве, ибо Платонов в рекомендациях не нуждается. Варлам Шаламов писал в своих воспоминаниях: «Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа «Возвращение и падение Андрея Полозова» (точное название — «Величие и падение Андрея Полозова», 1931) и очень интересного очерка «Похороны».

Я. Рыкачев был мастером психологического анализа. Его трудноопределимые по жанру произведения, составившие книгу «Сложный ход», были заметным явлением в литературе тридцатых годов. Тогда о Рыкачеве было написано больше, нежели он сам написал. Трудно сказать, чего бы он достиг, но им распорядился тридцать седьмой год. Пусть он отделается легко по сравнению с другими, что-то в нем сломалось. Он еще писал острые критические статьи, выпустил хороший сборник исторических повестей «Великое посольство», но сферой его была не беллетристика, даже не критика, а интеллектуальная проза. К сожалению, разум в литературе находил все меньше и меньше спроса. Но и сейчас встречаются люди, которые помнят его «непохожую» прозу.

Андрею Платонову эта столь далекая от его манеры литература была интересна, он был человеком в высшей степени «умственным».

Прежде чем говорить, о чем они беседовали, надо сказать, о чем они молчали: о политике, если обозначить этим изящным словом непродышливый кошмар нашей жизни. Это был молчаливый уговор всех порядочных людей, если их не связывала та исключительная степень доверия, которая проистекает из близкого родства, неразделимой общности судеб. Люди не хотели ставить друг друга в положение взаимной зависимости. А. может полностью доверять Б. Но ведь и Б. наверняка имеет В., которому столь же безгранично доверяет. Тот, в свою очередь, исполнен доверия к В., а может, и к Г., и к Д. А у тех есть свои доверенные лица. И где-то в этой цепи вдруг окажется слабое звено. Не обязательно подлец, стукач, но и человек, которому сильно не повезло. И он расколется. Лента начинает раскручиваться назад, и ты с ужасом думаешь: неужели кристально честный А., которому ты доверял, как брату, ссучился?.. Тот, в свою очередь, думает это о тебе и о других невинных людях. Порой истина обнаруживалась, но вовсе не обязательно, а главное, от этого не становилось

легче. Чтобы не было осадка страха от слишком доверительных и совершенно пустопорожних разговоров (всем и так все было ясно), люди легко и спокойно обходили запретные темы.

Строго говоря, все темы были запретны, если не обмениваться праздничными лозунгами. Расхожей мудростью газетных передовиц, цитатами из трудов и выступлений недоучки семинариста. Но на риск внеполитического разговора люди все же шли, чтобы не превратиться в мычащих скотов.

Вот темы частных разговоров Платонова и Рыкачева, свидетелем которых мне довелось быть: Фрейд и фрейдизм, Шпенглер и его на шумевший труд «Закат Европы», несчастный Вейнингер, убедивший самого себя исследованием «Пол и характер», что еврей не может быть гениален, и покончивший самоубийством; что такое «культура» и что такое «искусство». В каком-то смысле эти темы тоже находились под негласным запретом, ибо что тут обсуждать: Фрейд, Шпенглер и Вейнингер — буржуазные мракобесы, выродки и подонки, понятиям же «культура» и «искусство» даны исчерпывающие марксистские определения.

К сожалению, я не могу передать содержание этих разговоров, доходивших до меня фрагментарно. Могу свидетельствовать лишь о глубоком и в высшей мере сочувственном интересе А. Платонова к учению Фрейда, что легко вычитывается в «Чевенгуре», хотя имя венского ученого там, разумеется, не упомянуто. В отличие от Рыкачева он считал, что адлеровский примат самоутверждения (вместо фрейдовского секса) не противостоит фрейдизму, а дополняет его. Отчим не исповедовал «древнее» фрейдовское благочестие.

«Закат Европы» восхищал Платонова литературно, но, по существу, вызывал яростное противоборство. Он не верил в исчерпанность европейской цивилизации и вообще отвергал замкнутую в себе цикличность культурного процесса. По поводу Вейнингера помню я его фразу: «Бедный, бедный мальчик!», произносимую так тепло и сочувственно, будто юный

и запугавшийся Вейнингер плакал в соседней комнате. Вообще я ни у кого не встречал такого интимного, кожей, ощущения культуры, как у Андрея Платонова.

Зато я очень хорошо помню другой разговор между Платоновым и Рыкачевым. Перед этим Андрей Платонович дал ему прочесть «Котлован», разумеется, в рукописи. Отчим спросил, почему так настойчиво обыгрывается, что ноги обрубка Жачева остались «в капитализме»?

— А где же? — фыркнул Платонов. — Так оно и выходит.

— Но звучит смешно, и потому жестоко в отношении калеки.

— Да при чем тут калека? — удивился Платонов. — Это Россию все разорвать хотят : низ в капитализме, верх в социализме. Глупость какая. Все ее — при ней, Россия цельная, а капитализм, социализм... — и он махнул рукой.

Так вот в чем дело! У Платонова было замечательное умение высмеивать глупость мнимо неизблемых официальных истин. В одной из его лишь недавно опубликованных пьес (Платонов А. Шарманка. — «Театр», 1988. № 1, с. 3-28) появляется датский капиталист Стерветсен, который приехал в Советский Союз, чтобы выторговать у нас надстройку — уж больно хороша она тут! В Дании базис что надо, а вот с надстройкой туто, и поэтому Стерветсен готов заплатить за нее кругленькую сумму. Он покупает надстройку, этот философский эфемер, как покупают флигель дома, дрова, скотину... В «Котловане» ложь двубытности России, полной разорванности настоящего и прошлого беспощадно обнажена в жутком образе физического разделения туловища калеки между капитализмом и социализмом.

Вспоминается одна маленькая литературная история, в которой отчетливо проявился характер Андрея Платонова.

Это было перед войной. Лев Иванович Гумилевский, перешедший от беллетристики к научно-популярной литературе, решил проверить: может ли он еще писать рассказы. Существует как бы два Гумилевских: один — автор нашумевшего «Собачьего переулка» и прочих произведе-

ний, трактующих моральную тему в духе «без черемухи», другой — автор великолепных книг о творцах техники: Рудольфе Дизеле, Лавале — изобретателе паровой турбины, Крылове и др. Этим же вторым Гумилевским разработана интересная филологическая теория о разрушении стереотипов как основе художественного творчества. Человечески любя Гумилевского и чтя его книги об инженерах, Андрей Платонович помалкивал о тех, что «без черемухи», будто их не было в помине.

Гумилевский устроил у себя на квартире — мы жили в одном писательском доме по улице Фурманова, ныне снеженном, — чтение своего нового рассказа, написанного после многолетней разлуки с изящной словесностью. Уже напечатанный в то время, я был удостоен чести быть приглашенным на этот вечер. Благодарный Льву Ивановичу, я страстно желал ему успеха. Желания мои не сбылись: рассказ оказался неимоверно длинен, скучен, как-то посторонен всякой жизни; непонятен был стимул, заставивший автора взяться за перо. Теперь-то я понимаю: Лев Иванович сменил манеру — от пролетарского импрессионизма своих ранних книжек (тех, что «без черемухи») он перешел к правоверному обстоятельному реализму, думая на этом пути вновь обрести лицо беллетриста.

Рассказ никому не понравился. Как и обычно, закоперщиком разноса стал Рыкачев. Делал он это мастерски. Остальные выступавшие «присоединялись к предыдущему оратору». Платонов молчал,пил мелкими глоточками красное цинандали и морщил высокое чело.

— А как вам, Андрей Платонович? — обратился к нему Гумилевский.

Платонов еще сильнее изморщил лоб, казалось, он решает непосильную умственную задачу.

— Это... конечно... рассказ, — сказал он и припал к бокалу.

— Для меня это очень важно, — наклонил крупную голову Гумилевский. — Значит, новеллистической формой я, во всяком случае, владею.

— Да... это... рассказ, — совсем изнемогая от умственной работы, повторил Платонов и потянулся за бутылкой.

Поняв, что большего от него не добьешься, Гумилевский спросил о моем мнении.

Я пролепетал, что мне понравилось, как умирает старый пароход. На фоне этой смерти происходит действие рассказа.

— Похоже, что молодой человек внимательнее слушал мой рассказ, чем старшие коллеги, — довольно похохатывая, сказал Гумилевский.

Его укор задел отчима — последовал новый критический залп. Рыкачев пытался апеллировать к Платонову, но тот углубленно смаковал вино и даже не расслышал обращенных к нему слов.

От Гумилевского мы пошли к нам. Отчим вспомнил, что в графинчике оставалось немного водки. Измученный кислым вином, Андрей Платонович как-то особенно бережно и душевно перелил в себя две рюмки. После чего отчим с настырностью максималиста привязался к нему, почему он скрыл от Гумилевского свое мнение о рассказе. Андрей Платонович отмалчивался, отсмеивался, отфыркивался, но под конец не выдержал и сказал жалобно:

— Да что вы привязались? Пусть пишет рассказы. Это лучше, чем хулиганить в подворотне.

Это было так неожиданно и так неприменимо к пожилому, монументальному, словно конная статуя, глубоко серьезному Гумилевскому — он происходил из семьи потомственных священников и сочетал высочайшую порядочность с той неторопливой степенностью, с какой ведут службу, — что мы покатались от хохота. Платоновское выражение навсегда вошло в наш семейный обиход и нередко способствовало примирению с чем-то не очень приятным: все-таки это лучше, чем хулиганить в подворотне.

А я для себя сделал еще один вывод: другу можно простить и плохой рассказ.

Еще об одной черте в отношениях Платонова и Рыкачева стоит рассказать. Как-то раз — уже после войны — мы сидели семейно за маленьким круглым столиком в маминной комнате и отмечали мой день рождения. Гостей не было, уж больно скудно мы тогда жили. Все, что я зарабатывал, шло отцу, отпущенному из лагеря на поселение с голодной пеллагрой и дистрофией, отчим болел тромбофлебитом, работал и зарабатывал мало, в ломбард уже нечего было нести, лучшим украшением нашего стола был омлет из яичного порошка, но водка и под него шла хорошо. В разгар пиршества раздался стук в дверь, сильно нас смутивший. Не хотелось постороннего вторжения. Отчим пошел отвести непрошенного гостя. И вдруг мы услышали его обрадованный голос: зашельцем оказался Андрей Платонович, который нередко забредал к нам без предупреждения.

Узнав, по какому поводу мы гуляем, Платонов тепло поздравил меня, поцеловал маме руку, вдруг порывисто повернулся к Рыкачеву, крепко обнял его и прижался виском к виску. Когда Платонов отстранился, у него были мокрые глаза.

— Как странно, — говорил моей матери после ухода Платонова отчим, — что он на меня, а не на тебя обратил свое чувство. Ведь я имею довольно косвенное отношение к рождению этого дитяти.

— Господи, до чего ты глуп! — сказала мама. — Да в нем отцовское заболело. Что ему я? Он думал о Тошке и о себе, о счастье быть с сыном. Это был жест отца к отцу. Я только сейчас поняла, в каком аду он живет.

Сын Платонова, красивый и одаренный Тошка, был арестован по статье 58. Когда брали политического преступника, у него не было даже временного паспорта — бумажки, которую давали допризывникам, он был вписан в паспорт матери. В 1942 году его отпустили со смертельной болезнью легких. Он успел написать несколько талантливых рассказов, жениться и заразить отца скоротечной формой чахотки.

О ГАЛИЧЕ — ЧТО ПОМНИТСЯ

Когда уходит знаменитый человек, он мгновенно обрастает друзьями, как пень опятами в грибной год. Сколько друзей появилось у довольно одинокого в жизни Твардовского и особенно — у Высоцкого! Нечто подобное происходит ныне с Галичем. Хотя свидетельствую: те, кого он называл друзьями, почти все ушли. Саша дружил большей частью с людьми старше себя, и нет ничего удивительного, что они покинули этот свет, ведь и Саше сейчас было бы за семьдесят.

Наши отношения с Сашей (я называю его так, как называл при жизни, величание по имени-отчеству было бы с моей стороны жеманством, ломаньем) прошли через несколько этапов: мгновенное влюбленное сдруживание с затянувшейся эйфорией от мощи первого толчка, долгая дружба, знавшая приливы и отливы, но прочная, верная, преданная — люди спаяны, но не настолько, чтобы поврозь не дышалось, не пелось, не пилося; встречи происходили зачастую непреднамеренно (мы вращались в одном кругу, бывали в одних местах, так что вполне случайными их не назовешь), порой под болезнь, но в основном — под внезапное душевное движение одного, мгновенно находившее отклик в другом, затем пришло чуть настороженное отчуждение, за которым все же скрывался жар, наконец резкое охлаждение, не убившее окончательно того доброго, что было заложено в молодости, но разведшее нас по разным концам света, сперва фигурально, а там и буквально — я не получал от Саши привета из того далека, куда занесла его судьба.

Попробую рассказать обо всех поворотах наших отношений, может быть, это что-то прибавит к образу Александра Галича, бронзовеющего на глазах под тихоструйной течью елea и патоки. А Саша был настолько значителен и хорош, что нисколько не нуждается в приукрашивании. Он не труп, не надо подмазывать ему губы и румянить щеки, он присутствует в нашей жизни, более близкий и нужный, чем притворяющиеся живыми мертвяки.

Поведу я свой рассказ о Саше от жены его Ангилины, повгиковски — Ани, затем — с легкой Сашиной руки для всех сколь-нибудь близких — Нюшки. Простонародное прозвище было выбрано Сашей по контрасту — редко кому это теплое деревенское уменьшительное имя так мало подходило, как худой, утонченной, с длинными хрупкими пальцами Ангилине. Очень часто во внешности красивой женщины доминируют глаза, реже — волосы, шея, рот, у Ани (я так и не смог перейти на Нюшку) руки были средоточием прелести. Бывало, на скучных, томительных вгиковских лекциях я, чтобы не отчаяться, неотрывно смотрел на длинные, нервные, нежные пальцы с миндалевидными темно-вишневыми ногтями. Сразу оговорюсь, нас связывала та прекрасная дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной, когда и с той и с другой стороны нет и тени влюбленности.

Аня была очень худа, сперва здоровой девичьей худобой, затем худобой чрезмерной, какой-то декадентской. Один режиссер замечательно сказал, что она похожа на рентгеновский снимок борзой. Большой бесплотности и представить себе нельзя. В послевоенном ВГИКе, куда Аня вернулась за дипломом, ее называли Фанера Милосская. Для автора этих воспоминаний идеалом женщины была даже не Венера Милосская, а Русская Венера, запечатленная щедрой кистью Кустодиева. Чистота нашей дружбы охранялась этим вкусом. И как чудесно дружить с юным, красивым, соблазнительным для других существом, когда ты сам застрахован от соблазна тверже, чем целомудренный Иосиф Прекрасный от чар жены Потифара!

Аня в юности была открыта, доверчива, необыкновенно добра, предана в дружбе, влюбчива и долго оставалась такой. Отличал ее и немалый снобизм. Имена, репутации, известность человека значили для нее очень много. Ее женская суть охотно откликалась не просто привлекательному мужчине, а мужчине ну хотя бы заметному. Что не мешало ей быть долго и безответно влюбленной в моего друга Осю Роскина, бедного московского школяра. Первый серьезный Анин роман был с человеком, который впоследствии сделал себе громкое литературное имя, а в ту пору ходил в подающих надежды режиссерах.

Летучие влюбленности в знаменитостей мирового и вгиковского масштаба завершились весьма прозаическим браком с ординарцем ее отца — бригадного комиссара. Ординарец был нижним чином, но имел за плечами не то мединститут, не то фельдшерскую школу. Красивый тихий парень с пепельными волосами и пушистыми ресницами. Будущий муж никак не походил на героев Аниных действительных и воображаемых романов — скромнейший человек, которому ни при каких обстоятельствах не светило стать знаменитостью. Но ему светило стать отцом ее ребенка, и бригадный комиссар строжайших нравственных правил не спрашивал ни его, ни дочернего согласия на брак: полковой батюшка насильно обвенчал грешную пару в гарнизонной церкви. (Не знаю с чего, вдруг потянуло по-сашесоколовски смещать разные исторические пласты.) Они расписались, и Аня приняла смешную, совсем ей не идущую простонародную польскую фамилию мужа. Она была радостным, отходчивым человеком и легко приняла неожиданный поворот в своей судьбе. Тем более что муж по обстоятельствам военной службы довольно редко появлялся в доме. Возможно, эти обстоятельства создавал сам бригадный комиссар, жалея проштрафившуюся дочь в глубине своего чугунного сердца.

Трудно было представить более неподходящего Ане отца, или, это будет вернее, менее подходящей дочери, нежели

Аня, для жестковыйного комиссара с кругозором, ограниченным «Кратким курсом ВКП(б)». При этом у него был облик полководца эпохи наполеоновских войн. Статью и ростом он напоминал графа Игнатьева, а лицом был красивей, и значительней, и, как ни странно, аристократичней, хотя не существовало дворянского рода Прохоровых. Если и пробивались Прохоровы в первые люди, то по купечеству или предпринимательству. Но вот такая игра природы: Анину утонченность, изысканность профиля с коротким надменным носом легко было вычитать в могучих чертах отца. От матери, милой, домашней и вовсе не красивой, у Ани не было ничего, кроме доброты и гостеприимства, что немало.

В положенное время Аня родила девочку. Роды пошли ей на пользу, она чуть пополнела, у нее расцвел рот, и лицо обрело горячие южные краски, может, кожа стала восприимчивее к солнцу. Она кормила, у нее появился бюст, в этот период жизни никому не пришло бы в голову пошутить: Фанера Милосская. Она, видимо, чувствовала происшедшую в ней перемену и помогала ей: стала широко, во весь цветущий белозубый рот смеяться и напускать света в серые, с голубоватыми белками глаза.

Мы были соседями и вместе ездили в институт, встречаясь у остановки трамвая на углу Кропоткинской. Доезжали до Арбатской площади, где пересаживались в троллейбус № 2, и через всю Москву плыли к Сельхозвыставке. Помню, мы ехали и разговаривали о популярном и на редкость идиотском романчике «Мими Блюэт», неизвестно почему заходившему в институте по рукам. Это была история потаскушки, написанная как бы от лица ее поклонника-друга, тривиальная, оставшаяся в моей памяти литературным курьезом, ибо автор странным образом не определил своего отношения к неопрятным похождениям героини. Об этом можно было писать осуждающе, иронически, сочувственно, насмешливо, даже восторженно, а он писал как-то рассеянно, будто не понимая, о чем идет речь, и

завершал очередную скабрёзную историю меланхолическим возгласом: «О, Мими Блюэт, нежный цветок моего сада!» «Какой сад? — недоумевала Аня. — Он так называет публичный дом?» — «Он имеет в виду де Сада», — глубокомысленно изрекал я. Мы болтали, несли околесицу, и Аней все сильнее овладевала смешливость. Вскоре ее смех стал неадекватен поводу — с переплеском. Так разряжаются порой непролитые слезы. Отвалился — пусть на миг — камень, и возрадовалось бедное человеческое сердце. Пассажиры оборачивались, это не сулило добра. Хотя всеобщее озлобление не достигало в ту пору нынешнего накала, молодой смех в публичном месте воспринимался «винтиками» как личное оскорбление. Я ждал, что ее обхамят, но люди смотрели на заливающуюся Аню снисходительно, даже добро, иные сами начинали улыбаться. Чему-то они отозвались — безоружности смеха или дарящей открытости горячего доверчивого лица?..

Когда мы расставались на обычном углу, я сказал:

— Ты была удивительно красивая в троллейбусе. Тебе надо чаще смеяться.

Она посмотрела на меня. Лицо ее будто оплавилось и померкло.

— Какая разница?.. Игра сыграна и проиграна.

— Ты бредишь?

— Нет. Проиграна бездарнейшим образом. Ладно. Пока.

Она повернулась и пошла, ссутулившись, словно немолодая усталая женщина, покоровившаяся судьбе. И вот тогда вошли в меня невыносимая жалость к чужой жизни и жар лермонтовской молитвы...

В самом начале войны Анин муж пропал без вести. Отец ушел на фронт. Аня с матерью и дочерью эвакуировалась в Чистополь.

Встретились мы через полтора года, а казалось — через век. Аня вернулась в Москву одна, семья оставалась на Каме. Она почти не изменилась, только немного побледнела и чуть опустили уголки губ. Наша встреча получилась пе-

чальной, Аня все время плакала. Она не знала ни о гибели Оськи, ни о гибели других наших друзей. Это ее так ударило, что она стала лить слезы при любом сообщении, даже не таящем смертельного исхода. Меня она оплакала со всех сторон. Я был на фронте — в слезы... Демобилизовался после контузии — в слезы... Работаю военкором «Труда» — в слезы. Развелся с женой — поток слез... Женился опять — тютчевский разлив.

— Ты стала слезлива, как Железный Дровосек, — сказал я.

То был персонаж из нашей любимой сказки «Волшебник Изумрудного города». В его железной груди билось бесхитростное железное сердце, отзывающееся на любую боль, в отличие от искушенного человеческого, умеющего себя защитить. Поэтому он все время плакал и от слез ржавел.

Аня вспомнила, засмеялась и подсушилась.

У нее был медицинский спирт и копченая утка — посылка отца с фронта (охотился он там, что ли?). Мы сели ужинать. Я разбавил себе спирта.

— Как можно пить эту гадость? — Ее передернуло отвращением.

Я счел вопрос риторическим и промолчал. Жестокий ответ даст Ане через много лет сама жизнь.

Мы часто перебивались с Аней, но виделись реже, чем нам хотелось бы. Я уже не был ее соседом, мотался по фронтам и тылам, а в свободное время обживался в новой семье, в непривычном для меня густом быте, притирался к людям незнакомой мне среды, пытаюсь как-то примирить эту новизну с тем, что мне было дорого в старом укладе. Словом, жил сложно...

В эту пору я познакомился с Сашей — где-то на улице, наспех. Нас познакомил мой вгиковский товарищ, выпускник режиссерского факультета. Оканчивающие во время войны киноинститут получали работу и бронь, кроме лиц еврейской национальности. Справедливо посчитали: пусть

молодые киноевреи повоюют за Россию, пока русские выпускники будут строить советский кинематограф в одной отдельно взятой стране. И этот одаренный режиссер, впоследствии поставивший много фильмов, среди которых были настоящие удачи, оказался в какой-то захудалой прожекторной части, где служил прославившийся вскоре Алексей Фатьянов. Алеша был справным золотоволосым солдатом гвардейской стати и лихости, а наш друг, потрясенный несправедливостью, совсем опустился. Словно воин поры начальной неподготовленности, он носил обмотки, башмаки б/у, шинельку б/у, матерчатый зеленый ремень и засаленную пилотку, которую надевал из цинизма не вдоль, а поперек. Он охранял Москву почему-то с востока, в Салтыковке, а на западе стал насмерть, в частях полевой почты, другой вгиковский воин, ныне известный писатель. Я уделяю всему этому так много места не только потому, что режиссер-прожекторист познакомил меня с Галичем, но он познакомил с Галичем и Аню, у которой частенько находился постоем, получая увольнительную из своей призрачной части. Познакомил, как поется в песне, «на свое несчастье, на свою беду».

Еще во вгиковскую пору Аня относилась к нему с повышенным вниманием, поскольку он по праву считался одним из самых элегантных молодых людей Москвы. Его пиджаки, пальто и шуба на бобрах сводили с ума московских пижонов. У него был богатый дед, не чаявший души в сироте внуке.

Когда он представил меня Саше, я вспомнил, что видел того на сцене театра-студии Арбузова в спектакле «Город на заре». Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единственным произведением метра. Саша хорошо играл плохого (троцкистствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала

волнующей дерзкой правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр «Современник». В спектакле звучали человеческие ноты, в непременную, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверное, самая неблагоприятная роль, но он с честью вышел из положения.

В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня — о Севе Багрицком, бывшем студийце и молодом поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах. Мы обменялись телефонами.

Саша произвел на меня сильнейшее впечатление. Высокий рост, благородная худоба, длинное узкое лицо, чудесные карие глаза, казавшиеся темнее от тени, отбрасываемой полями шляпы. Когда Саша, прощаясь, приподнял шляпу, плеснуло смуглым золотом. Прекрасна была и его скромная элегантность: серое пальто-реглан, почти черная, с седым начесом фетровая шляпа, безукоризненная складка брюк. Вот кто умел носить вещи! В дальнейшем я несколько раз ловился на этом. Встречал Сашу на улице в новом неземном костюме.

— Где шил? На луне?

Он смеется.

— Нет, правда, в Риге, у Бирнбаума?

— В литфондовском ателье. У Шафрана.

Шафран — закройщик из Белостока, откуда пришли все лучшие портные и джаз Эдди Рознера (они достались нам в результате рукопожатия Молотова с Риббентропом), шьет мне отличный костюм, но вполне земной, не с луны. Мне кажется, что он для Саши больше старается, ведь Саша далеко не Аполлон: сутулится и плечи могли быть пошире. Самолюбивый Шафран лезет из кожи вон, шьет мне новый костюм — опять с земли. Шьет Саше — с луны. Дело не в Шафране, а в том, что каждая вещь на Саше живет, а не «сидит», она становится словно второй кожей, участвуя

в каждом движении, жесте, шаге, повороте. Он словно насыщал вещь своим изяществом и шармом.

Н. Коварский называл Сашу «еврейский Дориан Грей».

Я не умел завязывать знакомства, вечно боялся оказаться в тягость, и наша встреча наверняка бы закончилась ничем, не позвони мне Саша на следующий день с предложением «пошататься по городу». Я выдвинул контрпредложение: небольшая выпивка в домашних условиях. Жил я в ту пору на улице Горького, а Саша неподалеку — на Малой Бронной. Надо сказать, Саша никогда не ломался и был предельно точен. Он появился раньше, чем мы с женой успели накрыть на стол.

— Прямо так сразу? — спросил Саша, застенчиво покосившись на графинчик с водкой.

— А чего терять золотое время?

Мы приступили. Его манера пить мне не понравилась. Он был из незакусывающих. Это значит, он не гасил заедком ожога глотка, а предоставлял организму справляться самому и уж затем что-то вяло жевал. Он был гурманом, а не едоком. Знал толк в еде, умел о ней поговорить, а сам ел мало и неохотно. Он должен быстро пьянеть, подумал я. Так оно и оказалось.

Саша спросил мою жену, чем она занимается.

— Учусь петь.

— Не пой, красавица, при мне, — наклонив голову баранчиком, сказал Саша.

Шутка была сомнительная — он окосел на третьей рюмке. Вскоре он уже спал на диване, заботливо прикрытый пледом.

Через много лет, перенеся два тяжелейших инфаркта и многие болезни, Саша держал выпивку куда лучше, чем в молодости. Вскоре в нашем доме, в том дружеском кругу, куда ступил Саша, привыкли к его манере гулять. После первых трех рюмок он веселел, становился разговорчив, начинал рассказывать истории, которые мы уже знали наизусть, но могли слушать без конца, после четвертой его

тянуло к роялю; он пел всегда одни и те же песни: «Вдали белеет чей-то парус», «Помню, в санях под медвежьей шкурою», «Как в одном небольшом-небольшом городишке», после пятой замолкал, только улыбался, наклоня голову баранчиком и тараща свои прекрасные глаза, затем вдруг исчезал. Кидались его искать, он спал в свободной комнате глубоким, тихим сном. Мы его не трогали. Он просыпался, когда гости уже расходились, застенчиво улыбающийся и совершенно трезвый. «Посошков» он не признавал.

Мне всегда не хватало Саши, даже в тех редких случаях, когда он держался дольше обычного. С его отходом ко сну застолье теряло остроту и очарование. Все становилось плоским, грубым, тусклым, одухотворенный мир сползал в пьянку. И, чувствуя это, кто-то из компании начинал подражать Саше, повторяя его номера: о неудачнике циркаче, который, начав падать с подкупольной высоты, под конец свалился в люк, о продавце патентованного средства «потоляз». Иные делали это очень искусно, почти один к одному, и все равно не получалось, пропадала какая-то изюминка.

В нашем первом скромном пировании, когда Саша проснулся, причем довольно скоро, мы начали с ним ту упоительную игру, которая останется с нами на годы. Называется эта игра: «А помнишь?» Нам почему-то попался под руку Лермонтов.

— А помнишь: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»?..

— А это помнишь: «Есть слово, значенье темно иль ничтожно»?..

— А это: «По небу полуночи ангел летел»?..

— А это: «Наедине с тобою, брат»?..

— А это: «В полдневный зной, в долине Дагестана»?..

Хотя Саша и был актером, стихи он читал не по-актерски, а по-домашнему, пусть и в романтическом ключе, без заземленья. И он как-то приближался в эти минуты, потому что Саша почти всегда находился в некотором отдалении. Не то чтобы он держал расстояние — ничуть, но в

нем шла постоянная, сильная, обременительная работа души, которая не позволяла ему раствориться в окружающем, распахнуться другому человеку. Но стихи он любил... свирепо (любимое горьковское словечко, за которое Алексей Максимович хватался, не в силах найти точного обозначения своей увлеченности) и тут выплывал из темных глубин, становился доверчивым, незащищенным и близким. Наслушавшись Сашиного чтения, моя жена сказала однажды, что не может смотреть на Сашу без слез. Она не была такой уж любительницей поэзии, но верно угадала за маской самоуверенного денди незащищенную, ранимую душу.

Мне кажется, Саша страдал от несоответствия своей истинной сути официальному, что ли, статусу. Он знал, чего стоит, а положение актеришки заштатной прифронтовой студии (бывшие арбузовцы обслуживали воинские части) ощущалось им болезненно. Так и в дальнейшем, когда его, творца необыкновенных пьес (недаром же так рано заговорили о «театре Галича»), третируют, как мальчишку, газетные недоумки, когда его упорно не принимали в Союз писателей, хотя у него уже были поставленные пьесы и фильмы, когда его, автора «Матросской Тишины» и «Я умею делать чудеса», знали лишь как соавтора блестящей, но легкой комедии «Вас вызывает Таймыр». Его драматургию упорно не пускали на сцену, лучшая пьеса «Матросская Тишина» дошла лишь до генеральной репетиции, другая — до премьерного спектакля, после чего была снята. Зеленую улицу дали лишь конформистской поделке «Пароход зовут 'Орленок'» — плоду душевной усталости.

Не обольщался он грандиозным успехом челуховой и по словам, и по залихватскому мотиву песни «До свиданья, мама, не горюй». Недаром в одноактной пьесе С. Михалкова появлялся полупьяный слесарь по кличке Маманегорюй. Лишь когда по всей стране зазвучали в записях и на голосах его горестно-насмешливые песни, исполненные раскаленного гражданского чувства, произошло совмещение истинного образа Саши с его проекцией на действи-

тельность. За этими песнями был автор «Матросской Тишины», а не развеселых комедий или уютных пьес о «хорошем советском несчастье» вроде «Орленка».

А как давно тянуло Сашу к песне! Еще тогда, в дни войны, рояль и пианино производили на него магнетическое действие. Но что за песни он сочинял в те сумеречные годы! О «золотых листьях», легших на офицерские плечи, — ввели погоны, о страданиях театрального рабочего Григория, полюбившего «инженю-драматик». Помню, он должен был срочно воспеть коня и, по собственному признанию, тачал о нем так неистово, что «ноги стали кривыми, как у кавалериста». Саша жил по тем же законам, что и мы все. Напиши он тогда самую легкую и безобидную из своих гражданских песен, с ним было бы покончено.

Собственно говоря, с ним и так было покончено в свой час, ибо для Саши изгнание означало смерть, хотя песни его прозвучали совсем в ином историческом климате, после оттепели, после XX съезда, вернувшего партию к ленинским нормам. О, эти никак не дающиеся нашему партийному руководству ленинские нормы! Можно подумать, что нравственный кодекс Ленина был сродни рахметовскому: спать на гвоздях и прочие самогубительные подвиги. А ведь речь идет всего-навсего о том, чтобы соблюдать элементарную порядочность. Сашу травили, преследовали, судили на секретариате СП и вышвырнули, как Пастернака, из наших «честных рядов». Его друг и учитель Арбузов огласил постыдное судилище криком: «Ты присвоил себе чужую биографию!» Вон как! Это потому, что Саша пел от лица узников, ссыльных, доходяг, работяг. С таким же успехом подобное обвинение можно бросить Высоцкому, певшему от лица разных бедолаг, и заодно инкриминировать ему самозванство: он пел о войне как солдат, а ведь он был малым ребенком в те годы. Благородному Абризову, похоже, в голову не пришло, что, живя территориально на улице Черняховского в писательском доме, душой можно быть с теми, кто на лесоповале, что можно носить костю-

мы от Шафрана, а чувствовать на плечах засаленный ватник. Выходит, Н.А.Некрасов тоже украл биографию у русского мужика-страстотерпца. Ему бы об Английском клубе петь, где он так удачно понтировал, а он о пахарях, бурлаках, странниках надрывался.

Любопытно, что достоверность Сашиних песен ввела в заблуждение зарубежных издателей, и они действительно приписали Галичу чужую биографию: «Провел в тюрьмах и сталинских лагерях до 20 лет. После смерти Сталина был реабилитирован». Но Саша не отвечает за чужие промахи.

Впрочем, все это еще впереди. А сейчас я возвращаюсь из очередной поездки, набираю знакомый номер, и через полчаса мы до одури надсаживаемся:

— А помнишь: «Образ твой мучительный и зыбкий»?..

— А это: «Над желтизной правительственных зданий»?..

— А это: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез»?..

— А это: «Я пью за военные астры»?..

— А это: «Мой щегол, я голову закину»?..

Долгое время нашими героями были Лермонтов, Тютчев, Мандельштам, потом к ним прибавились Цветаева и Пастернак.

Вскоре Саша дал мне прочесть одну из своих ранних пьес — «Улица мальчиков». Я был праведным реалистом и совершенно не понимал даже малой условности в искусстве, но запретный плод сладок, и я сразу влюбился в Сашину пьесу. Я никак не мог взять в толк, что за радость жить на улице, населенной одними мальчиками. С девчонками вроде бы интересней. Эзоповский язык пьесы от меня ускользал. А ведь символика ее была так проста: жить на улице мальчиков — это значило бежать из дурного мира взрослых с их ложью, соглашательством, лицемерием и ханжеством. Все это прекрасно поняли люди, управляющие театром, и отвергли пьесу. Исполненный дружеского рвения, я предложил Саше сделать из пьесы повесть. «Проза для меня — дверь за семью печатями», — сказал он. «Я буду писать вдоль твоего текста, от тебя потребуются лишь

руководящие указания». Он улыбнулся, пожал плечами. «Если тебе не жалко времени...» Мне ничего не было жалко для этого сказочного человека. Ощущение, что Саша не из настоящей жизни, а из какого-то странного, нездешнего, печально зачарованного карнавала Ватто, пробуждало во мне страх утраты: казалось, он может исчезнуть, испариться в иное пространство и время, где ему будет приятнее. Годы не сближают людей, это неправда, и если была дружеская близость, то она постепенно тощует в усталости и разочаровании, но что-то от моей первой молодой очарованности Сашей сохранилось во мне навсегда.

Саше сопутствовала некоторая таинственность. Он не любил говорить о делах и обстоятельствах своей жизни. Об ином человеке за рюмкой водки в первый же день такого узнаешь, что потом на весь век хватит. О Саше мы поначалу вообще ничего не знали. Какое-то время за его плечами маячила призрачная фронтовая студия, но с окончанием войны и она отлетела. Где он учился и учился ли вообще?.. Служил ли или был свободным художником?.. За ним не угадывалось детства, школы, он был человеком с Луны, сейчас бы сказали — инопланетянин. Затем как-то исподволь и чаще не от него самого стали поступать смутные сведения: он вроде был женат, когда мы познакомились, но сейчас то ли развелся, то ли разъехался с женой, как будто и ребенок есть. Отец у него хозяйственный работник: не то заместитель министра, не то завскладом, не то коммерческий директор завода; мать в консерватории вроде не поет и не играет, а ведет концерты, по другим сведениям — администратор. Зато точно известно, что есть младший брат — студент операторского факультета ВГИКа.

Однажды мне срочно понадобился Саша в связи с повестью, которую я продолжал упоенно и обреченно писать, уже поняв, что реалистическая отмычка не сработает в мире тонких условностей. Саша сослался на плохое самочувствие и предложил навестить его. Дал адрес. Я был взвол-

нован. Оказывается, в глубине сознания таилось представление, что Саша обитает на ветке.

Саша открыл мне, убедительно покашливая. В глубине квартиры плакал ребенок, никто его не утешал. Проходя мимо столовой (кажется, то была столовая), я увидел за непритворенной дверью детскую кроватку с сеткой и в ней младенца.

— Моя дочка, — ответил Саша на невысказанный вопрос странно рассеянным, отсутствующим голосом, как бы приглашающим не развивать эту тему.

Да я и не собирался. Я понятия не имею, чем надо восхищаться в личинке человека, не знаю никаких агу, тпруа, мням-мням и прочей людоедчины, младенцы не для меня. Теперь я понимаю, что сподобился мимолетно лицезреть нынешнюю Алену Архангельскую, энергичную хранительницу и устроительницу отцовской памяти и литературного наследства.

Однажды во время войны мы отправились большой компанией на «Тишинку». В ту пору этот давно ушедший в тень рынок играл выдающуюся роль в торговой и общественной жизни Москвы. Здесь сосредоточивалась вся частная купля-продажа столицы. Барахолка подавила жалкий продуктовый базарчик и торговала всем, чем можно и нельзя: от старой обуви, заношенного шмотья, солдатских шинелей до барских шуб, золотых колец и антиквариата, от балалайки без струн и гармошки с порванными мехами до краснощековской семиструнной гитары и скрипки Страдивариуса, от старых трубастых граммофонов до арф, пистолетов «ТТ», орденов и поддельных документов, от фронтовых ушанок и ватников до архиерейских риз, брюссельских кружев и американских летных комбинезонов на меху; здесь можно было купить егерское белье, комплекты «Нивы» и «Синего журнала», балетные туфли, протез, бормашину, сто томов «Рокамболя», горжетку из крашенных крысиных шкурок, гипсовый бюст Сократа, набор дореволюционных порнографических карточек, романовский полушубок, са-

лоп, елочные игрушки, левую сторону мужского костюма от «Журкевича», фарфоровый сервиз, качалку, пилу, колун, короче говоря — все. И все продать. И получить вместо денег «куколку» — ком старых газет, а бывало, и нож под ребро. Здесь играли в бессмертные рыночные игры: «три листика», «три камушка», «веревочку», буру и рулетку: кручу-верчу — деньги плачу. Безногие инвалиды на колясках торговали рассыпным «Казбеком» и «Беломором», на них не было штанов, они мочились, задрав рубашки, чуть в сторону от своего разложенного на газете товара. Тут бродили громкоголосые пятновыводчики — древние, засаленные, неправдоподобно нахальные и бодрые старики.

В тот раз я наблюдал смешную сцену. Рекламируя свой очищающий товар, старик в картузе с высоченной тульей — он сбежал с картины Шагала — призывал окружающих дать ему самое страшное пятно: чернильное, жирное, сальное — и он его тут же выведет. К нему суетливо протолкался другой шагаловский старик с брюками-дипломат в руке. Пятновыводчик взял брюки и придирчиво осмотрел.

— Это не жир, не сало, не бог пятен, сатана пятен — чернила. — Он сделал эффектную паузу. — Это сперма!

— Не грехи, — сказал владелец брюк. — Мне за восемьдесят.

— Значит, это не ваша сперма и вы перекупщик! — заклеял его пятновыводчик.

Толпа грохнула, а оскорбленный заказчик, ругаясь и брызгая слюной, ринулся прочь.

Я тоже пошел дальше, мимо калек-папиросников, мимо сволочных казино, где цыганистые парнюги обирали заезжих лопухов, мимо несчастных испитых женщин, торговавших своим последним замученным достоянием, к тихому углу рынка, где нашла пристанище «модная лавка». На подходе к ней мордастые молодайки крикливо рекламировали новейший товар: грубо-добротные робы, плащи и комбинезоны из американских посылок частной помощи. Пред-

назначались они рабочим, но, как полагается, оказались в руках спекулянтов.

А потом — тишина: чистенькие старушки с буколками и осенней пожухлости дамы торговали кружевами, бисерными кошельками, перламутровыми театральными биноклями, страусовыми перьями, лайковыми перчатками. И эффектно над «бутоньерками осенних роз» высилась стройная фигура мужчины в элегантном пальто с поднятым воротником и красиво заломленной фетровой шляпе. Он стоял между траурной старухой, пытавшейся откупить хоть сколько-то стылой жизни за вытертую до мездры лисью горжетку, и сухощавой дамой со следами бывлой красоты и несколькими самодельными острогрудыми лифчиками на шее, изящно отставив ногу и округлив левую руку, через которую была переброшена дамская фисташковая комбинация.

— Ха, ха, — сказал Саша, увидев меня.

Этим он как бы уплатил дань очевидной растерянности человека, не ожидавшего увидеть на Тишинском рынке Дориана Грея.

В этом сказалось его самообладание и умение без потерь принимать уродливые неизбежности жизни. С тем же мужеством играл он в безнадежно выдохшемся театре, тачал про коня до кривизны ног, лепил для «Ленфильма» «проходные» сценарии, сочинял для эстрады и цирка. Он не выбирал себе подобных занятий, но если нельзя выжить иначе, он делал что требовалось, не растрачивая ни грана своей личности. В число смертных грехов эти поступки не входили, значит, нечего терзаться, дело житейское, не подлежащее каре Божьей. И разве плохо стоять тихим, дремлющим мартовским деньком среди пожилых интеллигентных женщин, кружев, страусовых перьев, вееров, шелков далеких лет, в этом блоковском наборе, и думать о новой пьесе, веря, что ты умеешь делать чудеса?

Мне ли перед ним задаваться! Угрызаясь и самоедничая, я халтурил в десять раз больше и грубее Саши, а если

бездельничал на торжище, так лишь потому, что в зимнем ряду моя жена изнывала под тяжестью двух шуб из номенклатурного распределителя.

Я рассказал Саше о «перекупщике».

— Это гениально, — сказал он, — готовый номер.

А что такое «готовый номер», мы узнали тем же вечером, когда собрались в нашем доме обмыть не покупки, а продажу. Первое место среди «торговых гостей» занимала моя теща, распродавшая через подставных лиц почти весь свой гардероб, подлежащий решительному обновлению. Дальше с большим отставанием шли моя жена, молодой искусствовед, реализовавший полученное по ордеру демисезонное пальто, и старый философ, загнавший чернобурку жены и фотоаппарат «Зоркий». Саша сокрушался, что ему, жалкому лоточнику, не по чину гулять с первогильдейными. А потом изобразил сценку на Тишинском с «перекупщиком», украсив ее таким количеством сочных подробностей, что моя скудная информация стала искусством.

Меж тем попытка превратить «Улицу мальчиков» в шедевр социалистического реализма потерпела полное фиаско. Пока я пробирался проселками действительной жизни, дело как-то шло, но вот подступило то, ради чего писалась эта пьеса, и я безнадежно завяз. Я физически чувствовал, как окостеневали персонажи, до этого находившиеся в движении, в определенных отношениях друг с другом. Они онемели, лишились дара перемещения в пространстве, ослепли, оглохли, а там наступил и полный паралич. В хрупком мире условностей здравомыслию нечего делать. И я сдался.

Саша никогда не спрашивал, почему вдруг тема мальчиков, захотевших жить своим особым мирком, исчезла из нашего общения. Думается, он все знал заранее и был рад, что попытке с негодными средствами настал конец.

Как раз в это время человек в обмотках познакомил Сашу с Аней. Размундиренный боец-прожекторист где-то случайно столкнулся с Аней, и она вспомнила, каким ос-

лепительным кавалером был он в незабвенные вгиковские дни. Но дело, конечно, не в снобистской памяти, а в доброте, которая была основным качеством Аниной души, она смертельно зажалела бывшего лорда Бреммеля. Теперь у него всегда был постой и ночлег в Москве. Получив увольнительную, человек в обмотках ехал из Салтыковки прямо к Ане на Кропоткинскую, сбрасывал военную ветошь, надевал чистую, наглаженную Аней сорочку, прекрасный костюм, начищенные до блеска ботинки (обувь у него была грязной даже в золотые дни), с неподражаемым искусством повязывал бабочку, выпивал спирту, закусывал копченой уткой и обретал если не счастье, то покой и волю. Один из своих дивных пиджаков он подарил Ане, которой удивительно шли мужские вещи: куртки, пиджаки, плащи, шляпы (она всегда помнила, что любимая героиня нашей юности, очаровательная и шалавая Брет из «Фиесты», носила мужскую шляпу). Они куда-то шли. Всю войну в Москве работали рестораны «Арагви» и «Националь», был открыт коктейль-холл на улице Горького. В одну из своих вылазок они наткнулись на Сашу. Человек в обмотках горделиво представил его Ане. Сашу затащили домой, угостили разведенным спиртом под дежурное блюдо. Он распустил павлиний хвост. Воину пора было возвращаться в часть. Он переоделся, как всегда, неумело накрутил свои обмотки, напялил пилотку, так что звездочка оказалась над левым ухом, повязался ремнем, как кушаком, и отбыл — сперва в комендатуру на Ново-Басманной за порочащий Красную Армию вид и отсутствие противогаза — крайне необходимого в тот период войны, — а потом в часть.

Саша спохватился, что пора идти домой, когда время перевалило за полночь, а у него не было ночного пропуска. «Не беда, переночую в милиции, авось не привыкать», — сказал он с меланхолической улыбкой. Аня была не таким человеком, чтобы отпустить странника во тьму. Он остался и всю ночь читал ей стихи. Мандельштам доконал уже подавшуюся душу.

Больше салтыковский воин копченной утки не едал. Для решительного объяснения Аня вышла к нему на улицу в «старомодном ветхом шушуне». Она прихватила с собой старый чемодан со всеми нарядами бывшего постояльца. Произошла тяжелая сцена. Аня без обиняков сказала ему, что любит Сашу. Он с не меньшей прямоотой сказал, что любит ее. Аня, узнавшая наконец, что такое любовь, поняла, как ему сейчас плохо, и расплакалась от жалости. И он тоже расплакался, чего с ним на трезвую голову никогда не бывало. Потом он признался мне, что в этом потоке слез посчитал дело свое выигранным и был потрясен, когда, отплакавшись и высморкав нос, Аня железным голосом сказала, чтобы он не смел приходить. Дав от ворот поворот этому кавалеру, наша влюбчивая, легкомысленная Аня навсегда вошла в тот образ верной, преданной жены, от которого никогда не отдалялась, что бы ни вытворял муж. Впрочем, женой Саши ей еще предстояло стать.

А человек в обмотках снова оказался в комендатуре в тот роковой день, его взял патруль за подозрительно красное лицо, мокрые глаза и отсутствие противогаса.

Весной сорок пятого года решено было отпраздновать мой день рождения: как-никак четверть века жизни и пять лет околелитературной деятельности. Война стремительно шла к победе, настроение было повышенное, и мы назвали полный дом народа.

До этого я находился в долгой фронтовой командировке и ничего не знал о происшедших событиях. Меня поторопились проинформировать. Человек в обмотках был патетичен: у него разбито сердце, он никого так не любил, как Аню, и ни одна женщина не сможет заменить ее. Саша сказал просто: «Ты знаешь, мы теперь с Нюшкой». Так впервые прозвучало новое имя Ани, которое не легло мне на язык.

Аня сияла, сверкала, лучилась глазами, улыбкой, даже кожей, источавшей какой-то матовый свет, и не нужно было никаких признаний. Я сказал:

— «Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить...»

— «И печальна так и хороша темная звериная душа», — подхватила Аня. — У меня сейчас звериная душа. Я забыла все, чем жила, всех, с кем жила, словно и не было никакой жизни. А может, ее и правда не было?

Меня испугало ее счастье, такое откровенное, распахнутое, ничем не защищенное. Боги не любят, когда смертные становятся слишком беспечны, слишком доверяют судьбе.

Потом человек в обмотках увел Аню на кухню — для последнего объяснения. Третий калач в какой-то необъяснимой слепоте ни за что не хотел признать очевидное. Он был эгоцентриком до мозга костей, ужасно жалел себя и не мог поверить, что Аня не разделяет этой жалости. Он надеялся на ее доброту, слабость перед чужой болью, согласен был и на брезгливую подачку: ей невыносимо станет видеть его перемазанную горем рожу и она махнет рукой на Сашу. Гордостью, мужским самолюбием тут не пахло. Любовь сделала мягкую, податливую Аню железной. Из кухни он вышел с красными полубезумными глазами и весь долгий праздник пытался испортить людям настроение своим неопрятным страданием. Мне вспомнился платоновский инженер, который был так несчастен в любви, что пришлось его уничтожить, потому что люди не могли больше видеть таких мук. Здесь собрался народ повыносливей. Все же, когда он отбыл то ли в Салтыковку, то ли в комендатуру, по меньшей мере трое почувствовали облегчение: Аня, Саша и я как хозяин дома.

Памятую о комендантском часе, гости разошлись в начале двенадцатого. Саша и Аня задержались, они словно забыли о времени. Далеко за полночь Саша спросил:

— Можно, мы останемся у вас?

— По-моему, вы уже это сделали.

Место было только в ванной комнате. Жена принесла две гладильные доски, тощий матрасик, белье. Ложе получилось довольно узким и твердым.

— Ложе ригориста, — заметил Саша, — хорошо хоть без гвоздей.

Утром за завтраком я спросил, как им спалось.

— Лучшая ночь в моей жизни, — улыбнулся Саша.

— И моей! — воскликнула Аня.

Они были так неподдельно счастливы, что я предложил жене спать отныне только на гладильных досках.

— Ничего у вас не выйдет, — сказал Саша.

— Почему?

— Вы ветераны. А у нас это была свадебная ночь.

Мы тепло поздравили молодоженов. Жена принесла шампанского.

Конечно, мне было интересно, зачем любящей паре понадобились ванна и гладильные доски, если у Ани стоит пустая квартира. Когда женщины пошли варить кофе на кухню, я спросил Сашу. Он сказал, что не может пробыть там больше минуты. Квартира населена любовью и муками человека в обмотках, и это дает нестерпимый эффект присутствия. Я засмеялся, Саша подхватил. Есть такое противное выражение: смехунчик в рот попал. Это случилось с нами, не могу понять почему. Разговор-то шел о грустном, а мы ржали, как жеребцы. Очевидно, снимались какие-то напряжения. Но что-то в этом смехе насторожило меня. Его волны докатились до счастливого, безмерно, беззащитно счастливого лица и затопили его. Лицо пошло ко дну, не было на нем и следа счастья, лишь пустота и отчужденность смерти.

— У тебя это серьезно? — спросил я. — Я Аньку знаю как облупленную, у нее такого сроду не было. Если она сейчас обманется... Все. Конец. Прости, что я об этом говорю.

Он мгновенно стер смех с лица.

Так оно и случилось. Они поженились. Саша не давал Ане обет целомудрия, да она и не ждала от него никаких жертв. Саша был нужен ей такой, какой есть, а не украшенный чуждыми всей его сути добродетелями: верный муж, председатель общества трезвости, борец с

никотином и другими наркотиками, примерный во всех отношениях гражданин. Ей был нужен блестящий, безудержный, неуправляемый, широкий, талантливый, непризнанный, нежный и в любых кренах жизни преданный человек, на которого она могла бы смотреть хоть чуточку снизу вверх. Ане нужен был не просто любимый, а любимый, которому можно поклоняться. Как бы ни складывалась их жизнь, а в ней было много всякого, как почти в каждой настоящей, не суслицьей жизни, — и семейные распри, и брань, что не виснет на воротах, — и дым коромыслом, — но взгляд чуть снизу все равно оставался, ибо в главном, в Боговом, Саша никогда не ронял себя. То не был взгляд сброшенной с седла амазонки (такой может быть и свысока), а взгляд женщины, склонившейся перед уходящим на бой воином. И ведь близилось то время, когда каждый день Сашиной жизни станет боем с противником, неуязвимым, как Ахилл, столь же свирепым, но куда менее обаятельным.

Саша не позволял обстоятельствам брать верх над ним. Я редко встречал такое спокойное, не кичливое, вроде бы не сознающее себя мужество. Когда сталинский антисемитизм стал доминирующим цветом времени, он написал лучшую свою пьесу «Матросская Тишина» и, не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам. Читал он «Матросскую Тишину» и в нашей компании.

Нельзя сказать, что он нашел благодарную аудиторию. Прежде всего, проблема пьесы никого кровно не затрагивала, а недостаток интеллигентности не позволял чувствовать чужую боль изгнанничества внутри собственной страны как свою боль. Похоже, Саша провидел в пьесе свою судьбу, хотя тогда ничего не говорило, что «инженю-драматик» сменится песнями гнева и печали. Впрочем, почему не говорило? «Матросская Тишина» по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое сборище, где его готовы были слушать. Аня восхища-

лась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась «жить с молнией».

В тот раз Саша зря потратил время, душу и артистический темперамент — вежливо-одобрительное мычание показало, что пьеса не дошла. И мои натужные критические рассуждения тоже были ни к чему Саше. Антон Рубинштейн говорил: творцу нужна похвала и только похвала. Особенно творцу непризнанному или полупризнанному, каким был Рубинштейн-композитор, каким был Саша с его домашней славой.

Появились, как положено, водка, закуски. Хотели выпить за пьесу, Саша сказал: «Нет, нет, за дела не пьют!» Выпили за него. Кто-то попросил: «Старик, изобрази 'пришел на копчик'». — «Да, это больше подходит...» — пробормотал Саша и начал знаменитый, в зубах навязший монолог о циркаче-неудачнике...

Пьеса по-настоящему дошла до меня, когда я прочел ее в прекрасной книге Саши «Генеральная репетиция». А ведь он здорово умел писать прозу! Как жаль, что он пренебрег этим своим талантом. Может быть, отложил на старость, чтобы воплотить в воспоминания о бурно прожитой жизни? Но старости у него не было. Проводок сволочного супернового проигрывателя пустил в его большое грузное тело несильный ток парижской сети — и остановилось истерзанное инфарктами, преследованиями и растущими дозами морфия сердце, немного не дотянувшее до того порога, за которым начинается старость. Горькая книга и мастерски построенная. Тут и в самом деле описана генеральная репетиция пьесы «Матросская Тишина» со всеми переживаниями автора, с надеждами, страхами — ведь спектакль смотрят две сановные дамы, от которых зависит: быть или не быть. Внутри этого описания поактно вложена пьеса — вся целиком. Происходящее на сцене и происходящее в зале взаимопроникают, образуя единый скрут боли. Напряжение достигает кульминации, когда в антракте чиновные дамы встают с непроницаемо-суровыми лицами и

величественно выплывают из зала. Неужели они ушли, недосмотрев? Но ведь это смертный приговор спектаклю? Нет, дамы с тем же значительным видом возвращаются, они просто ходили в туалет. Но приговор — смертный — лишь отложен. Он будет вынесен в свой час.

Мечта философа Федорова оживить всех ушедших осуществляется сейчас в нашей литературе. Среди оживленных — Галич с его пьесой «Матросская Тишина», ставшей спектаклем. А чиновные театральные дамы помаленьку перемещаются из кабинетов-застенок в кооперативные туалеты, где им и место.

В этой книге замечательный конец. Гаснет свет в опустевшем зале, Галич прижимает к себе грустную поседевшую голову своей уже немолодой жены. Вот то, чего не отнимут, как отнимают спектакли, фильмы, книги, успех, славу, заработки, возможность видеть мир, молиться, петь, общаться с близкими по духу, — единственное прибежище и спасение. Искреннее, чистое, усталое, глубокое чувство вложено в финал этой печальной книги. Саша не ошибся, не переоценил своих душевных возможностей, когда, поднявшись с гладильных досок, сказал мне сильное слово навсегда.

А вот бытовой пример Сашиней силы воли. В исходе войны, в середине апреля, мы гуляли у другого вгиковского воина, охранявшего западные подступы к Москве, — в Одиноце. Это был первый солнечный и голубой день пасмурной, хоть и не студеной весны, и мы решили осушить предобеденную чарку на давно уже вскрывшейся речке. Пришли, увидели блестящую веселую воду, и кто-то сказал, что не грех бы искупаться, смыть грехи перед большим истовым застольем. Все мужчины хвастливо поддержали предложение, но легко дали отговорить себя разволновавшимся женам. Пока мы ломались и кочевряжились, изображая мужскую снисходительность к слабостям боязливых женщин, Саша неторопливо разделся до трусов. Моя жена спросила Аню:

— Это серьезно? Он что — с ума сошел?

— Если Саша что решил, его не собьешь, — с вымученной улыбкой отозвалась Аня.

— Ах, ребята вы, ребята! — сказал Саша. — Такого удовольствия себя лишаете.

Он медленно вошел в ледяную воду, чуть постоял и нырнул. Прошел под водой метров пять-шесть и стал отмахивать саженками. Он переплыл на тот берег, посидел на купающихся в воде голых ветвях ивы, снова нырнул.

Он плавал еще минут десять, не отзываясь на наши подло-благоразумные призывы: «Выходи!.. Довольно форсить!.. Что за ребячество!.. Ты простудишься!.. Ладно тебе геройствовать, нашел чем удивить!..» Нам стало стыдно, но никакой стыд не мог загнать нас в ошпаривающе-ледяную воду.

— Он что — морж? — спросил кто-то Аню.

— Какой там морж! Он в ванну, если меньше сорока, не ползет.

Да, не ползет. Но здесь был брошен вызов, и он единственный, кто его принял. Главное даже не в том, что он заставил себя выкупаться, а в том, как он это сделал. Спокойно улыбаясь, не дрогнув ни единой жилочкой, даже без гусиной кожи, что вовсе загадочно, не торопясь, до конца сохраняя такой вид, будто это ему в привычку и в удовольствие.

Выйдя наконец из воды, он не спешил одеться, говоря, что надо сперва обсохнуть. Так же не спеша выпил стопку водки, крикнул: «Эх, хороша!» — и пошел в ивняк, чтобы выжать трусы и одеться.

Должен сказать два слова в защиту вгиковских рекрутов. Не всех их задержал Московский военный округ, остальные попали на фронт. Один благополучно довоевал до конца войны и так полюбился властям, что те решили не расставаться с ним. Ему очень пригодились солдатский ватник и справные кирзовые сапоги в дальнейших долгих странствиях. Другому оторвало руку, за ненадобностью его

отпустили. Со временем он стал видным деятелем белорусской кинематографии. Воевали и другие, я не знаю их судеб, знаю лишь, что все они вернулись.

Видел я Сашино мужество и иного рода. Мы проводили лето в Алуште. Я приехал туда по Сашиному зову. Почему он выбрал это самое скучное и непоэтичное место на всем крымском побережье, не помню. Аня и Саша жили в маленькой и дружной московской колонии, облюбовавшей тихий край городка. Хотя это место находилось в стороне от алуштинского променада, сюда каждый вечер наведывались комсомольские патрули и заставляли игравших в волейбол женщин надевать поверх сарафанов баски. Голые плечи считались неприличными.

— Вы не на пляже, — говорил двадцатилетний бело-брысый и красноглазый альбинос, капитан комсомольской полиции нравов.

— Но это же спорт! — бессильно возражали мы.

— Спортом занимаются на стадионе, а здесь открытое место. Потрудитесь соблюдать приличия.

— Вот не знали, что русский сарафан неприличен. Это же национальная одежда. Его наши бабушки носили.

— Не умничайте, если не хотите в милицию.

— За что? — спросил Саша. — За ум или за сарафан?

Парень посмотрел на Сашу, и его белые, в красном обводе глаза налились ядовитой желтью ненависти.

— У вашей жены, гражданин, национальная одежда не сарафан, а котиковая шуба.

— Вы ошибаетесь, — улыбнулся Саша. — Моя жена русская. А у вас есть зачатки мышления. Почему вы не развиваете их? Зачем вы мотаетесь по жаре и мешаете людям жить? Кстати, вы знаете, что женщины под сарафаном голые? Да, да, совсем голые, даже без фигового листа. Снимите с них мысленно сарафан, что вы там видите? Ай-й-й, а еще комсомолец!..

С раскаленным злым лицом парень повернулся и пошел прочь.

Любопытно, что это идиотское ханжество и прочие крымские «бетизы», как говаривал Лесков, обязаны своим появлением визиту Сталина в Крым. Ему не понравились кипарисы за их траурность, курортницы — за легкомысленный вид. И пали под топорами и пилами прекрасные старые деревья, а стыдливая комсомольская юность взяла на себя заботу, чтобы ни один лишний сантиметр загорелого женского тела не оскорблял целомудренного взгляда.

Но я не к тому вспомнил Алушту. В дни, когда мы безмятежно резвились под присмотром комсомольских патрулей, в «Правде» появилась разгромная статья о спектакле Театра Сатиры по новой пьесе Галича, написанной в соавторстве. Еще шел с неубывающим успехом «Вас вызывает Таймыр», ожидалось, что и новый спектакль на гребне этого успеха принесет театру битковые сборы и славу. Так поначалу и шло, и вдруг — мощный залп из всех бортовых орудий. Мнение «Правды» было в ту пору непререкаемым, каждое критическое слово звучало как приговор к высшей мере. И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой, непритязательной комедии — о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Невинные и довольно беззубые шутки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.

Словом, то был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличие, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот неимоверный боевой арсенал? На уничтожение милой театральной шутки. Лев Толстой меньше напрягался, ниспровергая Шекспира. Но там гигант борол

гиганта, здесь же на кусочек пастилы накинута раздувшаяся в железную свинью мышь.

Мы были подавлены, тем паче что в нарочитой грубости статьи, ее житейской неоправданности проглядывала та мрачная и таинственная воля, которая никак не хотела дать передохнуть несчастному, истомленному войной народу, измышляя для него все новые муки. Статья, несомненно, была инспирирована сверху. Так оно и оказалось. Пришла очередь творческой интеллигенции (с упором на еврейскую ее часть) двинуться на Голгофу. Впрочем, излишней щепетильности не проявляли, на позорище мог быть выставлен и русский (хотя бы Малюгин). Сейчас был брошен пробный камень. Один из наших друзей, деливший с нами алуштинские утехы и дни, Н. Мельников, искренне сочувствовавший Саше, не знал, что окажется Иоанном-предтечей космополитизма. С разгрома его талантливой повести «Редакция» начнется та долгая и зловещая кампания, которая увенчает терновым венцом одних и позорными лаврами других...

Саша появился на пляже ближе к обеду, по обыкновению подтянутый, выбритый, элегантный и улыбающийся. У меня даже мелькнула мысль, что он не видел газеты.

— Ну как, ты, старик?

— А что? Тачал с утра... Ах, ты об этом!.. Ничего. Надел чистую рубашечку, погладил брюки — и сюда.

Я смотрел на Сашу. То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если «Таймыр» не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули надежды на хороший заработок, больше ста театров собирались ставить его пьесу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишний раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное прегрешение вырастет до раз-

меров стихийного бедствия. Словом, скука зеленая, безнадега, и никто не скажет, когда ты опять выползешь на свет Божий, да и выползешь ли? А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, «держался» плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен, ничуть не напряжен. Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту друзей, которым читал свою заветную пьесу, так же вышел недавно с заседания секретариата СП, вновь не принявшего его в Союз писателей. Его нельзя было согнуть. Крепкой человеческой сталью называл таких людей Александр Грин.

Явилась Аня с припухшими глазами, но шутила, смеялась и напомнила, что вечером идем в кафе. Мы-то малодушно решили, что поход отменяется по причине траура. В кафе мы засиделись допоздна. Когда все посетители ушли, мы с благословения заведующей сдвинули столики, заказали еще напитков, раскрыли старенькое пианино, и Саша закатил грандиозный концерт. Он спел «Маму» и все другие свои песни, не получившие столь широкого признания, репертуар Вергинского, Лещенко, Морфесси, жестокие романсы. А пили мы пиво пополам с ситро, Саша называл напиток «панаше», и закусывали печеньем, которое называлось «курабье». В конце вечера Саша исполнил романс-экспромт о брошенной девушке. Кончался романс на рыдающей ноте:

Все бывое развеялось прахом,
А на сердце у ней курабье.

А какое курабье было на сердце самого певца, у которого одним нагло-воровским выпадом отняли успех, деньги, надежду на спокойную жизнь и работу?..

И вот еще на тему Сашиного мужества. Он очень часто бывал в нашем доме, порой с ночевкой, и, верно, ему захотелось отплатить за гостеприимство. Он решил отпраздновать свой день рождения и пригласил всю честную компанию, состоявшую сплошь из его почитателей. Так, во всяком случае, считалось. Через много, много лет, вернувшись из Парижа, я сказал одному из тогдашнего дружеского

круга, что ходил на Сашину могилу. Этот человек был едва ли не самым горячим поклонником Саши, он пел под него и не без успеха подражал его устным рассказам, одевался «под Сашу», коверкал язык под Сашу: «Ах, ребята вы, ребята!» А сейчас: «Да?..» — бросил он рассеянно. «Тебя это не волнует?» — «Нет. Ты же знаешь, я никогда не разделял ваших восторгов». — «Я помню прямо противоположное». — «У тебя плохая память», — сказал он, спокойно и прямо глядя мне в глаза. Его недавно избрали секретарем партийной организации института, где он заведовал кафедрой. Все, я в том числе, считали его отличным малым. Он не стучал, не предавал, не делал гадостей, просто умел, когда надо, наступить на свое вчерашнее сердце.

Но в описываемую пору Галич, которого надо бояться, Галич, от которого надо открещиваться, еще не существовал, и все охотно приняли его приглашение. Саша была на редкость мил и любезен в качестве хозяина. Мы познакомились с его матерью — величественной дамой с прекрасно уложенной бронзово-рыжеватой головой (так мне, во всяком случае, запомнилось) и низким, глубоким голосом. Она работала концертным администратором в филармонии и, похоже, очень ценила свой пост. Отца дома не оказалось. Он вообще был фигурой несколько эфемерной. Когда о нем заговаривали, Саша уплывал в таинственные горные выси и возвращался назад не раньше, чем тема давшего ему жизнь затухала. С появлением Ани невидимка чуть обрисовался. Оказывается, он был маленький, лысый, ушастый и чем-то заведовал. «Трудно поверить, — говорила Аня, — что это Сашин отец. Уж больно простоват. Он вообще не монтируется с остальной семьей». В какой-то момент он и сам понял это и ушел. Попытка зажить другой, более простой жизнью не удалась. Он уже был отравлен сладким ядом культуры. Он вернулся.

День рождения Саши проходил томительно. И не сказать было, откуда взялась эта томительность, все вроде разворачивалось по обычному сценарию, только Саша обо-

шелся без положенного выпадения в освежающий сон, что можно было только приветствовать. И Сашина мать была гостеприимна, и брат Валерий симпатичен, как всегда.

Если бы Саша не пел так много и охотно, мы долго бы не выдержали. По дороге к дому — нам всем было по пути — мы тщетно пытались понять, что нам мешало. Квартира мрачная, говорил один, тяжелая мебель, тусклый свет. А мне кажется, возражал другой, Сашина мать была не в восторге от нашего визита. Она, как все матери, считает, что Сашу спаивают друзья. Валерий был какой-то напряженный, высказывал свои соображения третий. И ушел рано, почти демонстративно. Мы сами виноваты, самокритично прикидывал четвертый, не нашли правильного тона. Как-то уж очень по-свойски стали себя вести...

Через некоторое время мы узнали, что в канун Сашиного дня рождения арестовали его отца. Саше не хотелось ни говорить нам об этом, ни придумывать фальшивую причину для отмены праздника. Он выбрал путь самый трудный для любого человека, кроме него: делать вид, будто ничего не случилось. Это ему вполне удалось, но ни мать, ни брат не обладали его выдержкой. И, как ни старались, от них веяло неблагополучием...

Сашин отец не был «политическим», то есть не обвинялся ложно по 58-й статье. Он шел по какой-то хозяйственной статье, тоже ложной, судя по тому, что вскоре его выпустили.

И последнее — на тему Сашиного мужества. Не помню, в каком году Саша начал колотиться. Знаю, что это случилось после тяжелейшего инфаркта, когда не было уверенности, что он выкарабкается. Или же после второго инфаркта, последовавшего вскоре за первым. И тогда Саша подсчитал, что ему осталось жить самое большее семь лет. А потом инфаркты зачастили воистину с пулеметной быстротой. Будь это действительно инфаркты, Саша получил бы почетное место в книге Гиннеса как мировой рекордсмен. На моей памяти их было не меньше двух десятков.

Но близкий Саше человек сказал (я уже понял это без него), что жестокие сердечные инциденты, кидавшие Сашу в постель и щедро выдаваемые за инфаркты, случались от резкого повышения дозы морфия. А он делал это всякий раз, когда привычная доза переставала действовать. К морфию же он пристрастился во время своих настоящих инфарктов, сопровождавшихся ужасными болями, которые иначе невозможно было снять.

Однажды в Ленинграде он сделал себе укол и занес инфекцию. Страшнейшее заражение крови. В больнице врачи настаивали на ампутации руки, иначе не ручались за его жизнь. Он наотрез отказался. Уже звучала на всю страну его гитара и лилась главная песнь. Из Москвы вызвали Аню. Она на коленях умоляла согласиться на операцию. В больницу пришли Сашины друзья, они плакали и просили Сашу остаться жить. Саша — черное лицо, выпадающие из орбит глаза — выборматывал с ужасной улыбкой:

— Вы видели безрукого гитариста?

Аня кричала, что покончит с собой, если он умрет.

Саша уверял, что вовсе не ставит себе целью умереть, но жить согласен лишь в полном комплекте. «И он все улыбался, сволочь такая!» — рассказывала после Аня с яростью и восторгом. Случилось непонятное врачам и противное природе — человеческое упрямство победило.

Я предчувствую взрыв читательского ханжества. Какой же он сильный человек, если не мог побороть пристрастия к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колотиться. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всемогущая власть. У власти была одна цель: заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Им перекрыли все каналы: не давали площадок, не пускали ни на радио, ни на телевидение, ни в печать, ни пластинок их не было, ни кассет, а они умудрялись быть услышанными по всей стране, да что там — по всему миру. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью своему избранничеству надо

обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения! Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устает, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться — уколом в вену, чтобы затем снова в бой. Гитара и губы против железного хряка бездушия. И казалось, хряк победил: сжевал Высоцкого, а Галича отпрыгнул в изгнанничество и гибель. Ан нет, песни остались, победа за певцами.

Пусть их судит лишь тот, кто сам способен поставить жизнь на кон ради правды и чести, а не добродетельные и законопослушные холоуи власти.

И вдруг мне вспомнился совсем иной пример Сашино-го самообладания. Эту историю я слышал от трех ее участников: Саши, Ани и Дамы, их версии совпадали. Дело было в Дубултах, в доме отдыха, в каком году — не помню, но знаю, что уже минуло много нелегкой и разной жизни. Можно сказать так: на заре туманной старости, когда люди, знающие, что им до конца оставаться в одной упряжке, начинают многое прощать друг другу. Саша сообщил Ане, что хочет совершить большую прогулку по берегу, в сторону заката солнца, в компании с одной из отдыхающих. «Я давно не обращаю внимания на Сашины шашни, — рассказывала мне Аня, — но тут я обозлилась. Девка была как-то противно похожа на меня. Будь она совсем другой: 'незнакомка', или рубенсовское тесто, или ренуаровский рыжик, или 'куда ни тронь, везде огонь', я бы слова не сказал, он, правда, застоялся, но тут — какого черта? Доска два соска. Зачем тебе навывнос, когда можно распивочно. Я могла бы увязаться за ними, но болят ноги и собралась компания для 'разбойничка'». Аня придумала другой хитроумный план. Едва романтическая пара двинулась вдоль белой нитки прибой, как с балкона послышался отчаянный крик:

— Саша!

— Что, Нюшка?

— Ты взял валидол?

Он похлопал себя по нагрудному карману.

— Взял!

— А нитроглицерин взял?

— Хватит валидола.

— Нет, нет! Без «нитры» я тебя не пушу.

Аня сбежала вниз и протянула Даме стеклянную капсулу с нитроглицерином.

— Если ему будет плохо, дайте две крупинки.

— Хорошо, — сказала Дама и положила лекарство в сумочку.

— Гемитон у тебя есть?

— Зачем еще?

— А если подскочит давление?

— Что за чепуха!

— Ничего не чепуха. Ждите!

Аня сбежала в номер и принесла набор лекарств: от давления, от аритмии, от желудочных колик, бруфен (если схватит поясницу), спазмалгин и пантокрин. Все это она передала Даме с подробными наставлениями, при каких обстоятельствах и как эти лекарства давать.

«Мой расчет был не на Сашу, ты же знаешь его хладнокровие, — говорила Аня, — хотя тут дрогнул бы и каменный Голем, а на Даму. Кому захочется идти с таким ненадежным кавалером. Я недооценила ее. Она выслушала все спокойнс, кое-что уточнила, а потом сказала:

— Ньюша, дайте еще клистир и ночной горшок, и поскорей, не то мы пропустим закат.

Перед такой выдержкой я спасовала.

— Ладно, идите на... закат. Если у него будет эпилептический припадок, смотрите, чтобы не проглотил язык.

— У меня не проглотит, — сказала Дама.

«И они ушли на закат, а я утешилась 'разбойничком'. Мне здорово везло в тот вечер.»

Не стоит только думать, что в семейной жизни все шишки валялись на одну Аню, что она была стратотерпицей, а Саша — беспечный гуляка. Каждому выпала своя ноша, и трудно сказать, чья оказалась тяжелее. Анина нервность, поч-

ти неосязаемая в юности и лишь изредка смещавшая ее легкие черты в зрелости, в ходе лет обострилась. А ступавшиеся над Сашинной головой тучи усиливали ее беспокойство, которое надо было скрывать. Она жила в постоянной тревоге и страхе. Никакие успокоительные не действовали, и Аня стала искать забвения там, где его от века ищут и находят русские люди. Аня, которая без содрогания не могла смотреть на пьящего человека. Это бестелесное существо выбрало самый неподходящий к его эльфической структуре напиток пиво — и загружалось им, как бравый солдат Швейк «У чаши». Опыянение от пива медленное и тяжелое, все клетки тела налиты жидкостью. Все же разрушение психики опережало телесную деформацию, и только к моменту вынужденного отъезда изысканная Аня воплотилась в цельный, законченный образ грузной, неуклюжей скандальной бабы с кирпичной грубой кожей.

Саша воистину «ни единой долькой не отдалялся от лица», всегда был на высоте и дрогнул лишь в день своего вынужденного отъезда, когда Аня во дворе нашего общего дома устроила истерику, не хотела садиться в машину, кричала, плакала. Он не сдержал себя и впервые, с мучительно перекошенным лицом, наорал на нее. Но я не уверен, был ли то настоящий срыв или необходимая лечебная мера, чтобы привести ее в сознание, пробиться сквозь защитную корку полубезумия-полувздора сорвавшейся с петель души. В «Цитадели» Кронина молодой врач в сходной ситуации отхлестывает по щекам зашедшуюся в приступе истерику, чем и приводит ее в чувство. Саша обошелся без силового метода. Аня позволила усадить себя в машину и даже улыбнулась провожавшим. Много народа, презрев пугливую осмотрительность, высыпало во двор. С нашего унылого, никогда не озаряемого солнцем двора и начался страдальческий путь этих людей, приведший их довольно скоро к «полной гибели всерьез».

Оставить родину никому нелегко, но никто, наверное, не уезжал так тяжело и надрывно, как Галич. На это были

особые причины. Создавая свои горькие русские песни, Саша сросся с русским народом, с его бедой, смирением, непротивленчеством, всепрощением и естественно пришел к православию. Он ни от чего не отрекался, ибо ничего не имел, будучи чужд иудаизма, но ему необходим был этот смешной и несовременный в глазах дураков акт, исполненный глубокого душевного и символического смысла. Он не думал, да и не мог ничего выгадать этим у русского народа (известно: жид крещеный что вор прощенный), за беззаветную службу которому поплатился потерей своей русской родины.

Саша стал тепло верующим человеком. И я не понимаю, почему хорошие переделкинские люди смеялись над ним. Когда на светлый Христов праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и пасху. Свою искренность он подтвердил Голгофой исхода.

Анино отчаяние было проще. Она боялась за себя. Она оставляла мать, дочь, не захотевшую ехать с ними, друзей, квартиру и налаженный быт, дающих некоторую гарантию прочности, и, больная, запойная, отправлялась в никуда с человеком хотя и любимым и преданным, но ненадежным ни в смысле здоровья, ни в смысле страстей.

Может, стоит досказать здесь историю изгнанников. Аня не обманулась в своих худших опасениях. После тихой (весьма относительно тихой, поскольку Аня уже познакомилась с клиникой) жизни в Норвегии они подались в Париж. Туда же последовала новая мюнхенская влюбленность Саши — мужняя жена, о которой я слышал два взаимоисключающих мнения: одно трогательно-рождественское, в духе байки о замерзающем у озаренных праздником барских окон маленьком нищем, другое — уничтожающее, Аня же застарожилилась в психиатрической больнице. Очень дорогой и комфортной — Саше пришлось подналечь на работу, чтобы содержать там Аню, — но все же и в минуты просветления не дающей радости существования. Ужасная и горестная жизнь, что там говорить. Саша разрывался меж-

ду работой, концертами, бедной возлюбленной — мюнхенский муж громогласно объявил, что едет в Париж испустить хорошо наточенный резак: он был мясником по роду занятий и уголовником по той тьме, что заменяла ему душу. И на все это путаное, тягостное существование накладывалась гнетущая тоска по России, неотвязная, как зубная боль.

Он свободно пел свои песни, печатал стихи, был признан, уважаем, любим, знал, что и дома его помнят, но ни один человек из тех, кого я расспрашивал о Саше, не сказал мне, что он был счастлив, весел, хотя бы покоен. Конечно, его угнетали Анина болезнь и вся нелепость обстоятельств, но главное было в том, что Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. А это единственный способ смириться с жизнью в изгнании. Я не видел таких, кто бы вовсе не скучал по России, но видел многих, кто склонен был преувеличивать свои изгнаннические муки, это тоже входит в эмигрантский комплекс. Саша ничего не преувеличивал, не угнетал окружающих подавленностью, не жаловался, молчал и улыбался, но в стихах звучала лютая тоска.

Зигмунд Фрейд отвергал случайность в человеческом поведении: оговорки, обмолвки, неловкие жесты, спотыкания, он считал, что все детерминировано, и перечисленное выше — проговоры подсознания. «Ты зачем ушиб локоть?» — спрашивал он ревущего от боли малыша, и выяснялось, что тот в чем-то проштрафился и сам себя наказал, ничуть, разумеется, об этом не догадываясь. «Зачем ты поскользнулась?» — допытывался он у дочери, и выяснялось, что девочка тайком полакомилась вишневым вареньем. Если б можно было спросить Сашу: «Зачем ты коснулся обнаженного проводка проигрывателя?» — ответ был бы один: так легко развязывались все узлы. Сознание человека — островершек айсберга, который скрыт в темной глубине. О подводную массу айсберга разбился «Титаник». Все главное и роковое в нас творится в подсознании. Я уверен, оттуда последовал неслышимый приказ красивой длиннопа-

лой Сашиной руке: схватись за смерть. И никто не убедит меня в противном.

Когда я был в Париже в 1978 году, вскоре после Сашиной гибели, то поехал в Сен-Женевьев-де-Буа проведать его могилу. Я долго мыкался по этому не слишком большому, но какому-то путаному кладбищу, где среди скромных крестов неизвестных русских людей, умерших на чужбине, высятся пышные надгробья героев белого движения, неизменно выходя к странному, вроде бы мальтийскому кресту на могиле Бунина, к бедным плитам Мережковского и Гиппиус. Никто не мог показать мне еще свежего Сашиного захоронения. Наконец какой-то дед, подновлявший дерн на запущенной могиле, согласился проводить меня за небольшую мзду. Он привел меня, взял деньги и повернул назад. Старое, облупившееся, оштукатуренное по камню надгробье сохранило полустершиеся буквы незнакомого женского имени. Я долго его помнил, а сейчас забыл.

— Дедушка! — окликнул я старика, он был русский. — Это не та могила. Здесь какая-то женщина лежит.

— Недолго ей тут лежать, — отозвался старик. — Скоро ее выселят, и Галич ваш один останется.

Оказывается, в связи с перенаселением кладбища покойников из забытых могил стали вывозить в другие места упокоения. Место на кладбище не покупается раз и навсегда, за могилу надо постоянно платить. Аня хотела похоронить Сашу только на Сен-Женевьев-де-Буа, она подкупила сторожа, и тот подселил Сашу в чужую смертную квартиру. Я отыскал маленькую дощечку: «Александр Аркадьевич Галич». Вот ирония судьбы: и посмертно Аня вынуждена оставлять Сашу с другой дамой.

Вся дорожка возле могилы была закидана лепестками анютиных глазок, они лежали словно мертвые бабочки, бархатистые фиолетовые, желтые, синие, коричневые. На могиле цвели свежие розы и торчали обезглавленные короткие стебельки анютиных глазок. Я догадался, что тут

произошло: Аня пришла на могилу, обнаружила бедные цветы, посаженные соперницей, и все их пообрывала.

Остается сказать о судьбе Ани. Конец ее был нелеп и ужасен. После смерти Саши она бросила пить, очень подтянулась, стала заниматься общественной деятельностью, литературным наследством мужа. Затем пришла весть о скоропостижной смерти ее дочери Гали. Известие ее потрясло. Аня «развязала». А тут, как на грех, приехала старая приятельница и бывшая собутыльница. Аня высоко зажгла свой костер. Однажды она заснула с непогашенной сигаретой в руке. Затлело ватное одеяло. Аня почти не обгорела, она задохнулась во сне.

Так бездарно кончилось то, что началось молодо и счастливо на гладильных досках в доме по улице Горького. А Саша вернулся в свою страну, в свою Москву, как и предсказывал, вернулся песнями, стихами, пьесами, фильмами, вернулся легендой, восторгом одних и кислой злобой других, вернулся громко, открыто, уверенно, как победитель.

Но все это потом, а тогда, в те неправдоподобно далекие годы, была своя жизнь, какая-никакая, а была. И порой она казалась нам прекрасной. Саша обладал удивительным даром создавать из всего праздник. Качество, на чисто отсутствующее у меня и потому особенно мною ценное. Я умел или запойно работать, или вусмерть гулять. Я говорю о той поре, когда изживалась сильно затянувшаяся юность. До войны для меня главным был спорт, к исходу пятидесятых появилось два мощных увлечения: охота и рыбалка. А вот после войны до мартовской встряски пятьдесят третьего я умел лишь менять рабочий стол на пиршественный. В свободное время запойно читал и порой вовсе забывал, что происходит за окнами. И тогда возникал Саша с каким-нибудь простым, но ошарашивающим меня предложением.

Звонок.

— Юрушка, ты когда последний раз был в бане?

— В поезде-бане с вошебойкой я был в октябре сорок второго, в Малой Вишере.

— Нет, в настоящей бане. В Сандунах или Централь-ных.

— В Сандунах я сроду не был, а в Центральных — когда мне было шесть лет. В женском отделении, с мамой и Вероней.

— Я приглашаю тебя в мужское отделение. Пойдем в Центральные, там хороший бассейн. Ты паришься?

— Нет.

— Ладно. Обойдемся без парилки. С нами будет мой старый друг. Смешной и милый парень. Не возражаешь?

Мы встретились у главного входа в бани. Саша разговаривал с грузноватым и рыхловатым человеком, приметно старше нас, с шапкой курчавых волос, большим лицом и редкими, неровными зубами. Последнее сразу бросилось в глаза, потому что человек этот все время смеялся, картинно смеялся, на публику, что мне резко не понравилось. Мог ли я думать, что Саша делает мне свой лучший подарок: этот заливающийся показным хохотом человек станет одним из самых дорогих моих друзей и неизбывной болью, когда уйдет до срока.

— Драгунский! — гаркнул курчавый озорник, объявив свое имя не только мне, но и всему Театральному проезду.

— Как, неужели вы обо мне не слышали? — удивился он моей слишком спокойной реакции на столь шумное имя. — Я самый знаменитый московский бродяга.

— Ладно тебе, — улыбнулся Саша, — есть и познаменитей.

— Это кто же? — вскинулся тот. — Скажи в любой компании: Виктор, и сразу добавят: Драгунский.

— А правда, что каждый Виктор мнит себя Гюго? — спросил я.

— Не больше, чем каждый Вальтер — Скоттом, — немедленно отпарировал он. — Не поймаете. Это старая шутка Хлебникова.

— Но дней минувших анекдоты!.. — с пафосом продекламировал Саша.

— От Ромула до наших дней хранил он в памяти своей, — подхватил Драгунский.

— Чем он занимается? — спросил я Сашу, когда Драгунский отошел купить билеты.

— Актер. Работал в «Сатире». Сейчас в цирке. Коверным. И вроде бы снимается у Ромма.

Потом я высчитал, что как раз в эту пору Драгунский задумал свою «Синюю птичку», неожиданную и необыкновенно талантливую поначалу, когда она была капустником, и неуклонно тускнеющую с получением официального статуса театра. Пока Драгунский просто резвился, реализуя свои многочисленные таланты: драматурга, режиссера и актера, его спектакли напоминали, по выражению Олеси, кипящий суп. А потом к нему протянулись щупальца главреперткома, всевозможных инстанций, управлений, а против этого бессилен любой талант. Теперь требовалось тупое и однообразное разоблачение маршала Тито, бенилюксов и плана Маршалла — очарование ушло. Но довольно долго «Синяя птичка» была единственным ярким пятном на серости будней.

Драгунский без умолку говорил. Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили, какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.

Мы еще не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли — до взлета — его лучшие сценарии и, наконец, дружным залпом прикончили человека с гитарой.

В бане мне был преподан урок, как надо наслаждаться жизнью. В первый и в последний раз воспользовался я услугами банщика: костлявого могучего старика в набедрен-

ной повязке, с белотрупами руками, железной хваткой и разбойной серьгой в ухе. Он сломал мне все суставы, растоптал мою плоть, потом взбил. Как сливки. Отдышавшись, я узнал благо нагретой простынки и ледяного пива с красными от стыда за человека, бросающего живое в кипяток, хрусткими раками.

Завернувшись в простыню, я выстоял маленькую очередь в парикмахерскую, находившуюся тут же при раздевалке. Я все время боялся, что простыня соскользнет, а бывалые Драгунский и Саша держались со свободным достоинством римских патрициев на форуме, их простыни казались тогами. Помню, бегавшая то и дело к телефону хорошенькая парикмахерша вдруг круто осадилась и принялась разглядывать Драгунского и Сашу, морща узкий лобик трудной, ускользающей мыслью.

— Братья? — спросила она радостно.

— Ага! — столь же радостно подтвердил Драгунский.

— Как не похожи! — сказала она с недовольной гримасой.

«Люблю маленькие загадки жизни, — говорил позже Саша. — Ее вопрос мог возникнуть только из ощущения сходства, хотя между нами ничего общего. Что происходило в ее маленьком мозгу, упрятанном под перманент? Мы никогда этого не узнаем. А ведь там творилась сложнейшая работа наблюдения, умозаключений, открытия и внезапного разрушающего прозрения».

— Рассуждения в духе Панурга, — заметил Драгунский. — Такое же велеречие и пустота. Давайте лучше выпьем. Пошли в «Арагви».

— Если хочешь получить хороший карский, — назидательно сказал Саша, — надо идти не в «Арагви», а в шашлычную рядом с бывшим «Великим немым».

Это было характерно для Саши: он всегда знал, куда надо идти, если хочешь, чтоб было хорошо.

За корейкой — нам порекомендовал ее официант — мы вспоминали баню, и тут я с грустью обнаружил, что мы

побывали словно бы в разных местах. У них было куда интереснее. Они вспоминали множество подробностей, начисто от меня ускользнувших. Оказывается, там все время происходило что-то занятное, смешное или глупое. В этот цирк вносили свою лепту посетители, баншики, буфетчик, хранитель бассейна, парикмахерши, сантехники. Подобный тип наблюдательности — со стороны — мне начисто чужд. Я бессознательно отбираю из окружающего то, что меня близко касается. А все нейтральное или чуждое моей сути я просто не вижу. Это большой недостаток для пишущего. Угадав мою слабину, оба начали с серьезным видом «вспоминать» все новые невероятные подробности. Оказывается, рядом с нами мылась бородатая женщина, баншик с серьгой был сыном знаменитого налетчика эпохи «военного коммунизма» Ленки Пантелеева — одно лицо! — жулик буфетчик у каждого второго рака оторвал клешню, у парикмахерши, бегавшей к телефону, халат был надет на голое тело, в бассейне ходила полутора-метровая щука...

Тот блаженный день, начавшийся омовением, пивом и парикмахерской, продолжившийся корейкой, лавашем и «Саперави», имел продолжение. Нам не хотелось разлучаться. И когда официант предложил кофе, Саша решительно сказал:

— Спасибо, дайте счет. Поедем пить чай из самовара с горячими калачами.

— У тебя есть машина времени с задним ходом? — спросил Драгунский.

— Бродяга должен знать свой город. В Парке культуры, на границе с Нескучным садом, в ложбинке схоронилась чайная. Там самовар, горячие калачи с маслом и зернистая икра.

— Схоронилась, говоришь? — ядовитым голосом сказал Драгунский. — Небось на курьих ножках? В кассе — Баба Яга, официантом — Кащей Бессмертный?

— Может, поспорим?..

— Идет! На калач с икрой.

Конечно, он prospорил. Все было, как говорил Саша: самовар, калачи, горячие, сдобные, желтое масло, зернистая икра. Бабы Яги и Кощей Бессмертного не было, но их Саша и не обещал. И вот что странно: не было посетителей. Саша объяснил это тем, что никто не верит в существование такой чайной, и мы завтра перестанем верить, отнесем к похмельным видениям.

Вечер мы завершили в коктейль-холле на улице Горького, «котельной», как прозвала это заведение Галина Шергова. В компании оказался один начинающий писатель, который почему-то требовал, чтобы его называли Никита, хотя у него было другое, тоже красивое имя. Он и ныне здравствует, так и оставшись по прошествии жизни начинающим писателем. Он помнится мне человеком одаренным, умным, острым, внешне привлекательным. У его колыбели присутствовали все наличные феи, одарившие его своим богатством, кроме какой-то одной, довольно заурядной, но, видать, необходимой. У нее самой ничего нет, как у бедной родственницы, но она запускает в ход дары своих старших товарок, иначе они бездейственны, как двигатель без горючего. Все дарования Никиты остались вещью в себе, никак не оплодотворив человечество.

Никита придумал игру в неузнавание знакомых. Игра примитивная, но очень смешная. Подходит старый знакомец, дружески вас приветствует, а вы — ноль внимания. Он кланяется снова, делает приветственный жест рукой, вы сидите с каменным лицом, словно поклон относится к кому-то за вашей спиной. Человек сбит с толка, он пытается что-то вам растолковать, волнуется, горячится, вы — сама вежливость и внимание — не понимаете, чего он от вас хочет. Озадаченный, расстроенный и обиженный, человек неловко отходит. Игра занята реакцией неузнанных. Почти никому не удастся выйти с честью из положения; все тратят массу ненужных слов. Сердятся, бывает — ругаются, чуть не плюются, хоть бы один рассмеялся и махнул на

шутников рукой. Впрочем, один нашелся — Смирнов-Сокольский. Он внимательно посмотрел на Сашино отчужденное лицо.

— Простите, — сказал он, — я принял вас за своего протезиста.

Саша расхохотался, вскочил, они поцеловались.

Эта игра надолго увела от меня Сашу. В тот вечер он поддался змеиному очарованию Никиты, которого знал давно, но как-то не сумел оценить. Никита принадлежал к большой и замечательной семье, обладавшей, кроме достоинств доброты, гостеприимства, расположения к людям, неизъяснимым семейным очарованием, которое каждый из членов семьи сохранял, хотя в разной степени, отрываясь от клана. Я никогда не видел таких умельцев обольщать людей, как эти обитатели дома с мезонином на Сивцевом Вражке. Стоило попасть к ним однажды, окунуться в атмосферу тепла, искренней заинтересованности в твоих заботах и бедах, глубочайшей порядочности, лишенной даже и намека на педантизм и ханжество, услышать легкий, музыкальный смех, как ты навсегда становился их пленником. Саша там не бывал, возможно, поэтому проглядел Никиту, который один из всей семьи был с некоторой червоточиной, видимо, отвращавшей Сашу, хотя он едва ли отдавал себе в этом отчет.

У Никиты были все семейные достоинства — и легкий смех, и море обаяния, но иногда его привлекательное лицо корежила гримаса завистливой злобы. Бесплодность несомненного литературного таланта — вот уж: «дар напрасный, дар случайный!» — корежила ему душу, из-под шапки пепельных волос вдруг выстреливал взгляд хорька. Он знал это за собой и, чтобы компенсировать проговоры теневой стороны души, эксплуатировал всю родовое очарование. Если хотел, он становился неотразимым. Это было самоутверждением, какого он не мог найти в бегущей его рук литературе. Его главной и злой радостью было разрушать чужие дружбы и любви. Так, он надолго испортил

жизнь одному нашему общему другу, отбив у него невесту, когда тот уехал в долгую командировку. Едва разбитое сердце склеилось, Никита равнодушно оставил девушку. Лишь случайно не преуспел он в другой подобной же попытке, но крови людям попортил немало.

Он давно уже открыл нашу общую влюбленность в Сашу и решил обездолжить нас скопом. Довольно долго его чары не действовали, что лишь придавало ему охотничьего азарта, и вдруг в «котельной» Саша взял наживку. Ему чего-то недоставало в нашем кружке. Мы были слишком серьезны, не только в том, что заслуживало серьезности, но и в загуле, по-русски безудержном, с утарцем и тьмою. Саше хотелось расслабляться более весело и легко, хотелось игры, бездельничанья с милой или дерзкой выдумкой. «Пленительная лень» была не из нашего обихода. А у Саши порой возникала настоящая потребность в таком вот безмятежном, солнечном ничегонеделанье. Лентяй, выдумщик, острый собеседник, Никита как-то вдруг «пришелся» ему. В эту пору Саша вышел из безвестности, из подполья домашней признанности, узнал вкус денег, да и надоело однообразие чуть надрывных аполлоногригорьевских застолий со слезой и битьем себя в грудь. Саша ушел в легкий и разнообразный мир, предложенный ему Никитой. Начав путь вдвоем, они вскоре обросли компанией звонких, прозрачных, легко воспаряющих над землей людей, не таящих под тонким слоем песенного забвения неизбывной русской маеты.

Мне кажется, что в глубине души я так и не простил Сашиного отступничества.

В последующие годы мы встречались куда реже. Ко всему еще обстоятельства моей жизни изменились: мы с женой разошлись, и не стало объединяющего наш круг дома по улице Горького. Дом, разумеется, остался, но соединял он теперь совсем других людей. Наша компания разбрелась.

Порой мы встречались с Сашей за преферансом. Меня втягивала в это дело Аня, не хотевшая окончательного утаса-

ния отношений. Я чужд картежного азарта, но тут вдруг почувствовал вкус к «пульке», неожиданно явив качества довольно крепкого игрока. За картами открылась еще одна черта Саша, которую он сам называл фатальным невезением. Играя сильнее всех нас, он неизменно проигрывал. Нечто похожее было на билиарде. У Саша был отлично поставленный удар, меткий глаз, он тончайше знал игру, но брал верх куда реже, чем следовало. Что-то ему мешало. Он совсем не умел ненавидеть противника, а без этого выиграть трудно.

В преферанс Саше действительно не везло. Если он объявлял мизер на своем ходе, имея одну восьмерку, то остальная масть оказывалась на одной руке, и приходилось сразу брать неизбежную взятку. Если же Саша играл мизер на чужом ходе, то непременно оставался с «коллективом». Он постоянно налетал на четвертого валета и на те парадоксальные расклады, что потом являются в кошмарных снах. Играл Саша всегда с улыбкой, но однажды не выдержал, ударил себя ладонью по лбу, и какая-то подозрительная звень прозвучала в его голосе:

— Чего стоит все умение, знание игры, партнерство с лучшими игроками, бесчисленные ночи над пулькой перед этим свинским, хамским невезением!.. И ведь во всем так... — добавил тихо.

Вот тогда я подумал, что невезение тут ни при чем. Мне тоже не шла карта, — похоже, я искупал невероятное, какое-то даже пугающее везение моей матери, ярой картежницы, и все же я чаще всего выигрывал. Саша был представителем почти выродившейся породы людей, которые придерживаются, сами того не желая, но это сильнее их, принципа *fair play*. Я знал лишь еще одного человека — художника Владимира Роскина, который мог бы поспорить с Сашей по обреченной преданности этому роду игрового поведения, да и не только игрового: *fair play* — это жизненная позиция.

В игре необходимы: ожесточение, беспощадность в использовании любого преимущества, умение подавлять по-

рывы благородства и жалости, выдержка и хоть толика жульничества, ну хотя бы не отводить глаза, если противник дает заглянуть в свои карты. Ничего этого не было у двух образцовых джентльменов: Роскина и Галича, и все их игровое мастерство не приводило к выигрышу. Это не значит, что Саша и Роскин вообще никогда не выигрывали, так не бывает, ибо чужое невезение, чужое неискусство оказывались порой сильнее их бессознательной боязни победить и причинить этим боль другому существу, но суть в том, что они обязаны были выигрывать, как правило, а они, как правило, проигрывали. Прикупая однажды на мизере туза и короля к валету, Саша сказал со вздохом, что надеется дожить до коммунизма.

— Зачем тебе это надо? — спросил я.

— При коммунизме будут играть с открытым прикупом, — сказал он фразу, ставшую потом крылатой.

Сейчас, когда мой рассказ, вдруг сильно рванувшийся в будущее, вновь вернулся в гиблые сталинские времена, уместно коснуться темы, которая не дает покоя нынешним хорошим молодым людям. Это гласно и безгласно обращенный к нам, старикам, вопрос: как можно было жить в кошмаре террора, зубодробительных проработок, садистских унижений, одуряющей демагогии, доноительства и предательства? Я могу ответить за своих сверстников, родившихся вскоре после революции. Мы жили молодостью, которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами, с готовностью начать новую человеческую жизнь. И мы ее начали. Впрочем, не надо думать, что предшествующую жизнь мы считали нечеловеческой, как бы ужасна она ни была. Есть такая штука — повседневность. Она заполняет время и дает ему течь незаметно, ибо лишь незаполненное время замирает, превращается в стоячую лужу. Мы, наш круг людей, решившихся верить друг другу и не обманувшихся в этом, находили в общении друг с другом много радости. А дурное, о чем говорилось выше, пришло куда

позже, но опять же обернулось лишь моральным, а не физическим предательством, служа делу самосохранения. Любопытно, что люди, выдержавшие испытание огнем, согнулись, потянувшись к жирному куску. В ту пору жирного куска не было, а если и был, то требовал не просто нравственной сделки, а подлости всерьез, до конца, на что далеко не все способны.

В принципе, каждый из нас мог уничтожить другого да и всех сразу одним росчерком пера. Каждый был для другого инженером Гариным, вооруженным лучом смерти. Не важно, что такое же оружие было у стоящего рядом, это не тормоз, а скорее побудитель к опережающему действию, но мы все уцелели, а ведь круг наш был очень широк. Наверное, это придавало тогдашнему общению особую значительность и ценность, что-то почти ритуальное было в наших частых сборищах, которые мы все же не подвергали опасности политических разговоров. Да и о чем было говорить? Война и первые послевоенные годы были залиты алым светом патриотизма. О политике заговаривали лишь провокаторы и стукачи. Нас это не интересовало. Перед нами разворачивалось огромное поле полулегальной свободы, охватывающей и неположенную литературу, вроде Мандельштама или Павла Васильева, Селина, Джойса или Алданова, не запрещенную, но и не разрешенную живопись импрессионистов, «Мира искусства», русского футуризма, мы вспоминали театр Мейерхольда, Камерный поры расцвета, новации Каверина, Охлопкова, быковские «Гримасы», Вертинского пели до его возвращения, слушали Лещенко, поклонялись Шостаковичу и Прокофьеву независимо от их официальной котировки, обожали «цыганщину», пили широко и шумно, но к этому тогда относились снисходительно, рукою Саши писали «Матросскую Тишину», рукою Корсаковой рисовали жестко формалистические рисунки, талантом Рихтера ставили костюмированное представление «Марсельский кабачок», воодушевлением Драгунского создавали «Синюю птичку», гортанью Кочеткова выплакивали «Балладу о прокуренном вагоне», скажу

и о себе, чтобы не выглядеть паразитом: повесть «Встань и иди», рассказы «Над пропастью во лжи», «Спринтер или стайер» в первом варианте были написаны нами тогда. И были романы, было много загульной гитары, и драки были, и бильярд до одурения, и шатание по улицам до рассвета, когда отменили комендантский час, а у многих к этому добавлялась помощь своим узникам. Словом, было чем жить, даже до появления замечательных трофейных фильмов вроде «Моста Ватерлоо», «Касабланки» и «В старом Чикаго». Это была наша сладкая жизнь, но вам я не желаю такой.

И это была жизнь, которая формировала Сашу. Ведь песни, которые из него хлынули, как вода из раскрученного крана, где-то в шестидесятые, возникли не враз, а вызревали постепенно, еще в молчании-мычании сороковых и пятидесятых, когда шла работа наблюдения, работа страдания и сострадания, крутеж среди людей и внезапное затворничество. Мы думали, что Саша погружается в свою сокровенную драматургию, летучие пьесы не требовали самоизоляции, но, возможно, тогда уже творилась в горле певца его главная песнь, что в должный час разольется по всей стране без помощи радио, телевидения, пластинок и профессиональной эстрады.

В мертвые годы, в халтуре, в домашнем гениальничанье, в шумном бражничанье, в глухой тишине, глубокой любви и легких романах, набирая в глазах все больше печали, но на людях всегда держа фасон, вызревал великий менестрель Галич. В той же дряни, веселье и боли, в тех же компромиссах и верности своему стержню, не бунтуя, но и не принимая причастия дьявола, обретали себя те его друзья, которым в меру отпущенных сил удалось что-то сделать в жизни.

Весна 1953 года была весной вдвойне. Прежде всего это была полагающаяся по законам природы тревожная, слякотная, пасмурная, с редкими промывами и все равно благословенная русская весна, а черный март подарил вторую весну: отвалилась от сердца России душащая глыба — вождь народов, забрав с собой напоследок несколько тысяч

задушенных в похоронной давке граждан Москвы, убыл в преисподнюю.

Все порядочные люди испытывали подъем, хотелось много пить и мало работать. В один из ослепительных майских дней мне позвонил Саша, с которым я давно уже не виделся.

— Юрушка, ты чувствуешь, какой день? Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви.

— Есть кадры?

— Кадров нет, хотя они по-прежнему решают все. Кстати, ты задумывался над этой формулировкой? Не люди, не граждане, не делатели, а кадры. Вот дубина!

— Кого же мы будем любить?

— Город полон молодых цветущих женщин. Доверимся его весенней щедрости.

— Я не умею знакомиться на улице.

Короткая пауза, затем с уверенностью, в которую я не поверил:

— Зато я мастак.

Мы встретились на улице Горького Саша был в новом фланелевом костюме, сшитом на Марсе, мягких замшевых туфлях из другой галактики и вороновой шерстяной рубашке с кометы Галлея. Я подумал, что, если его опыт уличных знакомств и не так значителен, самый вид сработает безотказно.

Но юные существа, выстукивающие каблучками тротуары улицы Горького, были настроены на волну, далекую от нашей. Правда, они останавливались, терпеливо выслушивали Сашу, иные даже вступали в переговоры, что-то уточняли, но затем решительно, хотя порой не без легкого сожаления, продолжали свой путь. Не знаю, о чем у них шла речь, от стыда я всякий раз отскакивал к витрине, газировщице, киоску, делая вид, что не имею никакого отношения к этому приставале.

Но одно я понял: обращаться с диковатым предложением провести вместе вечер можно без риска каких-либо

осложнений к любой незнакомой женщине. Саша глядел лишь на возраст и внешность, ничуть не заботясь по поводу социального и нравственного статуса дамы. Странно, что солидные матроны вели себя точно так же, как вертлявые травестиюшки, сонные студентки, озабоченные служащие с портфелем, спешащие домой после утомительного трудового дня, и те неопределенного назначения смазливые существа, которые вошли в молодую литературу шестидесятых годов под кодовым названием «кадришки». Одна величественная особа даже записала Саше свой телефон — губной помадой на клочке бумаги, прежде чем сесть в поджидающий ее ЗИС с правительственными стыдливими занавесочками.

У меня мелькнула надежда, что мы завершим этот вечер вдвоем — по Вертинскому: «Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски». И вообще: «Как хорошо без женщин!»

Напрасная мечта — Саша зацепил каких-то мединеток.

— Юрушка! — прозвенел восторженный крик. — Иди сюда! С кем я тебя познакомлю!..

Я подошел и представился.

В ответ:

— Нина.

— Оля.

Здороваясь, они подавали вялую ладонь и чуть приседали, будто делали книксен. Откуда взялся такой политес? Может быть, темным наитием Сталина этот старинный светский присед ввели в женских школах?

— А теперь познакомь меня, — попросил Саша.

Я назвал его. Он счел необходимым добавить, что является автором пьесы «Вас вызывает Таймыр». Это произвело впечатление. Щедрый Саша решил поднять и мое реноме, на чем я вовсе не настаивал, но девушки — им было лет по двадцать — ни «Трубки», ни «Зимнего дуба» не читали.

— «Трубку» вы могли по радио слышать, — сказал Саша. — Ее все время передают.

— А мы в парикмахерской не работаем, — довольно находчиво сказала Нина, видимо ведущая в паре.

Естественно, это определило Сашин выбор, а мне досталась «вторенькая», к чему я был готов, исходя из правил подобных знакомств.

Большой разницы между девушками не было: обе невысокие, ладненькие, русоволосые, с круглыми личиками. И одеты сходно: шерстяная юбка, свитер, сумка через плечо. Они вместе работали, жили рядом, в Замоскворечье, а сейчас вышли прогуляться после работы, больно вечер хорош. Все эти мало что говорящие сведения сообщила Нина.

— Куда мы пойдем? — спросил Саша. — Самое время поужинать. Предлагаю четвертый этаж «Москвы». На террасе. В помещении душно. Мы будем сидеть под московским вечернеюющим небом и смотреть на закат.

Девушки чуть оробели от такого велеречия. Между ними произошел быстрый, суматошный обмен, похожий на вспышку воробьиного волнения над свежей навозной кучей: шорох, шелест, мельканье крыл, скачки, шебуршья. У них, конечно, это выглядело иначе: молчаливый и поразительно богатый содержанием разговор при крайней ограниченности средств выражения — взгляд, взмах ресниц, поджатие губ, передерг плеча, вскид головы, встрях волос, вытаращ глаз, кивок. Это читалось примерно так: «Он чокнутый?» — «Вроде нет, выпендривается». — «Может, пошлем их?» — «Чуваки вроде солидные». — «Не люблю, когда лапшу вешают». — «А намто что — скрутим динаму»...

— Мы не одеты, — сказала Нина.

— Для этого бар... бара? Вы прекрасно одеты.

— Небось мест нету.

— Для нас всегда найдутся.

Мы разбились на пары и похлопали к гостинице. Я мучительно придумывал, о чем бы заговорить. Страна на-

ходила на переломе, весь мир настороженно следил, куда мы пойдём; весна чудно преобразила город, женщины скинули зимнее барахло и в простой легкой одежде дивно похорошели; на улице ежеминутно что-то происходило: подростки, гоняясь друг за дружкой, сбили с ног лоточницу, продавец воздушных шаров упустил шарик и так расстроился, что чуть было не лишился всей связки, огромный негр купил брикет мороженого и неумело лизал его, капая на костюм, прошел Лемешев, стесняясь своей известности и красоты, пьяный мочился в урну, словом, материала для беседы было более чем достаточно, но я не знал, как им распорядиться. Я понимал, что говорить надо небрежно, беспечно, хотя и с тонким подтекстом, помогающим сближению, но какая-то тяжесть навалилась на плечи, словно Атлант дал поддержать свою ношу. Впереди Саша разливался соловьем, и Нина, более смекалистая из подруг, похоже, убрала колючки. Она смеялась, потом взяла Сашу под руку.

Я начал складывать в уме идиотскую фразу, что нашим друзьям хорошо друг с другом, но не мог найти интонацию. Ирония тут неуместна и вредна, одобрение глупо, простая констатация факта — бессмысленна. Фраза должна звучать как объективное наблюдение, но с игривым подтекстом: мол, и нам бы так! Но попробуй быть игривым, когда на плечах земной шар!

— Вы в отпуске еще не были? — спросил я, удивленный собственной тупостью.

— Нет, не была. — Через минуту-другую она спросила: — А вы?

Как сказать ей, что у писателей нет отпусков, мы сами выбираем время для отдыха? Она просто не поймет. Придется объяснять статус человека свободной профессии, члена творческого союза. Это далеко заведет. И я сказал с непонятным подъемом:

— Нет, еще не был!

По счастью, мы вышли на угол Охотного ряда, надо было обеспечить переход опасного перекрестка. Я бывало и ловко — так мне казалось — взял ее за острый локоток и быстро повел через улицу, уговаривая себя, что мы выглядим живо, юно и бесконечно привлекательно. А потом я подумал, что настанет день, когда все это окажется в далеком прошлом и я буду вспоминать о маленьком приключении не только спокойно, но, может, даже с улыбкой. Скорее бы это время настало.

Мы вошли в ресторан, и дамы, как принято у наших соотечественниц, немедленно скрылись в туалете. Отсутствовали они так долго, что в душе шевельнулась спасительная надежда на «динаму». Но они все-таки вышли оттуда, в том же самом виде, в каком ушли. Что они там делали столько времени? И почему у западных женщин нет такого обычая? Надо полагать, что физиологически они устроены так же, значит, причина не в этом. Наверное, у наших всегда что-то не в порядке с туалетом: какая-нибудь штрипка держится на честном слове, ослабла резинка на трусиках, пуговица на лифчике вот-вот оторвется, поехала петля на чулке и ее надо заклеить слюнями. Или они забыли вымыть утром шею, почистить зубы, проверить уши. Но отечественным дамам всегда нужна доводка, как «Жигулям», идущим на экспорт. Все это коренится в запущенности советского человека и убогости нашего быта. Чем, впрочем, не исключается и поわальный цистит.

Мест, конечно, не было, но Саша немедленно получил столик, к тому же у самой балюстрады, откуда во все концы распахивалось сиреневое вечернее городское пространство.

Когда-то Саша рассказывал мне, как он завтракал с Вертинским за одним столиком в «Европейской». Саша, желая не ударить лицом в грязь перед таким ценителем всех радостей жизни, каким справедливо считался Вертинский, заказал зернистую икру, поджаренный хлеб, миноги, омлет с ветчиной, марочный коньяк и кофе. Официант

равнодушно принял заказ и почтительно склонился к Вертинскому, который с безглавой миной вертел в руках меню.

— Чаю, — наконец гнусаво сказал тот.

— Прикажете с лимончиком, вареньем или сливочками?

— Просто чаю. Вы понимаете русский язык?

После этого он трижды возвращал стакан официанту: в первый раз было не крепко, в другой — чай отдавал мочалкой, в третий — подстаканник был не по руке. Но официант, крайне небрежно обслуживший Сашу, здесь не жалел ног. А когда Вертинский ушел, забрав сдачу, официант умильно посмотрел ему вслед и сказал мечтательно:

— Настоящий барин!..

Но здесь в качестве настоящего барина фигурировал Саша. Мои жалкие попытки вмешаться в происходящее обрывались суровым взглядом официанта, желавшим иметь дело только с Сашей. Правда, его барственность отдавала сейчас купеческим размахом. Он, видно, решил ошеломить наших подруг. Какие блюда он заказывал! Какие придумывал к ним соусы! Как сокрушался, что нету устриц и трюфелей!

Старый официант с трясущейся головой наслаждался этими барскими причудами, напоминавшими ему былые сладостные времена «Ново-Московской» и «Стрельны». И даже раз обмолвился странным обращением: «Господа купцы».

Перед первой рюмкой Саша сказал:

— Юрушка, какие мы с тобой счастливые. Лучшие девушки Москвы сидят за нашим столом, а вокруг такая весна! Давайте обойдемся без тостов. Пусть каждый выпьет за свое. И это окажется общим, ведь все мы выпьем за любовь!

Лучшие девушки Москвы как-то подозрительно отнеслись к этому витийству, они переглянулись и молча выпили.

Сашу не остановила их сдержанность, он продолжал в том же возвышенном стиле, словно утратив ориентировку в окружающем. Сыпал Мандельштамом и Пастернаком, рассказывал истории из жизни знаменитостей, о которых наши подруги сроду не слышали, замечательно рассуждал

о том, как по московской весне бродят тысячи одиноких и не догадываются, что самый нужный, единственно нужный человек только что прошел мимо, бросив беглый, неузнающий взгляд, опустил на ту же садовую скамейку, задел локтем в дверях магазина, счастье часто бывает рядом, только мы не знаем его в лицо. Естественно, все это требовалось для того, чтобы оттенить редкую удачливость Саша и Юрушки, ведь «лучшие девушки Москвы»...

Надо сказать, что наши приятельницы, несмотря на все Сашино красноречие, стихи, обильный стол и серьезные возлияния, оттаивали медленно. Даже Нина, встрепенувшаяся было на улице, опять подморозилась. В какой-то момент они дружно встали, извинились и отправились в туалет. Отсутствовали они так долго, что я вторично окрылился надеждой на освобождение. Правда, сейчас не без некоторой досады. О чем сказал Саше.

— Господь с тобой! Они вернутся. Неужели ты не видишь, что они очарованы? Просто стесняются. Девственные, не испорченные цивилизацией души.

Саша оказался прав. Беглянки вернулись оживленные, улыбающиеся, какие-то одомашненные, видимо, туалетные переговоры окончились в нашу пользу.

— Небось думали, что мы динаму скрутили? — кокетливо сказала Нина и ущипнула Сашу за ухо.

— Никогда! — пылко вскричал Саша. — Я знал, что вы придете, что ты придешь! Позволь говорить тебе «ты». «Вы» лишено сердца!

Ты придешь и на голос печали,
Потому что светла и нежна
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.

Выпьем, Юрушка, за наших прекрасных подруг! За нашу встречу!

— Бывают в жизни встречи, и то лишь иногда, — вдруг проговорила молчаливая Оля.

Саша был потрясен:

— Как вы хорошо сказали!

— У нас на Восьмое марта поэт выступал, — чуть ревниво вмешалась Нина. — Коноплев. Он в этом... Союзе писателей работает. Со сцены травил неинтересно, а на междусобойчике хорошие стихи читал.

— Ты знаешь поэта Коноплева? — спросил меня Саша.

— Вроде слышал.

— Он известный поэт. Я один стишок даже запомнила.

— Прочтите! — молитвенно сложил руки Саша.

Нина откашлялась, постучала себя ладонью по груди, изгоняя никотиново-водочную хрипотцу:

Чтоб не страдали наши киски
В Международный женский день,
Жуй мясо, шпик, шашлык, сосиски,
Залей глаза, и к черту лень!..

Саша улыбался напряженно, слегка бодаясь, что было у него признаком душевного дискомфорта. Но быстро справился с собой и шепнул:

— А все-таки мы их приручили.

После чего стал врачевать нас от виршей Коноплева прекрасной русской поэзией. Он растрачивал себя так щедро, будто от этого зависела судьба. Большой актер не думает, для кого играет, ибо играет прежде всего для самого себя. Насквозь артистичный, Саша не применялся к аудитории, и он играл взахлеб, «при этом не выгадывая пользы».

Был одиннадцатый час, но еще дотлевала долгая майская заря, когда мы вышли из ресторана.

Я был с машиной и развозил компанию, хотя меня самого порядком развезло. Но это никогда не смущало тех, кого я развозил. Нигде в мире не видел я такого полного, спокойного, безоблачного доверия к нетрезвому водителю, как у нас. Даже когда меня почти вносили в машину и я не мог попасть ключом в щель зажигания, не было случая, чтобы кто-нибудь засомневался, стоит ли доверять свою единственную и неповторимую жизнь выпавшему из со-

знания шоферу. А стоило сказать: «Да что вы, братцы, мне и до дома не доехать!», как начиналось: «Зазнался!.. Бензина жалеешь»...

Первой мы отвезли Нину, она жила ближе. Саша пошел ее провожать. Настроившись на долгое ожидание, я завел с Олей разговор на библейскую тему: «Накормите меня яблоками, напоите молоком, ибо я изнемогаю от любви». Но не успел развить тему, когда Саша вернулся. Какой-то странный, смущенный, улыбающийся, тихий. Молча сел в машину. Мы тронулись.

Старый деревянный поленовский дом Оли находился в глубине сельского замоскворецкого двора. Она сказала, что ездить туда не стоит: народ разбудим.

— Я провожу вас, — крикнул я, когда она выпрыгнула из машины. И тихо спросил Сашу: — Что случилось?

Он боднул воздух лбом.

— Она поцеловала мне руку.

— Зачем? — тупо спросил я.

— Не знаю.

— А дальше что?

— Ничего. Что же могло быть дальше?

— Гнилой интеллигент! — крикнул я и кинулся со всех ног за Олей, решив взять с нее за себя и за того парня.

Нагнал я ее в подъезде. Тут хорошо пахло старым деревом, паутиной и теплой пылью. Оконные ниши, широкие подоконники, батареи — все располагало к любви, но Оля целеустремленно цокала каблучками по скрипучим ступеням, и я поспешил за ней.

Она отомкнула обитую клеенкой дверь и пропустила меня в сумрачную прихожую. Приложив палец к губам, открыла другую дверь и зажгла свет.

— Олька, ты, что ль? — слышался старушечий голос из-за ситцевой занавески.

— Я, бабушка, спи.

Посреди комнаты стояла детская кроватка, в ней находился раскаленный младенец, заткнутый соской.

— Жарко бедняжке! — Оля подошла и стала что-то делать с младенцем, который продолжал спать, кисло жмуря глазки.

— Девочка или мальчик? — обреченно спросил я.

— Пацанка.

— А отец где?

— Кто его знает? Нам никто не нужен. Мы сами по себе.

Кто-то тяжело, по-животному задышал. Мелькнула бредовая мысль, что за стеной обитает корова.

— Бабушка, — сказала Оля. — Астма у нее. Хорошая у меня дочка?

— Замечательная. Как звать?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда.

— Ну, я побежал, — сказал я деловито.

Саша курил, широко раскинувшись на заднем сиденье.

— Тебе привет от Наденьки.

— Кто это?

— Надя. Наденька. Надюша. Надюнечка. Надежда. Дитя любви.

— У нее дочка? Сколько ей?

— Не знаю. Совсем новенькая. Еще есть бабушка. За занавеской. Я не был ей представлен.

Саша засмеялся.

— Не злись. Это же здорово! Вот увидишь: всякие варфоломеевские ночи, как говорит наша лифтерша, забудутся, а это — нет... «Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет».

— Чье это? Ранний Коноплев?

— Нет, поздний Георгий Иванов, тоже прекрасный поэт.

Вот так мы «пожуировали жизнью», по выражению лесковских купчиков, вернувшихся из Парижа...

Совсем иная история разыгралась в исходе жаркого, душного лета пятьдесят третьего года, когда люди наконец поверили, что хотя бы в физическом смысле Сталин действительно умер всерьез и надолго. И пусть в ушах еще стояли заклинания, что долг советских художников до сконча-

ния века воспевать вождя, соборно творить сагу о его жизни, пусть газеты еще сопливились фальшивой скорбью, пусть тело его торжественно водрузили рядом с тем, чьим полным отрицанием он был, развенчание творилось ежедневно, ежечасно, ежеминутно: выражением лиц, громким смехом, прямым, не проваливающимся внутрь себя и не ускользающим взглядом, как бы враз полегчавшим воздухом и тем, что люди начали строить планы на будущее и ждать, робко, неуверенно, потаенно ждать своих исчезнувших в зазеркалье того социального разврата, который издевательски называли социализмом. А может, это и есть социализм?..

Эту историю мне хочется рассказать из сегодняшнего дня.

Я никак не мог отыскать нужную мне улицу возле метро «Молодежная». Уж больно противоречивы были объяснения, на что я впопыхах не обратил внимания: выходило, я должен одновременно ехать в двух прямо противоположных направлениях — к кунцевскому метро и от кунцевского метро.

Я мыкался по Ярцевской улице, которая оказалась вся перекопана, застревая то у светофоров, то в объездном потоке встречного движения, натываясь на заграждения и бездействующие катки, и еще раз убедился, что Москва — Богом проклятый город, а все москвичи — чокнутые. В двух шагах от большой магистрали никто и слыхом о ней не слыхал. Вопрос мой почему-то казался оскорбительным местным жителям, и отвечали они соответственно. Обхамленный и оплеванный, я все же отыскал эту унылую новостроечную улицу и как-то высчитал дом, проехав его поначалу, поскольку на нем не было номера.

Когда я разворачивался, в машине что-то заело — я до сих пор ни черта не понимаю в автомобилях, как и тогда, когда впервые сел за баранку, — и сигнал завыл сиреной. Можно было подумать, что заработало противоугонное устройство. Я никак не мог унять истошный вой. Захлопали

окна, на мою голову обрушилась злая — и справедливая — ругань. В отчаянии я схватился за какой-то провод и стал его тянуть. Провод охотно полез из нутра машины, я наматывал его на руку. Несколько тревожило, что я вымотаю из машины все кишки, но вдруг провод оборвался, вой стих, а мотор продолжал работать. Я развернулся и подкатил к подъезду, увидел сидящих на завалинке старух и узнал ее раньше, чем она поднялась, опираясь на костыли.

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй.

Мы поцеловались, встретившись через жизнь.

— Ты не знаешь, что за сволочь там гудела?

— Знаю. Это я.

Она засмеялась, и я сразу увидел ее такой, какой она была тридцать пять лет назад. Это окружающие старухи отбрасывали на нее свой тускло-тленный отсвет да костыли сбивали глаз с цели. А теперь я видел: загорелое лицо с крепкими высокими скулами, чудесные серые глаза, пепельные волосы, благородная стать, — порода не поддается возрасту: так же хороша была до последнего дня моя мать — столбовая дворянка, а в жилах Наташи текла царская кровь. Правда, ее отец Романов, белая ворона в державной семье, был лишен великокняжеского сана за мезальянс — женился на женщине незнатного происхождения. Таким образом, Наташа оказалась не великой, а простой княжной, но крестила ее греческая королева.

Этого было более чем достаточно, чтобы испортить жизнь. Дальше семилетки ее не пустили, Наташа пробавлялась то шитьем, то черчением, то спортом, то шоферила. И от всей этой жизни полезла на стену — в буквальном смысле слова, вошла в номер мотоциклиста Смирнова: гонки по вертикальной стене. Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андросову, сотрясавшую деревянный павильон в Парке культуры и отдыха своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой старого Арбата, где жила в полуподвале, лишь с приходом Булата Окуджавы началось

двоецарствие. Межиров и Вознесенский посвящали ей стихи, Юрий Казаков сделал героиней рассказа, закончить который помешала ему смерть.

Случалось, Наташа падала, ломала кости, попадала в больницу. Но, подлечившись, снова входила в свой смертельный номер. Ее партнеры плохо кончили: Смирнов спился, Айказуни разбился насмерть, Левитан покончил самоубийством в приступе умственного помрачения — ежедневный риск распатал психику крепкого, как из стали литого, жестокосердного супермена. Для Наташи ее спортивная страда обернулась костылями. Измолотые хрящи срослись намертво, каждое неосторожное движение обрачивается скрутом боли. Костыли не вздыбили ей плечи, не испортили фигуры; упираясь сильными руками в перекладины, она подвешивает свое по-прежнему безукоризненно стройное тело. Так же стройны ее длинные ноги, только не могут сами ступать.

Мы поднялись на лифте. Дверь квартиры была нараспашку.

— Доверчиво живешь!

— Да кто ко мне ползет? Что у меня взять?

Взять и правда нечего. Разве что тринадцатилетнюю маленькую дворняжку с седой мордочкой. Стол, шкаф, два-три стула, узкая лежанка, полка с книгами, несколько фотографий. Среди них карточка подростка с нежным, добрым, благородным, истинно великокняжеским лицом. Это Наташин кузен Алеша — наследник русского престола, расстрелянный вместе со всей семьей в екатеринбургском подвале. По российской расхлябанности и расстрелять-то толком не сумели. Мальчика, плавающего в больной, несвертывающейся крови, добывали на полу. Нельзя отвести глаз от чистого доверчивого лица. Если б не события семнадцатого года, какой добрый, славный государь был бы у русского народа!

Наташа протянула мне листок бумаги со стихами, я еще издали узнал четкий Сашин почерк. По-моему, стихи эти не были опубликованы. Вот они:

НАТАШЕНЬКЕ

Буду ждать привета, слова, вести,
Где бы жить теперь ни довелось.
Если уж нельзя быть вместе, вместе
Будем жить, покуда, вместе — врозь!
Ну а там — кто знает! К счастью, на дом
Нам за жизнь не присылают счет!
Может, мы еще и будем рядом,
Все, как кем-то сказано, течет!
И ведь должен, должен быть порядок —
Чувствам, судьбам, времени предел...
Этот август... как он пролетел,
Как он был, почти безбожно, краток.

Август 1953 г.

О том августе и пойдет речь.

В один из душных, раскаленных дней, в восьмом часу вечера, когда спадала тягостная, насыщенная электричеством неразряжающихся гроз жара и начиналось томление, неведомое в пору вселенского испуга — это томление было пробуждением задавленной личности, — раздался телефонный звонок.

— Юрушка, ты что делаешь? — послышался подозрительно вкрадчивый голос Саши.

— Ничего. Я один. Все уехали на дачу.

— Хочешь видеть меня с двумя очаровательными дамами?

— Поклонницами поэта Коноплева?

— Нет, нет! Это настоящие дамы.

— Но мне нечем принять настоящих дам. В доме шаром покати. Кажется, есть кофе.

— Мы все привезем. Берем такси и едем. — Саша сразу положил трубку.

Мне вспомнилось наставление Драгунского: никогда не поддавайся, если товарищу напрашивается к тебе с двумя дамами, вторая обязательно окажется крокодилом. Я пожалел о своем опрометчивом согласии, но отменить его не было возможности. Вспомнился и другой наказ Драгунского: если

ты уже влип, налей глаза до одурения, и в какой-то миг ты обнаружишь в крокодиле неяркую степную красоту.

Я едва успел прибрать в комнате, помыть рюмки и бокалы, когда восторженный лай эрделя Лешки возвестил о приходе гостей.

Я открыл дверь и пережил одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Как будто цветы внесли под звуки тарантеллы в убогую квартиренку. Она наполнилась благоуханием, светом, звенью молодой великолепной жизни. И не скажешь, какая из двух красивей, настолько они разные. Одна — нордического типа: высокая, стройная, с развернутыми плечами, пепельноволосая, с матовыми серыми глазами, другая Дина Дурбин — один к одному. Только мы знали черно-белую Дину, а эта была чудно расцвечена — природой больше, чем косметикой. С гордостью принца-консорта Саша представил нордическую красавицу, назвав полным, хоть и утраченным титулом, затем ее подругу, артистку эстрады, работавшую в номере знаменитого эксцентрика. Меня ошеломили королевское происхождение и спортивная слава Княжны, но сразила меня не она, а Дина Дурбин, что весьма обрадовало Сашу. Оказывается, они с Княжной были знакомы еще до войны, но как-то не утадали друг друга, а сейчас пришло отнюдь не запоздалое прозрение.

Они встретились случайно на концерте в Измайловском парке, где выступала Дина Дурбин, и решили вместе поужинать у одного нашего общего друга. Но там вырубился свет, и тайная вечеря в крошечной темноте не прельщала подруг. Этому я и был обязан неожиданным знакомством. Моя ценность для них заключалась в квартире с действующим освещением.

Вот такой странный ход придумала судьба, чтобы перевернуть мою жизнь: в скором времени Дина Дурбин стала моей женой.

Не было у меня ничего прекраснее той поры «парных» романов. Новая любовь чудесно сплелась со старой и новой дружбами. Мы старались не разлучаться. Ходили вместе на

выставки, которых вдруг стало очень много, в кино, на концерты, часами простаивали в деревянном павильоне, который Княжна сотрясала чудовищным громом своего ревущего, плюющего голубым дымом мотоцикла, обедали и ужинали в ресторанах, где возникла какая-то домашняя, доброжелательная атмосфера. И стучала в висок пронзительно и волнующе, как свановская нота в сонате Вентейлы: «Сталин сдох!.. Сталин сдох!..»

Гранд-отель. Огромный и высоченный зал. Я танцую с Диной Дурбин. Вдруг радостный женский голос:

— Здравствуйте, дорогой сосед!

Рядом топчется со своей миловидной русской женой корреспондент Юнайтед Пресс Генри Шапиро. Мы шестнадцать лет живем в одном подъезде, из которого взяли Осипа Мандельштама и Сергея Клычкова, я на первом, он на втором этаже, но никогда не здороваемся, делая вид, что не знаем друг друга. Когда у американца засоряется раковина, ванна или уборная, а случается это нередко, поскольку дом наш стар и гнил, нас заливает фекалиями, а мы сидим и не рыпаемся. Боже упаси вступить в контакт с иностранцем! Самый страшный момент в моей жизни настал, когда, ставя свой «шевроле» на стоянку возле дома, Шапиро сцепился буфером с моим «Москвичом». Такое склеживание грозило обернуться десятью годами без права переписки, конечно, не для корреспондента Юнайтед Пресс. Ведь сколько шпионских сведений мог я ему передать, пока мы растаскивали машины, и запросто продать секреты своего мастерства. Несколько месяцев мы не спали, ожидая рокового звонка в дверь. Мне были собраны теплые вещи. Обошлось. А теперь: «Здравствуйте! Как я рад вас видеть! Почему вы никогда не зайдете?» — «Закрутился, знаете... Непременно зайду». Я зашел к ним через двадцать шесть лет в Миннеаполисе, где читал лекции в университете, а их старшая дочь профессорствовала на кафедре русского языка. А потом принимал бывшую соседку у себя на даче. И тоже обошлось. Но все происходило уже в либеральную эпоху застоя.

Однажды мы возвращались из ресторана гостиницы «Советская», и меня задержал гаишник. Не помню, какое нарушение я сделал, вроде бы никакого, он просто увидел мое лицо.

— Права! — сказал молодой белобрысый очень строгий лейтенант, и я понял, что лишился машины в дни, когда она мне нужнее всего.

— Ну, лейтенант! — нежнейше пропела Дина Дурбин и просунулась к нему всей необъятностью пушистых сияющих глаз. — Простите нас!

Лейтенант вздрогнул, покраснел, даже чуть отшатнулся, но сохранил верность долгу и присяге.

— Права! — повторил он.

— Брось, лейтенант! — послышался чуть хриловатый, словно севший, незнакомый голос Княжны. — Больно ты приткий. Зачем Юрика обижаешь?

Лейтенант посмотрел на кружевное пенное голубое и палевое, грозно надвигающееся из сумрака машины, и что-то дрогнуло в нем.

— Они пьяные.

Кружевное пенное голубое и палевое придвинулось еще ближе, обьяло светом невиданной красоты, той, что спасет мир, и вдруг озвучилось совсем не музыкой сфер:

—

Я вынужден прибегнуть к опыту дореволюционных издателей «Пантагрюэля», заменявших многоточием целые главы, «в силу крайней непристойности», как обязательно сообщалось в сноске. То, что выдала Княжна лейтенанту, можно услышать во время пиратского бунта, ссоры биндюжников или грузчиков в одесском порту, на бандитском толковище перед вынесением смертного приговора.

Мы с Диной Дурбин помирали со смеху. Саша улыбался несколько принужденно, он был шокирован, сбит с толку. Зато милиционер должным образом оценил контраст

старинной кружевной прелести княжеского облика и неправдоподобного цинизма речевого потока.

— Как в театре! — сказал он, утирая слезы. — Спасибо вам!

Я сохранил шоферские права, за руль по требованию милиционера села Княжна, чья складная речь доказала совершенную ее трезвость. В благодарность лейтенант был приглашен в Парк культуры на мотоциклетные гонки.

Как-то в разговоре с Сашей, вспомнив об этой истории, я сказал, что не ждал от него такого ханжества.

— О чем ты? — не понял он.

— Ты смутился, как красная девица, когда Наташка хулиганила.

— Что за чепуха! — Он болезненно сморщился. — Я понял, какой у нее грубый и страшный жизненный опыт. Бедная Наташа, как же мурьжила и била ее жизнь, через какие бездны таскала! По тонкой, нежной коже каленым железом... Я не хотел думать об этом, а как теперь не думать?..

Я понял Сашу много времени спустя, когда Наташа рассказала мне свою жизнь. Да, нелегко уцелеть в нашей действительности княжне царской крови. Она прошла через ад Преследования, издевательства, шантаж, упорные, неотвязные попытки «святого дела сыска» пристегнуть к своей упряжке, побегу из Москвы, уход на дно, чтоб забыли, оставили в покое, рабская зависимость от подонков партнеров, обиравших до нитки за то, что держали в номере, подлость во всех видах и образах — только Романова и могла выстоять.

То был последний взлет нашей дружбы с Сашей, растянувшийся на годы, а потом началось медленное угасание, приведшее не к разрыву, а к отчуждению.

Я очень долго не ощущал, что наши дороги пошли в разные стороны. Прежде всего, мы достаточно часто виделись, и между нами продолжался дружеский обмен: мы сталкивались во дворе и не отпускали друг друга без хорошего разговора, я навещал Сашу, когда он болел, а это случалось нередко, он был очень внимателен ко мне во

время моего инфаркта (я лежал дома); Саша как большой специалист обучал меня душевной гигиене сердечника. Особенно ликовали мы при случайных встречах, скажем, в Ленинграде, прямо душили друг дружку в объятиях, и начинались посиделки на всю ночь. Бывало и другое. Мы уже долго не виделись, и вдруг взволнованный звонок Саши:

— Срочно приходи!

Бегу. У Саши в руках известное, но непонятное стихотворение Мандельштама «На розвальнях, уложенных соломой...». Мы его любим и ненавидим, как укор нашей поэтической глухоте.

— Я держу Мандельштама за хвост, — с легким самодовольством заявляет Саша. — Первое и самое главное — эти стихи посвящены Марине Цветаевой, как и предшествующие «В разногласии девического хора». Еще одно любовное стихотворение Мандельштама. Выходит, у него их не так уж мало.

Надо ли говорить, что мы понятия не имели о письме Цветаевой к Бахраку, где она прямо называет посвященные ей стихотворения Осипа Эмильевича?

— Тут нет никакой Цветаевой, — уверенно говорю я.

— А кого везут на «розвальнях, уложенных соломой»? Ца-ре-ви-ча! Ажедмитрия, которому она хотела быть Ажемариною. Мандельштам вживается в Самозванца от сознания преступности своей любви — Марина была замужем.

— При чем тогда: «А в Угличе играют дети в бабки. И пахнет хлеб оставленный в печи»? Тут же явно об убиении малолетнего Дмитрия Иоанновича.

— Правильно, это координата времени. Исток ненавистного Мандельштамом Смутного времени, губительного для России.

— А что значит «три встречи» и утверждение: «никогда он Рима не любил»?

— Три встречи — не знаю. Или что-то очень личное, или три религии в жизни Мандельштама. От иудаизма через католицизм к православию. От Рима он уже отрекался в стихах.

И не признавал Москву третьим Римом. А Москву, православную, это очень важно, ему открывала «болярина Марина».

— Я все же не понимаю связи частей.

— А я понимаю, но не могу объяснить, — засмеялся Саша чуть принужденно. — Тут зашифрованы очень конкретные вещи: любовь к Марине, грех-преступность этой любви, обретение православия с его средоточием — Москвой и предчувствие катастрофы. Она в черных птичьих стаях и подожженной соломе. Это символ бунта.

— Я все же не хватаваю, почему в конце гибель?

— А ты считаешь, что тут могло кончиться свадьбой? Как в пушкинских сказках? Ведь ко всему еще это 1916 год, а Мандельштам был провидцем.

Мы мучились, изобретая пилу, оторванные от мировой культуры, от мирового ищущего и обретающего разума, давно уже прочитавшего это стихотворение, хотя и не в последнюю его глубь. Так было у всех нас, и не только с Мандельштамом. А потом удивляемся, почему отстала промышленность, одряхла техника, развалилась наука, отсутствуют изначальные навыки управления, нет мяса, мыла и обуви. Неужто все дело в Мандельштаме? И в нем тоже. В свободе раскованного разума, который не изолируется от мировой информации, мирового обмена, всего богатства культуры, питаюсь мякиной мертвых догм и перемолотой чужими челюстями, отрыгнутой чужим желудком жвачкой.

Наше расхождение началось в пору, когда песни Галича завоевывали страну. Рать его поклонников была если не многочисленнее тьмы почитателей Окуджавы, то куда шумнее, поскольку моложе. Саша знал, что делает главное дело своей жизни, и дело весьма опасное, которое может сломать ему судьбу, ему нужно было понимание и союзничество, а я не могу ему этого дать. Я был в плену у Окуджавы, Сашины песни мне не нравились.

А так хотелось, чтобы нравились, ведь я по-прежнему любил Сашу и боялся потерять его окончательно, впрочем, долгое время такая мысль мне и в голову не приходила.

Как-то мы оказались в Ленинграде вместе: Саша, Булат и я, хотя каждый приехал по своему делу. У меня в номере началось нескончаемое застолье, что так любил Саша и не выносил Булат, но терпел, поскольку собрались наши общие близкие друзья. Невольно вспоминается строфа Георгия Иванова о милых приметах Царского Села: «То, что Анненский нежно любил, то, чего не терпел Гумилев».

Среди присутствующих оказалась очередная Сашина поклонница, женщина большой душевной энергии и, как выяснилось много позже, выдающегося литературного дара, которого никто не хотел за ней признать. Сейчас мне кажется, что этой женщине, с ее страстным, необузданным, склонным к конфликтам характером, очень хотелось столкнуть наших бардов, в надежде, что верх окажется за ненаглядным ее Сашей. Она все время висела на телефоне, отыскивая ристалище для песенного поединка, гостиничный номер для этого не годился. Словом, готовилось нечто вроде трагического состязания знаменитых менестрелей Вольфрама фон Эшенбаха и Генриха фон Офтердингена в замке Вартбург. Там побежденный должен был принять смерть. И лишь заступничество великого барда Вальтера фон Фогельвейде склонило владительную княгиню помиловать побежденного Офтердингена, заменив ему смертную казнь изгнанием. Не думаю, чтобы Сашина подруга оказалась столь же милосердной. Наконец дом для песни был отыскан.

Окуджава — это было в его стиле — сказал, что петь не будет, но с удовольствием послушает Сашу. Гитару тем не менее он с собой прихватил.

Мы приехали в типично петербургскую старую квартиру с высоченными темными от копоти потолками, кафельными печами и останками гарнитура красного дерева. Старинные гравюры с мачтами и парусами утрюмились на стенах. Но тридцатилетняя хозяйка была вполне из нашего времени, даже несколько впереди, она исходила агрессивным задором, сленгом и никотином. И все время

что-то потягивала из стакана. Нам всем поднесли выпить и сразу расчехлили Сашину гитару с загнутым грифом.

Саша пел очень много, как всегда не ломаясь, на всю железку. Тут были песни из «золотого фонда»: о том, как «молчальники выходят в начальники, потому что молчание золото», о суперноменклатурном зяте, растоптавшем чужую жизнь, о том, что «любое движение вправо начинается с левой ноги», о могилах сталинских лагерей, перед которыми «премьеры» не преклоняют колен, о Егоре Петровиче, которого руководящие указания поднимают со смертного ложа, о народном Демосфене Климе Петровиче, выступающем на митинге от лица советской матери. После каждой песни Сашина поклонница и хозяйка дома обводили слушающих восторженно-свирепым взглядом: мол, попробуй скажи, что тебе не нравится. Но это никому и в голову не приходило. Всем нравилось, все любили Сашу и восхищались им. Я тоже восхищался, не пытаюсь ничего оценивать, Сашиной смелостью, едким сарказмом и болью за униженных и оскорбленных.

Быть может, все обошлось бы, но Булат дал себя уговорить спеть. Больше всего старался в своем неизменном благородстве Саша. Ему Булат не мог отказать. И вот уже последний троллейбус плывет над Москвой, верша по бульварам кружение...

Сознание не участвовало в том вздохе — стоне души, который вырвался из меня, едва замолк голос певца.

— Боже мой, как хорошо!..

— А вы не кричите! — перекосив лицо ненавистью, заорала хозяйка дома. — За стеной люди спят!..

— Нет элементарного такта, — свистящим шипом кобры поддержала Сашина поклонница. — В чужом доме!.. Какое хамство!..

Это было так дико по невоспитанности, злобе и несправедливости: и Булат, и особенно Саша рождали куда больше шума, никого не тревожившего за толстыми ленинградскими стенами, — что я растерялся, съезился и не нашел ответа.

Мне казалось, что Саша должен осадить их, но он промолчал. Видимо, окончательно понял по моему невольному проговору, что его муза мне чужда, и, как говорится, умыл руки. Больше он никогда не пел в моем присутствии.

Когда Владимира Войновича, недавно гостившего в Москве, спросили на телевидении тоном жесткого утверждения: вы, конечно, любите Галича? — он, отвечавший до этого тоже жестко и решительно до агрессивности, вдруг смутился и промямлил, что любил, «как и все мы тогда», Окуджаву... Но да... конечно, он хорошо относится и к Галичу...

Отвлекусь на вдруг мелькнувшую мысль: почему можно любить Толстого и Достоевского, Чехова и Бунина, Мандельштама и Пастернака, Леонардо и Рафаэля, Пруста и Джойса, но нельзя любить Козловского, если любишь Лемешева, Доминго, если любишь Паваротти, Тибальди, если любишь Каллас. Исключения бывают, но крайне редко. Может быть, пение действует на какие-то ментальные или чувственные центры, что исключает совместительство, как истинная любовь-страсть?

Я, как и Войнович, пусть он моложе меня, человек эпохи Окуджавы. Моя любовь к нему не уменьшилась и сейчас, хотя я стал куда восприимчивей и открытее другому пению. В том числе песням Галича, слушаю их с огромным удовольствием. Кажется, я могу объяснить, в чем тут дело.

Недавно мне дали прочесть рукопись мемуарной книги одного умного и одаренного журналиста-ученого (надеюсь, рукопись эта станет книгой), где он пишет о своей потрясенности Галичем в те самые годы, о которых речь идет у меня. Человек шестидесятых годов, он говорит, что любил Окуджаву, но явился Галич и отнял эту любовь. Ибо Булат Окуджава, при всем его таланте и обаянии, выражается символами, порой не до конца ясными (черный кот, который в усы усмешку прячет), а Галич все называет впрямую, своими именами. Его гражданское чувство, мол, куда сильнее и действеннее.

Это не локальная проблема: Окуджава — Галич. Когда вышел фильм «Покаяние», его многие не приняли за ино-

сказательность, «замаскированность» героя. Надо было делать фильм напрямую о Сталине, а не разбивать образ: то ли Сталин, то ли Берия, то ли какой-то диктатор местного масштаба. Но громадность этого фильма как раз в том, что он дает вселенский, на все времена образ деспотизма: от древних царств и Рима до наших дней, а не разменивается на конкретику частных судеб и характеров.

Первый фильм о пережитом апокалипсисе мог быть только таким. Трагический фильм напрямую о Сталине вообще невозможен, потому что, превращая жизнь в трагедию, сам Сталин не был фигурой трагической. Низкорослый, рябой, сухорукий, косноязычный дворцовый интриган с примитивным мышлением и отсутствием душевной жизни — отсюда его ошеломляющее и часто необъяснимое кровоядство — не Макбет и даже не Ричард III — у него не могло быть такого взлета, как у горбатого хромца, обольстившего венценосную вдову над могилой убитого им мужа. И о Гитлере не может быть трагического произведения, он тянет разве что на сатиру в духе чаплиновского «Великого диктатора». Сталин — страшная, но пошлая фигура. Художественное чутье Абуладзе подсказало ему единственно верное решение. Он создал могучий символ, а не бытовую, пусть и «украшенную» всеми пороками фигуру.

Для меня — и не только для меня — песни Окуджавы больше сказали о проклятом времени загадочной песней про черного кота, чем предметные и прямолинейные разоблачения Галича. Но дело не только в этом, и даже вовсе не в этом. Окуджава разорвал великое безмолвие, в котором маялись наши души при всей щедрой радиоозвученности тусклых дней; нам открылось, что в глухом, дрожащем существовании выжили и нежность, и волнение встреч, что не оставили нас три сестры милосердных — молчаливые Вера, Надежда, Любовь, что уличная жизнь исполнена поэзии, не исчезло чудо, что мы остались людьми. Окуджава открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни, помогал преодолению прошлого всего, целиком, а не в омерзительных частностях. И

для людей, несших на себе клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительней разоблачений и сарказмов Галича. А вот уже другому поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней.

Для меня песни Галича зазвучали по-настоящему года три-четыре назад. Казалось бы, то, о чем он поет, отодвинулось, утратило остроту, — ничуть не бывало. За минувшие годы мы не только не залечили ни одной болячки, не решили ни одного мучительного вопроса, не приблизились к чему-то лучшему, если исключить право (весьма лимитированное) кричать о наших муках, физической и моральной нищете и униженности, но довели все до последнего предела. И Сашины сарказмы ничуть не пожухли, напротив, выострились. Теперь пришло время называть все своими словами, прямо в лоб. Покров тайны сорван с действительности, не надо играть ни в какие символические игры, нужны конкретные имена, точные обстоятельства преступлений. Сашины песни переживают второе рождение, став, как никогда, нужными расхотевшему терпеть народу.

Так вот соединился я с Сашиными песнями. А в далекие годы мне куда больше нравилась его поэма о Корчаке, стихи. Любил же я лишь песню о возвращении. Саша оказался провидцем, хотя едва ли мог предположить, что возвращение его на родную землю будет столь победительным.

Я по заслугам потерял Сашу. Он шел своим крестным путем, он был обречен песне, знал, что его ждет жестокая расплата: либо тюрьма, либо изгнание — и не мог тратить душевные силы на тех, кто был всего лишь тепел.

Я все время думаю о Саше, разговариваю с ним, вижу его прекрасные глаза, улыбку, слышу глубокий голос, так богатый интонациями доброты, и вдруг олений трубный возглас сотрясает мне душу: «Юрушка, какие мы счастливые, лучшие девушки мира!..»

Ах, Господи, где они, где мы, где прошлогодний снег?..

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח"ל פרוץ 20 תחנת 3304

ספר יה

277

СОДЕРЖАНИЕ

Огненный протопоп _____	3
Надгробье Кристофера Марло _____	32
Беглец _____	51
Остров любви _____	129
Волшебная сказка и сказочники _____	179
Пушкин на юге _____	194
Заступница _____	220
Сергей Тимофеевич Аксаков _____	256
Сон о Тютчеве _____	287
Запертая калитка _____	300
Будем, как Фет _____	327
Злая квинта _____	343
День крутого человека _____	386
Наш современник — Чехов _____	420
Учитель словесности _____	428
Смерть на вокзале _____	452
Иннокентий Анненский _____	478
О Хлебникове _____	499
Голгофа Мандельштама _____	517
По пути в бессмертие _____	552
Самый страшный роман Андрея Платонова _____	568
Ими распорядился тридцать седьмой год _____	579
О Галиче — что помнится _____	586

Юрий Маркович
Нагибин

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ



Художественное оформление
Е.Селивановой

Корректор
Н.Быкова

Электронная подготовка оригинал-макета
С.Андрусенко
А.Безуглый
А.Федина

Ответственный за выпуск
И.Смолин

По вопросам распространения
обращаться по телефону:

973-25-88

В США книги издательского Дома
«ПОДКОВА» можно приобрести по адресу:

Petropol, Inc.
P.O. Box 8168
Pittsburgh, P A 15217
(412)422-8311

ЛР № 064584 от 14.05.96.

Подписано в печать 21.10.97.

Формат 84x108/32. Гарнитура Лазурский.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 35,28. Тираж 5000.¹

Заказ № 431.

Издательский Дом «ПОДКОВА»

121108, г. Москва, ул. Пивченкова, 3-1

OCR Давид Титиевский, июль 2019 г, Хайфа

Отпечатано с готовых оригинал-макетов

на ИПП «Уральский рабочий»

620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

Уважаемые читатели!

Издательский Дом «Подкова» продолжает выпускать многотомное собрание сочинений классика русской литературы Юрия Нагибина.

В отличие от предыдущих собраний сочинений писателя, оно представляет Нагибина не только как мастера новеллистики, тонкого стилиста, но и как автора лучших сценариев отечественного кино, яркого публициста.

Кроме того, собрание сочинений впервые подобрано тематически по томам:

(в скобках указан ориентировочный месяц выхода очередного тома. Тома не нумеруются.)

- Рассказы о любви, «Слезы и жизнь» (июнь 1997);
- Рассказы о Москве, «Московская книга» (сентябрь 1997);
- Рассказы о литераторах, «Учитель словесности» (ноябрь 1997);
- Рассказы о музыкантах, «Вечная музыка» (январь 1998);
- Рассказы о художниках, «Наука дальних странствий» (март 1998);
- Киносценарии с комментариями, «Книга сценариев» (май 1998);
- О великом русском терпении (повести), «Терпение» (июль 1998);
- Переписка, статьи, интервью (сентябрь 1998).

Такая подборка показывает энциклопедичность знаний писателя, а также дает возможность читателю выбрать книгу по вкусу.

Издательский Дом «Подкова» приносит читателям свои извинения за возникшие по техническим причинам опечатки в томах «Слезы и жизнь» и «Московская книга».

Книги Издательского Дома «Подкова» можно приобрести во всех центральных книжных магазинах столицы. Телефон для справок: 973-25-88.